Глубокая борозда

Глубокая борозда

РУССКАЯ
ДЕРЕВНЯ
В ПРОЗЕ
20–30-х ГОДОВ

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ
АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ-ПРИБОЙ
АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ
МИХАИЛ ШОЛОХОВ
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ
СЕМЕН ПОДЪЯЧЕВ
ЛИДИЯ СЕЙФУЛЛИНА
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
АЛЕКСАНДР АРОСЕВ
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН
ИВАН ВОЛЬНОВ
ПЕТР ЗАМОЙСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ
ИВАН СОКОЛОВ-МИКИТОВ
БОРИС ШЕРГИН
АЛЕКСЕЙ ЧАПЫГИН
АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДОВ
ИВАН МЕНЬШИКОВ
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
НИКОЛАЙ ЗАРУДИН
ИВАН КАТАЕВ
ИВАН КАСАТКИН

Глубокая борозда

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ В ПРОЗЕ 20–30-х ГОДОВ

Рассказы

Москва
«Современник»
1987

Р2
Г55

Составитель,
автор вступительной статьи и примечаний
Н. Ткаченко

Г $\frac{4702010200-184}{М106(03)-87}$ 126—87

О ВЕЛИКОМ ПОДЪЕМЕ

Начало 20-х — середина 30-х годов... Первые трудные десятилетия Советской власти...

Невероятно сложный, переломный, неизведанный путь преобразования деревни. Этот путь был научно обоснован в многочисленных трудах Ленина, где сформулированы основные закономерности перехода от мелкотоварной крестьянской экономики к социалистическому укладу хозяйства.

Великий Октябрь лишил буржуазию экономической основы ее господства. Советское государство взяло в свои руки командные высоты в промышленности. Сложнее было в деревне. Здесь социалистические предприятия представляли небольшие островки в безбрежном океане мелкого, распыленного крестьянского хозяйства. Из 25 миллионов хозяйств к началу коллективизации свыше одного миллиона были кулацкими. Они не только играли важную роль в производстве продукции, давая стране пятую часть хлеба, но и оказывали отрицательное влияние на бедняцко-середняцкую часть деревни. Кулаки, представлявшие собой сельскую буржуазию, вместе с другими контрреволюционными силами яростно сопротивлялись развернувшемуся социалистическому переустройству деревни.

Однако ликвидацию кулачества нельзя было осуществить путем обычной экспроприации средств производства. Только социалистическое преобразование деревни, создание материально-технической базы на основе социалистической индустрии могли навсегда устранить почву и условия, их порождающие. Партия постепенно, последовательно готовила предпосылки такого преобразования, исходя из ленинского учения о классах и классовой борьбе: «Марксизм требует от нас самого точного, объективно проверимого учета соотношения классов и конкретных особенностей каждого исторического момента,— подчеркивал Ленин,— Мы, большевики, всегда старались быть верными этому требова-

нию, безусловно обязательному с точки зрения всякого научного обоснования политики»[1].

XV съезд партии, состоявшийся в декабре 1927 года, взял курс на коренную социалистическую реорганизацию сельского хозяйства. Всей своей деятельностью партия подтверждала верность ленинскому стратегическому принципу в крестьянском вопросе: союз рабочего класса с середняком, опора на бедняка и борьба против кулачества как класса.

Главная закономерность строительства социализма в деревне, как и в городе, состояла в том, чтобы промышленность и сельское хозяйство имели одну и ту же экономическую основу — социалистическую собственность на орудия и средства производства. Бедняцко-батрацкие слои деревенского населения первыми нашли в коллективных хозяйствах наилучший выход из своего тяжелого материального положения. Артель, колхоз предоставили им возможность навсегда освободиться от кулацкой кабалы. В 1929 году партия взяла курс на осуществление массовой коллективизации. Еще XV партконференция, состоявшаяся в октябре — ноябре 1926 года, отметила тягу к коллективному хозяйству не только бедняцких слоев деревни, но и середняков, объединяющихся в коллективные хозяйства со своим инвентарем и скотом.

1932 год явился годом завершения коллективизации. В решении январского 1933 года Пленума ЦК отмечалось: «Разгромлено кулачество, подорваны корни капитализма в сельском хозяйстве и тем самым обеспечена победа социализма в деревне, а колхозное хозяйство превратилось в прочную опору социалистического строительства»[2].

Что означала победа колхозного строя? В чем была ее суть? Историческое значение коллективизации в том, что она окончательно укрепила Советское государство и главную его основу — союз рабочих и крестьян. На службу социализму она поставила выгоды крупного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе, установила в деревне правильную систему общественных отношений, ликвидировала кулачество — последний эксплуататорский класс в нашем обществе.

Полвека отделяет нас от завершения важнейшего социалистического этапа — коллективизации. Но как далеко ни ушли бы мы вперед, сколько бы ни отгремело событий и ни сменилось поколений, славные дела борцов за социалистическую новь и переустройство деревни не сотрутся в памяти благодарных потомков.

* * *

Предлагаемый читателю сборник преследует две цели. Показать социалистические преобразования на земле, свершившиеся после Октября и за годы коллективизации под руководством ленинской пар-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 132.
[2] КПСС в резолюциях и решениях..., т. 5, с. 68.

тии, с помощью рабочего класса и, самое главное, при активном участии подавляющего большинства трудового крестьянства. И как можно ярче и органичней представить «под одной крышей» произведения лучших писателей того времени, участников и очевидцев событий, запечатлевших эпоху в образах той новой, только что народившейся гражданской, человеческой и художнической правды, которая и сформировала многих из них как писателей.

Чем примечательна подборка произведений сборника? Прежде всего принадлежностью к своему времени. Они написаны именно тогда, в первые два десятка лет после Октября, характерные чрезвычайной напряженностью событий, происходивших в жизни русского народа.

Кроме того, в сборнике представлены произведения лишь «малого» прозаического жанра — рассказы. Рассказ как бы сконцентрировал главные силовые линии жизненного и литературного процесса, четче обозначил идейно-художественный фарватер новой литературы, посвященной деревне. Разумеется, эти произведения всего лишь малая часть написанного в 20—30-е годы, но часть художественно полноценная, ставшая сегодня по праву отечественной классикой.

* * *

Одним из первых в советской литературе отразил начало и развитие революционной борьбы русского крестьянства Александр Неверов. Он показал, как из темного мужика, придавленного полукрепостничеством и солдатчиной, создавался человек, начинающий понимать свои права и силу.

В рассказе «Красноармеец Терехин» выведен образ молодого солдата-крестьянина, постепенно осознающего свое место в жестокой рубке мировой и гражданской войн. Фронтовая обстановка, общение с однополчанином, солдатом из рабочих большевиком Яковом Московским, превращают его, раба своего надела и мелкособственника, в гражданина Республики и патриота.

В судьбах Терехина и его однополчан, мужиков, оторванных от земли и надевших военную форму, отражалась тяжелая доля бедного крестьянства.

Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 года, вскрыла и обнажила все внутренние противоречия России, ускоряла формирование революционных сил. На фронт только в первый год войны было мобилизовано около семи с половиной миллионов крестьян, несколько миллионов рабочих. Останавливались заводы и фабрики, сокращались посевы. Многие мелкие хозяйства оставались без рабочего скота, инвентаря и орудий. Поражение царской армии на фронтах, тяжелое экономическое положение в стране усилили забастовочное движение

рабочих, выступления крестьян против кулаков и помещиков. Шло разложение армии. Солдаты, те же рабочие и крестьяне, становились в ряды восставших под лозунгами: «Долой царя!», «Долой войну!», «Хлеба!».

Февральская революция, заставшая неверовского Терехина в окопах, не осуществила требований крестьянства. Не был решен самый жгучий вопрос — вопрос о земле. Большевики звали крестьян к немедленному захвату и конфискации всей помещичьей земли, и их правда пробивала себе дорогу в сознании таких, как Терехин, сплачивала вокруг рабочего класса многомиллионные массы крестьянской бедноты.

Грянул Октябрь! Под бурные аплодисменты делегатов II Всероссийского съезда Советов Декрет о земле объявил В. И. Ленин, самый последовательный защитник крестьянской бедноты. Что же дала крестьянам ликвидация помещичьего, монастырского и церковного землевладения? Около 150 миллионов гектаров земли, переставшей служить орудием эксплуатации, перешло бесплатно в руки крестьян, не считая земель, которыми они пользовались до революции. Крестьянство было освобождено от тяжкого бремени арендной платы помещикам, составлявшей около 700 миллионов рублей золотом ежегодно. Кроме того, был ликвидирован долг крестьян буржуазно-помещичьему банку на сумму почти в полтора миллиарда.

Декрет о земле разрешил три основные задачи революции. Во-первых, были ликвидированы пережитки крепостничества в земельных отношениях. Во-вторых, укрепился союз пролетариата с беднейшим крестьянством. И в-третьих, было положено начало преобразования сельского хозяйства на социалистических принципах: путем упразднения частной собственности на землю и создания крупных общественных хозяйств в деревне. Это был триумф ленинской политики союза рабочего класса и трудового крестьянства: «В крестьянской стране,— писал Ленин,— первыми выиграли, больше всего выиграли, сразу выиграли от диктатуры пролетариата крестьяне вообще. <...> Впервые крестьянин увидел свободу на деле: свободу есть свой хлеб, свободу от голода»[1].

Неверовский красноармеец Терехин прозрел. Мало того — дошел до высоты осмысленной жертвы собственной жизнью. Из темного, забитого существа Терехин превратился в пружинную силу революции. Он, малая и не единственная песчинка в гудящей топке войны, стал бесстрашен! Медленно, но верно происходило классовое самопознание, объединение крестьянства, основанное на важнейших декретах Советской власти. С трудом, но все-таки становился понятен мужику большевистский язык, как клин в сучковатое дерево, входящий в психологию крестьянства. Примечательны по этому поводу слова Ларисы Рейснер: «Кто смеет утверждать, что крестьянство, а отчасти и пролетариат вступили в гражданскую войну такими же сознательными, политически

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 276.

зрячими и организованными, как, например, в Ленинский набор или в великую борьбу за восстановление нашей промышленности, тот лжет и хочет лишить революцию ее заслуги. Потому и изумительна история этих лет, потому и остается она в памяти трудящихся, как нечто небывалое и незабываемое, что русский мужик и рабочий шли в революцию, шаг за шагом выдирая свои ноги из вековой застарелой грязи. Они несли на себе и с собой целые куски, целые обломки старого своего мировоззрения, и только очень медленно, в ходе революции, на опыте гражданской войны, отрывая их от себя. Ни один шаг не дался даром, ни одна ступенька...»[1]

Происходит подобное и с Карпом Красногубовым в рассказе А. Серафимовича «Тамбовский мужичок в Москве». Карп с приходом революции отправляется в город навести справки о пропавшем на мировой войне сыне. Три года он покорно ждал от него вестей, бессловесно внимал монастырскому попу-подстрекателю: «Которые наибольшие грабители, оттого прозываются большевиками». Суть дела долго не давалась бедному мужику, да помог на московском вокзале земляк, солдат-большевик:

«— Ну, как думаешь, дюже любят большевиков помещики, у которых отняли землю? Капиталисты, у которых прекратили доходную войну? Банкиры, которым не дали сосать народной крови? Офицеры, которых приравняли на солдатское положение? <...> А ты подумай, сколько народу кормилось возле банкиров, возле капиталистов, помещиков. И все они дыбом поднялись на большевиков, то есть на рабочих, крестьян и солдат».

Агитация не сложна, но это правда. Карп и раньше догадывался, а теперь убеждается, что «войну сделали баре да купцы» и что напрасно он отдал сына на царскую войну. От земляка он узнает истину: большевики рубят старые гнилые порядки под корень и строят новые, ядреные, такие порядки, «чтоб рабочий и крестьянин могли вздохнуть». В жестокой оппозиции этим порядкам — контрреволюция, белогвардейщина, белый террор. Карательные экспедиции заваливают овраги телами убитых, заливают избы и улицы кровью рабочих и крестьян, расстреливают, топят, вешают, жгут, как, например, в рассказе А. Новикова-Прибоя «Зуб за зуб». Мирные эсеровские заигрывания кончились. Началась гражданская война, интервенция. «И не видать вам земли и воли,— говорит Карпу солдат,— если вы, крестьяне и солдаты, не поддержите правительство рабочих и крестьян и солдат».

Рассказ Серафимовича — по сравнению с неверовским — менее художествен. Скорее, это агитка. Но — дорогá ложка к обеду! И Карп, жаждущий истины и просветленный, «кубыть с колокольни глянул, и далеко все видать», возвращается в деревню, чтобы рассказать там,

---

[1] Журналист, 1926, № 1, с. 27.

что «строится земля наша». Собирается он и выгрести из ямы запрятанный хлеб и сдать государству: «Пущай в Москву везут али в Петроград, пущай рабочий народ кормится».

Вот так или приблизительно так во многих произведениях того времени изображается смычка крестьянства с городом, с рабочим классом. Через солдатского агитатора, бывшего деревенского мужика, отвоевавшего свое на фронтах, просвещается большевистской истиной крестьянская община. Агитация, агитпроп — основной инструмент воздействия партии на сознание масс в годы социалистического становления. А. Серафимович был признанным мастером художественно-публицистического жанра и был верен ему до конца своих дней. Многие из его произведений, благодаря точности выхода на «материал», дают как бы слепок происходящих событий.

«Хороший агитатор — это ящик патронов!» — бытовала в те годы такая полушутка. Толковый агитатор попался в городе и герою рассказа С. Подъячева «Понял», старому мужику Илье Неробкову. Докладчик говорил о положении рабочего класса в Германии, а Илья Неробков, забившись позади всех в угол, внимательно слушал, «и чем больше слушал простую, понятную и горячую речь, тем все больше и больше, выше и выше поднималась перед его глазами какая-то темная занавеска, и за этой занавеской, когда наконец она поднялась совсем, он, к удивлению своему, увидал то, чего раньше до этого не видал и не хотел видеть».

А там, за «занавеской», была ужасающая картина обесчеловечивания его натуры, превращения его господами в животное, в тягловый скот, который «жрет у себя дома, в вонючей и грязной избе, какую-то мурцовку или полугнилую картошку, от которой только пучит живот». А барин, когда он, Илья Неробков, сдернув по-холопски картуз или шапку, кланялся, проходил мимо него, «как мимо какой-нибудь паршивой собачонки».

Все это вдруг вспомнилось, привиделось Неробкову на городской лекции. Потрясенный, возвратился Илья Васильевич в деревню. Дома он забрался с семилетним внуком на печь, все рассказал ему и горько расплакался от нелепой бессмысленности своего существования на земле. Трагедия прожитой жизни вдруг обозначилась и подвела итог. Рассказ Подъячева — со взрывом, с «кровинкой», обнаженным ощущением человеческой правды — один из немногих психологических рассказов тех лет.

* * *

После победы в Петрограде и Москве социалистическая революция начала стремительное шествие по всей территории страны. С октября 1917 года по февраль 1918 года Советская власть распространилась

почти по всей России. Но установление Советской власти проходило в сложной обстановке борьбы с врагами рабочего класса и трудового крестьянства. Общеизвестны слова Ленина о том, что в России легче было начать революцию, чем продолжить ее.

В деревне пустовали огромные массивы пахотных земель: не хватало сельскохозяйственных орудий, тягловой силы, семян, удобрений. Мелкобуржуазная стихия, чуждая всякой трудовой и государственной дисциплине, являлась главным врагом социализма. Единственным выходом из аграрных затруднений был переход к коллективной обработке земли. В этой сложной обстановке Ленин разработал план социалистической кооперации деревни.

В начале 1918 года стали организовываться сельскохозяйственные коммуны, товарищества по обработке земли и артели, которым Советская власть оказывала всяческое содействие и материальную помощь. Партия неоднократно подчеркивала, что создание коллективных форм хозяйства должно проводиться строго на добровольных началах. Коллективизация началась в обстановке хозяйственной разрухи, острой классовой борьбы, в условиях, когда не было предпосылок для массового колхозного строительства, отсутствовал опыт. Первые аграрные преобразования вызвали к жизни первые ростки социализма в деревне, однако мелкотоварный уклад еще в течение 10 лет оставался преобладающим. На V Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, состоявшемся в июле 1918 года, Ленин отметил, что прошли те времена, когда спорили о социалистических программах по книжкам, и что теперь за социалистическое строительство взялись миллионы рабочих и крестьян. Каждый месяц такой работы и такого опыта стоил, по словам Ленина, десяти, если не двадцати лет нашей истории.

В начале 20-х годов в литературе начала разрабатываться тема производственного кооперирования деревни. Знаменателен в этом плане рассказ А. Неверова «По-новому». Сила рассказа не в создании богатырских характеров и сюжетных перипетий, а в самой теме, злободневной и жизненной, в воссоздании писателем той радостной атмосферы коллективного труда и предощущения великой будущности начатого коммунарами дела. Шутка венчает первый трудовой день молодой коммуны. Избитый войной бывший солдат Мирон, поглядев на широко раскинувшиеся поля, на улыбающихся баб, мужиков и детишек, взволнованно произнес:

«— Идет, товарищи, вижу!

— Кто?

— Жизнь другая! Трудно языком сказать, не могу. Держаться надо за нее, не выпускать».

По-своему подходит к необходимости объединения бедноты в сибирской кержацкой деревне крестьянин Мартын из рассказа Вс. Иванова «Плодородие»: «Кабы да мне грамоту да обучение, я бы вас, толстопузых чертей, всех перевернул!» Он видит успех своего дела в «просвещении» богатеев, дескать, поймут и уступят беднякам часть земли, инвентаря, пастбищ. Мартын — истинный хозяин своей земли. Он, как и шолоховский Ефим из рассказа «Смертный враг», неподкупен, отказывается от подачки кулаков, идет до конца за мужицкую правду и погибает в неравной борьбе.

Уже в первые годы социалистического строительства в нашей литературе разрабатывается еще одна, новая для того времени тема. Это тема участия женщины-крестьянки в строительстве новой жизни. Именно советской литературе принадлежит заслуга открытия и разработки этой темы. Роль женщины в изменении старых устоев, в построении нового мира огромна. Вспомним ленинские слова: «Только с помощью женщины, ее вдумчивости и сознательности, можно укрепить строительство нового общества»[1].

В сборнике женская тема открывается рассказом А. Неверова «Марья-большевичка». Зачин рассказа традиционен. С приходом большевиков в деревню «раскрылись» глаза у забитой крестьянки Марьи. Бежит на собрания, книги-газеты читает, с мужем опять же — конфликт, даже рожать отказалась: первая женщина в Совете! Рассказ, правда, ведется от лица этакого деревенского пересмешника-Щукаря, ход событий излагается с некоторой долей иронии, даже пренебрежения. Дрёмный мужицкий атавизм «повелевания» женщиной мешает рассказчику увидеть обновленную душу Марьи. А в итоге консервативный деревенский «мир» выживает из деревни женщину: «Надоедать начала: очень уж большевистскую руку держала». Большевистский Марьин задор не вписывался в темный уклад деревни. Не исключено — кулаки с подкулачниками заели. А бывало и хуже — убивали. Им было за что. На арену открыто выступили две классовые силы — беднота и кулачество. Последние, обладая капиталом и средствами производства, прибирали к рукам отведенную бедноте землю. Накопив большие запасы хлеба, отказывались дать его Советской власти. Нависла угроза голода в Петрограде и других городах. Кулаки вместе с эсерами, меньшевиками и белыми офицерами громили комбеды, убивали коммунистов, советских работников и активистов из крестьян, грабили материальные склады. Наступили самые трудные дни революции. Судьба ее решалась на продовольственном фронте, здесь, в деревне, где наравне с мужчиной трудилась и женщина. К сожалению, долго еще за ней по традиции признавалась только эта привилегия.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 521.

Женская тема разрешалась разными писателями и с различным успехом, но начало ее в советской литературе трудно представить без Лидии Сейфуллиной. Именно сейфуллинская «Виринея» утвердила тему передовой русской женщины, силой и способностями поднявшейся из самых низов. В рассказе Сейфуллиной «Линюхина Степанида» — тот же тип деревенской женщины, даровитой и сильной, которая вслед за мужем-шахтером идет в революцию, становится подпольщицей, активисткой в поселке, а затем председателем сельсовета в родной деревне. «Жизнь-то бабья шире пошла»,— отвечает Степанида удивленной свекрови. Муж Степаниды, рабочий и революционер, находит в ней надежного человека, помощника, друга. В этом и был смысл новых человеческих отношений в трудовой, рабоче-крестьянской семье.

В сейфуллинской прозе вырастало и утверждалось женское право на выбор своей судьбы. И тут не было ничего вымышленного, романтического, преувеличенного, искаженного. Такие женщины и такие судьбы были в реальной жизни. Помимо неверовской Марьи-большевички и сейфуллинской Степаниды это Авдокея из одноименного рассказа Вс. Иванова, героини рассказов «Насельница» А. Чапыгина, «Половодье» А. Перегудова, «Спящая красавица» Н. Зарудина, «Под чистыми звездами» И. Катаева и, конечно же, рассказа А. Серафимовича «Бабья деревня».

Волей случая герой рассказа, молодой агитатор Сергей, попадает в одну из деревень, где, кроме единственного инвалида, нет ни одного мужика. Все порубаны, постреляны, повыбиты на двух прокатившихся войнах, мировой и гражданской. Все несладкое дело пашни, заготовки леса, кормов для скота, а также воспитание детишек лежит на плечах одних женщин. Сергей приехал агитировать их в коммуну. Однако неверное, опороченное врагами и укрепившееся в народе понимание сути этого слова возмущает деревенских баб. Все в своей деревне они устроили сами, да с каким еще завидным умением и рационализмом! Агитатор и называет их дело «коммуной». Так ведь и есть! И за это досталось: «Опять за коммунию взялся. Навязать хочешь нам. Ды ни в жисть! Штоб она сдохла, твоя коммуния!» Избитый и выброшенный вместе с курьером в снег, агитатор уезжает ночной дорогой. Потом вдруг останавливаются и оба решают еще возвратиться в деревню, выбрать себе невест — до того хороши девки.

Вспоминается ленинская осторожность в воспитательной работе среди крестьян, неприятие всяческих перехлестов и барабанного боя: «...Учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать!»[1] Во многих районах страны побывал тогда по заданию Ленина агитационно-инструкторский поезд «Октябрьская революция», которым руководил Председатель ВЦИК М. И. Калинин. Он разъяснял,

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 201.

что интересы рабочих и крестьян едины, что только в тесном союзе они могут добиться победы над интервентами, белогвардейцами и кулаками. Калинин нередко разбирал жалобы от крестьян и тут же, на месте, исправлял ошибки, учил молодые советские кадры, как надо работать.

* * *

Тяжело продвигалась к новому деревня. Страна была измучена гражданской войной и интервенцией, разрухой, голодом, обострившейся до предела классовой борьбой. Как вынужденная мера была введена продовольственная разверстка. С июля 1918 по март 1919 года в деревню было направлено свыше 40 тысяч передовых рабочих для изъятия хлебных излишков у крестьян, прежде всего у кулаков.

Продразверстка не идеал, указывал Ленин, а временная необходимая мера. Она была рассчитана на то, чтобы снабдить армию хлебом и спасти главную производственную силу — рабочих — от голода. В этом ее историческая заслуга. Крестьяне дали Красной Армии продукты и получили от нее защиту своей земли. В марте 1921 года был издан Декрет о замене продразверстки продналогом. Для середняков и бедняков он был пониженным. Крестьянство по своему усмотрению могло обменивать излишки продуктов на предметы промышленности. Рост сельскохозяйственного производства не замедлил сказаться на улучшении продовольственного снабжения городов, обеспечил более прочный союз рабочего класса и крестьянства, развитие внешней торговли. В 1924 году Советская Россия вышла на международный рынок, экспортируя 250 миллионов пудов хлеба.

Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу дал ощутимые результаты. Партия начала подготовку к наступлению на частнохозяйственный капитал. Дальнейшее социалистическое строительство в деревне влекло за собой уничтожение последнего и самого многочисленного эксплуататорского класса — кулачества. Ленин называл эту борьбу последним и решительным боем с русским капитализмом. Задача состояла в том, чтобы каждый мелкий крестьянин участвовал в построении социализма.

К середине 20-х годов в стране развернулась индустриализация промышленности, давшая селу трактора, машины, сыгравшие революционизирующую роль. Итогом механизации села стал гарантированный крестьянский хлеб. Рожденный революцией строй вступил в деревне в новую полосу самоутверждения.

Советская литература вместе со страной переживала переход к коллективизации. Каков он, тот человек, которому надлежит теперь строить социализм в деревне? В чем истоки подлинной общности побе-

дившего иарода? Суть — в объеднениии. Об этом говорится в рассказе А. Платонова «Велнкнй человек», герой которого, семнадцатилетний Грнша Хромов, поистине велнк своим трудом иа земле, в своем колхозе. Суть — в лнчном актнвном участнн каждого!..

К концу 20-х — началу 30-х годов, ко времени разгара коллективнзацин, в жизнь и в литературу вступает иовое крестьяиское поколенне — дети тех, кто участвовал в революции. Это платоновскнй Хромов, молодежь из рассказов П. Замойского «Плотниа», В. Шишкова «Свежнй ветер», Б. Шергииа «Лебяжья река», И. Меньшнкова «Тэиэко».

Молодые не только переделывают старый крестьяиский мнр, ио п увлекают стариков к постнженню нового смысла бытия: коллективиому труду, сотворчеству иа земле.

В рассказе А. Платонова «О потухшей лампе Ильича» крестьяиская молодежь демоистрнрует образец соцналнстической предприимчивостн. Стронт электростанцию в деревне, «впервые освещеииой от сотвореиия мира», пускает мельннцу, возделывает фруктовый сад. Все это прниосит пользу крестьяиам, радует нх. Одиако в целом оии еще ие готовы к такнм иовшествам, разобщеиы, иеграмотны. Усыплеииые первым успехом, парадиой фразой, крестьяне ие могут организовать защиту кровиого, завоеваиного. Подстроенный кулаками пожар иачисто уиичтожает электростаицию, все выгоды от нее, а заодио и пафос преобразователей.

Иное дело затеяла энергичная молодежь в рассказе В. Овечкииа «Глубокая борозда», организовавшая прочиую сельхозартель с тракторами, плугами и, на завнсть нерасторопным соседям и местиому кулачью, проложившая первую, глубокую борозду иа отведеиином участке. Труд торжествует и у комсомольцев в рассказе П. Замойского «Плотниа», объявивших под руководством учителя войну местиому попу, отсталому крестьяискому сходу, самогоищикам и любителям легкой пожнвы. Тут действуют корениые, глубинные силы, пробужденные революцней в молодежн. Нравственное влнянне молодежи иа деревню отражеио В. Шишковым в рассказе «Свежнй ветер», где иаряду с коллектнвиымн преобразованнямн показаиа и положительиая сила крепкого мужика, середняка.

Все это было нтогом большой оргаиизацноиной работы партин в деревне. И главиым тут оказался социальный сдвнг в созианнн массового земледельца — переход к коллективному делу, искреииий н бесповоротный. Это н была самая важная, самая глубокая борозда всероссийской пашии. Говоря словами прекрасного советского писателя И. Касаткииа, речь ндет «о добром, трудолюбнвом, мужествеииом, умиом иароде, о его великом подъеме».

Николай Ткаченко

Александр Неверов

•

Красноармеец Терехин

1

Вот как рисовалось будущее ему: живет он, Терехин, за отцом, исполняет отцовскую волю. Потом отойдет от отца, будет вести свою линию. Дадут ему лошадь, может быть, пару овец. Не лошадь, так коровенку. Выселят поближе к околице на свободный пустырь, и он, молодой хозяин, станет раздувать свое кадило: класть копеечку, рано подниматься, поздно ложиться. Лет через двадцать состарится, спустится под гору, выпустит на смену своих сыновей. А если придется поработать впустую — значит, судьба. Ничего не поделаешь.

Когда Терехин был маленьким, он уже видел, что у них с отцом очень нехорошая судьба,— не такая, как у Степана Сысцова. Степанова судьба из другой глины вылеплена. Сжалилась она над Степаном, построила ему пятистенную избу под жестью, полон двор нагнала лошадей с коровами, овец, свиней, насыпала разного хлеба амбар, берегла, как любимого сына.

В деревне про него говорили:

— Счастливый Степан — везет ему!

Терехиным — отцу с сыном — никто не вез. Избенка у них маленькая, тесная, грязная. Ни повернуться, ни разбежаться негде, и жили они в ней, как телята, привязанные веревкой за шею. Сроду из лаптей не вылезали. А пили-ели не то, что хотели, а то, чем судьба угощала. Угощала же она их очень скверной пищей. Отец вечно ругался, злился, плевал под ноги, замахивался на ребятишек.

— Скоро вы сдохнете, окаянные? Провалиться бы вам!

Ребята не проваливались.

Рассматривая свою жизнь, словно кобылу, выведенную на базар, думал отец:

«Что это такое? Руки у меня здоровые, не ленивые. Работаю в будни и в праздники. Не пьяница, не картежник, а живу, словно пес под чужими окошками. Почему это так?»

Ему казалось, что в нем не хватало хитрости, чтобы разбогатеть, смекалки, и в погоне за этой хитростью со смекалкой старый человек начал немножко воровать. Где борозду лишнюю припашет из чужого загона, где выпустит лошадь нарочно на чужие овсы, присвоит обрывок веревки, припрячет попавшийся гвоздь. Много было греха из-за этой хитрости, много скандалу, а пользы никакой. Приходилось драться, щелкать зубами, щетиниться, смотреть на людей красными, затравленными глазами, и все-таки жизнь не толстела от этого, полноты и довольства не было.

2

Наступила война с Германией.

Собрала судьба мужиков, поставила, словно баранов, приготовленных на убой, сказала:

— Идите!

Не хотелось идти, плакали, упирались,— и все-таки пошли. А когда уцелевшие вернулись домой с пустыми болтающимися рукавами вместо потерянных рук, с короткими обрубками ног,— судьбой возмущались, жаловались, но плюнуть в лицо ей никто не решался.

Пришла революция.

Это была не судьба, созданная невежеством, а гневная народная воля.

Терехин-старик незаметно помолодел, выпрямился, выше поднял голову, посмотрел вокруг веселыми, играющими глазами. И солнце стало другим, и старые, знакомые поля с перелесками сделались шире, просторнее.

Радовался и молодой Терехин.

Вот свобода наступила, и он уцелел от войны, остался нетронутым, имеет здоровые руки, ноги. Думал:

«Наплевать на других! Только бы мне хорошо. Засеем с отцом побольше, насколько силы хватит. Уродится,— в отдел уйду, сам буду хозяйствовать...»

Жадный был.

Наголодался за двадцать два года своей жизни и Степана Сысцова догнать хотел. На свободу смотрел как на

дойную корову, и все четыре соска хотелось захватить в свои руки, выдоить молоко в свой горшок.

Уцелел Терехин от царской войны, а революция поставила его в Красную Армию. Тогда он думал иначе. Думалдумал — затосковал. Ляжет уснуть — перед глазами войиа: холод, ветер, пустыиное поле. Щелкают ружья, ухают пушки, падают, ползают, барахтаются иа снегу окровавленные, обмороженные люди...

Хмурился Терехин, открывая глаза по иочам.

— Не пойду! Зачем война? Разве нельзя без иее?

С этими думами его усадили в сани, выпроводили за околицу, поплакали, как над покойииком, отправили в город. И всякий раз, лежал ли Терехии на отдыхе, шел ли степиыми проселками, увязая в сиегу, стрелял ли сам чужими, неповинующимися руками, прислушивался ли к выстрелам других, бегущих навстречу,— думал:

«Как только можно будет — убегу».

В сердце зрела измена. Боясь выдать себя, почти не разговривал ои. Все только прислушивался, молча стискивая зубы.

Спросят товарищи:

— Что такой, словно воды нахлебался?

Ответит:

— Ладно мие, какой есть...

3

Шли бои.

Одии уходили вперед, другие возвращались иазад иа иосилках, третьи оставались иа месте, пожертвовав жизнью за тех, кто оставался в живых, и в этом беспрерывном потоке люди падали, как листья, сорванные ветром. Сиова шли, чтобы упасть в другое время, на другом месте, сиова возвращались иазад иа носилках, незаметно терялись иа дальних дорогах, в туманах, оврагах.

Иногда собирались в ряды, шли беззаботной походкой, перекинув винтовки, пели, шутили, смеялись, устраивали чехарду. Загоняли друг друга в сугробы, тыкали головой в снег, зябко постукивали подмороженными сапогами.

Сзади и впереди тащились большеротые пушки на высоких колесах, гремели походиые кухни, поиуро шли оседлаииые лошади, дымил ветерок. Глядя на все, казалось: ие война это, ие страдание и ие страшное, что кружило

кольцом человека, а обычное, деловое,— ярмарочиый обоз, растерявшийся на длинной изрытой дороге. Идут и едут люди с забинтованными головами не навстречу смерти, а к шумному артельному самовару на постоялом дворе, и разговоры у всех простые: о табаке, о девчоиках, о хороших, плохих лошадях, уставших в походе.

Войны ие было.

А потом эти же спокойные, равнодушие люди отчаяино раздували иоздри, стискивали винтовки в прозябших руках. С размаху падали в снег, вытянув иоги, лежали разорванной цепью. Вскакивали, бежали вперед, снова падали, припадая губами к колючему, жесткому снегу.

Опять повторялось прежнее.

Некоторые шли дальше, некоторые оставались иа месте, раскинув руки, ноги. Попадались сорванные опалеиные шапки, красные пятна на снегу, мерзлый ботинок с оторваиной ступией, поломанная винтовка, выпавшая из разжавшихся рук.

У Терехииа было такое ощущение, словно он шел ие по земле, а по тонкой натянутой веревке: вот-вот оборвется веревка! Разъедутся задрожавшие иоги, полетит вниз головой... Люди, идущие рядом, казались непонятными. Их шутки, чехарда, бесстрашное кидание вперед, без жалости и раздумья, никак не укладывались в голове. Хотелось понять: почему это так? Он идет с опущеиной головой — они посмеиваются, разговаривают о табаке, лошадях, девчонках. Он прячется, отстает, ищет иевидящими глазами бугорок, долинку, заиесеиную снегом, чтобы укрыться от смерти,— они ие прячутся, ие скрываются, лезут вперед. Падают — и все-таки лезут. Разве им не хочется жить? Разве у иих иет отца и матери, жены и детей?

Не мог поиять Терехин.

И оттого что не мог понять внутренией силы, побеждающей холод, тоску и страдаиия, иес ои тяжелую иошу сомиеиий, жалости к себе, утомлеиия. Уже не думал о побеге, потому что бежать было иекуда, шел обречеиным, наполовину погибшим, мысленио прощался с роднымн. Иногда плакал украдкой, закрывая глаза. Мучила одна мысль:

Где, когда упадет ои, роняя винтовку?

Где, когда подойдет к иему смерть?

Одного хотел: умереть получше, поспокойиее, без лишних страдаиий. Хотя бы так вот: лежит он в цепи, отстреливается, думает о жизни, о том, что уцелеет, вернется до-

мой, засеет земли побольше, а пуля — прямо в голову. Сразу! Совсем ие жил человек...

Представляя себя убнтым, говорил Терехии, поблескивая отумаиеиными глазами:

— Прощай, жизнь! Будет иам с тобой, пожнли...

А хорошая жизнь стояла как на ладонке.

Рнсовалась пятнстенная изба под жестью, будто у Степаиа Сысцова. Проходнли лошади, коровы, овцы, свиньн, пять десятин ярового, пять десятин ржаиого. Теплая печка, баба рядом, жирные дымящнеся щн...

— Эх, поживешь... ие поживешь...

Видел Терехии, как ие взятые на войну рвали между собой хорошую, сытую жизнь, позабыв о нем,— в душе подиималась велнкая злоба. Мысленно плевал он им в глаза, лез иа кулаки н, ие разжимая плотно стиснутых губ, срамнл матерщиной.

— Сволочн толстолобые! На чужой счет хотите выехать? Постойте, я вам покажу, только бы домой вериуться...

4

В роте, где служил Терехин, убили Якова Московского. По годам он сверстником был Терехнну, только ростом повыше да плечн пошире. Шел ои по трудиому пути весело, беспечально, с распахнутой грудью. Будто иарочио пытал свою смерть. Падали впереди, позади и по бокам, пронизаные малеиькнми свистящими пулями, а Яков оставался иетронутым. Часто в растаявшей кучке маловерных, оробевшнх красиоармейцев с перепугаииыми лицамн только он один не мотался из стороны в сторону, укрепляя иедовольных и ропщущих.

И в перекрестных выстрелах, и в отчаяниых схватках бросающнхся на штыки, и в жерлах расставленных пушек, плюющнх через малеиькие подвериувшнеся деревии, видел Яков не волю отдельиых людей, а волю нензбежного закоиа. И он, подчииеиный этому закоиу, зиал, что борьба за равеиство иемало потребует кровн. Зиал Яков, что человечество, заведеииое в тупнк, еще ие раз приаесет огромиую жертву, дабы жизнь иа земле не была проклятием для замученных нищетой и бесправием. И он, маленькая капля в разгневаином море, борется ие за пятистеииую избу под жестью, ие за собствеиных лошадей с коровами, а за вели-

кую справедливость, которая ведет его по тернистой дороге мимо перепуганных деревень, выглядывающих из сугробов. Та изба, которая представлялась Якову, была и светлее и шире — целая освобожденная жизнь, начатая и выложенная руками трудящихся. Ему не было обидно, что он не попадет в новую избу. Радовался он и тому, что войдут в нее другие, стоящие теперь перед запертыми дверями. Сознание, что он страдает и умрет не за себя, а за других, может быть и не думающих о нем, укрепляло его, делало бодрым, годным на все...

Терехин часто смотрел на Якова украдкой, через чью-нибудь голову, из-за поднятых плеч, и каждое слово, сказанное Яковом, бережно укладывал в голове. Иногда ему жалко было веселого, спокойного Якова, уходящего на страшное, рискованное дело по ночам. Хотелось подойти и сказать:

«Убьют, не ходи!»

Но сказать не хватало смелости.

Валяясь на отдыхе, долго бродил он за Яковом мысленно: спускался в овраги, вылезал на бугры, освещенные ущербленным месяцем, ползал на животе по синему, чуть-чуть похрустывающему насту, вздрагивал, пожимался, чутко ловил шорохи. А когда возвращался Яков с разведки, такой же спокойный, с промороженными щеками, Терехин чувствовал, что Яков чем-то подчинил его, притягивает к себе. Спрашивал он, будто шутя:

— Страшно там?

Видел Яков, что Терехин внутренно раздавлен, говорил:

— Если не понимаем теперь, потом поймем: нельзя нам строить новую жизнь в одиночку. Или мы обгоним, или нас оставят позади. По-другому надо...

Для Терехина, прожившего двадцать два года в степной тишине, слова, сказанные Яковом, были нелегкими. А когда Терехин рисовал в будущем хозяйское гнездо, на которое сядет после войны, Яков качал головой.

— Ерунду выдумываешь, брат. Никогда ты не дойдешь до такого блаженства. Будешь бежать, торопиться, жадничать, лаяться с соседями, с женой, ребятишками. Ухватишься за лошадиный хвост и будешь держаться до самой могилы...

Ушел Яков в последний раз в темную буранную ночь на разведку и больше не вернулся. Терехин ждал несколько дней. Ему казалось, что это неправда и Яков должен вернуться. Отворит дверь неожиданно, скажет:

— Вот и я пришел! Все живы-здоровы?

Яков не шел.

Утро сменялось полднем, полдень — вечером. Наступала длинная, бесконечная ночь. Слышались чьи-то шаги под окнами, щелкал мороз, стукаясь головой в тоненькие стены избушки, где стояли на отдыхе. В душе нарастала тревога. Не стало только Якова, а будто вырезали кусок здорового мяса, полоснули ножом. В голову лезли мысли, оставленные Яковом. Жизнь повертывалась к Терехину то одной, то другой стороной. На одной стороне стояли лошади, пятистенная изба под жестью, как у Степана Сысцова. Висели ременные хомуты, намазанные дегтем поперечники, дуги, седелки. Зрели, наливаясь крупным колосом, собственные десятины, насыщающие голодное сердце. А на другой стороне стоял Степан Сысцов с мягкой расчесанной бородой, весело играл голубыми глазами и потихонечку, но без остановки двигался на засеянную Терехиным яровину, теснил, нажимал, отсовывал в сторону.

Открывая глаза, видел Терехин около себя спящих, похрапывающих чуваш с голыми пятками, молодых татарчат с круглыми обросшими головами. Видел сложенные в углу седла, чайники, мешки, развешанные портянки с чулками — в сердце наливалась обида. Представлял себе спящую деревню, уложенную на полу, на кирпичах, на кроватях, — сердился: на себя ли самого, на этих ли вот чуваш с татарчатами, плачущих, бормочущих во сне, или на тех, кто остался в деревне. Нарастало недовольство ко всей жизни, в которой он путался двадцать два года. И если жизнь эта опять повернется назад? Если затрут его, отсунут, обсчитают более ловкие? Смирные глаза у Терехина начинали тогда искриться, ущемленное сердце кричало:

— Нет, нельзя!

Видел он перед собой не Степана Сысцова с мягкой расчесанной бородой, не отдельного человека, которого знал с самого детства, а сотню, целую тысячу таких же Степанов, протягивающих длинные, несытые руки. Рано или поздно, — все равно расклюют они пятистенную избу, которую строит он мысленно, и новую, неокрепшую жизнь, из-за которой убили Якова.

Не давали спать мысли, посеянные Яковом, а минутами и сам Яков подходил к нему.

— Думаешь? Думай, думай. Много надо думать тебе. Сырой ты, необработанный. Темнота заела вас, жадность...

Вглядываясь в прошлое, видел Терехин эту темноту и в

себе, и в своем отце, ворующем ржавые гвозди. Все они — пораженные, робкие, завистливые. Каждый старается обмануть друг друга, растолстеть в одиночку. Только Яков никогда не заглядывал в свою сумочку и, уходя из жизни, оставил после себя лишь несколько тоненьких книжек в запертом сундуке да хорошую, спокойную улыбку. И чем больше думал Терехин, тем меньше было тоскливого чувства, подкашивающего ноги. Увидел он и свои двадцать два года, и свою нищету, и собачью погоню за хорошим житьем,— понял: если гнаться и дальше за этим житьем по-прежнему в одиночку — никогда не догонишь его. Понял и то, что не было сказано Яковом, но подошло и раскрылось само. А подошла и раскрылась перед ним великая, тяжелая истина: ему, как и Якову, придется умереть за других. Не за себя только, не за свой пятистенок, а за светлую, просторную избу для всех; для этих чуваш с татарчатами, если уцелеют они в боях, и для тех, кто остался в деревне, кого знает и не знает он, но кто пойдет вслед за ним по непройденной, рано оборвавшейся дороге.

От сознания, что это будет так, а не иначе, сердце у Терехина обволакивалось плачущей грустью. Горько и обидно было, что умереть все-таки должен он, а не другие. Он еще не жил, и ему хочется жить... Жалко и морозных ночей с похрустывающим снежком под ногами, и дымное, завьюженное поле с редкими вехами узких проселков. Но в эти минуты к нему подходил Яков, погибший за других, поддерживал спокойной улыбкой:

— Нельзя по-другому, товарищ, пойми!

А в уши шептал знакомый пугающий голос:

— На кого идешь? Подумай! На братьев своих идешь...

Терехин упрямо мотал головой.

Видел он не мужиков, темных, слепых и покорных, выставленных против него, а другие лица, другие глаза, выглядывающие из-за мужицких плеч... Видел врагов, не виданных раньше. Они убили мужицкими руками и бескорыстного Якова. Они держали и их с отцом в грязной телячьей избенке. Они и воровать заставляли отца, щелкать зубами по-звериному...

Ночь была темная.

Подымалась метель.

За околицей в степи крутило воронкой. Снег набивался в уши, глаза, таял, замерзал на губах. Терехин шел, сжи-

мая винтовку, и мысленно говорил Якову, ободряющему спокойной улыбкой:

«Иду!..»

1919

По-новому

1

Мирон проснулся рано. В щели плетня под сараем смотрело туманное утро, тело зябко прохватывало холодком. Рядом с телегой лежала корова, отдуваясь ноздрями. В темноте под крышей сонно разговаривали куры.

Вышел Мирон со двора, посмотрел из-под ладони на улицу. Прислушался к редкому скрипу ворот. Перекинул уздечку через плечо, торопливо пошел на выгон за лошадью. Через полчаса ехал на маленькой острозадой кобыле, по-ребячьи болтая босыми ногами. Лошадь, выкидывая задние ноги, брала на скачок, пробовала рысью. Фыркала, спотыкалась, трясла головой. Хвост и грива, положенная на обе стороны, были забиты репьями. Редкая, свалявшаяся челка на лбу, тоже в репьях, походила на огромный букет, хлопающий по глазам. Мирон, подпрыгивая, взмахивал руками. Навстречу попадались бабы, выгонявшие коров. Кашляя, шли овцы, звонко кричали ягнята. Пересекая дорогу им, вылетали собаки, хватали лошадь за хвост. Овцы шарахались в сторону, бабы ругались. Мирон улыбался веселой улыбкой.

— Прискакал? — спросил подошедший шабёр.

— Прискакал.

— Что больно рано?

— Так уж, эдак.

Пустил лошадь к колоде, сбегал к Ивану, живущему через восемь дворов. Заглянул к Игнату, постучал в окно к Шалферову. С Тереньковым встретился в переулке. Шел Тереньков с гумна, тащил прошлогодней мякины в лукошке.

— Значит, едем? — спросил Мирон.

— А что?

— Так, ничего.

— Что бегаешь?

— Не сидится. Зуд во мне пошел.

Дома долго кружился около телеги, щупал прогнившие лубки, осматривал колеса. Дружески разговаривал с лошадью, хлопающей губами в колоде.

— Вот и иа иашей улице праздник. Теперь и мы поживем. Чуешь?

В избе шебутилась жеиа. Мирои ей сказал:

— Моложе я стал лет на пятиадцать.

— Что это?

— Больио уж хорош. Дух радоватся. И тебе легче будет там, ты ие сумлевайся.

— Дай бог!

Мирои подиял палец:

— Постой! На бога шибко не иадейся — это старая штука. Мы хотим по-новому, без всяких чудес.

— Как же без бога-то?

— У иас другой будет. Вот здесь.— Мирон показал на грудь.— Этому не надо ни попов, ни кадилов.

2

Жил он иа птичьих правах в двухоконной избе. Осенью ее проливало дождями, зимой продувало ветрами, заиосило сугробами. Сидел Мирои с ребятишками, как хорек в норе, выглядывая в подморожеииые окиа. Мужик ои здоровый, выносливый, и прозвали его за эту выиосливость быком. Но как ни упирался, как ии тужился, чтобы вытащить себя из иужды,— не вытащил.

Когда потребовались здоровые мужики бить немецких и австрийских мужиков, Мироиа взяли иа войиу. Миого ои их перебил: и пулями, и штыком, и прикладом. Поднятый среди иочи, озлобленно стискивал прозябшие губы. Озверевший от холода, грязи, от иевыиосимой обиды, таящейся в сердце, с ревом бросался вперед, кубарем падал в окопы, исцарапаиный висел на колючей проволоке, запутавшись иогами. Без милости, без милосердия разбивал прикладом головы иемецких, австрийских солдат.

За что — этого ие знал, а подумать, поговорить об этом некогда было, ие с кем. Вокруг толкались такие же озлоблеииые мужики, согиаииые из разиых деревень. Одно надоевшее слово слышали все:

— Враги!

Перед каждой битвой на составленных козлами ружьях горели тонеиькие свечи, сизыми кольцами вился кадильный

дымок. Пухлые поповские руки поднимали над склонившимися головами маленькое, освещенное солнцем распятье. Под ним, холодея, сжималось испуганное сердце. Маленькое распятье, благословляющее трупы убитых, давило камнем. Мысли путались. Мирон снова шел, одурманенный зельем. Снова ревел по-звериному, догоняя немецких, австрийских солдат. Снова ложился под грязную окровавленную шинелишку до первой тревоги.

На четвертый год положили в лазарет. Пока лежал, стал думать. Увидел настоящих врагов, посылавших на немецких, австрийских солдат. Трехлетняя война дала гниющую рану в спине да бронзовую медаль «За отличие». Разглядывая награду, Мирон обиженно крутил головой.

— Эх, дурак, дурак! Отличился.

Избенка дома встретила худыми, разбитыми окнами, упавшим карнизом. По двору бродила все та же кобыла с отвислой губой и старая надоевшая нужда с разинутым ртом. Не успел Мирон оглядеться, со всех сторон окружили старые непримиримые враги: волчья несытая злоба, щелкающая зубами, бессмысленная мужицкая жадность, мешающая жить. Купеческие участки расклевывались хозяйственными мужиками. Беднякам и калекам приходилось собачиться, тащиться в хвосте. Чувствовал Мирон: как сидел на дне, так и опять будет сидеть. Поставить себя на ноги не сумеет один.

На помощь пришел Тереньков из плена, принес ободряющие мысли. Взвесили они с Мироном на весах в голове у себя, начали собирать других.

— Товарищи, в одиночку наше дело не пойдет. Гляди, какие мы: кто без руки, кто без ноги. Руки есть — лошади нет. Лошадь есть — телеги нет. Правда?

— Правда.

— Вот и давайте по-другому.

Тут Тереньков произнес неслыханное слово «коммуна». Покатилось оно по улицам, как сказочный колобок.

— Обиженных в ней никого не будет. Нам не капиталы копить и не людей давить. Ты обопрешься на меня, я обопрусь на тебя. Так и пойдет кучкой.

Мирон оказался главной пружиной. Около него дружно заработало несколько человек. Мужикам на собранье объявили:

— Лизарихин участок мы берем под коммуну. Кто хочет пойти с нами, милости просим.

Филипп Карташев выступил с насмешкой:

— Кто это — мы?
— Вставай, которые с иами.
Поднялись: Мирои, Иван Быстренький, Коидрат Сухоедов, Шалферов, Лизуиков, Гришины два брата.
— Вот кто! Гляди, если не видал.

3

Деиек разыгрался хороший. Небо синее, ведрениое. Когда над гумнами поднялось утрениее солнышко, Мирон вывел со двора кобылу, запряжеиную в телегу. Держа в руках длинные, мешающие концы вожжей, тронулся по порядку. С левой оглобли Иван пристегиул своего меринишку, шумио фыркающего мокрыми иоздрями. Хвост ему закрутил, словно собирался на свадьбу. Похлопывая по спине пару отощавших коней, сказал:
— И-эх вы, буржуйчики!
Оба с Мироном смеялись.
По улице тронулся маленький поезд, гремя привязанными сзади плужками. Впереди ехал Шалферов на костлявом мерине, запряжеином в рыдваи. Позади иа телегах сидели бабы, девчонки в белых платках. Мужики шли по бокам шумными, говорливыми кучками.
На деревне смеялись:
— Гляньте-ка скорее, коммуиисты поехали.
Вслед им кричали:
— Тронулись? На иовую землю?
— Выдумщики!
Овчииников-старик смотрел со своей завалинки, как гриб из-под иахлобученной шапки, недоумевающе качал старой, опорожненной головой:
— Цыгане, что ли, поехали?
Мирои волиовался, как маленький. Солнышко светило хорошо, приветливо. Под согревающим теплом росли новые мысли. Виделась впереди обновленная жизнь, построеиная общим трудом и любовью. Виделось широкое вольное поле, выращеиное общими руками иа общую пользу. Смотрел Мирон вокруг светлыми, заигравшими глазами, думал:
«Хорошо!..»

4

Лизарихин хутор стоял на горе. Окружали его старые, многолетние липы. Вверх по косогору шли иеподнятые залежи, упирающиеся в посевы. Под горой, в котловиие, бле-

стело широкое озеро с отлогими берегами. Около деревянных мостков, посаженных в озеро, стояла спущенная лодка, наполовину залитая водой. Плавало старое разбитое колесо, торчала худая квашонка, опрокинутая набок.

Низкий дом с шестью окнами на солнечной стороне поглядывал в далекий синеющий горизонт, упавший на темнозеленое поле. Пусто, просторно в дому. Закупоренный воздух попахивал гнилью. Штукатурка на стенах осыпалась, пауки развесили паутину. Чопорно стояли мягкие стулья с обшитыми сиденьями. Тускло поблескивало пианино с поднятой крышкой, покрытой налетами пыли.

Мирон дотронулся до клавишей. По комнатам со слепыми закрытыми окнами беспорядочно запрыгали звуки.

— Ого! Заговорила!

— Это она с нами ругается — зачем пришли сюда.

— Пущай ее ругается.

Быстренький удивлялся, разглядывая изразцы:

— Жили-то как? Барами!

— Вот тебе и Лизариха! Будя.

— Кабы не вернулась, каяиная!

— Вернется на том свете.

Тереньков осматривал комнаты:

— Здесь будем собрания устраивать.

Пошли по двору всей артелью, расценили постройки, распределили работу. Шестеро отправились на участок с плугами, бабы с девчонками подоткнули сарафаны. До полудня выметали пыль, мыли полы, расставляли уцелевшую мебель. Кондрат с Лизуиковым постукивали топорами во дворе. Паранька, Кондратова дочь, готовила первый обед на Лизарихиной кухне с чугунной плитой. Санька Лизункова носила воду с колодца, чистила картошку.

Мирон работал на участке. Вошло в него молодое, распустившее крылья, несло, поднимало. Когда увидел дымок, плавающий над хутором, весело прикрикнул на лошадей, пролагающих общую товарищескую борозду:

— И-эй, потягивай!

Обедали на маленькой террасе, выходящей на озеро, за общим артельным столом. Громко постукивали ложками, шутили:

— Здравствуй, Лизарьевна!

— За наша здоровьичка!

Выйдя из-за стола, Мирон посмотрел на широко раскинутые поля, изрезанные перелесками, долго стоял неподвижно. Обернулся к товарищам. Посмотрел на улыбаю-

щихся баб с девчонками, на Михалева, выставившего деревяиную ногу, взволиоваино сказал:

— Идет, товарищи, вижу!

— Кто?

— Жизнь другая! Трудно языком сказать, не могу. Держаться иадо за иее, ие выпускать.

Тереиьков говорил:

— Учиться иадо, вслепую не стоит. Фоиарь зажечь в голове. Без огня далеко не уйдем.

Коидрат удивлялся:

— Как во сие! И ие верится, что это мы с Гараськой.

Мирои возбужденно вытягивал шею, собираясь сказать иенайдениое слово. Радостио окидывал глазами собравшихся, улыбался широкой улыбкой вместе с солнышком, которое улыбалось мужикам с голубого весениего неба.

1920

Марья-большевичка

1

Была такая у иас. Высокая, полногрудая, брови дугой поднимаются — черные! А муж с наперсток. Козонком зовем его. Так, плюгавенький — шапкой закроешь. Сердитый — ие дай господи. Развоюется с Марьей, стучит по столу, словно кузиец молотком:

— Убью! Душу выну...

А Марья хитрая. Начнет величать нарочио, будто испугалась:

— Прокофий Митрич! Да что ты?

— Башку оторву!

Оиа еще ласковее:

— Кашу я нынче варила. Хочешь?

Наложит блюдо до краев, маслица поверху пустит, звездочек масленых наделает. Стоит с поклоном, угощает по-свадебному:

— Кушай, Прокофий Митрич, виновата я перед тобой...

Любо ему — баба ухаживает, иос кверху дерет, силу большую чует.

— Не хочу!

Марья как горничная: воды подает, кисет с табаком

ищет. Разуется посреди избы — лапти уберет, чулки в печурку сунет. Ночью на руку положит, по волосам погладит и на ухо помурлычет, как кошка... Ущипнет Козонок — улыбается.

— Что ты, Прокофий Митрич! Чай, больно...

— Беда — больно... раздавил...

И еще ущипнет: дескать, муж, не чужой мужик. Натешит сердце, она начинает его:

— Эх ты, Козон, Козон! Плюсну вот два раза, и не будет тебя... Ты думаешь, деревянная я? Не обидно терпеть от такого гриба?..

2

Раньше меньше показывала характер, больше в себе носила домашние неприятности. А как появились большевики со свободой да начали бабам сусоли разводить, что вы, мол, теперь равного положения с мужиками, тут и Марья раскрыла глаза. Чуть, бывало, оратор какой — бежит на собранье. Вроде стыд потеряла. Подошла раз к оратору и глазами играет, как девка.

— Идемте, товарищ оратор, чай к нам пить.

Козонок, конечно, тут же — в лице изменился. Глаза потемнели, ноздри пузырями дуются. Ну, думаем, хватит ее прямо на митинге. Все-таки вытерпел. Подошел бочком, говорит:

— Домой айда!

А она, нарочно, что ли... Встала на ораторово место, да с речью к нам:

— Товарищи крестьяне!

Мы так и покатились со смеху. Тут уж и Козонок вышел из себя:

— Товарищ оратор, суньте ее, черта!

Дома с кулаками на нее налетел:

— Душу выну!

А Марья поддразнивает:

— Кто это шумит у нас, Прокофий Митрич? Страшно, а не боязно...

— Подол отрублю, если будешь по собраньям таскаться!..

— Топор не возьмет.

Разгорелся Козонок, ищет — ударить чем, Марья с угрозой:

— Тронь только: все горшки перебью о твою Козонячью голову...

С этого и началось. Козонок свою власть показывает, Марья — свою. Козонок лежит на кровати, Марья — на печке. Козонок — к ней, она — от него.

— Нет, миленький, нынче не прежняя пора. Заговенье пришло вашему брату...

— Иди ко мне!

— Не пойду.

Попрыгает-попрыгает Козонок, да с тем и ляжет под холодное одеяло. Раз до того дело дошло — смех! Ребятишек перестала родить. Родила двоих — схоронила. Козонок третьего ждет, Марья заартачилась. Мне, говорит, надоела эта игрушка...

— Какая игрушка?

— Эдакая... Ты ни разу не родил?

— Чай, я не баба.

— Ну, и я не корова, телят таскать тебе каждый год. Вздумаю когда — рожу.

Козонок на дыбы:

— Башку оторву, если будешь такие слова говорить!..

Марья тоже не сдает. Я, говорит, бесплодная стала...

— Как бесплодная?

— Кровн во мне присохли... Будешь неволить — уйду.

В тупик загнала мужика. Бывало, шутит, по шабрам ходит, после этого — никуда. Ляжет на печку и лежит, как вдовец. Побить хорошенько — уйдет. Этого мало, на суд потащит, а большевики обязательно засудят: у них уж мода такая — с бабами нянчиться. Волю дать вовсю — от людей стыдно, скажут — характера нет, испугался. Два раза к ворожейке ходил — ничего не берет! Начала Марья газеты с книжками таскать из союзного клуба. Развернет целую скатерть на столе и сидит, словно учительница какая, губами шевелит. Вслух не читает. Козонок, конечно, помалкивает. Ладно, читай, только из дому не бегай. Иногда нарочно пошутит над ней:

— Телеграмму-то вверх ногами держишь... Чтица!

Марья внимания не обращает. А книжки да газеты, известно, засасывают человека, другим он делается, на себя непохожим. Марья тоже дошла до этой точки. Уставится в окно, глядит. Мне, говорит, скушно...

— Чего же ты хочешь?

— Хочу чего-то... не здешнего... По-другому пожить.

Казнится-казнится Козонок, не вытерпит:

— Эх, и дам я тебе, чертова твоя голова! Ты не выдумывай!..

А она и вправду начала немножко заговариваться. В мужицкое дело полезла. Собранье у нас, и она торчит. Мужики стали сердиться.

— Марья, щи вари.

Куда там! Только глазами поводит. Выдумала какой-то женотдел. И слова такого никогда не слыхали мы — не русское, что ли. Глядим, одна баба пристала, другая баба пристала, что за черт! В избе у Козонка курсы открылись. Соберутся и начнут трещать. Комиссар из Совета начал похаживать к ним. Наш он, сельский. Васькой звали допрежде, перешел к большевикам — Васильем Иванычем сделался. Тут уж совсем присмирел Козонок. Скажет слово, а на него в десять голосов:

— Ну-ну-ну, помалкивай!

Комиссар, конечно, бабью руку держит — программа у него такая. Нынче, говорит, Прокофий Митрич, нельзя на женщину кричать — революция... А он только ухмыляется, как дурачок. Сердцем готов надвое разорвать всю эту революцию — боязно: неприятности могут выйти. А Марья все больше да больше озорничает. Я, говорит, хочу совсем перейти в большевистскую партию. Начал Козонок стыдить ее. Как, говорит, тебе не стыдно? Неужели, говорит, у тебя совести нет? Все равно, не потерпит тебе господь за такое твое поведение.

Марья только пофыркивает.

— Бо-ог? Какой бог? Откуда ты выдумал!

Прямо сумасшедшая стала. С комиссаром не стесняется. Он ей книжки большевистские подтаскивает, мысли путает в голове, а она только румянится от хорошего удовольствия. Сидят раз за столом плечико к плечику, думают — одни в избе, а Козонок под кроватью спрятался: ревность стала мучить его. Спустил дерюгу до полу и сидит, как хорек в норе. Вот комиссар и говорит:

— Муж у вас очень невидный, товарищ Гришагина. Как вы только живете с ним — не понимаю.

Марья смеется.

— Я не живу с ним четыре месяца... Одна оболочка у нас...

Он ее — за руки:

— Да не может быть? Я этому никогда не поверю...

А сам все в глаза заглядывает, поближе к ней жмется.

Обнял повыше поясницы, держит. Я, говорит, вам сильно сочувствую...

Слушает Козонок под кроватью — вроде дурного сделался. Топор хотел взять, чтобы срубить обоих — побоялся. Высунул голову из-под дерюги, глядит, а они над ним же на смех: мы, говорит, знали, что ты под дерюгой сидишь...

3

Стали мы Совет перебирать. Баб налетело, словно на ярмарку. Мы это шумим, толкуем, слышим, Марьино имя кричат:

— Марью! Марью Гришагину!

Кто-то и скажи из нас нарочно:

— Просим!

Думали, в шутку выходит, хвать — всерьез дело пошло. Бабы, как галки, клюют мужиков: вдовы разные, солдатки — целая куча. А народ у нас не охотник на должности становиться, особенно в нынешнее время — взяли и махнули рукой. Марья так Марья. Пускай обожгется...

Стали Марьины голоса считать — двести пятнадцать! Комиссар, Василий Иваныч, речью поздравляет ее. Ну, говорит, Марья Федоровна, вы у нас первая женщина в Совете крестьянских депутатов. Послужите. Я, говорит, поздравляю вас с этим званием от имени Советской Республики и надеюсь, что вы будете держать интересы рабочего пролетариата...

Глаза у Марьи большие стали, щеки румянцем покрылись. Не улыбнется — стоит.

— Я послужу, товарищи. Не обессудьте, если не сумею — помогите.

Козонок в это время сильно расстроился. Главное, непонятно ему: смеются над ним или почет оказывают. Пришел домой, думает. «Как теперь говорить с ней? Должностное лицо». Нам тоже чудно. Игра какая-то происходит. Баба и вдруг — в волостном Совете, дела наши будет решать... Ругаться начали мы между себя:

— Дураки! Разве можно бабу сажать на такую должность...

Дедушка Назаров так прямо и сказал Марье в глаза:

— Ой, Марья, не в те ворота пошла.

Она только головой мотнула:

— Меня мир выбрал — не сама иду.

4

Прнходим в Совет поглядеть на нее — не узиаешь. Стол поставила, чериильннцу. Два караидаша положила — сниий и красный. Около — секретарь с бумагами строчится. А оиа и голос, проклятая, другой сделала. Так н ширяет глазамн по строчкам.

— Это по продовольствеиному вопросу, товарищ Еремеев?

Разведет фамилню на бумаге и опять, как начальинк какой:

— Списки готовы у вас? Поскорее коичайте!

Глазам не верим мы. Вот тебе Марья! Хоть бы покраснела разок... Так и кроет нас всех «товарищамн». Пришел раз Климов-старнк, оиа н ему такое же слово:

— Что угодио, товарищ?

А ои терпеть не мог этого слова — лучше на мозоль иаступи. Хотя, говорит, ты и волостной члеи, иу а я тебе — не товарищ... Да разве смутишь ее этим. Через месяц стала шапку с пнкой иосить, рубашку мужицкую надела, иа шапку звезду приколола. Мучался-мучался Козоиок, начал разводу проснть у иее.

— Ослобоии меня от эдакой жнзин... Я не могу... Другую женщиину буду искать — подходящую.

Марья рукой махнула:

— Пожалуйста, я давио согласна.

Месяцев пять служила у иас — надоедать начала: очень уж большевистскую руку держала, да н бабы началн заражаться от нее: та фыркнет, другая фыркиет, две совсем ушлн от мужьев. Думали, ие избавнмся иикак от такой головушки, да история малеиькая случилась: нападение сделали казаки. Села Марья в телегу с большевнкамн, уехала. Куда — не могу сказать. Видели будто в другом селе, а може, ие оиа была — другая, похожая. Много теперь развелось их.

1921

Алексей Новиков-Прибой

●

Зуб за зуб

I

Точно плотным войлоком, окуталось небо черными тучами, сгущая над сибирским городом сумрак ночи. Иногда, где-то в мрачной дали, ломаными линиями полыхала молния, угрюмо ворчал гром, предвещая грозу. По темным закоулкам и задворкам шарил ветер, подвывая в щелях построек, ощупывал платье патрулей, обливая тело августовским холодком. Тополя таинственно качали вершинами и шептались. На пустынные улицы, притихнув, смотрели слепыми окнами дома, будто прислушиваясь к тревожным звукам ночи.

Город казался мертвым.

Только жила одна женская гимназия — жила пьяной и чадной жизнью.

Из раскрытых окон трехэтажного здания вырывались веселые звуки рояля, смешиваясь с возбужденными голосами мужчин и женщин. Иногда музыка сливалась с хоровым пением. Это внутри помещения, в большом зале, отведенном под офицерское собрание, гусары смерти устроили бал.

Капитан Прибылев запоздал и явился в то время, когда пир был в полном разгаре. Комната, в которую он вошел, была уставлена длинными столами с разными винами и закусками.

— А, Николай Валентинович! Добро пожаловать! — раздалось разом несколько голосов.

— Здравия желаю! — звякнув шпорами, бойко отчеканил капитан и начал здороваться с каждым за руку.

Высокий ростом, статный корпусом, с большими усами на гладко выбритом лице, он имел вид лихого офицера. Но вместе с тем в нем чувствовался какой-то душевный над-

лом: круглая, как шар, голова преждевременно посеребрнлась, а большие глаза смотрели на все с мрачной разочароваииостью.

— Пожалуйста, Николай Валентннович, чего вам угодно — иастойка, коньяк, иаливка,— показывая на ряд бутылок, предложил ему подполковник.

— Благодарю вас, господни полковиик! Я предпочитаю отечествеииую...

Прибылев иаполнил чайиый стакан простой водкой и, запрокииув голову, залпом осушил его до диа. Ои закусывал молча, выбирая блюда поострее — кетовую икру, мариноваииые грнбки, коисервированный перец. Потом, выпивая уже малеиькимн рюмкамн, перешел иа ветчииу и гуся, усердно смазывая каждый кусок крепкой горчицей.

А в это время подполковник, порядочио захмелевший, держа за пуговицу молодеиького офицера, порывавшегося убежать иа зов буриой музыки, говорил:

— Во всей иашей политике нужиа твердость н решительность. Я ие поиимаю, о чем только думают в Омске? Нужно все иаселеиие привести в трепет, доказать ему, что беззакоиие иедопустнмо, что каждая попытка к буиту будет потоплеиа в крови. В противиом случае отдельные партизанские отряды могут слиться в одну общую грозиую снлу. Что тогда будем делать? Чумазый хам раздавит иас, сметет всю нашу культуру...

— Не раздавит, господии полковиик, еслн только поправятся дела иаши на главном фронте. Лишь бы только красиых прогнать обратио за Урал. А с партизанамн мы справимся в два счета...

— На сегодияшиий вечер забудем о всех фронтах и будем только веселиться,— вставил Прибылев.

— Ну какой вы безбожиик, Николай Валентинович! — наполияя комиату острым запахом духов, бойко заговорила только что вошедшая дама, красивая брюиетка.

— В чем дело, Капитолииа Павловиа? — кланяясь и целуя иежно руку, спросил Прибылев.

— Вы так опоздали! Без вас ужасно было скучно! Вы зиаете, как я влюблеиа в ваше пеиие?..

— К сожалеиию, только в пение, не больше...

Капитолина Павловиа, тряхнув пушистымн локоиами, громко рассмеялась, нграя золотым, усыпаиным брилллнантамн крестом иа полуобнажеиной груди.

— Вы очень скоропалительны, Николай Валентиновнч!

— Быстрота и натиск — тактнка самого Наполеона.

Разговаривая, они вдвоем пошли в другую комнату, где офицеры и дамы, усевшись за большим столом, играли в «железку».

— А, счастливая пара! — раздались голоса.— Честь и место вам за нашим столом.

Прибылев, оставив свою даму, подошел к столу ближе.

— Я не прочь, как всегда, раз рискнуть, но только прошу, господа, не сердиться на меня, если я вас обыграю...

— Цыплят по осени считают,— вставил кто-то.

Прибылев, не присаживаясь, встал между двух стульев, ожидая своей очереди.

Было чадно от табачного дыма. Офицеры острили, рассказывали анекдоты, смеялись, возбужденные игрою и выпитой водкой. И вдруг все замолчали, насторожились. Банкомет обошел весь круг, собрав крупную сумму денег.

— Капитан, вам предлагается двадцать две тысячи!

Прибылев без колебания вытащил бумажник, отсчитал нужную сумму и произнес:

— Пожалуйста!

Внимание всех сосредоточилось на двух противниках. Банкомет растерялся, заметив уверенный взгляд капитана, изменился в лице, тонкие пальцы вздрагивали. Посмотрев в свои две карты, он еще больше смутился, говоря упавшим голосом:

— Даю карту.

— Не смею отказаться от вашей любезности,— не сводя глаз с противника, ответил капитан с таким равнодушием, точно спор шел о чужих деньгах.

Бросив капитану пятерку, а себе семерку, банкомет сразу просиял весь и радостно воскликнул:

— Восемь!

Обе руки, точно щупальца, протянулись к середине стола, жадно хватая деньги.

— Вы торопитесь, поручик! Счастье висело на кончике вашего носа, но досталось не вам,— промолвил капитан, медленно открывая свои карты.

Банкомет вздрогнул, побледнел, готовый свалиться, и хотя никакого сомнения не было, что у противника девять очков, он долго всматривался в них, что-то с трудом соображая, точно потерял способность считать.

— Вот человек, который находится вне божеских и человеческих законов: ему одинаково везет и в любви и в карты,— произнес один из офицеров.

Капитан, сохраняя полное спокойствие, взял от банко-

мета весь свой выигрыш, положил его в карман и, поклонившись всем, направился через коридор в большой зал, сопровождаемый Капитолиной Павловной.

— Я все время следила за вами...

— И что же?

— Вы ужасный человек!..

Он хотел что-то ответить, но в дверях встретились новые знакомые, приветствуя и вступая с ним в разговор.

В зале, залитом светом электрической люстры, убранном зеленью и живыми цветами, было пестро и шумно. На рояле кто-то наигрывал «Осенние мечты»; кружились, вальсируя, молодые пары, распространяя аромат нежных духов.

Капитан, покинув свою даму, пробрался в угол, уселся на свободный стул, словно стараясь быть незамеченным, и стал всматриваться в круговорот танцующих людей. Мимо него, раскачиваясь в такт музыке, укорачивая и удлиняя шаги, проносились военные фигуры.

Мелькали черные сапоги, звякая шпорами, четко ударяя подошвами по дереву пола, а вокруг них, поднимаясь на носки, бесшумно скользя, вились разноцветные бальные туфельки. Взгляд Прибылева, как бы утомленный смешением цветов, рассеянно блуждал среди публики, точно кого-то выискивая. Перед ним, пуская в ход все тонкие расчеты, развертывалась затейливая игра полов, дразнящая и капризная, как весна, дурманящая мозг, как сильный хмель. И вдруг среди других женщин он увидел ее. Капитолину Павловну: прильнув к молодому офицеру, охватившему ее талию сильной рукой, она легко и плавно неслась с другого конца залы в сторону капитана и, улыбаясь, смотрела на него таким обещающим взглядом, точно бросала ему вызов. Вокруг ног кавалера легким облаком обвивалась ее белая воздушная юбка.

Прибылев поднялся, прошел в другую комнату и снова зарядил себя изрядной порцией коньяка. А когда вернулся в зал, здесь уже пели хором «Гренадеры-усачи». Он тоже присоединился к хору, подпевая вполголоса, а потом его мягкий и задушевный баритон, вибрируя, полнился звучнее, ярче, властвуя над остальными голосами.

Кто-то крикнул:

— Пусть капитан соло споет!

Около Прибылева столпились женщины, замкнув его в круг голых плеч и полуобнаженных грудей, кричали и шумели, прося его спеть.

Он уселся за рояль, пробежал гибкими пальцами по

клавишам, словно испытывая музыкальный инструмент, и взял несколько торжественных аккордов. Потом, выждав момент, запел арию из оперы «Русалка»:

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила...

Капитан, исполняя один номер за другим, стал героем вечера. Все взоры были устремлены на него. Пение сменялось бурными аплодисментами. Это вдохновляло его еще больше. По временам, обрывая голос, он наклонялся к роялю, но тут же откидывался назад и снова пел, докрасна напрягаясь и встряхивая круглой головой.

— Пойте, веселитесь, утешайте себя свистопляской! — неожиданно врезался в зал хриплый крик.

Все оглянулись.

Офицер, плешивый, с брюшком, на коротких ногах, пошатываясь, трагически потрясал кулаками:

— Они идут... Близко уже... На окраине города...

С улицы, в открытые окна, из глубины ночного мрака, донеслись далекие перекаты грома. Весь зал затих, насторожился. Ошеломленные и оцепеневшие люди стояли с таким видом, точно с каждым мгновением ожидали взрыва порохового погреба.

— Кто? Куда идут? — глухо спросил кто-то.

— Проклятые партизаны наступают... Город обложили... К оружию все!..

Дама в голубом платье ахнула, падая в обморок. И в смертельном страхе заметались все, создавая бестолковый шум. Некоторые кинулись бежать из гимназии.

Только капитан Прибылев нисколько не растерялся, только он один погасил смятение, распорядившись вывести пьяного офицера, и отправился в комнату, где была выпивка и закуска.

Еще сильнее, еще бесшабашнее началось веселье, словно каждый старался заглушить только что пережитую тревогу.

Позднее Прибылев вместе с Капитолиной Павловной прогуливался по коридору.

— Вы играете и поете восхитительно. В вашей душе столько благородства, столько искренности...

Капитолина Павловна остановилась, поймав на своей груди взгляд проходящего мимо молоденького подпоручика.

— Послушайте, молодой человек, почему вы так смотрите на меня?

Подпоручик смутнлся, покраснел.

— Я? Я молюсь на ваш крестик...

Капитолиина Павловна громко рассмеялась н, подхватив капитаиа под руку, иачала сиова прогуливаться по коридору. Оиа завела разговор о муже, жалуясь, что от него иет писем с фроита, что он забыл ее.

Прибылев, слушая, говорнл мало. Глаза его стали бездушиыми, пустыми.

Помолчав иемного, она опять начала восторгаться его пением.

— Нет, у вас такой дивный барнтон, что я готова слушать всю иочь...

— Отчего же не сделать так?

— Как?

— У меия иа квартире имеется пианнио. Живу я однн. Всю ночь буду петь для вас.

Капитолиина Павловиа, отняв свою руку, остановилась и взглянула иа него испуганиымн глазами.

— Вы что мие предлагаете?

— Пережить вместе иочь.

— Позвольте вас спросить, вы за кого меия приннмаете?—с гиевом спросила Капнтолиина Павловна, вспыхнув вся и в то же время чувствуя, как внутрение она подчнняется иагло-властиому взгляду этого человека.

— Что, смелости ие хватает?

В это время подлетел солдат-курьер н, протягивая капнтану большой конверт, проговорил:

— Господии капитаи, вам срочиый пакет!

Прибылев расписался в рассыльной кннге, отпустил курьера и, деловито разорвав пакет, прочнтал бумагу.

— До свидаиья, Капитолниа Павловна!

— Что такое, почему?—спроснла она голосом, в котором чувствовалось сожаленне.

— Получил предписание. Должен немедлеино выехать в одио село. Не совсем там благополучно...

— Как же так? Неужелн нельзя отложнть до завтра?..

Оиа сокрушалась, тяиулась к иему, а капитаи, вежлнво поцеловав ей руку, спустился в иижний этаж гимиазии, где жили солдаты.

Давио ои не был здесь. Некоторые солдаты спалн, разметавшнсь иа голых койках илн иа цементном полу, другие, разбившись иа кучки, уничтожали пнво н самогонку, закусывая свежим луком и мясными консервами. Слышались пьяные голоса, споры, ругань. Было душио н смрадио. Кру-

гом царил хаос. Учебные наглядные пособия, висевшие на стенах, были уничтожены, географические карты изорваны. Громадные шкафы изрублены шашками, с разбитыми дверцами, опустошенные. Книги — учебники, классики и научные — грудами валялись на полу, перемешанные, с разодранными крышками, с вырванными листами.

— Это кто же так натворил? — спросил капитан, показывая на книги, когда подошел к нему позванный фельдфебель, плотный и вихрастый малый.

— Да ребята все балуются, господин капитан,— ответил пьяный фельдфебель, стараясь сохранить равновесие.— Сколько им ни говори, а они знай свое — рвут книги почем зря... В уборную таскают...

Около стенки, на полу, валялись куски разбитых статуй, а на подоконнике сиротливо торчала Венера Милосская, с отшибленным носом, с надписью на груди: «Верка, любившая вдоволь»...

Сверху доносились бравурные звуки музыки, а здесь, внизу, из отдельной комнаты, запертой на большой висячий замок, вдруг раздался подавленный стон.

На вопросительный взгляд капитана фельдфебель пояснил:

— Новую партию крестьян пригнали...

— Вот что, Головлев,— перебил его капитан,— отберите из команды двадцать лучших молодцов, а тридцать человек нужно будет взять из второй роты. Все немедленно должны быть вооружены и ждать меня на своих конях у моей квартиры. В два счета!

— Слушаюсь, господин капитан!

Прибылев, выйдя из гимназии, столкнулся на тротуаре с подполковником.

— А, Николай Валентинович! Слышал, голубчик, что вас посылают с карательным отрядом в село. Пожелаю полного успеха. Помните одно: партизаны — это варвары. Их нужно уничтожать без всякой жалости...

Прибылев взглянул с жесткой усмешкой на подполковника, потом обернулся к гимназии, откуда несся шум пьяных голосов, топот танцующих ног, рой музыкальных звуков, вспомнил Капитолину Павловну, ее готовность пойти к нему на квартиру, и сумрачно бросил:

— Не мне, господин полковник, об этом напоминать...

И быстро зашагал в мрак глухого переулка, чувствуя в душе безнадежную ожесточенность против приближающегося грозного конца.

II

Вечером, когда над Сибирью спускался тихий сумрак ночи, через село Кашеедово проходил неизвестный человек, лет двадцати пяти, в крестьянской одежде. Около одного дома, где он, остановившись, купил крынку молока, вокруг него собралось несколько человек мужиков и баб, приставая с расспросами о новостях.

— Новостей пропасть, только некогда рассказывать,— заявил прохожий, напившись молока и утирая рукавом рубахи свои небольшие усики.

— Ну, хоть что-нибудь скажи,— послышались голоса.

— Про город-то, поди, слыхали?

— А что?

— В руки красных попал...

Это удивило всех. Придвинувшись ближе к прохожему, люди сразу насторожились, недоверчиво заглядывая в его маленькие, немного насмешливые глаза.

— Честное слово — правда! Сам из города. Солдаты взбунтовались и порешили со всеми офицерами. А что делается теперь там — голова кругом идет: митинги, народ с красными флагами ходит по улицам, революционные песни поют. По селам беляков вылавливают. Везде восстанавливают Советскую власть. Словом, всем прохвостам — крышка. Однако, прощевайте! — неожиданно оборвал прохожий и тронулся в путь.

— Да подожди, расскажи толком,— как и что? — начали упрашивать его.

— Что рассказывать-то? Скоро сами узнаете все. А мне спешить надо...

Когда прохожий скрылся, то брошенная им новость моментально облетела все село, вызвав среди жителей горячие споры.

На другой день, рано утром, в конце села Кашеедова показался отряд всадников, сопровождавших какую-то повозку. Их было человек до пятидесяти. У всех из-за плеч виднелись карабины. Среди жителей Кашеедова поднялась страшная тревога: люди начали разбегаться из домов, прячась в коноплянниках, в ригах, зарываясь в солому. Но так продолжалось недолго. Солдаты ехали мирно, распевая революционные песни, веселые, с красными бантиками на фуражках вместо прежних кокард. Над ними развевался большой пунцовый флаг с надписью «Смерть палачам! Да здравствует Советская власть!». В средние отряда ехала

телега. На ней находились четыре человека: кучер, правивший лошадью, два связанных офицера и рабочий, высокий, худощавый, в потрепанном пиджаке, в черной засаленной фуражке, с широкой красной лентой через плечо.

— Товарищи! — увидев около домов жителей Кашеедова, закричал вдруг рабочий с телеги, размахивая фуражкой.— Наша взяла! Вся губерния в руках красных! Собирайтесь на сходку! Там я все объясню...

Среди народа послышались возгласы:

— Кажись, и вправду наши едут!

— Настоящая свобода объявилась!

А солдаты, раскачиваясь в седлах, пели:

Бей, руби их, злодеев проклятых...

Из одного дома в другой забегали люди, сообщая радостную новость. Детвора, посланная матерями, носилась по коноплянникам, кружилась около овинов, разыскивая своих спрятавшихся отцов и родственников, и звонко раздавались их голоса:

— Тятя! Иди скорее домой! Слобода приехала...

— Дядя Ваня! Тебя тетя Ганя зовет... беляков рубить...

И народ все смелел, высыпая на улицу и примыкая к отряду конных.

Солнце, поднявшись, брызнуло особенно ярким светом. Радостно голубело небо, просветленное, без единого облачка. Позолотившись, ослепительно засияло озеро, а по извилистым краям его, над камышами и кустарником тальника, плавали обрывки молочного тумана.

Люди торопливо выгоняли скотину в стадо и спешили на сходку, около которой собралась уже большая толпа. Все, вытянув шеи, смотрели в середину круга, туда, где стояла повозка со связанными офицерами. Рабочий-оратор, показывая рукой на капитана Прибылева, спрашивал:

— Узнаете своего палача?

По толпе пронесся гул.

— Мы его поймали дорогой. Он ехал к вам, чтобы опять устроить вам порку. А этот — его помощник,— показал рабочий на другого офицера, молодого подпоручика.— Но об этих кровопийцах мы поговорим после. А теперь я хочу вам рассказать о другом...

Оратор посмотрел на толпу, окружившую его повозку, на солдат, выстроившихся в сторонке правильными рядами, откашлялся и громко начал:

— Товарищи! Опять вернулась к нам свобода, опять сами труженики становятся у власти...

Где-то мычали коровы, блеяли овцы, а здесь, около схода, стало вдруг тихо, и в этой тишине звучал лишь один голос, басистый и громкий, бросая призывные слова. Между оратором и народом протянулась невидимая связь, держа в напряженном состоянии стариков и подростков, мужиков и баб. По-разному слушала толпа: одни стояли, наклонив головы, точно отяжелевшие от новых мыслей, нахмурив брови, серьезные и тяжелодумные, другие, напротив, держались прямо, щурясь от солнца и улыбаясь, словно погрузившись в чудесный сон; некоторые повернулись в сторону повозки вполоборота, приоткрыв рты и подставляя к уху ладони совочком.

Подпоручик все время ежился, чувствуя грозную силу толпы, и беспокойно поглядывал в сторону солдат, но капитан Прибылев, к удивлению многих, сидел спокойно, скользя стальными глазами по загорелым лицам, точно изучая их, и нагло встречал взгляды крестьян.

Оратор увлекался. По его энергичному лицу катились крупные капли пота. Из его речи выходило, что все омское правительство арестовано и что скоро наступит время, когда на всей сибирской территории не останется ни одного народного врага.

— Да здравствуют большевики! — закончил оратор.

— Качать товарища оратора! Качать! — раздались голоса.

Десятки рук протянулись к повозке, заставив задрожать подпоручика и насторожиться самого капитана, стащили рабочего и с криками «ура» долго подбрасывали его в воздухе.

Когда водворилась тишина, оратор предложил народу начать выборы в сельский Совет, но оказалось, что у них давно уже был создан военно-революционный штаб. В него входили трое: Яков Семенов, Антон Воротилов и Потап Кротов.

Пока оратор беседовал с двумя первыми, несколько человек побежали за Кротовым. Его нашли в картофельной яме. Он явился и направился прямо к повозке, взъерошенный, выпачканный в земле, с застрявшей кострой в густых волосах. Посмотрел на красное знамя, на связанных офицеров, на оратора, с улыбкой протягивающего ему руку, улыбнулся сам и спросил:

— Неужто это правда?

— Да, товарищ, народ раздавил контрреволюцию...

Потом вскочил на повозку и крикнул во всю силу своих здоровенных легких:

— Товарищи, наша борьба не пропала даром! Свергнули окаянную силу...

— Для тебя еще осталась,— вставил капитан Прибылев, скосив на говорившего недобрый взгляд.

— Замолчи, стервятник, пока твой поганый язык я тебе не вырвал! — рассердился Потап и хотел было ударить капитана.

Но в этот момент его схватил за руку оратор и, загораживая спиной капитана, строго заговорил:

— Так нельзя, товарищ! Надо по закону. Мы — не разбойники...

Быстро был создан военно-революционный трибунал. В него вошли членами: Ермилка Сучков, мужичонка бедный и хилый, Карп Суслов, человек степенный и точный, а их возглавлял председатель Трифон Дерзилов, дезертир с гражданского фронта.

После этого раздвинулся круг, офицеров ссадили на землю, а все судьи забрались на повозку.

— Кайся, подпоручик, во всех своих преступлениях! — начал председатель Дерзилов, глядя на офицеров сверху вниз.

— За мною нет никаких преступлений,— отозвался тот, не поднимая головы.

— Врет, кровопивец,— вмешался рабочий.— Позвольте заявить вам, что он собственноручно убивал крестьян и сжигал села. Это докажут товарищи солдаты...

А Прибылев, когда его начали допрашивать, уставился на председателя наглым взглядом, но тут же сделал скорбное лицо и умоляюще заговорил:

— Простите, товарищи! Правда, я вам много зла причинил, но в этом не моя вина: меня самого посылали. Я только исполнял свой долг. За это, я думаю, вы не будете казнить меня...

— Нет, мы расцелуем тебя,— вставил Ермилка Сучков.

— Вы народ добрый. Я и в книгах читал, что русский мужичок зла не помнит, он все прощает своим обидчикам...

Кругом раздался хохот.

— Ишь, как Лазаря поет, язви его в душу!..

— Вы на нашей доброте сотни лет ездили...

Офицерам вынесли смертный приговор.

Оратор, посмотрев на высоко подиявшееся солице, заявил:

— Теперь, товарнщи, ие мешало бы подкрепиться иемиого. Мы со вчерашиего дня ничего не ели. А этих злодеев мы успеем расстрелять...

На горизоите показалось небольшое чериое облачко.

Перед камениой церковью, иа отлете села, была большая площадь, поросшая травой. За деревяниой оградой, окружнв храм, высоко поднялись тополя, давая пряный аромат, н шнроко раскниулись кудри берез. С противоположной стороны площадн, в зеленн деревьев, солндно возвышался поповскнй дом, шестнстеиный, под железной крышей, с верандой, обвнтой хмелем, с палисадииком, пестреющим цветамн. Рядом с инм стоялн постройки дьякона, более скромные, и иебольшой домнк псаломщика.

Сюда переехалн солдаты вместе с повозкой н приговореиными офнцерами в сопровожденин жнтелей Кашеедова. Лошадей оин привязалн к ограде, а сами в теин деревьев уселнсь кучками на траву. Здесь же иаходнлся н оратор, окруженный члеиамн трибуиала и штаба. Всех красиых вонпов угощалн самогонкой и съестными прнпасами.

— Покушайте, касатнкн, а то, подн, проголодалнсь...— нараспев тянула какая-ннбудь баба, подставляя нм чашку с творогом.

— Примите, родиеиькне, в благодариость...— выводнла другая, выкладывая перед солдатамн вареиые яйца.

Несли говядиину, свииое сало, масло, шанежкн, молоко...

Солдаты заигрывалн с молодухами, хватая нх за груди, хлопая ладоиямн по бедрам, а те, взвнзгнвая, упрекалн:

— Дома-то, подн, жеиы н детн осталнсь, а оин, бесстыдинкн, к нам лезут...

Иногда среди смеха н шуток слышался скорбиый голос матерн: она расспрашнвала солдат о своем пропавшем сыне.

Мужикн, подсев к солдатам, вместе с нними уничтожали самогонку. Увеличивалось веселье, велнсь дружеские разговоры.

— Ну, спаснбо вам, товарнщи воеиные, что выручнлн иас...

— Плохо жнлось?

— Да уж какое было жнтье, коли кругом волкодавы эти иасели...

— Замучили, якорь нх возьми...

Оратор, вскочнв, крнкнул:

— Тнше, товарищн! Я хочу внести предложение...

— Говори. Для тебя что угодио сделаем...— раздалось в ответ.

— Докажем этнм двум золотопогонникам, что мы ие такие варвары, как онн; покормим нх перед смертью. Как вы думаете?

Кругом загалделн:

— Отчего же не покормнть?

— Можно н самосядкой угостить...

Несколько человек запротестовали, но большинство было на стороне оратора. Прнговоренным развязалн рукн и посадили нх вместе с собою, добродушно предлагая:

— Покушайте, чем бог награднл...

Тут же вертелись ребятишки, с любопытством поглядывая на всех. Но больше всего их занимали офицеры.

— Тот, постарше-то, смотрит, точно волк...

— Их сначала покормят, а потом резать начнут..

— Ну, болтай побольше. Судья, дядя Трифон, прямо сказал — расстрелять... Ух, и здорово бахнут!

Черноглазый мальчонка, шмыгнув носом, деловито заметил:

— Надо тогда уши зажать, а то оглушит...

Оратор пил мало н все расспрашивал, сколько в селе оружия и какое оно, каково настроение в соседних селах. Мало пил и Потап Кротов, разговаривая с оратором. Им все время мешал захмелевший Ермилка Сучков, бормоча:

— Ты, Потап, только сокол, а этот — орел... Истинный бог — орел! Ну и ловок же на язык! Уж так завертывал, что сердце мое вроде как в огне горело... Истинный бог — не вру!..

Он лез к оратору целоваться, но другие его отталкивали.

— Налнзался — так заткни глотку. Прнстал к человеку, точно гнус...

— Вы меня не учите! — сердился Сучков, вырываясь из рук своих товарищей.— Я, может, побольше вашего понимаю свободу...

Один старик пригнал из дома рыжего мерина и, обращаясь ко всем, заговорил возбужденно:

— Братцы вы мои! Товарищи! Как мы, значит, избавились от проклятой нечисти, то я жертвую коня...

Из полнившихся глаз его катились крупные капли слез,

задерживаясь в большой седой бороде. Он повернулся в сторону солдат и низко поклонился.

— Спасибо вам, братцы, что от нечисти избавили. Солоно она нам, проклятущая, досталась. В городе скажите новому начальству: это, мол, подарок от Мирона Корягина, по прозвищу Звездочет...

Другой крестьянин, губастый, большеголовый, пошатываясь на тонких ногах, шумел:

— Молодцы-удальцы! Праздник сегодня али нет? Пасха али нет? А ежели пасха, так почему же во все колокола не звонят?..

— Верно, в колокола надо бы позвонить...— поддакнули ему другие.

Жарко пылало солнце. Влага сырой земли, испаряясь, сгущала неподвижный воздух, душный, как в натопленной бане. А облачко на юге, раньше маленькое, теперь расплывалось по голубому небосклону, точно чернильное пятно на пропускной бумаге. На дальних деревьях, качаясь и вытягивая шеи, беспокойно каркали вороны. Бухал большой колокол, пугая галок и голубей, стаями реющих вокруг церкви, а в его перекатный гул, перебивая, складно вплетался заливчатый перезвон маленьких колоколов.

Какой-то крестьянин, проезжая через село, остановился около церкви, посмотрел на красный флаг, прикрепленный к повозке, на веселую компанию выпивающих людей, слез с телеги и направился к ним.

— Что это у вас за праздник сегодня?

Ему объяснили, в чем дело.

— Свобода! А того и не знают, что у нас в селе полно казаков...

— А ты откуда? — спросил оратор.

— Из Дразниловки. Пятнадцать верст отсюдова...

Оратор, вдруг нахмурившись, крикнул в сторону солдат:

— Десять молодцов — ко мне, а остальные на коней!

Через минуту солдаты уже сидели в седлах.

— В цепь! — снова крикнул им оратор, описав рукою полукруг.

Народ недоумевал, глядя, как их окружают всадники, обнажая сабли. Десять позванных солдат, приблизившись к членам трибунала и штаба, притиснули их всех к церковной ограде. Тут же, выхватив из кармана по револьверу, стояли оба офицера, кучер и сам оратор.

Прекратился звон колоколов, и Ефим, церковный сто-

рож, высунувшись из колокольной ниши, удивленно смотрел вниз. Сразу оборвалось веселье. Что-то страшное, чего нельзя осмыслить умом, надвинулось на людей, гнетущим мраком окутав их души.

— Постойте, как же это так? — побледнев, глухо спросил Потап, обращаясь к оратору.

— Связать этого первым! — отрывисто приказал тот.

Несколько солдат, спрыгнув с коней, набросились на Кротова, скручивая ему назад руки и туго затягивая их веревками, а он, вырываясь, кричал, как безумный:

— Проклятие вам, подлые провокаторы!

Толпа робко зашумела.

— Молчать! — вскочив на повозку, гаркнул капитан Прибылев, угрожая револьвером.— И ни с места! Пришибу, как собаку!..

Снова все стихло.

— Ну, что, голубчики, попались? — слышался злорадный голос капитана.— Что вы теперь запоете в свое оправдание?

Исчез пунцовый флаг, пропала с плеч ора́тора лента; на рукавах солдат вместо красных повязок уже виднелись человеческие черепа, а на фуражках — кокарды; сверкали на солнце обнаженные сабли; с коней смотрели решительные лица всадников.

В толпе уже не было пьяных. Мужики, бабы и ребятишки, застыв на месте, молчали, дрожа от страха, пришибленные и безвольные.

Вдруг вся площадь огласилась дикими воплями.

В воздухе запахло человеческой кровью...

Из церкви вынесли на площадь подсвечники и почерневшие от времени иконы. Здесь же, облачившись в погребальные одежды, находился весь духовный причт, приведенный под конвоем.

Священник о. Иннокентий Богомольцев, слушая распоряжения капитана Прибылева, молчал и лишь украдкой косился на своих прихожан, оцепленных солдатами. Они стояли, не двигаясь с места, не зная, что будет с ними дальше, покорные, придавленные страхом. Стало жалко их, хотелось возражать против безумного предложения начальника. Но когда взглянул в сторону ограды, где, распластавшись на земле, валялись окровавленные трупы людей, то почувствовал, что и сам он заражается жутью, лишаясь

силы воли. Губы его посинели, нижняя челюсть, густо поросшая бурым волосом, вздрагивала.

Дьякон был смелее и, встряхивая обнаженной головой, протестовал:

— Это невозможно... Это будет богохульством...

— Если не подчинитесь моему распоряжению, то сейчас же прикажу выпороть вас, а потом — к стенке! — гаркнул на это капитан, осадив пляшущего под ним коня.

Священник вздрогнул и, обращаясь к дьякону, смиренно заговорил:

— Наше дело маленькое, отец Симеон. Мы должны выполнить распоряжение начальника, ибо всякая власть самим богом установлена...

Некоторое время спустя уныло загудел погребальный звон. Похоронная процессия сначала двинулась вдоль улицы, а потом, свернув в переулок, направилась за околицу. Там, за полверсты от села, на возвышении, рядом с темным бором, в березняке виднелось кладбище. Впереди несли подсвечники, иконы, а за ними, едва передвигая ноги, шагали два человека, обреченных на смерть: Потап Кротов и Трифон Дерзилов. Оба были привязаны друг к другу, локоть к локтю; у обоих, кроме того, были руки скручены назад и затянуты настолько туго, что кисти их вздулись и посинели.

Их заживо отпевали.

Трифон, вскидывая голову, все оглядывался назад, часто моргая слезящимися глазами. Он как будто не понимал, что с ним делают. Потап, вытянув вперед свою жилистую шею, тупо смотрел в землю неподвижным взглядом. Лица их осунулись, заострились, как у покойников. Смерть, наложив на обоих свою тень, невидимым призраком стояла перед ними.

— У меня рубашку разорвали,— взглянув на свою грудь, устало промолвил Трифон, точно впервые заметил это.

Потап взглянул на него исподлобья и ничего не ответил.

Поп, подбрасывая длинные волнистые волосы, дергал широкими плечами, точно черная риза мешала ему. Он был смертельно бледен и пугливо косил глаза по сторонам. До него доносились тяжелые вздохи, всхлипывания баб, беспорядочный топот тысячной толпы, напиравшей в спину. Это заставляло его вздрагивать, несуразно оттопыривать в сторону локти и напруживать все тело, словно в ожидании,

что сейчас он будет раздавлен живым потоком людей. Он пел слабым голосом, путая и пропуская слова такой простой молитвы, как «Святый боже».

Дьякон, свирепо размахивая кадилом, поднимал ноги в тяжелых сапогах так высоко, как будто старался перешагнуть через какое-то препятствие, и гудел пропившимся басом. Угрястое лицо его натужилось, покраснело, точно он взбирался на крутую гору. По временам он бросал на священника враждебно презрительный взгляд.

Рядом с ним, тихо подпевая в тон надтреснутым тенором, шагал псаломщик, молодой чахоточный человек, жалкий в своих истоптанных башмаках и обтрепанном пиджаке.

В стороне от дороги, напротив приговоренных, поглядывая на похоронную процессию, ехал верхом капитан, спокойный, уверенный.

Все жители села, старые и малые, двигались беспорядочной толпой. В жарких лучах солнца, маяча, мелькали обнаженные головы мужчин и ребятишек, пестрели разноцветные платки женщин. Рассыпавшись по жесткой щетине жнивья, их замыкали полукругом всадники и гнали к кладбищу, как гонят стадо животных на скотобойню.

Некоторые из крестьян угрюмо поглядывали на осиротевшие луга и поля, на юг, откуда наползала черная туча, угрожая проливным дождем, на опустевшее село, делая страшные догадки, что его так же могут ограбить и превратить в пепел, как недавно поступили с соседней деревней. Одни раскаивались, что впутались в такое дело, другие сокрушались, что нет у них достаточно оружия, чтобы опрокинуть этих разбойников. Дерзкие год тому назад, в дни радостной свободы, люди теперь шли молча, поднимаясь к кладбищу, как на Голгофу, удрученные и подавленные, точно их самих отправляли в могилу.

На кладбище, как свежая рана, зияла глубокая могила, ожидая жертвы произвола. Ее выкопали сами же крестьяне, посланные сюда под конвоем солдат. Народ обступил могилу со всех сторон, образовав большой круг, в центре которого находились Дерзилов и Кротов, крестьяне с лопатами, старики с иконами и подсвечниками, духовный причт, капитан на коне и несколько солдат с винтовками.

Началась краткая лития.

«Упокой, господи, души новопреставленных рабов твоих — Потапия и Трифона...»

Священинк опустнл глаза, не замечая, что камнлавка у него съехала набок. Он пел не своим голосом, пронзносил привычные слова, как автомат, думая о том, что крестьяне теперь не простят ему и что при первой же возможностн надо бежать из села в город.

Дьякон, размахивая кадилом, басил так хрнпло, точно у него пересохло горло. Туча, погасив солнце, отбросила на землю зловещую тень, и ему казалось, что сейчас наступит египетская тьма н вострубят архангелы о страшном дне второго прншествия...

— Кощунствуете, батюшка, а? — словио проснувшись от тяжелого сна, вдруг спросил Потап, глядя на попа.

Священник вздрогнул.

— Разве так повелел вам поступать Хрнстос, а? Где ваш бог? Или заснул и не видит, что пастыри его проделывают иа земле? Словоблудники! Вы прнслужникн не бога, а сатаиы!..

Поп, ежась, пятился назад, точно в него летели ие слова, а раскаленные стрелы, остро вонзаясь в тело,— пятился до тех пор, пока не уперся в жнвую стену людей. Взглянул на своих прихожан, как бы ища для себя защиты, и еще больше омрачилась душа: в каждой паре глаз ои прочитал роковой приговор, который не сегодня-завтра над ним совершится. Что-то хотелось сказать, но не мог произнести ни одного слова и только жевал губами, весь какойто скомканный, с перекошенным лицом.

Дьякон, стиснув зубы, отведя в сторону кадило, смотрел на своего пастыря с таким свирепым вндом, точно хотел ударнть его по голове.

Молния снизу доверху расколола черную тучу, грянул оглушительный гром.

Перекатным эхом откликнулся бор.

Жуткая дрожь пробежала по народу.

— Зарывайте! — приказал капнтан, испугавшись предстоящего дождя.

Трифон, почувствовав на себе руки подошедших солдат, вдруг заколотнлся весь, заплакал, умоляя о пощаде...

— Нашел кого просить, дурень! — сурово промолвнл Потап.

Солдаты на минуту остановнлнсь, повернув головы к капитану, словно ожидая с его стороны мнлости.

— Живо! В два счета! — распоряжался Прибылев, указывая при этом, как нужно похоронить приговоренных.

Потапу и Трифону связали ноги, опустили в могилу, спустились туда же и двое солдат.

— Отпустите... Никогда больше не буду...— стараясь вырваться из страшных уз, продолжал выть один.

— Прощай, народ крестьянский!..— кричал Кротов.

— Родимые! Их живыми хотят закопать!..— громко заголосила какая-то баба.

Женским воплем, тяжким и надрывным, огласилось все кладбище. Плакали и ребятишки. Только мужики молчали, угрюмо вздыхая, запуганные и подавленные дьявольским замыслом капитана.

Под угрозой расстрела тех же крестьян, что вырыли могилу, заставили и зарыть ее. Неуверенно работая лопатами, они с ужасом бросали землю, закапывая живыми тех, кто вырос в их среде, кто болел их болью.

Солдаты, находясь в яме, поддерживали Потапа и Трифона в стоячем положении.

Туча закрыла полнеба и продолжала тяжко наползать, сверкая вспышками молнии, издавая резкий треск и грохот, точно рвалось железо.

По мере того как Потапа и Трифона засыпали землей, лица их темнели, кровью наливались глаза. А когда на поверхности земли остались только головы, капитан приостановил работу могильщиков и, обращаясь к народу, властно крикнул:

— Замолчите, бабье! Иначе сейчас же разделаюсь с вами!..

И женщины, повинуясь воле капитана, сразу прекратили вопль.

— Что — будете заниматься революцией?

— Простите... — сипела одна голова.— Отпустите... Покрою все грехи...

— Гадина! — гневно хрипела другая, уставившись на капитана вылезающими из орбит глазами.— Скорпион!.. Изверг!..

Прибылев отвернулся и, впервые теряя равновесие духа, громко заговорил с народом:

— Посмотрите на вашу революцию! Она в землю зарыта! Задыхается, хрипит, доживая последние минуты! Конец вашей свободе!..

Народу казалось, что в лице Потапа и Трифона действительно погибла их свобода, закопаны в землю все их надежды, все упования на лучшую долю, на радостную жизнь. Безнадежная скорбь охватила сердца. Все старались взгля-

нуть на могилу, но, увидев страшное зрелище, тут же отворачивались. Там, на желтом песке, торчали две головы, казавшиеся срезанными и брошенными на землю. Но каждая из них продолжала жить, поворачиваться лицом, искаженным и почерневшим, как чугун, то в одну сторону, то в другую. Глаза, налившись кровью и пучась, в последний раз мрачно смотрели на окружающий народ, на мрачное небо.

Трифонова голова, разинув рот, задыхалась и почти шепотом произносила безумные слова:

— Братцы... Душно... Зачем ноги держите?.. Отпустите... Камень давит...

А другая, оскалив зубы, искривив рот в страшную гримасу, хрипела проклятия.

Налетел ветер, наполняя бор тысячеголосым гулом, закачались на кладбище березы, шумно потрясая листьями, четко защелкали первые капли дождя.

По приказанию капитана солдаты быстро начали набрасывать землю на головы погребенных.

Хлынул дождь.

— Марш по домам! — гаркнул офицер народу.

И все бросились к селу, задернутому густой сетью дождя. Неслись как от мрачного видения, спотыкаясь и падая, обгоняя друг друга. Мимо них вихрем промчались всадники.

И только трое из крестьян, отстав от других, свернули в сторону, в березовую рощу, и быстро пустились в обратный путь — на кладбище.

В бору, версты за две от села Кашеедова, при недавно заброшенном дегтярном заводе, находилась землянка, довольно исправная и сухая. Кругом царила та сырая тьма ночи, которая тянется бесконечно долго. Лил, не переставая, дождь, шумел ветер, сгибая деревья. Узорчато сверкали отяжелевшие тучи. Каждый удар грома тысячекратно повторялся эхом, точно между землей и небом происходила пушечная перестрелка. Чувствовалась бесприютность и грозная жуть тайги.

А внутри землянки, на очаге, потрескивая, весело и жарко горели дрова. Сверху, закрыв потолок серой пеленой, висел дым. На нарах, застланных измятой соломой, трое мужиков, согнувшись, возились над человеческим телом, лежавшим пластом.

— Дышать дышит, а не оживает,— выпрямляясь, сокрушенно промолвил рыжебородый.

— Ничего, воскресиет,— успокаивал другой, иосатый солдат, служивший во время войны санитаром в госпитале.— Надо только раздеть догола и хорошенько растереть кожу.

— Это для чего же? — спросил третий, вскинув брови, человек солидно-медлительный.

— А чтобы простуду из него вышибить. Для крови тоже полезно: быстрее по жилам начнет течь. А то она, кровь-то, без движения застывает вроде студня...

На черных стенах землянки, трепыхаясь, плясали отблески огня, и двигались, сближаясь и расходясь, три человеческих тени. Пахло смолою, дегтем и лесною прелью. По голому человеку, плотному и складному, с крепкими мускулами, часто переворачивая его, неумело шаркали корявые руки, натирая кожу докрасна. От мужиков, промокшие рубахи которых начали высыхать, поднимался пар.

— Сердце бьется правильно! — приложив ухо к левой стороне груди, с авторитетом понимающего медика заявил бывший санитар.— Жарь еще!

Дождь стал затихать, реже сверкала молния, удалялись и перекаты грома. От порыва ветра, ворвавшегося в землянку, клубы дыма заволновались, опускаясь до нар, и разъедали глаза.

Голый человек вдруг начал чихать.

— Потап! А Потап? — обрадовавшись, обратился к нему рыжебородый, тормоша за плечи.

Кротов устало открывал глаза, но тут же снова закрывал их, точно ему больно было смотреть.

Понемногу он собирался с силами, озираясь и никого не узнавая.

— Ух, страшный сон видел...

— Хорош сон, коли с того света явился,— заметил рыжебородый, улыбаясь.

Ему помогли сесть. Моргая, долго харкал и отплевывался песком, пока не промыл рот и глаза дождевою водой. Попил немного — стало легче. И только теперь заметил, что он сидит совершенно голым.

— Где это я?

— Теперь-то, паря, ты в хорошем месте, а был шибко в плохом,— начал объяснять бывший санитар, у которого на кончике носа повисла капля пота, готовая сорваться.—

Прозевай мы еще минуту — была бы твоя душа у дьявола в когтях...

Мужики наперебой рассказывали Потапу, как он был похоронен и как они выручили его, вовремя разрыв могилу, а он, слушая их, сам начал восстанавливать в памяти тяжелую картину пережитого ужаса... Когда засыпали его землей, холодели ноги, давило грудь. Нижняя часть тела постепенно умирала. Это он ясно сознавал. Потом начала раздуваться голова, глаза полезли на лоб. Вокруг него люди завертелись — мужики, бабы, ребятишки, солдаты, поп с дьяконом запрыгали в дикой пляске и заржали, как лошади. И все сразу куда-то исчезли. Остался один только медведь, большой, лохматый. Он схватил Потапа, затащил в тесную берлогу и навалился на него своим тяжелым телом. А лицо у медведя было человечье с большими усами. Близко заглядывал в глаза Потапу и несуразно тряс головой. Наконец зажал ему лапой рот и стал плеваться, не давая смотреть... Наступил непроглядный мрак...

Кротов тряхнул головою, устало оглядел землянку и трех мужиков.

— А где Трифон?

— Да ничего с ним не вышло: задохся паря... Ну, мы его и оставили в могиле...

Потапа нарядили в рубашку и штаны, успевшие за это время подсохнуть, и начали советоваться, куда его теперь спрятать.

— Знаете что? — заговорил вдруг рыжебородый.

— Ну?

— Отвезу-ка я его к брату Якову, что лесником служит в Ершовском лесничестве. Сорок верст до него. Ни один супостат не заглянет туда...

Все согласились с таким решением.

— Ну, отпетый, ты пока что сиди здесь и грейся у огня. А я побегу в село за воронком. Одежонку захвачу, жратвы и самосядки. Потом дорогой мне расскажешь, что видел на том свете...

Рыжебородый выскочил из землянки, но сейчас же вернулся обратно.

— Чтоб не забыть... Вы все-таки на зорьке этак могилу закопайте. Сделайте, как было... И об этом никому ни звука...

— Ладно, сделаем.

Рыжебородый исчез.

Третий мужик подложил на очаг дров и охапку ветвей с хвоей.

Взвилось пламя, а над ним, как золотые мухи, закружились искры.

III

В губернском городе, в управлении коменданта, в отдельном кабинете, происходило экстренное заседание. Вокруг письменного стола, покрытого зеленым сукном, сидело несколько человек военных и штатских. Двери были закрыты. Председательствовал сам военный начальник губернии, генерал Гросман, полнотелый и неподвижный старик с добродушным взглядом телячьих глаз. Опираясь на край стола, он морщил полысевший лоб и с усилием всматривался в управляющего губернией, Константина Петровича Замысловского, словно любуясь его новеньким сюртуком с университетским значком, его энергичным лицом с русой бородкой, а тот, волнуясь, говорил:

— Я просил созвать это собрание, чтобы заявить свой протест против незаконных действий господина капитана Прибылева и начальника контрразведки Соколова...

Дальше он подробно рассказал, что произошло две недели тому назад в селе Кашеедове.

— А, вот как! Этого я не знал! — промолвил Гросман и, откинувшись на спинку просторного кресла, строго взглянул на обвиняемых.

В кабинете, несмотря на вечернее время, было жарко, и это очень утомляло генерала.

Соколов здесь совершенно не был похож на того оратора-рабочего, каким его видели в Кашеедове. Он сидел на стуле, покусывая усы, опрятно одетый в новенькую коричневую тройку, гладко выбритый, словно приготовился на бал. До Замысловского ему как будто бы не было никакого дела. Заложив одну ногу на другую, он покачивал лакированным ботинком, на котором играл луч спустившегося солнца, и беззаботно посматривал в открытое окно, любуясь белокурым облачком.

По обыкновению, спокоен был и капитан Прибылев. Он поймал муху, оборвал ей крылья и ножки и стал внимательно рассматривать ее.

— Такой метод борьбы с красными,— продолжал управляющий губернией, возвышая голос,— недостоин разумного правительства. Явиться в село с красными флагами,

произносить зажигательные речи против правительства, а потом, сбив крестьян с толку, за это же их наказывать? Что это такое? Как такой способ борьбы называется? Да можем ли мы после этого рассчитывать на доверие народа? А затем эти поголовные порки, срубание голов, закапывание людей живыми на глазах всего общества,— какими законами, спрашиваю я, руководствовались авторы такого наказания? Не удивительно, что на нас крестьяне смотрят, как на ушкуйников. Насколько мне известно, многие офицеры возмущены действиями господ Прибылева и Соколова. Мы сами подрываем власть, сами больше, чем кто-либо, разрушаем то, что стремимся сделать, ибо ни одна самая зажигательная прокламация, ни одна самая пламенная речь не может возбудить против нас народные массы так, как эти плети, как этот средневековый кошмар, проявленный агентами власти. Вот почему мы находимся как будто во враждебном лагере. Вся Сибирь клокочет бунтами. Шквал народного гнева все усиливается, растет и со временем сметет нас с лица земли, как ненужный мусор. Поэтому случай в Кашеедове я рассматриваю как тяжкое преступление и настаиваю на том, чтобы произвести в нем официальное следствие...

— Да, да, да,— оживившись, заговорил вдруг председатель.— Подобные действия не должны проходить даром. Надо расследовать. Подрыв власти — это ужасно, это, это я не знаю что...

В другой комнате послышался топот многих ног и стук составляемых ружей. Это вернулись с учения члены военно-спортивного кружка, состоявшего из мировых судей, прокуроров и других чиновников — сознательной опоры власти.

— Если вам угодно, ваше превосходительство, то отдайте нас под суд,— не вставая со стула, начал начальник контрразведки Соколов.— Мы готовы за свою ревностную службу понести кару. Но я не думаю, чтобы от этого власть хоть что-нибудь выиграла. В настоящее время борются две силы: с одной стороны все государственно мыслящие стараются создать былую мощь нашей истерзанной родины, с другой — разгулявшаяся чернь, потеряв бога и стыд, не признавая ничего святым, готовится истребить все, что дорого нам,— законы, религию, культуру.

Генерал закивал головой, точно начал соглашаться с Соколовым, а тот продолжал:

— Кто-то должен победить: или мы их, или они нас.

Следовательно, в средствах разбираться не приходится. Пора наконец нам отрешиться от гуманности, тем более что перед нами стоит вопрос: быть или не быть нашему государству? Что касается заявления господина управляющего, то, во-первых, он не совсем верно изложил все это событие, а во-вторых, в его речи проскальзывала отрыжка прежней его социалистической закваски. Из своей практики я могу сказать лишь одно, что если бы я начал считаться, допустимы ли те или другие средства при борьбе с бандитами, то, может быть, давно бы с нами было все кончено. И я, и вы, ваше превосходительство, и сам господин управляющий сидели бы не здесь, а где-нибудь на заостренных кольях...

При последних словах мощная фигура генерала беспокойно зашевелилась, а рыхлое лицо его стало серьезным.

— Да, да, голубчик, конечно, нас не пощадят.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал генерал.

В кабинет вошел адъютант, молодой человек в лакированных сапогах, с аксельбантами через плечо.

— В чем дело?

— В районе Голубовской волости появилась новая банда. Предводительствует ею какой-то Отпетый. В трех селах перебили милицию и захватили оружие. Начальник милиции просит немедленно выслать карательный отряд, чтобы не дать возможности бандитам направиться в другие села...

Генерал Гросман снял пенсне, протер их чистым платочком, снова надел и не торопясь прочитал взятую от адъютанта телеграмму.

— Да, да, послать надо, но откуда же взять людей? Мы всех разослали. А банды эти точно сговорились: сразу все взбунтовались...

— Я полагаю,— посоветовал адъютант,— что можно бы в этом отношении использовать N-ский полк. Одну роту там еще можно набрать...

— Да, да, голубчик, это верно. Распорядитесь от моего имени...

Когда адъютант вышел, капитан Прибылев, поднявшись, вытянулся по-военному и, не сводя глаз с генерала, заговорил:

— Мы поступили, может быть, не совсем законно, приехав в село под видом красных. Но нам во что бы то ни

стало нужно было узнать о действительном настроении крестьян, чтобы потом соответственно с этим выработать те или иные планы для борьбы с бандами. Мы достигли своей цели. Оказалось, что весь народ возбужден против нас. А насколько мужики кровожадны — это видно уже из того, что меня и подпоручика Вершкова они приговорили к смертной казни. Напрасно мы умоляли о пощаде. В ответ нам был лишь злорадный смех. Они собирались наши погоны пришить к плечам гвоздями, о чем господин управляющий изволил, конечно, промолчать...

— Да что вы говорите, голубчик? — со вздохом произнес генерал, уже сочувствуя капитану.

— Я говорю, ваше превосходительство, только то, что на самом деле было. Я знаю народ. Я узнал его, когда пережил погром в центральной России. У меня не только отняли землю, но там, где был роскошный сад, в котором я бегал еще мальчиком, там, где был замечательный дом, в котором я вырос, мужики теперь сажают картошку. Из богатого человека меня превратили в нищего. Мало того. Жертвами кошмарного погрома оказались моя жена и ребенок... неужели после этого я буду церемониться с таким народом?

— Так что же, вы будете мстить ему? — спросил Замысловский.

Капитан был бледен, голова его странно дергалась.

— И то и другое. Теперь я еще больше утвердился в мысли, что это не люди, а звери. Чтобы укротить их, к ним нужно применять особые меры наказания. Я так и сделал. И уверен, что Кашеедово и все соседние села на сто лет гарантированы от всяких бунтов. Меня не скоро забудут! Я бы еще внес предложение...

— Какое же, голубчик? — устало осведомился генерал Гросман и, затянувшись сигарой, шумно выпустил дым сквозь пожелтевшие усы.

— Те села и деревни, где появятся бунтовщики, сжигать до последнего дома...

— Я, ваше превосходительство, поддерживаю это предложение, как самое разумное,— вставил Соколов.— На крестьян ничто так не действует, как потеря своего имущества. Только таким путем мы можем довести их до такого состояния, что они сами будут избивать бандитских агитаторов...

— Позвольте! — загорячился управляющий губернией.— Что вы говорите? Ведь это безумие! Если вы со-

жжете село, то жителям его что остается делать, как не присоединиться к восставшим?..

Капитан перебил его:

— Словом, в борьбе с бандами нам нужно быть беспощадными. В противном случае мы будем раздавлены. А тогда... Вы представляете, ваше превосходительство, какой ужас вам придется пережить, если через ваши заслуженные генеральские погоны в плечи вам загонят несколько больших, в четверть аршина длиною, гвоздей...

Генерал, изнеможенный и сонливый, вдруг встрепенулся, передернув плечами, словно заранее испытывая острую боль.

— Да, да, голубчик, не дай бог до этого дожить. Это, это было бы я не знаю что...

Ему было душно от жары. Большая лысая голова его вспотела, и к ней, точно к меду, липли мухи. Он встал и, подавая каждому руку, заявил:

— Мне домой пора. Там у меня есть еще пропасть неотложных дел...

— Позвольте, Карл Августович, надо же нам какое-нибудь решение вынести...

— Да вы уж тут сговоритесь без меня. Действуйте, голубчики, от моего имени...

Управляющий губернией, ни с кем не простившись, первый выбежал на улицу, сел на подвернувшиеся дрожки и забормотал сквозь зубы:

— Старый идиот! Безмозглый кретин! Ожиревшая говядина! Занимайся государственным строительством вот с таким ископаемым чудовищем!..

— Вы что, барин? — обернувшись, спросил извозчик.

— Погоняй!

Дрожки помчались.

Проводив генерала, Соколов посмотрел на капитана и прыснул от смеха.

— Ну, я вам доложу, вы замечательный изобретатель! Ваши гвозди в четверть аршина длиною и во сне-то будут сниться генералу. С перепугу у него теперь, вероятно, печень пухнет, как у налима...

Прибылев молчал и смотрел на Соколова таким брезгливо-уничтожающим взглядом, что тот сразу переменил тон.

— Нет, а управляющий-то каков тип? Своим попустительством довел губернию черт знает до какого состояния

и вдруг нас же обвиняет. Скажите, какой законник нашелся!..

— Во всяком случае, он честнее нас с вами,— сухо бросил капитан и направился к выходу.

Начальник контрразведки застыл на месте с выпученными глазами.

В Омск полетели телеграммы, и управляющему Замысловскому скоро пришлось уйти в отставку, дав место другому — бывшему вице-губернатору.

IV

День был тихий и ведреный, а к вечеру подул ветер, нагоняя облака, поднимая пыль. Солнце, обойдя свой круг по небу, медленно опускалось за Медвежьим холмом. В Кашеедове, на одной стороне улицы, окна пламенели багрянцем, но озеро, покрытое мелкою рябью, уже потухло, потемнело, лишившись солнечных красок.

Мужиков в селе не было: они все, вооружившись пиками, скрывались в лесу. А дома остались лишь старики, бабы и ребятишки. Трудовой день приближался к концу: по улице гремели последние повозки. Пахло прелым навозом, парным молоком и свежим сеном.

Настроение у всех было тревожное. Люди, работая, постоянно оглядывались по сторонам, словно кого-то ожидая. А когда въехала в село чужая подвода, сразу все забеспокоились, внимательно осматривая мужика, сидящего на телеге. За его спиною лежал связанный телок. Лошадь шла шагом, а между тем была вся потная. Это наводило на подозрение.

— Откуда? — спросили его кашеедовцы.

— Из Журавлихи,— с напускным спокойствием ответил с телеги мужик.

— Далече?

— Не дальше вашего села.

Подъехав к дому Мирона Золотухина, он остановился и не торопясь слез с телеги. К нему подошли несколько человек, расспрашивая:

— Ну, как у вас там?

— Да ничего,— неохотно отвечал приезжий, привязывая вожжами лошадь к крыльцу.

— Спокойно?

— Как в животе после касторки.

Из ворот вышел сам Мирон, крепкий старик, с умным лицом, с одной половиной седой бороды, что придавало ему смешной вид. Приезжий направился к нему, прихрамывая на одну ногу, поздоровался за руку и, незаметно подмигнув глазом, заговорил громко:

— Вот и привез твою покупку. Боялся, поди, что обману, а?

— Да чего тут бояться? Деньги небольшие...— ответил старик, почесывая за ухом.

— Сбрил бы ты бороду совсем. Чего с одной половинкой ходишь?

Мирон нахмурился.

— Зачем? Пусть смотрят люди и вспоминают, как живется нам хорошо в Сибирских Поротых Штатах...

Приезжий деланно засмеялся.

— Однако куда телка стащить?

— На двор.

Приезжий, взяв телка в охапку, направился к воротам. Старик, пропустив его, запер за собою калитку. Оба они зашли в хлев и там быстро переговорили.

Через несколько минут приезжий уже садился на свою телегу, говоря:

— Надо торопиться, а то как бы дождиком не помочило.

И, завернув лошадь, крикнул:

— Прощай, дядя Мирон! При случае заезжай!

— Заглянем как-нибудь,— ответил старик, стоя у ворот.

Позднее он вывел через задние ворота своего лохматого коня, сел верхом на него и тронулся в путь, скрываясь в темноте.

В лесу, между большими деревьями, вблизи крутого оврага, ярко горели костры, в клочья разрывая черный покров ночи. Под напором ветра тайга глухо гудела, раздраженно ворчала, призрачная в зареве полыхающих огней, наполненная смутными движениями теней. Казалось, что она населена миллионами привидений, реющих по лесным трущобам. В эту ночную пору все было здесь загадочно: и шалаши, сделанные на скорую руку из еловых ветвей, и обитатели их, собравшиеся в одну кучу.

Это раскинулись табором кашеедовцы, решившиеся на последний шаг — поднять восстание против насилия.

Обсуждался важный вопрос, решить который нужно было иемедлеино.

Средн толпы сидящнх и полулежащнх людей, возвышаясь иадо всемн, стоял Потап Кротов, или, как теперь его прозвали,— Отпетый. Ои был вооружен револьвером н ручиой бомбой.

— Посты усилили? — спрашивал он, поворачивая голову во все стороиы.

— Все сделаио, товарищ Отпетый! — отвечалн ему нз толпы.

— Иинструкцни часовым дали?

— Так точио!

Над кострами, подиимая пар, кипели котелкн, ведра и чайиики. В иих готовился ужии. К запаху дыма и смолы примешивался, возбуждая аппетит, сладкнй аромат похлебки.

— Врагн иаши в Журавлнхе,— продолжал Отпетый, стараясь быть как можно спокойиее.— Всего трннадцать верст от нас. Завтра собираются окружить нас и перебить, как собак. Но это им ие удастся! Мы первые свернем им головы! Я предлагаю, товарищи, поужниать н иемедлеиио двинуться на Журавлнху. Мы застанем нх врасплох! Не так ли?

— Верио, правильно! — раздалнсь голоса.

— Только справимся ли с ннмн? — кто-то робко выразнл сомнение.

— Беляков сто человек,— подхватнл другой.

Голоса зашумелн:

— А нас около четырехсот!

— У них виитовкн!

— Наплевать! У нас зато пнкн есть! Пикамн ночью сподручиее будет работать...

— У белых пулеметы...

— Это еще лучше — иам достаиутся...

Старик Мирои, облапив свои коленн, смотрел в темное иебо, откуда маячили ему вершнны деревьев, поглажнвал рукой оставшуюся половниу бороды, по временам вставляя:

— Сущая правда.

Ветер, спустнвшись виизі, шарахался по земле, набрасывался на костры, крутя пламя н дым, поднимая в темное иебо рои золотистых нскр.

Повстанцы продолжали шуметь. Из-за деревьев внднелись их возбуждеиные лнца. Некоторые нз них держали пики.

Отпетый смотрел на свой отряд молча, нахмурив брови, прислушиваясь к спорам других, решительный и суровый. Большинство было на его стороне. Это его возбуждало, придавая уверенность в победе.

— Тише! — громко крикнул он, подняв вверх правую руку.

Все сразу замолчали.

— Мы поднялись не затем, чтобы праздно в лесу гулять. Революция — это вам не масленица с блинами. Тут нужно действовать смело. Или они нас, или мы их. Верно, у нас мало оружия: несколько винтовок, несколько бомб. Не важно! Через несколько часов вооружимся лучше. На нашей стороне темная ночь...

Стоявшие в стороне лошади, заржав, подняли между собой драку.

Молодой парень, вскочив, побежал к ним, и тут же послышался его сердитый окрик:

— Ну, вы, анафемы, развоевались!..

Теперь заговорил помощник Отпетого, усатый солдат, отличившийся своей храбростью на германском фронте,— Тарас Ершов.

Он развивал мысль о том, что если удастся им достать оружие, то их отряд разрастется в большую партизанскую армию.

По временам раздавался шум голосов.

Пламя костров, взвиваясь, отбрасывало на людей бегающие тени.

— Довольно зря кричать! — снова поднял свой голос Отпетый.— Время для нас дорого! Раз вы меня выбрали начальником, то я приказываю повиноваться мне. А если нет — я бросаю вас и один пойду на врагов. Пусть меня второй раз зароют в могилу! Но что смогу, то я сделаю...

Отпетый потряс кулаками. Раздался взрыв голосов:

— Все до единого пойдем!..

— Умрем за свободу!..

— Раздавим живодеров!..

Партизаны кричали наперебой, вскакивали со своих мест, потрясали пиками, возбужденные, с сверкающими глазами. Ветер предательски окутал их облаком дыма. Пламя костров, трепыхаясь, разрывало тьму. Глухой рокот проносился по тайге, то удаляясь, то приближаясь, рассыпаясь на множество непонятных звуков. Что-то хаотическое и зловещее было в этом.

Отпетый остановил всех и властно распорядился:

— Всем нет надобности ехать. Полторы сотни конных вполне достаточно. А пока давайте скорей ужинать!

Все бросились к своим котлам.

В селе Журавлихе, около двухклассного училища, большого одноэтажного здания с железной крышей, позванивая шпорами, тихо прохаживался часовой, вступивший на пост с двенадцати ночи. По временам он останавливался, всматриваясь в непроглядную тьму, прислушиваясь к разным звукам. Во всем селе не было ни одного огонька, а на небе, задернутом тучами,— ни одной звезды. Смутно намечались лишь ближайшие постройки, принимая уродливые формы, а дальше — все было залито мраком, черным, как деготь. На дворе, звякая удилами, всхрапывали лошади, били копытами о землю. Порывистый ветер, налетая, шумел тополями, жевал солому крыш. Где-то, на другом конце села, заливаясь, лаяла собака.

Часовому все время чудилось, что к нему кто-то крадется. Несколько раз он сдергивал с плеча винтовку и быстро брал ее на изготовку, ожидая нападения, но вокруг никого не оказывалось. Из груди его вырывался облегченный вздох, и снова вдоль фасада школы, от одного угла до другого, мерно раздавались шаги. В каждом предмете ему мерещилось что-то коварное и враждебное. И даже большой серый камень, лежавший около крыльца, когда часовой устремлял на него долгий взгляд, будто оживал, шевелился, становился похожим на присевшего человека.

— Тьфу, чертовщина! — тихо ворчал солдат, протирая глаза.

Последние два месяца прошли для него в каком-то кошмаре. Постоянно приходилось разъезжать с карательными отрядами, не зная покоя ни днем, ни ночью. Народные бунты все разрастались, несмотря на то, что их подавляли самым жестоким образом: крестьян пороли, вешали, рубили шашками, сжигали их деревни и села, забирали имущество. И когда всему этому конец?..

Мимо часового пробежала собака. Он вздрогнул, инстинктивно срывая с плеча винтовку.

— Чтоб тебя разорвало! — прошипел часовой, чувствуя, как его с ног до головы обдало холодом.

В памяти с отчетливой ясностью всплыл вчерашний случай. По распоряжению вахмистра он должен был отрубить голову одному крестьянину, партизанскому развед-

чику. Шашка была тупая, рука работала неуверенно, делая ошибочные удары, и перед ним, падая и поднимаясь, долго билось окровавленное человеческое тело, а кругом, потешаясь, громко смеялись солдаты:

— Не воин, а баба деревенская...

— Ему бы только чугуны ухватом из печки таскать...

В особенности он не мог забыть того момента, когда перед мужиком впервые сверкнула шашка,— приговоренный, втянув воздух в себя, издал такой звук, точно икнул, и в ужасе замер, невероятно расширив зрачки черных глаз.

«Дьявольская наша служба!» — подумал часовой, ускоряя шаги. Всматривался в мрак, но теперь ничего не видел, кроме безумного взгляда изрубленного им мужика. Часовой зашагал еще быстрее. И вдруг между углом школы и большой бочкой с водою, словно поднявшись из земли, выросли перед ним две человеческие фигуры.

— Тссс... — раздалось над его ухом, а перед глазами жутко наметился револьвер.

Он онемел от ужаса, задохнулся, роняя винтовку, и уже ничего больше не видел, ничего не слышал, покорно уходя за теми, чьи руки крепко держали его за локти. Его вели Отпетый и Демьян Блажной — тот самый, который приезжал к Мирону в Кашеедово. Часовой опомнился только за огородами и увидел себя в кольце окруживших его людей, вооруженных пиками. Несколько человек обыскали его, одну бомбу сняли с пояса, а другую — вынули из кармана.

— Простите, братцы... — начал было умолять часовой, но его перебил Отпетый:

— Подожди об этом! Ты должен показать нам всю правду о своем отряде. Если соврешь, то суд будет короток: дальше этого места никуда не уйдешь...

И строго начал допрашивать:

— Где помещается отряд?

— В школе,— глухо отвечал часовой.

— Сколько всех вас?

— Сто десять человек.

— Офицеров?

— Двое.

— Где помещаются лошади?

— У попа на дворе и в школьном дворе.

— А там есть солдаты?

— Пять человек.

— Где хранится пулемет?

— В сенях школы.

Отпетый немного задумался.

— Товарищ начальник, простите... Я хотел бежать к вам...

— Об этом поговорим после! А теперь скажи — вы ждали нас?

— Нет.

— Зачем приехал сюда отряд?

— Ловить красных, что спрятались в лесу.

— Кто вас должен был проводить туда?

— Не знаю. Какой-то крестьянин из этого села.

— Днем ты его можешь признать?

— Могу.

— Хорошо!

Часового связали и отвели в сторону.

Отпетый, обращаясь к своим товарищам, отдавал распоряжения:

— Десять человек должны будут расправиться с теми, что спят у попа. Петров, возьми это дело под свое руководство. Несколько человек возьмите по охапке соломы и кучками разложите ее вокруг школы, только подальше от стен, чтобы пожара не наделать... Зажечь солому нужно сразу и все время поддерживать огонь. А то в темноте белые могут разбежаться. С трещотками должны стать в стороне, чтобы их совсем не было видно.

Через несколько минут, вытянувшись в длинную вереницу, осторожно шагая, партизаны тронулись в село. Держа пики наготове, они шли тихо, как привидения, в суровом безмолвии, объятые жутким мраком, а приблизившись к школе, рассыпались, образовав вокруг нее живую цепь, причем половина из них подошла вплотную к стенам здания.

Отпетый и еще один из партизан, отойдя друг от друга на несколько шагов, остановились под окнами, держа наготове бомбы.

Было тихо, село казалось обезлюдевшим, и только ветер, путаясь в листве, шумел тополями, да где-то близко, должно быть, на крыше крыльца, замяукала кошка. Но лишь вспыхнули кучки соломы, как со звоном посыпались осколки разбитого стекла.

— Что такое? Кто там? — послышались из школы голоса.

Вслед за этим внутри помещения, сверкнув огнем, раздались два страшных взрыва. Повстанцев обдало брызга-

ми стекла, горячим потоком метнувшегося воздуха. Вздрогнула земля, ухнула вся окрестность, грохочущим эхом отозвалась ночь. И масса голосов, потрясая сырой мрак, смешалась в неистовый рев, перебиваемый выстрелами ружей и тарахтеньем деревянной трещотки. В газах взорвавшихся бомб и в дыму возникающего пожара, обезумев от ужаса, люди шарахались из одной комнаты в другую, опрокидывая столы и парты, давя друг друга. В эти метавшиеся фигуры с близкого расстояния, уже без всякого промаха, стреляли партизаны, возбужденные и озлобленные.

Выделялись голоса:

— Бросай оружие!..

— Все равно перебьем всех!..

Солдаты, считая себя побежденными, выскакивали из дверей, выпрыгивали из окон и, поднимая вверх руки, умоляюще просили:

— Сдаемся, товарищи!

— Мы за вас!

Партизаны обезоруживали их и отводили в сторону, оцепляя со всех сторон.

Проснулось село, охваченное тревогой, и понеслись от одного дома к другому, точно перекликаясь между собою, испуганные крики:

— Пожар! Пожар!..

— Наших режут!..

— Скотину выгоняй!..

Скрипели ворота, хлопали двери, гремели ведра, топали, бегая по улице, сотни ног, визжали бабы, плакали дети...

Некоторые из жителей Журавлихи, более решительные, вооружившись топорами, железными вилами, дрекольями, бежали к школе на помощь повстанцам. Но здесь и без них дело приближалось к концу. Обезоруживали последних солдат.

В окне, свесив ноги наружу, уселся офицер и, поддерживая рукою распоротый живот, сердито приказывал партизанам:

— Помогите спуститься!..

Это был капитан Прибылев.

Чья-то острая пика, вонзившись в грудь, опрокинула его внутрь школы.

1922

Александр Серафимович

•

Тамбовский мужичок в Москве

У Карпа Евтнхиевича Красногубова уже четвертый год сын на войне.

Сначала хоть редко, но прнходнли пнсьма,— жнв, здоров. А потом вдруг как оборвало: не то в плен попал, не то убнлн, не то ранили, не то без вестн пропал.

Мать по ночам голоснла. Сноха ходнла с опухшнми краснымн глазамн.

Карп нес горе покорно, как и всегда весь в работе, так же покорно, как покорно ждал сына в начале войны.

— Куды же денешься,— всем горе, и нам горе.

Горе горем, а когда собрал хлеб, вырыл поглубже яму, обжег, ссыпал хлеб, заровнял и прнтоптал, чтобы не вндать было.

Так же покорно ждал от сына писем. Но когда грянула революцня н скинули царя, что-то в первый раз замутнлось у него н дрогнуло:

— Почему такое?.. а?!

Но ннкто ничего не мог ему ответить. С этнх пор тревожная мысль, что есть внноватый, который должен ответнть ему за сына, не стала давать покоя.

А когда взрывом прокатилась Октябрьская революция н пошли слухн, что войну сделали баре да купцы, он решнл ехать в Москву достукаться про сына н разузнать, какне дела, как н что.

Ехать было трудно, тесно, все забнто солдатамн, а от разговоров еще больше защемнло сердце: ничего до конца не мог разобрать, одно только понял — напрасно сына отдал на царскую войну.

«Эх, напрасно сына отдал!..»

И вспомнил, как покорно все три года ждал вестей от

сына. Все три года, как бык, шел и бессловесно смотрел в землю.

В Москве всего больше удивило, что народу дюже много.

«И откуда только берется: и идут, и идут, и идут, как мыши суетятся...»

Целый день ходил, все узнавал про сына и ничего не узнал; и вдруг почувствовал себя как в лесу — ничего не понимает, ничего не узнает, все смешалось, как в зимнюю непогоду.

К вечеру еле ноги таскал, шел, пошатываясь от усталости, с мешком за плечами — хлеба с собой привез из дому.

Пошел ночевать на вокзал. В вокзале душно, накурено, из-за людей ничего не видит. Притулился в углу на пол, стал макать в кружку с водой хлебушко, и в первый раз выдавилась едкая, горькая слеза:

«Родимый ты мой, не увижу я тебя боле!»

Спал в этом же углу на полу, подложив мешок с хлебом под голову. Через него шагали, топтали ноги.

Утром поднялся весь изломанный. Хотел ехать домой, но к вагонам и близко подойти нельзя было — все забито людьми.

Стал толкаться в тесной груде людей без цели,— сам не зная зачем.

Были тут рабочие, бабы, солдаты с мешками и без мешков в шинелях. И опять также без дела и, сам не зная зачем, всматривался в лица солдат.

И вдруг стукнуло сердце, и Карп задрожал:

«Неужто сын?!»

Перед ним стоял молодой солдат в шинели.

Всмотрелся, и сердце упало — нет, не сын, а односелец, из одной деревни. И хоть не сын, все-таки обрадовался.

— Миколушко, ай ты?

— Да я же, я, дядя Карп. Либо не признаешь?

Отошли к сторонке. Выждали столик, сели за него. Карп боялся спросить про сына, наконец спросил.

— Не знаю,— сказал Николай,— говорили, будто в плену и будто бежал к французам с работ, а они будто на македонский фронт отправили. Ну, верно ли, нет ли, не знаю. Будут наводить справки в штабе, тогда тебе напишу.

Подали чай. Карп согрелся, распоясался, достал из

мешка хлеба и сала. Кругом гомонил народ; за соседними столиками поглядывали и крутили носом — больно уж вкусно пахло салом.

Карп отхлебнул из блюдечка и сказал:

— Што мы знаем? Сына вот следов не соследишь. Как в лесу. Опять же в деревне,— один говорит то, другой другое, разве разберешь. Вот сказывали — Москву всю рушили, церкви божии повалили, ризы растоптали, а между прочим, Москва стоит, божьи церкви на месте, не видать, штоб грабили, а народу-ти — и идут, и идут. Слышь ты, объясни ты, кто такие злодеи — большевики. У нас священное лицо с монастыря сказывает, это которые наибольшие грабители, оттого прозываются большевиками. Рассуди ты нас, Миколушко, за чистую душу, как перед истинным, запутаемся мы, как баран в тернах,— ничего не разберем.

— Эх, Евтихич, ежели бы да на Руси да все понимали да знали, давно бы устроилась наша земля. Ты, дядя Карп, заруби себе на носу и отнеси в деревню, пущай там расчухают. Судите по делам, а не по языкам. Судите, что делают, а не то, об чем трезвонят. Судите по делам, а не по программам. Программу всякую можно написать, а дело не делать.

— Ну, да это вестимо так.

— Ну, то-то и есть. Какие числются дела за большевиками и какие слова за другими?

Солдат достал папиросу, затянулся и сказал:

— Другие про землю на весь свет трезвонили, да ничего не сделали, а большевики прямо сделали — передать землю крестьянским комитетам, и шабаш. Вот тебе — раз! — загинай на пальцах, Карп Евтихич.

— Теперь дале. Другие про мир языком звонили, аж языки выпухали, а сами ни с места, да не только ни с места, а толкали на наступление, а большевики прямо сказали: ежели хочешь мира, приостанови наступление, и начали мирные переговоры. Вот тебе — два! — и солдат загнул другой палец.

— Положение солдата, положение крестьянина и рабочего в серой шинели в армии было ужасно. Солдат били в морду, в зубы, били походя, безнаказанно, зверски. Отдавали ни за что под шемякин суд, гнали в каторгу, расстреливали, с солдатами обращались, как с арестантами, как с низкой породой, так и звали солдат «святая се-

рая скотина». Я, Евтихич, служил, я на своей шкуре все это вынес...

— У меня там сын,— сказал Карп и опустил голову.

— Эх, сердяга, знаю. Не у тебя одного... Там, брат, костьми завалены тысячи верст. Вот и говорю: все жалели солдата... языком. Да. А большевики не языком пожалели, а дело сделали — взяли да офицеров отменили, чтоб не было господских офицеров, а каждый солдат чтоб мог командовать, лишь бы честный да понимающий был.

— Это правильно. Што ж они, господа, из другого теста сделаны,— сказал Карп, глядя затуманенными глазами.

— Во, во! — подхватил солдат.— Только таким манером и можно было избавить солдат от страшного положения. И вот никто этого не делал, а большевики сделали. Видал? — Солдат загнул третий палец.— Три!

— Так,— сказал Карп,— наш батя проповедь говорил, так сказал с амвона — у большевиков рога выросли, только махонькие, под шапкой не видать. Оттого они и кудлатые, хотят, штоб не дюже отшибало народ. Бабы открещиваются да плюются.

— Нда-а,— проговорил солдат, думая о своем и вынимая новую папироску,— ежели у тебя изба старая-престарая, еще прадедовская, уж все повело, крыша прогнила, стены пузом выперло, пороги вывалились, окна, двери перекосило, вся почернела, так сколь ты ее ни подпирай, сколь ни конопать, сколь крышу ни латай, все одно толков не будет — она будет все больше заваливаться, гнить, протекать, вся ослизнет. А надо ее к чертовой матери снести, чтоб и звания ее не осталось, да заложить новый фундамент, да поставить новый ядреный сруб, да покрыть свежей соломой, вот ступай живи себе в ней на здоровье на многие веки.

Вот так и большевики: они под самый под корень рубят старые гнилые порядки на русской земле и строят новые, ядреные, такие порядки, чтоб рабочий и крестьянин могли вздохнуть. Прежние порядки были построены так, чтобы барам жилось хорошо; пришла пора построить такие порядки, чтоб рабочему и крестьянину жилось хорошо. Вот, к примеру, суды. Легко ль было судиться в прежние времена? Легко ли было добиться правды в судах?

— Чижало, несть числа. Пословица не мимо молвится: с сильным не борись, с богатым не судись.

— Вот то-то и оно-то: да адвокаты, да судьи, которые уж привыкли по кривым законам судить, да присяжные,

которые выбирались из богатеньких и гнули свою линию в сторону богатых. Да как подумать судиться, сколько суммы требуется истратить, будь она проклята! — и рукой махнешь. А теперь большевики ввели простой народный суд, всем доступный, и богатому и бедному, сам народ судить будет, и никакой волокиты.

— Ну, это хорошо,— одобрительно покачал головой Карп.

— Да куды ни кинь, везде большевики новые порядки для пользы народа вводят. Вот теперь они все банки присоединили к Государственному банку.

— А-а, это зачем такое?

— Да ты знаешь, дядя Карп, что такое банк?

— Ну как же, стало быть, в банку кладут люди деньги для процент, а банка от этого огромные капиталы собирает и в долг дает, которым нуждающим, и гладит с них сумму, просто сказать, чижолую.

— Ну вот, чужими деньгами торгует,— сказал солдат.

— Как же, видали, как люди под землю у банке брали,— петля.

— Ну то-то вот и есть. Да петля-то от банков выходила не отдельным людям, а всему русскому трудовому народу; банки сосут кровь со всего народа. Они с народа же насбирают деньги, да на эти деньги всего накупят — и сахару, и ситцу, и машины, и ремней, и домов, и кос, и земель, ну всего, всего, чисто склады все завалят, и ждут, и поднимают цены. А когда цены вздуются во как, тогда они и выручают огромные барыши.

— Спекулянты, стало быть.

— Во, во,— сказал солдат,— на наши же денежки кровные нас же обирают. Кроме того, банки в своих руках держали фабрики, заводы, наводят там свои порядки, требуют, чтоб рабочих и крестьян жали и давили, как ни мога. А ежели их не слухают, они зараз перестают давать тому в долг деньги, фабрикам и заводам, и фабрики сядут, потому что они в долг тоже работают. Так в своих мохнатых лапах и держали банковские заправилы всю Россию и сосали ее, как пауки. Во насосались, аж лопнут; таких миллионов набрали, аж страшно подумать. Так вот этих сосунов рабоче-крестьянское правительство и ускорило,— сделало так, что теперь все эти банки только отделения Государственного банка. А Государственный банк, пока правительство народное, будет на пользу народа, а не сосать его.

— Ишь ты ведь как! Чего наверху делается, а мы живем в деревне, ничего и не знаем.

— Кабы знали бы, оборонились. И опять-таки большевики сняли этих кровососов с народного тела, а больше никто этого не сделал. Ну, как думаешь, дюже любят большевиков помещики, у которых отняли землю? Капиталисты, у которых прекратили доходную войну? Банкиры, которым не дали сосать народной крови? Офицеры, которых приравняли на солдатское положение?

Карп засмеялся:

— Любят, аж зубами скрегочут,— пополам бы перекусили.

— А ты подумай, сколько народу кормилось возле банкиров, возле капиталистов, помещиков. И все они дыбом поднялись на большевиков, то есть на рабочих, крестьян и солдат.

И начали они бастовать, начали брехать в своих газетах на большевиков. А потом прямо взялись за оружие в двух местах: на Дону и на Украине в Киеве. Побежали туда помещики, бывшие офицеры, капиталисты, банкиры и все другие, кто сосал народ. На Дону объявился помещик, генерал Каледин. Собрал он полки из бывших офицеров, юнкеров и часть казаков обманул, и они пошли за ним. Вот этот генерал — помещик Каледин не пускает в Москву, в Петроград, в северные губернии и на фронт хлеб и уголь,— пущай, мол, там вымрут и вымерзнут, с голоду-то народ взбунтуется, а Каледин с помещиками и захватит власть у рабочих и крестьян. Но только помните, тогда помещики, капиталисты, банкиры, бывшие офицеры начнут безумно расправляться с народом: города, деревни завалят трупами крестьян и рабочих, зальют улицы, дома, избы горячей кровью народной, будут расстреливать, топить, вешать, жечь. В Ростове-на-Дону они одержали маленькую победу, так сколько перебили и перекололи народу с зверским хохотом. И не видать вам земли и воли, если вы, крестьяне и солдаты, не поддержите правительство рабочих и крестьян и солдат. Спасайте же себя, спасайте, а то будете плакать, да поздно.

Солдат замолчал, полез за новой папироской,— пальцы у него дрожали.

Карп поднялся, взял руку солдата и долго держал в своей корявой, мужицкой мозолистой руке.

— Ну, Микола, спасибо тебе, спасибо! Просто сказать, глаза ныне открыл. Кубыть с колокольни глянул, и далеко

все видать. Теперича поеду домой, все расскажу старухе. Скажу, чтоб не ревели, потому строится земля наша, строится, родимая. Эх, кабы эти глаза видели с самого первоначалу, не дал бы сына на войну, ни в жисть бы не дал. Слышь, Микола, вот тебе открытой душой говорю: приеду домой, выгребу из ямы весь хлеб и в продовольственный — пущай в Москву везут али в Петроград, пущай рабочий народ кормится. И всей деревне обскажу, гляди, все вывалят хлеба.

Он взял опустевший мешок под мышку, сердито постоял и сказал:

— Рога выросли... Ах ты, идол долгогривый!.. Прямо скажу тебе, Микола, каждый год я ему на духу клал гривенник, прямо скажу тебе, не тая: теперича приду на исповедь, положу копейку, как перед истинным,— не брешин, кобель волосатый. Ну, прощай, будем ждать тебя на побывку.

И пошел к двери, да остановился. Долго стоял у двери и смотрел в стекло, как ходили по платформе, потом опять подошел к солдату и сказал:

— На сына... на мово... похож ты. Давеча его в тебе признал... прошибся... — и заморгал помокревшими глазами.

Вышел и пошел к забитому людьми поезду.

1918

Бабья деревня

Это было в восемнадцатом году.

По кочкам и корневищам долго ехал Сергей. Куда ни глянешь, пни вырубок или глухие, молчаливые сосны.

Дикое место. От железной дороги сто пятьдесят верст.

Вот наконец и деревня,— в снегах на горе. Внизу речка застыла, лишь черные полыньи дымятся. Кругом сизые от мороза леса,— раздолье!

У большой избы ямщик постучал кнутовищем. Вышла баба в перетянутом ремнем тулупе, в треухе и в штанах.

— Агитатора из городу вам привез,— сказал ямщик, показывая кнутом на Сергея.

— На кой он нам!

Повернулась, отворила ворота и сказала:

— Въезжайте во двор. Лошадь в сарай заведи, теплее будет, а сами идите в избу и погреетесь.

Сергей с ямщиком сидят распареииые в жарко натоплеииой избе и тяиут, обжигаясь, чай с блюдечек.

А уж полна изба набилась баб — и молодые, и старухи, и девки.

«Да все ядреиые какие, девки-то, кровь с молоком. Ишь, глазами блестят... — подумал Сергей, схлебывая с блюдца и прикушивая медком.— И все в штаиах да в треухах, помужичьи».

— А чего же у вас мужиков-то ие видать?

— Все мужики пропали,— сказала старуха, глядя в угол.

— Жаиихов теперича ии одиого,— печальио засмеялись девки.

— Один мужик на разводку остался, да и тот безъязычиый.

— Как так?

— Да так. Пришел енерал Колчак и давай сгиущаться иад народом — ды тяиут, ды разоряют, ды бабам нет житья, сколько девок перепортили. Мужики терпели, терпели ды все убегли к балшавикам. А из иих роту эити сделали. Ну, иаши и стали бить Колчака. Выгнали из деревии и погнали. Страсть, иаклали ево. А потом слышимпослышим, все наши полегли под одиим городом. Брали город у Колчака, все полегли до едииого.

В избе стало тихо. Курлыкал самовар, да за печкой сверчок тренькал.

— Чего ж вы все мужиками оделись?

— Нужда загнала. Лес ли рубить, али какую чижолую работу, где же в юбке — не справишься.

— И девки в портках,— сказал ямщик, показывая зубы из-за блюдца с дымящимся чаем.

Девки весело засмеялись, блестя глазами:

— А чем же мы хуже вас?

— Ну, ладио,— сказал Сергей, отодвигая чашку,— делу — время, потехе — час. Кто у вас председательша Совета?

— Да оиа же,— указали на краснощекую коренастую хозяйку избы.

— Так сбей сход, а я поговорю с вами. Я из города прислаи от партийиого комитета.

— Да мы, почитай, все тут. А каких нету, в лесу де-

лянки рубят либо сено с лугов возят. А об чем говорить-то будешь?

— Обо всем: об Советской власти, о разрухе, о коммуне...

Тут все бабы азартно закричали:

— Не надо нам коммунии! Будь ты проклят с ней, рогатый черт!

— Надень себе ее на рога!..

— Штоб ты издох с ней, с твоей коммунней!..

— Да вы что, ай белены объелись? — спрашивал изумленно Сергей.

Но бабы его не слушали, а с красными, потными злыми лицами — в избе была невообразимая давка — кричали, махали перед его лицом кулаками.

— Носастый сатана!..

— Запрягай, да подобру-поздорову по морозцу...

— Ишь ты, подобрался: мужиков нету, так он втихомолочку с коммунией подъехал.

— Да постойте! — кричал Сергей, притиснутый в самый угол.— Чего ж вы взбеленились? Что ж, вам сладко так-то живется?

Бабы сразу опали:

— Куды слаже. У кого брата, у кого мужа, у кого сыновей...

Тяжелые вздохи пронеслись по избе, набитой бабами. Блеснули слезы.

— Ну, вот. Небось и с хозяйством не ладно. Голодно, холодно, особенно многосемейным да бедноте.

— Ды как,— сказала хозяйка, утирая глаза.— Чижало. С весны пахать надо,— нечем взяться. У кого лошаденка,— плуга нету. У кого плужок,— худобы нету. Ложись да помирай. Сбились мы все бабы; галдели, галдели, порешили на том — сообча пахать. Опять же кажную полоску пахать в отдельности — толков не выйдет, до осени пропашем. Порешили бесперечь всю землю запахать. Согнали лошадей со всей деревни, сволокли все плуги, бороны, вышли всей деревней и давай пахать, а следом — боронить. Одни лошади выбились — оставили на отдых, других запрягли. Эти выбьются — опять их на отдых,— энтих запрягем. Бабы, девки выбьются из сил,— другие берутся, а энти отдыхают. Так, по переменкам, с ранней зорюшки до поздней самой темноты. Не успели оглянуться — ан земля вся вспаханная.

— Ну? — сказал Сергей, с удивлением глядя на баб.

— Не нукай, не лошадь тебе,— засмеялись девки.

— Ну, таким же манером отсеялись. А хлеб поспел, тут и вовсе гужом надо работать,— нету полосы твоей али моей, вся обчая. Опять же косилка одна на всю деревню. Ну, и стали косить, переменяясь. Ночи светлые выпали, месяц,— так день и ночь косили, все сняли, вымолотили сообча и ссыпали в обчественный анбар — смотреть за хлебом и караулить легше, как он весь вместе. С тех пор свет ясный увидали.

— Ну, а как же вы хлеб делите? По работникам али как? — спросил Сергей.

— Спервоначалу, которые без детей, заспорили, чтоб по работникам делить. Ну, мы собрались и порешили: по едокам делить. Потому у которой бабы много детей, чем же она виновата?

— Ну?

— Опять поехал,— подхватили девки со смехом.

— Обдумали мы, — продолжала председательша, — хлеб не раздавать по дворам, а печь сообча на всю деревню. По очереди шесть баб на всю деревню напекут в обчественной печке, и раздадим по едокам, и горюшка нам мало.

— Ну, что же у вас еще есть? — спросил Сергей, с удивлением разглядывая баб.

— Да чего же, больше ничего нету. Всё недостатки да недохватки. Посуды нету,— почитай, не в чем готовить. Так мы добыли у смолокура котел, смолу он варил. А мы его вмазали в печь ды стали на всю деревню готовить. Сарай у одной у бабочки был. Так мы его обмазали, окна, двери вставили, печь сложили, столы длинные поставили и ходим всей деревней и с детьми обедать, вечерять. Такто ли хорошо: по очереди готовим, посуду моем, а энти все свободные бабы и девки, кажная свое дело делает.

— Вот так ловко! — сказал Сергей.— Вот не ждал, не гадал такое увидеть в деревне. Ну, а еще чего у вас есть.

— Да больше ничего.

— Ну, а с детьми как? Поди, трудно?

— Как не трудно? Не то работу работай, не то за детьми гляди,— хочь раздерись. Так мы маленьких со всей деревни сволокем в одну избу с утра. Изба просторная, светлая: по очереди и смотрим за детишками. Им тепло и хорошо, в чистоте. А вечером бабы разбирают по домам. Прежде кажная баба за своим смотрела, а мужики работали, а теперича самим работать приходится, вот и

удумали. Пеленки-то штоб не мыть кажной в отдельности, так мы в одну избу со всей деревни наберем да по очереди стираем.

— Ай да ловко! Ай да бабы-девки! Ай да герои! — сказал Сергей и захлопал в ладоши.— Да кто же это вас все надоумил?

— Да хто? Нужда,— сказала хозяйка, пригорюнившись.— Нужда горькая.

— Ды Васька... — весело заговорили девки.

— Он у нас один жаних на всю деревню. Оттого и не женится,— не разодраться на всех девок.

Синие зимние сумерки загустились в избе, а замороженные окна выступили белыми четырехугольниками. Бабы и девки так же тесно стояли и сидели, переговаривались и смеялись, и в синей темноте не видать было их лиц.

Да вдруг и стены избы, и потолок, остывающий самовар и лица разом ярко и голубовато вспыхнули.

— Что такое? Что это? — вскочил Сергей, а сам уж видит, загорелась под потолком лампочка, и окна сразу стали черные.

Девки засмеялись.

— Ага, спужался.

— У нас електричество проведено по деревне,— сказала спокойно хозяйка.

— Да откуда это у вас? Кто такой Васька? — спрашивал Сергей, глядя на них во все глаза.

— Да наш же парень. Годов семь на фабрику ушел, и ни слуху ни духу об ём не было. Потом слышим-послышим,— на войну взяли. И там ему пулей зубы выбило и язык под самый корешок срезало. Ну, дохтора залечили. Дошлый парень, говорить не может, а показывает. Съездил в город, приволок какую-то машинку, приправил к водяной мельнице, протянул какие-то черные ниточки, вот и пошло електричество по всей деревне. Теперь опять в город уехал.

— Урр-а-а-а! — закричал радостно Сергей и подкинул шапку.— Да это же у вас и есть коммуния. Самая настоящая коммуния!..

— Тьфу! Тьфу! Штоб тебе кобель рыжий приснился,— зазвенели девчата.— Али взбеленился? Да ни в жисть в коммунии не будем.

— Да это же самая она настоящая коммуна и есть, когда люди вместе живут, работают, все на всех, а не на

помещика, и делят иаработаииое, чтобы каждый был сыт, все в чистоте, в уюте, в довольстве.

Изба вдруг иаполиилась раздражеииым говором, криком, движеиием.

— Ах ты, коиопатый черт! Цыплак облуплеииый! Ты это што ж: опять за коммуиию взялся. Навязать хочешь иам. Ды ни в жисть! Штоб оиа сдохла, твоя коммуиия!

— Постой, бабы, девки! — кричал радостиым голосом Сергей.— Да это же и есть, сами же устроили, ии у кого ие спросясь... Это и дорого, сами у себя устроили... жизнь вам подсказала... Это и есть самая иастоящая комму...

Да ие успел договорить — чей-то увесистый кулак пришелся в ухо, и у иего зазвеиело. Кругом красиые, возбуждеииые, злобиые бабьи лица и сверкающие глаза. Сергей раздвинул их локтями.

— Ну, это вам даром ие пройдет...

И опять ие успел договорить:

— Штоб ты лопиул, окаяииый! Штоб те выворотило иаизиаику! Бей их, девки! Волоки иа двор!

Ои ие успевал обороияться и отступал к стеие — ие драться же с иими.

Кто-то сзади иасуиул ему шапку иа самые уши, иакииул и тулуп, и ои вылетел из избы в распахиутую дверь головой в сугроб. За иим в тот же сугроб вылетел ямщик.

А уж двор полои баб и девок, и их возбуждеииые голоса мечутся в морозиом иочном воздухе.

Девки мигом выволокли из-под иавеса саии, ввели в оглоблю иедовольиую лошадь, перекииули дугу, засупоиили, и ие успел Сергей отряхиуться хорошеиько от иабившегося везде сиега, как его ловко свалили в саии. Туда же, как мешок, свалился ямщик. Столпившиеся кругом бабы, отчаяиио крича и улюлюкая, взяли в киутья лошадь.

Изумлеииый мерии захрапел, поддал задом, рваиулся и вынес саии иа улицу. Девки бежали и все хлестали. Только за околицей ямщик, иамотавший вожжи иа руки, сдержал расскакавшегося мериа.

Ясиая морозиая луиа бежала иад лесом в одну сторону, а верхушки леса — в другую. Сергей сердито привалился к задку саией, глубоко засуиув руки в рукава.

«Чертово бабье! Сатана в них вселился. Как белены обожрались. Что с ними делать? Не бить же их...»

Он потрогал вспухшее ухо.

«Вот и веди работу. Да к ним сам черт на козе не подъедет...»

Долго ехали молча. Повизгивали на укатанном снегу полозья, прыгали заиндевевшие шлея и дуга на споро бежавшем мерине.

— Но, но, милай!..— подгонял его ямщик, пошевеливая тоже побелевшими вожжами.

Да вдруг повалился спиной назад, через облучок в сани, высоко задрал кверху огромные валенки и стал хохотать, как леший, на весь лес:

— Хо-хо-хо... Слышь, энта черномазенькая-то кэ-эк звизданет меня по шее, аж в голове загудело. Ну, думаю — шабаш. Своротило шею,— не разогну никак, да и на! Хо-хо-хо... Ха-ха-ха...

Он хохотал, как сумасшедший, с таким подмывающим увлечением, как будто ему не по шее дали, а поцеловали.

— Хо-хо-хоо...

— Ну, чего ты, с дурна ума? — сердито сказал Сергей и вдруг сам ухмыльнулся в обмерзшие усы.

«А ведь что,— вдруг, неожиданно для самого себя подумал он,— вот маленько работу в своем районе подберу, приеду да женюсь. А что ж! Здоровый, крепкий народ. Умеют дело делать, а не языком. А как втянется — дорогая работница будет...»

А ямщик нет-нет да опять во все горло:

— Хо-хо-хо... кэ-эк звизданет! И зараз, как бирюк, шеи не поверну.

Да вдруг круто повернулся к Сергею, снял шапку и помотал открытой головой на морозе:

— Слышь, Лексеич, што я тебе скажу: вот зараз отвезу тебя, поеду к своим, скажу родителям: пущай благословлят — женюсь,— ей-богу, приеду и женюсь.

Сергей прятал усмешку в усы. Ямщик крутил головой и весело хмыкал. Ухмылялся и мерин, заложив одно ухо назад и потряхивая седелкой. И месяц с веселой рожей все бежал вдоль дороги, мелькая за верхушками сосен.

Кругом стоял мороз, тишина и залитая белизной ночь.

1923

Помолебствовал

В Тульской губернии, в одном из южных уездов было большое помещичье нмение на тысячу десятин. Возле лежали две деревни.

Помещик сеял много хлеба, засевал свекловицу; было клеверное поле, держал молочный скот; был громадный сад.

Сеяли, разумеется, хлебушко и крестьяне, держали помалу скотинку, возили навоз на поля, были кое у кого садишки, а жили туго, недоедали, недопивали. Ходили оборванные, грязные. Ребятишки бегали кривоногие, с обвислыми животами, с желто-бледными лицами,— ведь они, как птицы, бесперечь есть хотят, а часто и куска хлеба у матерей нет — все им брюхо набивают картошкой.

Туго жили крестьяне: земли — с сохой повернуться негде. Ни угодий, ни выгона, ни лугов, ни леска. Скотинка ходила мелкая, захудалая... Молоко, какое и было, несли на барский двор, на маслобойку,— ребятенки молока и не нюхали.

Родился у крестьян хлеб тоже туго. Ежели снимут с десятины двадцать пять — тридцать пудов,— радости нет конца. А то, не редкость, только-только семена воротят.

Помещик снимал и по семидесяти пяти и по сто пудов.

— Што ж, яму можно,— эва, земли сколько!

— Да ведь с десятины.

— Ну-к што ж? Яму есть чем взяться — капитал,— почесывали затылки крестьяне.

А сами искоса поглядывают на помещичью землю: «Кабы нам эту землицу, мы бы произвели».

Чует помещик — идет смятение в народе. Так, снаружи-то ничего не видать,— все тихо, чинно, спокойно: урядники, старшины, сотские, становые, исправники — все на своем месте; а чуют, все чуют: за этими заветренными, обросшими, покорными, почернелыми от земли, горя, бедности лицами таится своя незамирающая дума. Таится и все растет, и все ширится, все сгущается в черную хмару, что повисла над всей русской землей.

«Эк его,— думает помещик,— молчит, молчит мужик, да как прорвет его, и «ох» не успеешь сказать».

И надумал.

Приходит в деревню:

— Ну, вот что, мужички. Вижу — трудно вам...

— Куды туже, конца-краю не видать,— мнут шапки.

— Ну, то-то. И живете по-волчиному,— лба перекрестить негде,— ни церкви, ни школы.

— Куды! Прямо зверьем живем.

— Ну вот. Решил я построить вам церковь и школу.

Как ветром нагнуло крестьян, закланялись:

— Покорно благодарим. Век твои молельщики, благодетель наш...

А бабы от радости в подолы стали сморкаться, глаза красные утирают.

Помещик поставил церковь, выстроил и открыл школу церковноприходскую, чтобы Псалтирю поп с дьяконом обучали детей. Сам съездил в город, побывал у архиерея и привез из города двух: крестьянам — попа, себе — агронома.

Поп завел свое, агроном — свое.

Поп в воскресенье и под воскресенье, каждый праздник, который вывернется на неделе, и под праздник «аллилуйя», и «господи помилуй», и «благословен грядый»... и много всякого другого, непонятного и гундосого.

Но особенно напирал проповедями. Как служба, так и проповедь.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»... И пойдет, и пойдет тачать. Соседа Игната возлюби. Старшину возлюби. Помещика возлюби, управляющего его возлюби.

«Нет власти, аще не от бога». Тут уж вовсе разливается соловьем: и государя императора чтите как помазанника божия, и губернатора чтите, и исправника чтите, и станового чтите, и урядника чтите».

«Не будьте рабами лукавыми и ленивыми». Трудитесь, и все вам дастся. Лень — мать всех пороков, оттого у вас и бедность...

Стоят крестьяне, слушают, корявые, со спутанными бородами, с глубокими морщинами на замученных лицах; руки, как плети, висят, черные, мозолистые, полопавшиеся от вековечного неустанного труда; стоят слушают, покачивают головами: верно, мол.

Стоят и бабы, как замученные клячи, стоят, вздыхают и снова крестятся, низко кланяются попу и образам: «Господи! Мочушки нашей нету, силушки нашей нету...»

Хорошо стало с попом.

Опять и другое с попом хорошо. Бывало, начнет хлеб гореть, мечутся крестьяне, никак попа не достанут,— чужая церковь далеко, и поп там у своих нарасхват, тамош-

ние деревни к себе тянут, никак крестьяне не дождутся своего череда.

А теперь совсем другое стало. Случилась засуха на все лето,— стал гореть хлеб, трава; пашня как кирпич; лопается земля до самого нутра. Видят крестьяне: пропадают. Надо меры принимать.

Сейчас же кинулись к попу. А он под руками, тут же, свой, не надо ездить по чужим деревням, побираться чужим попом.

— Батюшка, пройдись с молебствием по полям, гибель наша!

Поп заправил волосы, собрал все свои причендалы. Забрали иконы, понесли на высоких палках вышитых людей, обе деревни поволоклись — и стар и млад. Пел поп с гундосым дьячком, окропил все закоулки, поля, все сады.

Сгорел весь хлеб дочиста — ни зерна не собрали, а сады сожрала гусеница. Многие крестьяне заколотили избы, продали последнюю коровенку, ушли на заработки, а бабы с ребятишками, почернелые от голода и горя, пошли с сумками побираться.

Не жаловался помещик и на агронома. Сбил агроном всех старых малоудойных коров, завел хороший, породистый скот и ну кормить его картошкой, свеклой. Велел пахать не в августе, сентябре, как это раньше было, а с мая. Да все лето по пашне гонял бороны, которые рыхлили верхний слой, не давали ему ссыхаться в комья. Привез из города какое-то зелье и ну из кишки опрыскивать деревья в саду. А уж с зерном, которое на семена, как с ребенком возился: насквозь его обобрал, вычистил, отвеял, как стеклышко, зернышко к зернышку.

Пришла жатва, и помещик снял двести пудов с десятины. Втрое стали давать молока коровы. И чудесные, наливные зреют яблоки, без пятнышка.

Удивляются крестьяне, качают головами:

— Колдун!

— Батюшка, отслужи молебен!

Пришли две революции. В первую революцию спихнули царя, да оставили землю помещикам, капиталы и фабрики — капиталистам. Во вторую революцию коммунисты спихнули помещиков и капиталистов, земля перешла крестьянам, фабрики — рабочим.

Наш помещик насилу ноги унес, убежал. Агроном уехал, поп остался.

Поделили крестьяне землицу, крякают, ухмыляются:

— Покропи, батюшка, новорожденную землицу.

Подняли иконы, прошлись по всем полям, по всем лужкам; кропил поп направо и налево, выкропил ведра два. Служил молебны с акафистом и без акафиста — до самой до ночи. Заморился народ, насилу ноги приволок домой.

Пришла жатва,— глазам своим не верят крестьяне: сняли... по два, по три пуда с десятины.

Собрался сход.

— Вы вот чего, старики...

Стал говорить свой, деревенский. Давно ушел он на фабрику, теперь приехал коммунистом. Случилось так, что приехала с ним молодежь, свои же деревенские красноармейцы.

— Вот что, старики, совет вам дам, а вы послушайтесь.

И дал им совет. Зашумели крестьяне:

— Да разве мыслимо! Да что ты, ай белены объелся! Да ни в жисть этого не сделаем. Али мы богачи какие? Мы не помещики.

Молодые, из красноармейцев, вступились:

— Непременно так надо сделать, как говорит товарищ. Он же наш. Опять же — коммунист.

Как ни упирались старики, переговорили их молодые. Делать нечего, завернули полы, достали кошели, собрали денег. Выбрали двух, вручили им сумму, укатили в город.

А тут поп подвернулся:

— Вот что, православные: дровец надо на божий храм, да и мне и причту надо заготовить.

— Ну-к што ж,— почесались старики.

— Не надо, не будем! — заорали молодые.

— Ну, а мы как же, одни не сдюжаем — старые.

Взъярился поп:

— Так вы вон куда гнете! Священника не принимаете, за требы, стыдно сказать, как нищему, даете!.. Проклянет вас господь!

Старики испуганно закрестились, а молодые закричали:

— Пущай проклянет! Небось обсохнем...

— А-а, так вы так!.. — завопил поп.— Повешу замок на церковь!

— Давно пора.

— Вешай... ишь, не догадался!

— Хочь себе на шею!

— О господи! — попятились старики, все так же испуганно крестясь.

Навесил поп на церковь замок, уехал неведомо куда.

А тут как тут — те двое, которые были посланы, из города приехали, третьего с собой привезли — агронома, да еще прежнего, что у помещика работал. Всем обществом приняли.

Принялся он за свое: и пахоту раннюю ввел, и боронить заставил целое лето, и навоз указал, как и когда вывозить и запахивать, и золу велел выгребать и все на пашню, и зерно на семена насквозь прочистить, и сады опрыскивал.

— Эх, мать ты курицына, плакали наши денежки!

А делать нечего, не попятишься: назвался груздем, лезь в кузов.

Вскружился год. Сняли хлеб, и ахнул народ: сто пудов десятина дала! Ахнул народ и рассмеялся во весь рот.

— Вот так здорово...

Звонкие да веселые деревни стали. Глядь, поп приехал — худой, облезлый, видно безработный, скучно.

— Православные, возблагодарим господа за милость его неизреченную, ниспосланную на вас. Обойдем все поля с молебствием...

С сотню здоровенных черных, земляных, полопанных кукишей протянулось к нему:

— На-кось, выкуси!..

1923

Тракторист поневоле

По степной речке длинно раскинулось белыми хатами село. Село многолюдное — народу тысяч шесть в нем жило. Но сейчас ни на улицах, ни в хатах не было ни одного человека. Нигде не видно было и ребятишек.

Оказывается, весь народ собрался километрах в двух на пашне. Тут же юрко мотались и ребятишки. Над толпой висел говор, смех. Все глядели на чудную черную, с трубой, машину, которая приехала пахать. В первый раз видело село такую машину. Слышались голоса, что эта машина, которую называли трактором,— неверная машина и пахать с нею нельзя. Вот пройдет она загон, начнет пахать и... запарится.

— Что ж он, трактор-то этот, какая от него польза?

Только что дым,— говорил седенький старичок, постукивая палкой,— а с дыму пользы мало.

— Опять же долго ли он ехать может,— сказал сердито рыжий мужчина.— Проедет загон, и стоп. Это нам не с руки. На лошади пашешь с утра до вечера, и горюшка мало. Подбросишь ей сенца или овсеца подвесишь, и паши загон за загоном.

Тракторист хмуро возился у трактора.

— Эх, вы, грибы деревенские! Сравнили машину с лошадью! Эта устали не знает, а лошадь вся пеной изойдет и станет. Во, глядите!

Он завел трактор и пустил его. Машина, урча и застилая дымом, двинулась. Машинист вел по прямой, ловко правя рулем. Далеко обошел четырехугольник и направил назад. Подъехал, остановился.

Все окружили его. Кругом говор.

— Здо-рово ходит!..

— Так и прет!..

А старичок опять постучал палкой по земле:

— Толку-то с него — раз проехал. Нет, ты поезди как следует. А-а, то-то и есть! Поедет, поедет, да и станет, что с ним будешь делать?

Тракторист озлился и закричал:

— Кто тут из вас хочет сесть? Я заправлю и покажу, как управлять. Мудреного тут ничего нет. Ну?

Толпа затихла.

— Ну, что же вы? Мне сейчас надо сбегать в слободу — до зарезу дело. А вы кто-нибудь поездите.

Неожиданно, растолкав толпу локтями, выдрался вперед длинный, вихрастый четырнадцатилетний Петька Косоногов и испуганно сказал:

— Я!

Тракторист осмотрел его с ног до головы, сказал:

— Садись. Мудреного ничего нет. Берись за руль. Сюда повернешь, трактор сюда пойдет. Сюда повернешь — в эту сторону пойдет. Ну? Понял?

— Понял.

— Ну, я пущу. Ты круга два-три сделаешь и остановишься тут. А чтобы остановиться, вот этот рычаг нажми.

Петька нажал.

— Ну, вот так. Теперь завожу, держись за руль. Ну, пошел!

Трактор затрещал и двинулся. Петька вцепился в руль,

держа его в одном положении. Трактор шел, как по линейке, удаляясь.

Страх у Петьки прошел. Ему очень хотелось глянуть назад, как на него все смотрят, но боялся шевельнуться. Вот и заворот, где тракторист заворачивал. Петька осторожно повернул руль, и трактор, все так же гремя, стал поворачиваться и пошел назад. У Петьки радостно забилось сердце:

— Научился!.. Научился!..

Стоявшая вдалеке толпа все ближе, все ближе. Вот уж видны лица. Вот мальчишки несутся со всех ног навстречу.

Петя подъехал к толпе. Все захлопали в ладоши, закричали «ура». Петя с красным от счастья лицом повернул и поехал назад. Сзади, удаляясь и слабея, неслось «ура».

Петя доехал до конца, повернул и опять поехал к толпе. И опять «ура» и аплодисменты, а он опять поехал назад. Так пять раз проехал. Ему стали кричать:

— Стой, Петька, стой!.. Остановись!..

А он доезжал, поворачивал и ехал назад. Так проехал десять раз. Потом одиннадцать, потом двенадцать.

Когда он проезжал в тринадцатый раз, толпа заревела:

— Стой, тебе говорят!..

У Пети лицо было красное от растерянности, и полны слез глаза. Он сказал, заикаясь:

— Не могу остановить... Забыл, куда крутить...

И поехал. Мать его громко заплакала:

— Заездит парнишку машина проклятая!.. Сымите вы его.

— Да как его сымешь — задавит!

А Петя с мокрым от слез и красным от волнения лицом уже ехал в четырнадцатый раз. Тогда закричали:

— Да бегите за машинистом,— пропадет парнишка!

Стая ребятишек понеслась в слободу. А Петя все ездил да ездил. Ему кричали:

— Верти ты ее, окаянную, куда попало, може, остановится.

— Боюсь,— рыдал Петя,— боюсь, как бы брыкаться не стала,— и поехал в двадцатый раз.

Показался тракторист. Он бежал от слободы. За ним, как воробьи, летели ребятишки. Тракторист подбежал, когда Петя поворачивал в двадцать седьмой раз. Он на

бегу схватился за рычаг, повернул. Машина смолкла, остановилась.

— Ничего, брат, хоть и поиеволе, а показал всей слободе, как машииа может работать,— не чета лошади. Из тебя будет толк, хороший будешь тракторист!

1929

Бригадир

Мы сидим с иим в горячей голубоватой теии иаметаииого скирда. Вдали недвижно стоят два комбайна. Земля голубовато парит. Комбайиеры, трактористы — кто раскииулся иа еще сыроватой земле и тяжело, лицо вниз, спит, кто, полуголый, латает рубаху. Ждут, пока подсохиет хлеб после буриого ливия, чтобы опять закипела работа.

У иего свислые усы и ослепительные зубы. А на бронзовом лице иавсегда застыла ие то иепотухающая дума, не то иавеки иеизбывиое воспомииаиие. Ои — крепкий, умелый, иикому ие спускающий бригадир.

— Так что, товарищ Сарахвимыч, зубами от смерти отодрался.

Я глянул, зубы у него блеснули из-под усов. А лицо все такое же твердо застывшее, и никогда не смеющиеся глаза. Ему под пятьдесят.

— Как это? Когда?

Он поглядел вдаль. Степь все так же голубовато дрожала и волновалась.

— В восемиадцатом... Это каким оборотом... Усть-Медведицкую стаиицу белые брали. Навалились с Усть-Хопра. Дои разлился, иаши ие могут подмоги подкииуть. Попы на колокольие Воскресеиской церкви пулеметы вправили, белые строчат оттель. Из-под пирамиды ихияя батарея глушит. Наши на пароме да иа баркасах на ту сторону вдарились. А так и видать, ложатся, ложатся головы, и винтовки на пароме, как подкашивает, — с колокольни-то далече берет. Под энтим берегом ие выдержали иаши, стали сигать в воду. Много унесло. А какие добрались до земли, мокрые, без винтовок, побегли. Берег открытый, как иа ладоии, — тоже миого полегло.

Нас, человек восемьдесят, за станицей к Брехуиье прижали: хотели садами отступать. Да сам знаешь, сады в

половодье до краев заливает. Некуда податься. Прикладами отбивались. Мне в голову приклад пришелся. Память отшибло. Очнулся, гляжу, на мельнице лежу, и товарищи, — паровая мукомольная на горе, возле кладбищенской церкви. Белые хлопочут округ нас, раздевают догола, вяжут проволокой парами рука к руке. А ночь. Ну, думаю, стало, решать нас будут. Наши тоже видят, конец приходит. Которые молчат, кто матюкается, а есть и плачут.

Чуть посерело, стали выводить человек по двадцать. Слухаем. Застрочил пулемет, а потом замолчал. Екнуло... Эх! Ну, все одно. Тихо стало. Вошли белые, одни. Вывели другую партию. Опять протрещал пулемет. Так — три раза. Наконец того, подошли к нам с товарищем. Мы в последней партии. Товарищ ослаб, — в ногу раненный был; рана нечижолая, да крови потерял много. Вывели, Ночь, хоть глаз коли. Только на бугре черная церковь призначается, — небо за бугром сереть стало, вот и видать. Товарищ на руке, почитай, повис, тяну его на себе. А сзади белые казаки прикладами подбодряют. Подошли, стали. Попробовал ногой, чую, обрыв, — это пониже кирпичного завода. Холодный барак. Тут пулемет заработал. Я как рвану товарища, мы и полетели. Вдарились, аж в голове загудело; кругом стон, крики, хрип. А на нас все глину сверху сыпют. Я это все голову кверху подымаю, все подымаю, чтоб не засыпало. Слышу, голос наверху, — должно, офицер:

— Черт с ними, бросай. Завтра досыпем ды притопчем, чтоб не воняли, собаки.

Слыхать — пошли.

Никто не стонет. А все видней да видней. Отгреб с себя глину, стал товарища тащить, а он не ворочается, и рука, которая к моей прихвачена, холодеет. Сгреб с его лица глину. «Ваня, говорю, а Ваня!» Молчит. Ну, пропал! Подтянул я его руку к роту, стал грызть проволоку, прямо как кобель. Грыз, грыз, в роте солоно стало, полон кровищи. А я все грызу, а над бараком все светлей ды светлей. Видать, обрыв. По дну глина насыпана, иде рука, иде нога торчит. А я прямо озверинился, рву зубами. Да проткнуло концом щеку, — разошлась проволока. Отвертел с руки, — слободный! Поднялся, шибануло, замлело во мне все. Полез по глине, по товарищам, а они холодные. Попробовал вылезть по обрыву, — прямо стена, сорвался. Ну, заспешил по бараку[1], а над бараком все светлей ды

[1] Барак — на Дону — луг.

светлей... Кочета кричат, собаки брешут. Что есть силы бегу. Уж близко к Дону. Глядь, баба идет с ведрами к колодезю. Как глянула, — бряк с коромысла ведра: человек не в себе, в чем мать родила. Заголосила: «Ой, нечистый дух!» Ды вдарилась бежать. А я — себе. Прибег к Дону, бултыхнулся, поплыл. Полая вода холодная, несет; не успел оглянуться, далече пронесло, станицы уж не видать. Ну, ды это хорошо: людей близко никого, а только слабнуть стал, насилу-насилу огребаюсь одной рукой, — другая от проволоки занемела. Солнце над лесом поднялось. Эх, увидит кто, — крышка! Выполз на карачках ды в лес.

До ночи лежал, все руку тер, — почернела. Ну, ночью по лесу крадучись пошел. Кажную минуту остановишься, послухаешь и опять. Два дня шел, не ел, только пил. На третьи сутки шататься стал, в голове все звон, думаю: «Ай заблудился». В церкве звонют. Под утро вышел из лесу; глядь — хата. Девка увидала, кинулась в дверь, щеколдой хлопнула. Вышел мужик, пронзительный глаз, такой сурьезный, черная борода. Долго глядел: «Ты, говорит, божий чоловик, шо ж в одной коже блукаешь, как Адам? Дэ ж тоби Ева?»

Я молчу. Ну, думаю, один конец. «Два дня, говорю, не ел». Он постоял, пошел в хату. Ну, думаю, пошел за топором али за вилами, — в станицу погонит. Выходит, несет ножик да мешок. А я попятился: «Неужто в мешок будет загонять?» — «На, говорит, режь углы, для шеи вырежь дирю. Ишь, говорит, всю шкуру ободрал в лиси, як свежеванный баран, увесь в кровище». Вырезал я дыри, надел мешок, а он девке велел краюху отрезать. Принесла она полхлеба, фартуком закрывается, а сама вполглаза на меня дивуется. А мужик говорит: «Козаки из станицы конные швыдко по шляху пробигли, всэ якого-то индоризанного шукалы. Ты, чоловиче, переправься на той бок Медведицы, тай тягны до чугунки, — красные пид Себряковой хронт держуть». Ну, к ночи я и к своим прибился. Отлежался в лазарете, а там — наступление. Попы опять с колокольни из пулеметов. Из саду батарея бьет. Дон-то давно обмелел, мы его с маху. Ворвались в станицу, белые наутек, как мы весной. Ну, я минутку улучил, в свой курень забёг, отворил дверь ды... ды... Что же это, брат ты мой!..

Он поднялся, постоял, как дуб, постоял, прямой, широкоплечий, потом сел. Я быстро глянул на его лицо. Оно было спокойное и неподвижно-бронзовое. Он сказал:

— Отворил в сенцы дверь, а на пороге жена лежит,

юбки задраты, ноги голые, одна рука отрубленная... А сыны в кухне лежать, одному — девятый годок, а старшему — тринадцатый. Соседи собрались, рассказывають — мучили их все время с той поры, как я убег, а когда мы ворвались в станицу, их и прикончили. С той поры пленных не брал. Сотней командовал, ссадили из-за этого самого. Два раза под суд отдавали, расстрелять хотели, нет, не брал пленных!

Он помолчал и спокойно сказал:

— Теперича у меня другая семья...

Долго смотрел на край степи, дрожавшей знойной дрожью, и вдруг оглушительно заревел и поднялся, — мне показалось, земля подалась под ногами:

— Ахвонька-а!! распротак тебе перетак... Опять за свое?! Зараз запишу штраф... — и полез за записной книжкой. — Иде ж она?

Афонька, молодой парень, тракторист, черный, как бес, от масла, сажи и металла, — только глаза и зубы блеснули, — торопливо затоптал черной босой ногой цигарку, подошел и, ухмыляясь белыми зубами, сказал просительно:

— Не пиши, Иван Семеныч, и так в штрафах весь, как в репьях. На получке ничего не достанется.

А тот опять загремел на всю степь:

— Кто курить будет на стану, разорву напополам!..

— Ну, прослабишься... — отозвался комбайнер, голый до пояса, и кожа блестела пóтом, чернотой, — кругом мокрота, а он...

— И тебе штраф!.. — загремело по степи. — Не сбивай народ...

Огромный, бронзовый, пошел в будку за книжкой. Трактористы, комбайнеры столпились:

— Вот сатана зубастая! Сам же видит, кругом парит, все волглое, и работать нельзя,— хлеб полег...

Бригадир вернулся.

— Марш по машинам! Проверить на ходу!.. — И, обернувшись, закричал стряпухе: — Чтоб обед был зáраз готов, на дуб солнце подымается, работать начнем, — и пошел, такой же стройно-тяжелый, спокойный, за расходившимися к черневшим машинам трактористами.

— У-у, сатана!.. — сказала стряпуха и поправила платок.

И вдруг ее потная и красная физиономия разъехалась до ушей:

— А осень придет, мы его качаем. Вот в прошлом году качали, ды чижолый какой...

— За что же качали?

— А как же? У всех трактористов премия за экономию горючего. У людей только приступают к уборке, а мы кончаем. У людей — потеря хлеба, а мы зернышка не упустили. Как же, качали! Я все руки пообломала — чижолый, окаянный, как медведь...

Она глянула на подходившего от машин бригадира, сердито поправила платок и побежала к печке под навесом, пробурчав:

— У-у, зубастый черт...

Бригадир сел на прежнее место и молчал, вслушиваясь, как пробно ревели моторы на месте. Потом сказал:

— Несознательная публика... Хлеб подсох, можно начинать.

Опять помолчал и сказал спокойно:

— Вот и я такой несознательный был. Веришь, Сарахвимыч, как закрутились колхозы, я ведь не думал, что работать лучше будет, машины... Думал: «Наши деды, отцы без колхозов жили, и не хуже жили». Но, между прочим, в колхоз вступил. А почему? А все потому же, все ждал схватиться с беляками. Даром что в Черное море их спихнули, а все думалось — как бы опять не пришли они к нам с тамошней буржуазией. А у мене замест мобилизации — колхоз. Прямо бери — видал, какие молодцы! Сажай на́ конь и в атаку. А то это покеда мобилизация, да сборы, да съедутся, много воды утекёть. А тут сразу все готово: мобилизованы — колхоз...

Он вздохнул, в первый раз вздохнул:

— Несознательный был. Теперь все по-иному...

И, помолчав, глухо сказал:

— У меня теперича семья другая.

Поднялся, стройный, тяжелый:

— Пообедали. Ишь заревели. Пойтить...

И пошел. Жнивье хрустело. Голубоватость над степью пропала.

Струился зной.

1939

Михаил Шолохов

•

Продкомиссар

I

В округ приезжал областиой продовольственный комиссар.

Говорил, торопясь и дергая ехидиыми, выбритыми досиия губами:

— По статистическим даниым, с ввереииого вам округа иеобходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я иазначил сюда иа должиость окружного продкомиссара как энергичиого, предприимчивого работника. Надеюсь. Месяц сроку... Трибунал приедет иа диях. Хлеб иужен армии и цеитру вот как... — ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стисиул жестко. — Злостно укрывающих — расстреливать!..

Головой, голо острижеиной, кивиул и уехал.

II

Телеграфные столбы, воробьииым скоком обежавшие весь округ, сказали: разверстка.

По хуторам и стаиицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетяиули животы, решили разом и не задумавшись:

— Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, иа улицах, кому где пригляиулось, почушками повыбухали ямищи, пшеиицу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебишко.

Молчат...

Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Сиег виз-

жит под колесами тачанки, бегут назад заиндевевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица — как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет ее не состарили.

Так было: июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов, Игнашке Бодягину — четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов:

— Сволочь ты, батя...

— Я?!

— Ты...

Ударом кулака сшиб с ног Игната, испорол до крови чересседельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал, — бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

— Поди, сынок, походи пó миру, а ума-разума наберешься — назад вертайся, — и ухмыльнулся.

Так было, — а теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин на раины в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосном крике; почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

— Старик Бодягин живой?

Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в дратву щетинку, сощурился:

— Все богатеет... Новую бабу завел, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегает...

И, меняя тон на серьезный, добавил:

— Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?

Утром, за завтраком, председатель выездной сессии ревтрибунала сказал:

— Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При обыске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем.

III

Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:

— Расстрелять!..

Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца спознал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую, загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:

— Позови ко мне вот того, старика.

Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах, потом потухло. Под взъерошенное жнто бровей спрятал глаза:

— С красными, сынок?

— С ними, батя.

— Тэ-э-эк... — В сторону отвел взгляд.

Помолчали.

— Шесть лет не видались, батя, и говорить нечего?

Старик зло и упрямо наморщил переносицу:

— Почти не к чему... Стежки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю,— я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.

У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.

— Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим по́том наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!

— Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!

— Кто работал — сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил... К плетню не пустил... За это и на распыл пойдешь!..

У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:

— Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема... — Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым: — Нно-о, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохрани матерь божия, — своими руками из тебя душу выну.

4 Зак. 313

* * *

Вечером за стаиицей мимо ветряка, к глиинщу, куда сваливается дохлая скотииа, свериули кучкой. Комеидант Теслеико выбил трубку, сказал коротко:

— Стаиовитесь до яру ближче...

Бодягии гляиул на сани, ломтями резавшие лиловый сиег сбочь дороги, сказал придушенно:

— Не серчай, батя...

Подождал ответа.

Тишина.

— Раз... два... три!..

Лошадь за ветряком рванулась назад, саии испугаино завиляли по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего сиега.

IV

Телеграфиые столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: иа Хопре восстаиие. Исполкомы сожжеиы. Сотрудиики частью перерезаиы, частью разбежались.

Продотряд ушел в округ. В стаиице на сутки остались Бодягии и комендант трибуиала Тесленко. Спешили отправить иа ссыпиой пуикт последиие подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Поиесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером иа площадь прискакало человек двадцать коииых. Над стаиицей, застрявшей в сугробах, полыхиул набат. Лошадииое ржание, вой собак, надтресиутый, хриплый крик колоколов...

Восстание.

На горе через впалую лысиeу кургаиа, поиатужась, перевалили двое коииых. Под горою, по мосту, лошадииый топот. Куча всадииков. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длииноиогую породистую кобылу.

— Не уйдут коммуиисты!..

За курганом Теслеико, вислоухий украииец, поводьями троиул маштака-киргиза.

— Черта с два догоият!

Лошадей «прижеливали». Знали, что разлапистый бугор лег верст иа тридцать.

Позади погоия лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло сгорбатилась. Верстах в трех от ста-

ницы в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

— Какого черта сидишь тут?

Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную.

— Замерзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал?

Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный:

— Я, дяденька, замерзаю... Я — сирота... пó миру хожу. — Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.

Бодягин молча расстегнул полушубок, соскочил с седла, в полу завернул щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь.

Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади.

Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня:

— Брось пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, бо можуть споймать нас!.. — Богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина. — Догонят — зарубают!.. Щоб ты ясным огнем сгорив со своим хлопцем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки заматывая на луку, к нагану тянулся.

— Не брошу мальчонку, замерзнет!.. Отвяжись, старая падла, убью!

Голосом заплакал сивоусый хохол, поводья натянул:

— Не можно уйти! Шабаш!..

Пальцы — чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся:

— За гриву держись, головастик!

Ударил ножнами шашки по потному крупу коня, Тесленко под вислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Легли рядышком. Сухим, отчетливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка папахи...

* * *

Лежали трое суток. Тесленко, в немытых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь поклевывали черноусый ячмень.

1925

Смертный враг

Оранжевое, негреющее солнце еще не скрылось за резко очерченной линией горизонта, а месяц, отливающий золотом в густой синеве закатного неба, уже уверенно полз с восхода и красил свежий снег сумеречной голубизной.

Из труб дым поднимался кудреватыми тающими столбами, в хуторе попахивало жженым бурьяном, золой. Крик ворон был сух и отчетлив. Из степи шла ночь, сгущая краски; и едва лишь село солнце, над колодезным журавлем повисла, мигая, звездочка, застенчивая и смущенная, как невеста на первых смотринах.

Поужинав, Ефим вышел на двор, плотнее запахнул приношенную шинель, поднял воротник и, ежась от холода, быстро зашагал по улице. Не доходя до старенькой школы, свернул в переулок и вошел в крайний двор. Отворил дверь в сенцы, прислушался — в хате гомонили и смеялись. Едва распахнул он дверь, — разговор смолк. Возле печки колыхался табачный дым, телок посреди хаты цедил на земляной пол тоненькую струйку, на скрип двери нехотя повернул лопоухую голову и отрывисто замычал.

— Здорово живете!

— Слава богу,— недружно ответили два голоса.

Ефим осторожно перешагнул лужу, ползущую из-под телка, и присел на лавку. Поворачиваясь к печке, где на корточках расположились курившие, спросил:

— Собрание не скоро?

— А вот как соберутся, народу мало, — ответил хозяин хаты и, шлепнув раскоряченного телка, присыпал песком мокрый пол.

Возле печки затушил цигарку Игнат Борщев и, цирк-

нув сквозь зубы зеленоватой слюной, подошел и сел рядом с Ефимом.

— Ну, Ефим, быть тебе председателем! Мы уж тут мороковали про это, — насмешливо улыбнулся он, поглаживая бороду.

— Трошки подожду.

— Что так?

— Боюсь, не поладим.

— Как-нибудь... Парень ты подходящий, был в Красной Армии, из бедняцкого классу.

— Вам человек из своих нужен...

— Из каких это своих?

— А из таких, чтоб вашу руку одерживал. Чтоб таким, как ты, богатеям в глаза засматривал да под вашу дудочку приплясывал.

Игнат кашлянул и, сверкнув из-под папахи глазами, подмигнул сидевшим у печки.

— Почти что и так... Таких, как ты, нам и даром не надо!.. Кто против мира прет? Ефим! Кто народу, как кость, поперек горла становится? Ефим! Кто выслуживается перед беднотой? Опять же Ефим!..

— Перед кулаками выслуживаться не буду!

— Не просим!

Возле печки, выпустив облака дыма, сдержанно заговорил Влас Тимофеевич:

— Кулаков у нас в хуторе нет, а босяки есть... А тебя, Ефим, на выборную должность поставим. Вот с весны скотину стеречь либо на бахчи.

Игнат, махая варежкой, поперхнулся смехом, у печки гоготали дружно и долго. Когда умолк смех, Игнат вытер обслюнявленную бороду и, хлопая побледневшего Ефима по плечу, заговорил:

— Так-то, Ефим, мы — кулаки, такие и сякие, а как весна зайдет, вся твоя беднота, весь пролетарьят шапку с головы да ко мне же, к такому-сякому, с поклонцем: «Игнат Михалыч, вспаши десятинку! Игнат Михалыч, ради христа, одолжи до нови мерку проса...» Зачем же идете-то? То-то и оно! Ты ему, сукину сыну, сделаешь уважение, а он заместо благодарности бац на тебя заявление: укрыл, мол, посев от обложения. А государству твому за что я должен платить? Коли нету в мошне, пущай под окнами ходит, авось кто и кинет!..

— Ты дал прошлой весной Дуньке Воробьевой меру проса? — спросил Ефим, судорожно кривя рот.

— Дал!

— А сколько она тебе за нее работала?

— Не твое дело! — резко оборвал Игнат.

— Все лето на твоем покосе гнула хрип. Ее девки пололи твои огороды!.. — выкрикнул Ефим.

— А кто на все общество подавал заявление на укрытие посева? — заревел у печки Влас.

— Будете укрывать, и опять подам!

— Зажмем рот! Не дюже гавкнешь!

— Попомни, Ефим: кто мира не слушает, тот богу противник.

— Вас, бедноты, — рукав, а нас — шуба!

Ефим дрожащими руками скрутил цигарку, глядя исподлобья, усмехнулся.

— Нет, господа старики, ушло ваше время. Отцвели!.. Мы становили Советскую власть, и мы не позволим, чтоб бедноте наступали на горло! Не будет так, как в прошлом году; тогда вы сумели захватить себе чернозем, а нам всучили песчаник, а теперь ваша не пляшет. Мы у Советской власти не пасынки!..

Игнат, багровый и страшный, с изуродованным лбом, с изуродованным злобой лицом, поднял руку.

— Гляди, Ефим, не оступись!.. Поперек дороги не становись нам!.. Как жили, так и будем жить, а ты отойди в сторону!..

— Не отойду!

— Не отойдешь — уберем! С корнем выдернем, как поганую траву!.. Ты нам не друг и не хуторянин, ты — смертный враг, ты — бешеная собака!

Дверь распахнулась, и вместе с клубами пара в хату протиснулось человек двенадцать. Бабы крестились на иконы и отходили в сторонку, казаки снимали папахи, крякая и обрывая с усов намерзшие сосульки. Через полчаса, когда народу набилось полная кухня и горница, председатель избирательной комиссии встал за столом, сказал привычным голосом:

— Общее собрание граждан хутора Подгорное считаю открытым. Прошу избрать президиум для ведения настоящего собрания.

* * *

В полночь, когда от табачного дыма нечем было дышать и лампа моргала и тухла, а бабы давились кашлем,

секретарь собрания, глядя на бумагу полуопьяиевшими глазами, выкрикиул:

— Оглашается список избранных в члены Совета! По большиииству голосов избранными оказались: первый — Прохор Рвачев и второй — Ефим Озеров.

* * *

Ефим зашел в конюшию, подложил кобыле сена, н едва ступил иа скрипевшее от мороза крыльцо, в сарае загорлаиил петух. По чериому пологу иеба приплясывали желтые крапинки звезд. Стожары тлели над самой головой. «Полночь», — подумал Ефим, трогая щеколду. По сеицам, шаркая валенками, кто-то подошел к двери.

— Кто такое?

— Я, Маша. Отпирай скорее!

Ефим плотио прихлопиул за собой дверь и зажег спичку. Фитиль, плавающнй в блюдце с бараньим жиром, чадно затрещал. Стягнвая с плеч шииель, Ефим нагнулся иад люлькой, висевшей у кровати, н бровн его разгладились, возле рта легла иежная складка, губы, посиневшие от холода, зашептали привычиую ласку. В лохмотьях, в тряпье, разбросав пухлые ручоики, заголившись до пояса, лежал розовый от сиа шестимесячный первенец. На подушке, рядом с иим — рожок, туго иабитый жеваиым хлебом.

Осторожио подсуиув руку под горячую спинку, Ефим шепотом позвал жену.

— Перемеии подстилку, обмочился поганец!..

И пока снимала она с печки просохшую пеленку, Ефим вполголоса сказал:

— Маша, а ить меия выбрали в секретари.

— Ну, а Игиат с другнмн?

— В дыбки становились! Бедиота за меия, как один.

— Смотри, Ефимушка, ие иаживи ты беды.

— Беда ие мне будет, а нм. Теперь начиут меия спихивать. В председатели-то прошел Игиатов зять.

* * *

Со дня перевыборов через хутор словио кто борозду пропахал н разделил людей на две враждебных стороны. С одиой — Ефнм н хуторская беднота; с другой — Игиат с

зятем-председателем, Влас, хозяин мельницы-водянки, человек пять богатеев и часть середняков.

— Онн нас в грязь втопчут! — неистово кричал на проулке Игнат. — Я знаю, куда Ефнм крутит. Он хочет уравнять всех. Слыхали, что он у Федьки-сапожника напевал? Будет, мол, у нас общественная запашка, будем землю вместе обрабатывать, а может, н трактор купим... Нет, ты сперва наживи четыре пары быков, а посля и со мной равняйся, а то, кроме вшей в портках, н худобы нету! По мне, на трактор ихннй наплевать. Деды нашн и без него обходнлись!

Как-то перед вечером, в воскресенье, собралнсь возле Игнатова двора. Заговорили о весеннем переделе земли. Игнат, подвыпившнй радн празднnка, мотал головой н, отрыгнвая самогонкой, вертелся возле Ивана Донскова.

— Нет, Ваня, ты по-суседски рассуди. Ну, на что вам, к примеру, нужна земля возле Переносного пруда? Да ейбогу! Земля там жирная, ей надо вспашку и обработку как следовает! А ты какого клепа вспашешь с одной парой быков! Ты, по-советски, середняк, то ись стоишь промеж Ефимкой и мной, обсуди, с кем тебе выгоднее якшаться? Вот ты по-доброму, как сусед, н того... На что вам земля у Переносного?

Иван сунул палец за вылннявшнй кушак, спросил прямо и строго:

— Ты это куда гнешь?

— Про землю то ись... Ну, сам посудн, земля там жнрная...

— По-твоему, стал быть, нам хоть на белой глине сеять можно?

— Вот-вот!.. Опять же и про глнну... Зачем на глнне? Можно уважить...

— Земля у Переносного жирная... Гляди, дядя Игнат, как бы ты не подавился жнрным куском!.. — Иван круто повернулся н ушел.

Среди оставшихся долго цепенела неловкая тншина.

А на краю хутора, у Федьки-сапожника, в этот же вечер Ефим, вспотевший н красный, потряхивая волосамн, ненстово махал рукой:

— Тут не пером надо подсоблять, а делом! Селькоров этих расплодилось ровно мух. И с делом и с небылицами прут в газету, иной раз чнтать тошно. А спросн, много из них каждый сделал? Заместо того, чтоб хныкать да к властн под подол, как дите к матери, забираться, кулаку свой

кулак покажи. Что? К чертовой матери! Беднота у Советской власти не век должна сиську дудолить, пора уж самим по свету ходить... Вот именно, без помочей! Прошел я в члены Совета, а теперь поглядим, кто кого.

* * *

Ночь неуклюже нагромоздила темноту в проулках, в садах, в степи. Ветер с разбойничьим посвистом мчался по улицам, турсучил скованные морозом голые деревья, нахально засматривал под застрехи построек, ерошил перья у нахохленных спящих воробьев и заставлял их сквозь сон вспоминать об июньском зное, о спелой, омытой утренней росой вишне, о навозных личинках и о прочих вкусных вещах, которые нам, людям, в зимние ночи никогда не снятся.

Возле школьного забора в темноте тлели огни цигарок. Иногда ветер схватывал пепел с искрами и заботливо нес ввысь, покуда искры не тухли, и тогда снова над густо-фиолетовым снегом дрожали темь и тишина, тишина и темь.

Один, в распахнутом полушубке, прислонясь к забору, молча курил. Другой стоял рядом, глубоко вобрав голову в плечи.

Молчание долго никем не нарушалось. Немного погодя завязался разговор. Говорили придушенным шепотом:

— Ну, как?

— Препятствует. У тестя девка в работницах живет, так он надысь подкапывается: «Договор с ней заключали?» — спрашивает. «Не знаю», — говорю. А он мне: «Надо бы председателю знать, за это по головке не гладят...»

— Уберем с дороги?

— Придется.

— А ежели дознаются?

— Следы надо покрыть.

— Так когда же?

— Приходи, посоветуем.

— Черт его знает... Страшновато как-то... Человека убить — не жуй да плюй.

— Чудак, иначе нельзя! Понимаешь, он могет весь хутор разорить. Запиши посев правильно, так налогом шкуру сдерут, опять же земля... Он один бедноту настраивает... Без него мы гольтепу эту во как зажмем!..

В темноте хрустнули пальцы, стиснутые в кулак.
Ветер подхватил матерную брань.
— Ну, так придешь, что ли?
— Не знаю... может, приду... Приду!

* * *

Ефим, позавтракав, только что собрался идти в исполком, когда, глянув в окно, увидел Игната.

— Игнат идет, что бы это такое?

— Он не один, с ним Влас-мельник, — добавила жена.

Вошли оба в хату и, сняв шапки, истово перекрестились.

— Здорово дневали!

— Здравствуйте, — ответил Ефим.

— С погодкой, Ефим Миколаич! То-то денек ныне хорош выпал, пороша свежая, теперь бы за зайчишками погонять.

— За чем же дело стало? — спросил Ефим, недоумевая, зачем пришли диковинные гости.

— Куда уж мне, — присаживаясь, заговорил Игнат. — Это тебе можно: дело молодое, пришел ко мне, прихватил собак — и в степь. Надысь собаки сами лису взяли возле огородов.

Влас, распахнув шубу, сел на кровать и, покачивая люльку, откашлялся.

— Мы это к тебе, Ефим, пришли. Дельце есть.

— Говорите!

— Слыхали, что хочешь ты с нашего хутора переходить на жительство в станицу. Верно?

— Никуда я не собираюсь переходить. Кто это вам напел? — удивленно спросил Ефим.

— Слыхали промеж людей, — уклончиво ответил Влас, — и пришли из этого. Какой тебе расчет переходить в станицу, когда можно под боком купить флигелек с подворьем и совсем даже задешево.

— Это где же?

— В Калиновке. Продается недорого. Ежли хошь переходить — могем помочь и деньгами, в рассрочку. И перебраться помогем.

Ефим улыбнулся:

— А вам бы хотелось спихнуть меня с рук?

— Ты выдумаешь! — Игнат замахал руками.

— Вот что я вам скажу. — Ефим подошел к Игнату вплотную. — С хутора я никуда не пойду, и вы отчаливайте с этим! Я знаю, в чем дело! Меня вы не купите ни деньгами, ни посулами! — Густо багровея, судорожно переводя дух, крикнул, как плюнул, в ехидное бородатое лицо Игната: — Иди из моей хаты, старая собака! И ты, мельник... Идите, гады!.. Да живей, покедова я вас с потрохами не вышиб!

В сенцах Игнат долго поднимал воротник шубы и, стоя к Ефиму спиной, раздельно сказал:

— Тебе, Ефимка, это припомнится! Не хочешь добром уходить? Не надо. Тебя из этой хаты вперед ногами вынесут!

Не владея собой, Ефим сграбастал воротник обеими руками и, бешено встряхнув Игната, швырнул его с крыльца. Запутавшись в полах шубы, Игнат грузно жмякнулся о землю, но вскочил проворно, по-молодому и, вытирая кровь с разбитых при падении губ, кинулся на Ефима. Влас, растопырив руки, удержал его:

— Брось, Игнат, не сычас... успеется...

Игнат, угнувшись вперед, долго глядел на Ефима недвижным помутневшим взглядом, шевелил губами, потом повернулся и пошел, не сказав ни слова. Влас шел позади, обметая с его шубы налипший снег, и изредка оглядывался на Ефима, стоявшего на крыльце.

* * *

Перед святками к Ефиму во двор прибежала, обливаясь слезами, Дунька — Игнатова работница.

— Ты чего, Дуняха? Кто тебя? — спросил Ефим и, воткнув вилы в прикладок соломы, торопливо вышел с гумна.

— Кто тебя? — переспросил он, подходя ближе.

Девка с опухшим и мокрым от слез лицом высморкалась в завеску и, утирая слезы концом платка, хрипло заголосила:

— Ефим, пожалей ты мою головоньку!.. Охо-хохо!.. И что же я буду, сиротинушка, де-е-лать!..

— Да ты не вой! Выкладывай толком... — прикрикнул Ефим.

— Выгнал меня хозяин со двора. Иди, говорит, не нужна ты мне больше!.. Куда же я теперича денусь? С фи-

липповки третий год пошел, как я у него жила... Просила хоть рупь денег за прожитое... Нет, говорит, тебе и копейки, я сам бы поднял, да они — денюжки — на дороге не валяются.

— Пойдем в хату! — коротко сказал Ефим.

Не спеша раздевшись, повесил на гвоздь шинель Ефим, сел за стол, усадил напротив всхлипывающую девку.

— Ты как у него жила, по договору?

— Я не знаю... Жила с голодного году.

— А договор, словом, бумагу никакую не подписывала?

— Нет. Я неграмотная, насилу фамилию расписываю.

Помолчав, Ефим достал с полки четвертушку оберточной бумаги и ковыляющим почерком четко вывел:

В нарсуд 8-го участка

Заявление...

* * *

С весны прошлого года, когда Ефим подал в станичный исполком заявление на кулаков, укрывших посев от обложения, Игнат — прежний заправила всего хутора — затаил на Ефима злобу. Открыто он ее ничем не выражал, но из-за угла, втихомолку гадил. На покосе обидел Ефима сеном. Ночью, когда тот уехал в хутор, пригнал Игнат две арбы и увез чуть не половину всей скошенной травы. Ефим смолчал, хотя приметил, что с его покоса колесники вели по проследку до самого Игнатова гумна.

Недели через две борзые Игната напали в Крутом логу на волчью нору. Волчица ушла, а двух волчат, шершавеньких и беспомощных, Игнат достал из логова и посадил в мешок. Увязав мешок в торока, сел на лошадь и не спеша поехал домой.

Лошадь храпела и боязливо прижимала уши, на ходу выгибалась, словно готовясь к прыжку, борзые юлили у самых ног лошади, нюхали воздух, поднимая горбатые морды, и тихонько подвизгивали. Игнат качался в седле, поглаживая шею коня, ухмыляясь в бороду.

Короткие летние сумерки уступили дорогу ночи, когда Игнат с горы спустился в хутор. Под копытами коня сверкали, отлетая, каменные осколки, в тороках в мешке молча возились волчата.

Не доезжая до Ефимова двора, Игнат натянул пово-

дья и, скрипнув седлом, соскочил на землю. Отвязав мешок, вытащил первого попавшегося под руку волчонка, под теплой шерсткой нащупал тоненькую трубочку горла и, морщась, стиснул ее большим и указательным пальцами. Короткий хруст. Волчонок с переломанным горлом летит через плетень в Ефимов двор и неслышно падает в густые колючки. Через минуту другой шлепается в двух шагах от первого.

Игнат брезгливо вытирает руку, вскакивает в седло и щелкает плетью. Конь, фыркая, мчится по проулку, позади спешат поджарые борзые.

А ночью к хутору с горы спустилась волчица и долго черной неподвижной тенью стояла возле ветряка. Ветер дул с юга, нес к ветряку враждебные запахи, чуждые звуки... Угнув голову, припадая к траве, волчица сползла в проулок и стала возле Ефимова двора, обнюхивая следы. Без разбега перемахнула двухаршинный плетень, извиваясь, поползла по колючкам.

Ефим, разбуженный ревом скота, зажег фонарь и выскочил на двор. Добежал до база — воротца приоткрытые; направив туда желтый мигающий свет, увидел: к яслям приткнулась овца, между широко расставленных ног ее сизым клубом дымились выпущенные кишки. Другая лежала посреди база, из расшматованного горла уже не лилась кровь.

Утром нечаянно наткнулся Ефим на мертвых волчат, лежавших в колючках, и догадался, чьих рук это дело. Забрав волчат на лопату, вынес в степь и кинул подальше от дороги. Но волчица наведалась в Ефимов двор еще раз. Продрав камышовую крышу сарая, бесшумно зарезала корову и скрылась.

Ефим отвез ободранную корову в глинище, куда сваливается падаль, и прямо оттуда пошел к Игнату. Под навесом сарая Игнат тесал ребра на новую арбу. Увидев Ефима, отложил топор, улыбнулся и, поджидая, присел на дышло повозки, стоявшей под навесом.

— Иди в холодок, Ефим!

Ефим, сохраняя спокойствие, подошел и сел рядом.

— Хорошие у тебя собаки, дядя Игнат!..

— Да, брат, собачки у меня дорогие... Эй, Разбой, фюйть! Иди сюда!..

С крыльца сорвался грудастый, длинноногий кобель и, виляя крючковатым хвостом, подбежал к хозяину.

— Я за этого Разбоя ильинским казакам заплатил ко-

рову с телком. — Улыбнувшись уголками губ, Игнат продолжал: — Хорош кобель... Волка берет...

Ефим протянул руку к топору и, почесывая кобеля за ушами, переспросил:

— Корову, говоришь?

— С телком. Да разве это цена? Он дороже стоит.

Коротко взмахнув топором, Ефим развалил череп собаки надвое. На Игната брызнула кровь и комья горячего мозга.

Посиневший Ефим тяжело поднялся с повозки и, кинув топор, шепотом выдохнул:

— Видал?

Игнат с выпученными глазами глядел, задыхаясь, на скрюченные ноги собаки.

— Сбесился ты, что ли? — просипел он.

— Сбесился, — мелко подрагивая, шептал Ефим. — Тебе бы, гаду, голову надо стесать, а не собаке!.. Кто волчат у мово двора побил? Твоих рук дело!.. У тебя восемь коров... одну потерять — убыток малый. А у меня последнюю волчиха зарезала, дите без молока осталось!..

Ефим крупно зашагал к воротам. У самой калитки его догнал Игнат.

— За кобеля заплатишь, сукин сын!.. — крикнул он, загораживая дорогу.

Ефим шагнул вплотную и, дыша в растрепанную бороду Игната, проговорил:

— Ты, Игнат, меня не трожь! Я тебе не свойский, терпеть обиду не буду. За зло — злом отквитаю! Прошло время, когда перед тобой спину гнули!.. Прочь...

Игнат посторонился, уступая дорогу. Хлопнул калиткой и долго матерился, грозил уходившему Ефиму кулаком.

* * *

После случая с собакой Игнат перестал преследовать Ефима. При встрече с ним кланялся и отводил глаза в сторону. Такие отношения тянулись до тех пор, пока суд не присудил Игната к уплате шестидесяти рублей Дуньке-работнице. С этого времени Ефим почувствовал, что из Игнатова двора грозит ему опасность. Что-то готовилось. Лисьи глазки Игната таинственно улыбались, глядя на Ефима.

Как-то в исполкоме председатель с подходцем выспрашивал:

— Слыхал, Ефим, с тестя присуднли шестьдесят рублей?

— Слыхал.

— Кто бы мог иаучить эту шалаву — Дуиьку?

Ефим улыбнулся и поглядел прямо в глаза председателю.

— Нужда. Тесть твой выгнал ее со двора н куска хлеба не дал иа дорогу, а Дуиька работала у иего два года.

— Так ведь мы же ее кормили!..

— И заставляли работать с утра до иочи?

— В хозяйстве, сам зиаешь, работа не по часам.

— Тебе, я вижу, любопытио зиать, кто напнсал заявление в суд?

— Вот-вот, кто б это мог?

— Я, — ответил Ефим и по лицу председателя понял, что это для иего ие является неожидаииостью.

Перед вечером Ефим взял с собой из исполкома бумаги и обязательиое постановлеиие стаиисполкома.

«Перепишу после ужина», — подумал, шагая домой. Поужииал, закрыл с надворья ставин н сел за стол переписывать. Взгляд его случайио упал на оголеиные рамы окои.

— Маша, ты что ж, аль ие купила ситцу иа заиавески?

Жеиа, сидевшая за прялкой, виновато улыбиулась:

— Я купила два метра... ты нть зиаешь, пеленок иету... дите в лохмотьях... я и сшила две пеленки.

— Ну, это ничего... А все ж таки завтра купи. Неловко: кто ставию с улицы откроет — все видно.

За окнами, узорчато размалеваииыми морозом, ветер пушил поземкой. Тучи, бесформеиные и тяжелые, застилали иебо. На краю хутора, там, где лобастая гора спускается к дворам забурьяиевшим склоном, брехали собаки. Над речкой вербы обижеиио роптали, жаловались ветру иа холод, иа иепогодь, и скрип их раскачивающихся ветвей и шум ветра сливались в согласиый басовитый гул.

Ефим, макая перо в самодельиую чериильницу с черниламн, сделаиными из дубовых ягод, изредка поглядывал иа окио, таившее в чериом иемом квадрате молчаливую угрозу. Ему было ие по себе. Часа через два ставня с улнцы скрипиула и слегка приоткрылась. Ефнм не слышал скрипа, ио, бесцельио взгляиув иа окио, похолодел от ужаса: в узеилькнй просвет сквозь ветвнстую изморозь иа иего, прнжмурясь, тяжко гляделн чьн-то зиакомые серые глаза.

Через секуиду иа уровие его головы за стеклом, словио иащупывая, появилась чериая дырка винтовочного дула. Ефим сидел, откииувшись к стеие, иедвижный, побледиевший. Рама была одинариая, и ои ясно услышал, как щелкиул спуск. Над серыми глазами изумлеино дернулись брови... Выстрела ие последовало. На миг за стеклом исчез чериый кружок, четко лязгиул затвор, но Ефим, опомнившись, дуиул иа огонь — и едва успел иагнуть голову, как за окном ахнул выстрел, брызнуло стекло и пуля сочно чмокнулась в стену, осыпая Ефима кусками штукатурки.

Ветер хлыиул в разбитое окио, запорошив лавку сиежной пылью. В люльке произительио закричал ребенок, хлопиула ставия...

Ефим бесшумио сполз иа пол и иа четвереньках добрался до окна.

— Ефимушка! Родиеиький!.. Ой, господи!.. Ефимушка!.. — плакала иа кровати жеиа, ио Ефим, стиснув зубы, не отзывался; дрожь трясла его тело. Приподиявшись, загляиул ои в разбитое окно; увидел, как по улице рысью убегал кто-то, закутаиный сиежиой пылью. Опираясь иа лавку, встал Ефим во весь рост и сиова стремительио упал иа пол: из-за полуоткрытой ставии скользиул ствол виитовки, грохнул выстрел... Едкий запах пороховой гари иаполиил хату.

* * *

Наутро Ефим, осуиувшийся и желтый, вышел на крыльцо. Светило солнце, трубы курились дымом, ревел у речки скот, пригиаиный иа водопой. На улице лежали свежие следы полозьев, иовый сиег слепил глаза иезапятиаииой белизной. Все было такое обычное, будничное, родное, и прошедшая ночь показалась Ефиму угарным сиом. Возле завалинки, против разбитого окиа, нашел ои в снегу две порожиих гильзы и винтовочиый патрои с чериой ямкой иа пистоие. Долго вертел в руках заржавленный патрои, подумал: «Если б ие осечка, если б обойма эта ие была отсыревшей, — каюк бы тебе, Ефим!»

В исполкоме уже сидел председатель. На скрип двери мельком взгляиул иа Ефима и сиова склонился иад газетой.

— Рвачев! — окликиул Ефим.

— Ну? — отозвался тот, ие поднимая головы.

— Рвачев! Гляди сюда!..

Председатель нехотя поднял голову, и прямо на Ефима глянули из-под крутого излома бровей широко расставленные серые глаза.

— Ты, подлец, стрелял в меня ночью? — хрипло спросил Ефим.

Председатель, багровея, принужденно засмеялся:

— Ты что? С ума спятил?

У Ефима перед глазами встала минувшая ночь: тяжкий, немигающий взгляд за стеклом, черная пасть винтовки, крик жены... Устало махнув рукой, Ефим сел на лавку и улыбнулся:

— Не вышло. Патроны сырые... Где они у тебя спасались? Небось в земле?

Председатель вполне овладел собой, ответил холодно:

— Не знаю, о чем ты говоришь: должно, лишнее выпил.

К полудню слух о том, что в Ефима ночью стреляли, облетел весь хутор. Возле хаты его толпились любопытные. Иван Донсков вызвал Ефима из исполкома, спросил:

— Ты сообщил в милицию?

— С этим успеется.

— Ну, брат, не робей, в обиду тебя мы не дадим. С Игнатом теперича осталось человек пять, а мы их раскусили! За кулачьем никто уж не пойдет, все откачнулись, будя!..

Вечером, когда у Федьки-сапожника собралась молодежь и под стук его чеботарского молотка закипел, как всегда, горячий разговор, к Ефиму подсел сверстник Васька Обнизов, зашептал любовно, сжимая Ефимово плечо:

— Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет. Понял? Толком тебе говорю! Знаешь, как в сказке про богатырей? Одного убьют, а их обратно двое получается... Ну, а нас не двое, а двадцать образуется!

* * *

В станицу пошел Ефим с утра. Побывал в исполкоме, в кредитном товариществе, в милиции задержался, поджидая старшего милиционера. Покуда управился с делами — смерклось.

Вышел из станицы и по гладкому, скользкому льду речки пошел домой. Вечерело. Щеки слегка покалывал морозец. На западе неприветливо синела ночь. За поворотом завиднелся хутор, темные ряды построек. Ефим при-

бавил шагу н, огляиувшись назад, увндел: позадн, шагах в двухстах, идут кучкой трое.

Смерив взглядом расстояиие до хутора, Ефим пошел быстрее, ио, огляиувшись через мииуту, увидел, что те, позади, ие только не отстали, а даже как будто приблизились. Охвачеиный тревогой, Ефнм перешел на рысь. Бежал, как на ученье, плотио прижав локти к бокам, вдыхая морозный воздух через нос. Хотел выбраться иа берег, ио вспомннл, что там глубокий сиег, и сиова побежал вдоль речки.

Случнлось так: не рассчитав двнжения, поскользнулся, не выправился и упал. Подиимаясь, гляиул иазад, его настнгали... Передиий бежал упруго и легко, на бегу размахивая колом.

Ужас едва не вырвал из горла Ефима крик о помощи, ио до хутора было больше версты: крик все равно иикто не услышит. В короткий мнг осознав это, Ефим сжал губы н молча рванулся вперед, пытаясь иаверстать время, потеряиное при падеиин. Несколько мииут расстояиие, лежавшее между ннм и передннм из трех, как будто ие сокращалось; затем, оглянувшнсь, Ефнм увидел, что бежавший позади настнгает его. Собрав все силы, помчался быстрее, н тут слух его уловил иовый звук: по льду, глухо вызванивая, стремительио скользнл кол. Удар сбил Ефима с ног. Вскочнв, он сиова побежал. На секуиду вспомиил: так же бежал ои под Царицыном, когда атакой выбивалн белых, такое же горячее удушье заливало тогда грудь...

Кол, пущенный сильной рукой, опять свалил Ефима с ног. Ои не подиялся... Сзади кто-то страшиым ударом в голову отброснл его в сторону. В железиый комок собрав всю волю, Ефим, качаясь, встал иа четвереиьки, ио его повалили иавзннчь.

«Лед почему-то горячий...» — сверкиула мысль. Глянув вбок, Ефнм увидел у берега иадломленный стебель камыша. «Сломилн и меня...» И сейчас же в тускиеющем сознаиин огиеиные всплыли слова: «Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать иовых Ефимов будет!.. Как в сказке про богатырей...»

Где-то в камыше стоял тягучнй, беспрерывный гул... Ефим не чувствовал, как в рот ему, ломая зубы, выворачивая десны, глубоко всадилн кол; ие чувствовал, как вилы произнли ему грудь и выгнулись, воткиувшись в позвоночннк...

* * *

Трое, покуривая, быстро шли к хутору, за одним из них поспешали борзые. Срывалась метель, снег падал на лицо Ефима и уже не таял на холодных щеках, где замерзли две слезинки непереносимой боли и ужаса.

1926

Червоточина

Яков Алексеевич — старинной ковки человек: ширококостый, сутуловатый; борода как новый просяной веник, — до обидного похож на того кулака, которого досужие художники рисуют на последних страницах газет. Одним не схож — одежей. Кулаку, по занимаемой должности, непременно полагается жилетка и сапоги с рыпом, а Яков Алексеевич летом ходит в холщовой рубахе, распоясавшись и босой. Года три назад числился он всамделишным кулаком в списках станичного Совета, а потом рассчитал работника, продал лишнюю пару быков, остался при двух парах да при кобыле, и в Совете в списках перенесли его в соседнюю клетку — к середнякам. Прежнюю выправку не потерял от этого Яков Алексеевич: ходил важной развалкой, так же, по-кочетиному, держал голову, на собраниях, как и раньше, говорил степенно, хриповато, веско.

Хоть урезал он свое хозяйство, а дела повел размашисто. Весной засеял двадцать десятин пшеницы; на хлебец, сбереженный от прошлогоднего урожая, купил запашник, две железных бороны, веялку. Известно уж, кто весной последнее продает: кому жевать нечего.

По всей станице поискать такого хозяина, как Яков Алексеевич: оборотистый казак, со смекалкой. Однако и у него появилась червоточина: младший сын Степка в комсомол вступил. Так-таки без спроса и совета взял да и вступил. Доведись такая беда на глупого человека — быть бы неурядице в семье, драке, но Яков Алексеевич не так рассудил. Зачем парня дубиной обучать? Пусть сам к берегу прибивается. Изо дня в день высмеивал нонешнюю власть, порядки, законы, желчной руганью пересыпал слова, язвил, как осенняя муха: думал, раскроются у Степки

глаза, — они и раскрылись: перестал парень креститься, глядит на отца одичалыми глазами, за столом молчит.

Как-то перед обедом семейно стали на молитву. Яков Алексеевич, разлопушив бороду, отмахивал кресты, как косой по лугу орудовал; мать Степкина в поклонах ломалась, словно складной аршин; вся семья дружно махала руками. На столе дымились щи; хмелинами благоухал свежий хлеб. Степка стоял возле притолоки, заложив руки за спину, переступая с ноги на ногу.

— Ты человек? — помолившись, спросил Яков Алексеевич.

— Тебе лучше знать...

— Ну, а если человек и садишься с людьми за стол, то крести харю. В этом и разница промеж тобой и быком. Это бык так делает: из яслей жрет, а потом повернулся и туда же надворничает.

Степка направился было к двери, но одумался, вериулся и, на ходу крестясь, скользнул за стол.

За несколько дией пожелтел с лица Яков Алексеевич; похаживая по двору, хмурил брови; знали домашние, что пережевывает какую-нибудь мыслишку старик, недаром по ночам кряхтит, возится и засыпает только перед рассветом. Мать как-то шепнула Степке:

— Не знаю, Степушка, что наш Алексеевич задумал... Либо тебе какую беду строит, либо кого опутать хочет...

Степка-то знал, что на него готовит отец поход, и, притаившись, подумывал, куда направить лыжи в том случае, если старик укажет на ворота.

В самом деле, есть о чем подумать Якову Алексеевичу: будь Степке вместо двадцати пятнадцать годов, тогда бы с ним легко можно справиться. Долго ли взять из чулана новые ремениые вожжи да покрепче намотать на руку? А в двадцать годов любые вожжи тонки будут; таких оболтусов учат дышлииой, ио по теперешиим временам за дышлину так прискребут, что и жарко и тошно будет. Как тут не кряхтеть старику по ночам и не хмурить бровей в потемках?

Максим — старший брат Степки, казак ядреный и сильный, — по вечерам, выдалбливая ложки, спрашивал Степку:

— А скажи, браток, на чуму тебе сдался этот комсомол?

— Не вяжись! — рубил Степка.

— Нет, ты скажи, — не унимался Максим. — Вот я

прожил двадцать девять лет, больше твово видал и знаю и так полагаю, что пустяковина все это... Разным рабочим подходящая штука, он восемь часов отдежурил — и в клуб, в комсомол, а нам, хлеборобам, не рука... Летом в рабочую пору протаскаешься ночь, а днем какой из тебя работник будет?.. Ты по совести скажи: может, ты хочешь службу какую получить, для этого и вступил? — ехидно спрашивал Максим.

Степка, бледнея, молчал, и губы у него дрожали от обиды.

— Ерундовская власть. Нам, казакам, даже вредная. Одним коммунистам житье, а ты хоть репку пой... Такая власть долго не продержится. Хоть и крепко присосались к хлеборобовой шее разные ваши комсомолы, а как приспеет время, ажник черт их возьмет!

На потном лбу Максима подпрыгивала мокрая прядка волос. Нож, обтесывая болванку, гневно метал стружки. Степка, бесцельно листая книгу, угрюмо сопел: ему не хотелось ввязываться в спор, потому что сам Яков Алексеевич прислушивался к словам Максима с молчаливым одобрением, видимо ожидая, что скажет Степка.

— Ну, а если, не приведи бог, какой переворот? Тогда что будешь делать? — хищно поблескивая зубами, щерился Максим.

— Зубы повыпадут, покель дождешься переворота!

— Гляди, Степка! Ты уж не махонький... Игра идет «шиб-прошиб», промахнешься — тебя ушибут! Да случись война или ишо что, я первый тебя драть буду! Таких щенят, как ты, убивать незачем, а плетью сечь буду... До болятки!

— И следовает!.. — подталдыкивал Яков Алексеевич.

— Пороть буду, вот те крест!.. — подрагивая ноздрями, гремел Максим. — В германскую войну, помню, пригнали нашу сотню на какую-то фабрику под Москвой, — рабочие там бунтовались. Приехали мы перед вечером, въезжаем в ворота, а народу возле конторы — тьма. «Братцы-казаки, — шумят, — становитесь в наши ряды!» Командир сотни — войсковой старшина Боков — командует: «В плети их, сукиных сынов!..»

Максим захлебнулся смехом и, багровея, наливаясь краской, долго раскатисто ржал.

— Плеть-то у меня сыромятная, в конце пулька зашита... Выезжаю вперед, как гаркну забастовщикам этим: «...Вставай, подымайся рабочий народ! Приехали казаки

вам спины пороть!» Попереди всех старичишка в картузе стоял, так, седенький, щупленький... Я его как потяну плетью, а он — копырь и упал коню под ноги... Что там было... — сужывая глаза, тянул Максим. — Бабья этого лошадьми потоптали — штук двадцать. Ребята осатанели и уж за шашки взялись.

— А ты? — хрипло спросил Степка.

— Кое-кому вложил память!

Степка спиной прижался к печке. Прижался крепко-накрепко, сказал глухо:

— Жалко, что не шлепнули тебя, такого гада!..

— Это кто же гад?

— Ты...

— Кто гад? — переспросил Максим и, кинув на пол необтесанную ложку, поднялся со скамьи.

Ладони у Степки взмокли теплым потом. Стиснул кулаки, ногти въелись в тело, и уже твердо сказал:

— Собака ты! Каин!

Максим, вытянув руку, сжал в комок рубаху на груди у Степки, рывком оторвал его от печки и кинул на кровать. Ненависть варом обожгла парня. Метнулся в сторону, в пальцах Максима оставил ворот рубахи, взмахнул кулаком... Хлесткий удар в щеку свалил Степку с ног. Левой рукой Максим мял ему горло, правой размеренно бил по щекам. Степка чувствовал над собой частое дыхание брата, видел холодную и такую ненужную улыбку на его губах, от каждого удара захватывало дыхание, звон колол уши, из глаз текли слезы... Крик обиды за невольные слезы, за улыбку Максима застревал в стиснутом горле... Из разбитых губ текла кровь. Вращая выпученными глазами, Степка кровью плевал в лицо брата, но тот отворачивал в сторону голову, показывая бритую жилистую шею, и так же размеренно, молча кидал шершавую ладонь на вспухшие щеки Степки.

Выждав время, разнял их сам Яков Алексеевич. Максим, все так же улыбаясь, поднял с земли недоделанную ложку, сел возле окна. Степка вытер рукавом окровяненные губы, надел шапку и вышел, тихонько притворив за собой дверь.

— Ему это на пользу... Пущай за борозду не залазит, а то он скоро и до отца доберется! — заговорил Максим.

Яков Алексеевич задумчиво мял бороду, хмурился, поглядывая на мокрое от слез лицо старухи.

* * *

Наутро Максим первым затеял разговор.

— Пойдешь в Совет жалиться? — спросил он Степку.

— Пойду!

— А по-семейному это будет?

Степка глянул на посеревшее лицо Максимовой жены, на мать, утиравшую глаза завеской, и промолчал. Про себя решил снести обиду, молчать.

С этого дня надолго легла в доме нудная тишина. Бабы говорили шепотом. Яков Алексеевич, пасмурный, как ноябрьский рассвет, молчал. Максим, виновато улыбаясь, заговаривал со Степкой:

— Ты, браток, не всякую лыку в строку. Мало ли чего не бывает в семье... А все это через твой комсомол! Брось ты его к чертовой матери! Жили без него, да и теперь проживем. Какая тебе нужда переться туда? Отцу вон соседи в глаза лезут: «Что ж, мол, Степка-то ваш в комсомолисты подался?» А старику ить совестно... Опять же жениться тебе, какая девка без венца пойдет? Хлюстанку брать?

Степка отмалчивался, уходил на баз. По вечерам шел на площадь, в клуб. Под хрипенье поповской фисгармонии думал невеселые думки.

А на станицу напористо перла весна. На девичьих щеках появились веснушки, на вербах — почки. По улицам отзвенело весеннее половодье. Неприметно куда ушел снег, под солнечным пригревом дымилась, таяла в синеве бирюзовая степь. В степных ярах, в буераках, вдоль откосов еще лежал снег, поганя землю своей несвежей, излапанной ветрами белизной, а по взгорьям, по лохматым буграм уже взбрыкивали овцы, степенно похаживали коровы, и зеленые щепотки травы, пробиваясь сквозь прошлогоднюю блеклую старюку, пахли одурманивающе и нежно.

Пахать выехали в средине марта. Яков Алексеевич засуетился раньше всех. С масленицы начал подсыпать быкам кукурузу, кормил сытно, по-хозяйски.

Солнце еще не выпило из земли жирного запаха весенней прели, а Яков Алексеевич уже снаряжал сынов, и в четверг, чуть рассвело, выехали в степь. Степка погонял быков, Максим ходил за плугом. Два дня жили в степи за восемь верст от дома. По ночам давили морозы, трава обрастала инеем, земля, скованная ледозвоном, отходила только к полудню, и две пары быков, пройдя два-три загона, становились на постав, над мокрыми спинами клу-

бами пенился пар, бока тяжело вздымались. Максим, очищая с сапог налипшую грязь, косился на отца, хрипел простуженным голосом:

— Ты, батя, сроду так... Ну, рази это пахота? Это увечье, а не работа! Скотину порежем начисто... Ты погляди: окромя нас, пашет хоть одна душа?

Яков Алексеевич палочкой скреб лемеши, гундосил:

— Ранняя пташка носик очищает, а поздняя глазки протирает. Так-то говорят старые люди, а ты, молодой, разумей!

— Какая там пташечка! — кипятится Максим. — Она, эта самая пташечка, будь она трижды анафема, не сеет, не жнет и не пашет в таковскую погоду, а ты, батя... Да что там... Кхе-кхе... Кхе!..

— Ну, отдохнули, трогай, сынок, с богом!

— Чего там трогай, налево кругом — и марш домой!

— Трогай, Степан!

Степка арапником вытягивал сразу обоих борозденных. Плуг, словно прилипая к земле, скрипел, судорожно подрагивал и полз, лениво отваливая тонкие пласты грязи.

* * *

С того дня, как стал Степка комсомольцем, откололась от него семья. Сторонились и чуждались, словно заразного. Яков Алексеевич открыто говорил:

— Теперь, Степан, не будет прежнего ладу. Ты нам навроде как чужой стал... Богу не молишься, постов не блюдешь, батюшка с молитвой приходил, так ты и под святой крест не подошел... Разве ж это дело? Опять же хозяйство, — при тебе слово лишнее опасаешься сказать... Раз уж завелась в дереве червоточина — погибать ему, в труху превзойдет, ежели вовремя не вылечить. А лечить надо строго, больную ветку рубить, не жалеючи... В писании — и то сказано.

— Мне из дому идтить некуда, — отвечал Степка. — На этот год на службу уйду, вот и развяжу вам руки.

— Из жилья мы тебя не выгоняем, но поведенье свое брось! Нечего тебе по собраньям шляться, на губах еще не обсохло, а ты туда же, рот разеваешь. Люди в глаза мне смеются через тебя, поганца.

Старик, разговаривая со Степкой, багровел, едва сдерживая волнение, а Степка, глядя в холодные отцовы глаза, на жесткие по-звериному изломы губ, вспоминал упре-

ки ребят-комсомольцев: «Обуздай отца, Степка. Ведь он разоряет бедноту, скупая под весну за бесценок сельскохозяйственные орудия. Стыдно!»

И Степка, вспоминая, действительно краснел от жгучего стыда, чувствовал, что в сердце нет уже ни прежней кровной любви, ни жалости к этому беспощадному дёру — к человеку, который зовется его отцом.

Будто каменной глухой стеной, отгородилась от Степки семья. Не перелезть эту стену, не достучаться.

Отчуждение постепенно переходило в маленькую сначала злобу, а злобу сменила ненависть. За обедом, случайно подняв глаза, встречал Степка ледянистые глаза Максима, переводил взгляд на отца и видел, как под сумчатыми веками Якова Алексеевича загораются злобные огоньки, в руке начинает дрожать ложка. Даже мать — и та стала смотреть на Степку равнодушным, невидящим взглядом. Кусок застревал у парня в горле, непрошеные слезы жгли глаза, валом вставало глухое рыдание. Скрепясь, наскоро дообедывал и уходил из дому.

По ночам часто Степке снился один и тот же сон: будто хоронят его где-то в степи, под песчаным увалом. Кругом незнакомые, чужие люди, на увале растут сухобылый бурьян и остролистый змеиный лук. Отчетливо, как наяву, видел Степка каждую веточку, каждый листик...

Потом в яму бросали его, Степкино, мертвое тело и сыпали лопатами глину. Один холодный грузный ком падает на грудь, за ним другой, третий... Степка просыпался, ляская зубами, со стесненной грудью, и, уже проснувшись, дышал глубокими частыми вздохами, словно ему не хватало воздуха.

* * *

На время кончились полевые работы. Степь пустовала без людей, лишь на огородах маячили цветные платки баб. По вечерам станица, любовно перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди, разметав по окраинам зеленые косы садов. Перезвоны гармошек подолгу бродили за станицей, там, где урубом кончается степь и начинается пухлая синь неба. Подходил покос. Трава вымахала в пояс человеку. На остреньких головках пырея стали подсыхать ости, желтели и коробились листки, наливалась соком сурепка, в логах кучерявился конский щавель.

Яков Алексеевич раньше всех выкосил свою делянку,

по ночам запрягал быков и уезжал от стана с Максимом за грань, на вольные земли станичного фонда. Гасли звезды, пепельно серело небо, зорю выбивал перепел; просыпаясь под арбой, Степка слышал, как по росе цокотала косилка, выкашивая краденую траву.

Сена набрал Яков Алексеевич на две зимы. Хозяйственный человек он и знает, что на провесне, когда у безтягловых скотника с голоду будет дохнуть, можно за беремя сена взять добрые деньги, а если денег нет, то и телушку-летошницу с база на свой баз перегнать. Вот поэтому-то Яков Алексеевич и вывершил прикладок вышиной в три косовых. Злые люди поговаривали, что и чужого сенца прихватил ночушкой Яков Алексеевич, но ведь не пойманный — не вор, а так мало ли какую напраслину можно на человека взвалить...

* * *

В субботу затемно пришел Прохор Токин. Долго мялся возле дверей, крутил в руках затасканную зеленую буденовку, тоскливо и заискивающе улыбался. «Пришел быков у отца просить», — подумал Степка. Сквозь изодранные мешочные штаны Прохора проглядывало дряблое тело, босые ноги сочились кровью, в глубоких глазницах тускло, как угольки под золою, тлели слегка раскосые черные глаза. Взгляд их был злобно-голоден и умоляющ.

— Яков Алексеевич, выручи, ради христа! Отработаю.

— А что у тебя за беда? — спросил тот, не вставая с кровати.

— Быков бы мне на день... Сено перевезть. Завтра день праздничный... а я бы перевез... Разворуют сено-то!

— Быков не дам!

— Ради христа!

— Не проси, Прохор, не могу. Скотина мореная.

— Уважь, Яков Алексеевич. Сам знаешь, семья... чем коровенку зимовать буду? Бился, бился, не косил, а по былке выдергивал...

— Дай быков, отец! — вмешался Степка.

Прохор метнул в его сторону благодарный взгляд, суетливо моргая глазами, уставился на Якова Алексеевича. Неожиданно Степка увидел, что колени у Прохора мелко подрагивают, а он, желая скрыть невольную дрожь, переступает с ноги на ногу, как лошадь, посаженная на пере-

док; чувствуя приступ омерзительной тошноты, Степка побледиел, выкрикнул лающим голосом:

— Дай быков! Что жилы тянешь!..

Яков Алексеевич насупил брови.

— Ты мне не указ. А коли такой желанный, то езжай в праздник сеио вози! Своих быков в чужие руки я не доверяю!

— И поеду.

— Ну, и езжай!

— Спасибочки, Яков Алексеевич! — Прохор выгнулся в поклоне.

— Спасибо — спасибом, а молотьба придет — на недельку приди поработаешься.

— Приду.

— То-то, гляди!

* * *

В воскресенье, едва засветлел рассвет, под окнами хат и хатенок загремели костыли квартальных. Яков Алексеевич встретил своего квартального возле крыльца.

— Ты чего спозаранку томашишься?

— Рассвенется, приходи в школу на собрание. — Квартальный развернул кисет и, слюнявя клочок газеты, невнятио пробурчал: — Статист приехал посевы записывать... Для налогу... Вот какие дела... Прощевайте!

Пошел к калитке, иа ходу чиркая спичкой, громыхая сыромятными чириками. Яков Алексеевич задумчиво помял бороду и, обращаясь к Максиму, гнавшему быков с водопоя, крикнул:

— Быков повремени давать Прохору. Ныиче утром собраиие в счет налога. Статист приехал. Пойдем обое со Степкой. Он комсомолист, может, ему какая скидка выйдет. Что же, задарма он, что ли, обувку отцовскую бьет, по клубам шатается.

Максим бросил быков и торопливо подошел к отцу.

— Ты, гляди, на старости лет не сдури... Записывай замест двадцати десятии — шесть либо семь.

— Нашел, кого учить, — усмехнулся Яков Алексеевич.

За завтраком Яков Алексеевич иебывало ласковым голосом сказал Степке:

— С Прохором поедешь за сеиом на ночь, а зараз одевай праздничные шаровары и пойдем на собрапие

Степка промолчал. Позавтракал и, ни о чем не спра-

шивая, пошел с отцом. В школе народу — как колосу на десятине в урожайный год. Дошла очередь и до Якова Алексеевича. Позеленевший от табачного дыма статистик, гладя рыжую бороду, спросил:

— Сколько десятин посева?

Яков Алексеевич, помолчав, деловито прижмурил глаз.

— Жита две десятины, — на левой его руке палец пригнулся к ладони, — проса одна десятина, — согнулся другой растопыренный палец, — пшеницы четыре десятины...

Яков Алексеевич придавил третий палец и поднял глаза к потолку, словно что-то про себя подсчитывая. В толпе кто-то хихикнул; покрывая смех, кто-то густо кашлянул.

— Семь десятин? — спросил статистик, нервно постукивая карандашом.

— Семь, — твердо ответил Яков Алексеевич.

Степка, расчищая локтями дорогу, прорвался к столу.

— Товарищ! — голос у Степки суховато-хриплый, рвущийся. — Товарищ статист, тут ошибка... Отец запамятовал...

— Как запамятовал? — бледнея, крикнул Яков Алексеевич.

— ...запамятовал еще один клин пшеницы... Всего двадцать десятин посеву.

В толпе глухо загудели, зашушукались. Из задних рядов несколько голосов сразу крикнули:

— Верна! Правильна! Брешет Яков... у него три раза по семь будет!..

— Что же вы, гражданин, вводите нас в заблуждение? — статистик вяло сморщился.

— Кто его знает... враг попутал... верно, двадцать... Так точно... Вот, боже ты мой... Скажи на милость, запамятовал...

Губы у Якова Алексеевича растерянно вздрагивали, на посиневших щеках прыгали живчики. В комнате стояла неловкая тишина. Председатель что-то шепнул статистику на ухо, и тот красным карандашом зачеркнул цифру «7» и вверху жирно вывел — «20».

* * *

Степка забежал к Прохору, и через сады, торопясь, дошли до дому.

— Ты, брат, поспешай, а то придет отец с собрания, быков ни черта не даст!

Наскорях выкатилн нз-под навеса арбы, запрягли быков. Максим с крыльца крнкнул:

— Записали посев?

— Записали.

— Что же, сделали тебе какую скндку?

Степка, ие поияв вопроса, промолчал. Выехалн за ворота. От площади к проулку почти рысью трусил Яков Алексеевич.

— Цоб!

Кнут заставнл быков прибавить шагу. Две арбы с опущениымн лестиицами, мягко погромыхнвая, потянулись в степь.

Возле ворот запыхавшийся Яков Алексеевич махал шапкой.

— Во-ро-чай-ся! — клочьямн нес ветер оснпшнй крнк.

— Не оглядывайся! — крикиул Степка Прохору н приналег иа киут.

Арбы спустились, как нырнулн, в яр, а от станицы, от осаинстого дома Якова Алексеевича все еще плыл тягучнй рев:

— Вер-ни-ись, су-кии сы-ы-ыи!..

* * *

Затемно доехали до Прохоровых копеи. Распрягли быков, пустнлн их щипать огрехи на скошенной делянке. Наложили возы сеиом и порешнлн ночевать в степи, а перед рассветом ехать домой.

Прохор, утоптав второй воз, там же свернулся клубком, поджал иоги и усиул. Степка прнлег на землю. Накннув зипуи от росы, лежал, глядя на бисериое небо, на темные фигуры быков, щипавших иескошенную траву. Парная темь точила иеведомые травяиые запахн, оглушительно звенели кузнечики, где-то в ярах тосковал сыч.

Неприметио как — Степка уснул.

Первым проснулся Прохор. Мешковато упал с воза, присел иад землей, вглядываясь, ие видно лн где быков. Темнота, густая, фиолетовая, паутииой оплетала глаза. Над логом курился тумаи. Дышло Большой Медведицы торчало, опускаясь иа запад.

Шагах в десяти Прохор иаткнулся на спавшего Степку. Троиул рукою зипуи, шерсть, взмокшая ледянистой росой, приятио свежнла руку.

— Степаи, вставай! Быков иету!..

Пропавших быков искали до вечера. Исколесили степь кругом на десять верст, облазили все буераки, истоптали пышный цвет нескошенных трав по логам и балкам...

Быки — как сквозь землю провалились.

Перед вечером сошлись возле осиротелых возов, и почерневший, осунувшийся Прохор первый спросил:

— Что делать?

Голос его звучал глухо. Раскосые беспокойные глаза слезливо моргали...

— Не знаю, — с тяжелым равнодушием ответил Степка.

* * *

Яков Алексеевич глянул на солнце, чихнул и позвал Максима.

— Не иначе обломались в яру. Вечер на базу, а их нету... Приедет, проклятый, — поучим, да хорошенько... За посев поблагодарить надо... Оказал отцу помочь... Воспитал змеиного выродка... — И, багровея, рявкнул: — Запрягай кобылу!.. Поедем встренем!..

Еще издали Максим увидел возле возов с сеном недвижно сидящих Степку и Прохора.

— Батя!.. Гля-ко, никак — быков нету... — шепнул он упавшим голосом.

Яков Алексеевич согнул ладонь лодочкой, долго вглядывался: разглядев, стегнул кнутом кобылу. Повозка заметалась по кочковатой целине. Максим, причмокивая, махал вожжами.

— Где быки?.. — покрывая стукотню колес, загремел Яков Алексеевич.

Повозчонка стала около переднего воза. Максим на ходу спрыгнул, осушил ногн и, морщась, быстро подошел к Степке.

— Где быки?

— Пропали...

Страшный в зверином гневе, повернулся к бегущему отцу Максим, заорал исступленно:

— Пропали быки, батя!.. Твой сынок... разорили нас!.. По миру с сумкой!..

Яков Алексеевич с разбегу ударил побелевшего Степку и повалил его наземь.

— Убью!.. Зоб вырву!.. Признавайся, проклятый: продал быков?! Тут небось купцы... ждали... Через это и охотнлся за сеном ехать!.. Го-во-ри!..

— Батя!.. Батя!..

В стороне Максим катал по земле Прохора. Бил сапогами в живот, грудь, голову. Прохор закрывал ладонями лицо и глухо мычал.

Выхватив из воза вилы, Максим вздернул Прохора на ноги, сказал просто и тихо:

— Признайся, продали со Степкой быков? Сговорено дело было?

— Братушка!.. Не греши... — Прохор поднимал руки, и кровь, густая, синевато-черная, ползла у него из разбитого рта на рубаху.

— Не скажешь?.. — шепотом просипел Максим.

Прохор заплакал, икая и дергаясь головой... Зубья вил легко, как в копну сена, вошли ему в грудь, под левый сосок. Кровь потекла не сразу...

Степка бился под отцом, выгибаясь дугою, искал губами отцовы руки и целовал на них вспухшие рубцами жилы и рыжую щетину волос...

— Под сердце... бей... — хрипел Яков Алексеевич, распиная Степку на мокрой, росистой земле...

* * *

Домой приехали затемно. Яков Алексеевич всю дорогу лежал вниз лицом. На ухабах голова его глухо стукалась в днище повозки. Максим, бросив вожжи, обметал со штанов невидимую пыль. Не доезжая до хутора, скороговоркой кинул:

— Приехали, мол, а они лежат побитые. Не иначе, мол, порешили их из-за быков... А быков взяли...

Яков Алексеевич промолчал. У ворот их встретила Аксинья, Максимова жена. Почесывая под домотканой юбкой большой обвислый живот (ходила она на сносях), сказала с ленивым сожалением:

— Зря вы кобылу-то гоняли... Быки, вон они, домой пришли, проклятые. Что же Степка-то, али остался искать?

И, не дождавшись ответа, крестя рот, раззявленный зевотой, пошла в дом тяжелой, ковыляющей походкой.

1926

Всеволод Иванов

●

Красный день

Капитан Шипов, похожий иа тыкву, жириый, с крошечной головой, сидел на пие и собственноручно чистил револьвер. Глаза у капитаиа были большие, черные на желтом личике, и потому, должно быть, редкие выдерживали его взгляд. Рядом стоял в длиниополой солдатской шинели его помощник прапорщик Раденко — розовый, с длинной талией человек.

Вокруг офицеров и дальше, между редких сосен и пихт лежали солдаты, стояли в козлах ружья, ржали низкорослые сибирские лошадки, и в огромном казаие кашевар варил ужин. Выше сосен, в облаках, видиы были снеговые вершины — белки, серый камеиь, поросший лишаями, и среди камней — зелеиь гориых лугов. Солнце заходило, пахло горячей землей и распускающимися весениими травами.

— Всегда в такие мииуты я приготовляю револьвер, — говорил Шипов, и голос у иего был густой, подходящий к огромиой фигуре и жутким черным глазам. — Револьвер ближе всякой родни... Я и япоиской войны хватил и германскую всю вынес, а никак ие могу привыкиуть убивать иа своей земле.

Прапорщик Радеико думал о доме, где завтра, иаверное, будут варить пельмеии и пить привезеиный из Харбииа коньяк. Ои вскользь сказал Шипову:

— Убивать и умирать везде одииаково.

— Это потому, что мы иа убийствах воспитались и выросли. Такая война, как германская, — большой грех, и за иее долго будем расплачиваться.

— А не расплата ли то, что мы здесь?

— Вы хотите сказать: бьем мужиков, своих, русских. Не знаю, возможно. Однако же не чувствуем мы особенного беспокойства. Солдаты бодры, мы не жалуемся...

— Солдатская душа — омут. А про себя... Да вы вот сейчас же о возмездии говорили.

Шипов быстро повернул голову, и ему самому казалось странным, что он так быстро, как ветер, играет своими мыслями и что они рождаются в его неповоротливом мозгу.

— Здесь — либо они, которые там, в горах, либо мы. Если мы победим — их всех перевешаем, если они, — перебьют нас нашим же оружием.

— Вы очень беспокоитесь.

— Хотите сказать, трушу? Нет, как будто не трушу... Все же я человек здоровый и умирать мне не хочется. Но я не трушу.

Шипов взглянул на розоватое лицо прапорщика, на его лихо заломленную фуражку, и капитану стало весело.

— Вам домой хочется — следовательно, вы не думаете о смерти.

Что-то холодное, как снег, упало на душу прапорщика.

— Неужели меня убьют?

— Кто знает... Но раз вы или я заговорили о возмездии, то ведь за войну кто отвечает: мужики ли, которые сидят сейчас в камнях, или же мы... остатки тех, которые сказали им: иди и убивай...

— Вам с такими речами только бы к красным, капитан.

— Или они, или мы... А впрочем, мы, черт возьми, прапорщик... Нас — две тысячи, а их три; на тысячу больше; но у нас — восемь пулеметов, а у них — ни одного, у нас две тысячи винтовок, а у них — пятьсот, да и то половина из них — берданки или охотничьи двустволки. Кроме того, за нами вся колчаковская Сибирь — от Владивостока до Челябинска, — а у них далекие, призрачные советские войска, бегущие во все лопатки к Москве. Стало быть — мы. И никаких возмездий.

— Или возмездие всем и каждому!

Прапорщик сорвал фуражку и восторженно закричал:

— Всем и каждому! Ура!..

Из лесу вышли еще пять офицеров: главные резервы атамановских сил находились внизу. Эти пять офицеров были одеты в черные френчи и галифе с серебряными лампасами, и на погонах у них был череп и две перекрещивающиеся кости.

— Вы что кричите, Раденко? — спросил один из них.

Капитан Шипов не особенно любил этих вылощенных офицеров, от которых несло породистым аристократизмом.

— Завтра, господа офицеры, мы начнем решительное наступление и должны, — я подчеркиваю, — должны уничтожить этих, на горах... совдепчиков. Нас ждут в других местах. Говорят, в Тверском уезде восстание.

— Слушайте, капитан, — прервал высокий офицер, — давайте проситься к Семенову, в Читу. Он платит хорошо, и производство моментально. Вы там без всяких шуток в неделю генералом будете. Ей-богу!

— Не мешайте... После... — зашикали на него.

— Завтра в двенадцать вы, прапорщик Раденко, открываете наступление с левого фланга, тогда как поручик Васильев и пятьсот ребят...

Высокий офицер прервал опять:

— Послушайте, капитан... Нет, ей-богу, я — последний раз. Ведь завтра первое мая.

— Ну так что же?

— А это большевистская пасха, так сказать. Праздник. На сей предмет и гимн соответствующий сочинен... Длинно, торжественно и скучно, как у монахов.

— Вы к делу.

— А я к тому, что в день пасхи-то мы им по пути и отходную споем и «вечную память» бесплатно. А потом — к Семенову.

Офицеры рассмеялись, и Шипов приказал денщику раскупорить водку.

— Несомненное преимущество, — сказал он, и его тучное тело затряслось от внутреннего смеха, — колчаковского правительства перед советским — это возможность выпить и повеселиться каждому деловому человеку. Я говорю про водку.

Мохноногие лошади жевали траву, и изо рта у них текла зеленая, пахучая слюна. От сосен через елань, как длинные струны, протягивались тени.

Офицеры размякли и запели студенческую песню. Они вспомнили город, семьи. Им стало грустно и захотелось домой в спокойствие и уют. И с горя раскупорили еще бутылку водки.

А наверху, у белков, где с ледников несло холодом, а с зеленовато-голубого неба солнце жадно опаляло камни,

среди россыпей, партизанский лагерь приготовлялся к празднеству Первого мая.

За камнями, невидимые врагу, лежали часовые, ходили по кедрачу дозоры, и в медвежьих берлогах залегли секреты.

На поляне в ряд стояли телеги с вывезенным скарбом из разграбленных и сожженных атамановцами деревень. Мычали влажноглазые телята, крякали утки; где-то в кустах снеслась курица и торопливо докладывала об этом.

От телег пахло дегтем, от мужиков — камнями, мхом и лишайником.

Поблизости журчал ручей, и было неприятно видеть высокую траву — выше плеча, а недалеко — лед и снег.

У телег — митинг. Огромная толпа крестьян с винтовками, топорами, пиками из березы сгрудилась и в наиболее сильных местах речи колышется, словно дышит одним вздохом.

На телеге, в солдатской одежде, с красной ленточкой на фуражке, рыжеусый, загорелый человек. Один глаз у него косит, и он левой рукой часто прикрывает его; и от этого кажется, что он не может подыскать нужных слов. Возможно, так оно и есть.

— Товарищи, — кричит человек в солдатской одежде, — самое позднее послезавтра атамановцы поведут наступление! Им опять привели подкрепление и три пулемета.

В толпе глухой ропот.

— Но, товарищи, у нас всего только четыреста винтовок.

— Пятьсот! — кричат из толпы.

— Сто охотничьих, их в счет брать нельзя...

— Дай на тебе попробуем: может, и можно! — кричит тот же голос.

— Ну хорошо, товарищи, пятьсот. А людей больше трех тысяч. Что должны делать остальные две с половиной тысячи? Если мы победим... Ну, а если нас побьют, тогда что же: перебьют их ни за что ни про что...

Толпа колышется и, словно пораженная неожиданной мыслью, слегка раздвигается. Человек улавливает это и кричит громче:

— Товарищи, не смущайтесь! Главное — не сдрейфить! Как опустимся — ну, и конец! Тогда и пятистам не уцелеть.

— Не учи... сами знаем.

— Мое предложение, товарищи!.. — кричит человек, и толпа стихает. — Мое предложение: отправить всех, две ты-

сячн пятьсот человек, в горы, к белкам. Там белые нх не найдут. Алн по деревням разойтись. А к тому времени помощь подоспеет. Около Семипалатинска тоже крестьяне бунтуются, и Усть-Каменогорск партизаны заиялн, — в штабе такие сведения имеются.

Никто не смеет спросить, когда получены эти сведения,— боятся ошибиться. Так тяжело и больно нести одним бремя восстания. Один за другим влезают на телегу мужики. С непривычки говорнть у них большие паузы между словами и слова часто повторяются. Они оправляют армяки, зипуны, приглаживают волосы, и каждый, у кого нет винтовки, говорит, что в белки он уходить не желает, будет биться, а если придется, и умрет так же, как и другие, — с миром. А пахнущнй потом и крепко промешанный хлебом, темный, как старая икона, крестьянский мир в один голос хрипло орет:

— Не же-ла-ам в бе-елки-н!..

— Не же-ла-ам!..

— А-а-а!..

Человек в солдатской шинели полез опять на телегу и выкрикивает:

— Товарнщи, никто вас в белки не гонит! Было только такое мое предложение, кабы пожелали... Ваше дело... А раз нет охоты... Революционный штаб людей бережет и велел мне сказать.

Видя, что мужики исполнены решимостью и гневом и тысячи глаз сурово прячутся в переломанные сучья бровей, человек торопливо произносит:

— Завтра, товарищи, Первое мая будем праздновать!

Вечером у белков партизаны готовились к празднику: добыли откуда-то лоскут кумача на флаги и прибилн к древкам, и ночью, при свете сосновых поленьев, лежа за камнями, партизаны повторялн выскакивавшие из головы слова «Интернационала» н «Марсельезы».

Внизу, в тайге, изредка стреляли, в скалах свистел ветер, небо заволокло тучамн, и было темно, как осенью, и тоскливо, как в неурожай.

Около одиннадцати часов утра из тайгн в камни ударили выстрелы и между соснами замелькали черные рубашки атамановцев. Затем они показались на опушке и припав к земле, стреляли. Скоро они притащили пулеметы, и маленькне машинки однообразно н строго застрочи-

ли, как швеи. Сбоку отряда рисовался на лошадн высокий офицер — тот, который вчера перебивал капитаиа Шипова. Лошадь у него скоро подстрелили, и ои слегка ушиб себе иогу.

Партизаиы, как всегда, стреляли в одииочку. День был ветреный, над камиями трепались лоскутья кумача. По иебу узкими грядами ветер вспахнвал тучн. На траве, деревьях и людях лежал тот же серый отблеск, что и на иебе.

Ровно в двеиадцать прапорщик Радеико взгляиул на часы; при этом подумал с удовольствием, что у него мягкая и свежая кожа. Ои бойко, по-мальчишески закричал:

— Вперед!

Атамаиовцы посмотрели иа своего команднра и тоже почувствовали бойкость в сердце. Все оии, как вагоиы поезда, дрогнули и побежали ровиой чериой линней вперед. Прапорщик Раденко выхватил револьвер н, ощутив в руке его тяжесть, почувствовал себя еще лучше.

— Ура-а!..— закричал ои вслед за солдатами, ио, пробежав три шага, запиулся и упал.

Бежавший рядом с ним солдат иаклоиился и хотел загляиуть прапорщику в лицо. Но лица у прапорщика ие было. На воротиичке фреича и иа погонах торчалн кускн мяса и волос.

У солдата сразу точно выиули виутрениостн: ои почувствовал вдруг боль в груди и животе, и, хотя не был ранен, выпустил нз рук виитовку и упал иа траву рядом с прапорщиком.

Атамановцы же бежали вперед, припадая за камиямн и стреляя и чувствуя все большую увереиность в своей победе. Им казалось, что мужики уже отступают н что оии их сильно оттеснили, хотя атамановцы и пробежали всего несколько саженей.

Партизаиам думалось, что у атамаиовцев где-то есть другне силы, идущие в обход, н потому этн так легкомысленио и ненужно умирают. Мужикн зорко оглядывались, ожидая удара в спииу, а пока ие спеша, как будто бы жали хлеб, убивали атамаиовцев в черных рубахах.

На елаии же за валом из камней и за сосиами было тихо. На телегах лежал скарб, а средн телег и вокруг иих с камиями н самодельиыми пиками стояли мужики; бабы, уткиув головы в подолы, неслышио плакали вместе с ребятишкамн. А иа валу за камиями залеглн партизаиы и стрелялн.

И вот когда атамановцы подошли совсем близко и готовились броситься в атаку, чей-то тонкий голос запел:

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!..

Звук был неуверенный и словно стыдливый. Но вот в него врезался, на одно мгновение смял его, а потом подхватил, поплыл вместе другой, более крепкий:

Раздайся, клич мести народной!
Вперед, вперед, вперед!..

И за ними сначала десяток голосов присоединился беспокойно и как будто с тоской, затем твердо и резко сотня, а затем из-за телег, из-за камней, из-за тайги медным гулом, тяжелым грохотом поползло:

Вперед, вперед, вперед!..

Сотни хриплых мужицких голосов ровно и торжественно выпустили в небо вместе с красными кусками материи величественную и сильную песню. Уже не было слышно отдельных слов, а наподобие разорвавшей плотину реки, с блеском огня, треском пулеметов и свистом ветра падала, ошеломляла и туманила сознание атамановцев неожиданно выброшенная из-за камней песня.

Атамановцы остановились, опустились в траву и, боязливо сжимая затворы винтовок, слушали.

А партизаны пели. И серые, привыкшие к далеким туманам и снежным далям глаза видели через эти камни, через тайгу, через степи, через белую армию, через Урал своих, ровный и торжественный шаг миллионов и миллионов людей, уверенных в себе и ничего не забывающих. И видели — хотя и не знали, быть может, и не чувствовали этого — и Персию, Индию, Китай, Англию и далекую Америку... Им всем туда — эта с кровью сердца и с торжеством победы песня:

Вперед, вперед, вперед!..

За сосной, огромный, неподвижный и желтый, как медный идол, сидел капитан Шипов и с отчаяньем повторял:

— Конец! Ничего не поделаешь... Конец!..

Действительно, когда через несколько минут партизаны выбежали на вал и закричали: «Бросай винтовки!» — атамановцы вскочили и, словно проснувшись, вдруг почувствовали, что наступление кончилось и нужно делать что-то

другое. Они опустили винтовки и, срывая погоны с плеч, привстали и подняли руки.

Тогда-то капитан Шипов достал из кобуры свой новый, с перламутровым украшением на ручке револьвер и выстрелил себе в рот.

1921

Авдокея

I

Трофим Михалыч отыскал Авдокею за огородами. Кореастое пробковое дерево обвил дикий виноград; ягода на этом винограде растет не гроздью, а отдельно — как слеза. Авдокея не то собирала ягоду, не то так шла у густых запахов зелени.

Потирая тощие свои ребра ладонями, Трофим Михалыч сказал:

— Тебя ячейка ищет. Сказывают, записалась ты, ишь, ищут... Выходит, людские грехи замаливать. Помню, помню...

Авдокея сдернула платок с головы. Нос у ней был крупный, немножко скривленный, и оттого глаза словно растекались в разные стороны. Платок осыпал на пальцы зеленоватую древесную пыль.

— Капитон сказывал: за морем люди для своего сердца на машинах летают. А тут, сказывают, прилетели японцы, с машин пять сел пожгли... Кому грехи-то замаливать, чьи? — Она снова туго завязала платок и, качнув круглым плечом, сказала: — Пошли, что ли. Раз зовут.

— О Марен Египетской говорю. Большой стыд имела. Ноне-то... Ячейка эвон тебя ищет. Мне говорят: «Ступай, Трофим Михалыч, сходи, приведи Авдокею». Мне, однако, шестьдесят годов, а я должен девку вести?.. Мне надо телегу ладить...

— За всех идем.

— Пущай мужики. Святая большой стыд имела, молилась, помнишь?.. Молись! А то... а то... — Он поднял руки к груди и сказал в ладони: — Сказывали, как же, говорили: от бога-то и от родных надо в ячейке отрекаться. Правда, что ль, так?

— Не знаю.

— А, вот видишь, а?.. Скажут: «Отрекаешься?» — «Отрекаюсь, мол». Так, что ль? Новое крещенье, а?.. Чем крестят, не слыхала?

— Спросить невдомек.

— Ты спроси. Обо всем надо спрашивать. Как же, какой такой человек есть, раз он не спрашивает, а?.. Ты как полагаешь?..

Трофим Михалыч вдруг остановился и, быстро дернув ногой, пнул подвернувшийся пень. Подхватил отлетевший кусок коры и, ломая его в руках, закричал в лицо Авдокее:

— Дядя я тебе али нет?.. Может, отреклась от меня давно! Занимайся своим делом, твое дело ребят рожать, не лезь, ну!.. А ты води черта-то, води! Отреклась, прокляла родню-то, поди. Какими словами-то проклинала, отрекаясь, ты мне скажи? Надо мне все слова знать, ну!..

И, схватив Авдокею за кофточку вспотевшими пальцами, быстро бормотал, и от быстроты шевелились клочковатые волосы бороденки. А слова как бы путались в этой пыльной и крепкой бороде.

— Пусти, — сказала смущенно Авдокея, — идти надо.

— Кабы к миляшу — пустил. Может, лучше бы мне убить тебя на этом самом месте, как ты полагаешь? Может, греха меньше? Я думаю, меньше... Ложись под мужика, хоть целый год лежи, мне что... У тя пошто от Капитона детей нету?

— Нету — так нету.

Он больно толкнул ее кулаком в живот. Сплюнул.

— Пусти. Надо, так и отрекусь.

Захватывая с кофтой мясо, он тряс ее руку, Авдокея, мотнув локтем, с силой выдернула руку.

— Чего вцепился, старый? Сам о Марее говоришь, а быдто под подол лезешь. Пойдем, что ли. Не то одна уйду.

— Не дури. Надо мне больно твое мясо! Видал я вас на своем веку, будет. Ты мне про слова-то Капитоновы скажи. Какие он слова привез с собой?

— Штоб всем хорошо было, совсем простые слова.

— Бреши собаке, я и так много знаю... Не хошь говорить, не надо. Сам найду я эти слова. Заворожил он всех словами... а я-то... Обожди. А ты не отрекайся, буду христом-богом просить, от родни не отрекайся. Держись. Не бери греха, греха не бери. Как же... Ага?.. Ты немного подожди, я найду эти слова... Как же.

Авдокея обернулась и через плечо спросила:

— Так не пойдешь?

Трофим Михалыч затряс кулаками.

— Не пойду!.. Не признаю я вашей ячейки... Раз ты в такое дело ввязалась, снимай юбку, ну! Надевай штаны, ступай в мужики. И-и-их, воробьи!.. Голуби-и!..

Он опустился на траву и, приглаживая ладонью листья, сжав губы, долго глядел в пень. Села сорока и, колыхая длинным хвостом, зевнула. Винно-хмельно-кисловато пахли набухшие листья.

Авдокея была уже у села, когда Трофим Михалыч поднял от листьев склеившиеся пальцы, забормотал:

— Кулла, кулла!.. Умори... ослепи... раздуй... скоро змеи медяницы, засуши тело тоньше луговой травы.. А?.. Не эти слова, парень, не эти... Кумара, нах-нах, запалам, бада... эшохомо, лаваса, тиббода. Кумара... А?.. Выхада, ксара, гуятуи, гуятуи... лиффа, прадда, гуятуи, гуятуи...

Устало вздернул бороду, торопливо разыскивая где-то далеко в сознании плывшие слова, выкрикнул:

— Нуффаша, зинзама, охуто ми!.. Капоцо, капоцам, капоцама!.. Ябудала, викгаза, мейда! Ио, на, о-но, на, цок! Ио, на, паццо!..

Кряхтя, опираясь на палочку, встал. Перекрестился, вздохнул.

— Не те, парень, слова, не те! Где бы мне те слова найти?.. Владычица! А?..

II

От вековых земель — вековые запахи.

От запахов — мысли, как столетние кедры.

Авдокея пришла к началу. Сидели мужики по лавкам, думали. Старые мысли одолеть труднее, чем корчевать кедры.

Авдокея села было к порогу. Васька Ветков, подталкивая ее за локти, провел к столу. Мужики молча потеснились. Кто-то быстро задышал.

— Пьяной, что ль? — спросил Ветков.

— Напоил!

Сутулый мужик из Никихинской волости тоненьким голоском заговорил о японцах. Жалоба у него была длинная, и он все повторял, сколько скота пожгли японцы в загонах.

— И не жалко ведь им, — сказал он Капитону, — у них

скота-то нет. Они на людях и ездют и пашут. Не понимают они скота. Нас-то тоже заберут за море на пахоту ихнюю.

Капитон поспешно застегнул ворот рубахи, потряс в пальцах листик бумаги, выдернутый из школьной тетради, спросил:

— Все расписались? Кто неграмотен — палку ставь. Ты, Авдокея, пиши.

Авдокея, покраснев, обмусолила карандаш и, наседая грудью на стол, вывела «Сичинова». Капитон, стуча пальцем по листку, крикнул:

— К порядку!.. Что нам требуется?.. Ущемление наших требований — оно налицо. Бессильно хватаются за старое. Тоже мне, коалиционна политика! Японец, по существу-то, бессильная стерва... ясно! Нам, главное, не идти на ихнюю сторону и на ячейке обсудить кандидатуру. С точки зрения общих интересов, обыкновенно сход зря орет, а нам надо укрепляться. Предписание точных инструкций выполнять, они реально осуществимые — обыкновенно. Если кто желает по кандидатам высказывать слова, скорее надо — там на сходе старики ждут.

— Дай-ка мне, — попросил сутулый мужик.

И он, раскачиваясь, неожиданно ласковым голосом запел:

— Не мешкайте, лебедки, уничтожит до конца села-то япошка. Капитон верна говорит — не надо землю отдавать, без земель мы — куда? Навезет чужого народу, плуги, машины-сенокосилки в перву голову уничтожит. Как появится, так и жгет. Капитон-то городской, а понимает. Нам ли свое добро не отстаивать? Лебедки вы мои, господи!

Мужики, перебивая друг дружку, заговорили. Сплевывали и жаловались на старые, давно обсказанные обиды.

— Не все враз! — крикнул Капитон и, взглянув на Авдокею, лениво улыбнулся. Рябинки на его щеках попрятались, показались мелкие зубы.

— Ты чего молчишь? — спросил он.

Авдокея оправила юбку на коленях и мотнула головой.

— Не хочешь? Все должны говорить. Крой — и никаких!

По-видимому, очень довольный, Капитон весело постучал по столу и громко крикнул:

— Назначай кандидатов, раз возражений нету. В штабе должны наши из ячейки быть обязательно. Точные инструкции по существу политики. Вытекающие из повседневной борьбы трудящихся... Товарищи!.. Постойте вы...

Вошел Трофим Михалыч, перекрестился в угол и сказал нараспев:

— Здорово живете. Можно тут послухать? Нуффаша, скажем, и ксара!.. Ишь ты!

А на сходе, — когда в пыли топтались в ограде мужичьи ноги, когда Капитон сидел за столом и, царапая длинными рукавами пиджака скатерть, говорил долго, туманно и ему, млея сердцем, внимали мужики, — заныло в голове у Авдокеи и по всем костям ломота пошла. Никого из родни в ограде не увидала, и как всегда — с начала наступления японцев, — торопливы и размашисты были мужики, а вот будто должно случиться что-то. Должно прийти.

Так оно и сталось.

Остроносый Капитон закричал:

— Называй фамильи!.. Кого в штаб?..

Поднялся на цыпочки Трофим Михалыч, вытянул руки по плечам соседей и тоненько сказал:

— Ровнять — так усех ровнять. Викгаза, маум!.. Учили, поди, Авдокею три года в приходской, слава богу, я дядя родной — отрекайся не отрекайся, очень просто. Я знаю. Книжек, конечно, не читала, поди, не доводилось, а писать умеет. В штаны ее не посадишь, ишь... Нуффиша — и никаких: выбрать ее, по-моему, в секлетари. Пущай.

— Пущай, — сказали мужики.

И руки подняли.

Выбрали еще Капитона, Григория Туркина, Максима-фельдфебеля. Подали тележку: объезжать соседние села.

Трофим Михалыч сел на облучок, перенял вожжи и, поглядывая одним глазом на Капитона, протяжно сказал Авдокее:

— Мы с ним, поди, так завтряча приедем. Тут на столе-то гумага лежит — Капитон небось велит тебе протокол севодняшней сходки написать... Приедем, почитаем. Завтряча приедем, Авдокея. На столе гумага-то, так-то... И в самом деле...

Подергивались у него морщинистые щеки, словно из столетней коры. Пахло от него немного смолой, и голосок был прозрачный и тягучий. Авдокея тугим глазом повела по Капитону.

— И верно, — сказал тот, — напиши.

— Напишу, — покорно отозвалась Авдокея.

III

Костер в ограде мужики зажгли, словно все небо хотели нагреть. Горница огнем освещена, как лампой. Только свет костровый — запашистый и красный — недобрый.

Отца и брата дома не было, мать только Авдокеина — Марья Фроловна. Хотела рассказать дочери рассказ, который сколько раз говорила, — как из-за любви к ней купец утопился. Любви его было три дня, а на четвертый — смерть.

Авдокея развязала узелок и выложила на стол бумагу, из тетради вырванную, ручку с грязным перышком и чернилку с тряпичной пробкой. Марья Фроловна села напротив.

— Почта не ходит, кому писать-то? Али хахаля завела? Девке от нелюбви какое житье. Люби.

— Никово мне не надо. Что я в мыслях замыслила, то и найду.

— Ищи.

Авдокея попробовала перо — пишет хорошо. Написала «протокол», а пониже — число и месяц. Положила перо.

Марья Фроловна кашлянула.

— Сказывали, в ячейку ты пошла. Отец-то придет, бить, поди, тебя будет. Если на самом деле записалась, от родных отрекалась али нет?

— Нет.

— Ну и слава богу. Што же, народ, как война началась, так ни дров, ни травы не жалеет. Ишь, жгет как... полыхает. Ходил-ходил ноне отец-то по обозам. Все, грит, тоскуют. Смертынька идет...

— Не мешай.

И вот — будто просто было: собрать их вместе, мысли и слова, что говорил сход, и буквами записать на бумаге. Что говорил Капитон, Трофим Михалыч и еще другие, а кроме слова «протокол» ничего не падало на бумагу.

Ощупала беспокойно перо, испуганным глазом оглядела красные от костра лавки, скатерть и горшки. Переложила бумагу — и почувствовала, как вспотела, как пот проступил на голове, под волосами.

Сказала тихонько:

— Не могу, ма-ам!..

Фроловна вздрогнула, тронула свои колени и боязливо взглянула на бумагу.

— О чем тут?..

— Протокол, ма-ам... Протокол надо написать. Велели написать.

— А ты и пиши, чему училась. Это что же, жалоба али письмо?

— Протокол, что говорили и как...

— Ну и пиши, раз им надо. Мало ли чего говорят. Мне вон сколько люди говорили, рази все...

— Не мо-огу!.. — крикнула Авдокея. — Не знаю как!..

Фроловна пошла к печи.

— Помоги чугун выставить.

И у печного цела наклонилась к уху Авдокеи и спросила шепотом:

— Може, что не христьянское, може, от веры отказываться али что?.. Вот у те рука-то и не поворачивается. Ты плюнь, ну их к лешему, пущай сами пишут. Твое дело бабье.

— Прогонят. Смеху на весь стан будет... А Капитон-то...

— Етот плюгавый-то... Али из-за него?..

Старуха слабо хихикнула и, звякнув ухватом о чугун, сказала:

— Из-за него можно. Бойкый.

— Да нет...

— Так тебе писать то, о чем говорили?.. Баяли-то что?..

Она вытерла о фартук выпачканные в саже руки, высморкалась и опять села за стол.

— Баяли, что воевать с японцем до смерти, мобилизацию учиинить и чтоб в долину чужих не пускать. А потом, значит, штаб выбрали... Вот и все...

Фроловна хлопнула ладонью об стол.

— Все?..

— Все. А как написать, не знаю.

Фроловна рассмеялась.

— Чтобы те трафило, девонька. Таки-то просты слова не написать, владычица!.. Да я-то не учена и то напишу. Диви бы заговор какой. Бери перышко-то, пиши. — Она взяла Авдокею за плечо и, заглядывая ей под руку, заговорила: — Я сколь лет на свете прожила, — не помню. Горя-то, девонька, много-о видела... как травы. Лютое горе есть, лютее некуда. А нонешно японское горе, должно, изза моря пришедши... Острашнёл народишко-то, в крови хлебыщется...

Авдокея кинула перо и, хлюпая ртом, заплакала. Старуха подвинула ей перо. Шептала, трогая губами ее волосы над ухом:

— Ты пиши, пущай наша бабья слеза идет... пиши.

— Смеяться будут, — сказала Авдокея.

— Не будут. Пиши: собрались мужики наши со всех волостей, от Бусей-реки, от Хавкина-озера, от теплых гор Алиньских; говорили-рассуждали... Из-за желтого поганого моря поднялся на мирный люд злоглазой да мерзкой человечишко... Владычица!.. Детишек-то наших порезали, дома-то наши попалили — на какие муки по тайге скитаться пустили?..

Авдокея брызнула пером и, глотая слезы, с рокотом и хлипом, сказала:

— Ты не спеши, мам...

— Ладно. Пиши: мужику дадена пашня — паши да корми, нам, бабам, скотину гонять. А над пашнями-то палы идут, скотину-то поедает красный волк да барс... Мужиков-то хоронить некому: над силушкой-то уходящей поплакать сил не найдешь. Никто-то о нас не подумает, не смилуется; никто-то никогда не погорюет, издевается-изголяется... Пиши еще: ночью-то у нас в ограде костры бездомные горят, мужовья-то без жен сидят, а я-то, сердечна, горюю над дочерью...

Старуха закрыла рот платком, вытерла. Гладила легонько плечо Авдокеи и тянула речь:

— Сказывают: счастье наше за девять морей, за десять земель, на девятом острову, на Сарачинском. А как тебе пешком туда идти, в три года не дойти, орлом лететь тебе, в три года не долететь... Кто к счастью тому нас на путь наведет, Авдокеюшка?..

Так и сидели, писали, пока в ограде не потух костер, пока Авдокея не сказала о тетради:

— Всю, мама, исписала...

...Раздувая к ужину самовар, старуха вздохнула.

— Вот ведь только часть горя-то записали, а на все-то сколь надо гумаги?..

IV

К заседанию ячейки Трофим Михалыч пришел первый. Сел на крылечко, широко расставил ноги и, меж ног сплевывая, покуривал.

— В ячейку записался? — спросил проходивший мужик. — Капитон парень дельный, он те отучит барахлом вонь нагонять.

— Иди, иди, брехун!..

Жара сходила к ногам, пыль над улицей тяжелей камня, — скинул сапоги Трофим Михалыч, только одну портянку переобул, на солнце поглядел, а по крылечку идет Авдокея.

Трофим Михалыч потянул за ушко сапожное, оборвал, разозлился, сильнее дернул — где-то в самом голенище затрещало.

— Штоб те разразило, лихоманка!.. Вот товар пошел. Написала?

Авдокея поднялась на крыльцо и сняла с дверей замок.

— Тебе-то какое дело?.. Знамо, написала.

— Протокол весь?.. Ну? От начала до конца?.. Покажь.

Он еле слышно свистнул.

— Знай наших! Вот сичниска порода, отец-то у тебя башка... Дядя я тебе или не дядя, — покажь, Авдокея!..

Он неумело ковырнул пальцем несколько листов, поцарапал ногтем буквы и, присев на крылечко, уныло сказал:

— Написала. Прочитал бы вот, да не умею... Написала, как же, много, вижу. А они, может, и слухать не будут, положут куды-нибудь! Вот и знай наших! Куда ты, Авдокея, отправляешься, не знаю, а бумажки твои прочитай...

Прослушав Авдокею, Трофим Михалыч сдернул другой сапог, переобулся, набил трубку и закурил.

Авдокея сидела с бумажками напротив. Глаза у ней разбегались, таяли где-то в волосах: широкие, налившиеся жилами руки неумело шевелили бледно-коричневые бумажки, и тугой подбородок напирал на твердую, как январский сугроб, грудь.

Трофим Михалыч потер ноги и, выгибая длинную шею, поднялся. Погладил ладонями ребра.

— Не знаю, куда ты, Авдокея отправляешься... Протокол ты составила верно, а мужикам не читай, не надо им теперь его. Отдай ты мне его лучше. Собираю я тут разные слова, твое слово сгодится... Куда-нибудь я его доспею...

К началу заседания прискакал верховой: по реке Бии уследили передовых из атамановского отряда. Загрохотали телеги. Ударил набат. С винтовками к школе сбегались мужики. Из ячейки на длинную фуру железного хода вкатили пулемет.

1922

Плодородие

Глава первая

Прибежал сынишка Алешка. Весело тряся недоуздком, радостно крикнул, что Серко разорвал путы о камень и ускакал в гольцы. Смеяться было нечему. Мартын со строгим лицом повернулся к сыну и нехотя вытянул его по потной спине недоуздком. И когда ударил, стало так тоскливо и жалко — то ли сына, то ли затерявшуюся в горах лошадь. Он перекрестился на видневшийся через забор крест молельни и сказал кротко жене:

— Ты уж обедать не жди... Дегтем бы смазана была, тогда бы не ускакала, а то теперь овод, поди, ее к самому леднику затурил. Вот гнилота: путы — на что волос, а и то сгнил. Скоро и пригоны порушит... Работаешь, работаешь...

Жена его, маленькая, болезненная и тощая, словно недосиженный цыпленок, зная, что напрасно говорит и напрасно сердится, брызгая жидкой слюной, крикнула ему:

— Заработался, леший!.. Мотри — толстый, как церква... Ишшо дите беззащитное бьешь... Ох, пропасть бы мне скорее!..

Чтобы подняться к гольцам, нужно было пройти через все село, через кладбище и сосновую рощу; оттуда начинался березняк, затем Святой овражек и дальше — гольцы. Мартын достал единственную новую ситцевую — в большой цветок — рубаху. Пелагея даже побледнела от злости, прижалась к печи, рот у нее пересох, — и ей самой стало страшно своего гнева. Она ткнула ему вслед тощим пальцем, точно пронизая что, разглядела свой палец — и тонко, словно с большой высоты, завыла.

Улица шла по берегу озера, где по необычайно зеленой траве вверх днищами были раскиданы лодки. Над берегом и озером тлелся легкий, как дремота, туман. Отдаленные горы, снежным обручем висевшие над долиной, тоже были в синевато-розовом тумане.

Один лишь бот, принадлежавший Мартыну, валялся ближе всех к воде, боком; днище было треснутое, пакля вылезла, и — обиднее всего — кто-то нагрешил под лодку. Ребятишки, наверное.

Мартын хотел поругаться, но вспомнил, что не только бот, но и сети его давно сгнили. Было жарко. Собаки, высунув ровные розовые языки, лениво глядели на него, слов-

но приглашали проходить и не мешать сну. Мартын бодро дернул плечом, оправил рубаху.

— Направлю бот, с понедельника али со вторника начну...

Ему, неизвестно с чего, стало весело. Он любил уходить в горы. Там легко думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в бедности. Сельчане были староверы — кержаки по-алтайскому, любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтобы упоминали часто о такой помощи. А Мартын все забывал, и благочестием его наполнить было так же трудно, как бочку плевками.

Когда он начал подыматься проулком к кладбищу, навстречу попалась Елена, жена начетчика Скороходова, высокая, полная; льняные косы выбивались из-под длинного платка на синий старинный сарафан. Мартыну понравилось какое-то раздолье, несущееся от нее. Пухлые белые руки ее тихо потрогали маленький подбородок, когда над ней низко пролетела сонная ворона.

— Здравствуйте, Мартын Андреич, — протяжно сказала она, плавно проходя мимо него. И белые руки ее, казалось, неистово как-то улыбнулись.

— И-ех... касатка! — сказал Мартын ей вслед. — И-ех!.. Поповски дочери, што голубые лошади: либо добры, либо дики.

И вдруг у него громко заныло сердце. Сначала он как будто сдержал себя, но мотнулось, словно щука на крючке, сорвалось — и понесло. Мартын глядел в радужные от древности стекла окон, и какие-то мелкие рыбешки дрожали в них. Солнце поднялось высоко; басом, точно бык, прокричал петух; мальчишка, держа Псалтырь обеими руками, торжественно пробежал мимо Мартына.

На кладбище над могилами распушились березы. Вспомнил почему-то, что если в радуге выделяется зеленый цвет — к урожаю, и посмотрел на небо. В Святом овраге он послушал, не ржет ли Серко, хотя помнил, что путал его версты за три от оврага на березовой елани — поляне. Подле одного пня, почему-то похожего на сига, он посбирал перезревшую, почти темную землянику. Ягоды были темные и приторно-сладкие. Он выплюнул их с омерзением и пошел по березняку выше. Затем вспомнил про разрушенный бот и решил, что тут в чем-то виновата Елена.

— Краля толстопузая, — уныло сказал Мартын, — тоже все на ум лезет...

И опять заныло сердце, и трава под ногами стала жесткой, словио солома.

И он закричал так, что даже сам вздрогнул:

— Серко-о!.. Сер-ко!.. Ну-у!..

Эхо отчетливо, без перекатов повторило его крик. Рассыпчато покатился камень. И эхо и тилилииьканье камней указывали иа близость гольцов. Мартыиу иадо было взять вправо, а ои полез влево по самой крутой тропе. Облепиха путалась в колеиях, громадная паутина с жириым пауком посередине села ему иа лицо. Жизнь свою, казалось ему, зиал он, знал все свои иужды, зиал все, что ему иужио делать... и все ж долго бежал в гору, пока густо ие потек липкий пот.

Теперь вокруг иего стояли матерые лиственницы, коегде с них пластами была снята кора (для покрытия хлевов), ярко-желтая смола походила иа ледяные сосульки. Красиели подосинники. Где-то говорил о кладах дятел. Мартын огляделся — и опять рассердился ие то на лошадь, не то на Елену. Прохлада охватила его, он лег полежать, ио в боку виовь словно хлестиулась заноза. Он ударил по стволу лиственинцы так, что иа недоуздке осталась смола.

— Краса-то, краса какова! Вот тебе и Алена, тридцать три года...

Глава вторая

Осиновые листья лежали кверху изианкой. Осиииик и попавшийся овражек густо заросли борщевиком. Мартыи, как дети, любил борщевик. Сломал одии стебель, есть ие мог и, даже не думая о нем, полез влево. На самом дне овражка Мартын выронил зажатый в руке стебель — и поскользиулся на нем. Упав, он вдруг ощутил мокрый холод в колеие, иаклонился ниже; прозрачиый до того, что паутинка, упавшая вместе с сучком, виднелась на донышке его, маленький ручеек пробирался у него под ногами. Овражек показался незнакомым. Жужжали пчелы: должио быть, недалеко пасека. Поймал пчелу. Она ласково зашипела у иего в ладоии, будто торопя его выпустить, — и ие укусила. Он последил за ее полетом и пошел по ручью дальше.

То, что тут тек ручей, казалось ему большим иепорядком, и это даже заглушило его сердце и то, что ои выпачкал штаны. Откуда ручей? Озеро в долине Кок-Таш на-

полнялось весной тающими снегами со склонов гор, осенью оно сильно мелело — и тогда легко было ловить карасей и лилией.

«Родник, видно, забил, — придется проследить. Да и Серко небось к воде вышел. Где ж, коли не у воды, искать коня».

Овраг скоро кончился, ручеек тек уже из березняка. Был он теперь шириной не больше пол-аршина, тек медленно, упавшие березовые листья долго цеплялись друг за друга, словно играя, а потом, качаясь, плыли дальше. А местами вода была столь прозрачна, что ее можно было заметить только по журчанию.

«Не иначе, родник».

И вдруг, выходя из березняка, он увидал болото, самое настоящее болото с мелкими кочками, поросшими остро пахнущей осокой. Это было уже совершенно чудно, — никогда по склонам гор, окружавших долину Кок-Таш, не слышно было про болота.

«Да заплутал я, што ли?» — и Мартын встревоженно поднялся на высокую безлесную скалу. И тогда сразу поверх запахов хвои снизу, из долины, пахнуло на него цветущими хлебами. От волнения у него словно колос прошел по горлу. Казалось, что сквозь синеватую пленку тумана, закрывавшую озеро и долину, он видит поля, плотно затканные колосьями. Звенят усики, подмигивает игривый овес, просо лохматится, будто староверческие бороды... Много телег едут осматривать поля, голоса звенят ясно — значит, будет вёдро, будут закрома подперты кедровыми слегами, чтобы не развалились...

«Соберу зерно, ружье обязательно куплю, на горностая уйду в камни... А там видно будет».

Он вновь вспомнил Елену — и кинулся к ручью.

Болотом идти было трудней, осинник перегнил, часто нога вязла в кислой няше — болотной глине. Перед самым концом болота из осинника выскочил журавль. Нелепо расставляя ноги, он разбежался, оглянулся со страхом и медленно полетел. Поднявшись над скалой, на которой был Мартын, журавль тоскливо курлыкнул. И журавль, и болото, и тоска — все было зряшное, пустое. Мартын обрадовался гольцам, обширному серому полю, голым скалам вдали и твердому, с каменным запахом лишаев ветру.

А ручей уже был величиной с шаг и встречал его шумом галек.

«Чисто наважденье!.. И Серка не могу найти...»

Он поднялся совсем высоко — едва ль уйдет сюда конь. Болотце, через которое он проходил далеко внизу, закрыл туман. Показались впереди холодные, крытые рыжими лишаями, словно обдерганные скалы. Сверху хлынул ледяной ветер, знобким коробом натянул за плечами рубаху. Мартын, вправляя рубаху в штаны, упрямо потряс недоуздком: «Я-то узнаю, в чем тут каверза...»

Солнце поднялось высоко, но было холодно; шаг становился все легче и легче, но оставалось такое чувство, будто он идти-то шел, а словно все это время не сходил с места. Закопошилась знакомая всем долинная тягость. Все же Мартын не повернул назад.

Слева из гольцов вышла темно-бурая гряда холмов. Ручей уперся им в бока. С самого высокого холма Мартын разглядел внизу, еще левее, начало пустынной каменистой долины Талас, соседней с Кок-Ташем. Она была необитаема, гола; холодные потоки вод с ледников устремлялись туда, чтоб, соединившись в реку, направиться в Нор-Зайсан. На холме было еще холоднее. Мартын вновь спустился за гольцы.

Наконец он увидал Тиляшские неприступные скалы. Они подымались в густое синее небо высотою в пять наивеликих сосен, вершины их походили на поставленные дыбом челноки; огромный беркут, словно часовой, нехотя и злобно кружил над ними. За скалами начинались ледники, незнаемое лёдово, вечные холода, смерть.

И здесь Мартын увидал: огромная, с часовню, глыба, выпавшая из скалы, открывала что-то, напоминавшее окно или погреб. Там, похожие на синие нити в ткацком станке, блестели тускло льды, и оттуда-то хлестал на волю неизвестный ручей. Выше и по бокам ледяного погреба шли широкие, в ладонь, трещины, осыпался щебень.

— Дивеса!.. — сказал со смехом Мартын. Он был доволен, что знает, откуда течет ручей.

Он наклонился с розового, похожего видом на паука камня напиться к крошечному запрудчику. Коршун отразился в воде, и ему показалось, что коршун летает над ним.

— Брысь! — весело сказал он.

Но вода была столь холодна, что будто камнем ударило его в зубы. Спокойствие охватило его, он свистнул, подмигнул неизвестно кому и побежал вниз. На одной из еланей он встретил Серко, стоявшего по голову в траве и яростно отмахивающегося тощим хвостом от оводов. Конь,

увндав хозянна, заржал; в редкнх зубах его торчалн листья таволожника. Таволожинк цвел — значнт, хорошо пойдет в сети карась.

Глава третья

Утром он почнстил Серко. Ему мучнтельно захотелось на озеро, хотя рыбачьн сиастн совсем износнлись, а на иовые денег ннкак ие иаскрестн. Он вычерпал бот, кое-как затыкал щели куделью. Алешка сел за лопашиые весла. В курье — узком протяженни озера, заросшем камышом, встретились рыбакн-сельчаие, сытые, здоровые. В ботах у них стояли большие корзины, наполиеииые рыбой — золотисто-серыми карасями и темио-янтарными линиями. Похвалнлн Мартына:

— Надо, иадо! Клев иа уду.

Мартыи смазал рыболовиую плетеику виутри пресиым хлебом; вода, казалось, гнула прутья, когда ои опускал плетеику, долго расходилнсь кругн по воде. Утро было крепкое, как холст; кудеречки облаков ходилн стайками. Жить бы, поживать да посмеиваться в такое утро да в таких местах.

Ресницы от теплоты слипались, словно березовые мочки. Мартыи начал смазывать вторую плетеику, но вдруг опять защемило сердце, он отодвннул горшок с тестом и посмотрел на горы.

— Парит, Алешка.

— Но, парит! — возразил ему Алешка. — Сичас ветер с лёдова подует, жара-то и схлынет. Я самолов поставлю...

— На поле иадо сходить... Поворачивай-ка, Алешка.

Алешка обнделся.

— Дай хоть плетеику спущу.

Ои ловчее н быстрее отца подиял широкую плетеику, похожую иа корчагу. Мартын удивился на его сиоровку, ио было обидно, что сын ие почитает его, — гляди, лет через восемь прогонит отца на полати и возьмется за хозяйство. Мартын сказал ему об этом.

— И будет... — увереиио ответнл Алешка. — Лежи.

Мартын рассердился, выругал его.

Вытащив бот на берег, Алешка взял нож н пошел в березняки за веннками, Мартыи направился иа пашию. Погонка хлебиая — коицы колосьев, образующих ровную земле плоскость, — блестела, словно начищенная; изредка над ней вынырнвалн от легкого ветра князькн — более вы-

сокие и крупные колосья. Все было как нужно: в цветеиье дул легкий ветер, погода ясная, в колосе завязывалось доброе зерно. Пахло теплой соломой и сухой землей, в пыли играли воробьи, перепел выстукивал: «Вот идет! Вот идет!..»

Мошки вились табуном, бабочек-белянок было миого — все к урожаю, к ясности, а сердце у Мартына захолоиуло еще больше. От жары, что ли, или устал, много пробыв над водой. Он вернулся домой, влез на сеновал, — баба только что привезла накошенной травы. Трава была мелкая, точно волос, и пахла медом. Складывая траву, он выслушал бабью воркотию, даже не обругав. Угрюмо смотрел на ветхую крышу сеновала и так мотал головой, словно крыша могла сейчас упасть и раздавить его. Вечером поел картошки с луком, переложил топор под лавкой лезвием к стене и вернулся вновь иа сеновал.

Весь следующий день Мартын пролежал, его грызла тоска. Баба начала беспокоиться.

— Болит где, што ли?

«Разве к доктору съездить», — подумал Мартын. Но доктор жил далеко — за двадцать верст, к тому же Мартын думал, что доктора могут помогать только от живота, до всего остального они еще не дошли.

— Чего ж лежишь ты тут, будто лёдово!..

При этих словах жены Мартын вспомнил синюю стену льда, выдавившего дно скал, холодный ручей, бьющий с рокотом из-подо льдов.

— Ты мне на завтра хлеба отложи. Надо в камни сходить.

Утром он, верно, ушел в камни.

«Выкупаться, гляди — поможет», — думал он, идя Святым овражком к болотцу.

На болотце была уже довольно глубокая топь, кое-где по открытым местам ветер, прорывавшийся через осинник, колыхал по воде осоку. Крякали утки, легкий пар подымался от затопленных пней. Мартын обеспокоился, что придется далеко обходить болотце, — не раздалось ли оио в ширину. Поток за болотцем стал еще шире, он увлекал с собой камни с гусиное яйцо, с шипеньем рыл в гольцах свое логово. Камеиь, где еще иедавно Мартын стоял и пил воду нз потока, был под водой и, казалось, вырос. Лед под скалами словно сел ниже, и отверстие погреба расширилось. Мартын суиул в поток руку, ее захватило, словно петлей, и повлекло...

А тоска оседала на душе все ниже и ниже, как эти льды. Мартын вышел из тени скал, и ему сразу стало теплее, хотя с ледников несло холодом.

«Жара-то какая... Лёдово-то тает, как поди там... Ишь, ведь камень проело, чисто крот...»

И он подумал, что сейчас только начало самой жары, льды начнут таять по-настоящему недели через две.

Солнце упало в погреб, и льды ощерились будто клыки. С металлическим звоном откололась глыба величиной с бочку и, качаясь, выкатилась по потоку на гольцы.

«Вот потечет-то... Ведь этак-то...»

Он хотел пошутить, что теперь им не надо набивать на лето погреба своим льдом, но вдруг мучительная мысль опалила его сверху донизу так, что заныли икры: «Ведь этак-то в долину река пойдет...»

Он еще не мог понять, как это пойдет река в долину, — через матерую черную землю, через эти нивы и покосы, где колос тяжестью в человечью руку, а сено на вилах словно бобровая шапка.

Он, не оглядываясь, кинулся вниз по гольцам.

Пробежав сосновый лес, он выскочил на дорогу. Здесь догнал Турукая-Табуна, Микиту. Турукай был мужик веселого нрава, и, если б не тесть да не отец, он бы всегда сидел подле озера с удочкой, рассказывал сказки да ловил окуней. Собой он был какой-то мочалистый, постоянно кашлял и много врал. Турукай сидел на возу березовых жердей; увидав Мартына, заулюлюкал, заорал; лошадь, привыкшая к его выходкам, только повела ушами.

— Мартын, друг сердешной, таракан запешной, откедова? А я как раз сотый воз жердей на этой неделе везу, да едва под пропасть не попал, — медведь, сукин сын, лезет из черни... ладно, лошадь ученая. Садись, подвезу.

Мартын сел. Нежная белая кожица на жердях во многих местах облезла, показалась другая, зеленая. Мартыну, кто знает почему, стало жаль березки, да и брехуна Турукая тоже было жаль.

— Река идет в долину-то, — сказал он тихо, — из ледника идет. Сейчас сам видал.

— Ну, река! Плоты, значит, будем плавить. Я, брат, мастер по плотам... Раньше, до революции, меня купцы нарасхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданым... тыщи!

Он уперся руками в бока и долго хохотал.

— Али мельницу открою на шашнадцать поставов, с

аликтрическим освещением. Брать буду по копейке с пуду. Всем мельникам по округе конец! Еще убьют, пожалуй.

— Да ты не болтай, Микита. Я те всурьез говорю — река.

— Неужто и впрямь? Ишь, лошадь под тобой вспотела... Как сел, так вся потом изошла...к сердешному делу, выходит.

— К сердешному? — переспросил Мартын.

Но Турукаю, видимо, стало скучно.

— Ко мне девка пришла ноне за яйцами, занять. Я ведь кур новых купил... голландских... десять рублей пара, каждая весом по полпуда небось. Я говорю девке-то: «Пойди на поветь, там куры свежих яиц нанесли, собери сама... — Я оглобли строгал. — Да правей бери — там они и несутся». А правей-то жерди разошлись, вповети-то яма. Она и бу-ух... только руками всплеснула. И застряла посредь жердей, юбка на голове, орет. Ногами машет, вертит, едва со смеху не сдох.

Он долго катался по жердям, хлопал себя по ляжкам, визжал.

— Да у тебя, Мартын, мурло-то — чисто ты погань какую съел. Али идет вот попадья с работником, и встречаются им две собачки...

Но когда Мартын и этой сказке не рассмеялся, Турукай обиделся.

— Зболтанный ты какой-то, Мартын, скушно с тобой до смерти.

Он стегнул лошадь, жерди затрепетали, защелкали. Турукай запел песню. Кому тут говорить о мутном своем сердце?

Мартыну не спалось. А когда поднялся над озером месяц и погасил в воде лениво мигавшие звезды, стало так тоскливо, что заныли пальцы. Он пошел по селу. Подле изб, как и везде у богатеев-сибиряков, лежали напоказ все богатства: плуги, косилки и жнейки. Они портились от погоды, месяц блестел тускло и кроваво на ржавчине. Ворота высокие, как у крепостей, с железом крытыми кровлями. На бревенчатых завалинках сидели кошки, сытые, толстые.

Ночь шла под Ивана Купальника. Девки в эту ночь сбирают двенадцать разных трав, кладут под подушку — испытывают свою судьбу. Девки шли в обнимку с парня-

ми, с полными горстями трав, тихо, без голоса. Кое-где в палисадниках тихонько, истошно охали. В одной избе проснулась баба, вспомнила, что завтра Иван Купальник, и, голая, на месяце вышла к окну, поставила на подоконник под Иванову росу пустые крынки, — от Ивановой росы снимок — сметана делается толще. Она сонно, медленно качалась и не замечала стоявшего под окном Мартына. Окна везде были настежь, и казалось — в вековечном сне храпят кержацкие избы. Спокойно дышала скотина во дворах; тоже, если не идет в хлев, — к добру, к ясности. В одной избенке мельтешил жировик, там вдова шинкарила, но пили там тоже тихо, будто больше для сна. В окне Мартын увидал мужа Елены, начетчика Скороходова; тот уговаривал соседа идти домой. Мартыну захотелось выпить, но кто ему поверит в долг. И тогда он озлился, выругался и пошел к скороходовской избе. Он перелез палисадник, черемуха хлестнула его по горячему лицу, поднялся на завалинку. Плахи завалинки качались (землю, чтоб не прели бревна, выкинули от плах и стен), пазы пахли мхом, а изба, вся наполненная месяцем, пахла хлебом и человеком. Елена лежала на кровати, и пухлые руки ее свешивались до полу, словно ловя косы. Ребенок, посвистывая носом, спал на голбце. Месяц ушел за облако, и Мартыну было приятно видеть темное жерло избы. Только еще сильнее пахнуло оттуда человеком.

«Экая сыть», — уныло сказал про себя Мартын, плюнул в выставленную на росу крынку и пошел обратно.

Парни и девки расходились по домам. Девки шагали, покачиваясь, шел от них плотный запах кислого хлеба, а парни словно спали.

Мартын остановился перед моленьей; прямой раскольничий крест скосился от древности. Мартын в бога не верил, и ему казалось, что все верующие притворяются, но сейчас он обидчиво сказал:

— Видно, и бог-то тоже спит. У одного меня, што ли, сердце-то ныть обязано...

Безгромовые зарницы мелькали над белками, беззвучно качались камыши, и выпрыгнувшая из воды рыба словно растаяла в воздухе.

Глава четвертая

Мартын сидел на завалинке, он веревкой перехватывал балку, чтобы потом попытаться с лошадью вместе потянуть

и выпрямить покосившиеся ворота. Мимо прошел Антип Скороходов; он был сильный, плечистый мужик, в проседь, картуз иизко сидел иад длиными, словио огурец, ушами. Отойдя иесколько шагов, Аитип остаиовился, подумал и, одернув пиджак, вернулся к Мартыиовым воротам.

— Мартыи, я ведь тебя, как птицу, могу с заплота стряхиуть, — сказал он, положив крепкие волосатые руки иа бревиа.

— А стряхии, — иехотя сказал Мартын, — может, ворота выпрямишь. Мышь скирдой ие задавишь.

Скороходов повериулся к иему спииой и сказал, глядя иа озеро:

— Колдуешь все... деревию обещаешь затопить...

Мартыи озлился и закричал:

— Кабы да мие грамоту да обучеиье, а я бы вас, толстопузых чертей, всех перевернул! Ты вот иачетчик, писаиье иаизусть выучил, почему ты понять не можешь, что деревию-то зальет? Вот к брюху бабы твоей подойдет, тогда только опомиишься.

— Ну! А ты, Мартыи, старайся, старайся.

Ои иаклоиился к иему, огляделся по сторонам, и иа висках у иего показался пот.

— Ты вот по горам стал похаживать, а я тебя поиимаю... На воде-то ты глаза отводишь, а главиая мысль твоя — металл. Я тебе без хитрости: бери меия в пай иа золото. Работииков иаймем, брата пошлю, сам все дела буду вести, как по ниточке.

В горах там прииска. Были когда-то прииска и в пустыииой соседией долиие Талас, куда бежали потоки с ледников. Из таких сел, вроде Ильииского, иа прииска иарод больше уходил зряшиый, пустой, у которого с хозяйством ничего ие выходило. «В металл пошел» — было вроде ругаии. По правде сказать, богатеями с приисков и стараиий ие возвращались.

— О золоте ие спишь, а того, леший, ие поймешь, что скоро, месяц, два али раиьше, деревию затопит.

Аитип погрозил толстым волосатым пальцем.

— Не хитри. Говорят тебе: в пай пойду.

Мартыи глядел ему вслед, и трудио было поиять — поп ли это, купец или зиахарь. Пиджак длиииый, волосы тоже длинны, в одиой руке пук травы и кореиьев, а в другой — киут.

Мартыи разозлился иа иеиужиые мысли и иа то, что подумал: «Хорошо бы с иим в пай. Елену будешь каждый

день видеть». Он кинул нагретую солнцем веревку на землю, погрозил кулаком воротам.

— Вешаться на такой махине только!

Поглядел на горы.

«Сам уплыву, тони все барахло, а не пойду».

Но через день взял лопату и пошел.

В Святом овражке борщевник уже подсох; ему захотелось есть. Остановился, подумал, не вернуться ли домой за хлебом. В кустах рядом треснул сучок, кто-то фыркнул. Мартын раздвинул кусты и увидал обвитое паутиной лицо Антипа Скороходова. Скороходов был тоже с лопатой, руки его беспокойно перебирали черенок, а фигура была строгая, и голову он держал немного набок, словно читал молитвы.

— Дай, думаю, посмотрю, где это ты металл, Мартын, роешь.

И он осторожно вздохнул.

— Пойдем, чего тебе за мной следить, — сказал Мартын. — Хлеба ты не захватил?

Антип указал на оттопыренную пазуху. Мартын кивнул и пошел вперед.

Болотце было сплошь залито водой. Вода, видимо, не успевала испаряться и, несколькими струйками теряясь в траве, искала выхода в долину.

— Видишь, — указал Мартын.

— Ну?..

И по губам Антипа Мартын понял, что думает тот совсем иное, едва ль видит воду и думает о ней. Из кармана у него торчал завернутый в тряпку нож, и нож-то особенно разозлил Мартына.

— Долго мне еще с вами, дураками, возиться! Понимаешь?

Антип не обиделся на его ругань, он как-то не по характеру торопливо поддернул штаны и ласково заглянул Мартыну в глаза.

— Это тебе, начетная твоя дурь, должно быть, дороже металла. Ручей-то течет в долину, а долина-то, как блюдечко, — ни вытека, ни втока. Ты вот попробуй капать в блюдечко по капле... капай да капай...

— Здесь, што ль, Мартынушка, россыпь-то?

Мартын яростно плюнул.

— Дурак!

— Где ж?

— Выше.

Мартын и не повел его к Тиляшским скалам: все равно — метла метлой, а не человек. На самом низком холме из цепи закрывавших проток в долину Талас Мартын ткнул перстом в землю и сказал:

— Здесь. Рой, да глубже.

Он сел рядом на камень и тоскливо глядел, как моталась в руках Антипа лопата. Прорыл тот не больше аршина, лопата зазвенела и сломалась.

— На породу наткнулся, — с недоумением сказал Антип. — В другом месте разве порыть, а то пласт-то тонок больно.

— Не надо. Не прорыть, значит.

Долина Талас бежала перед ними — пустынная, бурая и тихая. Сколько воды может принять, а поди ты!

Антип тем временем схватил лопату земли и побежал к потоку. Там он пустил землю по шапке, долго рылся в ворсе и, вернувшись, потряс черенком перед лицом Мартына.

— Нету металла-то ведь, нету.

— И не было, — сказал Мартын, вставая. — Пойдем домой. Я своей силой думал отвести, а теперь не иначе — взрывать. Со стариками бы ты поговорил.

Антип вдруг задрожал, побледнел.

— Ты у меня не хитри, ты у меня глаза-то не отводи... Ты указывай, коли сговорился.

— Укажу-ка я тебе одно место, — сказал тихо Мартын и тоже начал дрожать, — откуда мысль твоя пошла... да небось сам знаешь. Иди, я на тебя да на твою бабу... не работник.

Скороходов вдруг громко заругался, он, видимо, и сдержать-то себя не мог, да и не хотел. Так он шел за Мартыном до самой колесной дороги через весь сосновый бор, ругался, пока Мартын не удивился:

— Ну и жаден же ты, Антип! Как суслик. Благословись, огарком очертись.

Глава пятая

Пашни начинались сразу за поскотиной. У ворот поскотины часто любил сидеть Турукай: можно было остановить каждый воз, въезжавший и выезжавший из села, поговорить и соврать что-нибудь. Турукая все любили за сказки и за то, что он многому верил. А не верил он только в

смерть, и такие сказки, где говорилось, как и кто помер, он не рассказывал и говорил, что их бабы-старухи выдумали.

— Я, — говорил он с полной верой, — не помру. Пробогохульствую и в лешие или водяные предназначу себя — только меня и видали!

Поскотину караулили всегда мальчишки. Турукай рассказывал им сказки и подговаривал обворовывать огороды и маковые поля. Мальчишек часто ловили; кто знает, может, Турукай же и предавал их. Пороли их мокрой крапивой. Турукай долго потом издевался над выпоротыми.

Когда Мартын подошел к поскотине, Турукай широко распахнул ему ворота, поклонился в пояс и вдруг захохотал.

— Баба сейчас Скороходова на пашне лупила, только что прошел впереди тебя, весь-то будто каменный. А ты все, Мартын, металл ищешь. В прошлом году попал я в Таласскую долину, смотрю — на дороге самородок лежит, никак не меньше куриного яйца. Я его бац в карман, а карман-то с дырой. Прихожу домой, а там ветер в кармане. Слез-то пролил сколько, жалко!

Мартыну после Антипа как-то весело стало от турукаевской брехни. Глаза у Турукая были веселые, ясные, сам он весь словно на гору вспрыгнуть хотел.

— А ты, Мартын, разрыв-траву такую поищи. Все тебе клады раскроет, от болезней излечишься и любую бабу приворожишь.

— Нет такой травы, чтоб приворожить. Я бы поискал.

— Я тебе говорю: есть! Я одного старика видел, купец-скопец, в городе. Листок дал один махонький. «Клад, — грит, — можешь достать, любую бабу али от болезни». А у меня страх тогда живот болел! Мне бы про клад надо сказать, а потом на эти денежки из Питера докторов выписать, а я и крякни: «Брюхо, мол, хочу залечить, понос несусветный». Листка-то как не бывало, а и болезнь-то как теленок языком слизнул. Да...

Мартын, не слушая россказни Турукая, думая о своем, потрогал его за плечо и сказал:

— А ты, Турукай, в партию не хошь?

Турукай даже зажмурился от радости.

— В партию, Мартын, хорошо-о!.. Волостным председателем... А мне тот же скопец говорил: Ленина-то, говорят, в склепе-то нет, заместо его какой-то солдат лежит, а сам Ленин сейчас по России ходит, надежных людей выбира-

ет. Тыщу, грит, начальников набнрает, а набрал только пятьсот. Ведь очень просто, может н в наше село зайти, скажет: «А пошто Турукаю не быть у меня главнокомандующнм, если он у меня в партин. Надевай на Турукая ордена и давай ему коня арапской породы, а...»

— Обождн болтать, главнокомандующий, — прервал его Мартын. — Я те на самом деле говорю: давай по селуто ячейку соберем, как в волостн, зажмем богатеев-то.

Турукай заморгал, посмотрел в сторону, подергал локтями.

— Давай. Однако и чудно! Сколько лет жили без партии, а сёдни только оказалось — нельзя без нее жнть. Я в ней кем буду? Я ведь тоже грамоту-то хоть н проходнл, да все церковнославянскую, да все за заботами-то из головы выскочнло.

— Научишься.

— Это я могу. Учнться я могу здорово. В трн дня до всего дойду.

Он яростно сплюнул, засучил рукава.

— Мы им, сукнным детям, покажем! Богатен-то о своем брюхе только и думают, а на обчество нм наплевать, пущай река заливает. Да-а...

Вечером было тнхо и пасмурно. Старнкн, вышедшие из молельни, сгрудились н сталн говорнть о погоде, что пора перепахивать во второй раз пары, а под пшенцу тронть кнслые залежные камни. Поговорили н о прежней жнзни и о том, что теперь так дорога мануфактура: рубль двадцать аршин. В это время проходнлн мимо бабы, сговарившиеся назавтра ндтн по клубннку и по красильные травы. Средн ннх была н жена Мартына. Высокий старик с тупым и упрямым лнцом, Митрий Савин, поманил ее пальцем.

— Ну, как Мартын-то? — спросил он ее строго.

— Не знаю, Митрий Васнлнч. Все тосковал, по ком — не знаю, а вот теперь гневается, а пошто гневается, и ума не прнложу! Вам, старикам, разбирать.

— Дурит он у тебя. Скажн, что, мол, в гостн прндем.

Идти им к Мартыну было до мучения тяжко. Они долго еще говорнли о погоде и об урожае, наконец оправнлн сзади старомодные кафтаны и пошли. Мартын согрел в чугунке чай, старнки поблагодарили, но попросилн налить им вместо чая кнпятку. Но н кнпяток пнть не стали. Спросилн, много ли Мартын наберег на знму сена; за него от-

ветила баба. Тогда высокий старик, Митрий Савин, протяжно сказал:

— Мартын Андреич, ты бы разговоры про ячейку-то оставил. Что хорошего? Турукай твои слова по всему селу раззвонил. На чем свет, на том и позор, а на наши места тысячи народу зарятся. Наша земля-то клином впереди всех земель идет. Сколь лет без ячейки жили, а тут на тебе! Вон в Артемовке младший у Глафировых в город ушел, в комсомольцы записался, да и женился на жидовке. Пошел второй — на водке сгорел. Третьему только счастье: жена тихая, работящая, сам дома сидит — пимокатное рукомесло изучил. Тебе и помощь устроим, и хлеба дадим, коли надо... скотину для работы можно определить... А коли сознаешь ты, што не можешь крестьянску лямку тянуть, шел бы в металл. Семью-то твою не забудем...

Старикам не хотелось говорить с Мартыном, но времена такие пришли: тут ему и партия и город, голытьбе — раздолье, такие законы отыщет, еще и судить тебя будут.

— Не хочу металлу! — вдруг, подбоченившись, закричал Мартын.

И кричать-то ему не хотелось, да и подбочиваться-то, сам знал, смешно, по-турукаевски выходило, а вот понесло как-то.

— Не хочу. Разговор буду с вами иметь.

Он вспотел даже, но локти задрал еще выше. Старики, все так же легко вздыхая, смотрели в сторону.

— Имею я желание ехать с вами, старики, в горы. Для полного маршрута. Лёдово на долину идет.

— Веками лёдово в Таласскую долину шло, — осторожно сказал Василий Тюменец, толстый, со слезящимися алыми веками старик, — а теперь што ему запритчилось к нам поворачивать?..

— Ну уж там запритчилось или нет — сами увидите! — кричал Мартын. — Алешка, собери к завтрему телегу.

Старики пожевали губами и попросили выехать пораньше, до жары. Когда они ушли и баба, вздыхая протяжно, начала убирать со стола, Мартыну стало стыдно, что он закричал на стариков, которые ничего не сделали ему плохого. «Завтра,— решил он,— буду степеннее».

Утром он надел новую рубаху, занял у соседа ременный пояс с блестящей пряжкой, по деревне ехал и громко кричал, упрекая стариков. Ехал он медленно, и ему хотелось, чтоб его видела Елена, — он даже остановился против ее окон, будто бы поправляя шлею. Окна были рас-

крыты настежь, но Елена не обернулась; она сажала хлебы в печь, и мелькала перед темным жерлом печи круглая, посыпанная мукой лопата. И тут Мартын не вытерпел; указывая на Елену, он подтолкнул самого молчаливого старика, богомольного Сидора Лабашкина.

— Вот баба — так баба! Взглянет на нас — и не уцелеть тебе, дядя!

— Отвяжись, лихоманка, креста-то на тебе нету, — строго сказал ему Митрий Савин.

— И не будет! — закричал Мартын. — Всю деревню переверну, легче. Мне ради такого дела никого не жалко! У меня душа горит! Я на все согласен!

Но и тут Елена не обернулась.

За поскотиной поехали быстрее. Черная пыль огромным хвостом, словно тень, волоклась за телегой. Старики глядели на поля и говорили, что цветы пахнут сильнее с каждым днем — значит, колос наливается полней, тяжелей; что коготки рано развернули венчики — овсы будут питательны; к теплу мышь оставляет пищу снаружи, а не тащит внутрь норы; что кошки крепко спят — тоже к теплой зиме. Трещали звонкие кузнечики, высоко выпрыгивая промеж колей дороги. Небо было душное, хотя и раннее, и почти желтое.

Но вдруг громадная лужа воды преградила им дорогу.

— Объезжать, что ли?! — закричал вдруг обрадованно Мартын. — Дождались! Выбирайте теперь имя реке, крестить ее надо, старые черти!

Старики охнули. Прямо через поле богомольного Сидора Лабашкина несся с шипением и пеной ручей.

Тогда Мартын указал на небо и начал по пальцам пересчитывать приметы:

— Горы-то в ясности — жара, кошки-то спят долго — к теплу, мышь-то сено снаружи держит — к теплу. А лед-то тает, лёдово-то идет — конец селу нашему подходит, а?..

Старики молчали, а Лабашкин слез с телеги, ухватился руками за смятые, подмытые водой колосья и тихонько, по-ребячьи завыл.

Глава шестая

Сбежались мальчишки, сразу появился подле ручья мусор, — пашню, чтоб не пропадала, наскоро скосили и стали сушить пшеницу для корма на поветях. И никто не ве-

рил, что вода в озере может подняться. Тогда Мартын воткнул в воду размочаленную вешку, вода в сутки поднялась на полвершка. Ему не поверили, и Мнтрнй Савнн сам воткнул вешку н весь день сидел подле нее, не спуская глаз. Вода поднялась по его вешке на вершок.

Турукай-Табун, согнув палец, помчался по деревне с криком:

— Братцы, на вершок! А с завтрева будет по пол-аршнна поднниматься, там еще камнн обрушнлнсь, я сам видел.

Турукаю не поверилн, но старнкн съезднлн в горы, посмотрелн поток.

— Што, назвнще какое будет? — сказал нм ехидно Мартын. — Назовем ручей-то Бабьнм, а?

Антип Скороходов закрнчал ему:

— Колдун, суккн сын, наколдовал, а теперь смеешься!

— Одна пора в году — страда, — вздохнул Мнтрий Савнн. — Мы к тебе, Мартын Андренч, опять вечерком-то заглянем.

— Заглянните, угощеньем не обиднм.

Елена встретнлась; попробовал Мартын сказать ей что-то, да получнлось очень нескладно. Она оправнла платок, шевельнула плечом и ответнла насмешлнво:

— Пела бы жнея, да горлышко пересохло, — н пошла прочь.

Позже Мартын подобрал нужные слова, но не было случая переговорнть, да и нужно ли ему было с ней говорить — он не мог понять.

Старики опять, как и прошлый раз, селн по росту — ннзкий блнже к божннце. Опять отказались от чая, н Мнтрнй Савнн сказал:

— В город, што ль, тебя послать, Мартын?

А молчаливый Лабашкнн, наконец, вымолвнл:

— По вершку в день — так вот и смерть человечья.

— Что в город! — возразнл Тюменец со злостью. — «Богатеи, — скажут, кулакн — тонните, нн дна вам нн покрышки!» В городе народ обнищал, на достатки зарнтся, за снтец вон по рупь двадцать дерет.

Тут постучалн в окошко, и внучек Лабашкина покрнчал, что вода поднялась еще на полвершка. По всем прнметам выходнла длнтельная засуха, для хлебов хорошо, а для льдов...

— В волость разве, в комитет... — невнятно предложнл Лабашкнн.

— Туда же! Во-олость!.. Соберут совет, пнсарь резолю-

цию напишет, а она месяц до города пройдет, а через месяц-то вода будет на нашей улице, — заорал Тюменец.

— Своими надо силами! — надрывался Скороходов.

— Своими... — длинно вздохнув, согласился Лабашкин.

Тут опять строго заговорил Митрий Савин:

— Оно можно и в город ходоков послать, можно в городе и помощь кому деньгами там али чем оказать. Найти наших, которые на металл ушли, выменять у них пузырек металлу, все равно в Китае дороже не дадут. И не монета, а лестно. Кто откажется.

Мартын протестующе вступился:

— Эк тебя! Ты все по старинке меряешь! Ан теперь Советская власть!

— Да што в лёдове понимают, што они могут доспеть, коли там сам бог больше... Надо такого человека, чтоб с молитвой подступиться мог! — опять заорал Скороходов.

Мартын сказал решительно:

— Составить партию у нас тут надо — только в том спасенье, и город партии всегда помощник. Надо выбрать кого. Турукая бы я взял, — добавил Мартын.

— Турукая можно в пугало, а не в партию. Турукая ты для нашего веселья оставь. Окушков Егор победней всех.

Митрий Савин загнул палец, — пальцы у него были длинные и сухие, как щепы.

Тюменец замахал руками.

— Не пойдет Егор: рыбалку и самогон любит. Ему бы воды побольше, он на воде и спать будет.

Мартын решительно запротестовал:

— Какие вы нам указчики! Мы указчиков без вас найдем. Нам город пособит. И с Семеновым, — он Советску власть за все хвалит, и с Егором, и с твоим батраком, Митрий, я сам перетолкую.

Сидор Лабашкин неожиданно оказался смешливым, — долго, держась за живот, хохотал он. Наконец осел, вспотел и стал креститься.

— Прости ты, господи, грехи наши... Телеграмму послать в Москву: так, мол, и так, тонем, — ехидничал Скороходов.

— Покедова проверят, все лёдово стает, — опять поддакнул ему Лабашкин.

Мартыну надоело слушать, он стукнул кулаком по столу.

— Да што ж эта вы никому не верите! Я вам бабьи

слова говорю, что ли? Я о бабах вам?.. Говорят вам: в город надо ехать. В Совете помощь просить.

Митрий Савин посмотрел на него спокойно и спокойно же ответил:

— Мы стогам верим, да скирдам, да богу.

Потом все же решили послать в город ходоков. Выбрали четырех, которые побородатее да похудее. Долго смотрели на Мартына и, наконец, сказали, что может и он поехать, только чтоб был посмирнее. Ну, можно там сказать, что агрономы-то почти не заезжают, урожаи совсем плохи, а то ведь многое можно сделать при урожаях-то... И про тракторы, мол, слышали. А всему, мол, этому мешает наша темень, наступают на нас льды с белков, топят селение. Налогу не сможем заплатить, не говоря уже о тракторах. Нельзя ли помочь взорвать Оленью гряду, отвести поток в пустынную долину Талас.

На постоялом дворе в городе было грязно, прокурено, клопы не давали спать, а днем ходили какие-то слепые и продавали пакеты — по двадцать копеек пакет. Слепые были навязчивы, ругали мужиков буржуями. Все же Мартын нашел в Совете необходимого человека. Сказали ему так, как решили в селе. Необходимый человек сразу не решил, послал к другому. Тот, порывшись в каких-то бумагах, сказал:

— Обсудим, разберемся... — и велел прийти через два дня.

«Взятку бы дать, — говорили меж собой мужики, — да страшно».

Мартын мужиков стыдил и всюду сам бегал, добивался. Через два дня вопрос решили положительно, затребовали инженеров руководить взрывом Оленьей гряды.

Собрались мужики домой, но тут прискакал из Ильинского сын Тюменца Степан, привез два пузырька намытого подле болотца, за которым начинались гольцы, самого лучшего крупного красного золота.

Глава седьмая

В Совете Степан Тюменец, тряся пахнущей рыбой шапкой, рассказал подробно, как его односельчанин Антип Скороходов нашел подле болота россыпь, как они вдвоем начали промывать и в первый же день намыли два пузырька. Пузырьки эти они решили подарить народной власти

и ей же заявить об открытии новых приисков. Все взволновались, из соседних комнат выскочили стриженые барышеньки. Тряся кудельками, они щупали пузырьки и взвизгивали. У Мартына от этого шума и оттого, что не он, а Антип Скороходов нашел золото, разболелась голова, поднялась изжога. Тут прибежали фотографы и сначала сняли Степана Тюменца, а потом и всех ильинских мужиков. Мужики кланялись, благодарили и в тот же день поехали обратно. Никому из мужиков невдомек было, что Тюменец успел с одним из инженеров снюхаться — золота ему сунул.

А в городе после их отъезда стали рассказывать легенды о новых приисках: что будто бы какой-то поп намыл в два дня золота на сорок тысяч, что сельский писарь вымыл самородок чуть ли не с лошадиную голову. Заскрипели телеги, направляющиеся к селу Ильинскому; нашлись беззаботные мечтатели, которые, соорудив котомки, бросали службу и пешком направлялись в гору. По дорогам ночью горели костры, было несколько лесных пожаров.

Пришедшие на прииска останавливались подле поскотины, здесь их встречал Турукай. Он рассказывал всем прибывающим необыкновенные истории. Хлеб и молоко в селе стали продавать втрое дороже, и бабы завели себе шелковые московские платки.

Затем приехали два инженера руководить взрывом, и в первый же день тот из них, что снюхался с Тюменцом, устроил пьянку, собрал девок со всего села и неумело плясал «Русскую». Девки визжали, парни лезли обниматься с инженером. Жена Скороходова, Елена, тоже пришла на гулянку. Мартын прошел мимо раз-другой, никто не позвал его. Инженер со Скороходовым и его женой (ехидно, как показалось Мартыну, виляющей бедрами) ушел в избу.

Мартын дома застал полный порядок, — казалось, жена без него лучше управлялась с хозяйством. Она только упрекнула его:

— Как же так, Мартын Андреич, ходил ты, ходил, а металл-то нашли другие!

— Нету никакого металлу, — закричал уныло Мартын, — врут они все!.. Бабьи разговоры, брехня...

А это походило на правду. Из Ильинского на приисках никто не работал, изредка старики ездили в город, будто бы продавать нарытое золото, а на самом деле гоняли скот. Да и прибылью воды в озере никто не интересовался. Попробовал Мартын поставить измерительную вешку,

подошел Митрий Савин и, тихо сказав: «Не гневи бога, Мартынка», — вырвал вешку.

Потом строго посмотрел на него и спросил:

— У тебя... как ее... эта, ячейка-то сбирается?

— Сбирается! — крикнул Мартын. — Без ячейки разве что поделаешь? Вы, кулачье, опять подомнете.

— Жил бы ты, Мартынка, смирно, а то тоже — ячейка... Как бы тебе не покаяться... Тогда поздно будет.

Отошел подальше, отвернулся и начал раздеваться. Вода в озере была прозрачная, холодная. Мартыну тоже хотелось искупаться, но казалось, что Митрий Савин занял своим телом всю воду, что это озеро, а не Митрий Савин крякает.

К белкам, к лёдову, на прииска ему не хотелось идти. Попробовал походить с бреднем по озеру и вытащил мертвого карася. Кинул его в озеро и не стал больше рыбачить.

Глава восьмая

На Флора и Лавра почти совсем закончили уборку и кладку хлеба, загородили остожья вокруг хлебных кладей и зародов сена. Глянцевитые березовые жерди остожий, казалось, дрожали, как опояска на туловище тучного человека, полевые мыши отъелись так, что с трудом влезали в свои норы. Разгородили поскотину, и на Флора и Лавра скот весь день отдыхал. Сделали очистку скотных дворов, поправили постройки. Мужики начали осматривать сани, пошевни, плести короба и пестери для возки мякины.

Ничего словно и не случилось в Ильинском. Вода из озера вышла почти на улицу, приходилось, как в весеннюю грязь, идти вдоль завалинок. Колеса уходили кое-где по спицы в воду.

— Тепла же, — говорили мужики нехотя, — тепла ж, хоть и из лёдова идет...

«Как объединишь мужиков победней да батраков, когда они все еще побаиваются богатеев? Не миновать в волость идти — там-то ячейка есть и знакомец умный есть, — посоветует, как приступиться», — думал Мартын, нарубая сухостойных дров для сушки снопов в овине. Баба остригла овец, выбила луком шерсть и начала катать потники. Кисло запахло в избе...

— Заели вы меня, — сказал Мартын, а баба ничего не ответила.

Широкая отводная канава по ту и по эту стороны вы-

сокого холма, загораживающего сток вод в долину Талас, была готова, и на воскресенье инжеиеры назначили взрыв середнны холма, разделявшего каиавы, взрыв тех пород, которые было трудно и долго бить киркой.

Как и тогда, когда ои впервые увидал вытекавшнй из леднника поток, Мартыи надел лучшую свою цветастую рубаху, взял за пазуху ломоть хлеба и направился в горы. Главную улицу, затопленную озером, нужио было обходнть, да н ннкто не встретнлся Мартыну: с раннего утра почтн вся деревня, кроме самых ветхнх старнков, ушла в горы, к холмам.

Как н тогда, шумелн на кладбище березы, легкая дымка стояла над горами, и только, словно вспарывая долнну серебристо-сниним ножом, несся через Святой овраг, через поля неизвестный дотоле ледяной поток. А когда Мартын обогнул болото н вспомннл, что сегодня потока не будет, завтра н послезавтра вода в озере пойдет на убыль, озеро встанет в свои берега, на токах загремят цепы и громадные телеги, кованные железом, повезут зерно в город,— радостно забнлось у иего сердце. А поток по гольцам, казалось понимая свои последине часы, несся с тоскливым грохотом, фыркал пеной и голосисто ржал в березияках. Мартын постоял, посмотрел. Юркая сннничка дрожала на камешке. И тогда Мартын с ясностью до болн прнпомннл этн месяцы, свою короткую славу,— ведь это он опасность подстерег, он настоял, что в город за помощью надо ехать.

Зачем ему ндтн к холмам? Мужики посмотрят на сбегающнй в долину Талас ледяной поток, рассмеются в лнцо, а благодарностн от нних не ждн. Позже н городскне уйдут, останутся однн Тнляшскне непрнступные скалы, за ннмн — леднинн, готовящие к осени метели... Нет, не к холмам надо Мартыну торопнться, а в волость. Нельзя откладывать.

Мартын вернулся к опушке болота. Сонно трепеталн лнстьямн осины, пьяной сытостью пахло из болота. Мартын сел на поваленную оснну, спустнл ногн к потоку. Зеленая ящерица осоловело заметалась между камешков у его ног. Он каблуком отдавил ей хвост. Хвост остался трепетать, ящернца скрылась. А деревья в болоте все хлопали н хлопалн, словно дверь в избе. Мартын сидел н прикндывал в уме, как ему лучше за дело взяться, как вернее бедноту сплотнть. Он зажмурнл глаза,— поток булькал водой, будто налнвался в бутылку. И Мартын вспомннл, что за все это время он ни разу не напился пьяным... Надо бы

уйти, но где-то внутри была еще надежда, что спускающиеся с гор мужики остановятся подле него и кто-нибудь скажет: «Ну, спасибо тебе, Мартын, все ж много ты доспел для общества...»

Зеленые тени листьев были у его ног, затем поползли по лицу за спину и, наконец, совсем скрылись. Небось уже давно за полдень, обедать пора. И в это время маслянистый какой-то гул донесся с ледников. Поток словно колыхнулся, а затем зажурчал еще сильнее. Что-то темное и высокое мелькало среди осин. Мартын пригляделся. К нему, выбирая места посуше, спешил какой-то человек. Позади, быстро махая ручонками, бежал мальчишка.

Мартын вытянул шею, мотнул головой и оцепенел. Это была Елена. Должно быть, она давно не бывала в горах или же радовалась, что пятилетний сынишка, как большой, не отстает от нее. Лицо ее пылало румяным удовольствием, платок она держала в руке, и льняные, былинные ее косы мысленно сравнил Мартын с ледниками, освещенными солнцем. Сама она, как шиповник в цвету, и одета в багрянец.

— Чего сидишь там?! — крикнула она еще издали Мартыну. — Домовничать осталась, да в деревне-то, будто в колоде, тихо. Мотька зовет: «Пойдем, мамка, да пойдем!» — ну и пошла... Верно я иду-то?

— Верно, — хмуро ответил Мартын, отворачиваясь. — Туда и дойдешь, иди. Ждут тебя.

— Ты что ж на бревне-то уселся? Я думала — водяной или горовой. Колдуешь все...

— Нога подвернулась, — соврал Мартын. — Да, может, у них ничего и не выйдет.

— Не выйдет? А сколько хлопотов убухали да металлу инженеру этому городскому передавали.

— Металлу?! — удивленно спросил Мартын.

Елена поняла, должно быть, что сказала лишнее. Она ни с того ни с сего наклонилась к его ноге.

— Я ведь кое-что в костоправстве мерекую... Дай пощупаю, кость-то цела?..

Мартын видал ее пухлый, розовый, слегка влажный затылок, крутые плечи. Складки сарафана показались ему мокрыми; башмак у ней со щеголеватым высоким каблуком поднялся над землей. Притихло как-то все внутри Мартына, и он тогда взглянул на поток. Вода журчала тише, синие мокрые гальки на пол-аршина обнажились вдоль берега. Более крупные уже обсыхали.

Взрыв, значит, удался! Поток, значит, повернул в долину Талас.

И Мартыну почудилось, что он закричал и испуганно и восторженно. Он было и руки протянул ко рту — прекратить этот крнк, — но рука была словно нз металла... И вдруг вспоминл, как мужнкн шептались с нензвестными шатунамн с прннсков; как однажды он встретил трех стариков, ехавшнх на трашпанке в горы, — лнца у стариков были жадные и потные, руки их крепко охватывали шкатулку, прикрытую половнком.

И восторг н соленый пот злостн наполннли его глаза. Он зажмурнлся.

— Отвели, а лнходен народ мутят небось, что за их кулацкое золото отвелн. Как же, дожндайся! Жулье, оно ко всему пристронтся. Воду-то не оии, а Советская власть отвела. А кто указал? А?..

Захотелось пнть. Ноги были тяжелые. Крутая шея и затылок, склоннвшнеся к его ногам, словно взывалн о жалостн, а о какой и к кому, он и думать не мог. И он, поинмая, что думать так нехорошо, глупо, — все ж подумал, что теперь только Елена поняла, сколько она горя прнчнннла ему, как испортнла жнзнь, какие прннесла обиды, — н готова всяческн наградннть его. Ее широко расставленные ногн леннво н в то же время тороплнво шевелилнсь, выбнрая место помягче. Казалось, дотронься до нее пальцем — и она упадет, но дотронуться не хватало снл. Мальчонка завыл:

— Ма-амка!..

Мартын левой рукой ухватнл Елену, а правой отстранил мальчншку за пень в траву.

— А будешь, будешь слушать, когда тебе говорят!.. — кричал Мартын. — Я тебе про хорошее. В город тебе надо. К настоящему делу тебе надо. Эка краля! Господи!.. Мужик-то у тебя дрянь последняя...

Холодная н какая-то тяжелая влага выступнла у него на груди, сухой жар хлынул в ноги. Путаясь, сбиваясь, пытался объяснить Мартын про настоящее дело.

Мальчонка внзжал в кустах:

— Ма-амка!..

Странно было вндеть на лице у этой красивой, сильной бабы испуг и трепет. Она медленно локтем заслоннла лицо и запричитала:

— Да вндано лн? Да слыхано лн? С замужней ведь бабой говорншь-то ты как, Мартын Андреич!

Мальчишка визжал пуще ее и как-то жалобнее. Кончик носа у него был красный, и тут только заметил Мартын. как он походит на мать.

— У, дурища, как такой втолкуешь? — сказал Мартын и пошел к потоку умыться.

В ложе потока, во впадинах остались лишь редкие лужицы. Вода показалась ему удивительно теплой.

Баба, путаясь в юбках, бежала вверх. Мальчишка, смешно приседая, спешил за ней.

Мартын сел на бревно. Жар остался в пальцах, ему ничего не думалось, и только почему-то жалко было, что он умылся. Он все соображал — и было такое чувство, будто он истратил последнюю воду. Пить к тому же хотелось, а тут нахлынула такая слабость и дрожь, какой он не испытывал никогда.

Огромная тишина повисла над пустым ложем потока. Казалось еще, что по невысохшим галькам скользит багровый осиновый лист, попрыгивает, лепечет, но все бесшумно и все зря. Мартын закрыл глаза, и многое в этом мире качнулось перед ним.

Протяжно прокричала иволга, и Мартын подумал: «Похоже, мужики спускаются...»

Мужики действительно молча, держа руки за опоясками, спускались по гольцам.

Они остановились в нескольких шагах от Мартына плотной толпой. Кто-то из мужиков дышал тяжело, со свистом и часто сплевывал. Мартын открыл глаза и вгляделся; одни богатеи да их приспешники. Нет ни Егора, ни Турукая, ни одного дружеского лица. Вышел вперед Скороходов, скинул кафтан, обшитый по борту и по вороту треугольниками.

— Ну, бей, — пробормотал Мартын. — Бей.

Скороходов побледнел, поднял руку, словно для приветствия, и нехотя проговорил:

— Што ж тебя бить... За што тебя бить...

Мартын зажмурился, качнулся. Так же, будто нехотя, Скороходов прошел мимо него и вдруг, быстро обернувшись, ударил Мартына в переносицу. Желтый, как смола, свет лизнул Мартына в затылок. Он схватился за грудь.

— Не надо, — лицемерно сказал старик Тюменец.

Из толпы спокойно отозвался Митрий Савин:

— Проучить не мешает, из-за его металлу сколь потратили... Опять же лезет вперед старших — партию-де устрою. Я те устрою!.. Ты ему, Семен, за партию-то...

— И за металл! — взвизгнул вдруг Скороходов. — Колдун! Сколько денег из-за тебя... Животины сколь погнбло...

Мартын только жадно хватал ртом, будто не мог напиться. Скороходов наклонился, схватил в руку гальку. Кровь брызнула из щеки Мартына.

— Та-ак его!.. — крикнул Тюменец и, подпрыгнув, с разбегу ударил Мартына в грудь.

Мартын пытался объяснить, что ни в чем не виноват он: и бабу не тронул и для общества старался. Но никто ничего не слышал и не понимал, били Мартына не только мстившие ему богатеи, но и наусканные ими, ослепленные, озверевшие мужики, сами не понимавшие, за что бьют, били сначала кулаками, затем подхватили и, подкидывая в воздух, бросали спиной на гальки.

Елена, спускаясь с горы, неистово кричала: «Ой, матушки, ой!.. Да што это-о! Ой!.. Окаянные!.. Уймитесь, креста на вас нет!»

Ее никто не слушал. Продолжали бить. Голова Мартына мокро стучала, руки мотались — белые и слишком сухие. Вдруг молодой Тюменец, до того стоявший в стороне и только оравший: «В морду ему, в морду!» — взял продолговатый камень, растолкал стариков и, прищурив глаза, ударил камнем Мартына в висок.

Когда Мартын стих и перестал даже подергиваться, старик Тюменец вытер пот, оправил рубаху, перекрестился.

— Миром согрешили, миром и отвечать.

— Миром, — поддакнул ему сын.

Елена сидела на бревне, где недавно еще сидел Мартын. Мальчонка прятал у нее в подоле плачущее лицо. Волосы у нее были плотно убраны под платок, глаза сухие и ожидающие, и смотрела она поверх мужиков. Когда Мартын выпрямился и старый Тюменец сложил ему руки крест-накрест, Скороходов подошел к ней, покачал головой и вдруг со всего маху ударил ее в глаза. Она опрокинулась за бревно и долго лежала там, пока не ушли мужики и пока мальчонка не проревел весь свой голос. Тогда она оправила платок, взяла мальчонку за руку, но не стала спускаться в долину, а пошла вверх, к приискам.

Мартына не стало. Может быть, именно поэтому слова его о городе, о настоящем деле зазвучали в ней с необычайной силой и не пускали ее домой в долину.

1926

Семен Подъячев

●

Понял

Старик Илья Васильевич Неробков был иа собраиии, куда силком затащил его сосед, кум Иван Звонарев, ездивший недавио в Москву на выставку и возвратившийся оттуда другим, непохожим на прежиего кума Ивана, человеком, с каким-то особеиным азартом рассказывающим встречному и поперечиому про то, что ои там видел, и как его принимали, и как ои был иа заводе, где видел и поиял, что рабочие ие даром «жрут» хлеб, как до своей поездки, с чужих слов, орал ои, а что оии работают, и ихияя работа «куда тяжелее нашей».

— Пойдем, кум, — тащил ои упиравшегося Илью Васильевича, — послушаем, что человек говорить будет. Не для себя ои из городу приехал, а для иас. Неловко не идти, совестио. Диви бы у тебя дела какие, а то иа печке лежишь да со снохой ругаешься. Идем. Слышал я, про гермаицев будет говорить, какая у иих там сейчас заварошка идет.

— На кой рожон мне твои ермаицы? Знаю я их, — говорил Илья Васильевич, — спасибо! Сына у меня в войну убили, а я иди слушай про иих! Не пойду!

Но все-таки в коице коицов кум уломал его, и он пошел с иим.

Собраиие происходило в помещении исполкома. Народу собралось человек сорок. Ждали еще, ио больше иикто не пришел, и приехавший из уезда докладчик приступил, сделав предварительно иебольшое предисловие, к своему докладу. Докладчик, как оказалось, приехал дельиый. Умело, толково и просто, ие пересыпая свою речь чужими, непонятиыми для слушателей словами, иарисовал он картииу

того, что теперь творится в Германии, и еще лучше и проще показал, «разжевал и в рот положил» то, почему мы должны и обязаны внимательно следить за борьбой германского трудового люда — рабочих.

Забившись позади всех в угол, Илья Васильевич внимательно слушал его, и чем больше слушал простую, понятную и горячую речь, тем все больше и больше, выше и выше подымалась перед его глазами какая-то темная занавеска, и за этой занавеской, когда наконец она поднялась совсем, он, к удивлению своему, увидал то, чего раньше до этого не видал и не хотел видеть.

А увидал он и понял, что сына его убили не те «ерманцы», такие же простые подневольные солдаты, как и его сын, а те, о ком говорил докладчик, те, которые сейчас стараются задушить и принизить таких же, как и его сын, для того, чтобы делать с ними, что им хочется, и гнать их, как «круговых овец», на убой, в огонь и в воду.

«Так вот оно в чем дело-то, — думал он, — вот им чего надо-то! А я-то, дурак, думал... Где же я прежде-то был?»

Ушел он с собрания встревоженный и пораженный тем новым, что закопошилось в его душе, и теми новыми, неожиданно увиденными им картинами, которые показал ему докладчик, открыв темную, постоянно висевшую перед его глазами занавеску.

А занавеска эта действительно висела перед ним постоянно.

Как только он, без малого шестьдесят лет тому назад, родился, так сейчас же первый повесил ее перед ним поп, после того, как выкупал зимой в какой-то лоханке, называемой купелью, наполненной холодной водой. С тех пор эта занавеска тьмы перед ним не отдергивалась, а, напротив, около нее приставлены были слуги, которые, как хорошие цепные псы, откормленные и жирные, стерегли ее, и если случалось, что находились люди, которые хотели и старались поднять эту занавеску, для того чтобы показать ему, что за ней, — на этих людей псы, караулившие ее, бросались и разносили в клочья.

Так он и жил за этой занавеской и дожил до старости, не делая самостоятельно ничего, а делая только то, что приказывали люди, караулившие занавеску.

Грамоте его не учили. «Баловство одно. На кой она нам! Жили без нее и проживем без нее», — говорили ему, когда он был молодой, и то же самое твердил он, когда стал «тятя детям».

«Ходи в церковь, молись за царя с царицей, исправляй праздники Миколу и Ягорья, слушай и бойся начальства, начиная с урядника, живи в грязи, жри хлеб да картошку, ворочай, как лошадь, плати оброки» — вот все, что он усвоил в своей жизни, и никогда ему в голову не приходила мысль, проходя мимо барского имения, мимо барской кухни, где с утра до ночи шла стряпня и повар с поваренком, одетые в какие-то белые балахоны, стучали ножами по столу, рубя мясо, и откуда всегда шел в открытые окна завлекательный дух, заставлявший невольно глотать слюни, — никогда не приходила мысль о том, почему же это так, за какие особенные достоинства люди, которых он называл «господами», живущие рядом с этой кухней, в роскошном доме, нарядные и красивые, постоянно, изо дня в день жрут приготовленные для них на этой кухне различные блюда, а он, Илья Васильевич, боится пройти мимо этой кухни и жрет у себя дома, в вонючей и грязной избе, какую-то мурцовку или полугнилую картошку, от которой только пучит живот.

Почему это так? Об этом он не думал и не мог думать, ибо те, которые закрыли перед его глазами занавеску, все силы употребляли на то, чтобы он, Илья Васильевич, знал, что для него так самим господом поставлено жрать картошку, а для них — все лучшее, ибо они «белая кость», а он «черная», они «благородные», а он и ему подобные — «чернять», «хамы», «подлые людишки».

И никогда также не приходило ему в голову и не казалось странным, что он почему-то быстро стаскивал со своей головы картуз или шапку, издали, еще за версту, увидя идущего барина, и отвешивал ему поклоны, на которые тот едва кивал головой и проходил мимо него, кланяющегося, так же равнодушно-презрительно, как мимо какой-нибудь паршивой собачонки.

Не удивлялся он и тому, что, например, рядом с его деревней начинались владения какой-то старой, выжившей из ума княгини, тянувшиеся и лесами, и полями, и всякими угодьями на пол-уезда, не знаемые ею, а охраняемые и управляющими, и приказчиками, и сторожами...

Как так она владеет всеми этими ненужными ей угодьями, по какому праву, почему — он не знал, а думал, что так надо и что все от господа бога, которым его пугали и попы и все: «бог накажет», или «терпи, бог терпел и нам велел», «здесь перетерпишь, зато там, на том свете, хорошо тебе будет»... И он действительно терпел и молился каким-то

своим богам, нарисованным в разных видах на досках: то бородатым, то без бороды, то изображению женщины с тремя руками, то какому-то скачущему на белой лошади всаднику с длинным копьем в руке, поражающему этим копьем в открытую пасть страшного хвостатого змея.

День за днем, год за годом тянулась жизнь его по эту сторону занавески, где все было темно, убого, принижено, забито, и когда наконец нашлись люди, которым ценою неимоверных усилий и борьбы удалось побороть слуг, стерегущих занавеску, он, жизнь которого была сплошная тьма, ничего уже не мог и упрямо не хотел видеть, а, как выведенный из темницы на яркий солнечный свет узник, закрывался и отворачивался от этого света.

Придя к себе домой, в избу, он застал сноху свою, жену другого (первого убили в германскую войну) сына, высокую, худую, чахоточную бабу, ругавшую сынишку Ваньку, только что возвратившегося из школы, за то, что он сел за стол есть, не помолившись предварительно богу, «не перекрестя лба», как она выражалась, в угол над столом, где висело несколько штук разного калибра икон в ризах и без них.

— Чему вас учат тама, оглашеных? — визгливо кричала она так, что звенело в ушах. — «Богородицу деву радуйся» и тае до сей поры, третья зима пошла, бегаешь, не знаешь!

— Да нас этому не учат, — говорил сынишка. — Чего ты пристала ко мне? Поди сама к учителю да и скажи ему!

— А что же ты, чертенок, грубиян, думаешь, не схожу? Ища как схожу-то! Ишь ты, нахватался там! Да нешто матери-то так отвечают? Бить-то вас некому. Вон, — обернулась она к пришедшему Илье Васильевичу, — спроси у дедушки, что он тебе скажет про ученье-то про ваше!

— Дедушка сам читать и то не умеет, чего у него спрашивать-то? Он сам ничего не знает!

И, к удивлению снохи, дедушка, постоянно, каждый раз ругавший внука по этому поводу пуще ее, на этот раз угрюмо, точно про себя, ответил:

— И правда твоя, сынок, ничего не знаю.

Ответив так, он молча, с каким-то особенным, таинственно-угрюмым видом разделся и полез на печку.

— Что это ты? Аль тама, на собранье-то, вышло что? — удивившись, спросила сноха.

Илья Васильевич промолчал.

— Чего молчишь-то? — крикнула она. — Аль, говорю, вышло что?

— Ничего не вышло, — уже забравшись с кряхтеньем на печку, ответил оттуда Илья Васильевич.

— Аль нездоровится?

Илья Васильевич опять промолчал.

— Что это на тебя наехало? — не унималась сноха. — Подшивал бы сапоги, ничем по собраниям-то на старости лет шляться! Какого рожна там услышишь, чему научишься? Постыдился бы, диви молоденький!

— А здесь чему у тебя научишься? — буркнул Илья Васильевич.

Сноха еще больше удивилась и, помолчав, не зная, что сказать, крикнула:

— Белены, что ли, объелся?.. Тьфу! Есть-то хочешь?

— Не хочу, — ответил Илья Васильевич и, повернувшись на бок, лицом в угол, замолчал.

Сноха поговорила, поворчала что-то и, видя, что он упрямо молчит, все еще продолжая удивляться, ушла из избы убирать скотину, сказав перед уходом сынишке:

— Сиди дома, неслух! Никуда у меня не ходи. Ишь иазябся — посинел весь. Ходишь, только обувь треплешь. Шут вас возьми и с ученьем-то с вашим! Бери книжку, садись читай, а уйдешь ежели — голову, ужо приду, проколочу до мозгов!

Она ушла. Ванька, чувствуя, что у него озябли ноги, обутые в несколько раз чиненные, с заплатками, сапожонки, быстро разулся и, боясь своего сердитого, постоянно пробиравшего и ругавшего его «вольницей проклятой» деда, крикнул в направлении к печке:

— Дедушк, а дедушк!

— Ну что тебе? — отозвался с печки Илья Васильевич.

— У мня ноги иззябли страсть как! Я к тебе на печку полезу. Не заругаешься?

— Полезай, — опять отозвался Илья Васильевич.

Ванюшка быстро вскочил на приступку, а с нее, как кошка, вскарабкался на печку.

— Полезай к стенке, — сказал Илья Васильевич, поворачиваясь навзничь. — Лезь на меня.

Ванька перелез через него и улегся, поставив ноги подошвами на теплое место.

— Шибко, знать, озябли ноги-то? — помолчав, спросил

Илья Васильевич, и Ванюшка с большим удовольствием услыхал, что дедушка спросил это не так, как прежде, а каким-то другим, точно не его, ласковым голосом.

— Не особенно, дедушк!

Помолчали... Илья Васильевич покряхтел, зевнул и сказал:

— А я вот на собрание ходил. Никогда не был, а тут вот вздумал: дай, мол, схожу, послушаю.

Ванюшка молчал, не зная, что сказать на это.

— Долго слушал, — продолжал Илья Васильевич. — Дельно человек приезжий говорил. Н-да. Хорошо! Думал я, признаться, пустое дело там, языком трепать приехал, трепло, очки втирать нашему брату, ан дело-то вон какое! Лежу вот все да и думаю: правду говорил человек. Н-да! Эх, ушли мои годы, Ванюшка!

— А уж тебе небось много, дедушк, годов? — спросил Ванюшка, радуясь, что он так с ним говорит.

— Мне-то? — переспросил Илья Васильевич. — Много! Много, — повторил он с ударением. — А что толку-то? Эхма!

Он молчал, и долго молчал, что-то думая. Молчал и Ванюшка, слыша, как дедушка сопит носом и как у него что-то булькает в горле.

— Чему в училище-то нонче вас учили? — после молчания начал опять Илья Васильевич.

— Ничему не учили.

— Как так?

— Мы, дедушка, к празднику готовимся. Училище убираем.

— Это к какому же празднику? Словно никаких праздников нету! Ягорий наш ежели — не скоро. Веденье — то же самое.

— Чудак ты, дедушка! — воскликнул Ванюшка. — Да разве это праздники? Неужели ты не знаешь — наш праздник!

— Какой такой «наш»?

— Какой, какой! Наш! День Октябрьской революции. Эва, неужли забыл? В прошедшем году гуляли. Опять теперь будем... Стихи учили. И я говорить буду. Спектакль. С флагом ходить будем. Из города гостинцев привезут. Петь будем. Приходи и ты смотреть.

— Куда уж мне! — усмехнувшись, ответил Илья Васильевич и, помолчав, добавил: — Где уж нам! Мы свое отжили. Допрежь этого не было.

— А что же было? — спросил Ванюшка.

— Что было-то, говоришь? — переспросил Илья Васильевич. — Что было-то? А вот что было. Теперь вот только, на краю могилы, я, сынок, понял, что было. Да вот он, локоть-то, близок, возьми его, а не укусишь!

И вдруг, очевидно отвечая на свои собственные мысли, заговорил каким-то странным, дрожащим, волнуясь и торопясь, голосом, от которого Ванюшке стало страшно, про то, что было. И чем больше говорил он, тем все больше и больше Ванюшке становилось страшно, а когда под конец услыхал он, что дедушка вдруг, точно побитая собачонка, жалобно затявкал, парнишка заплакал, закричал, обхватив его в потемках руками:

— Дедушка, не надо! Золотой мой, не надо! Дедушка, не плачь! Дедушка, не надо!

1923

Папаша хресный

Накануне праздника «первый спас» к гражданину деревни Лучинки, состоявшей всего-навсего из семи дворов, Никанору Капусткину приехал давно жданный и давно обещавшийся «двоюродный братец» из Москвы, «благодетель» и он же «папаша хресный» его сынишки Ванюшки, десять лет тому назад введенного в «хрещеную веру» этим самым приезжим Федыр Федрычем Глоталовым, занимавшимся в Москве всякого рода спекуляцией и имевшим, между прочим, на Сухаревке палатку-лавку с красным товаром.

Приезжий «папаша хресный» привез с собой гостинцев: белых хлебов, баранок, сахару, две бутылки (для себя) мадеры — и на другой день, в самый праздник первого спаса, проснувшись поутру, отправился в село в церковь к обедне, после которой сходил с иконами на воду (первый спас — спас на воде), получил в церкви, на виду у всех, вынесенную ему из алтаря сторожем Лукьянычем заздравную просфорку и, придя обратно в деревню, сидел за столом в переднем углу под иконами, пил чай с мадерой и говорил Никанору и его жене Макриде, с каким-то благоговейным умилением внимавшим его словам:

— Я к тебе, Миканор, по делу приехал, касаемо моего хресника Ванятки. Так как я от господа создателя моего

награжден всем, окромя детей, которых, по бесплодию супруги нашей, Матрены Васильевны, не имею, то я удумал хресника своего взять к себе и произвести из него свою собственную копию, достойную сына отечества, в страхе господнем воспитанного. Где он? Дайте мне его сюда, я желаю, будучи его отцом хресным, произвести ему экзамен. Где он?

— Сейчас здесь был, вертелся, — засуетилась Макрида. — На улице небось балует. Сейчас я!

И, поспешно выбежав из избы, увидала Ванятку, сидящего на самой макушке рябины и швырявшего оттуда ветки с ягодами на землю.

— У-у-у, чертенок, притка тебя расшиби, — зашипела она, увидя его, — черти-то тебя, прости господи, носят! Слезай скорей, иди в избу! Папаша хресный зовет!

— Не-е слезу, — отозвался с рябины Ванька, — боюсь!

— Иди, говорят, чертенок! Убью поленом! Слезай! Да что ж, не тебе говорят, что ли! Иди скорей, гостинцев хочет тебе дать.

— Вре-е-ешь...

— Глаза лопни, не вру. Ей-богу!

Ванька поверил, слез с рябины, и мать, схватив его за руку, быстро обтерла подолом юбки у него под носом и потащила в избу.

Увидя приведенного крестника, боязливо жавшегося к матери, папаша хресный поманил его к себе и сказал:

— Не бойся. Я добрый. Иди сюда ко мне. На-ко во тебе, пожуй, — подал он ему баранку. — Парнишка ничего, рослый. В училищу-то ходит? — спросил он, разглядывая его.

— Первую зиму еще только нонче бегал, — ответила мать, — глуп еще.

— Та-ак, — протянул папаша хресный. — Н-ну, отвечай мне на вопросы. Чему вас там учат? Перво-наперво ответь мне: это вот кто?

Он приподнялся, обернулся, указал рукой на одну из висевших и стоявших позади него над столом икон.

Ванька уныло молчал.

— Гмм! — крякнул папаша хресный. — Не знаешь? Ну вот, сразу видать, чему вас в училище-то в вашем энти голоштанные учат. Не показывают, чего надо, ребенку, сволочи! Это, — продолжал он внушительно, — есть лик пресвятыя владычицы и богородицы нашей, глаголемой «утоли моя печали». Ежечасно в скорбях и болезнях к ней, владычице, прибегать мы должны все, и по молитве помогает вла-

дычица. Я сам иа себе великую благость получил, прибегнув с верой к ней. Обобрали меня раз. Вытащили жулики из кармана деньги. Скорбел я и плакал. Жалко! Тосковал, а потом прибегнул к ией — и спасен был и украденную сумму покрыл вскорости с излишком. А это кто? — указал он иа другую икону. И, видя, что Ванька молчит, скорбно покачал головой, с укором посмотрел на родителей и заговорил, предварительно перекрестившись на нкону:

— А это лнк и изображение велнкомученика и целителя Пантелеймона, особо чтнмый мною и супругой нашей, Матреной Васильевной, угодник божий. На месте роднны супруги нашей, Матрены Васильевны, в Калуцкой губернии, в селе Выдреие, есть жертвоваиная иами икона сия, и тамошними православными хрисьянами села того в честь иконы сей установлен празднник. Не работают в сей день и носят икону по полям и по дворам и молебствуют. Празднник сей установлен супругой иашей, Матреной Васильевной, по случаю ихиего исцелеиия от недуги, лютой болезни: кровяного поносу, коим они заболели, покушав малосольных огурцов с молодым картофелем, и, тяжко страдая через это свое невоздержание в пище неделю и другую, обращались ко врачам земным, но ие получили исцеления. Тогда оии дали обет великому мученику и целителю Пантелеймону, что если через него получат исцеление от недуга, то пожертвуют икону в храм села Выдрина, место своей родины, и установят иа векн вечные праздновать сей день в память чудесного их исцеления. Помолились усердио, припали к стопам. И услышал великий страстотерпец молитву их и укротил страшный понос и боли в желудке ихнем. Выздоровели. С той поры в честь пожертвованной иконы и излияиного через иее чуда на супругу нашу установлен праздник и святоненарушимо продолжается до днесь.

Он помолчал, высморкался, выпил сразу чайный стакан мадеры и, оглядев с умнлением слушавших его Ннкаиора и Макриду, спросил, кивнув на Ванюшку:

— А крест на нем есть?

— Помилуй, батюшка Федыр Федрыч, — с испугом воскликнула Макрида, — так неужто нету? Небось он, слава богу, тобой хрещен.

— То-то, мной. А то ведь нам известно: снимать с них приказаио кресты-то, как ненужное украшенье.

И, обратнвшись к крестннку, спросил:

— У тебя крест учитель твой в учнлище ие сиимал с шеи?

И, видя, что Ванька молчит и кривит губы, готовый заплакать, продолжал:

— Ну, ну, а ты, дурашка, не бойся. Я добрый. Я из тебя, господь даст, сделаю человека родителям на утешение, церкви и отечеству нашему на пользу. А молитвы знаешь?

— Не-е-е-ет.

— «Отче наш» знаешь?

Ванька молчал.

— А «богородицу»? «Богородица, дева, радуйся» не знаешь?

Ванька опять промолчал.

— Что же ты, постреленок, молчишь? — накинулась на него Макрида. — Говори папаше хресному, как я тебя учила.

— Ты учила, а в училище-то не велят по-твоему-то, — пробормотал Ванька, — ругаются.

— Тьфу, — плюнул со злостью папаша хресный, — так я и знал! Погубите вы здесь ангельскую душку. Анафемы проклятые, что делают, а? До чего допущено! Н-но ладно! Потерпим. Вот что я тебе, Миканор, скажу и тебе, кума: хресника я возьму от вас на воспитание. Человека из него сделаю, и вы мной не будете забыты, а он мне нужен и по дому и по лавке. Я за этим и приехал, и не допущу я, как есть православный хрисьянин и умру им, чтобы он, от меня принявший благодать таинства хрещенья, погибель от сволочей получил. Беру его к себе вроде как сына. В страхе и трепете будет воспитан мною.

— Нам-то, батюшка Федыр Федрыч, без него тоже плохо.

— Мною не будете забыты. Во всякое время я вам благодетель. Поеду отсюда — оставлю. Дам на расход. Сделаю, говорю, из него человека. Поставлю на ноги. Выведу в люди. Чему он здесь у вас научиться может, а? Каким понятиям? Кто его учит? Где? Какие люди? А у меня первое дело: «Начало премудрости — страх божий». Да что с вами, тумаками, толковать-то! Сказано, сделаю из него самого себя! Копию — и больше никаких! Завтра вечерком, бог даст, и поедем. А теперь... на-ка тебе, Миканор, на расход. Прими покеда. Бери, бери! У нас есть. Слава тебе, господи, откупорила нам пепа опять бутылку. Опять задышали. Бери, знай! Не ворованное, а своим потом добытое. Ну, хресник, — обратился он к Ваньке, — рад, а?

Ванька утурился в землю и угрюмо молчал.

Мать, видя, что он молчит, взяла его сзади за шиворот, нагнула ему голову и сказала:

— Говори, глупый: рад, папаша хресный! Много благодарен за ваше наставленье, папаша хресный! Ну, говори: рад, папаша хресный!

— Ра-ад, папаша хресный, — захлебываясь слезами, проговорил Ванюшка.

— Кланяйся в ноги папаше хресному. Ну, ну! Вот эдак!

— Не буду я кланяться! — вдруг заупрямился Ванюшка.

— Как не будешь, лахудра ты эдакая?!

— Не буду. Не поеду я к нему! — твердо выговорил мальчик.

В избе стало тихо.

— А почему это ты ко мне не хочешь, хресничек дорогой? — обиженно спросил после молчания папаша хресный.

— Я в школу хочу ходить... Я привык к ребятам там... И учитель у нас... добрый... Не поеду я!

И Ванюшка стрелой выскочил на улицу.

1924

Новые полсапожки

I

Задолго еще до праздника, когда только что подуло теплом и начало помаленьку таять, жена Ивана Захарыча стала приставать к нему насчет полсапожек.

— Девке четырнадцатый год пошел, — говорила она, — скоро замуж выдавать думать надо, праздник великий на дворе, а она босиком ходит. Обуться не во что. Иди в город, купи тама ей хоть какие-нибудь подержанные. Сам посуди: праздник, все радуются, гулять пойдут на улицу, а она дома сиди.

— Ладно, — всякий раз давал ей на ее слова согласие Иван Захарыч, — куплю. Готовь лимонов, а купить дело не хитрое: пошел да купил, — всего и дела. Лимонов, говорю, готовь, а за мной дело не встанет — куплю. Только вот, где взять-то их? Родить ежели, — не могу: канплекция не та. Может, ты не родишь ли, а?

— А уж ты дурака-то не валяй! Не молоденький небось!

Тятя детям. Тебе, дураку, во всем смешки. Добыть надо. Достать.

— Укажи, откеда достать-то, я достану.

В таких разговорах дело дотянулось до страстной, и накануне четверга, когда в городе обыкновенно был рынок, жена пристала «без короткого» к Ивану Захарычу, чтобы он рано утром шел в город и покупал бы там дочери, тринадцатилетней девочке Феньке, полсапожки. Лимонами они к этому времени сколотились.

В четверг утром она разбудила его чем свет, «до петухов», когда только что еще чуть-чуть начало белеть в окнах.

Спавший по привычке на печке, несмотря на страшную духоту и теплынь в вросшей в землю небольшой восьмиаршинной избенке, Иван Захарыч нехотя, с ворчанием спустился оттуда и в полупотемках, осторожно шагая через спавших вповалку на полу ребятишек, прошел к столу в передний угол.

— Зажгла бы ты покеда лампочку, что ли, — сказал он, — не видать ни фига. Эк тебе не спится! Ранину эдакую подняла. Не успею, что ли?

— Когда мне спать-то? — ответила ему на это худенькая, маленького роста, востроносая жена его.— Спать-то некогда. Бегаю все в хлев, гляжу: не дал ли бог коровку? Не отелилась ли? Жду с часу на час.

— Другая неделя пошла, ты все ждешь, — сказал Иван Захарыч. — Ничего-то вы, бабы-дуры, не понимаете...

— Ты много понимаешь! Молчи уж! Нонче жду. Беспременно должна быть. Все вымя, как распорками, расперло у ней.

— Дай бог, — сказал Иван Захарыч, — не худое бы дело для праздника.

— Ежели, бог даст, телочку принесет, на племя пустим, а бычка попоим недельки две да продадим. Каки деньги охватим! — сказала жена, заранее радуясь будущему бычку или телке. — Только бы благополучно растелилась. Нонче, говорят, поветрие, что ли, такое, все с баранцами, все неблагополучно.

Иван Захарыч промолчал и начал обуваться. Пока он копался с сапогами, натягивая их на грязные портянки, пока ходил на мост за дверь умываться, — в избенке делалось светлее. Свет как-то, точно боясь чего или стыдясь того, что он осветит, робко и медленно вливался через маленькое оконце в избу.

На полу, на разостланной соломе, прикрывшись сверху

какими-то дерюжками, спали ребятишки Иваиа Захарыча — три мальчика и девочка, та самая Феиька, для которой ои шел сегодия в город за полсапожками. Феиька эта спала с краю, ближе к двери, и, проснувшись, молча лежала, слушая, о чем говорят тятька с мамкой. Когда Иваи Захарыч совсем срядился в поход, она приподиялась и робко сказала:

— Тять, ты мне иа высоких каблуках, смотри, выбирай! Таки, как у Машки Звоицевой.

— Рожна тебе! «На высоких каблуках». Спи! — сказал ей иа это Иван Захарыч. — «На высоких каблуках», — передразнил он ее. — Давай денег — на высокнх куплю. Баловство одио. Спроси вон у матери, она росла, в твои годы, спросн, что иосила?

— Ну, мало что прежде было! — отозвалась жеиа. — Теперь по-другому пошло. Люди ие те. Да и что ж, сам деле, не разумшн же девке ходить.

— Пойдешь и разумши, — сказал Иваи Захарыч и добавил: — От чужого добра ие стыдно и заплакамши пойти. Ну, я готов. Как погода-то? Не подстыло? Эх, да и ходьба-то теперь горевая! Так вот уж только, мать баловинца пристала, а то бы ии в жись ие пошел.

— Ладио уж, ладио, а ты иди знай! Будешь теперь собираться пять часов. Не дождешься тебя. Деньги-то взял? На хлеба. Смотри, мешочек ие потеряй, назад принеси. Приходи скорей. Делать тебе там иечего — купнл да иазад.

— По эдакой дороге не миого иаскачешь, — ответил Иван Захарыч, иадевая картуз и беря мешочек с хлебом. — Дожидайтесь. Прнду ужо — самовар готов бы был. Лошади-то не забудь дать. Немиого сена давай. Поаккуратней. Не вали зря-то! Сеиа-то всего ничего остается, а весна-то вои она ноиче какая, ие то что летось: об эту пору пахать выехали.

— Иди, иди! Ладно уж! Дни я ие знаю.

Иваи Захарыч поправнл иа голове картуз и, сказав: «Ну, покеда всего хорошего», — вышел из избы.

Жена иагиулась к окиу и посмотрела, как ои сошел с крыльца и, выйдя под окнами иа дорогу, иаправился по ией к видневшемуся вдали лесу.

— Пошел, — сказала оиа. — Ну, дай бог в час! Феиька, ие спишь?

— Нет, мамынька, ие сплю. Я уж давио ие сплю, слушаю! — отозвалась с полу дочь каким-то возбуждеиным, радостным голосом. — Не сплю.

— Рада иебось? — спросила мать тоже веселым голосом.

— Страсть! А купит?

— Ну, вот! Знамо, купит. За этим и пошел. Нешто ему жалко? Он из последнего рад. Бедность вот только нас одолела. Ну, да авось поправимся. Теперь усе уж не то, что допрежь было. Забыла, как по миру-то ходила?

— Помню, мамынька, где забыть!

— А теперь, слава богу, не ходим. Другим подаем. Корова отелится, нонче жду, молоко будет. Хлебушка еще покеда есть. Картошка. Живы будем. Полсапожки у тебя будут.

— Я их в праздник надену!

— Знамо, наденешь, — и, отвечая, очевидно, на свои мысли, продолжала: — Мы-то что живем — в тепле, в сухоте, как-никак сыты, а вот люди-то живут. Отец вон говорил про голодающих, в ведомостях читали намедни, — мертвых едят. Вот где горе-то! Да в эдакой-то, не дай бог, праздник. Подумать, дочка, только! А мы здесь что видим? Н-да! Так-то вот! А ты вставай-ка! Все равно уж теперь не уснешь. Иди-ка убирай скотину, а я печку затоплю, за водой сбегаю. Вставай, матушка, привыкай!

— Эх, принесет ужо тятя полсапожки на высоких каблуках, надену... Эх! — сбросив с себя дерюжинку и вскочив на ноги, радуясь, воскликнула Фенька. — Хорошо-то как, мамынька, весело!

— То-то, дура, — ответила, улыбаясь, мать. — А ты отца благодари. Хороший он у нас, простой. Ну, одевайся, иди, а я затоплю печку, сварю картошки. Поедим да убираться к празднику в избе будем.

II

Иван Захарыч, выйдя из избы, отправился по дороге через поле, почти уже совсем оголившееся от снега, над которым, радуясь разгоравшейся зорьке, трепеща крылышками, пели как-то особенно радостно, точно звонили в серебряные колокольчики, жаворонки.

Деревня, где жил Иван Захарыч, стояла в глухом месте, и от большой дороги далеко, и от станции далеко, и от города, куда он шел, тоже не близко. Деревня была небольшая, всего двенадцать дворов. Езды к ней и из нее было мало, разве только свои мужики проедут. Дорога до леса, где он шел, местами еще была покрыта ледком, и идти приходилось то через лужи, то по льду, то по грязи. Не доходя

до лесу, дорога заворачивала влево, около болота, покрытого водой. Около берегов этого болота летали с каким-то особенным, похожим на плач, криком чибисы.

В лесу еще там и сям лежал снег, и от него поднимался какой-то особенный, пахучий туман. Лес уже жил новой, весенней жизнью. В него уже налетели пернатые гости, наполняя и пробуждая его от зимней спячки своими разнохарактерными голосами. Деревья — то высокие, могучие и прямые, как свечи, ели, гордо возносящие свои зеленые кроны к голубому весеннему небу, то развесистые березы, то толстые корявые осины — стояли тихо и как-то задумчиво-величаво, точно какое могучее, знающее свою силу войско.

Иван Захарыч выломал себе палку и, помахивая ею, шел не торопясь через этот лес. Когда он миновал его и опять вышел в поле, солнце уже взошло и било ему прямо в лицо. Здесь, где он шел теперь, дорога была лучше и идти было весело. По сторонам бежали ручейки, и рокочущие струйки воды блистали, переливаясь на солнышке, как серебряные. Где-то за полем, на опушке мелкорослого осинника, слышно было, как токовали тетерева и кричали, перелетая с места на место, белоносые грачи.

До города считалось верст семнадцать. Расстояние это, несмотря на плохую дорогу, Иван Захарыч прошел как-то незаметно. Человек он был нрава веселого, по-своему любил природу, радовался и весеннему дню, и яркому солнышку, и пению птиц, и открывшимся из-под снежного покрова озимым, покрытым еще зимней плесенью, как паутиной. Шел он, думал свои думы и улыбался про себя, представляя картину, как купит своей дочке полсапожки, принесет их ужо домой, как она их примеряет, как будет рада и как ему самому, видя ее радость, тоже будет радостно. Несколько раз он принимался петь тоненьким голосом любимую свою песню: «Когда я был слободный мальчик», — но пение как-то не выходило, он бросал и, присев, где посуше, доставал кисет, зажигал «динаму», закуривал и сидел несколько минут, отдыхая и греясь на солнышке.

Версты за три до города он догнал знакомого нищего Маркелыча, который тоже зачем-то шел в город, и остальную дорогу вплоть до города шел вместе с ним. Маркелыч шел в грязных, растоптанных лаптях, с сумочкой за спиной и, после того как поздоровался с Иваном Захарычем, видимо, обрадовавшись ему, принялся жаловаться на свою жизнь и ругать Советскую власть. С его слов выходило, что виноват не он сам, Маркелыч, не умевший устроить свою

жизнь, а виноваты «эити-то вот, дьяволы-то, которые все по-своему-то сделали».

— Допрежь, — говорил ои, спотыкаясь иа ходу, поспешая за Иваиом Захарычем, шлепая лаптями по грязи, — бывало, к празднику-то Христову все у меня было. Подавали-то нешто так? Бывало, отворотят тебе ломоть-то во какой — фуита три, а нонче погодишь. Не дают. Боятся. Другой и дал бы, да боится, иапуган: «А-а-а, скажут, у иего, знать, хлеба много. Отобрать!» Придут да отымут — всего и дела. Безобразие пошло во всем. Разбежалось стадо без пастуха. Некому загонять. Загулял пастух. Сам ты посуди, Иваи Захарыч, иешто без царя мыслеино?

— Н-да, — соглашался Иван Захарыч, — пастух нужеи, да только ие для всех, а для овец круговых. Это ты верио сказал. Ну, а я про себя скажу, мне все едиио — есть царь, нет ли, я, иечего бога гиевить, худого не видал от иынешней власти. Я, прямо надо говорить, лучше живу, ничем прежде жил. Ей-богу, не вру!

— А чем лучше-то?! — как будто даже обидевшись, воскликнул Маркелыч. — Нашел чего хвалить! Говорить-то об иих иехорошо, ие токмо что. Слышал, иоиче вот, говорят, из собора обирать будут украшения.

— Нет, не слыхал.

— Ну, вот, а толкуешь. Вот до чего дело дошло: храмы грабить. Золото, серебро, камеиья драгоценные давай, зиачит, им, а они ишь продадут их да хлеба голодающим купят. Вот ведь что удумали, а?! Что скажешь насчет этого?

— Да что скажу: ежели по себе судить, как я голодал, бывало... Жеиа брюхата ходила, тяжелая, мы все дома сидим, а она побежит, бывало — да зимиее-то время, холодище, вьюга — по миру. Ждем, ждем ее! Придет к вечеру пустая. Взвоет, бряхнется, а ребятишки — на нее глядя, а я сижу, молчу. Так вот, думается, в те поры ие токмо что украшеиье с икоиы украсть да продать, а самое бы икону-то продал иа хлеб. Ей-богу, и греха нет. Так и здеся. Ежели точио взято да на хлеб голодным — хорошее дело. Я тоже за это стою.

— Чудак человек! — воскликнул Маркелыч. — Да иешто голодиым-то попадет?! Гы, го-о-лодиым! Ничего им ие попадет — все сами слопают. Жидовская штука, дураку, кажись, и тому поиятно.

— Болтай иогами-то! — перебил его Иван Захарыч. — Нельзя этого сказать. Не верю я. Врут, кому надо, а по-

моему, опять скажу, хошь ты сердись, хошь не сердись, хорошее дело.

— Ты что же, — пройдя немного молча, спросил Маркелыч, — комуния тоже, что ли, а? Больно за них стоишь-то!

— Коммуния не коммуния, а по правде надо делать, помогать друг дружке. Я вот, недалеко ходить, про себя скажу, про наших православных хрисьян. У меня вот изба падает, а лесу мне отвели, дали, привезти его на место надо теперь. И недалеко перевозить-то, а что я один сделаю? Думаю: дай попрошу помочь православных! Попросил: так, мол, и так, православные, давайте всей деревней перевезем. По разу, по два всего и съездить придется. Так что же думаешь, поехали? Ни один не поехал. У того лошадь отощала, у этого — подсанков нет. Так и не поехали. А что, кажись, мирским бы делом, плюнуть всего! Вот в чем, друг, дело-то. А кабы мы все-то объединились, у нас бы дело-то скорей бы пошло, а одному-то — пословица говорит — и у каши не споро.

— Всяк о себе должен прежде всего думать, — упрямо сказал Маркелыч, — а это что за человек, коли своя крыша упала, а он чужую кроет? Грош ему цена.

— Да ты вот весь век по миру ходишь, а все у тебя ничего нет, у одного-то, — сказал Иван Захарыч. — Ешь мирской хлеб, а сам ничего никому не даешь.

Маркелыч обиделся.

— Я — убогий человек, — сказал он. — С меня взять нечего. Я — нищий.

— Какой ты убогий! Набаловался ты, не в обиду будь тебе сказано, работать не любишь, вот тебе поэтому большевики-то, коммуния-то, и не по вкусу. Как-никак, а они всех, брат, работать приучили.

— Работа дураков любит! — ответил на это Маркелыч и больше до самого города не стал говорить с Иваном Захарычем, как тот ни старался навести его на это.

III

В городе они расстались. Маркелыч побежал к собору узнать, что там делается, а Иван Захарыч, по старой привычке, прежде чем идти на рынок, направился в трактир. Трактир был около рынка, переполненного уже народом. Двери трактира не успевали затворяться, и Иван Захарыч, войдя в этот трактир, долго не мог найти места. Наконец,

ему собрали, но не одному, а вместе с какими-то двумя бабенками. Сидя за чаем, он разговорился с этими бабенками. Рассказал, кто, и откуда, и зачем пришел. Бабенки, выслушав его, дали ему совет, где и у кого покупать полсапожки.

— Ты гляди, родной, — говорили они, — кимряки туда привозят. Смотри, у них не вздумай взять. Наградят таким товаром — бросишь.

— А я почем знаю: кимряки ли, нет ли, — сказал Иван Захарыч. — Кто их разберет, на лбу не написано.

Бабенки охотно, точно это было ихнее собственное дело и забота, научили его, где и у кого купить.

— Подороже дашь, да зато благодарить будешь.

Иван Захарыч послушал их и, напившись чаю, пошел покупать. Сверх всякого чаяния, он очень скоро нашел и сторговал полсапожки такие именно, как надо, как просила Фенька, на высоких каблуках. Обрадовавшись покупке, он, довольный и веселый, пошел пошляться по рынку. Домой еще обратно идти было рано, а на рынке было весело и для него, давно не бывавшего в городе, любопытно. Он ходил, прицenялся к товару, который ему вовсе был не нужен, ахал, узнав цену, и отходил, говоря: «Нет, не надо. Не для нашего рыла», слушая посылаемые ему вдогонку ругательства.

Утомившись от бесцельного шатанья по рынку в толпе незнакомых людей, слушая крик, ругань, божбу, Ивану Захарычу захотелось посидеть, отдохнуть да и потом трогаться ко дворам. Подсчитав свои капиталы, он подумал что-то, усмехнулся, махнул рукой и опять пошел в трактир.

— Посижу маленько еще, — сказал он сам себе, — отдохну. Послушаю, про что люди говорят, да и домой.

В трактире на этот раз народу было гораздо меньше, и Иван Захарыч без всякого труда занял в заднем отдаленном углу, около ободранной печки, стол. Грязный, худой, как скелет, половой, измученный и злой, швырнул ему на стол «пару», потребовал вперед деньги, долго разглядывая их на свет — не фальшивые ли, — ушел.

Несколько раз, пока Иван Захарыч сидел, к его столу подходили какие-то подозрительные попрошайки-нищие, «коты», которым Иван Захарыч отказывал, говоря каждый раз: «Бог подаст». Под конец, когда он думал было уходить, к его столу подошла откуда-то взявшаяся — Иван Захарыч не заметил откуда, — какая-то баба вместе с девочкой-подростком, одинаковой по росту с его дочерью Фенькой. Она, эта баба, а сбоку у ней девочка, как-то крадучись, робко и боязно, пододвинулась к столу, где сидел

Иван Захарыч, и баба, поклонившись сперва глубоким поясным поклоном, тихо и жалобно сказала:

— Подай христа ради голодающим...

Пока она говорила, ее девочка, стоя сбоку, жадными, голодными глазами смотрела на ломоть хлеба, лежавший на мешочке на столе у Ивана Захарыча. Иван Захарыч заметил, как она смотрит, и, зная по опыту, что это значит, молча взял ломоть и, подавая его девочке, сказал:

— На-ка, ягодка, покушай!

— Спасибо тебе, кормилец, — еще ниже поклонившись, сказала баба, а девочка взяла ломоть и сейчас же поднесла его ко рту, жадно впустив в мягкий, душистый край его белые острые зубы.

Иван Захарыч глядел на нее, вспомнил вдруг почему-то свою Феньку и почувствовал, как у него защекотали подступившие к горлу слезы. Человек он был, как уже и говорено, добрый, мягкосердечный, отзывчивый на чужое горе, не понимавший пословицы, что, мол, «сытый голодного не разумеет» или «сытое брюхо к добру глухо».

— Давно ты эдак-то? — спросил он бабу.

— Хожу-то?

— Да. Дальняя, что ли? Откуда? Как ты сюда попалато?

Баба стала рассказывать долгую, грустную и страшную повесть о том, что она дальняя, с Волги, что у них «божьей немилостью» все выгорело в поле, что есть стало нечего. Рассказывала, как они бились, как, не находя больше никакого выхода, бросили все и пошли куда глаза глядят. Как добрались до Москвы, как муж ее заболел здесь и умер («хоронить было не в чем, завернуть не во что»), оставя ее одну с девочкой, и как она теперь вот ходит, не знамо где, просит н живет, как она выразилась, «хуже последней собаки».

— А ты где-нибудь девочку-то пристроила бы, — сказал, выслушав ее, Иван Захарыч. — В люди бы отдала. Гляди, ишь она у тебя вовсе извелась вся, разута, раздета.

— Пробовала, батюшка, кормилец, просить. Не берет никто. Кому мы эдакие-то нужны? Смерть моя. Связала она меня по рукам, по ногам. Здоровье мое вовсе плохое, спаси бог, свалюсь, куда ее деть? Об себе-то и не тужу, я стерплю, а ей-то, родной ты мой, тяжко. Дитя ведь еще. Сам ты посуди. Подумай-ка, легко ли?

Она не удержалась, не могла больше говорить и заплакала.

Ивана Захарыча эти слезы и весь вид ихний, в особенности девочки, резнули по сердцу. Жалко ему стало их той особенной, глубокой, захватывающей, человеческой жалостью, которая вместе и терзает сердце и наталкивает его на все хорошее. Он молчал, но у него уже там где-то, на дне души, кто-то шевелился и шептал ему, что надо делать.

— Мне бы ее хоть на эти дни-то куда девать,— продолжала баба, — на праздник-то на светлый принял бы кто. Ножки бы, кажись, тому расцеловала! Пожила бы, покеда просохнет, а там бы я ее взяла. Наказанье мне с ней. Как ходить-то теперь? Вон она в чем ходит!

Иван Захарыч давно уже видел без этой указки, «в чем она ходит», и вдруг как-то совершенно неожиданно, точно кто-то другой заставил его сделать так, сказал:

— Я, пожалуй, возьму у тебя ее на время, а там увидим, что делать.

И как только он сказал это, сразу почувствовал, точно какая-то гора свалилась с плеч и что душу его заливает какое-то особенное чувство, хочется плакать и смеяться.

Баба повалилась ему в ноги и заплакала.

— Батюшка, отец родной, кормилец, — лепетала она, захлебываясь слезами. — Да не господь ли тебя на нас послал для праздника? Ба-а-тюшка! Кормилец!

IV

Часа через полтора, рассказав бабе, где ей его найти, как называется деревня, как пройти к ней, Иван Захарыч вышел за город уже не один, а с девочкой, с новой дочкой, как он называл ее.

Ноги у девочки обуты были в какие-то рваные калижки, обмотанные грязными мокрыми тряпками. Она хлюпала ими, идя за Иваном Захарычем, и он видел, что идти ей дальнюю дорогу так, как она шла, нельзя.

«Все равно что босиком идет», — думал он, глядя на нее, и, пройдя верст шесть-семь, не вытерпел, остановился, сел на бережок канавы, где посуше и где грело солнышко, и сказал:

— Ну-ка, садись, разувайся! Надевай-ка на эти вот новые-то полсапожки. Ничего им не сделается. Обновляй! А там, дома, увидим, что делать. Не убьют небось! Поругают, да бросят. Простуду тебе, что ли, сам-деле, схватить? Это выходит: шуба висит, а шкура дрожит. Обувай-ка!

Девочка послушно и робко стащила с своих ног грязные тряпки вместе с калижками. Обтерла полой ноги и обула новые полсапожки, как раз пришедшиеся ей по ноге.

— Важно-то как! — воскликнул Иван Захарыч.— Ей-богу, чисто вот на тебя сшиты! Идем теперь. Вот, придем, удивятся дома-то! Ждут небось!

Дома его действительно ждали, и Фенька проглядела все глаза, сидя у окошка и глядя на дорогу.

Она первая увидала идущего по дороге со стороны леса Ивана Захарыча и закричала:

— Мамынька, гляди-ка, тятя идет! Не один идет. Ведет с собой девочку какую-то.

— Ну, болтай там не дело-то! Какую девочку? — сказала мать.

— А эна, гляди. Ей-богу, ведет кого-то!

Мать поглядела в окно и сказала:

— Взаправду ведет кого-то. Может, попутчица какая.

Между тем, пока они делали разные предположения относительно того, кто это идет с ним, Иван Захарыч подходил к избе и знал, что ему сейчас попадет. Девочка, робея, маленькими шажками следовала за ним.

Подойдя к избе, он пропустил девочку на крыльцо вперед, вошел с ней на мост и, отворив дверь в избу, пропустил опять девочку вперед через порог и вошел в избу.

Жена, дочь, мальчишки — все сгрудились около стола и, разинув рты, глазели на вошедших.

— Вот и я! — сказал Иван Захарыч, снимая картуз.— Здорово живете! Бог милости прислал, — улыбаясь виноватой улыбкой, добавил он, глядя на свою бабу.

— Это кого же ты привел-то? — спросила жена.

— А так... сиротинка одна... голодающая.

— А полсапожки купил? Где они?

— Купил. Знамо, купил. Эна они на ней, на сиротинке, надеты. Идти ей не в чем. Разумши она. Дал надеть, покуда до дому. А чего им сделается-то?

— Мошенник! — закричала жена. — Да что же это такое, а? Да зачем ты ее привел-то? Полсапожки новые надел. С ума сошел, знать, а?

Фенька, молча стоявшая, слушавшая и наблюдавшая все это, заплакала.

— Своя дочь разута, а он чужую обул. Мошенник ты, мошенник! Ра-а-сточитель! Не хозяин ты дому! Как не хотела за тебя идтить, нет, уговорили добрые люди. Пошла, дура! Вот теперь и майся!

— Чего вы орете-то? Оиа сейчас скинет нх. Чего нм сделалось-то?

И, обратившись к виовь прнбывшей девочке, сказал:

— А ты их ие бойся, ягодка! Они ничего. Так это оии. Разувайся, сымай. Теперь, пришли домой, и боснком хорошо.

Девочка поспешио сияла башмаки и виновато стояла, ие зная, что делать.

— Ну, вот, на тебе твои полсапожки иа высоких каблуках,— сказал Иваи Захарыч, подавая Феньке полсапожкн.— Чего ты плачешь-то? Съела она их, что ли? Обувай, иа, меряй. Оботри сперва.

Фенька просветлела. Схватила полсапожки, села на пол и иачала примерять.

— В самый раз, тять,— сказала она, обувшись,— аккурат по иоге.

— Ну, то-то вот, а ты плакать! Чего им сделалось? Сказал — куплю, н купил. Давайте теперь чай пить. Собирайте иа стол.

— А эту-то куда ж ты привел? Зачем? — кнвиув иа девочку, спроснла жеиа.

— Куда привел? Домой, к иам,— ответнл Иваи Захарыч и, закурив, начал рассказывать жеие то, что произошло с ним в городе.

Жеиа, по мере того как ои говорил, все чаще поглядывала иа девочку, робко стоявшую иа полу, босую и жалкую в своем убожестве.

— О господи! — воскликиула оиа, дослушав рассказ.— Вот горе-то! Подумать только!

И, помолчав немиого, спроснла:

— Что ж нам с ией делать-то?

— А пущай живет, господь с ией! — просто н весело ответил Иван Захарыч.— Чай, не объест. Обмыть ее иадо.

— Самн-то мы...— начала было жена, ио ие договорила н заплакала.

— Об чем ты, дура?! — крикиул Иваи Захарыч, удивившись ее слезам.— Эва, дура-то! Возьмите ее! Глаза-то у тебя иа мокром месте.

— Об себе я вспомнила,— всхлипывая, ответила жеиа.— Мы, бывало, тоже. Я по миру-то, бывало, а ие подает иикто. Придешь, бывало, а вы голодиые... рев! О господи, батюшка! Вспомиишь вот, как самим-то было, так н другим поверишь. Ну что ж, Христос с ией, пущай живет. А тебя как звать-то? — обратилась оиа к девочке.

— Наськой! — ответила та и улыбнулась, показывая белые зубы.

А вечером, когда горела в избе лампочка и было тепло и прибрано, можно было наблюдать такую картину: Фенька, новая девочка, мальчишки с белыми головами сидели на полу и поочередно примеряли новые полсапожки, а Иван Захарыч сидел на скамейке, курил и, посмеиваясь, говорил им:

— А вы, робят, свою коммуну устройте: один, значит, походит в полсапожках — другому даст, другой походит — третьему даст. Так у вас дело-то и пойдет кругом, и никому не обидно.

1922

Лидия Сейфуллина

●

Линюхина Степанида

I

Свекор к земле привержеи был. Из России в Сибирь за ией притащился. Но и в Сибири земля далась и наградила только тех, кто с запасом прибыл. А Лииюхииы оттого Линюхииыми и стали по прозвищу, что прадед еще сковыриулся и от иужды слинял. Такой предел и правиукам положил: лияяй еще, мотай жилы.

Привержеи к земле старик был, но пришлось мужа Степаииды в город иа заработки отпустить, а младшего — на чужую землю в батраки. Долго кряхтел, когда старший уехал. Потом зорко из-под насуплениых серых торчков-бровей иа Степаииду гляиул и спросил:

— С иами будешь? Али в город к мужику? Аль еще куды?

Степаиида твердые губы разжала, редкой на ее лице усмешкой рот повела:

— Четверо иебось вашииского приплоду-то у меия. Куды от вас? Одиа семья. А Федор вернется.

Старик ясиее взгляиул. Ко двору Степанида: ворочает работу за мужика, молчалива, строга и ребят здоровых носит.

— Ну, живи, коль так.

А Федор старику такую загвоздку всадил, что по его, стариковскому, рассуждеиию больией всех бед была. Письмо прислал, когда царя смеиили и появились всякие «социалы», меньшевики да большевики.

Писал:

«И еще сообщаю вам, что самая для бедиого народу правильпая партия рабочего классу большевики, я в иее по добровольному своему миению записался и состою те·

перь как большевик. Супруге моей, Степаниде Никитишне, как грамоте обучена, приказанье мое с сим случаем сообщаю — программу большевистскую вам прочитать для осведомленья, каковую в этом письме посылаю».

Степанида в школе обучалась. Могла в книге всякое слово сперва шепотком разобрать, потом правильно вслух прочитать. Но программу изъяснить отказалась:

— Трудно.

Разъяснили другие. Священник узнал, в церкви старика Линюхина отчитывал:

— Немцам Россию такие вот, как твой сын, продали! Разумных российских правителей ниспровергли, государственную казну между собой делят. Неразумных чем прельщают: все общее — имущество, земля, жены общие. Разоренье и блуд...

Путались ноги у старика, когда из церкви шел. Солдаты другое говорили, попа бить обещали, но от этого не легче старику Линюхину. Тело в старом порядке износил, и новые мысли в ум не принять.

Вся семья в смущенье пришла. Деньги, Федором присланные, не радовали. Староста церковный по доверенности получил, с почты привез. Передавал, съехидничал:

— Легкие. Не скажу — украл, а недалеко от этого. Небось из казны отобранной. Барами теперь распузатитесь.

Степанида крепкая, и та на дворе втихомолку поплакала. С красными глазами в избу вернулась. Поглядел на нее старик, откашлялся и сказал сурово:

— Завтра к мужику тебя повезу.

Степанида только крепче губы сжала, а свекровь заплакала:

— Какие мы с тобой для малых детей кормители? Одна она ворочает. Эта-то кукушка своих подбросила...

Старик угрюмо отозвался:

— Хлебу запас есть. Доедим и тот, какой для посеву, опять же я обувку починяю. Заработаю. К мужику пущай съездит.

Степанида тихо успокоила:

— Ладно.

А меж бровей морщинка крепко залегла.

Как спать ложилась, старик неожиданно сказал:

— Може, образумишь. Ты баба твердая и приманчивая. Стары люди баяли: мужик силком, баба тишком, а быват, крепче покоряет.

Степанида промолчала. Но ворочалась долго на полатях. Ребятишки рядом сладко спали. Старики на печке затихли. А она думами маялась. Чем смутили в городе Федора? Горячий был, а умом сторожкий. Не скоро со своей думы его собьешь. А там вот поддался на чужое. Чему поверил? Искала слов вразумительных, чтобы разговорить. Бывало, и слушал ее Федор. Под пару друг другу подошли, согласно жили.

Еще чуть мутнело, будто жидким молоком подернулось ночное небо, как поднялся старик и пошел лошадь запрягать. Не хотела плакать Степанида, а скропила слезой сонных детей. Не осилила тоски и тревоги. Старуха громко причитала. Дребезжащий, старческий голос ее и за околицей все еще в ушах Степанидиных будто стоял. Всю дорогу до города старик только с лошадью разговаривал. Степанида молчала, и он с ней не заговаривал.

II

Думала мужика сговаривать домой податься, а вот уже скоро год, как к мужу Степанида приехала, а об отъезде еще и помину нет.

Жили на копях, работали те же деревенские мужики. Только они давно, с десяток и больше лет, как деревню оставили, другие поменьше, как с ней расстались. Из городов рабочих совсем мало, все больше природные, деревенские. Даже люди есть из той самой деревни, откуда Федор со Степанидой. Свои, старые знакомцы. А совсем у них повадка другая. Мужик часто на небо поглядывает. То дождя у бога просит, то богу жалуется, кряхтит, что облака шибко не ко времени скопились. Все с небом и по небу живет. За урожай его благодарит, за недород на него же вздыхает. А здесь народ такой, что неделями на небо-то не взглядывает. Все в землю. Под землей больше и живут, буравят ее, прокапывают, спрятанные богатства достают. И здесь у земли другой закон. Она всегда немилостива и жестока. Никто матушкой здесь ее не называет. И закон у нее прямой: не плошай. Небо может солнцем сиять и дождить, а внизу все сырой мрак, твердые стены, едкая черная угольная пыль и тяжелый дух, от которого быстро хилеет грудь. Засветит ли солнце, наляжет ли хмарь, человеку ни то, ни другое в подземном его труде не в подмогу. В узких подземных коридорах каждый сам за себя

отвечает, сам себя оберегает. От самого малого недосмотра зависит жизнь человека. Недосмотрел — может произойти взрыв, засыплет землей... Зазевался — и получил раненье. Недосмотрели наверху за машиной, которая отсасывает из шахт дурной воздух, расстелется душный, смертоносный газ — и конец жизни. Оттого люди здесь научились пристально в землю смотреть, к каждой мелочи приглядываться. Уши, глаза, руки, тело всегда начеку. На небо, на бога зазеваешься — и пропал. От этой жизни здесь и речь иная, и все пониманье другое. Говорят покороче, посумрачней. За неудачи винят себя, за удачу себе же благодарствуют. Про бога мало кто вспоминает. Бабы на язык дерзкие и ухваткой смелые.

В деревне теперь бабье лето. Солнышко не жаркое, но неторопливо ласковое. Как женщина в старости, мудрая многодетная мать. Обо всех привыкла заботиться без суеты, но лаской никого не обделяет. В чистом, светлом воздухе тонкие паутинки протянуты, и легко там воздухом дышится. А здесь все с угольной пылью возня. Все в горле и в носу першит.

Степанида тоже работать стала, угли сортировать. Продохнуть со сладостью и не удается. Едкая угольная пыль разъедает глаза. Не очень захочешь на солнце смотреть, и неяркий свет люди с болью принимают. Сначала тосковала, по ночам долго вздыхала и ворочалась. А потом стала засыпать сразу. Непривычная работа утомляла сильней, чем деревенская страда. Сначала Федор в казарме для холостых жил. Как Степанида приехала, в отдельную землянку перебрались. С работы приходила, надо было и поесть сготовить, и землянку прибрать. От угля, сваленного под кроватью, и в землянке все та же черная пыль, что и на работе. Сразу, как только на копи приехала, начала было Степанида мужа уговаривать:

— Поедем домой. Как-нито прокормимся около земли природным своим трудом. Подспорье из своего заработка даешь, а лучше без него обойтись...

Но и высказать всех мыслей своих не успела, как Федор резко оборвал:

— Ты зря не старайся. В деревню сейчас не поеду. Нельзя. Здесь дела много, и дело нужное. Кости поломали, шахты отстаивали, теперь не бросим. Под хозяином спину гнули, на него работали. Теперь на себя. Поживи здесь, шире мозгой раскидывать научишься. Вот утвердится все, как мы располагаем, тогда поговорим.

В праздиики Федор все на собраньях, и Степаниду с собой повел. В первый раз оиа тихонько из клуба скоро ушла. Непривычная обстаиовка. На сцене, под большими красными флагами, за столом вместе сидели рабочие, техиики и господа инженеры. Управляющий копями в город перебрался. Но господа еще остались. Под коитролем неохотно работали. На собраиье рабочие с ними спорили. И даже женщины речи говорили. Степаииде показалось, что она своей робостью всем приметна, она застыдилась и ушла. Но потом привыкла, часто ходить стала.

Только иедолгим оказалось спокойиое житье. Рабочие все время настороже держались. Была у иих и своя Красная гвардия. Федор в ией состоял. Но все же опасности большой ие чуяли. А вот в самом иачале этого бабьего лета беда стряслась. Загудел тревогу гудок... Степаиида с работы ие на сборище сразу пошла, а домой забежала. И ие успела повернуться, как в двери Федор сразу залпом сказал:

— В городе белые. Скоро сюда. Там плохо бьются. Врасплох застали. Я сейчас с отрядом. А коли что, домой ие жди... После как-нибудь весточку передам.

И стал поспешно обуваться. Степанида обомлела. Дрогиувшим голосом спросила:

— А я как же?.. В деревию, домой надо.

Федор строго сапогом пристукнул.

— И думать ие моги! Там дети со стариками, не одни, проживут. А тут верного человека оставить иадо. Другого искать некогда. Я на тебя понадеялся, так и товарищам объявил. Чать, ие подведешь? Аль теперь откажешься? А?

Подошел к Степаииде, рукой за плечо придержал и иеловко в глаза загляиул. Степаиида глаза потупила и сжала губы, иичего не сказала. А Федор медлеиио, будто с трудом подбирая слова, произиес:

— Мы с тобой ладно жили... Другие тоже, бывает, жалеют друг друга. Ну, а мы... Не только что спали вместе да детей родили, а все вместе. Как приехала ты из деревни, думал, может, и ие сладимся. А потом... Я ведь все тебе рассказывал. Ты моим мыслям не препятствовала. И сама вровеиь со мною старалась. Я и понадеялся. Дак как? У тебя-то другие мысли, что ль? Не молчи, Степаиида, иекогда мие... Охота с хорошим сердцем проститься. Я не рассержусь, если ие по-моему рассудишь. Все одио, поезжай домой. Неволить не стану. Все одио к тебе приеду. А только... надеялся я было иа тебя...

Степанида усмехнулась:

— Чего ты улещиваешь? По-другому думала бы, так давно уехала. И теперь не застращал бы, кабы и совсем от меня отказаться пригрозил. Мы с тобой не новожены, не молодые, что шибко в ласковых словах рассыпаться. Езжай. Я тут подожду, если так лучше. Я было думала, что ты сам домой меня отправишь.

Федор еще раз заглянул ей в глаза, усмехнулся, крепко тряхнул за плечи и прижал к себе. Поговорили они недолго. Федор ей наказ дал, какие ответы давать, если за мужа теребить белые начнут.

— Ну, а потом слух дам, известье о себе. И как дальше тебе самой устраиваться. Прощай покудова...

Крепко, быстро поцеловал, вздохнул, старую солдатскую шапчонку в руках помял и вышел.

Степанида не заплакала, только в лице изменилась. Побелела вся, даже губы белые стали. Пошла было за ним, да сердце в груди затрепыхалось до того, что в глазах черные круги пошли. Она передохнула с трудом и как стояла у порога, так и села на него.

III

На другой день землянки рабочих опустели. Многие целыми семействами, с женами и детьми, поднялись, успели до появления на копях белых властей скрыться. Остались только недавно из деревень на работу прибывшие. Они прожили только кто год, кто два на копях. И все еще тянулись к своим... Боялись решительно на чью-нибудь сторону стать. Гунявый рыженький мужичонка при встрече со Степанидой так ей объяснил:

— Куда пойдешь? Все одно, и при белых та же работа будет. А мы пришли на работу, так при ней и останемся. Нам все одно, кто ни поп, тот и батька.

Степанида только спросила осторожно.

— Своих-то нет у тебя? Все одно для своего брата стараться али опять на хозяина? Вернулся, слыхать, хозяин копей.

Мужичонка раздумчиво головой покачал:

— Все одно, и у белых и у красных начальство-то есть. А я их не разбираю. Мы народ темный.

Степанида качнула головой и поскорей от него отошла. Она-то уже знала своих. Год работы на копях научил

ее думать, упорно доискиваться причины, отчего богатым жизнь утеха, а беднякам, на них работающим, от той утехи только малые, неверные крупицы достаются. Год был трудный. Сначала на радостях работа плохо шла. Потом за работу принялись, все недочеты на плечи рабочих легли. Но так же, как Федор, она знала, в каком лагере их место и где они хорошего добьются. Но с мужичонкой спорить не стала. Помнила наказ Федора осторожно держаться, зря на подозренье не вылезать.

Под вечер конский топот, шум голосов и стук нарядных экипажей взбудоражил всех оставшихся на копях. Степанида из землянки не вышла. Поплотней приперла дверь и легла ничком на кровать. Она думала о детях, о муже, обо всех, кто ушел с ним. И вдруг острая тоска клещами сдавила ей сердце. Тихонько и горько она до утра в подушку проплакала. В дверь кто-то раза три стучался. Но она не встала и огня не зажгла. Верно, кто-нибудь из знакомых баб с вестями забегал. Постучали не очень настойчиво и ушли.

Белые водворились. Прежний управляющий из города снова на копи перебрался. Начался суд и расправа. Каждый день двое конных гоняли кучками трусливо согнувшихся мужчин в город, на допрос. Гунявый рыженький мужичонка нечаянно в передрягу попал. Сказал по своей привычке подлипале господскому, рыжеусому штейгеру, свое любимое:

— Нам все одно, кто ни поп, тот и батька.

Его отстегали нагайкой в назиданье на глазах у толпы. Степанида пожалела его. Густо-красный от обиды и боли, он тяжело дышал, натягивая штаны. В толпу проходил, низко опустив взъерошенную голову. Степанида его тихонько рукой за плечо приостановила. Шепнула:

— А ты не стыдися. Надо всеми измываются, никто не осудит. Мы все свои, все под одной бедой.

Он сердито отодвинул ее локтем, но продохнул легче.

На другой день самое Степаниду забрали на допрос.

В маленькой комнатке при конторе копей, развалясь на стуле, сидел сухощавый бритый нерусский чернявый человек. После сказали Степаниде, что ее серб допрашивал. Он сдвинул на затылок вышитую небольшую шапочку. Подробно оглядел Степаниду. Строгое невеселое лицо ее ему не понравилось, и он сразу рассердился:

— Большевичка? Гавры правда!

Степанида подняла на него спокойные синие глаза.

— Не пойму, господии, про чего спрашиваете. Я тут недавно. Из деревни пнехала.

Серб выбраннлся нехорошей русской бранью, довольио чнсто выговаривая ее, и стал выпытывать:

— Где муж? Гавры весь правда!

Он не бнл, но допросамн на малопонятном языке, неожиданиостью этнх вопросов н днко зычными окриками хуже побоев измаял.

Ночевала в новой арестантской, в холодной кладовушке прн конторе, с двумя бабами. Всю ночь оин шепотком проговорилн. Оттого и нестрашным Степаниде показалось это первое ее заточеиье.

Наутро Степаниду выпустилн. Сразу пришлось думать, как прожнть, чем прокормнться. Опять стать на работу по сортировке угля она не хотела. Свои ушли. С чужнмн, с темн, кто покорился н, не жалея своей жизии, старался для владельца поправлять шахты, наладить большую добычу угля, с этнмн она не могла вместе работать.

Выручил случай. Знакомая женщина, Марья Потапова, порекомендовала ее жене управляющего. Нахвалила как хорошую прачку. Попросила разрешения себе на помощь на стнрку пригласить. Господское белье Степанида никогда не стирала. Одна и не решнлась бы взяться. Боязливо, чуть придержнвая пальцами, растянула пред собой тоикую, всю в кружевах женскую рубашку и покачала головой:

— Чего же тут стнрать? Чистехонькое, только что попримято. У нас лнчная утнрка эдакая белая н с нова не бывает. А тут исподняя рубаха. Э-эх! Жнвут, вот это живут! Да как к ей прнтронуться? Разорвешь еще.

Марья, главная стнральщица, весело засмеялась.

— А ее и стнрать-то чуть-чуть. Зиамо, если начиешь гереть, как свою, так и помину не останется. Дай-ка покажу!

На этой стнрке неждаино Степанида мнлостивое барынино вннманье к себе прнвлекла. Скучала Валерия Львовиа на копях. Большевнков прогнали, а веселая жизнь все както ие налаживается. Муж занят. Говорит, что рабочнх надо подтянуть, дело направнть, а тогда можио будет и в город почаще ездить, и самнм у себя приемы гостей устраивать. Одну в город иадолго не пускает. Только дием за покупкамн, и то, как малолетка, с горничной. Очень ревннв. Валерня Львовна молода и легкомысленна. А ои стар и тяжеловат иа подъем. Принялась было Валерия Львов-

на за устройство любительских спектаклей, но жены инженеров с женами техников не поладили. На одной из репетиций ссора большая произошла. Дело разладилось. Хотела в народном доме танцевальные вечера для рабочих устраивать, муж запротестовал:

— Помилуй, матушка! Это тебе не заграница. Наши разойдутся, не возрадуешься. Особенно теперь, понюхали свободы, большевики их распустили. Необходимо твердое, жесткое с ними обращенье. Надо внушить, что после революции, как никогда, необходимы законность и порядок. Нет, уж ты с этим повремени.

Совсем нечего делать Валерии Львовне. Встанет с постели в первом часу дня, попримеряет перед зеркалом часа два платья разные и опять не знает, куда руки свои девать. На рояле побренчит, романсы попоет, и опять дела нет. Книжки раскрытые и коробки конфет во всех комнатах на диванах валяются, но ни в голову, ни в рот ничего уж не лезет от сытости. Стала она от скуки и по двору бродить. В прачечную зашла. Марья Потапова, щуря ласково глаза, бурной льстивой радостью ее встретила. Посмешила рассказом каким-то, веселой побасенкой. Понравился барыне прачкин хитрый говорок. Она и в кухню, когда прачки обедали, пришла. Тут к Степаниде пригляделась.

— У вас удивительное лицо. Совсем не простонародное. Знаете, вы очень красивая. У вас профиль чудесный: прямая линия лба и носа. И фигура. Я таких у крестьянок еще не видала. Они всегда с животом, а вы такая стройная, узенькая. Совсем не крестьянский облик. Право, удивительно.

Степанида от досады пунцовела, но промолчала. Только губы построже ежила. А барыня все пристает:

— Вы замужняя? Ах, четверо детей? Да что вы! Это ужасно!

И всем строгим обликом, сдержанностью ответов своих, неспешностью движений неожиданно ей Степанида понравилась. В это время как раз привезенная из дальнего города востроглазая с завитым чубиком горничная Валерии Львовны проворовалась. Уличили ее. Барыня решила вместо нее Степаниду к себе в услуженье взять. Объясняла мужу:

— Ничего, пусть неумелая, я ее выучу. Мне все равно скучно, делать нечего. Я с ней займусь. Зато она честная, по лицу видно. И, по-видимому, очень скромная. Так мало говорит, не назойливая. А она, знаешь, удивительно в стиле

наших комнат. Они у нас высокие, строговатые, и вся обстановка тоже строгая. Она и к обстановке подходит, я ее возьму.

Управляющий посмотрел в бездумные синие глаза своей молодой жены и весело рассмеялся:

— Возьми. Чем бы дитя ни тешилось.

Степанида не сразу согласилась. Противна ей была чудная, взбалмошная, ребячливая барыня. Но в это время доставили ей слух от мужа. Он наказывал, чтоб никуда с копей не выезжала, а пристроилась бы как-нибудь безопасней, чтобы поменьше за ней приглядывали. Тогда дело одно можно будет через нее наладить. Степаниду грызла тоска по детям. Ночами, при мысли о них, сна лишалась. Иной раз привидятся во сне, сразу, как от толчка сердца, просыпается. Но домой и свекровь теперь приезжать не советовала. Приедет с копей, разговоры начнутся: как, да что, да где Федор? Старика, пожалуй, на допросы потянут. К ним в деревню тоже каратели наезжают. Всяким слухом пользуются, подозрительных людей ищут. Да и своих односельчан-недоброжелателей много. Лучше тишком переждать. Все благополучно. За денежной подмогой старик со старшим парнишкой сами как-нибудь выберутся, к ней приедут. Вот этого дня она и стала, как праздника, ждать. В господском доме место самое безопасное. Известья нужные в квартире управляющего тоже легче узнать. И Степанида согласилась. Работа не тяжелая, хоть и доставалось за день ногам. Все по мелочам туда-сюда приходилось тыкаться. То и дело:

— Стеша, дайте носовой платок! Сте-еша! Переставьте вот так столик! Стеша! Где же моя сумочка?

Барыня — как человек, лишенный рук и ног. Сама ничего не возьмет и не найдет. Комнаты мелочишкой нарядной все позаставлены. И за ними ежедневный кропотливый требуется уход. Но не камни ворочать. Досадно силу убивать на такую работу, да все же привыкнуть можно. И пища хорошая, и одежду справили, но с каждым днем на сердце коростой нарастали тоска и злоба. Вот живут! Ни над чем не трудятся, всего наглотались, не знают, что и придумать, чтоб в глотку с охотой шло. Это управляющий так живет. А как же сам владелец? И добывают все для такой жизни им рабочие. Для них даже о пригодном жилье не позаботились. Казарма у холостых холодная, без потолка, прямо два ската крыши вверху. У семейных хлипкие, тесные землянушки. Окна забиты желе-

зом и тряпьем. Нет ни сарайчика, ни кладовушки. Уголь для топки тут же, под кроватями. У Валерии Львовны на ночь одно белье, на день другое. И через день сменное. Да еще недавно отшвырнула полотняную ночную рубашку.

— Не могу. Это мама зачем-то полотняных мне насовала. Ужасные рубашки! Телу тяжело.

У Степаниды недобрый огонь загорелся в глазах. Телу тяжело! А бабы в землянках в холщовых, почти бессменных, ходят. Эта во всяких душистых растворах купается каждое утро, а у тех в лохмотьях одежды на работе ноги видны, вот посмотрела бы. Копоть и грязь продубили кожу, теркой, чать, тереть надо, чтоб отмякла. Э-эх, а говорят, что перемена все-таки произошла. Царя убрали, бедному народу освобожденье. С каждым днем росла злоба в сердце у Степаниды. В деревне господской жизни она не видала. Обиду положенья своего так остро не чувствовала. А здесь постоянно в глаза лезла разница жизни господ и рабочих. И рабочие, поди-ко, из той же плоти и крови. Только они работают, а эти готовое кушают. И не подавятся, ироды!

Однажды несчастье случилось. Испортилась воздуходувная труба. Быстро наполнил Надеждинскую шахту ядовитый газ. Когда вынесли задохшихся рабочих, Степанида прощаться с ними ходила. И будто отсвет от темной синевы мертвых их лиц и на ее лицо пал. Вернулась иссиня-бледная. Барыня ее увидела,— даже испугалась.

— Вы не заболели? Сходите сейчас же к фельдшеру. Я больных боюсь. И вообще, Стеша, скажу вам откровенно, мне уже надоедать начинает ваш постоянный невеселый вид. Вначале мне казалось, что вы просто тихая, а вы угрюмая. Это мне неприятно. Я радость люблю. Встряхнитесь, пожалуйста.

Встряхнуть бы тебя хорошенько, пигалица! Плачет, когда в обед блюдо какое не понравится или платье портниха испортит, а горя, настоящего человеческого горя не видит и видать не хочет. Этаких придушить, так ни грех, ни жалость не замают. Сильно затосковала Степанида, но подобрала себя крепко. Перед барыней смолчала. Воли сердцу не дала. В это время как раз своим подмогу давала. Через нее передали паспорта для скрывавшихся товарищей. С барыней в город ездила, ухитрялась на тайных квартирах бывать, наказ от большевиков получать. Через нее и связь наладилась. А крепиться ей все трудней становилось. Взгляд острей стал. Всякая обида в глаза,

ни одна незаметной не пройдет. Барыня временами со скуки болтливой становилась.

На землю легла уже зима. Коротки дни, а ночи так долги, что без устали дневной за год кажутся. Сна нет, и заняться нечем. Управляющий часто на заседаньях и в конторе задерживается. Вот и стала развлекать себя Валерия Львовна разговорами со Степанидой. Та сама не словоохотлива, а слушает как будто внимательно, терпеливо. Как только вспыхивали электрические лампы в нарядном пустом доме, Валерия Львовна приказывала в мужнином кабинете камин затопить. Садилась с ногами в мягкое кресло перед камином и звала Степаниду:

— Садитесь, посидите со мной. Да бросьте ваше вязанье, как вам не надоест!

Но Степанида сложа руки сидеть не умела, добилась разрешенья чулки вязать во время этих вечерних бесед. Гости у Валерии Львовны бывали редко. Местные дамы ей не нравились. Оттого вечерами часто маяла она Степаниду своим пустым, бездельным рассказыванием.

И в этот вьюжливый вечер, как всегда, ее в кабинет мужнин позвала. Вдруг разоткровенничалась:

— Вы знаете, я беременна. Хотела аборт сделать, муж умоляет ребенка сохранить. Я и не знаю, что мне делать. У вас это как-то просто выходит. Каждый год дети. Вот у вас — четверо. Ужас! Я родовых мук боюсь. Ведь я хрупкая. А потом — заботы с детьми. Мы еще не так богаты, чтобы детей спокойно иметь. Ну, на одного, может быть, и хватит, а? Все-таки занятно — ребенок. Я хочу, чтоб девочка. Ее лучше, интересней одевать. А в общем, беспокоюсь. Возня, расходы! Но одна девочка, пожалуй, ничего. Когда она будет ходить, я ей сделаю, знаете, вот какое платьице...

Степанида вспомнила своих четверых. Есть ли сменные рубашонки-то у них? Вдосталь ли хлеба? Э-эх, растравила боль, сорока! Им и детн, свое рожденье,— только забава. Ни тяготы, ни скорбей!

Отводя в сторону ненавидящий взгляд, Степанида тихо сказала:

— Дозвольте, барыня, мне уйти сейчас. Неможется что-то...

И решительно встала. Валерия Львовна, скрыв недовольную гримасу, хотела ответить ей, но в кабинет шумно и торопливо вошел управляющий. Он кинул быстрый взгляд на Степаниду и приказал:

— Идите в кухню. Валерия, я должен тебе сказать...

Приостановился, метнулся к двери и плотно ее притворил за Степанидой. В кухне Степанида узнала, что к ней зачем-то Прошка, сын кузнеца, забегал. Обычно она сама к единомышленникам своим заходила. В дом управляющего они не бегали, чтоб недовольство и подозренье не возбудить. Видно, что-то случилось. Вспомнила Степанида и про барина. Как встрепанный в кабинет влетел. Что-то случилось. Она незаметно, даже не набросив шубы, из дома выбралась.

IV

Это была первая тревога. Известия о партизанских большевистских отрядах управляющего обеспокоили. Но зима прошла, и лето к концу, свои не приходили. Управляющий успокоился. Валерия Львовна к матери уезжала. Оттуда с дочерью, нарядным свертком, в кружевах, и маленькой толстенькой старушкой-няней вернулась. Степанида сильно похудела. Она ждала. Она знала, что свои надвигаются. Все кругом успокоились. Но тайные вести были утешительны. Только ждать становилось с каждым днем трудней. Вдруг в теплый июльский день управляющий из города на взмыленной тройке прискакал. И не домой, а сразу в контору. Степанида в окно видела, насторожилась. Через час был объявлен приказ рабочим приготовиться к эвакуации. Шахты опустели, ожила кривая улица рабочей слободки. Степаниду тянуло туда. Сердце горячо и до звона в ушах часто стукало в груди, руки тряслись. Но уйти она не могла. Барин домой прибежал весь красный, взволнованный. И в первый раз Степанида, кошкой подкравшись, подслушала их тайный разговор в угловой комнате.

— Собирайся, немедленно надо уезжать.

— Подожди! Я же так быстро не могу. Как же бебе? Няня вчера занемогла. Я испугалась, в город ее отправили... Как же?

— Эх, что как же? Ночью мы должны выехать. И ночью выеду я, мне нельзя сейчас. А ты с ребенком немедленно, через час, через два... Слышишь? Возьми с собой Степаниду. Ты рассказывала, что она ненавидит большевиков.

— Ну да. Ее муж бросил, с ними ушел. А она добровольно осталась. Да, на нее положиться можно.

— Ну, и собирайтесь живо. Быть может, и мне удастся

следом за вами. Ну, да я это устрою. Нечего ночи дожидаться. Я выйду незаметио пешком, а там дальше устрою. Рабочих будут эвакуировать с утра. Придется им уплату выдать, а потом...

И быстро к двери пошел. Степаиида едва успела отбежать от нее, юркнув в другую комиату. В конторе в это время шла перепалка. Пожелавших эвакуироваться рабочих ие оказалось. Степаииде из дома вырваться никак ие удалось. Барыия вцепилась в иее и следом за ней ходила, ни иа шаг не отступая. А бросить все и открыто уйти она не хотела. У нее были свои соображенья. Необходимо управляющего задержать. Он может увезти все деньги. Она знала, что рабочие сами за иим следят. Но по слободке, верховые и пешие, уже метались солдаты. Белая охрана. Ей здесь легче за управляющим следить. И оиа пообещала Валерии Львовие, что поедет с ней. Терпеливо выиосила беспомощиое ее хныкаиье.

Барин вериулся не одии. Два солдата с виитовками пришли с ним и расположились в кухне. Степанида за барином тихоиько в комиаты пробралась. Увидела, что он к барыие вошел. Подумала с мииуту и, крадучись, проскользиула в его кабиист. Там долго искала глазами, где бы спрятаться. Это было трудио. Но понадеялась, что барин в спешке и в волиенье не заметит. Чуть отодвинула, охнув от иатуги, тяжелый диваи с высокой спинкой, заползла за него и легла. Сердце забилось так, что ей показалось — по всей комиате слышно. Но замерла, всю себя крепко забрала в тихость, затаилась. Как оиа предполагала, так и вышло. Барии вошел в кабиист, запер дверь на ключ изиутри — и сразу к несгораемому шкафу. И в руках плотно запертый, туго набитый портфель. Жаловаиье рабочим не выдали. Зиачит, из коиторской кассы деиьги забрал. Не ииаче. Вот в этом портфеле оии. Быстро соображала. Барии вокруг даже ие огляиулся. Сразу хитрым замком шкафа заиялся, а портфель около себя иа кресло положил. Степаиида тихоиько, совсем бесшумио, по ковру выползла из-за дивана и ползком к письмениому столу. Барии ие услышал, заият был, деиежные пачки считал. Но в это время за дверью в коридоре громко закричала Валерия Львовна:

— Стеша! Стеша! Да куда же оиа подевалась?

Этот крик за дверью заставил бариua вздрогнуть.

Ои повернул голову. Степанида одним прыжком к нему. Он крикиул было:

— Эй, пом...

Но она кинула в него тяжелым пресс-папье со стола, угодила в голову. Он пошатнулся и упал. Наклонившись к нему, увидела Степанида, что он жив, чуть слышно дыханье. Только обмер, оглушенный ударом. Надо было спешить. Тяжелый портфель и свертки с деньгами нести с собой невозможно. А где их спрятать? Где? Она прежде всего захлопнула шкаф, сунула за пазуху ключи. Потом беспомощно стала озираться по комнате. И вдруг решилась. «Будь что будет. Не подумают, что на виду брошено. Похитрей искать будут».

Сунула портфель и сверток в камин, прикрыла их стоячими дровами и придвинула низенькую ширмочку. В коридоре уже слышались встревоженные голоса. Очевидно, ее искали. И вдруг дверь задрожала от ударов. Завопила за дверью Валерия Львовна:

— Борис Платонович! Открой, скорее открой! Слышишь? Борис Платонович!

Мужа звала. Степанида метнулась к окну. Оно выходило во двор. И никого вокруг как будто нет. Уже перекинувшись во двор, услышала Степанида, что дверь кабинета трещит. Очевидно, ее взламывали. Степанида поторопилась и свалилась с размаху на землю. Упала боком, правой рукой на камень. От боли потемнело в глазах, но все же превозмогла ее, поднялась, глянула в глубину двора. Никого. Добралась до каменной кладовушки. Заперта. По двору нельзя. Да и некогда. В квартире слышен шум. Затаилась на земле между кладовушкой и погребом, в нешироком закоулке между двумя постройками. Но вдруг медленно ноги поехали по земле. Она упала. Лишилась сознанья от боли в руке.

V

Деньги Степанида все-таки сберегла для своих. Красные пришли быстрей, чем их ждали. С тревожной вестью Валерия Львовна и стучала к мужу в кабинет. Управляющий отдышался, но ни погоню за Степанидой устраивать, ни денег искать было некогда. Охрана из кухни немедленно исчезла при первом извещенье о том, что красные близко. Надо было шкуру спасать. Радовались, что лошади нашлись. Быстро уехали. Ни в доме, ни во дворе не искали. Прислуга, захватив одежду и вещи, тоже скрылась из дома. К пустому несгораемому шкафу рабочие пока по-

ставнли охрану, и только Степаинда, очнувшись, объясила, что он пуст. Пришла в себя оиа, в полный разум, уже в комиате, иа господской постели. Кругом увндала своих. Сновали по комнатам жеиы рабочих. К ней подошла Марья Потапова. Во дворе гомоиили красиоармейцы.

Сбережениые деньгн большую помощь копейскнм оказалн. Поэтому Степанида прнобрела огромиое уваженье среди своих. И только это обстоятельство помогло ей пережить скорбиые дии. Федор ие вернулся. Его убнлн в последией схватке с белымн, близко от копей. Чуть-чуть ие добрался. Степаиида долго промаялась с раздробленной рукой. Она высохла н плетью болталась в рукаве. И первое свидаиье вдовы с детьми было обнльно слезами и причитаиьямн. Но жнть надо. Поэтому Степаинда сурово остаиовила свекровь, когда она н на другой день причнтать начала:

— Будет, мамонька. Слезами мертвых ие подиять, убыли не пополиишь. С одной рукой, а проживу. И левой иаучусь, что-ннто сработаю. Не в драке ее потеряла. Людям помогала, люди и ие оставят. Дело для меня иайдется. Какуюинто пользу еще прииесу.

Дело для иее скоро иашлось. Приехала Марья Потапова. Заговорила живым говорком своим:

— Жива? Нагляделась иа детушек? Ну, и слава богу. Давай-ка опять собирайся в дорогу. Детей после перевезем. Мы тебя делегаткой выбрали.

— Это как делегаткой?

— А вот иа первом жеиском собраиьe, едииогласио!

— Как же заглазно? Разве можно?

— У, чего нельзя! Все, как одиа, загалдели, тебя да тебя. Достаием, говорят. Оиа теперь иашинская, пусть здесь постарается. В деревие с одиой-то рукой все одио какая ты работиица?

Собрались и поехали.

С жаром, с большой охотой Степаиида за работу и за учеиье приялась. Выбирали ее на миогие собраиья, н на губернскую коифереицию выбрали. Там иазиачили ее делегаткой в здравотдел.

Старуха со внучатами с ией в город охотилась.

А старик заупрямился:

— Где роднлся, тут и помру. Я на тебя не серчаю, ты, вндать, ие с дурью, а с делом. А все одно меня перемастрячивать уже поздио. Не люблю, когда бабы в общественное дело суются. Выращнвай детей, на это я тебя

благословляю. Ну, охоты нет на ваше это новое глядеть. Здесь доживу.

И старуха осталась с ним вдвоем век доживать. Старик недолго проскрипел. Через три года старуха продиктовала учителю письмо к Степаниде о том, что родитель кончился, как быть с избой и коровой.

Не прошло месяца, как в теплый зимний день подъехала к похилевшей линюхинской избе подвода. В ней сидела повязанная серым пуховым платком женщина и четверо ребятишек. Старуха к окошкам кинулась.

— Да, никак, это Степанида? Ой, батюшки, никак, она!

Женщина уже в избу вошла и сказала, усмехаясь:

— Не ждали гостей, мамонька?

Скоро высокая, строгобровая, с гладко зачесанными волосами женщина стала на всех сельских собраньях появляться. И около ее избы часто сбивались стайками бабы.

— За справкой пришла.

— Муж послал. Дознайся, мол, у Степаниды. Эта во всяком деле разберется.

— Другие-то нашинские коммунисты только страсть задают, а эта ничего.

— Правильная женщина. От этой указка всегда в дело.

Еще через два года на перевыборах была избрана Степанида Линюхина председателем сельского Совета. Старуха, узнав об этом, сказала со вздохом:

— Это уж чего-то совсем бабе не личит. И мужики, боюсь, не шибко обижаться на тебя станут. Ловко ли — баба на селе голова?

Степанида усмехнулась:

— Ничего, мамонька. Руку потеряла, головой научилась работать, не боюсь.

— А ты шибко-то не хвались.

Степанида тихо ответила:

— Я и не хвалюсь. Только стараюсь. Ты всю жизнь около своей избы простаралась, а мне пришло дело над всем селом. А доченька моя, может, и над губернией сумеет. Жизнь-то бабья шире пошла.

1925

Леонид Леонов

•

Возвращение Копылева

Д. Н. Кардовскому

В сумерки Мишка снова вышел на опушку и, забравшись на дерево, озирал родимые места. Веяло осенью с заката, острые тыманцы покачивались в низинках. Мишку знобило; был он бос, а одет в лохмотья, которыми надеялся вымолить пощаду у мужиков. Деревня казалась неживой, но блеял за стогами заблудший баран и повизгивали в дальней тишине качели, а Мишке слышался вдобавок и веселый девичий смех. Даже изнеможенного бездомными ночами, одолевали его любовные соблазны. Все мнилось ему, будто на весенней луговине сходятся и расходятся девичьи кадрили, а посреди красуется он сам, первый кавалер в округе. Сидя на дереве с поджатыми ногами, Мишка густо покраснел от стыда за хламной свой вид, в котором судьбы и зима пригоняли его на родину. Шла ночь, из лесу наползали тоска и страхи. Мир предавался дремоте, великодушно предоставляя и Мишке на ночлег его осклизлый сук.

Здесь вырос Мишка, отсюда вскинуло его великим ветром на житейские вершины, и когда забунтовали здешние мужики, сюда послан был Мишка на их усмирение как мужик по рожденью и знаток окрестных мест. Румяный и статный, облеченный властью эпохи, подступил Мишка с войском к родной деревне. Мужики нагромоздили бороны на въездах зубьями вверх, но Мишка подпалил деревню и, взяв на приступ, усмирил ее своим мужицким способом. Согнав на сход покоренное племя, подручный Мишкина завоеванья разъяснял мужикам суть наступающей нови, а Мишка, в розовой рубахе и увешанный оружием, важно сидел тут же, в кресле, реквизиро-

ваииом у попа. Еще тлелн головешки вчерашиего пожарища, и мужикн покорно преклонялн головы перед идеей, которую прнносил нм Мишка Копылев.

Неделю прогостнл Мншка в родиой деревне, куря сытные папиросы и страдая прыщом; войско следовало прнмеру военачальника. Иногда Мншка выходил гулять и шел вииз, к пруду, таща за собой на веревочке пулемет: чутьем угадывал Мишка затаениую иемириость мужиков. «К водопою собачку повел...» — украдкой шутили мужики, но ин одна живая собака не смела облаять железиую собаку Мишкн Копылева. Порой нападала иа Мишку тревога перед великим безмолвнем округн, и тогда, застигнув земляка на дороге, мытарил его тягучимн разговорами. Так попался ему раз бондарь Ермил Полушкни, мужик татарской вндимости н сокрытного ума; как нн старался бондарь, не отвертелся от беседы с могучим завоевателем.

— Должон ты понимать, гражданин, кто я есть. Я ноиче в зенитах, все могу. Могу заветную рощу сжечь, могу коией пострелять... все в моей власти, Полушкии. Я вас бью блага ради мужнковского, потому — сам я мужнк. Человека не бнть, так он забыть может, что ои человек. Поиимаешь, отчего я говорю тебе все это?

— Убндительио вынуждают поиимать,— тряхнул плечами Полушкин.

— Что же ты поинмаешь, ответь мие своими словами! — важно приказал Мишка, удерживая собеседника за плечо.

— Боязио, Миша. Слово не стрела, а хуже стрелы,— внлял Ермил, косясь иа брящающую оружием грудь Копылева.— Крнчишь, пытаешь, Миша, а на себя крнчишь... н получается в тебе оттого сосанне сердца. И иевдоумок мие: иачальник ты, все можешь, а боишься, боишься меия, Миша!

— Уйди, отчадие ада! — гневно затопал Копылев, всклубляя сапогами пыль дорогн.

Не из дурачества лютовал в те сроки Мншка, а от леиивой прямолннейностн ума и еще по крохотной причинке, иеведомой мнру. Еще в прогеройскую пору, когда был только бабннком и озорником, возиикла в его могучем теле беспамятная любовь к Арнике Гусевой. Девочка возрастом, оиа приманила грубую его силу иежиой грустью, которую таила в глазах. Студеиые озерки, весенние чащи и прочие волительные чудеса отыскал в них Миш-

ка, но она отвергла его ухаживанья и посмеялась над угрозой. В поисках другого счастья покинул Мишка деревню, но удачи завлекли его в глубь жизни, откуда он вернулся уже опаленным пожарищами эпохи. Мечта об Аринке толкала его на бурные самодурства, за которые впоследствии и выгнали его отовсюду,— в мире не пригодилась глупая его сила...

Лишь теперь до него, посинелого от стужи, доползла удушливая гарь давнишнего пожарища. Новые избы белели в сумраке, призывно светились окна, но мнилось ему все это ловушкой, где, прикинувшись Аринкой, караулит его мужиковская месть. Ища пути к бегству, он воровски оглянулся назад... Лес усмешливо молчал, замахивался руками, пугал, дразнил... Тогда, мыча и пыхтя от звериного одиночества, Мишка спустился с дерева; ноги его обожгла ледяная роса предзимья. Неохотно подняв с земли суму и палку, суковатую палку странника, он бесчувственной стопой шагнул вперед, на деревню.

Он шел быстро, просырелые лохмотья задымились паром; все еще стоял в неизвестности надоедный бараний плач. Перепрыгивая ледяные грязи и длинные световые лучи от окон, Мишка бежал вдоль главного порядка домов, когда женский голос из тьмы опросил его о пропащем баране. С бесовской уверткой Мишка вильнул за случившуюся тут часовню, но наткнулся на женщину и замер, вцепившись в ее рукав и сердцем учуяв в ней Аринку.

— Мишка? — тихо сказала она без испуга или удивления.— Ступай, ступай, откуда пришел. Тут из тебя жмурика сделают...

— Аринушка,— бесстыдно и с непонятной надеждой шепнул Мишка, переступая босыми ногами,— замужем ты аль еще в девках бегаешь? — Но она оттолкнула его и растаяла во тьме, такой плотной, что было бы ее хоть рубанком строгать.

Встреча внушила Мишке бодрость: Аринка помнила его, не прокляла, не ужаснулась, даже пожалела беспутную его долю. Забыв про опасность, в дом свой он ломился всем телом, просившим тепла и отдохновения. Сооружение прадеда, дом был мрачен и просторен. Мишке отпер глухонемой его брат и сразу замычал, выражая бурное свое удовольствие.

— Ну-ну, развалишься от радости. Корми старшакато! — неестественно захохотал Мишка и вбежал в избу.

Нежилым запахом дерева и сухой малины встретил его

дом отцов, но лежал на всем отпечаток как бы бабьей руки. Вымытый пол простелен был половиком, печь выбелена, горшки в солдатском порядке и опрятности стояли на полках, а на стене торчал в трех гвоздях осколок облезшего зеркала. «Сидит один, как редька, делать ему нечего, вот и старается»,— подумал Мишка про глухонемого, который суетился, готовя брату еду и сухую одежду, и даже в порыве усердия вытер место на лавке картузом. Нешумный и покорный своему бесцветному жребию, он не обижался на молчание вернувшегося хозяина, который торопливо примерял на себя его простиранные рубахи. Мишка был крупнее телом, и рубахи глухонемого лопались на нем, как бумажные.

Сидя спиной к окну, Мишка жадно пожирал печеную картошку, и повеселевшее его сердце почти примирилось с предстоящею участью. Мирская кара нагрянет не прежде утра, а пока впереди ждали теплые нары и крепчайший сон. Раз попав в западню, Мишка вдосталь лакомился чудесной ее приманкою. Валенки согрели ноги, и кровь пламенно вливалась в опухшие щеки. Вытянув ноги, он домовитым оком озирал внутренность избы и не особенно огорчался ни разлохмаченной паклей в стенах, ни провисшим полом. Окрепшее от еды и тепла тело уже теперь требовало труда, но он справился с собой и усидел на месте, поборов кстати и сладкую дремоту. Предчувствие сна было ему слаще самого сна.

Вместо того, подняв сумку с пола, он стал разбирать вещи — трофеи своих завоеваний: кусок сахару, пару ветхого белья, неизвестного происхождения царскую копейку и бритву, утонувшую в размякшей краюхе хлеба. Бритва была вполовину сточена, но острая и без недостатков; бритва была драгоценностью в деревне,— бритву Мишка вытер о штаны и положил на стол. Вдруг необоримое желание побриться возникло в нем. Натерев мылом щеки и пальцем разведя на них серую пену, Мишка приступил к делу перед зеркалом, снятым со стены. Глухонемой с восхищением дикаря наблюдал за братом и тянулся потрогать невиданную вещь.

— Это бритва, понимаешь?.. Во, были щеки в волосах, а теперь, эвось, ровно коленка у девки. Это еще что! Вот в городе у меня бритва была,— востра, конца даже и не видать... еще и в руки не брал, а уж порезался! — Он покосился на глухонемого, который восхищенно чмокал губами, уставясь в Мишкин рот.— Потерял я, брат, тую

брнтву... все потерял. Но ты не гляди, что я в ннщем образе вернулся: это я нарочно пугало огородное ограбнл! Смекай мою хнтрость, дурачина, уважай за столнчность, я все могу!

Однако, предупреждеиный мычаинем глухонемого, Мншка обернулся к окну и тотчас в испарнне отпрянул в угол: в окне, деловитое н с приплюснутым носом, мерцало лицо Ермила Полушкиия. Так прошла минута, потом глухонемой задериул занавеску и побежал посмотреть на крыльцо. Тревога была напрасиа: деревенский мрак плотен, а сои иерушим. Завернув брнтву в тряпочку и положив под образа, Мишка привернул лампу и стал укладываться иа иочь. Он долго лежал без сна, слушая вздохн глухонемого и пугаясь потрескиванні в подполье: больше всего ои боялся, что его застанут во сие. Потом стало представляться: на обуглениом пепелище сидит кошка н глядит в Мишку щурким глазком. Мншка перевериулся на живот н уснул сразу, как дитя...

На рассвете состоялся деревеискні сход, и утром мужики пришлн за Мишкой. Глухонемой топил печь, густой огоиь лнзал котелок в печн, когда вошлн мужнки. Оии приесли с собой уличный холод н заследнлн вымытый пол, ночью выпал первый непрочиый сиежок. Мишка лежал иа лавке, головой под образа, накрытый простынею и со сложеиными на груди руками; в головах у него горела страстная свеча. Мужики перегляиулись и подошли ближе. Двое, друзья, Анфим Фионин да Левак Петров, выдвинулнсь вперед нз толпы.

— Никак, помер? — сказал Фнонии.

— Дышит,— усмехнулся Левак.

— Ишь ты, яко бы мертв лежит! — продолжал Фиоиии.

— В покойника прячется,— презрительио откликиулся Левак. Тогда Полушкни раздвнвул сборище, беря власть на себя.

— Погоднте, граждаиы,— сказал он важно.— Мертвый не живой, мертвый простых слов не слышнт... и наперво надо свечу задуть, еще пожара наделает! — Он значительно снял шапку.— Мнша, успеешь помереть! Отмолвн хоть словечко землякам, эку раиь для тебя подиялнсь. Молчнт... Слушай, злобы в нас нет, а порешнл тебя мир убить за твои грехи. Помолнсь, дружок! — прокрнчал он в самое ухо Копылева, но тот не отзывался.— Дай сюда нголку,— сухо приказал он глухонемому и тут же, приподняв без-

жизненную Мишкину руку, медленно погрузил иглу в мякоть ладони.— Видали вы, гражданы, чтоб из покойника кровь текла? — вопросил он, беря каплю на палец и показывая молчащему миру.

Мужики зашумели и заволновались: румянец явно выдавал страшное Мишкино притворство, но он был мертв и не откликался ни на боль, ни на бранное слово, а убивать мертвого ни у кого не подымалась рука. Мишку толкали, щекотали, прижигали огнем, и уже смрадная гарь распространялась от обожженного пальца,— Мишка лежал торжественно и недвижно, лишь беззащитностью своею сопротивляясь темному гневу мстителей. В углу тихонько выл глухонемой, а из котелка выкипала еда.

— Чего ж парня портить зря! Рука ему нужна, рукой ему работать надо,— сказал тут Матвей Гусев, отец Аринки, отстраняя смущенного Полушкина.— Нам его убить запрету не положено.— Он был прав: никто в мире не ведал, что Мишка возвратился из дальних странствий на родину.— А мертвого убивать не след, мертвый — прощеный. Мертвому неколи в нашу игру играть! А зовите сюда, мужички, Зотей Васильича.

Мир зашумел опять, но уже развеселясь затеей Матвея Гусева. Кроме славы великого знахаря, слыл Зотей Васильевич замечательным рассказчиком в округе, и когда на сходах доходило слово до Зотея, хохотал до упаду мир. Седенькому и в оловянных очках смехотворцу этому ведомо было высокое таинство смеха не хуже, чем заговорное его могущество. Распутицы на полмесяца останавливали мужиковское бытье, и оттого вдоволь было времени потешиться над отступником.

Зотей Васильевич вошел мелконьким шажком и, покрестившись на образа, сел у Мишкина изголовья. Наскоро ему объяснили надобность, и он лукаво улыбнулся на мертвенное Мишкино спокойствие.

— Зря тебе ноне, Мишка, псалтыря читать, а лучше послушай, Миша, сказочку... мрак свой могильный повесели! — ласково зачал Зотей, и хотя ничего покуда не было сказано смешного, разразились мужики хохотом на Зотеево вступленье.— Жил на скушном, неподрушном этом свете единый дурак и пошел со скуки к попу на исповедь. Поп и спрашивает: «Сладким не грешил ли?» — «На твоей,— отвечает,— батюшка, на пасеке!» — «Та-ак, а бабой,— дескать,— не сквернился ли?» — «На твоей,— отвечает,— батюшка, на матушке...»

Дальше ничего стало не разобрать. Кто где, а иные, просто присев на пол, предавалнсь полномериому веселию. Лай, писк, треск и грохот иаполнили избу: тяжко мужиковское веселие, как тяжек мужиковскнй труд. Даже сам Матвей Гусев, староверского коренн старнк, держался за жнвот, мелко взрыдывая от смешлнвого удушья, а другие н того хуже. Лишь однн глухонемой пуглнво взирал с полатей иа пытку смехом, самую опасную для смешливого Мишки. Но тот лежал в прежнем гробовом уедииении, молчаиием посрамляя Зотеево мастерство.

Вдруг Зотей обнжеино смолк, разом прекращая бешеиство смеха, вселившееся в мужиков.

— Пощекотить бы его,— молвнл ои, озабочеиио качая головой.

— Щекоталн уж, дядя Зотей! — хором пожаловались мужнки.— Хочь голову отвернн, не прочкнется. На тебя всю надежду возлагаем.

— Дайте конский волосок тогда,— сумрачно повелел Зотей и, когда повеленне его нсполннли, засунул гибкнй волос в Мншкни иос, деловито присматрнваясь к лицу испытуемого.

Он вертел оруднем своим всяко, волосок свнрепо таицевал виутри; лнцо Мншкиио побагровело, и судорога воли сузила иабухшне губы, ио сам ои ие шевельиулся, отдаваясь полиостью на горькую мнлость мнра.

— Оборотень! — сознаваясь в своем бесснлье, определил Зотей и поднялся уходнть. Хватало ему дел и без Мишки: заговаривал Зотей порезы, заколы и запалеиных лошадей.

Мужики ушли, потеряв иа этот раз надежду пробудить Мишку от смерти ложной к смерти нстинной. Но на другие сутки, в полдень, они пришлн опять, хотя и в меньшем количестве, пришлн иегаданно. Мишка сиова лежал под образами, и в головах у него зловеще пылала свеча. Кто-то заметнл, что на мертвеце иовая была рубаха, н это разъярило мужнков. Мншку за волосы потащили к колодцу и, бросив под колоду, поливалн осениею, с ледяным хрящиком водою. Ничем, одиако, было ие вызвать Мишку из могильиого его оцепеиеиия; плюнув иа злодея, мстители разбрелись по домам. Под колодцем пролежал Мишка до сумерек, а в сумерки пропал, и когда зашел проведать мертвеца Ермил Полушкии со товарищи, иашел его уже сухого, иа лавке, с тою же свечою в головах. Присев рядком, Полушкин долго и горестио выговаривал Мишке его

нечестность в игре, но уже не посмел отнять у мертвеца обрядную его свечу.

— Не ждали мы от тебя подобного злодейства, Миша! Полдеревни по ветру пустил, старшине два пальца отрубил в допросе, а ныне дитем прикидываешься, бессовестный. Эка серость твоя, Миша!.. Утешь сердце, хошь побить себя дайся.

Так целую неделю, но все в меньшем числе, приходили мужики удостовериться в Мишкиной кончине, а тот все лежал, непетый, безладанный. Примечали мужики, что в промежутках между посещениями все новее выглядит внутренность избы, а однажды, прийдя невзначай, застали в избе плотницкий верстак и свежие стружки, но сам-то плотник лежал покойником. Мужики качали головой и уходили, вконец обиженные Мишкиным небрежением к мирскому гневу. Глухонемой надрывно скулил в уголку, плохо поддаваясь на расспросы: мертвого бить совестно, а дурака и грешно! Наконец, наскучив злодеевой судьбой, целую неделю никто не нарушал Мишкиных трудов по дому. Только ввалился как-то в одиночку пьяный Полушкин и в последний раз увещевал предлежащего однодеревенца.

— Неправильно играешь, плутуешь, Миша. Запил я из-за тебя, во. Лежишь? Ну, лежи, злодей, до второго пришествия! — плакался бондарь, мелко постукивая кулаком по Мишкиной груди, как по кадке.

Мишку забывали, но еще не разрешали от греха; показаться ему на улицу значило пойти на безвременную гибель, да и дома приходилось быть настороже. Как бы то ни было, Мишка новил дом, перестелил пол и вообще существовал полным мужицким бытом; даже прошел слух, что он видается с Аринкой Гусевой в окончательное посмеяние мирского гнева. И правда: еще через неделю почуял себя Мишка вправе и в баню сходить. Баня стояла на задворках, густо заросшая вишенником.

Тонкий снежок пропорошил в этот день округу, и пар в бане, стараниями глухонемого, вышел на славу. Уж полчаса хлестался Мишка веником и уже выпарился, как морковка, а все не мог отстать; слезала с него слоями многолетняя кожура. Как бы молодая березка распускалась над головой, а душистые ее корни сидели глубоко в легких, щекоча кровь и дыхание. Тут пожелал Мишка окатиться ледяной водой для здоровья, но вода нагрелась в ушате, да и не хватило бы ее на полное Мишкино удо-

вольствие. Как был, голышом, Мишка выскочил с ведром иа огород, к колодцу, ио вдруг тишина кругом зашевелилась мужиками. Отовсюду протяиулись к иему черные, корявые руки, и Мишка покорио откииул в сторону ведро. Десятки рук жадио держали его за локти, плечи и даже за голову. Тут же накииули на него тулуп и повели в избу к Фионину, где заранее собран был сход для решения его участи.

— Как же ты следов-то иаших на сиегу не приметил? Ишь утоптали,— воодушевлеино шутил Полушкии, ведя добычу свою под руку.

— Да уж больно жар-то хорош. Эко прямо сад райский, а ие баня! — отвечал Мишка, бесстрашно шагая к казни.

— Баня первый сорт,— охотно соглашались из толпы, следовавшей сзади.

...Невидаиное оживлеиие охватило деревню; бабы галдели под окнами, малые ребята рвались вовиутрь. Злодея провели в избу и двери замкиули иа засов. Воздух был спертый, а запах густой, чериохлебный. Впереди сели старики, ио как-то вышло, что еще ближе оказались молодые. Мишку поместили у печки; он дрожал от холода и все натаскивал иа распареииое плечо сползающий тулуп, на котором еще висел замерзший бабий плевок.

— Трясется Миша от предчувствия,— сказал, между прочим, одии мужик, вертя цигарку и кивая на обреченного.

— Ежели кто когда вздрогиет иевзиачай, это значит — по могиле его прошли! — отозвались от двери.

Тут Мишка приподиялся, прикрывая конфузио срам от стариков.

— Убивайте, коли иасолил... а то дайте хоть одеться, дьяволы: всяка жилочка во мие продрогла! — крикнул он, но Анфим Фиоиии да Левак Петров молчаливо усадили его иа отведеииое место, и тогда выдвииулся вперед Матвей Гусев, едииодушио выбранный за почетность в обвинители.

— Не тормошись, а сиди, славь бога в дудочку! Дело к вечеру, а с утра иные дела ждут. Ноиче и решим твою судьбу,— кииул ему Матвей и огляделся на мир, который с одобреиием виимал ему.— Сам мужик, мужикорожденный, можно сказать, на мужика пошел: изменщика порешил тогда покончить мир. Нагрешил и сбежал, а земля-то и притянула злодея... крепчай магиита действует земля-то!

А только и смертью, полагаю, неразумно злодея учить. Парень крепкий, устойчивый, наш... Чего ж его губить за ребячий разум: муравей и тот своей кучи не рушит... А следует нам, мужички, поучить его телесно!

— Меня нельзя... я «Георгия» имею,— с дрожью в голосе возразил Мишка, но мужики только рассмеялись.

— Эк ты, человечинка с ветерком! Мы «Георгия»-то с тебя сымем, и станешь ты обыкнавенный мужик. Ну-ка, крестись да раскладывайся.

Полушкин сдернул на пол тулуп с Мишки и легонько толкнул на скамью, а бабы и ребята подавали в окна старую крапиву, седую от инея, мелколистую, самую злую. Ломалась промороженная трава, и тогда сбегал Полушкин за вожжами. Однако, прежде чем дать знак к началу порки, он суетливо потрепал рукой пышное Мишкино мясо, оставляя на нем ржавый след бондарской руки.

— Крой, Ванька, бога нет! — отрывно крикнул он потом, отступая в сторону и хмуро стискивая зубы к предстоящей забаве.

Те же самые Анфим Фионин и Левак Петров, друзья, со рвением выполняли мирскую волю. Хитрый Фионин действовал вскласть и на оттяжку, а простодушный Левак рубил своей вожжой, как дурак цепом. Без стона и брани, а вначале даже посмеиваясь, принимал Мишка присужденное наказание; потом он замолчал, лишь пристальнее упершись взглядом в одну точку. Только в одном месте, когда начинала синеть спина, стал он было покряхтывать, но закусил губу, и тотчас же черная обнаружилась на подбородке кровь: остатком сознания помнил он, что в толпе баб за окном могла находиться и Аринка. Веселые вначале восклицания мужиков теперь прекратились совсем, уступив место мерному визгу вожжей: молча, насупив лица и блестя зубами, следили мужики за происходящим действом.

— Эко молодецкое тело, что переживает! — похвалил наконец один и нагнулся посмотреть в упавшее Мишкино лицо.

Подернутые пленкой бесчувствия, медленно закрывались злодеевы глаза, точно клонило их в непробудный сон, но на раскусанных губах мертвенная лежала усмешка. Тогда Гусев остановил наказание, а палачи вытерли рукавами пот с лица. Разжав ножом оскаленные Мишкины зубы, Полушкин бережно вылил туда полчашки самогона. Затем Мишку осторожно переложили на тулуп, и четверо

понесли его домой. Одновременно вызван был из своей закутки Зотей Васильевич лечить исполосованное тело Мишки Копылева.

Как неделю назад, но уже на животе и глухо вздрагивая от предсмертной икоты, Мишка лежал у себя на лавке, и чадная свеча над ним имела теперь свой истинный, ужасный смысл. На столе возле Мишки стояли травные Зотеевы снадобья и щедрые дары деревни: сметана в крынках, пироги с грибами, холст и темный самогон в бутыли. К ночи прибежала Аринка и, невзирая на присутствие знахаря, плакала и гладила Мишкины волосы, слипшиеся в смертном поту. Поверженный и усмиренный, он стал ей ближе теперь, чем в пору лютого своего владычества над округой; теперь она его любила и почти недевической лаской призывала из грозного его оцепенения. Потом она замолкла, незамужняя вдова Аринка, и так, дикая и растрепанная, сидела до самого прихода отца.

Гусев пришел с мужиками; они вошли тихо, шикая друг на друга и снимая шапки еще до порога. На широкоскулой харе Полушкина отпечатлен был давешний испуг. Виновато топчась у порога, они спросили Зотея о Мишкином здоровье.

— Отлежится! — ответствовал знахарь, привыкший и не к такому.— Главное, жилы в целости...

Подойдя ближе, Гусев приподнял со спины Копылева мокрую простыню и тотчас же опустил, почти выронил ее на прежнее место.

— Обняла бы женишка-то своего,— смущенно сказал он дочери, косясь на Зотея, мешавшего в плошках цветные снадобья.

— Нешто не обнимала! — сурово сказала та, кладя руку на Мишку и как бы берясь защищать его теперь против всего мира.

Мужики поспешили уйти, струсив Аринкина взгляда.

Трудно борясь со смертью, две недели пролежал Копылев пластом, а по миновании срока встал и, на глазах у всей деревни, с вилами и топором полез на дом перекрывать крышу. Проходя мимо, мужики снимали шапки и торопились уйти. Остановиться перед Мишкиной избой посмел один только Ермил Полушкин.

— Как попрыгиваешь, дружок? — закричал он вверх, виновато усмехаясь.

— Да эвось... песьяк на глазу скочил! — отвечал Миш-

ка, наколачнвая топором новую теснну иа конек и ие прерывая работы.

— Песьяк-то хорошо навозцем смазать аль-бо на узелок!

— Пройдет и так,— отмахнулся Мишка, показывая, что после пережнтого песьячный чирнй ему только в удовольствне.

Все не уходнл Полушкнн, все мялся внизу да теребил рваную шапку в руках.

— Ожениться надумал, Мнша? Дело правильное, мужнцкое дело. Что ж, Гусев — род значнтельный. Да н девочка налнмнста, статна тонсь. Надо теперь хозяйством тебе обзаводнться... У нас пудов за десять неплохую телочку укупишь. Сиротой ты к нам вернулся, а, вишь, как бы н усыновнлн злодея. Дороже сына ты нам теперь, пра...

— Ладно, заходн сутемень, угощу! — посмеялся Мншка, отмахиваясь от удовлетворенного бондаря.

Приклепав боковую теснну, Мншка уселся верхом на высокий конек кровли н озирал окрестные места. Денек выпал знойкий, пасмурный, редкне снежинкн опять летели на зыбучую, распутную грязь, но Мншке сладостно было сндеть тут, на юру, вознться с непослушной духовнтой соломой, уставать, дышать, жнть. Впереди ждала его свадьба, труды н простецкое мужнцкое счастье. Все вглядывался он в дальнюю опушку, ища дозорной своей березы, но даже н дороги не различал затуманенный его взгляд; сумеркн быстро струилнсь из просыревших полей.

Вннзу говорливой стайкой пробежали к качелям девкн, и одна чаще остальных взглядывала на приправленную Мншкнну кровлю, под которой предстояло ей жить.

— Эй, куклы! — заорал вдруг Мншка, налнваясь кровью, н сам вдрогнул от неожиданного своего крнка; даже зачесалнсь в спине незажнвшие царапины.— Погоднте, я вас сам покачаю. Вот он я, Мишка Копылев... все могу! — И, не договорнв до конца о своих возможностях, стал поспешно спускаться на землю, к глухонемому, который грустио и одиноко смотрел сннзу на его непонятное веселье.

1927

Александр Аросев

•

Первая концессия

Вблизи одного заброшенного города, вероятно, того самого, где совершал свои похождения Чичиков, иностранцы задумали строить большой завод на участке земли, который они купили у крестьянского общества.

Купить у крестьян землю и было самым трудным делом. Переговоры приходилось вести и в отдельности с каждым, и с целым обществом, на сходе. Нужно было усиживать самовары до седьмого пота, пить водку, как квас, «бить по рукам» и ударять пола в полу. Все эти операции по поручению предприятия проделывал один из директоров его, по имени Эмедей. Он волей-неволей стал понимать русский язык и немного начинал говорить на нем.

Крестьяне переименовали его в «Самадей», да еще прибавили и отчество от себя: «Иваныч». Получился Самадей Иванович. А что касается русского языка этого Самадея Ивановича, то при окончательном заключении сделки один из крестьян, старик, сказал ему:

— Видим мы, Самадей Иваныч, что умный ты человек, а почему же по-нашему не можешь все-таки говорить?

Впрочем, крестьяне относились хорошо к Самадею Ивановичу: приглашали его на свои праздники, родины, крестины, свадьбы.

А тем временем неподалеку от деревни вырастал железный скелет завода и начал даже обрастать понемногу красным кирпичом.

Когда началась война, немцев стали высылать. Но Самадей Иванович был не немец, и его оставили в покое. Среди замутившегося русского моря Самадей Иванович,

вероятно, чувствовал себя как Ной среди стихии потопа.

Проходил один год, и другой, и третий...

В один майский ясный день в деревню приехал молодой бойкий матрос. Он собрал крестьянский сход и произнес лихую речь по поводу того, что теперь надо отбирать землю от помещиков и буржуев.

Через несколько дней под его руководством крестьяне приступили к порубке казенного леса и к овладению помещичьей усадьбой.

Но как же быть с землей, что под заводом? Крестьяне обратились к матросу.

Матрос ответил:

— Чья земля под заводом, буржуйская?

— Вестимо! — отвечали сипловатые крестьянские голоса.

— Значит, отбирать! Чего же вы сумлеваетесь?!

Однако крестьяне заколебались и решили вызвать на сход для объяснений Самадея Ивановича.

Иностранный директор недостроенного завода пришел на сход с трубкой в зубах и с европейской свободной уверенностью в движениях.

По его адресу матрос произнес длинную и сокрушительную речь и закончил призывом лишить эксплуататоров земли.

Но странно: в присутствии иностранца крестьяне не высказали особенного восторга по поводу речи. Словно руки и языки их кто-то связал. Впрочем, некоторые слабо поддакнули матросу. А стоявшие поближе к иностранцу сказали:

— А ну-ко, какое твое слово будет, Самадей Иванович?

Иностранец не то чтобы взял слово, а просто смиренно, негромко проговорил, не входя на трибуну (трибуной было толстенное дерево, уже два года лежавшее при дороге):

— Товарищи, я ведь вас не грабил и не эксплуатировал, а землю купил за наличный расчет.

— Ну и что ж? — раздался голос из толпы.

— А помещик у вас покупал землю?

— Вестимо, нет!

— Мы с вами по рукам били? — спрашивал иностранец.

— Били, — отвечал сход.

— Пола в полу руки клали?

— Клали.

— Сделку водкой и чаем вспрыскивали?

— Вспрыскивали,— соглашались мужики.

— Целовались?

— Целовались.

— А деиьги с меия получили сполиа?

— Сполиа, Самадей Иванович, чистогаиом, сполиа. Это правда.

— Как же вы теперь хотите от меня отбирать ту землю, которую сами же мие продали добровольио?

Крестьяие потупились и легонько загудели, как самовар, поставлений иа сырых углях. На трибуну вышел старик.

— Товарищи, а ведь Самадей-то Иванович говорит правду. Дело это было годов пять али четыре тому иазад. Помиим, все мы помиим... Сами мы ее, землю-то, ему продавали.

Крестьянские головы закачались, как сосиы под ветром. Матрос опять говорил. На этот раз о социализме. Крестьяне гудели и не соглашались. Матрос охрип. А сход постановил: землю, что была куплеиа под завод, ие отбирать.

Матрос подчинился большииству. За это ои приобрел большой авторитет и вскоре стал председателем в волости.

Когда матрос стал властью, к нему пришел Самадей Иваиович за удостовереиием для безопасности, иа всякий случай.

— Вот что, товарищ,— ты меия извини; хоть ты мне и ие товарищ, ио у иас теперь положеиие такое, и я должеи называть тебя товарищем,— удостоверение я тебе дам, но только, если придут белые, иа ихиюю сторону склоияться иикак ие моги, потому тогда мы порешим вашу землю.

И выдал удостовереиие:

«...предъявитель сего комиссар и директор геиеральиого иностраииого коисульства по постройке завода...»

1929

Максим Горький

•

Рассказ

Когда человек узнал, что в трех днях пути от его становища пришлые люди вспахали в степи машинами огромный кусок никогда еще не паханной земли и машинами засеяли его, человек подумал, что это такие же древние люди, каков он сам, но глупее его.

В старом теле его жила тысячелетняя душа, и он знал: горе и радость всех людей степи в том, чтоб пахать землю, сеять и собирать хлеб, а все иное, что делают люди, можно не делать. Земля родит человека для работы на ней, а когда человек изработает силу свою, она поглощает тело и кости его.

Летом над землею знойное солнце плывет медленно, а за ним прилетает с востока горячий ветер и, выжигая хлеб, травы, сушит человека тоской, сушит страхом голода. Изредка ветер сгоняет в степь черные тучи, они поят землю дождем, и тогда душа радуется — будет много хлеба. Зимою солнце скользит в небесах быстро, пронзительно холодный ветер носится по степи, шуршит по земле, свистит, скупо сеет снег, а по ночам поет всегда одну и ту же песню:

«Восходит солнце и заходит, а земля пребывает вовеки.

Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

Человек не думал о тяжелом, уничтожающем смысле этой песни потому, что он слишком хорошо знал смысл ее. Думал он о своем скоте, о жилище своем и хлебе, думал иногда о жене своей, но думал всегда только о своем и почти никогда о себе.

Он был уверен, что нет машины, которая поборола бы силы зноя и холода, и не изменит машина путь злых ветров.

Человек этот был издревле привычен жить надеждами на помощь извне от бога, от жреца и знахаря,— жить без веры в силу разума своего, темной надеждой на тайные силы вне человека.

Когда пришла пора уборки хлеба, он, полудикий степняк, собрав свой скудный урожай, пошел посмотреть, как собирают хлеб машинами пришлые люди. Может быть, удастся посмеяться над ними.

Широкоплечий, коротконогий, в тяжелых сапогах, в толстом кафтане цвета дорожной пыли, он стоял среди степи, точно вырубленный из камня, серое бородатое лицо его — тоже каменное. Между шапкой, сдвинутой на брови, и бородою недоверчиво, угрюмо светились темные глаза — «зеркало души». Волосатые ноздри его равномерно дышали, шевеля серые усы.

Он смотрел, как пришлые люди суетятся вокруг сооружения, мало похожего на машину, а скорее на диковинного зверя, каких иногда видишь во сне. Длинная шея зверя не имеет головы, а хвост его, весь из ножей, сбоку огромного, неуклюжего туловища. И туловище так нескладно, как будто уже измято, изломано степным ветром. Трудно понять, как работает это чудовище из дерева и железа, как управляют люди силою его. Люди — обыкновенные, но — молоды они. Двигаются быстро, а не похоже, что работают торопливо. Если эта машина опрокинется набок, она может придавить не менее пятерых.

— Ее как звать? — спросил человек.

— Посторонись,— ответили ему, но он не сошел с места.

Сбоку или впереди чудовища дрожит и фыркает железный медведь на колесах, толстую шею его оседлал парень без усов, почти мальчишка, пиджак на нем вымазан маслом и как будто пошит из кровельного железа. Парень, толкая ногами свою машину, повернул колесо, широкие ободья железных колес тоже повернулись, большая машина покачнулась, застучала и покатилась по сухой земле, сметая хвостом колосья хлеба, подхватывая их десятками тонких, как гвозди, железных пальцев; колосья поплыли над хвостом машины куда-то в бок ее, она

тряслась и ревела от жадности, пожирая их, из перерубленной шеи машины полетела солома, полова, пыль.

Человек стоял, глядя вслед ей, рот его открывался и закрывался, тряслась борода, казалось, что он кричит, на голову и плечи его сыпалась солома, летела в лицо, в бороду, он покачивался, тыкал палкой в землю, передергивал плечами, поправляя котомку на спине. Потом, точно его выдернуло из земли, он тяжело, но споро побежал за комбайном, помахивая палкой, котомка за спиною прыгала, точно подгоняя его. Бежал не один, бежали и еще другие мужики, но ему, видимо, хотелось обежать вокруг машины, он обгонял всех, но не успевал за нею, спотыкался, и все казалось, что он кричит.

Все-таки он догнал комбайн, когда тот пошел тише, догнал и, рискуя попасть под ножи косилки, тяжело запрыгал рядом с нею. Какой-то длинный человек оттолкнул его.

— Дьявол,— хрипло сказал он, отирая пот с лица широкой, чугунной лапой.

Комбайн остановился, он подбежал к рукаву, из которого в подставленный мешок сыпалось толстой струею зерно, и, сунув пригоршни под золотую струю, зачерпнул ими зерна. Несколько секунд он смотрел на него, приподняв пригоршни к лицу, согнув пыльную, тугую шею. Потом, показывая зерно окружающим, сказал хрипло и задыхаясь:

— Настоящее... Дьяволы! А?

Рядом с ним стояли такие же, как сам он, но помоложе его, они смотрели на машину также очарованно, но и как бы испуганно и завистливо. Старик бросил зерно в мешок и тотчас же снова, сунув руку под струю, схватил горсть зерна, бережно спрятал его в карман кафтана. То же сделали еще двое-трое. Один сказал, вздохнув:

— Придумано!

— Не угонишься за ней,— сказал другой, а третий хмуро протянул:

— Где-е там...

Было сказано и еще несколько неопределенных слов, но ни в одном из них не прозвучала радость. Гордость и радость звучали только в словах тех людей, которые рассказывали о внутреннем устройстве машины, о ее работе.

— Все ж таки около нее наши хлеборобы,— задумчиво сказал кто-то.

— А кто ж? Земля требовает опыту...

Утешив друг друга, люди эти отошли прочь от рабочих «Гигаита», а тот, старый, коротконогий,— остался.

Ои подиял с земли палку и, точио шпагу, вытер конец ее полой кафтана, затем, вытряхая пальцами солому из бороды, медленно пошел вокруг машииы. Он щупал ее руками, взглядами, легонько постукивал палкой, размышляюще останавливался и снова шел, потряхивая бородой, поправляя шапку. Камеииое лицо его стало как будто шире,— может быть, ои стисиул зубы?

Потом он стоял в толпе, на митииге, и слушал речи ораторов, опираясь иа палку обеими руками, глядя в землю. Изредка ои шарил палкой у иог своих, щупал землю, как бы пробуя: та ли это земля, какою оиа всегда была?

Раздавали иаграды рабочим, иаиболее энергичио потрудившимся иа иовом гигаитском поле. Когда иагражденные получали подарки, ои пристально, из-под ладони, смотрел иа них. Получила иаграду девица, работавшая на тракторе.

— И — девке,— сказал старик соседу, потом, усмехаясь, добавил: — Замаиивают.

Вскоре ои пошел прочь, равномерно, через каждые три шага, тыкая палкой в землю, не оглядываясь. Возможио, что глубоко взволиована была тысячелетияя, покориая силам природы душа его.

Может быть, ои завистливо думал, что иовые люди способиы побороть и суховей, который иасмерть выжигает хлеб, и мороз, убивающий зерно в земле.

1929

Рассказы о героях

(Отрывок)

По берегам мелководной речки, над ее мутиой ленивой водою, играет ветер, вертится над костром, как бы стремясь погасить его, а иа самом деле раздувая все больше, ярче. В костре истлевают чериые пии и коряги, добытые со диа реки; они лежали там, в жирной тине, много лет; дачники вытащили их на берег, солнце высушило, и вот огонь неохотно грызет их золотыми клыками. Голу-

бой горький дымок стелется вниз по течению реки, шипят головни, шелково шелестит листва старых ветел, и в лад шуму ветра, работе огня — сиповатый человечий голос:

— Мы — стеснялись; стеснение было нам и снаружи, от законов, и было изнутри, из души. А они по своей воле законы ставят, для своего удобства...

Это говорит коренастый мужичок, в рубахе из домотканого холста и в жилете с медными пуговицами, в тяжелых сапогах,— они давно не мазаны дегтем и кажутся склепанными из кровельного железа. У него большая, круглая голова, густо засеянная серой щетиной, красноватое, толстое лицо тоже щетинисто; видно, что в недалеком прошлом он обладал густейшей, окладистой бородою. Под его выпуклым лбом спрятаны голубоватые холодные глаза, и по тому, как он смотрит на огонь, на солнце, кажется, что он слеп. Говорит он не торопясь, раздумчиво, взвешивая слова:

— Бога, дескать, нету. Нам, конешно, в трудовой нашей жизни, богом интересоваться некогда было. Есть, нет — это даже некасаемо нас, а все-таки как будто несуразно, когда на бога малыши кричат. Бог-от не вчерась выдуман, он — привычка древних лет. Праздники отменили, ну, так что? Люди водку и в будни пьют. А бывало, накануне праздника, в баню сходишь, попаришься.

— Так ведь это и в будни можно, в баню-то?

— Кто говорит — нельзя? Можно, да уж смак не тот. В праздник-то сходишь в церкву, постоишь...

— Ходите и теперь ведь...

— Смак, говорю, не тот, гражданин! Теперь и поп служит робко, и певчих нет, и свечек мало перед образами. Все прибеднилось. А бывало, поп петухом ходил, красовался, девки, бабы нарядные — благообразно было! Теперь девок да парней в церкву палкой не загонишь. Они вон в час обедни мячом играют, а то — в городки. И бабы, помоложе которые, развинтились. Баба к мужу боком становится, я, говорит, не лошадь...

Сиповатый голос его зазвучал горячее, он подбросил в костер несколько свежих щепок и провел пальцем по острию топора. Он устраивает сходни с берега в реку; незатейливая работа: надобно загнать в дно реки два кола и два кола на берегу, затем нужно связать их двумя досками, а к этим доскам пришить гвоздями еще четыре. Для одного человека тут всей работы — на два часа, но он не спешит и возится с нею второй день, хотя хорошо вид-

но, что действовать топором он умеет очень ловко и не любит людей, которые зря тратят время.

На том берегу реки пасется совхозный скот — коровы и лошади. Из рощи вышел парень с недоуздком в руках, шагнул к рыжему коню,— конь отбежал от него и снова стал щипать траву. Словоохотливый старик, перестав затесывать кол, начал следить, как парень ловил коня, и, следя, иронически бормотал:

— Экой неуклюжий!.. Опять не поймал... Ну, ну... эх, болван какой! Хватай за гриву! Эй!

Парень тоже не торопился. Коня схватила за гриву молодая комсомолка, тогда парень взнуздал его и, навалясь брюхом на хребет, поскакал, взмахивая локтями почти до ушей своих.

— Вот как они работают — с полчаса время ловил коня-то,— сказал старик, закуривая.— А кабы на хозяина работал,— поторопился бы, увалень!

И не спеша снова начал затесывать кол, пропуская слова сквозь густые подстриженные усы:

— Спорить я не согласен с вами насчет молодежи, она, конешно, действует... добровольно, скажем. Ну, однако, нам ее понять нельзя. Она, похоже, хочет все дела сразу изделать. У нее, может, такой расчет, чтобы к пятидесяти годам все барами жили. Может, в таком расчете она и того... бесится.

— Ну, да, конешно, это слово — от нашего необразования: не бесится, а вообще, значит... действует! И — ученая, это видно. Экзамены держит на высокие должности, из мужиков метит куда повыше. Некоторые — достигают: тут недалеко сельсоветом вертит паренек, так я его подпаском знавал, потом, значит, он в Красной Армии служил, а теперь вот — пожалуйте! Старики его слушать обязаны! Герой!

— Бывало, парень пошагает в солдатах три-четыре года, воротится в деревню и все-таки — свой человек! Ежели и покажет городскую, военную спесь, так — ненадолго, покуражится годок и — опять мужик в полном виде. А теперь из Красной-то через два года приходит парень фармазон фармазоном и сразу начинает все обстоятельства опровергать. Настоящего солдата и незаметно в нем, кроме выправки, однако — воюет против всех граждан мужиков и нет для него никакого уему. У него — ни усов, ни бороды, а он ставит себя учителем...

— Плохо учит?

Старик швырнул окурок в воду, швырнул вслед за ним щепку и, сморщив щетинистое лицо, ответил:

— Я вам, гражданин, прямо скажу: не в том досада, что — учит, а в том, что правильно учит, курвин сын!

— Непонятно это!

— Нет, понять можно! Досада в том, что обидно: я всю жизнь дело знал, а оказывается — не так знал, дураком жил! Вот оно что! Кабы он врал, я бы над ним смеялся, а так, как есть,— он прет на меня, мне же и увернуться некуда. Он в хозяйство-то вжиться не успел, по возрасту его. А — чего-то нанюхался... Кабы из него, как из меня, земля жилы-то вытянула, так он бы про колхозы не кричал, а кричал бы: не троньте! Да-а! Он в колхоз толкает — почему? Потому, видишь ты, что он на тракториста выучился, ему выгодно на машине сидеть, колесико вертеть.

— Ведь понимаем: конешно, машина — облегчает. Так ведь она и обязывает: на малом поле она — ни к чему! Кабы она меньше была, чтоб каждому хозяину по машине, катайся по своей землице, а в настоящем виде она межу не признает. Она командует просто, сволочь: или общественная запашка, или — уходи из деревни куда хошь. А куда пойдешь?

— Ну, да, конешно, я не спорю,— начальство свое дело знает, заботится — как лучше. Мы понимаем, не дураки. Мы только насчет того, что легковерие большое пошло. Комсомольцы, красноармейцы, трактористы всякие — молодой народ, подумать про жизнь у них еще время не было. Ну и происходит смятение...

Поплевав на ладонь, крепко сжимая топорище красноватой, точно обожженной кистью руки, он затесывает кол так тщательно, как секут детей люди, верующие, что наказание воспитывает лучше всего. И, помолчав, загоняя кол ударами обуха в сырой, податливый песок, он говорит сквозь зубы:

— Вот, примерно, племянник мой... Двоюродный он, положим, а все-таки родня. Однако он мне вроде как — враг, да!.. Он, конешно, понимает: всякому зверю хочется сыто жить, человеку — того больше. На соседе пахать не дозволено, лошадь нужна, машина — это он понимает. Говорить научились, даже попов забивают словами; поп шлепает губой, пыхтит: бох-бох, а его уж не токмо не слыхать, даже и нет интереса слушать. А они его прямо в лоб спрашивают: «Вы чему такому научили мужиков, какой мудрости?» Поп отвечает: «Наша мудрость не от

мира сего», они — свое: «А кормитесь вы от какого мира?» Да... Спорить с ними, героями, и попу трудно...

— Вы, гражданин, прибыли издаля, поживете да опять уедете, а нам тут до смерти жить. Я вот пятьдесят лет отжил в трудах и — достоин покоя али не достоин? А он меня берет за грудки, встряхивает, кричит, как бешеный али пьяный. Из-за чего, спрашиваете? Будто бы я на суде неправильно показал,— там у нас коператоров судили, за растраты, что ли, не понял я этого дела. Попытка на поджог лавки действительно была, это всем известно. Суд искал причину: для чего поджигали? Одни говорят: чтобы кражу скрыть, другие — просто так, по пьяному делу. Племянник — Сергеем звать — да еще двое товарищей его и девка одна, они это дело и открыли. До его приезда все жили как будто благополучно, а вкатился он — и началась собачья склока. И то — не так, и это — не эдак, и живете вы, говорит, хуже азиатов, и вообще... И требуют, чтобы меня тоже судить: будто бы я неправильно показал насчет коператоров...

Говорит он все более невнятно и неохотно; кажется, что он очень недоволен собой за то, что начал рассказывать. Он изображает племянника коротенькими фразами, создавая образ человека заносчивого, беспокойного, властного и неутомимого в достижении своих целей.

— Бегает круглы сутки. Ему все едино, что — день, что — ночь, бегает и беспокойство выдумывает. Пожарную команду устроил, трубы чистить заставляет, чтобы сажи не было. Мальчишек научил кости собирать, бабам наговаривает разное, а баба, чай, сами знаете,— легковерная. В газету пишет; про учителя написал. Оттуда приехали — сняли учителя, а он у нас девятнадцать лет сидел и во всех делах — свой человек. Советник был, мимо всякого закона тропочку умел найти. На место его прислали какого-то веселенького, так он сразу потребовал земли школе под огород, под сад, опыты, дескать, надобно произвести...

Чувствуется, что, говоря о племяннике, он, в его лице, говорит о многих, приписывает племяннику черты и поступки его товарищей и, незаметно для себя, создает тип беспокойного, враждебного человека. Наконец он доходит до того, что говорит о племяннике в женском лице:

— Собрала баб, девок...

— Это вы — о ком?

— Да все о затеях его. Варвара-то Комарихина до его приезда тихо жила, а теперь тоже воеводит. Загоняет баб в колхозы, ну, а бабы, известно, перемену жизни любят. Заныли, заскулили, дескать, в колхозе — легче...

Он сплюнул, сморщил лицо и замолчал, ковыряя ногтем ржавчину на лезвии топора. Коряги в центре костра сгорели, после них остался грязновато-серый пепел, а вокруг его все еще дышат дымом огрызки кривых корней: огонь доедает их нехотя.

— И мы, будучи парнями, буянили на свой пай,— задумчиво говорит старик.— Ну, у нас другой разгон был, другой! Мы не на все наскакивали. А их число небольшое, даже вовсе малое, однако жизнь они одолевают. Супротив их, племянников-то этих,— мир, ну, а оборониться миру — нечем! И понемножку переваливается деревня на ихнюю сторону. Это — надобно признать.

Встал, взял в руки отрезок горбуши, взвесил его и, снова бросив на песок, сказал:

— Я понимаю. Все это, значит, определено... Не увернешься. Кулаками дураки машут. Вообще мы, старики, можем понять: ежели у нас имущество сокращают и даже вовсе отнимают — стало быть, государство имеет нужду. Государство — человеку защита, зря обижать его не станет.

И, разведя руками, приподняв плечи, он докончил с явным недоумением на щетинистом лице, в холодных глазках:

— А добровольно имущество сдать в колхоз — этого мы не можем понять. Добровольно никто ничего не делает, все люди живут по нужде, так спокон веков было. Добровольно-то и Христос на крест не шел — ему отцом было приказано.

Он замолчал, а потом, примеривая доску на колья, чихнул и проговорил очень жалобно:

— Дали бы нам дожить, как мы привыкли!

Он идет прочь от костра, ветер гонит за ним серое облачко пепла. Крякнув, он поднимает с земли доску и бормочет:

— Жить старикам осталось пустяки. Мы, молодые-то, никому не мешали... Да... Живи, как хошь, толстей, как кот...

Чадят головни; синий, кудрявый дымок летит над рекой...

1931

Валентин Овечкин

•

Глубокая борозда

Обмерили новоселы наскоро шагами хозяйство свое скудное, перемерили и новую, отмеренную им землю. Словно ожил муравейник в лощине на берегу Серебрянки. С утра до ночи трудятся новоселы, устраивают свое жилье.

Дружно работают, один другому помогают.

Бревно за бревном, вырастают домишки новоселов — курники против огромных домин богатых соседей с хуторов Боголюбского и Сердюковского.

По вечерам лощина оглашается задорными комсомольскими песнями павловской молодежи. До полночи звучат песни, не дают старикам уснуть. А у соседей — тихо. Угрюмо молчат старые хутора, как будто притаились, готовясь наброситься на незваных гостей. И молодежь с хуторов к новоселам не ходит, при встрече поглядывает косо, хмуро.

С насмешкой смотрят хуторяне на павловцев.

— Смотри, хозяева нашлись! На весь коллектив три клячи да полторы пары быков. Пасли бы скотину — спокойнее было бы и сподручнее, так нет, тоже туда, в хозяева лезут! Не таким беднякам хозяйство вести.

Когда узнали, что павловцы коллективно работать хотят, товарищество организовали,— еще больше злиться стали.

— Коммунию строят; за чубы тянут людей. Посмотрим, как через год разбегаться будут. Голопузая компания.

Долго горевал кулак Егор Кузьмич за землицей, а потом, как узнал, что у павловцев всего три лошади, кое-что смекнул и успокоился.

— Один черт пахать им нечем будет. Заарендую года на три, попользуюсь еще!

А рыковцы (так товарищество называлось) не унывали, делали свое дело, а на соседей и внимания не обращали. Решили комсомольца Андрюшу в город послать, похлопотать о тракторе.

Съездил Андрей и привез радостную весть: трактор будет, да еще на четыре года в рассрочку, и тракториста берутся на курсах выучить. Одним словом — дело на мази. Месяца через полтора уже пахать машиной будем.

Радуются рыковцы, не верится им, что у них, бедноты безлошадной, трактор будет. А больше всех радуется Андрей. Он ведь сколотил коллектив, он, бегая, мужиков агитировал, он и за трактор первый стал нажимать.

В воскресенье собрались рыковцы решать, кого на курсы отправить, и решили послать Андрея.

— Гляди, Андрей, хорошенько учись, чтоб не осрамиться нам с машиной. Вишь, как кулачье над нами насмехается. Доказать им надо!

— Докажем!

А вечером, когда все старики сидели на завалинке у Андреевой избы, пришел нежданный гость, Кузьмич. Пришел как добрый сосед, посидел, табачком угостил, о хозяйстве поговорил и, когда уже поднялся уходить, вскользь, как бы вспомнив, спросил:

— Земельку мне ту, что за куриловской дорогой, не сдадите годика на три? Земля там крепкая, пахать-то вам ее нечем.

Мужики покачали головами.

— Нет, сдавать не думаем... Сами вспашем.

— А чем пахать-то будете? За ту землю с голыми руками и не берись.

— А трактор на что? Трактором вспашем.

— Трактором? А где ж он у вас?

— Будет!

— Ну, это еще дело далекое. Вилами писано...

— Тогда посмотрим — вилами али нет, а землю, брат, не сдадим.

— Через полтора месяца пахать начнем,— вставил Андрей.

— Ну что ж, дело ваше! А то сдали бы лучше? Верней бы дело было! Трактор-то ведь штука не надежная: трынь-брынь — и стал. Наплачешься с ним.

— Ничего, Кузьмич. Наша машина — наша забота. Тебя не позовем с ней возиться.

* * *

Кончился трудовой день. Нестерпимая жара сменилась вечерней прохладой, потянуло свежим ветерком. Рыковский муравейник кончал работы, готовились ужинать и отдыхать. И вот ребятишки, второй день уже выглядывавшие Андрея с бугра, отчаянно завопили: «Едет, едет!»

Прислушались. Из-за бугра ясно доносилось ровное пыхтение мотора.

— Едет!

Через минуту стало и видно трактор. Быстро бежал он по уклону, таща за собою плуг. Все, от мала до велика, собрались у андреевских ворот.

Разгоряченный стальной конь, мощно гудя, вбежал во двор, круто повернулся и стал. С него слез грязный, запачканный в масле Андрей и сияющими глазами обвел собравшихся. Все кричали, шумели, наперебой расспрашивали, говорили.

Молодежь и старики, как мухи мед, облепили машину, заглядывая и сверху, и снизу, и с боков.

Андрей присел к старикам, угостил городскими папиросами.

Кузьмич степенно поглаживал бороду.

— Да, трактор — машина неплохая, только у нас он не идет. В Америке дело другое — там керосин нипочем. А у нас один керосин заест — расход большой. Лошадьми помаленьку, не спеша, пошел и пошел, а этот черт, как станет чего, ну и стой. Простоит день, да другой, да третий, вот тебе и скорость твоя. Да еще в горячее время, когда день год кормит. Всякая машина-то ведь каприз имеет. В Америке — дело другое, там народ грамотный, образованный, а у нас — головы соломой набиты. Мы еще в косилках с трудом разбираемся, а то трактор нам дай. Головы-то у нас ведь не американские.

Взорвало Андрея:

— А у тебя, Кузьмич, голова американская?!

— К чему это ты, парень? — удивленно глянул тот.

— А к тому! Как же ты думал, когда с Матюшкой Морозом хотел трактор брать?

— Кто, я? Трактор?

— Да, ты. Думаешь, не знаю? В союзе говорили, Егор Фролов с Морозовым приезжали, трактор хотели взять. Сулили все сразу наличными заплатить, да только не да-

ли вам. Для голодраицев трактора берегут. Что иа это скажешь, Кузьмич? А?

Кузьмич густо покрасиел и не иаходил слов для ответа, плюнул и пошел прочь. Дружиым хохотом проводили его рыковцы.

— Вот так мериканец! Хитрый, черт!

* * *

Семен Прохорыч, кулак боголюбовский, подошел к трактору, щелкнул пальцем о звонкий бак и обериулся к Андрею.

— За куриловской дорогой когти обломает.

— Когти, говоришь?

— Пахать вам ту землю до самой зимы,— с ехидным смешком сказал Семеи Прохорыч.

— До зимы? Через две недели всю переверну.

— Больно горяч ты, пареиь, ие берись ту землю за две недели пахать, легче на поворотах!

Разобрало Андрюху.

— Спорить давай!

— Чего спорить! И так знаю, что не вспашешь. Сорок десятин целины — дело не малое.

— Ну, так смотри ж, коли ие вспашу!

— Ладно, ладно, посмотрим!

Ушли хуторяие. Архипыч, один из стариков рыковцев, заметил Андрею:

— Погорячился ты малость, Андрюха. Земля-то ведь тяжелая, кореиистая.

— Коли сказал вспашу — значит, так и будет.

Рано, до зари, Андрей выезжал в поле, поздно иочью будил боголюбовцев, возвращаясь домой.

Машина работала хорошо. Чутко прислушивался к ней Андрей, стараясь уловить малейшие перебои и вовремя исправить работу мотора. Вспашка была отличная. Безукоризиенно переворачивал плуг пласт за пластом залежавшейся, коренистой земли.

Каждый день приходили с соседних полей мужики поглядеть иа работу трактора. Приходили, подолгу глядели, качали головами, удивлялись, меряли пальцами глубину борозды, любуясь работой стальиого коня. День за днем умеиьшался сорокадесятинный загон.

— Ты б, Андрей, легче горячился. Больно уж заездил

себя. В шею никто не гонит, можно и раньше с поля приезжать.

— Ничего,— весело отвечал Андрей, и глаза его искрились энергией.

После тринадцатого дня работы осталось всего с десятину нераспаханной земли.

Было воскресенье, но Андрей не считался с отдыхом и поехал кончать пахоту. Срезав последнюю серую ленту земли посреди широкого загона, Андрей радостно улыбнулся.

До глубокой осени ползал белокрылый трактор на длинных загонах рыковских полей назло сердюковцам и боголюбовцам.

Ни саженя земли не сдали рыковцы в аренду.

Довольны, не нахвалятся рыковцы своей машиной, а больше всех доволен ею Андрюха-тракторист...

А за Кузьмичом прочно укрепилось прозвище: «Мериканец».

1927

Иван Вольнов

•

Батя на празднике

В Орловской губериии в июие сельскохозяйствениая артель праздновала свое пятилетие. Общее собрание артели, человек из двухсот,— на этом собраиии были и бабы с детьми,— иазвало этот праздиик «Праздником цветеиия трав», постановив ежегодио в период расцвета полевых трав и иачала покоса отмечать его демонстрациями и общим собранием иа полях.

С вечера готовились повозки, чистилась сбруя, из укладок и сундуков доставались лучшие иаряды.

День выдался солнечиый и ласковый, пятьдесят повозок членов артели, убраиные красиыми флагами, красиыми лентами, пестрым маком девичьих иарядов, растяиулись на полверсты по притихшей улице деревии. Тучи ребятишек, как мухи, облепили грядки телег, бесами кружились под иогами лошадей, изумлеииые и радостные глаза их были похожи на брызги солнца. Со зиаменами, гармошками, с букетами зелеии и полевых цветов молодежь шла впереди. Неслись задориые песии, каблуки дробили чечетку, сотни завистливых глаз ие «товарищей» артели провожали этот милый и радостиый поезд.

Посередь деревни, у избенки, вросшей в землю, кто-то предложил взять с собою иа праздник батю Мирохина. С десяток парией тотчас же со смехом отделились от повозок, через минуту появился фургои, иабитый свежей зеленью, и иа руках из темной и душиой избы, заполнеиной цыплячьим писком и мухами, выиесли девяностопятилетиего батю Фролку — белого, как вата-сырец, с провалившимися черными глазами. Иссохшими руками, похожими иа корни ивы, он обнимал шеи несших его парней, приговаривая:

— Молодцы, робята. Спасибо. Вот это спасибо, что не забыли старика.

И глаза его теплились радостью.

Батю торжественно водрузили на фургон, член правления артели схватил в руки вожжи, и батя Фролка, окруженный хороводом молодежи, поплыл по деревне, спрашивая:

— Это что же у вас?

— Праздник цветения трав.

— Как?

— Новый праздник, в поле травы зацвели.

— Новый? Все у вас по-новому, шельмецы... Ничего, ладно выходит. При мне того не было... В ваши года я на барщину ходил... А это что — икона впереди-то?

— Портрет Ленина.

— Ишь ты. Везде Ленин. У нас Петюшка тоже прибил на стенку.

Участок артели находился в нескольких верстах от села. Грустными и жадными глазами батя глядел на полоски, на которых восемьдесят лет был верным и бессменным часовым. Теперь полоски по-иному были порезаны, снесены столбы с двуглавыми орлами, распаханы рубежи,— батя не был на поле пятнадцать лет.

— Вот тут,— шамкал он,— лог этот звался Кобылий Погост, тут, к году, десятина давала четырнадцать копен, я шесть посевов ее держал... А тут, в Песочном, не нашего мужика оглушило громом, черный стал...

А песни, и смех, и переливы гармоник в поле были еще задорней и звонче, рдяней казался кумач знамен, счастливей лица молодежи.

Батя снова шамкал:

— На Ведмежью Лощину едем али куда? Бывало, лошадь попадет, веревками тащили... А сорок было — тьма. С того и деревню прозвали Сорочьи Кусты.

На углу участка, там, где розово пенилось море цветущего клевера, поезд ожидали волисполкомцы, сельсоветчики, партийцы, агроном, члены правления артели. Их окружали подводами, молодежь бесилась в пляске, гармонисты выбились из сил. С криками «ура» батю вынесли из фургона и поставили рядом с волисполкомцами у стального серого чудовища. Батя на всякий случай отодвинулся от него подальше. Волисполкомец храбро влез на чудовище и говорил мужикам, размахивая руками. Батя не понял ничего. Но когда заплескали в ладоши и батя взглянул

в лица артельщиков, оии показались ему столь праздиичиыми, что ои ие вытерпел и тоже хлопиул лубками ладоией, ио тотчас же скоифузился, потому что молодежь увидала, что ои хлопает, и стала плескать ладоиями еще громче.

После речей, выстроившись парами, все пошли осматривать участок — труд свой. Одного батю посадили в фургои, и в фургои к иему вскочил бойкий парияга в кожаиом пиджаке, иазвавшийся «агроломом».

«Хороша бы покрышка иа хомут»,— подумал батя, глядя на блестящую кожаику его.

Бате показывали клевер двух сортов, красиый и розовый,— ои в жизии ие видал клевера,— шатиловский овес в семь вершков ростом, рожь Лисицыиа, батя изумлеиио прикидывал:

— Неужто копеи двадцать пять даст с десятииы, этакой я ие видал еще?

И ему стало больио, что молодежь обогиала его, и все объясиявший «агролом» показался иадоедливым.

Потом его возили иа картофельиое поле.

— В поле картоха,— с досадой проворчал ои,— места ие хватило иа усадьбе.

— После картошки овес миого лучше, все по иауке,— засмеялся агроиом.

— По иауке. Раиьше, бывало, без иауки, а тоже с хлебом жили.

Чего только ие показывали бате: и покос иа бывшем болоте — травиика к травиике — в полтора аршииа ростом, и бураки на корм, и леи-долгуиец, и ореибургское просо с кистями, как павлиний хвост, и все было лучше, богаче, иарядиее, чем при бате. Ои потух, устал, иасупился.

— Вам жить, вам жить,— с иепоиятиой болью шептал он.

Накоиец, ему показали водоотводиые каиавы, откуда он веревками вытаскивал лошадей. Место было сухое, через каиавы перекииуты мосты. Батя радостио ухмыльиулся, ио сейчас же, иасупившись, заметил:

— Озориики, тут уток была массия...

Его заметио покоряла хозяйствеиная заботливость иад землей.

Артельщики обогнули поле.

— А теперь, батя, гляиешь еще иа одиу притчу, да и катись иа погост! — озорио крикиул ему в уши пареиь в доиельзя желтой рубахе, кивая иа серое чудовище.

— Что ты кричишь, я не глухой,— недовольно проворчал батя.

Толпа расступилась, и батю подвели к чудовищу. Оно неожиданно фыркнуло, будто выплюнуло что. Батя робко попятился. По знаку, данному председателем артели, толпа расступилась, будто пестрые ворота распахнулись на обе половинки, серый стальной страшный черт испуганно затрясся, батя крепче впился в руки поддерживавших его парней, не отрывая взгляда от машины. Черт медленно пополз вперед, за чертом преогромный плуг, и под носом бати неожиданно потянулась черная, прямая, блестевшая соком, широкая борозда.

— Без лошади? — простонал батя.

— Без лошади,— спокойно сказал «агролом».

Когда трактор объехал просторный круг, батя попросился на телегу. Он стал будто меньше и серее.

— Батя, что ж ты загрустил? — спрашивали его.

— Не, милые, не, не грущу... Дивно очень, не грущу... Восьнадцать лет бы мне, не грущу... — шептал он спекшимся ртом.

На скатерти из веретий,— в этой скатерти было не меньше сотни шагов в длину, она была разостлана на мягкой траве,— батю угощали печеными яйцами, пшеничным хлебом и пивом. Над обедавшими развевались красные полотна. Солнце добросовестно грело костлявую батину спину.

— Робятушки! Робятушки, внуки! — кричал чуть охмелевший батя.— Слухай, робятушки, вы напишите мне бумажку на тот свет! Пропишите, что вправду в деревне теперь пашут без лошадей, на ентих! — батя тыкал своим лубком на трактор.— А то буду рассказывать покойникам, а они не поверят, скажут: брешешь, Фролка! Скажут: ты счумел, Лексеич!.. Эх, и миló жить с таким конем!.. Робятушки, прямо миló-милехонько!..

1928

Петр Замойский

•

Плотина

I

Чуть свет дьякон вышел на крыльцо, зевнул, почесал поясницу и жилисто потянулся. Потом, кашлянув, сошел вниз, отворил калитку и повернул лицо к учителевой усадьбе. Оттуда доносился стук топора.

«Городит»,— подумал про себя дьякон.

Забросил гриву белых волнистых волос за спину, приложил ко рту ладонь рупором и густым басом послал вопрос:

— Долби-и-ишь?

Учитель оглянулся, но ничего не ответил.

Тогда дьякон ступил два шага вперед, набрал в грудь воздуха и возгласил сильнее:

— Стучи-и-ишь?

Учитель оглянулся, помедлил и ответил с каким-то безразличием:

— Стучу-у!

Дьякон отнял ладонь, махнул рукой и насмешливо добавил:

— Долби!!

Видя, что учитель не обращает на него внимания и даже повернулся к нему задом, протянул:

— Хватит слег-то?

Не дождавшись ответа, заорал:

— Аль глу-у-ух?

В церкви гулко отдалось: «У-ух!»

Учитель повернул голову к дьякону:

— Чего липнешь, пау-ук-крестовик!

На это последовал вразумительный наказ:

— Искру негодования охлади. Ибо угоняешь на городьбу чужие слеги.

— Не твои ли?
— Общественные.
— Общество сделало незаконную порубку в лесу.
Дьякон окончательно впал в нравоученье:
— Не тебе осуждать... Против общества и устоев его зря пошел. Мой совет: держись аккуратнее и служи народу.
Учитель коротко обрезал:
— Самогон не варю!
Дьякон выпучил глаза, мотнул вбок головой и рыгнул:
— Товарищу милиционеру жалобу на клевету!
Учитель перевесился через изгородь и протяжно послал:
— Вам с мили-ционером место в остроге. А еще вот что: сбрей гриву. Вшей там разведе-ошь.
У колодца стояли бабы и прислушивались. Мужики у Парфеновой мазанки смеялись.
— Опять схватились!
Дьякон хлопнул калиткой, вошел во двор и крупными шагами двинулся в дом.
Учитель слез с городьбы и снова принялся за работу.
Солнце еще не вставало, но от яркой зари стекла в домах были пурпурово-розовые.
По траве, на площади, возле церкви бродили коровы, овцы, телята. Сосед учителя, старик Стригунов, выгонял из своего огорода целую ораву овец и коров. Ругался, бросал овцам под ноги половинки кирпича и кому-то обещался, что «ноги будет ломать скотине, если ее еще захватит в огороде».
Прогнал коров к церкви, широкой походкой направился было к дому, но, услышав стук топора, повернулся к учителю. Подошел, поглядел на учителя, потом зачем-то пощупал изгородь и спросил:
— Работаешь?
— Как видишь,— ответил учитель.
— Непривычно, чай?
Учитель ему на это пожал плечами, а Стригунов уже раздраженно:
— Не об этом речь хочу вести.
Злобно бросил палку в проходившего теленка и добавил:
— Уклада жизни нашей не знаешь! Обнюхаться надо.
Указал на дьяконов двор.
— Пример бы брать тебе...

— С кого?

— Зачем дьякона обижаешь?

Учитель поднял уднвленное лнцо на Стригунова и равнодушио ответнл:

— Ои бандит, белогвардеец и самогонщик...

– П'ущай. Дело его!

Прнблизнвшнсь к лицу учителя, старнк тихо и вразумнтельио зашептал:

— К обществу подладься, а, парень, к обществу. Зачем ему вред наносишь?

— Какой вред, чем?

— Вот лес, к примеру, слеги.

— Мие леснчий дал.

— Не брал бы.

— Да общество весь лес растащнло.

— Пущай тащит.

Учитель долго смотрел на Стрнгунова. Словно по его густым бровям н обросшим щекам узиать хотел, смеется лн он иад ним нли всерьез так говорнт.

— Ныие, брат, без общества ннкуда не денешься.

— Пьет оно, твое общество, без просвету. И дела общественные пропнвает.

— Пей и сам.

— Общество нанимает попа детей закону божью учнть.

— Не препятствуй.

У учителя на лице выступнли красиые пятна. Крепко всадив топор в бревио, крикнул:

— Бла-го-да-рю!!

И сел. Рядом уселся Стрнгунов. Помолчав, он начал:

— Старостой я десять лет... без смены был... Народ свой хорошо знаю. Наперекор, противу его желанья не ходнл. И другнм не советую.

— Да чем я протнв «вашего» народа нду?

Стрнгунов перевел глаза на нардом н кнвнул:

— Зачем косорыл образовал в селе?

— О комсомоле я на собранье всем говорнл.

Старик густо плюиул, растер плевок лаптем и вздохнул:

— Жилн без него и прожнли бы.

— Да ведь если бы ие комсомол, и школы не было бы. Давно бы по бревну растащнлн.

Стригунов хлопиул ладонью по слеге и упорно взглянул учителю в лнцо.

— Чему учите в школе?

Не дожидаясь ответа, добавил:

— Богохульству учите.

Было тихо. Дым из труб шел прямыми столбами и, причудливо распускаясь вверху расчесанным льном, таял. Скрипели вереи колодцев, стучали ведра, а на самом конце села хлопала плеть пастуха Савоськи.

Точили косы, веяли семена. Кто-то скрипуче пилил. Дьяконовы гуси с огромным лобастым гусаком шли к луже у церковного колодца.

Учитель встал, облокотился на городьбу и тихо заговорил, но в этом тихом говоре временами чувствовалась рвущаяся и клокочущая буря, поток злобного негодования. Поток этот он как бы сдерживал, но в то же время и упивался им. Жутко и радостно было ему от этой горечи, накопившейся в нем. Под конец дал полную волю негодующим словам и, забывшись, захлебнувшись, в порыве отчаяния, он резко и беспощадно, словно видя перед собой в лице Стригунова старую деревню, клеймил:

— ...Когда я получил назначение ехать сюда, мне товарищи не советовали и велели просить другую школу. Но я поехал. Мне было стыдно, что хорошие школы взяли, а вашу, никудышную, никто не берет... И вот я прожил у вас зиму... ужасную эту зиму... Мне с семьей и с маленьким ребенком пришлось дрожать от холода, сидеть без куска хлеба. Мне пришлось видеть, как дрожат мои ученики в обмерзшей школе. И я много передумал, много. Тяжело и горько было мне, больно за вас. А... все-таки, все-таки я решил не жалеть вас! Да, не жалеть. Когда ребенок зашибется и если его никто при этом не пожалеет, он не станет плакать... Для меня теперь ясно, что горохом стену не прошибешь, лаской и потачкой деревню не обновишь. Нет! Тут нужно произвести беспощадную ломку... Деревню, дряхлую и опухшую от старых навыков, надо схватить за ворот и прямо в лицо ей бросить: «Как живешь? Куда тянешь?» Да, старую деревню нужно взять за глотку. Сжать ее, сдавить, иначе она сожрет молодую. Нужен бой. Нужно: кто кого? Пойми, старик, вы тянете назад. Вы не даете воздуха молодым. Каждый глоток нужно отбивать у вас боем. Вы и революцию до сих пор понимали, как грабеж... Не вы ли бросились растаскивать барские имения, грабить винный завод? Вы! И лес растащили вы, и амбары на барском дворе, и даже мост через долок. Каждый только себе, каждый заботится о своем доме, о своей чашке-ложке. Этому вы и молодежь учите.

Нет, корни ваши с гнилой сердцевиной начисто нужно выкорчевать, сжечь и пепел пустить по ветру.

Стригунов все время смотрел в ноги учителю. Казалось, и не слушал, что он говорил. Только когда учитель остановился, он поднял голову, вздохнул, разогнул спину и тихо, почти шепотом, промолвил:

— Несчастный ты человек.

Учитель ударил ладонью по срезу сохи и расхохотался. Ему самому смешной показалась его речь. Зачем? А Стригунов быстро вскинул на него острые злобные глаза, пожевал концы усов и резко начал:

— Для баб ты, парень, гож. Слова твои румяны, бабы в голос ударятся. Может, и десяток яиц дадут. Говорил ты много и по-ученому, а я все и понял. Допрежь тебя еще слыхал. Приезжал к нам тут один в галифе, в эту галифу с обоих боков по четверти самогона вольешь. Ну, я скажу тебе, и пел он, вот как пел, всему сходу тошно стало. Спасибо Родиону, тот сразу ему: «Ты, галифа, очки-то не втирай нам, а сразу скажи, хлеб, что ли, отбирать приехал? Ну, и говори, сколь надо». Вот он как его. То-то достукались, верно, за хлебом приплыл...

Старик передохнул, указал на кучу лежавших слег и усмехнулся.

— Говоришь, народ наш воровской. Верно ты сказал. Только забыл упомянуть, что народ-то без леса задохся и лесу ему никто не дает. Сунься вон в город аль к лесничему,— дадут? Разевай рот шире варежки. Делянки похватали кои побогаче да пошустрее, а нам шиш! Пьют? Пьют много. А город не пьет? Комиссары в уезде не пьют? Намедни в городе я был, самогонщика там судили. Аппарат у него во какой был! По пяти ведер сразу из затора выгонял. Много собралось народу в суд, все члены Совета с самим председателем на верхний этаж, вроде висячего крыльца у них там в театре, забрались. Суд спрашивает: «Зачем гонишь самогон?» А тот им отвечает: «Кто же им будет гнать».— «Кому это им?» — «А вон,— говорит,— наверху-то сидят». Ну, весь народ глаза туда. А там председатель. Шум, смех. И все-таки закатали молодца на год. Прочитали ему приговор, а он как крикнет: «Прощайте, начальники, больше я вам не слуга. А коль нужно, к Семену Панфилову, шабру моему, заезжайте. Он скажет, кто против моего самогону выдюжит». И рассмеялся во всю глотку.

Старик помолчал и как бы про себя, в задумчивости, добавил:

— Все пьют... А запреты эти на самогон потому, не выгодно городу. Цены на протчие вины сбиваем. Самогон дешевле, и крепости в нем больше.

Ковыляя ногой, подходил параличный отец учителя. Тяжело опустился на бревно, вздохнул и, как видавший виды, спросил сына:

— Убеждаешь старика-то?

— Так, разговор вышел.

— Брось этим пустым делом заниматься.

— А что?

— Да знаю я их.

Прогнали стадо. К школе зачем-то подбегали ребята, пытливо послушав, моментально скрывались. С горшком в руках подошла сестренка учителя, Маня.

— Молока достала? — спросил ее учитель.

Сестренка перевернула пустой горшок.

— Почему?

— Никто не дает. Самим, слышь, нужно.

Учитель крепко всадил топор в соху и раздраженно крикнул:

— Это люди! Даже для маленького ребенка молока на кашу не выпросишь.

Стригунов усмехнулся.

— Вы жалование получаете?

— Какое?

— Из продналогу.

Потом встал, долго глядел на учителя, со вздохом сказал:

— Вот и нечего тебе носиться с Советской властью.

Отошел, обернулся и уже другим, ласковым голосом крикнул:

— Пришли... сестренку-то за молоком!

II

В обед сын вестового наряжал на сход. Собирались мужики вяло, шли вразвалку, нехотя. Спрашивали, из-за чего сход, и получали от сына вестового ответ:

— Там председатель объявит!

Только когда сам Игнатий пошел с палкой по дворам, начал стучать по наличникам окон, мужики стали соби-

раться дружнее. Подходили группами к Сергеевой избе, садились на бревна, на телегу, на завалинку, некоторые разлеглись на траве. В самой средине лежал на брюхе председатель Алешка и отчаянно дымил цигаркой. Когда подходила группа мужиков, он уверенно кому-то подтверждал:

— Врут, подойдут.

В синем кафтане и желто-табачных, выкрашенных дубом штанах плелся по порядку Ефим Дудкин. Рядом с ним, то и дело заглядывая ему в лицо, трусил Прошка, ощерив зубы. На Прошке картуз дедовский, с просаленной макушкой, козырек в трех местах сшит белыми нитками. Пиджак из солдатского серого сукна, на ногах валяные опорки.

В широкой, длиннополой черной поддевке, в толстых, коротких сапогах, сам низкий и приземистый, с большой окладистой чалой бородой, шел печник Ефим Кульков и на ходу широко размахивал руками. За ним, дрыгая ногой и в такт ей дергаясь головой, как бы все время собираясь кого-то клюнуть, шагал Иван Снохин с сыном. Иван Снохин всегда утверждал, что белое — это черное, а черное, наоборот, как раз белое. Лез всюду против всех. Никогда и ни с кем не соглашался. Этому учил и сына.

С другого конца торопился Митька Кишкин. Юркий и скользкий, как челнок, с прищуренными хитрыми глазками, он продаст кого угодно, за что угодно. С ним Лазарь, матерщинник беспросветный. Без матерщины двух слов сказать не может. Нескладно выйдет.

Шли мельники Конопатины в белых от муки и теста пиджаках, с ними причиндал их, подпевало, Васька Алякин сбоку. Вот иссохший в лучину Филька Пискун. Не проходило дня, в который он не поругался бы с кем-нибудь из своих соседей. И сейчас, махая руками, он шел с Наумом и из-за чего-то яростно спорил, ругался.

— Ну, собрались?

Голос у председателя Алешки надтреснутый, сам он в землю вросший, как кряж. Губа нижняя отвисла и похожа на задник старого стоптанного лаптя. Правый глаз с «ячменем».

— Собрались, давай говорить.

— Аль подождать?

— Ну, подождем... Соберутся.

Тарас около себя кучу молодежи собрал и что-то рассказывал. Тряс седой бородой, заикаясь, часто моргал

ушедшими под густые брови глазами и каждое слово сопровождал другим словом, от которого проходившие бабы троекратно плевались. Молодежь хохотала, хлопала старика Тараса по спине.

Пришел учитель, тянулись Грачевы.

— Будет, собрались,— крикнул Митька.

— Валяй, говори, председатель.

Алешка поднялся с травы, перелез на телегу и, будто дело его совсем не касалось, насмешливо сам спросил:

— Чего говорить-то?

Павел зычным голосом на него:

— На-а, вот те и раз. Чай, ты собрал?

— Ну, собрал. Сами не знаете?

Прошка шагнул вперед и, словно капканом, щелкнул челюстью:

— Плотину, что ль?

— Чего же.

— Городить, что ль?

Филька пискливо крикнул:

— Знамо, городить.

Алешка спрыгнул с телеги:

— Вот и давайте о плотине.

Семка Анюткин спросил:

— Что пастух-то говорит?

— А что пастух? Говорит: «Субботински не пущают, свое стойло делайте».

— Конечно, кто для нас постарается, какой дурак.

На крик подошли Бурдины-братья, самогонщик Яша Хорин, секретарь Гришка, вдребезги пьяный. Гришка с разбегу хватил:

— Вы... вашу... сколько раз из этого собираетесь, а?

Ему ответили:

— Разь с нашим народом...

Гришка выругался крепче. Кто-то одобрил:

— Правильно. Вот это так.

Слово взял Сергей:

— ...обязать всех! Землю с щебнем в плетни... Хворосту нарубить в ивняке.

— А колья где?

Лазарь ответил складно. Сергей перекричал:

— Колья собрать по двору!

Сход заорал. Будто кто-то ущипнул их за самое сердце. Повскакали с бревен, с травы, вынырнули из-под телеги и на Сергея:

— Много у тебя?
— Ишь чего иадумал!
— Один, что ль, думал аль с женой на печке?
Сергей выхватнл два кола нз-под навеса н броснл под ногн мужнкам:
— Нате, берите!
Яшу Хорниа задело за жнвое. Выскочнл нз-под телегн, хватнл лбом о иаклестку, потерся и разинул пасть:
— Ты нз лесу иатаскал, а я где возьму?
Прошка щелкиул челюстью и резонно ответил:
— Один раз самогону не погоиишь, вот и пять колов.
Яша огрызнулся:
— А я кольямн гоню?
— Чем же?
За Яшу Павел ответнл:
— Он крестамн с кладбнща. Матерьял сухой.
Яша красным иосом ему в лнцо:
— А ты видал?
Павел уднвлеино:
— Н-на, дурак, да ведь вместе ходим ломать.
Яша успоконлся. Пришлн комсомольцы с Семкой во главе. Мужнкн иа ннх покоснлись и ннчего не сказалн. А Борькин Федор уже орал с того конца схода:
— Плетень сплестн с обонх боков. Пруд подрыть н землю перебросить на плотнну.
— Чего зря-то, чего-о...
Петька Стешнн иашел другой выход:
— По телеге иавоза со двора.
— А у кого навоза нет?
— Все задохиулнсь в нем. Ку-учи... Десять годов, как землю не навозим.
Тогда опять поднялся Алешка:
— Вот н давайте говорнть.
— О чем говорнть-то?
— Н-на, да о плотнне.
— Бестолковщниа! — ворвался в середину Гришка-секретарь. Размахался руками, оказалось, он тоже внес предложенне. Еслн отброснть лншние слова, то сказал: «Организовать дворы по десяткам н каждому десятку вырыть по пяти кубов землн».
— Верно! — подхватнл сход.
— Вот н сговорнлнсь! — обрадовался Алешка.

По дороге ехал Илюха-Колухан, меняла. Борода у Илюхн рыжая, густая, нос с горбником. Будто полдуги кто-

то сунул ему под лоб между глаз. На телегу к нему навалилось шесть пьяных мужиков, все они орали песни, кричали, махали руками и по очереди, кто палкой, кто кнутом, кто хворостиной били тощенькую замученную кобыленку.

Сход обернулся к ним, но Илюха, взметнув бородой, крепко дернул взнузданную кобыленку за левую вожжу, посадил ее на задние ноги и со всего размаха врезался в гущу мужиков. Вся потная, с кровавой пеной у рта, тяжело вздымая боками, лошаденка, казалось, вот-вот упадет и больше не встанет.

— Аль в Долки?

— Из Долков! — весело крикнул Илюха, спрыгивая с телеги и кнутовищем тыча лошади в ребра.

— Выменял?

— Смахнул. Гожа кобылка-то?

Председатель потрогал кобылке ребра; пачкаясь в кровавой пене, заглянул в зубы, оттопырил жидкий хвост и не то под хвост, не то собранию зычно крикнул:

— Чго ж о плотине-то?

Лазарь посоветовал:

— Дальше, Алешка. Блажная.

— Городить, что ль?

Кузька прохрипел:

— А вдовы как?

— Вдовы особо.

— Кто за них будет?

От угла избы посоветовали:

— Со двора по человеку.

Ему ответили быстро:

— Гоже, у кого семь «агафонов», а если послать некого?

Илюха-Колухан хлестнул по боку лошадь и ускакал вместе с мужиками.

Шло стадо. По дороге плелся пастух Савоська. Васька заметил:

— Идет!

Всем сходом крикнули:

— Саво-о-оська!..

Тот обернулся, постоял, как бы что-то обдумывая, и нехотя подошел к сходу:

— Чего вам?

— Сход тебя зовет.

Савоська снял шапку, поклонился низко и насмешливо пожелал:

— Бог помочь вам!
— Иди-ка на помочь,— смеясь, ответили ему мужики.
— Городите?
— Городим помаленечку.
— Гожа. Городите... вашу бабушку.
— Как там с плотиной-то?
Руганью Савоська удивил даже Лазаря, а Павел, не то от зависти, не то от удовольствия, открыл рот и отер усы.
— Эка его задрало.
— ...вот как со стойлом. Трех коров на кнутах вытаскивал нынче. Одна-то была на отеле. Мотри-ка, скинет теперь. А поить под Малютино в обрыв гонял... Вот как со стойлом!
Лазарь взвыл истошным голосом:
— Какой наш наро-од! Исправника на него.
Сергей отчаянно решил и взмахнул рукой:
— Сколько даете, пруд будет!
Сход к нему:
— А ты сам сколько?
— По пяти фунтов ржи с коровы, идет?
— Вот заломил! Нашел дураков.
— Зато уж сделаю.
— А лесу где возьмешь?
— Это моя забота.
Прошка разжал челюсти:
— Пуща-ай!
Прямо в лицо ему Павел:
— Да не больно.
— А что?
— С «ней» сто! — подхватил Лазарь.
— С чем?
— Из чего щи хлебают.
Тетка Матрена шла в мазанку, остановилась было послушать, о чем кричали мужики, да густо плюнула.
В какой-то вывороченной и похожей на старый засушенный гриб серой шляпе шел Фонька Опенок.
— Вы чего тут, мужики, орете? Вас инда в поле слышно.
— Плотину городим.
— Надо,— подтвердил Фонька.
Секретарь Гришка от крика еще более охмелел, споткнувшись, саданул головой печнику Ефиму в брюхо и отчаянно заорал:
— Сабота-ажники-и... предлагаю... камни в овраге...

подрыть пруд, разделиться по десяткам, каждому десятку пять кубов.
— По десяткам! — заорал сход.
— Давай списки, Гриша!
— Каждому десятку человека.
— Над всеми человека назначить.
— Кого?
— Ефима Кулькова-а.
— Согласен?
— А что ж.
— Почем ему в день?
— Пуд.
— Валяй.
Гундосый Мишка набрался духу, захрипел и забрызгал слюной:
— А которы из десятка не пойдут, с ними чего?
— Гнать нужно.
— Земли в яровом не давать.
Прошка толкнулся в середину, снял шапку и разинул челюсть:
— Ивана Снохина человеком назначить,
— Ве-ерно.
— Согласен?
— Согласен.
— А Ефима?
— Пускай Иван, он горластей.
Лазарь покрыл воплем:
— На кой... они... на-ам? Никого не надо-о. Человек от десятка пускай завтра утром гонит народ.
— Верно... Плати им по пуду!
— Не нужна-а!!
Филька набрался духу, запустил глаза под лоб и, не взвидя света белого, как комар, пискливо и пронзительно вытянул:
— Ла-аза-а-аря-а-а!
— Лазаря,— подхватили задние,— Лазаря!
— Почем ему?
— Пу-уд.
— А Ивана?
— Лазарь бойчее.
— Согласен, что ль, Лазарь?
— А что ж.
У Павла глотка бычья. Будто кто ему на ногу наступил:

— Ф-фие-о-она!
— Фиена-а! — подхватила середина.
— Согласен, Фион?
— Согласен.
— Почем?
— Пуд в день.
— А Лазаря?
— Пущай Фиен, он умнее.

Борзов Игнашка вынырнул откуда-то из-под ног. Красный, как помидор, он зажмурил глаза и разинул рот:

— Ни-ичаво-о не вы-ыйдет-ет.
— Чтой-та?
— Я первый не пойду.

Сход сразу затих. Молчал и Игнашка, ошеломленный тишиной. Кто-то спросил:

— Почему не пойдешь?
— Поэтому... Для кого?
— Для коро-ов.
— А у меня... есть?

Словно ждали последнего слова. Напрыжившись, взорвались ревом.

— А-а-а, вот они какие!
— Только о себе!
— Этак и все!!

Павел схватил Игнашку за ворот, Игнашка стал уже не красным, а бордовым.

— Нынче нет, а завтра отелишься.
— Телись ты с женой.
— Это не к дьякону за самогоном бегать.
— Пусти, не рви рубаху.
— Наглохтился?
— А ты меня поил?

В средину протискался учитель. Все притихли, но сделали такой вид, что учитель все равно, мол, ничего путного не скажет.

— Товарищи,— начал учитель,— вот эта ваша организованность? Ну, хороша, нечего сказать. Разве вы не поймете, что ведь вам же нужна плотина. Почему вы каждый только о себе заботитесь? Вот Игнатий сейчас орал, что у него нет коровы и он не пойдет, а разве это правильно? Все должны идти, раз общее дело. Всем нужно выполнять его.

Прошка ощерил челюсть на учителя:

— А ты... пойдешь?

Учитель разозлился, ио сдержанио ответил Прошке:

— Иду первый. Хоть и коровьего хвоста иет иа дворе, а иду.

— Ха-ха-ха,— засмеялись мужики.— Иде-от́, работник иашелся какой. Слеги вои зачем стащил у общества? Молчал бы...

Учитель хотел что-то сказать, но голос его заглох в общем потоке взметиувшегося рева. Выступил было Семка, секретарь комсомольской ячейки, на того и подавно замахали руками.

— Цыц вы, комсомол! Молоды еще в общественное дело иос свой совать.

— Зиайте вон спектакли свои!

Алешка крикнул:

— Слушайте, мужики, вот Федька пришел из Красной Армии, просит позьмо[1]. Дадим, что ль, ему?

Филька поднатужился.

— Позьма-то слободны есть?

Алешка развел руками:

— Думайте!

Потом к красноармейцу Федьке:

— Говори вон обществу сам.

Федька откашлялся, поправил шлем иа голове и коротко сказал:

— Делюсь с отцом. Купил сруб, избу хочу ставить, а где ее ставить, вы должны указать.

Митька спросил кого-то:

— Дадим, что ль, позьмо?

Кто-то равиодушно ответил:

— Можно.

Другой подхватил:

— Отчего ие дать. Красиоармеец.

— Да-ать!

— Ну, дать! — подтвердил председатель.

Прошка вдруг вспомнил:

— А плотииа как?

Алешка рассмеялся.

— Аль оглох? Городить!

Яша Хории спросил:

— Где дать-то?

— Да где... знамо, где...

Помолчали, покосились друг на друга, а иекоторые в

[1] Место под усадьбу.

каком-то безразличии уставились глазами на мазанки, огороды, кто смотрел на крыши, на трубы. Всем хотелось сказать что-то, у всех вертелось на языке какое-то слово, да вот никто не смел начать первый. Алешка-председатель глядел себе под ноги и чему-то ухмылялся. Долго длилось молчание, потом Алешка все-таки не вытерпел и, обращаясь ко всем, не то насмешливо, не то с укором, спросил:

— Ну, что же вы, мужики?

Игнашка отозвался первый:

— А что-о «мы»? Сам ему говори. Чай, не маленький, в Красной Армии был, знать должен.

Алешка качнул головой в сторону и, тяжело вздохнув, сокрушенно бросил:

— Думайте!

Красноармеец Федька все время тревожно следил за поведением мужиков и, чувствуя, что дело за ним, так как теперь все уже смотрели в его сторону, в недоумении обратился к председателю:

— Это чего же им?

— Аль не знаешь наш народ-то?

Прошка, отвернувшись от красноармейца, сквозь сжатые челюсти пробормотал:

— Как все, так и он.

Комсомолец Семка прервал тишину:

— Ведро, что ль, аль побольше? Прямо говорите, зачем в кулак шептать.

Лазарь ответил за всех:

— Хоть и два, а вам какое дело?

Семка рассмеялся:

— На это вы большие мастера. Шкуру с своего брата содрать готовы, только бы наглохтиться.

Алешка поглядел на Семку и, сплюнув, снова произнес:

— Думайте, мужики.

Степка на весь сход заорал:

— Да чего думать-то, чего думать? Пущай ставит обществу и селится, где люди живут.

Федька отер выступивший пот на лбу. Снял шлем и отчаянно махнул им на мужиков:

— Товарищи, я этого никак не могу.

Все приутихли.

— Не может, стало быть, нет. Мы неволить не будем.

— Что же,— ласково сказал Митька мужикам,— отрежем ему у кладбища, как и всем таким.

— У кладбища, знамо, где. И пущай селится с богом.
— Я прошу вас, граждане, дать мне позьмо на новых местах у леса. Ведь вы там даете, а почему мие нет?
— А кому мы там даем? — запищал Филька.
— Ведро! — коротко отрезал Игнашка, блеснув глазами.
— Председатель,— уже взмолился Федька.
Алешка вскииул глазами иа него, оттопырил губу и жалостливо пожал плечами:
— Заведеио исстари так, Федя. Я чего? Мое дело — сторониа... Чего общество захочет, то и сделает.
— Но ведь мие ие под силу. У меня жрать нечего, жена, ребятишки, а ведро стоит десять пудов.
Мужики подумали, посоветовались, пошептались друг с другом и решили, что: «Верио, ие может».
— Тогда у кладбища.
— Я прошу вас...
Павел хлопиул Федьку по плечу:
— Ставь, Федя. Все равно ие отвертишься. Займи у тестя и отдай. Поселят тебя рядом с мертвецами, взвоешь от тоски.
Федька почесал затылок, вздохиул и, хлопиув шлемом оземь, крикнул:
— Черт с вами, ставлю!!
Тогда сход зашумел, обрадовался. Спросили Яшу:
— Есть у тебя?
— Может, иаберу, баба гиала.
— Е-есть!!
Алешка громко сморкнулся, вытер иос рукавом:
— Вопросов больше иет. Расходись!
Хотел было сам двииуться, да перед ним оказался учитель. Учитель махиул рукой и крикнул:
— Товарищи! Я опять к вам с просьбой.
Все недовольио обериулись:
— Чего тебе?
— Да все насчет земли.
Сход как кипятком ошпарило:
— Опять ои свое.
Наум крикнул с расстановкой:
— У вто-ро-ва об-ще-ства про-си-и!
За Наумом все голоса:
— Чай, не у одиого общества учишь?
Алешка в самое ухо учителю:
— Зачем тебе земля-то нужна?

Гришка-секретарь вьюном; сжал кулакн, заскрежетал зубамн:

— Дать... учителю земли!

— Да-ать!

— Хорош учитель. Какое заявление, к нему.

— Спектаклн бесплатно ставит.

И всем сходом заоралн:

— Да-ать!

У Иваиа Сиохина картуз слетел. Ворвался в гущу вместе с сыном, который все время не отставал от него и даже держался за подол его поддевкн.

— Тебе третье общество дало?

Сын за ним:

— Дало?

Учитель к Алешке:

— На один год давало, теперь ие дает. Проси, говорнт, у первого.

Алешка к сходу:

— Пускай н нынче дает. У ннх землн больше.

— А мы попам даем, да еще тебе. Где мы земли-то иаберемся?

И опять всем сходом загуделн:

— Отказать!

Звонко н радостно крикиул председатель:

— Р-расходись!

Яша спросил:

— Когда же?

Алешка поднял руку:

— Стой, мужики, сговорнться иужно. Когда?

— Да прямо сейчас,— позвал Яша.— Баба небось успела нагиать.

И дружно, без ругаии, направилнсь к Яшкнной избе. Нн шума, ни крнка уже более не было.

III

Из окна избы-чнтальни был вnден весь порядок и площадь перед церковью. Давио н стадо прогиали, н печн истопилн, н солице уже встало, а на плотииу никто не шел. Учнтель видел, как некоторые мужикн выходили нз нзб, украдкой поглядывали иа соседние дома н быстро шмыгалн обратно.

Шел председатель Алешка н спрашнвал баб:

— Где мужики?
— Чуть свет сеять поехали.
— А плотину городить?
— Ничего нам не баяли.

С противоположной стороны, из окна своего дома крякнул дьякон. Увидел учителя и почему-то загремел по-немецки:

— Г-гут мо-орргe-ен!

Подождал немного, но, видя, что учитель не обертывается к нему, пробасил:

— Учителю и прросвещенному чел-леку-у!

В церкви отдалось ему: «Э-экк-у».

Тогда высунулся туловищем наполовину, поднатужился и на всю площадь двинул:

— Ве-ли-ко-му спод-виж-нику на попр-рище нар-ррод-ной ни-и-вы, Кр-рру-ми-ли-ну... мно-о-гая-я ле-е-ета-а-а!!

Учитель дождался конца и спросил:

— Аль выпил?

Дьякон захохотал:

— Доброе утро!

Потом крикнул на гусей и, зевая, прогудел:

— Скушна-а-а мне, гру-усна-а...

Подумал и добавил:

— Учителя-то... умершего... я отпевал.

Из калитки вышла свинья с поросятами. Захрюкала, копнула носом в луже и легла. Учитель указал на нее:

— Видишь?
— Зрю!
— Твоя родня.

Волосы у дьякона белые, волнистые. Спустились по подоконнику до бревен.

Думал ответ дать учителю, но ответа не вышло. Усмехнулся:

— «Неорганизованность, дружбы нет, и прочее». Наблюдаешь?

Учитель о другом:

— Много нагнал самогона?

Дьякон нахмурил брови:

— Яшка... сволочь!
— Перебил?

Тряхнул головой, поманил:

— Иди, хлебни с горя-то... Хоть раз...

Учитель обещал:

— Скоро вас всех выхлебнем.

На это дьякон сложил губы трубкой и продолжительно свистнул:

— Это вам не осьмнадцатый год.

Вестовой бегал по дворам с палкой, но навстречу ему попадались только бабы.

Шел Алешка по дороге. Около церкви снял шапку, начал креститься.

Дьякон обрадованно крикнул:

— Зайди... Але-ошь!!

Алешка отозвался, направил было ноги, но увидел учителя и остановился в нерешительности. Долго варила Алешкина голова — куда идти, но выручили ноги. Они повернули к окну избы-читальни.

— Сидишь? — спросил он учителя.

— Сижу.

Алешка кивнул на улицу, пожаловался:

— Народ-то наш какой, а?

Учитель сочувственно ответил:

— Наверно, с похмелья головы болят.

Алешка замахал руками.

— Чего-о? Да не с чего. Два ведра только выпили.

Дьякон насторожил ухо, поймал Алешкины слова и поинтересовался:

— Говоришь, не крепок, Алеша?

— Беда, как слаб.

Тогда вздохнул и укоризненно замотал гривастой головой:

— Не хотелось, дуракам, первяку. Эва, куда повалили, к Яше.

Председатель кивнул дьякону на учителя и с деланной строгостью оборвал:

— Не полагается духовному лицу самогонными вопросами заниматься.

Дьякон равнодушно вздохнул:

— Сам товарищ милиционер заезжает.

— Ну-ка что ж, и молчал бы.

— С добром-то молчать? — озадачился дьякон. — Да ты, Алеша, окстись.

Переменил голос, подмигнул и позвал:

— Зайди.

— В острог тебя надо посадить, отец дьякон, — погрозился председатель.

Шел за водой Филька. Пискливо протянул:

— Пошел народ на плотнну?

Алешка заметил ему:

— Выгоним.

Но Филька про вчерашнее вспомнил:

— Зря по десяткам уговор был.

— А как же?

Помолчал, отцепил ведро и, бросив крюк наотмашь, рассердился:

— А где хворосту взять, подумали?

На это Алешка спокойно:

— Думали бы.

И сокрушенно к учителю:

— Говорил, думайте, мужики!

Учитель хотел спросить о земле, но вспомнил про сход, и стало тошно. Увидел Антона, приказчика кооперативного, и обрадовался ему:

— Привезли товар?

Антон подал книги, накладные, расписки, счета.

— Товар есть.

Потом посоветовал председателю:

— Собрание бы надо, Алеша.

— Зачем? — вздохнул председатель.

Учитель вставил резко:

— Бедноту вовлечь в кооператив.

Антон добавил:

— Комитету взаимопомощи затылок почесать пора. Небось вши завелись.

Алешка прижал пальцем ноздрю.

— Ничего не выйдет.

— Почему?

Безнадежно махнул рукавом по носу:

— Всего девятнадцать пудов у комитета.

Учитель прищурил глаза и спросил:

— Зачем попам собрали шестьдесят пудов?

У Алешки ответ заготовлен был раньше:

— Желание добровольное граждан верующих.

Подходил дьякон. Поправив шляпу и услышав слова учителя, шутя спросил:

— Чем прикажете жить духовному сословию?

Учитель отнял локоть с окна и прямо в лицо бросил:

— Духом божьим и самогоном.

У дьякона на лбу морщины. Это он придумывал ответ:

— Ежели, прости господи, умрет кто, пример жена аль мальчонка, куда? Кстить к кому? К Илюхе-Колухану? Молебен о даровании дождя?

Взглянул вверх и показал пальцем:

— Все тучи над Москвой. Комиссары весь дождь к себе захватили. Намеднись молебствовали кучинские, просили дождь себе, а он попал на александровские поля. Александровски-то как раз и не молебствовали. Безбожный они народ. Факт. А почему это вышло? А потому вышло, что главный комиссар в уезде из александровских. Вот. И до бога добрались эти комиссары. Дождем с него контрибуцию берут. Это к тому я, зачем спектакли по утрам в воскресны дни ставите?

— Народ отваживаем от церкви,— ответил учитель.

Дьякон наступал к окну, брызгал слюной.

— Коммуну поддерживаешь? Сколько тебе денег дают?

И едко, как ругательное слово:

— Эх ты, ком-му-нист!..

Учитель спокойно ответил:

— Пока не коммунист. А вот если меня примут...

Серые глаза дьякона ушли под лоб, губы дрожали. Он осекся, опустился и сел на пень. Долго молчал, вдруг привскочил, будто ужаленный, и крикнул:

— Мерзость!..

Схватил палку, подошел к свинье, валявшейся в грязи, и принялся ее бить. Антон крикнул: «Лупи, лупи!» — а председателю сказал:

— Тебе будет нахлобучка.

Алешка грыз пальцы, глядел себе под ноги.

— С нашим наро-одом...

Секретарь Гришка уже опохмелился и теперь шел навеселе.

— Чего вы тут?

— Дьякон любка[1] вон на кулаки просит,— пошутил Антон.

— Давай его сюда! — разгорячился Гришка.

— Ушел.

Долго смотрел Гришка на Алешку, потом нахлобучил ему картуз на глаза, хлопнул по спине и усмехнулся учителю:

— Глядите, какого дурака-губошлепа в председатели мы выбрали.

Алешка огрызнулся:

— А чего народ?

— Тюря ты.

Потом вспомнил вчерашнее:

---

[1] Один на один драться.

— Какое нмеете право учителю землн ие давать? Чем ему жить?

— А жалованье? — сослался Алешка.

— Ты платншь?

Аитон сквозь зубы:

— Кроме пятн рублей нз кооператнва за счетоводство, ничего не получает.

— Вот чертн,— добавнл Гришка.— Ну, пошел народ на плотину?

— Ннкому первому ие хочется.

— Сам бы первый шел.

Алешка вскннул глазамн:

— Была охота.

IV

Семья учителя помещалась в тесиой комиате прн школе. Дрябленький столнк, стоявшнй у окна, был завален всевозможиымн кннгами и тетрадямн. Рядом со столом стояла кровать, а у протнвоположной стены под большимн старыми часами — днваи отца, прнспособленный нз какнх-то ящиков. Сестренка-иянька спала на полу. В комнате было так тесно, что на иочь стулья выноснлись в сени, а зыбка, висевшая ночью в прогалнне между столом н кроватью, иа деиь убнралась в чулаи.

Был вечер. Тнхо склонялось за лес горячее летиее солнце. Шелестелн тополн в палнсадннке. Учнтель сндел за столом н вместе с женой готовнлся к докладу на районной учительской коифереицнн. На окне валялнсь пьесы, грим, парнки. На лоскутке бумаги спешио была набросана повестка сегодняшиего собрания комсомола.

Давио убежал Ванька Жнгин склнкать комсомольцев, ио онн еще не собралнсь. Многие нз ннх былн в полях, миогне на токах.

Глубоко склоннлся учнтель иад столом. Мысль, гвоздем засевшая в голову, прннимала ясиые и выпуклые очертання.

— Да, так и нужио сделать.

Прнбежал Семка. Он только что прнехал из поля со сиопамн.

— Кажется, собраиье будет?

— Да. А после собрання репетнцня,— ответнл учитель.

Вошлн еще несколько комсомольцев. Учитель дал им

ключи от нардома. Неуклюжий и длинный нардом, оборудованный из помещичьей людской, снаружи был мрачный и грязный. Только внутренность отделана старательной рукой. Аккуратно сколочена сцена, побелены стены и замазаны щели в углах. Недалеко от сцены стояла голландка, сложенная самими комсомольцами; по стенам и на лицевой стороне сцены наклеены и развешаны различные плакаты, афиши, лозунги, портреты. Первые ряды были уставлены скамьями, дальше шли парты.

Еще вошло несколько комсомольцев. С ними, дружно хохоча, ввалились девки. Семка крикнул:

— Ребята, сейчас будет собрание, а после начнется репетиция.

Когда пришел учитель, сняли стол со сцены, и ребята уселись на скамьях.

— Мы, товарищи, быстро,— начал учитель.— Несколько вопросов, и начнем репетицию.

Оперся руками о стол. Говорил о кооперативе, о том, что при перевыборах нужно выбросить из председателей правления Сысоя и провести туда комсомольца. В очередной стенгазете прохватить сход. Нарисовать карикатуры самогонщиков Яши, дьякона и других. Чаще ставить антирелигиозные доклады.

К самому концу собрания пришел параличный отец учителя. Ковыляя ногой, он подошел к своему сыну и что-то шепнул ему на ухо. Учитель прервал свой доклад.

— Я на минутку, товарищи.

И вышел.

У крыльца нардома стояла женщина. Увидя учителя, она заплакала.

— Что ты, Матрена?

Захлебываясь и не утирая лица, принялась голосить:

— И чего я буду-у де-елать. И вся-то нога у него распу-ухла-а. И как вчера Митюха прохватил ему нарыв-то, так и пошло, и пошло-о.

Учитель всплеснул руками.

— Да ведь говорили вам, не водите этого Митюху. Велел ехать в больницу, не послушали. Ну, что теперь с вами делать, ведь ему ногу отрежут. Сколько пролечила?

— Двадцать пудо-ов.

— Эх, вы... Вези сейчас же.

Вздохнул, заломил руки и тоскливо:

— Зачем же... ко мне-то идете, когда вы не слушаетесь?

Женщина перестала плакать.

— Дураки мы, как есть дураки. Думали, и правды, чего он, Митька-то, знает...

И, вспомнив, снова залилась:

— Умре-от... чего я с малы-ми-и делать буду-у. По миру-у пойду, кто кусок да-аст? Даду-ут ноня-а... Господи, дай хоть помазать чем. Как помажет Митюха чем-то раз, так полпуда отваливай, а где мне взять?

— Иди к жене. Она пойдет с тобой, посмотрит.

И темная, как сама старая деревня, тяжело поплелась Матрена. Учитель поглядел ей вслед, вздохнул и медленно пошел сам. Взволнованно, чуть не сквозь слезы, сказал ребятам:

— Нужно убрать Митюху. Этого шарлатана нельзя больше терпеть. У дяди Семена антонов огонь. Придется ногу отнимать. Надо к нам в село требовать фельдшера.

Потом опустился на табуретку, потер лоб, оглядел всех и тихо улыбнулся мягкой, светлой улыбкой, но быстро скрыл ее, как преждевременную, и начал строго:

— Товарищи, последний и самый главный вопрос. Заранее говорю, что те, которые не будут согласны, пусть сразу заявляют. Вы знаете, что вчера был сход. С обеда до самого вечера бились мужики о плотине. И не в первый раз они кричат о ней. Все дело в том, что их своя ложка заела. Нам надо самим взяться за плотину. Мы своим поступком устыдим их... Я предлагаю тем, кто хочет, завтра чуть свет отправиться к оврагу. Кольев мы возьмем отсюда, хворост есть в ивняке, камни в овраге... Ну, как ваше согласие?

Ошеломленные комсомольцы долго молчали, потом сразу, вместо слов, вместо согласия, раздался звонкий, ребячески радостный хохот. Что-то кричали, махали руками, перебегали с места на место. А Никитка утирал слезящиеся глаза и орал:

— Ло-овка-а придумано, ло-овка-а!..

Яшка перевесился через стол.

— Какие глаза у них будут! Вот глядите, у Лазаря.

Сдвинул нос вбок, разинул рот:

— А вот у Прошки.

Встал секретарь Семка:

— Тише, что вас дерет! Верно, товарищи, я тоже подумал об этом, да боялся сказать, сконфузиться. Вдруг вы не будете согласны, тогда насмешек не оберешься, а теперь слушайте. Надо так сделать: утром запрягаем лоша-

дей н едем к школе. Все сделать надо раньше, до зарн, чтоб никто не видел. Захватим лопаты, внлы, топоры, тачки.

— А девки тоже поедут с иами?

— Поедем,— ответнли девкн,— разве мы отстанем?

— Вот н хорошо, но только — чу! — ребята, никому-ннкому ии слова. Утром я вас жду.

Горели глаза у учнтеля. Улыбался паралнчный старнк. И когда смолкли крнкн и смех, учитель вспрыгнул на сцеиу и радостно крикнул:

— А теперь марш все сюда! Начием репетицню.

С улицы ввалнла толпа с гармонистами н балалаечни-камн.

— Песнн выучили? — спросил их учнтель.

— Готово все.

Нервно задвигался по сцене, поправлял нграющнх. Под гармошку пел хор, плясали. Тревожио и радостно билось сердце учителя, голова кружилась, будто был пьяи. Ведь завтра, завтра утром, до свету...

Не спалось учнтелю. И ие мухи тревожнли, а мысли. Слышал, как пропели первые петухн, за иимн вторые, а все ворочался с боку на бок.

— Плотниа!

Не то было страшно, что много работы, а то, что тяжело н вязко ступает деревия.

К свету просиулся старик. Долго кряхтел, кашлял, потом принялся сосать трубку. Подошел к сыну, троиул за руку.

— Спишь?

— Нет.

— Скоро приедут, вставай.

На улице еще темио, часы пробилн три. Учитель живо сброснл с себя одеяло и иачал собираться. Жена хотела было ставить самовар, ио учитель отказался.

— Ну, закуси хоть немиого.

— После, дорогой закушу.

В окно было видно, как у Стригуновых мелькиул огонек.

— Ах, скорей бы прнезжали!

Тут же услышал у палнсадника фыркаиье лошадн. Выбежал н радостио крикнул:

— Сема, это ты?

— Я, я.
— А те почему не приехали?
— Они сейчас едут. Вон, слышишь?
Гремели подъезжающие подводы. Девки протирали сонные глаза. Улица была пуста. Даже дьяконовы гуси и те лежали под забором. Учитель взял пилу, лопату, топор, жена положила узел с хлебом на подводу. Сама было попросилась, но ее не взяли. Грудной ребенок на руках.
Утро было прохладное и зябкое, да еще трясла нервная дрожь.
«Как воры»,— думал учитель.
Яшка привез две тачки, Никитка одну.
— Накладывай, ребята, слеги.
Торопливо набросали, увязали.
— Пошел!
Переулком проехали тихо. Дядя Родион давал корм лошадям, услышал стук, посмотрел слеповатыми глазами и пробормотал:
— Народ-то, мотри-ка, пахать до свету поехал. Заботливы люди.
Выехали в поле, стегнули лошадей.
Алым потоком вскинулась над полями пунцово-яркая заря. Овраг, освещенный ею, был угрюм и страшен. Проехали мимо старой размытой плотины. Выше, в ложбине, протекал ручей. Подводы пустили по траве, одну еще с дороги отправили за хворостом в ивняк.
— За камнями поезжайте.
Учитель с Семкой наметил лопатой место, где будет плотина. Принялись окапывать, счищать траву, тесать колья. Вот уже несколько тачек свалили на плотину и затрамбовали. Шумела подвода с хворостом, из оврага поднималась другая.
— И камни везут. Держись, ребята!
Солнце еще не бросало лучей, но было оно уже крупное, красное, как разрезанный арбуз.
На прогоне дымилась пыль, слышалось хлопанье кнута. Это Савоська из села гнал стадо в поле. С горы спускалась и скрипела телега.
Ручей в траве полз тихо, лишь изредка от пробежавшего ветерка передергивался рябью. Стучали топоры по кольям, и лезли колья острые в мягкую землю глубоко, до глины.
Семка истошным голосом командовал:
— Плети-и плетень с обоих боко-о-ов!
Гибкий ивняк крепко и плотно садился на колья, об-

нимая их, как мягкий воск. А промеж плетней сваливали с тяжелых тачек землю, бросали камни, утискивали, ровняли ногами, бабкой-трамбовкой. Плотина росла, поднималась все выше. В воздухе мелькали щепки, взмахи топора. Из оврага снова приехали подводы с камнем.

Грело солнце. Комсомольцы сбросили пиджаки, фуражки, засучили рукава. Яшка передразнил председателя, повторил его слова:

— «Раз с нашим наро-одом»...

— «Думайте»,— ответил ему Семка и звонко рассмеялся.

Сердце радовалось другому. Что-то будет, если мужики узнают. Оттого часто смотрели на дорогу, к селу. Видели, вот Савоська гонит стадо, сам поет песни и ругается. Коровы шли по оржанищу, мимо ярового. Щелкали копытами, мотали головами и забегали в проса. Три подпаска — двое с боков, один сзади — гнали их к вырубленному лесу. Савоська шел впереди, поминутно тряс дубиной, кричал, хлопал кнутом и снова пел песни.

Поравнялся Савоська с оврагом, остановился, оборвал песню. Долго глядел к оврагу и вот взметнул кнутом, и резко, как выстрел, раздался гул. Кому-то махнул рукой, бегом спустился в ложбину и ералашным голосом заорал:

— Горо-оди-те-е?

Разглядев, увидел учителя, комсомольцев, снял шапку, грохнул ее о пыльную землю и в яростной радости выкрикнул:

— Вы-ы?!

Разделся, подбежал, схватил из рук Дуньки Стригуновой тачку и покатил к плотине.

Бежали два подпаска, крикнул и им:

— Копа-ай, ребята, помогай. Пускай Васька гонит скотину в лес.

С горы грохали две подводы. Спустились в ложбину и... круто остановились. Долго в безмолвии глядели мужики, потом спрыгнули, прибежали с бешеным криком:

— Кто это?!

Сема снял картуз.

— Доброе утро, граждане. Ждем вас.

Прошка защелкал челюстью:

— Комсомол... Учитель... Да как же.. А сход?

Лазарь кулаки поднял вверх и в село послал ругань:

— Подлецы-ы-ы!! Испра-авника-а на ва-ас!

Повернулся, добежал до лошади, отцепил плуг и дер-

нул свою подводу на село. Только пыль густым облаком взвилась за ним.

В селе разогнал кур, подмял гусей, взбудоражил собак, чуть не задавил какую-то старуху. Стал во весь рост на телеге и всей мочью своей глотки завопил:

— Э-е-е-ей!

Испуганно повыскакивали из домов мужики и бабы, что-то кричали ему вдогонку, но он руганью несусветной обкладывал всех.

— Комсо-омо-ол плотн-н-ну пр-ррудит.

Наскочил на Алешку, чуть не сшиб его с ног.

— Председа-атель, губошлеп ты, морда твоя несуразная!!

Алешка отскочил в сторону, бросился было за Лазарем, а тот уже ускакал дальше. Вестовой Игнатий заметался по дворьям.

— Стыдни-ись, окаянные. Бросай работу, марш все на плотину!

От секретаря Гришки тронулась первая подвода. Грохнула по дороге, раскатилась в переулок. Гришка, который не работал по хозяйству у себя дома, а для этого держал работника, теперь поехал сам, без шапки, босиком. За ним двинулись Стригуновы, Митька Кишкин, Фонька Опенок, Игнашка Борзов.

А вопль Лазаря все летел и несся по улицам вплоть до леса и кладбища. Парфен пробежал с хомутом, сынишка его бросал лопаты на телегу. Иван Снохин вместе со своим неразлучным сыном наскоро запряг лошадь, сел и ускакал через межу своего огорода на гумна. Павел прыгнул в телегу к Яшке-самогонщику. Председатель Алешка бешено сновал между подводами, нижняя губа его отвисла еще больше, глаз с ячменем слезился, будто плакал, и все кому-то жаловался:

— Подвели! Самого председателя. Э-эх, вы!

Загремели Грачевы, Федька-Люкша, Ефим Кульков, Фион. Их догонял Фома на паре.

Тревожно выбежал дьякон на крыльцо, поглядел по сторонам и мрачно произнес:

— Учитель!

Улицей и переулками неслась пыль.

А плотина росла из земли и камня. Подрывали, выкапывали глубину, девки побросали платки, разулись; Сема, услыша грохот, несущийся с горы, поднял голову и торжествующе, на весь овраг:

— Едут-ут!

По межам, косякам и прямо по загоиам двинулись подводы с горы. Долом хватили врассыпиую, кольцом спустились и врезались в ложбиину. Шумно попрыгали с телег, сбросили лопаты, бегом бросились к плотиие. Работать прииялись молча, ие глядя иа комсомольцев, словио совестясь их. Секретарь Гриша, с взлохмачениой головой и красиый, как кирпич, яростио катал тачки, выбрасывал глину. Обериулся с плотииы к толпе и во всю мочь, как он это делал иа сходках, закричал:

— Комсо-мо-ол, садись, отды-ыха-ай!

И тогда все будто того только и ждали:

— Отды-ыха-ай!

Ревом подхватили задиие, только что приехавшие:

— Отды-ыха-ай!

И стало легче, веселее и радостиее работать. Твердая, камеиио-землистая, оплетеиная хворостом, плотииа росла. Лишь в воздухе мелькали глииа, земля и камни.

...Подкапывали ручей. Жгло и калило спииы солице. Тек пот с лиц, мокры были рубахи. Вперегоику метались тачки, словио каждому хотелось свалить первому, словио каждому хотелось сделать больше, чем его сосед.

Угол плотииы подиялся, вырос. Еще три телеги, и плотииа готова была иаполовиииу. А пастух Савоська радостио кричал:

— Завтра буду поить стадо иа своем стойле!

Вода заливала, по пояс копошились мужики. Еще тачку, еще сверху камией и желоб для стока лишией воды.

И, крепкая, сбитая, оплетеииая с обеих сторои гибким ивияковым плетнем, плотииа выросла.

Отошли мужики, поглядели иа свою работу, радостио вздохиули. Учитель, лихорадочио блесиув глазами, возбуждеиио крикиул:

— Комсомольцы, ко мие!

И по оврагу, по иовому пруду, по ржаным полям, вплоть до леса, иикогда здесь ие слыханиая, раздалась радостиая, полиая сил и гордости песия:

Вперед за-ре иа-встре-ечу,
Това-ри-ищи в борьбе-е...

V

Рано утром в попову калитку ударил тревожный и продолжительиый стук. Кобель, бегавший во дворе на це-

пи, загремел кольцом, взвыл и метнулся к воротам. Стук снова повторился, и уже настойчивее, и тогда из-за дверей послышался мягкий, грудной голос:

— Кто там?

— Я, матушка, я, отопри.

— Да ведь сам-то спит еще.

Дьякон зашептал испуганно:

— Дело есть, очень важное дело. Спать некогда.

Еще сильнее взвыл пес, увидя дьякона. В белом халате, полусонный, вышел отец Петр и повел дьякона к себе в кабинет. Указал ему стул, сам сел в кресло и, сжав жесткие брови, недовольно спросил:

— Всую мятешься, отец дьякон, в такую рань?

Дьякон помедлил с ответом, загадочно посмотрел на отца Петра и процедил:

— Сры-ва-ют!

Отец Петр не понял:

— Говори яснее.

Тогда дьякон поднялся, оперся руками о стол и уже сердито:

— Службу срывают!!

У отца Петра под глазами подтек. Пчелка вчера укусила.

— Не кри-чи-и, дьякон, не беснуйся. Кто срывает?

— Учитель...

Потом сплюнул и, прищурив глаз, спросил:

— Плотину пр-рудили, слышал?

— Ничего не слыхал.

Дьякона обозлило, гневным голосом он укорял:

— Отец Петр, вы оторвались от масс. Сидите запершись, извините, обставились горшками и кобеля цепного в караул отрядили. А того не знаете, что тать духовная не ночью пробирается, а среди бела дня, у всех на виду.

Отец Петр добродушно усмехнулся:

— Кажется, не дело духовному лицу совать нос в мирские дела.

— Не дело? — передразнил его дьякон. — Нет, в нынешнее время — дело. Нужно в народ репьем влепиться, а не на аэропланах вокруг него летать... Народ на качелях, учтите. Нынче к нам, завтра к ним. Куда сильнее потянет.

Нагнулся над ухом и тревожно зашептал:

— Вчера учитель... иници-а-тиву проявил.

Отодвинулся и громко:

— Инициативу, почин, плотину новую! Комсомольцы

первые пошлн... Качель качнулась, народ лнковал, с песнями нз поля шел.

— Ннчего плохого в этом не вннжу.

— Эх, отец Петр, слепы вы, как фнлнн днем.

Поднял палец вверх.

— Плотина — это не просто так себе. Плотнна выстроена между намн н народом.

— Ты, дьякон, не выпнл?

— Я без внна пьян, отец Петр.

Прншел сторож за ключамн.

— Звонить надо, батюшка, дозвольте?

— Звонн, Ваня, звонн. Давно пора благовестнть.

Уходя от отца Петра, дьякон прищурнл глаза и загадочно спроснл:

— Куда потечет вода?

Отец Петр понял вопрос дьякона н улыбнулся:

— Берега крепкие... Есть господь на небе, а мы на земле.

— Но ухо на страже держать надо, — посоветовал дьякон и ушел.

Ударнл колокол. В открытое окно пахнуло свежим утром. Отец Петр собрался, долго протирал укушенный глаз, расчесывал волосы перед зеркалом, а сам думал о дьяконе:

«Все мечется н мечется. И кому нужна его суета сует?»

Мимо ограды прнвычно зашагал, ничего не заметил. Только броснлась в глаза какая-то бумажка, внсевшая на ограде. Да мало лн теперь разной бумаги вешают где попало?

Звон густой, уху привычный и сладостный.

Прошел мнмо сторожкн, взглянул по направленню к нардому, увидел там, как мельтешнлся народ, а некоторые скрывались в дверь нардома.

— Игрнща! — покачал головой отец Петр. — В неурочный час.

А нз открытых окон нардома неслись стукн. Комсомольцы устанавливалн декорацню, передвигали парты, скамьи. Вот чутко все насторожнлнсь, загадочно переглянулнсь и застыли в неподвнжностн. Откуда-то нз конца села, от реки, дробно и звонко донесся задорный голосок:

— На бесплатный спектакль н-дн-нтя-а.

Сема шепнул:

— Ванька Жигнн кричнт.

И сразу, как молодые петушки по заре, заорали ребятишки:

— Кто хочет в церкву, а кто на спектакль!

— Интересна, бесплатно представление!

Метались голоса из конца в конец, заманчиво врывались в дома и окна, охлестывали село звонкими криками и зовами.

А колокол звонил густо и сочно. И шли на его звон знакомой тропой старики и старухи. Молодежь собиралась кучками, читали расклеенные на двери кооператива, на ограде церкви и на крыльце нардома афиши. Сторож ударил во «все», и как только отзвонил, из нардома выбежала толпа мальчишек с колокольчиком.

— После второго звонка никого не пустят!

Зашевелилась толпа, зашепталась в нерешительности. А учитель крикнул из окна ребятам:

— Дайте второй звонок!

И не успели мальчишки огласить, как с хохотом и гулом рванулась толпа молодежи и взрослых, хлынула на крыльцо, увязла в двери и втиснулась в нардом. Захватывая скамьи, парты, быстро рассаживались, тревожно оглядывались на входивших и радостно восклицали при виде своих товарищей.

Учитель все еще стоял на сцене и смотрел в окно к церкви. Он видел, что за углом сторожки стояла целая толпа девушек. По тревожным движениям догадывался, что им хочется в нардом, но они, видимо, боятся, как бы их не заметили родные. Учитель уловил их взгляд, крикнул им и поманил. Девушки быстро заспорили между собой, а одна, посмелее всех, уже шагнула, и все вдруг, как овцы, подхватив сарафаны, вперегонку тронулись через дорогу, в нардом. А Петька дверь им настежь и только вскрикнул от удивления:

— Тише, ноги поломаете!

Остались у церкви одни старики. Они яростно размахивали клюшками и ругались. Скоро к ним вышел из сторожки церковный староста, ему указали на нардом, подвели к афише, висевшей у самого входа в церковь. Старик Лысеев Грига, сухой и злой, хотел ткнуть в афишу палкой, но его остановили.

Подошел Стригунов, быстро вскинул строгими глазами на всех и ничего не сказал. Повернулся к афише.

И тогда все, заглядывая друг другу через плечо, принялись читать. Черные глазастые буквы афиши кричали:

Сегодня

первый раз **первый раз**
идет представление

I. Униженные и оскорбленные

Жуткая драма.

Из эпохи крепостных крестьян. Будут показаны купля и продажа девушек. Порка розгами. Большой пожар. Народная месть.

В драме участвует хор.

II. И смех и горе

Веселая комедия из жизни попов.

III. Концертное отделение

Песни. Народные частушки.
Все исполняется под гармонику и балалайку.

Молодежь! Парни, девки, идите!
Мужчины и женщины,
К нам!!!

Перед началом доклада:

Боги нас сотворили

или

Попы их придумали?

Религиозных просим не ходить!

Культком РЛКСМ.

Читал афишу Стригунов, слушали все.

Пока читал, сдерживался. Прочел, подумал, отступил и... размахнувшись, изо всей силы хватил по ней палкой. Куски афиши вместе с обломками палки перелетели через ограду.

Свирепея, сорвал трепавшиеся лоскуты, сжал их в комок, бросил и в бешеной злобе начал на них плясать.

Тяжело дыша, остановился, сумрачно повел глазами на нардом, медленно от него повернулся к церкви, снял картуз. Хотел перекреститься, судорожно затрясся, поднял

обе руки вверх и истошным голосом, обращаясь к большой картине «Преображение», завопил:

— М-мошенни-ики-и!!!

Закачался и в бессилии прислонился к ограде.

. . . .

А в это время несколько мужиков боком, крадучись друг от друга, заходили за сторожку и, перебегая через дорогу, ныряли в нардом. Петька только успевал открывать дверь.

Учитель все стоял у окна и говорил нетерпеливым ребятам:

— Сейчас, сейчас начнем. Дайте третий звонок.

Учитель не ошибся. Он хорошо знал гордого старика Стригунова. Не своим голосом тот заорал:

— Айда-а за мно-ой... В разгон их, богохульщиков...

С клюшками, палками шли старики.

Остановились у крыльца, крикнули:

— Что делаете?

Застучали палками в дверь. Метнулась молодежь, задрожал зал.

— Старики пришли, бить будут!

Вышел учитель, успокоил:

— Ничего не будет. Сидите на местах.

От двери Петька крикнул старикам:

— Не туда попали.

Стригунов наступал яростно:

— Головы оторвем! Пусти нас!

Уперся Петька, дверь собой загородил.

— Не пущу.

— Бить будем!

Горят глаза у Петьки.

— Бейте!

Пошептались старики, на хитрость решили пойти. Стригунов ласковее к Петьке:

— Давай нам талоны!

— Вы шуметь станете.

— Не станем.

А сам моргает старикам.

— Перекрестись, — просит Петька.

— Н-на, вот тебе, че-орт, — крестится Стригунов.

— Теперь входите!

Ввалились и хотели было крикнуть, да тишина озадачила. На сцене Семка стоит, что-то из Евангелия вычитывает, из другой книги поясняет.

— А-ах, мошенник! Как это бога нет?

К Стригунову кто-то сбоку подошел и спокойно ответил:

— Коли вошли, не шуметь. Мы ведь вас не звали?.. Можете обратно идти.

— А почему утром спектакль?

— Вчера плотина утром, ныне спектакль утром. Наше дело.

Из церкви еще три старика выбежали.

Метнулись к крыльцу, испуганно к Петьке обратились:

— Иди, скажи, чтоб в церковь все шли. Батюшка сердится. Служить не хочет. Народу в церкви мало.

Засмеялся Петька.

— А у нас полно! И звать мы в церковь к вам от нас не будем.

— Тогда пусти нас, мы сами позовем.

— Этого тоже нельзя. У нас началось. Шуму быть не должно.

— Ведь позвать только.

— Уходите отсюда... А то и вправду батюшка уйдет из церкви, да еще сюда вломится.

Старик Захаров вскипятился, повел большими глазами.

— А по какому праву вы стариков не пускаете? Может, мы сами вашу спектаклю слушать хотим.

— Слушать идите, а скандал поднимете, после сами не оберетесь. Вон Стригунов прошел, поди, как тихо стоит.

— Не будем!

Так же как Стригунов, хотели открыть рты, а их взяли за плечи, усадили на скамьи.

Гришка в самое ухо шепнул:

— Старикам у нас первое место, только молчите.

Стригунов огляделся, прогнал с первой скамьи девок, усадил своих стариков.

— Поглядим, а как кончат игрище, мы и-их возьмем в палки!!

Скрипнул блок занавеса. Открылась сцена.

На сцене лес, деревья, налево скамейка. На скамье два старика разговор ведут.

Смотрит Стригунов, один старик на него похож... Другой на Григу Лысеева.

— Вот тебе ра-аз!

Толкает его Грига:

— О чем говорят?

— Слышь, один другого пороть хочет, а приказа барского нет.

— Без приказа нельзя пороть.

Вдруг хриплый голос помещика заорал:

— Квасу, квасу!!!

Шарахнулся один старик со сцены, затрясся другой.

Дедушка Яков вздрогнул:

— Смотри, предводитель Владыкин. Голос-то его.

Потом вспомнил, что он умер.

— Нет, другой какой-то!

Стрнгунов шепчет Лысееву:

— С похмелья орет...

— К Яше бы шел... — отвечает Лысеев. — Чай, нагнал...

Звеннт колокольчнк. Где-то будто тройка едет.

На сцену входят девкн с парнями.

Девки в кокошниках, парни в красных рубахах, длинных поясах. Гармоннсты вышли, балалаечннки.

Запели под гармошку грустные старнннные песнн.

Сжалось сердце у Григи Лысеева. Сам, бывало, так пел.

Но вот тишина наступила. Насторожился крепостной хор. Из дверн выходят два помещика. Один в полосатом халате, обрюзглый. Огромная трубка болтается за поясом вместе с плеткой. Другой — тучный, с лицом, заросшим волосами.

Толкнул Лысеев Стригунова:

— Не Вольников ли сам? Наш барин бывший.

Долго глядел Стригунов.

— Будто не похож!

Зашепталнсь старики, задрожали сердца. А вдруг вернулся их барин из заморских стран. «Ну-ка, скажет, отдать назад всю землю, несн орудня, ннвентарь, собрать три стада шленок!!»

Глазами искалн председателя, Гришку-секретаря. Тут они, вон сидят вместе. И Прошка с Лазарем в углу. Яшка-самогонщик с Игнашкой о чем-то шепчутся.

На сцене торг. Приезжнй выбрал девку себе н дает за нее борзого кобеля.

Хлопают по рукам. Плачет девка, падает в ноги приезжему:

— Не на добро, барин, меня берешь!

Орет помещнк зло и хрнпло:

— М-мрр-азь... Собирайся!

Вдруг вбегает косматая Наташка, едва на ногах держнтся. Дрожнт Стригунов.

— Наташа ли?

Слышит голос, будто Дунькин, его внучки.

Наступает Дунька на помещнка, ругает его.

Шепчет Стригунов:

— Валяй, валяй его... Э-эх!

Хотел пустить, как, бывало, на сходках, да опомнился.

Броснлась Дунька на шею к своему возлюбленному Ваське н плачет.

Кнпнт злобой помещнк на крепостного сопернника. Держит Дуньку взапертн, не сдается. Посулы обещает, не покоряется.

— На коню-юшну-юшиу-у! Плетей!!

Содрогается зал от помещнчьего крика. Не слышно, как плывет в окна звон колокольиый.

— Связа-ать Ваську!.. Забрать в солдаты!!

Встал помещнк, задрожал, размахнулся плетью. И вдруг все ахнулн.

Дунька, Стригуиова виучка, выхватнла огромный нож и бросилась на помещика.

Не утерпел Стригунов:

— Р-режь его, потроши!

Завопнлн старики:

— Р-режь, общество оправда-а-ает!!

Но отиялн Дуиьку и увели...

И было горько всем, досадно... тоска.

И вот вндят, как тихо крадется кто-то по сцене.

Вздрогнул старик, испугался:

— Кто это?

— Не мешай, не мешай, — шепчет Дуиька, — сожгу! Всех сожгу... дай только запереть их, чтоб не убежалн.

Бьется сердце у Стригуиова, бьется у всего зала.

Слышат, звонят будто колокола.

И еще тяжелее становнтся от этого.

— Что будет?.. Что будет?..

Скрылась Дунька. Ждут старикн.

Вот из-за сцеиы мелькнул огонь, лнзнул язычком...

Вот разросся шире, ярче... Вдруг понес н заревел.

...Зиают, там за лесом помещнчий дом н в ием заперт помещик...

Растет огоиь н гул. Слышнее топот, и раздаются далекие крики.

— Горя-а-а-ат!..

Ударил колокол. Заметались люди... Выбежала Дунька, страшиая, с распущеиными волосамн.

Метался в ужасе крепостной старик Ермил. Поднял руки вверх н обезумевшим голосом застонал:

— Го-о-оспо-оди, спа-аси-ин!

А набат сильнее и гулче. И влился набат в звон церковный.

И будто кричит под этот набат не одна Дунька, а ревет с ней весь зал:

— Горите!! Горите!! Проклятые тираны... Так вам и надо... Настал час расплаты... А-а-а... забегали, заметались!!! Нет вам спасенья. Не уйдете от мести народной... Красный полымь охватил вас... Горите... горите...

Опустился занавес, смолкли крики. Объявили перерыв.

Гулко заговорили старики. Окружила их молодежь.

Вспомнили старики давнее, пережитое, а Стригунов всплескивал руками:

— Ну... вноучка... ну-ну.

В зале пахло гарью. Ворочались на сцене, переставляли, стучали. Опомнились старики, что звон к обедне идет, тревожно повскакали с мест... Но выбежал Гришка на сцену и звонко, с задором выкрикнул:

— Сейчас начнется смешная комедия!!

Дернулся занавес.

. . . .

Смеялись над попадьей, над пьяницей — ее милым.

— Как милиционер наш! Только не к дьякону ездит, а к попу.

Под веселый хохот кончилась и комедия. Вышел учитель.

— Товарищи, сейчас очередь концерту. Но мы пока кое о чем поговорим. Первым делом о кооперации...

Говорил о перевыборах, о плуте Сысое, которого нужно вышибить, о том, что нужно провести в правление комсомольцев.

— Силы молодые, выдержат. Они вчера это на плотине доказали!

Зашел за сцену. Семка дернул за руку и указал на окно церкви, где помещался клирос.

— Что там?

— Погляди-ка.

Из окна, сквозь решетки виднелась белая, косматая голова дьякона. Увидев учителя, дьякон обрадовался, потом сожмурил лицо, высунул язык.

Учитель засмеялся.

Тогда дьякон просунул руку в решетку, сжал кулак и погрозился.

Учитель знаками показал, что в нардоме полно, и поманил к себе.

Густо плюнув, дьякон тряхнул головой, стал вполуоборот и махнул певчим.

Нарочно громко хор певчих запел «херувимскую».

— Вот он чего?.. Становись, ребята!!

Дал знак дьякону, открыл настежь окна и повел сверху вниз ладонью.

Мощная, перелитая в серебряные голоса песня звонко раздалась по залу, вырвалась из распахнутых окон и стремительным потоком хлынула к церкви.

Регентуя, учитель оглядывался на дьякона; регентуя, дьякон оглядывался на учителя.

Догадался дьякон, что хор проигрывает, но сдаться не хотел. Поднатужившись, он напер своим могучим басом, и глубокий рев его пронесся через улицу, докатился до зала.

Усмехнувшись дьякону, учитель обернулся к народу, поднял обе руки вверх, и весь зал подхватил могучие звуки и в густом потоке их потопил отголоски «херувимской», поглотил безумный рев дьякона и покрыл лицо его черной перекошенной злобой.

1926

Вячеслав Шишков

•

Свежий ветер

Посвящается
Николаю Максимовичу Кузьмину

I

Осень. Лист поблек, наполовину облетел, и заря за рекой цвела холодной бледно-зеленой сталью.

Сон еще далек, деревня вся в вечерних хлопотах: бабы доят коров — пахнет молоком, — запоздалые девьи руки торопливо доканчивают нудную работу — мялка деревянно стучит вот у тех ворот, и травянистые стебли льна превращаются в пепельно-серые волокна. Воздух свеж, стеклянен, и стеклянна река, на студеном стеклянном небе вспыхнули бледные точки звезд, и мутно-белый туман зачинается у померкших берегов. Через туман, через стеклянную гладь остывших струй тоскливо маячит на том берегу огонек. Это в бывшем барском доме, в конторе управляющего совхозом, дали свет. Слышен призывный звон колокола: рабочий люд спешит на казенный ужин. В деревне, неизвестно на кого, просто по привычке, лает собачонка. В избах зажигаются огни.

— Ванька, пей!.. Мишка, наливай.

Терентий пьет с двумя сыновьями самогон.

Время осеннее, хлеб есть, и червячище в брюхе сосет нутро. Мужичья душа о чем-то тоскует, и вот душе радость: пей.

— Ванька, наливай!.. Мишка, сыпь еще...

Терентий — нескладный, как медведь, нос у него большой, борода большая, рыжая с темным, и волосы на прямой пробор закрывают уши, он красен, крепок.

Жена Терентия, тетка Афросинья, хотя моложе его на пять лет, но в сравнении с ним старуха. Угловатая, сухая, сутулая, правый глаз в кровоподтеке, заплыл, левый — с

ненавистью и неизъяснимой скорбью смотрит на гуляк.
— Не можете, пьяницы, загородки телеичишку сделать. Он перемахнул да всю корову высосал. И жрать нечего будет, — брюзжит она на ходу.

— А-а, — подымается мужик. — Опять медведица из берлоги выползла?!

— Мамка! — кричит старший, Михаил. — Уходи, мамка.

— Уйду, уйду, — сморкаясь и кривя рот, уходит Афросинья с пойлом. — Должно, скоро уж на погост потащите.

Терентий с силой бросает ей вслед подвернувшийся молоток. За дверью слышно, как она скатилась с лестницы и воет в голос.

Пьяный пятнадцатилетний Ванька гыгыкает идиотским смехом и тянет:

— Ми-и-мо вда-а-рил... Мамку надо дуть... Ругается... — Его шелковые светлые волосы взлохмачены, под большими белесыми глазами темные круги. — Тятя... Тятенька... — бормочет он. — Я тебя люблю.

— И я, — шершаво говорит отец. Он приподымает Ваньку за волосы и целует в губы.

— А меня не любишь, тять? — грузно наваливается на них восемнадцатилетний Мишка и обнимает их за шеи. — Не любишь?

— Люблю... А ну, робенки, запоем.

И вот нескладно, вразброд громыхает пьяная песня. Кот открыл глаза и поводит ушами.

А за окном голубовато-желтый лунный свет... И через озаренные луной поля и перелески в этот чуткий и звонкий предночной час слышен ритмический далекий грохот железа о железо — свисток паровоза, и грохот на минуту смолк.

— Миш! А ну, балалайку... Сыпь!

И стены трясутся от топота пьяных ног.

Афросинье страшно идти домой, замерла, дрожит... Постояла в раздумье, погладила корову и поплелась к брату за три избы.

Брат сурово сказал:

— А ты не задирай... Ишь ты...

И покосился на сестру.

— Не знай, у кого и защиты просить, — захлюпала Афросинья. — В исполком ходила — погнали вон. К батюшке ходила — отступился. Как, говорит, я его пойду, бусурмана, улещать, раз он безбожник стал! К кому идти?

И голова ее затряслась.

— Домой, вот к кому! — крикнул с полатей брат.

Афросинья повалилась на коленн:

— Братец желанный, одна ты защнта у меня... Дай подмогу... Детей, изверг, науськнвает: «Бейте, говорит, ее, ведьму, я в ответе». Вот он какой. Ой, рукн на себя наложу. Нечистикн меня смущают: как лягу спать, н почнет н почнет... Ой ты, головушка моя...

— Не вой, Афроснньяя, ну тя к ляду...

И брат слез с полатей.

— Что онн делают, иа самом-то деле? Опять бнлн, что ли?

— Вчерась бнлн. Как хлобыстнул мне в ухо сам-то, о сю пору звон ндет... Просто не слышу ннчего, оглохла. И головушка трясется, остановнть не могу.

— Экн дьяволы, — пробаснл брат и полез в жараток за горячим для трубкн угольком.

Его жена месила квашню.

— Не ты первая, не ты последняя, — сказала она, обирая ножом с голой рукн тесто. — А меня, думаешь, мнлует? Все онн хорошн... Слышншь, Макар?! Черт... дьявол...

Голос ее звенел заднрчнво, но Макар, повернувшнсь к ней спиной, чесал зад, рассматрнвая свою лохматую тень на стене, н спокойно попыхнвал трубкой.

Афроснньe от этнх слов хозяйкн сделалось легче: обнда стала утихать и звон в глухом ухе оборвался.

— Прощайте, — сказала оиа. — Поплетусь.

Придя домой, Афросинья осторожно отворнла скрнпучую дверь н на цыпочках прошмыгнула за занавеску к печке. Мишка н Терентнй сиделн за столом, обнявшнсь за шеи, н пьяными голосамн оралн друг другу в рот:

Ты-ы васпо-ой, васспой жи-аваpooиoчи-ик,
Виесиой си-идючи-и на-а прота-а-линки-и...

А Ванька валялся под столом н храпел.

Афросинья кое-как перекрестнлась и устало легла на шубу к сундуку. Ужасно хотелось спать, н только закатнла глаза: топоры, кровь, веревка, омут. Она творнт молнтву, крестится, но кулакн, бороды, оскаленные рты гогочут над ней, грозят, н плещет у берегов черная волна. «Эка жнзнь тебе... Прыгай. Тут глыбко, глыбко...»

...Чи-ирез те-омный ле-ес...
Чре-э-ез дрему-у-у-чий бо-о-о-ор...

— Ангелн, архангелн, — шепчет в вязком, как глнна, по-

лусие Афросинья. — Не дайте нечистикам душенькой моей завладать...

Но петля в овине перекинута, и какой-то незнакомый зубоскал сам сует в петлю свою голову, смеется... «Видишь, очень даже легко. Чего ж ты?» Афросинья бежит прочь, отмахивается руками, и в красных сапожках, в красной рубахе, с красной рожей гонится за ней — земля дрожит,— «пей... отрава... так и так не жить тебе, сирота», — и сует ей в горло холодную, как змея, бутылку: «Пей!» Афросинья вскакивает и хватается за сердце.

«Пей!»

«Ага, не лю-убишь?.. Гыгыгы... Тятя, наливай ему в рот...»

«Держи! Разжимай. Ширше!..»

И тяжкий, темный сон продолжается.

«Гыгыгы...» — ухает нечисть.

И та же ночь. Месяц, лес. В лесу стол, на столе покойник. «Это мой Ванюшка», — обомлела Афросинья.

«Гыгыгы...» — пугает нечисть.

А мохнатые пни замахали корнищами и с треском, вперееверт, к покойнику:

«Держи... Ширше...»

«Гыгыгы...»

Покойник затряс головой, захлебнулся, открыл глаза. Открыла глаза и мать. Крикнула:

«Окаянные! Обопьется он. Отравите... Душегубы!..»

Пни взмахнули корнищами:

«А, медведица!..»

«Тятя!.. Мочаль ее...»

И петля, и омут, и тот краснорожий в красных сапогах: «Бей!!»

Афросинья завизжала, грохнулась, отлетела в угол, поднялась на воздух, стукнулась головой о потолок, о дверь, дверь скрипнула:

— Это что?.. Отец! Брат!

Но она не слыхала.

Красноармеец сорвал с плеч торбу и шагнул к отцу.

— А-а, Петрунька... — попятился тот к стене. — Здрасте... В побывку? Даже неожиданно...

Красноармеец сжал кулаки, разжал, сел на лавку, обхватил руками голову, вздохнул всей грудью.

И Любовь Даниловна сладостно вздохнула там, за рекой, в совхозе.

Над совхозом, над полями и над всей землей проплы-

вала голубая ночь, туман над рекой сгущался, сгущалась у закрайков вода — утром зазвенит ледок; травы, крыши, камни пушнели инеем, как белым мохом, собачонка давно смолкла, погасли огни, и вот Любовь Даниловна собрала колоду карт и завернула лампочку. Она ляжет спать при лунном свете — все голубеет в ее комнате, — и долго будет мечтать о нем, далеком. А далекий близко, здесь.

II

Дул свежий ветер, обрывая и крутя пожелтевший лист.

Солнце указывало полдень, и молодая светловолосая конторщица поставила самовар на белую скатерть.

— Так неужели вы совсем?

— Совсем, — сказал Петр Терентьич.

— Очень хорошо... Ах, как это хорошо. Ну, давайте чай пить!.. Погодите, я вас сыром угощу, ведь у нас в совхозе сыр делают.

Петр Терентьич огляделся по сторонам: так чисто, уютно в этой маленькой комнате; в золоченых рамах старинный портрет генерала, картины, трюмо, на лежанке канделябры.

— Это все казенное, из барского дома, по описи, — как бы оправдываясь, сказала она.

— Я знаю... Я только...

И он нахмурил лоб. Ему вспомнилась своя родная изба, темная и мрачная, пропахшая столетней деревенской вонью, вспомнилась вчерашняя встреча с отцом.

— Пейте, пожалуйста... Отчего вы такой грустный? Отец? Слышала, слышала... Это безобразие, какое пьянство идет по деревне. Скандалы, ругань, жен бьют. Наш заведующий хотел даже арестовать вашего родителя... Ну, расскажите, как вы? Как там, в Питере?

— Да что ж, хорошо, — невесело ответил он. — А главное, меня берет забота о матери...

— Да, конечно,— думая о другом, проговорила она, глаза ее были устремлены куда-то вдаль. — А в театры часто ходили? Ах, расскажите, Петр Терентьич!

— Да, ходил и в театры. Редко только... Я думаю, много неприятностей мне предвидится в моей семье.

— А какие же вы пьесы видели? Расскажите, миленький... Я так... я так здесь...

— Разные пьесы. И кинематографы. — Он взглянул с упреком в ее загоревшиеся глаза. — Я больше митинги лю-

бнл да лекции. У нас в казармах другой раз... Да... Уж вы простнте, Любовь Даниловна. Я вот все докучаю... про свон болячки семейные. Уж извините...

— Пожалуйста, что вы, ведь я же вам сочувствую н поннмаю вас.

— Боюсь за себя, — вздохнул он. — Как бы промежду отцом и мной чего ие вышло. Очень крупно говорнли мы... А мать моя совсем больная, за эти два года состарилась, едва узнал ее. Оглохла... Ах, как худо, Любовь Даннловна.

Они пробеседовалн так очень долго. Она сказала ему, что теперь уж не до идей, она учительство бросила, чтоб не умереть с голоду: здесь все-такн паек и теплый угол.

— Может, и вы бы толкнулись к заведующему, — авось, местишко найдется.

Петр Тереитьнч взял у нее тургеневские «Записки охотника» н направнлся в бывший барский дом.

Управляющий, чериобородый, в очках, человек, встретил его радушно, обещал небольшое местишко.

— А ты вот что, Петр, — сказал он. — Ты семью свою как-нито урегулируй. А то я возьмусь.

Петр Терентьнч пошел по знакомым крестьянам.

Его крестный, высокий, крепкий мужик лет пятидесяти, расцеловался с ним и повел показывать свое хозяйство: вот эта корова Красуля получнла премию на местной выставке — десять пудов жмыху. А это новый жеребец, свой, доморощенный.

Крестиый схватил поводья и побежал с жеребцом по улнце. Ветер трепал его бороду, крутнл хвост и грнву гнедого жеребца. Жеребец бил в воздухе задом или всплывал на дыбы, храпя.

— Тпрру!.. Вндал, каков! На будущнй год на выставку.

Хозяин весь сиял довольством. Лицо его было гордо и самоуверенно, голос громок, движення размашисты и быстры.

«Вот с таким Русь не пропадет», — подумал Петр Терентьнч.

— А это что, пятнстенок-то рубишь для себя?

— Сына женю, — сказал крестный. — Ему. На хутор выделю. Сам тоже на хутор лажу. Вольготией. Нас артель, мужиков пяток, молодец к молодцу, непьющие... Хозяйственникн. От этой сволоты, от пьяиц, иадо дальше, дело будет... Тпрру, лешнй ты!.. Ну, как там у вас в Пнтере? Мозгуют? Войны ие предвидится? А объясни, друг, что это за червонец за такой? Бумажный? Ха! Да пойдем в из-

бу... Пойдем, убоинкой свежей угощу, боровка заколол...

Крепкий дом его весь обсажен деревьями, кругом чисто, усыпано желтым песком. Рдела рябина. Петр Терентьич подпрыгнул, отломил ветку и бросил целую горсть спелых ягод в рот.

Они поднимались по лестнице, только что вымытой и покрытой домотканой дорожкой.

— Неужто все это будешь ломать, крестный? На хутор-то...

— Буду. Русь ломали, не боялись, раз добро предвидится. А изба — пара пустяков.

— Трудно.

— А руки-то на что! У меня два сына. Слушай-ка, крестничек... А что насчет каператива скажешь? Давай-ка хлопнем сообща!.. Ух, делов, делов теперя... Вот, бабы, крестничка привел... А ну-ка живой рукой на стол... Садись, гостенек дорогой... Теперича сказывай подробно, как и что...

III

Медведеобразный Терентий первые три дня по приезде сына впрягся в работу.

Он с утра уходил молотить с Мишкой и Ванькой, на ночь топил ригу. Обедали и ужинали все вместе. Афросинья лежала, ей подавали пищу на сундук. Отцу, видимо, было стыдно, не разговаривал с Петром, только вздыхал и оглаживал рыжую с темным бороду. Молчали и братья.

— Отец, — сказал Петр за ужином. — Вот ты теперь трезвый. Предупреждаю: мать не бей.

Афросинья, должно быть, услыхала, всхлипнула и заохала.

— А что будет? — насупился отец.

— Будет плохо.

Отец засверкал глазами, бросил ложку, гневно сказал:

— Ежели всяка тварь учить начнет, лучше на свете не жить.

Петр смолчал. Сыновья улыбнулись. Петр сказал:

— А на вас-то, молодчики, расправа найдется у меня скорая.

— А что сделаешь нам, Петька? — спросил Михаил вызывающе.

— Мы тя вздрючим... Только полезь!.. — подхватил Ванька.

Петр опять смолчал. По лицу пробежала тень. Вилка тряслась в его руке и тыкала мимо картошки.

— Большевик, черт, — пробубиил отец. — Приехал на готовеиькое-то жрать. А туда же, грозит. Сволочь.

Чуть вздрагивая бровями, Петр сказал:

— С ваших хлебов я уйду. Не объем. А кто будет мать мою истязать, тому место за решеткой в городе приготовлеио...

Отец сипло задышал и треснул кулаком в столешницу, ио, взгляиув в лицо сына, сразу осел: лицо Петра было бешеио-холодное, и стальиые глаза, в упор и ие мигая глядевшие иа Терентия, полыхали мстительиой решимостью. Лоб и щеки отца покрылись пóтом. Братья разииули рты. Петр стал бледен как мертвец. Зубы его скорготали. Он поднялся, накинул шинель и вышел.

Его била иервиая дрожь. Ои быстро шагал через огороды к лесу. Всходила луиа, опять тявкала собачонка. Пахло самогоном и иачавшей подгнивать мертвой листвой. В соседией риге светился огоиь и слышался веселый смех детворы, собравшейся печь картошку. Но все это смутио проплывало в созиаиии Петра, ои иапряг всю волю в борьбе с охватившим его смятеиием. Чувство зверя, которое ои ощутил в себе, мучило его. Ои поиял, что отец враг ему, враг сильиый, железиый, но его надо сломить.

Петр повериул к реке.

За рекой, как и всегда по вечерам, горел в заветиом окне огоиь.

— Простите, Любовь Даииловна, я к вам. На минуточку.

Девушка обрадовалась и, отложив шитье, сказала:

— Ах, как это кстати! Мне ужасно что-то тоскливо сегодия. Давайте читать. Присаживайтесь.

— Лучше давайте говорить, — сказал Петр. — Мне тоже скучно.

Сидели и молча глядели друг иа друга. В сущиости он пришел сказать ей, не согласится ли оиа быть его женой. Эта мысль пришла ему виезапио, в то время, когда ои пробирался сюда сквозь заглохший барский сад.

— Наступает осень, — сказала оиа задумчиво, — и в деревне так грустио, особеиио зимой. Я ведь городская. Революция загнала меия в ваше болото. Впрочем, вы знаете.

— Мне управляющий предложил место кладовщика, — сказал он. — Думаю, что справлюсь. А я вот о чем...

И ои замялся.

Она поглядела в его открытое, с небольшими усами, лицо, на крепкие, жилистые кисти рук и, ничего не угадав, спросила:

— Ну, как у вас в семье?

Он безнадежно махнул рукой и уставился взглядом в темный угол.

— Я категорически заявил отцу. Не знаю, что выйдет, — сказал он, помолчав. — И понимаете ли, Любовь Даниловна, вот сидишь дома, и как-то все не то, словно среди врагов. Вот, думаешь, вскочат и убьют...

— Ну, с чего это. Что с вами? Вы расстроены?.. Погодите, я вам валерьянки дам.

— Не валерьянки мне надо. Не валерьянки!

— А что же? Вы нездоровы, у вас озноб.

— Да, озноб, — проговорил он, весь передернулся и засопел. Нужное слово не сходило с языка, а надо было сказать очень просто и ясно этой городской девушке. А вдруг откажет, топнет, выгонит...

«Какой красивый, — подумала она. — Неужели на деревенской девке женится?»

И сказала:

— Слушайте, Петр Терентьич, а вам бы жениться надо.

— А кто за меня, за мужика, пойдет? — проговорил он насмешливо и раздраженно.

Она опустила глаза. Он видел, высокая грудь ее часто дышала под накинутой на плечи шалью.

— Любовь Даниловна... — начал он.

Но дверь отворилась, лохматая голова просунулась в щель:

— Товарищ Антонова, иди, мы собрались!

— Сейчас, сейчас.

Дверь захлопнулась.

— Пойдемте, — сказала Любовь Даниловна Петру, — я нашим комсомольцам историю читаю... Тут, в доме... Их человек двадцать. Наши рабочие. Есть и из крестьян трое. Пойдемте.

— Нет, я в другой раз. Я к домам... Прощайте, Любовь Даниловна. Многое хотелось вам сказать, да все както... Эх, черт его знает... Плохо на душе.

Он провожал ее. Луна взобралась высоко. Кусты еще зеленой акации окаймляли площадку перед домом. В середине площадки — куртина увядших цветов, колокол на высоком столбе и мраморная статуя, голубевшая под лунным светом.

На прощанье она умышленно крепко сжала его руку. Он сразу осмелел.

— Ах, хорошая!.. — проговорил он тихо и страстно. — Ежели буду жениться, тебя не обойду, стукнусь. Прогонишь?

Она задорно засмеялась, и полные щеки ее вспыхнули.

— Вот как! Ты?.. Да разве можно говорить барышне «ты»?

— Можно, ей-богу, можно!

— Товарищ Антонова! — с треском открылось окно. — Иди скорей!

Со скотного двора бежала через площадку босоногая девчонка с ведром.

— Погоди минуточку, Любовь Даниловна! — пропищала она. — Я только вот управляющему молоко снесу.

Петра опахнула тихая радость. Он, улыбаясь, шел сначала по темной, усаженной липами дороге, потом мостом, через реку. Ему хотелось смеяться и громко петь. Черт знает, до чего просто. Ну, теперь-то он, конечно, будет говорить с ней напрямки. Улыбаясь и рассуждая сам с собою, он незаметно подошел к своей избе.

...Все-е люди-и-и живу-у-т,
Ка-ак цветы-ы цветут...

— А, Петрунька!.. Енерал! Дерьмо коровье, — расправляя усы и бороду, пьяно закричал Терентий. — Садись, пей! Тепленькая... Не пьешь?.. Ха!.. Рыло не дозволяет?.. Благородство?! Куммунист, черт. Робенки, пой.. Пес с ним... Енерал, кисла шерсть...

А-а моя-а-а голова-а-а
Вввя-а-нит, ка-ак тра-а-ва...

Братья подшибились ладонями и орали за отцом дико, крикливо.

Петр ровным шагом, по-военному, подошел к хмельному столу, взял чайник с самогонкой и выплеснул ее в лохань.

— Стой! Что делаешь?! — загремел отец.

— Спать, — сказал тихо, но хрипло Петр. — Пожалуйста, спать... Матерь больная...

— Самогон отдай! Он твой?! — и братья полезли с кулаками на Петра. — Мы те!..

Петр освирепел, развернулся, и Мишка, торчмя голо-

вой, вылетел в сенцы. За ним с воем и Ванька. Мать завизжала:

— Ой, Петеньку убивают!.. Ой...

— Ах, вот как ты, сынок?!

И отец с высоко поднятой скамьей кинулся на сына. В твердой руке Петра блеснул револьвер.

— Прочь! — надсадно, звонко крикнул Петр. Скамья грохнулась на пол, отец выбросил вперед огромные, как бревна, руки.

— Не дури, не дури... — перехваченной ужасом глоткой хрипел он. — Убивать собрался?

— Да, убивать.

— Рука не дрогнет?

— Не дрогнет.

— Ловко... Хорош сынок... Ну, да и у меня гостинец есть.

Он схватил топор, потряс им и с силой всадил в дрогнувшую стену.

— Батька! Положь.

Отец рванул топор и загадочно сказал:

— Спи, сынок, да не крепко...

Он засопел, поругался в бороду и полез с топором на полати.

Вошли присмиревшие братья, пошептались у дверей, бросили на пол постельник и легли. Петр устроился на лавке, загасил огонь и под подушку сунул револьвер.

IV

И потекли день за днем, ночь за ночью, серые, настороженные. Отец ложился спать в самом углу полатей, рядом с собой клал топор. Сын — с револьвером. И ночи они проводили бессонно. При нужде, среди густых потемок отец осторожно слезал с полатей, в руках его был топор. Петр крякал и кашлял — «не сплю», — и рука его тянулась под подушку. Отец тоже крякал и шел на улицу. Возвращаясь, всовывал в избу голову, долго озирался, щупая, как филин, тьму. Петр крякал — «не сплю», — отец карабкался на полати.

Мать бессонно вздыхала, крестилась: «Спаси бог и помилуй Петеньку, кормильца, заступника».

Петр выходил тоже с револьвером, отец крякал — «не

сплю», — чиркал спичку и закуривал. Только братья, безмятежно похрапывая, спали.

Проплывали ночи, и за темными стенами зрело событие — сокрытое от человеческого взора. Но вот пробегавшая в голубой ночи собака вдруг остановилась, посмотрела на черные непонятные стены избы и завыла вещим воем.

Ночи проходили в луне и звездах. На подстывших болотах, меж кочками, холодными зеркалами голубел молодой ледок, но река все еще текла на свободе.

И среди ночи, среди морозной тишины, вдруг промчится с отчаянным криком растерзанная, чуть не в одной рубахе женщина. За ней с колом мужик. Нашумят и скроются.

Очередной деревенский сторож, какая-нибудь солдатка Парасковья, побрякивая колотушкой в дырявую заслонку, все подмечает, что творится ночью на деревне. И, наверное, завтра у колодца будет говорить:

— Изот опять Настюху хлестал. Вдоль улицы носились. И еще, девоньки, Митрий с Катериной цапались: он ее за косенки, а она его за бороду; он ее кулаком, она его ухватом. А тут свалил да и начал сапожищами топтать. Остановилась я, девоньки, постучала. Жаль... На сносях ведь Катерина-то.

Шел день за днем. Вот полетели белые снежинки, гуще, гуще, и на четверть — ослепительный ковер. Все стало чистым, загадочно торжественным и грустным, как на покойнике свежий вечный саван. Не скоро теперь дождется белая земля угревных дней.

Афросинья кой-как бродила. Как нет Петра, отец ругает ее и бьет. Норовит под вздох и в спину, чтоб не было знаков на лице. Афросинья плачет тихомолком, терпит, Петру ни слова. Голова ее еще больше стала трястись, душа скорбит, Афросинья просит у бога смерти.

Петр Терентьевич служит в совхозе кладовщиком. Он завел большой порядок в складе, против закромов прибил таблички, у него на учете каждый фунт. Прессованное сено с лугов отправляется в город. Клевер, по норме, идет датскому скоту — в совхозе тридцать пять племенных коров. Он свой восьмичасовой рабочий день давно похерил, работает по десять — двенадцать часов. И, беседуя с управляющим, старается ему внушить, что восьмичасовой рабочий день для совхоза гибель.

— Надо идти нога в ногу с мужиком, с зари до зари

копаться. Иначе хозяйство всегда будет на шее у государства сидеть.

Управляющий Петром Терентьевичем очень дорожил и сделал его заведующим складом. Петр подумал: «Ну, теперь можно», — и пошел посоветоваться к крестному.

Его сыновья возили по первопутку на хутор сруб. Старик с крупной, краснощекой девицей, будущей снохой своей, пилили байдак.

— Бог помощь! — поздоровался Петр.

— Спасибо, — сказал крестный и улыбнулся. — Нешто возможно тебе бога поминать?.. Грех.

— С маленькой буквы — можно, — заулыбался и Петр. — А я к тебе, крестный, на пару слов.

Вошли в избу. Петр объяснил, в чем дело.

— Зря. Не советую, — сказал старик. — Руби дерево по себе. Бери попроще. Вот какая у меня сношенька-то, бог с ней... Как груздок в бору.

— Да что ж, крестный, я уж откатился от крестьянства... Ведь я перед революцией два года на фабрике работал.

— Смотри, — сказал крестный. — У нее ведь, болтают, было дите.

— Дите? — у Петра дрогнул голос, от плеч по рукам пробежали мурашки. — Чей же, от кого?

— А уж это ее спроси... Мой совет — плюнь.

Домой возвращался Петр раздавленный, желчный. Дома была одна мать.

— Вот, матушка, — начал он. — Присоветуй.

— А что ж, сынок... Дело доброе... Бери, бери, Петенька. Правда, что было у нее дите, в голодный год с управляющим сошлась, — ну, дак что такое? Жизнь не спрашивает. Когда цветку цвести — цветет; когда ягодке зреть — зреет. Мало ли что было. А раз теперича ее сердце все к тебе приклоняется, — бери, благословясь.

Петр свободно передохнул, встал и обнял мать.

— Спасибо, спасибо, — растрогался он. — Вот ты какая. Даже удивительно.

Подбородок его дрогнул.

— А тебе, поди, тяжело, матушка?

— Нет, ничего, сынок милый, ягодка моя, Петенька... Ничего...

Она молча и стыдясь заплакала. Потом сказала:

— Вот уйдешь к жене жить, убьют меня.

— Пусть попробуют. Я с батькой перед уходом всерьез поговорю.

Это надвигавшееся событие в жнзнн Петра — жеинтьба — ничуть не нзменнло его отношений с отцом. Те же настороженные иочн, тот же топор н револьвер.

Петр прнноснл паек — продукты, — да н урожай был иедурен, отец продолжал пить, н работа не шла ему на ум.

Теперь он перенес свои гулянкн к вдовой солдатке Васнлнсе, толстобокой, сильной бабнще. У нее было иеплохое хозяйство, которым она управляла вместе с дочкой своей, семнадцатнлетней Груняькой. А на Груньку, чернобровую в мать, песенницу н работягу, «пялил глаза» Мишка, Тереитьев сын. Конечно, матерн это не с рукн, нн Ваньку, ии Мншку близко к дому не подпускает баба, а чуть что — со щеки иа щеку кормнт Груиьку оплеухамн — сама желает гулять с Терентьем, сама метнт ему в жеиы угоднть. И что та, окаянная снла, Афроська, не сдыхает!

Все зиали иа деревне, где гуляет Терентнй, знал и Петр, но тайных его дум н тайных мечтаннй краснощекой Васнлнсы инкто ие знал.

Терентнй часто прнходнл домой под турахом, в кураже, и вот как-то пьяный взлаял на жену:

— Когда ты подохнешь-то? Когда ты мою головушку-то ослобонишь?

— А тебе, отец, зачем? — поднялся нз-за киигн Петр.

— Пошел к черту! — топнул Терентнй. — Тьфу!.. Дорого ие возьму и разговаривать-то с тобой, с умииком паршнвым...

Он понскал топор н полез на полатн спать.

Братья, как казалось Петру, остепеннлись, прнсмнрелн, но втайие оин злилнсь иа мать и иа любимчнка матерн — Петра. Однако Петр, когда ие было отца, чнтал нм по вечерам кннгн, беседовал с иимн, ннога водил Ваньку на собрания комсомольцев, которых он обучал политграмоте. Братья хнтрнлн, подчнняллнсь Петру, надеясь в душе, что Петр ндет в гору н что нм в конце коицов с коммунистом-братом будет неплохо.

Однажды Ванька сказал отцу:

— Я в комсомольцы запишусь. Петруха наш полуграмоте обучает там.

— Что?.. Против бога?! Полуграмоте?! — цыкнул на него отец.

— Ишь ты! — закрнчал н Ванька. — Тебе только самогон у вдовухн жрать... А я запишусь...

Отец схватил его за шиворот и бросил носом в угол.

— Ванька, беги! — закричала, заголосила мать. — Убьет. — И побежала на улицу.

— Дьявол!.. — весь дрожа, ощетинился Ванька. — Знаю, пошто мамыньку-то хочешь извести: на Василиске жениться ладишь... А я запишусь!

Терентий схватил кнут. Ванька сигнул в сенцы и с плачущей злобой крикнул:

— А я запишусь!..

Терентий успокоился, пошел к вдове. Был вечер. Подмораживало, и снег хрустел. Ванька разыскал Михаила и сговорился с ним бить отца.

— И Василису вздуем, леший их дери, — сказал широкоплечий Михаил. — Тогда Груняху я закоровожу обязательно.

— Грунька все об Петре об нашем... На посиделках только и слов, что о Петре.

Мишка запыхтел и сказал:

— Петруха управляющего милашку короводит... Слышь, Ванька, а не позвать ли на подсобу еще кого-нибудь?

— Сладим...

— Надо обождать... Пусть нажрется поздоровше...

Мать вернулась домой. А возле освещенного окна, заглядывая в окно, там, в совхозе, взад-вперед битый час ходила высокая девушка. Янтарные бусы желтели на ее синей душегрейке, красный шарф был повязан с форсом, концы его лежали вдоль спины, и между ними грузно падала тугая темная коса.

И там, — через занавеску и кусты герани — хмурый Петр. Любовь Даниловна ходит по комнате быстро, говорит. Вот она круто на ходу обернулась, сдвинула брови и развела руками, как актерка, а Петр встал из-за стола, простился и ушел.

— Петр Терентьич! — грудным, певучим голосом окликнула его девушка. — Можно мне рядком? А вы, поди, не можете меня признать. Я — Аграфена, Василисина дочка.

— Груня?.. Вот как выросла!.. Прямо невеста, — в его словах слышалось изумление и какая-то горечь.

— Что же это вы, Петр Терентьич, к нам на девичьи игры-то не заглянете? Ай, загордились шибко?

Груня шла, покачивая на ходу круглыми плечами, и ее коса ходила по спине, как маятник. Петр что-то промямлил, глядя в ноги.

Вызвездило. И дорога через реку была вся в звездах.

На том берегу белела в вековой дреме церковь. Хвостатые дымки плыли к небу из почерневших изб.

— Нехорошо, Петр Терентьич, чужих любушек отбивать. Ай, нехорошо!

И она звонко рассмеялась.

— Каких любушек?

— Ха-ха!.. Будто не знаете. Притворщики какие. А откуда идете-то? А я белье носила управляющему...

— Что ж, подсматривала?

— Очень надо. Я бегу, а вы выходите.

— Ну да! Я к Любовь Даниловне по делу заходил.

— Вот она любушка-то управляющего и есть.

— Брось! — крикнул Петр. —Что тебе надо от меня?

— А нет ли книжечек почитать? Сказывают — есть.

— А ты грамотная?

— На вот те... — обиделась Груня. — Знамо, не такая грамотная, как твоя, а книжки читать люблю. Дашь?

— Дам... Пойдем.

Они поднялись с реки на берег. В избе, при свете лампы, Петр во все глаза глядел в лицо красивой девушки, и его сердце, наверно, дрогнуло. Груня почувствовала это. Она опустилась рядом с ним на колени, заглядывала в сундук с книгами и жарко дышала ему в щеку.

— Какую ж тебе книжку? — взволнованно спросил он.

— Про любовь, — шепнула девушка. — Где целуются...

Она запрокинула голову и закрыла глаза, улыбчиво поблескивая белыми ровными зубами. Рука Петра самовольно потянулась и обняла девичью талию.

С грохотом и ярой руганью вломился в избу Мишка. Все лицо его разбито в кровь.

— А-а, эвон как!.. В обнимку!! — изумленно попятился он и выбежал в сенцы, с треском захлопнув дверь.

— Петр Терентьич, проводи, — сказала Груня. — Боюсь я.

— Кого?

— Мишки, — сказала она тихо. — Нешто не знаешь, он ладит меня замуж взять.

— Парень ладный... Чего же ты?

— Подь ты и с Мишкой-то! — Она грустно улыбнулась, защурилась, закрыла лицо руками. — Э-эх!.. — и затрясла головой, бусы звякнули.

— Вот книжка. Очень занятная, — сказал Петр. — Только без любви.

Она взяла книжку, вздохнула:

— Ну, прощай... Так не хочешь проводить? — и пошла к двери, коса ее опять закачалась, как маятник.

Петр послушно направился за ней. Навстречу попался Терентий. Он выписывал по дороге вавилоны, пел песню и кричал, грозя кому-то кулаком:

— А-а, отца бить?! Родителя!.. Я тебе еще не так посчитаю зубы-то...

Петр и Груня свернули в переулок. Мишка с Ванькой замывали снегом разбитые носы и не смели идти в избу.

Петр сказал:

— Прощай, Груня. А то боюсь, как бы он матерь не тово... Отец-то.

Девушка быстро оглянулась — пусто, лишь они да звездный сумрак — швырнула книжку в снег и неожиданно поцеловала Петра в губы.

— Оставь! К чему это?.. — отшатнулся он. — Ведь ты знаешь, что я...

— Брось городскую! — обняла его за шею девушка. — Петя... Брось.

V

Был воскресный день. Солнце светило сквозь морозную пыль, отчего меж голубоватых теней и на ребристых увалах снег мутно алел.

Комсомольцы до обеда бегали на лыжах, катались с крутого берега на салазках и коньках, после же обеда они занялись учебой.

В окно обширной комнаты холодного барского дома глядели сумерки. Железная самодельная печь стояла враскорячку посреди комнаты и дымила. За широким крашеным столом сидело человек пятнадцать молодежи. Разговаривали, грызли семечки, курили, смеялись. Краснощекая скотница, дежурившая сегодня по наряду, убирала со стола остатки хлеба и недопитое молоко. Рядом — маленькая каморка. Там живет председатель коллектива, белокурый, болезненный на вид юноша Галкин, с умными серыми глазами. Он вчитывается в только что полученную бумагу из уездного отдела. На его жесткой — ящик и доски — кровати трое маленьких парнишек тренькают на балалайках.

— Петрунька, — говорит председатель. — Сбегай за Любовь Даниловной. Ждем.

Парнишка бросает балалайку. Но в дверь кричат:

— Товарищ Антонова пришла!

В зале дали свет, выплыли со стен плакаты: «Комсомольцы штурмуют небо», «Все под красное знамя союза», «Наука и религия несовместимы»,— и председатель постучал по столу:

— Объявляю собрание открытым...

Шум смолк. И только в двух местах по-детски:

— Немножко внимания!

— Прекратите ваше дыхание!

Но вторичный стук по столу, и Любовь Даниловна, улыбнувшись, начала беседу.

— В прошлый раз я рассказала вам про нашествие татар, про татарское иго. Колькó! — обращается она к маленькому парнишке-пастуху. — Как ты думаешь, если б Русь не оказала сопротивления татарам, что бы они сделали с Западной Европой?

Парнишка кривобоко ежится, поблескивает из-под огромной тятькиной шапки черными глазенками, пищит:

— Звестно, побили бы... Где, к свиньям, Европе устоять.

Поднялись оживленные перекрестные разговоры. Любовь Даниловну забросали вопросами. Время быстро летело, ее час кончился, а Петра Терентьевича все нет.

Петр Терентьевич запоздал — он никогда не опаздывает, — что же с ним случилось? Петр Терентьевич торопливо, чуть не рысью, приближался к дому, вот заскрипела дверь крыльца, четкие шаги, и — он вошел.

— Урра!.. Петр Терентьич! Петр Терентьич!.. — все выскочили из-за стола и окружили его.

— Тсс... На места, ребятки, на места. Пожалуйста, тихо... Оваций я не люблю. К делу!

Он говорил глухо и подавленно, очень крепко сжал руку Любови Даниловны: рука его горяча, глаза лихорадочны и возбуждены.

— Вы больны? — спросила она вполголоса.

— Да, в этом роде...

— Я пойду поставлю самовар.

И не успел самовар вскипеть, как под окном флигеля с шумом и резким гвалтом пробежала молодежь, а в ее комнату вошел Петр Терентьич.

— Меня всего трясет, — сказал он и опустился на диван. Мужественное лицо его было бледно и подергивалось. — Опять дома неприятность у меня. Отец пытался мать бить... Я вступился. Отец выпивши... Эх ты, черт!.. И

контузия эта сказывается... Изнервничался я. Чуть что, хочется плакать... Нет, так жить нельзя...

Он вынул платок и громко высморкался.

Любовь Даниловну тоже забила дрожь.

— Любаша... Уж ты прости. В таком вот... при таких вот нервах я уж тебя на ты, по-мужичьи, попросту.

Придвигая ему стакан крепкого чая и кусок жирного пирога с морковью, Любовь Даниловна взволнованно сказала:

— Сам виноват, Петр.

— Сам? Ну да, конечно: чужую беду руками, как говорится, разведу. Эх, ничего не знаешь ты, Любовь Даниловна!

— А если знаю?

— Что ты знаешь?

— Про отца да Василису? Знаю. Про Груню? И про Груню знаю.

— Что? — он положил обе ладони концами пальцев на стол и откинулся на спинку дивана. Загадочно хитрая улыбка на лице девушки стала быстро таять, лицо вытянулось и окаменело.

— Знаю, что ты хочешь жениться на ней.

— Я? На ней?.. — он навалился грудью на край стола и опять откинулся. — Откуда вы взяли это?

— Слушок такой, разговоры... — мертвыми губами прошептала девушка.— А потом, помните, там, в проулочке?.. Помните, вечером? Еще Груня книжку-то вашу в снег бросила...

— Что? Что?

— А потом... вы целовались.

— Кто вам наврал?

Он поднялся.

— Мои глаза, — спокойно сказала девушка.

Петр стоял, словно исполосованный плетьми. Часы пробили восемь. Он отхлебнул чаю и зашагал взад-вперед по комнате. Волосы на его голове топорщились. Он засунул руки в рукава и вздрогнул. Потом остановился и в упор посмотрел ей в лицо. Ее глаза расширялись и суживались.

— Да, — сказал он хрипло. — Вот в чем дело, Любовь Даниловна... я...

— Глупо! — перебила она и отвернулась. — Глупо так решать судьбу. Ведь я знаю: вы хотите жениться на Груне и переехать к ней, чтобы разлучить отца с Василисой. Но разве это выход из положения?

Она вдруг поднялась, положила ему на плечи ладони, оттолкнула, приблизила к себе.

— Сядь, слушай. Помнишь, говорил: буду жену искать, тебя не обойду? А что вышло? Петр Терентьич? А? — волнуясь, говорила она укоризненно.

Наступило длительно-короткое молчание, он опустил голову и полузакрыл глаза.

— Да ведь я не смел... Ведь я же вижу разницу, так сказать...

— Что? Какую разницу? Слушай! — Она облизнула пересохшие губы. — Мой план таков. Ты знаешь, что заведующий соседним совхозом проворовался и его накрыли? Ты знаешь, что в городе на его место выдвинута твоя кандидатура?

— Ну?! Ей-богу?! — вырвалось у него, и белая комната вдруг порозовела.

— Я только что получила из города письмо. Вот оно. Итак, мы женимся с тобой, поедем туда, на новую службу. Я два лета слушала агрономические курсы. И думаю, что вдвоем мы справимся.

Стул под Петром закачался, самовар надул толстые медные щеки и весело запел. Петр схватил руки девушки и молча стал целовать их.

— А мать? Как же мать-то?

— Мать, ясное дело, возьмем с собой. Михаила женим на Груне. Я уже говорила с ней.

Петр дышал, как паровик, глаза его наполнялись радостью, но меж бровей, над переносицей, глубокая складка не распрямлялась.

— А вот... — начал он и поперхнулся.

— Что? Ну, ну!

— Дело в том... Ведь ты же... Вот наш управляющий, так сказать... Вдруг он не пожелает тебя отпустить. Очень извиняюсь, так сказать. Но я краем уха слышал, будто бы... ты.. будто бы вы с ним ..

Все поплыло куда-то вкось, вправо, самовар присел и смолк.

— Вздор! Вздор! — губы девушки оскорбленно скривились. — Вздор! Знаю, про что...

Но этот истерический крик прозвучал в душе Петра, как песня соловья весной: душа вдруг стала свободной, радостной.

— Я знаю, кто пускает эти слухи. Сожительница управляющего. Она зверски ревнива. Она ходит за ним по пя-

там. И при таких условиях... как я могла?.. Нет, это... это... И как ты мог поверить?.. Ты?! — Она передохнула и схватилась за виски. — Эта мегера распустила слух и про ребенка... Будто бы я... Ах, мерзость какая!.. А сама живет с механиком с мельницы... Вот и путает других. Я действительно ездила в город, лежала в больнице. У меня даже свидетельство есть. Операцию делали, аппендицит... Ты знаешь, что такое аппендицит?

Но Петр ничего не знал, ничего не слышал. Все колыхалось в нем и пело. Он опять шагал по комнате и бормотал сам с собой:

— Удивительно. Удивительно. Все ясно теперь, все хорошо. Вот и не верь после этого в судьбу... Любовь Даниловна!.. Голубка! Да ведь ты сокровище для меня...

Большой, широкоплечий, он повалился перед ней на колени, схватил ее белые руки и тряс их с каким-то ожесточением.

И вдруг там, за окном, в морозе:

— Петр!.. Петр!.. Петр!.. — ближе, громче, надсадней. — Петр!!

Он вскочил и, в чем был, выбежал на крики.

— Отец мамку ищет... Скорей!

И вот оба с братом Ванькой мчатся по реке домой.

— Батька пьяный... мамынькин сундук изрубил, — еле переводя дух, хрипит на бегу Ванька. — А мамынька к дяде Макару убежала... Ой, убьет!..

Перед глазами Петра черный огонь, и нет под ногами земли, обрубленный полумраком месяц пляшет в небе, то взметаясь вверх, то падая до горизонта.

Страшный Терентий нашел жену на чердаке, у ее брата Макара, под вениками.

— А-а-а! — взревел он зверем.

Пьяный Макар сгреб мужика за горло, но Терентий с силой отшвырнул его. Афросинья катом скатилась с лестницы и без памяти бросилась в избу, за ней — прибежавшие Ванька и Петр.

Терентий, пошатываясь, показался в дверях и, ничего не видя, кроме мелькнувшей за перегородку Афросиньи, загромыхал мертвым шагом к ней.

— Батька!..

Терентий боднул страшной головой и, как зверь на рогатину, полез грудью на Петра. Ванька с криком вцепился в батькин шиворот:

— Вяжите его, вяжите!

Хозяйка Степанида сгребла ухват.

И все завертелось, загрохотало по избе. Терентий то падал, то вскакивал. Степанида била его по голове, по спине ухватом, дико визжа. Посыпались горшки, кувыркнулся самовар, изба тряслась. Терентий выхватил из-под лавки топор:

— Прочь!.. Башку снесу!.. Могила!..

И все волной метнулись от него.

— Брось топор! — хлестко крикнул Петр, нырнул рукой в карман за револьвером — пусто — и сорвал со стены ружье. — Брось топор!

— Я те брошу...

Раскатился выстрел. Изба подпрыгнула, упала, без чувств упал Петр, и со смертельным хрипом грохнулся Терентий.

Через мороз и лунный свет заполошно бежала, падая и вскакивая, Любовь Даниловна.

VI

Когда Терентия привезли в больницу, фельдшера не было — фельдшер где-то гулял на свадьбе. Терентий, не переставая, стонал, временами впадая в забытье. Заряд дроби скользнул по ребрам возле пазухи и вырвал мускул руки. Сиделка кое-как уняла кровь. К утру руку разнесло.

Афросинья всю ночь тряслась и плакала. У нее ночевала Любовь Даниловна. Они нашли под подушкой Петра револьвер и спрятали в сундук.

Ванька в волнении до вторых петухов ходил по избе, бледный, потрясенный. Перед утром ему страшно захотелось есть: вынул из печи еще теплый горшок каши и съел. Потом ушел в больницу. Михаил в эту ночь тоже гулял в соседнем селе. Вернулся пьяный, с разбитой мордой и поломанной гармошкой.

Узнав о несчастье, он удивленно произнес:

— Ну, неужто?!

Потом как-то беспредметно и вяло выругался в пустоту и лег спать.

Арестованный Петр провел за решеткой в клоповнике бессонную ночь. Ему казалось, что ум его мутится, все события спутались, перемешались. Только что прогрохотавший выстрел мерещился ему взрывом бомбы в тот роковой, на фронте, день. И лишь постепенно, в глухой ночи,

все стало на свои места, голова дала отчет во всех делах, и душу его охватили непереносимые мучения.

Управляющий совхозом рано поутру выехал в город хлопотать о судьбе своего служащего, Петра Терентьича.

С утра дул ветер. С утра вся деревня только и говорила о случившемся. Сыновья подняли головы, отцы присмирели, и матери молчаливо радовались, почуяв новую нерушимую защиту.

Терентия никто из женщин не жалел:

— Так ему, разбойнику, и надо!

Старуха, бабка Анна, говорила, как пророчица:

— Суд божий... Суд праведный... Спаси Христос...

Пьяницы ругались:

— На отца руку мог поднять... Да в каторгу его, злодея... К стенке!

Но в душе чувствовали, что их кулакам пришел конец.

Ветер креп, ветер взвихривал кучи седого снега. Небо было сердитое, вызывающее, и черные стены изб под взмахами вьюги — как в дыму. Бежавшая против ветра собачонка воротила морду в сторону, щурилась, у Терентьевой избы она присела, тявкнула и побежала дальше. Ставни каталажки скрежетали противным скрипом. Петра пробирала дрожь, и когда одноглазый сторож Кила затопил печь, железные решетки покрылись холодным пóтом. В каталажке было мрачно, одиноко, как в душе Петра.

Приходили мать, братья, приносили еду, табак; пришла Любовь Даниловна. Они остались вдвоем. За окном крутила вьюга, сквозь сумрак золотились в печке угли, дрова сгорели все дотла, и Петру показалось, что вот так же сразу вспыхнула и сгорела вся его жизнь.

Петр протянул руку Любови Даниловне и заплакал.

— Что за нервы у тебя, Петр. Ты же мужчина, — сказала она, стараясь придать бодрость своему лицу и голосу.

— Жив? — спросил Петр.

— Жив. Но руку придется отнять, пожалуй. Фельдшер уехал на станцию за доктором. Операция будет трудная, пожалуй, умрет.

— Хотелось бы попросить у него прощения, — глухо сказал он, глядя в землю. — Мне тяжело, — он закусил губы; она заметила, как подбородок его дрожит.

— Петя, успокойся, — сказала она, — тебя возьмут на поруки, управляющий в город уехал, он имеет там вес. А тебя оправдают, наверно. Наши комсомольцы за тебя горой... Шумят.

Прикушенные губы Петра вдруг вырвались и заскакали.

— Ну?! Шумят? — переспросил он улыбаясь.

А молодежь действительно шумела. Председатель Галкин собрал весь коллектив на экстренное заседание. Лица были возбуждены. Молодежь взъерошилась и готова была идти добивать Терентия. Даже сгоряча решили послать депутацию в каталажку с выражением соболезнования Петру, но передумали.

У пастушонка лицо все в саже — по зимам он качает в кузнице мехи, — глаза блестят. И сквозь галдеж прорывается его писклявый, как у цыпленка, голос:

— Разгромить каталажку! Разгромить каталажку!

— И то верно...

— Галкин! Становь на баллотировку... Айда освобождать Петра Терентьича!

Шум, ругань, крики. Галкин постучал по столу:

— Товарищи! Это не порядок. Кто сейчас обматерился?

— Васюков...

— Врешь! — запротестовал рябой, широкоскулый Васюков.

— Товарищ Васюков! — застучал Галкин, сердито боднув белокурой головой. — Стыдно!

— Я... только...

— Прошу не возражать... Товарищи! Я предлагаю по поводу случившегося несчастья устроить митинг с участием крестьян и всех вообще желающих.

— Правильно, Галкин! Митинг!

— Потому что это дело, товарищи, из рук вон выходящее, ударное, так сказать. Бытовое. Идем дальше. Наши отцы очень уж распоясались, бьют наших матерей. Такого позора не должно существовать. И если отцы не понимают, им укажут на это дети. Ведь дети, товарищи, всегда умнее бывают своих отцов, потому что культура идет вперед, как прогресс, что всеми доказано, иначе она шла бы назад. Этим я не хочу сказать, товарищи, что берите ружья и стреляйте своих отцов. Ни в коем случае. Мы должны действовать морально. Итак, я предлагаю митинг в будущее воскресенье после обеда. Кто против? Принято единогласно.

Кто-то крикнул:

— Не пойдут мужики.

Молодежь обменялась мнениями. Да, действительно, созвать будет трудно, крестьяне митингов не любят.

— Товарищи! А я знаю как, — высунулся вперед с широким веселым лицом курносый молодец и заулыбался. — Давайте, товарищи, удочку закинем и будем мужиков ловить, как щук. Например, допустим, так...

Он был в большущих валенках и в желтом овчинном полушубке. Он на каждой фразе взмахивал кулаком и приседал, голос его простуженный, сиплый и медлительный.

— Например, так. У нас в комитете есть табак для выдачи, махра. Так. Взять да пожертвовать полтора фунта махры. Черт с ней! Вот, мол, ребята, по окончании митинга будет лотерея, можете выиграть лучший табачец. Тогда придут. На дармовщинку польстятся.

— А бабам? — пропищал пастух.

— Бабам? — переспросил курносый парень и встряхнул кудрявой головой. — Для баб у нас правда что нет ни хрена... Бабы табак не курят. Вот ежели молодые, которы... — подмигнул он девушкам.

— Павел, без выражений, пожалуйста, — прервал его председатель. — Кончил?

— Хы! Не велишь говорить, так, знамо, кончил.

Девушки засмеялись; одна, с вишневыми глазами, шутливо ударила парня меж лопаток.

Заседание оборвалось само собой, потому что на мельнице испортился мотор и электричество погасло.

— Качать товарища Галкина! — Молодежь рада повозиться в темноте, председатель взлетел на воздух, а в углу — под плакатом «Комсомольцы штурмуют небо» — продребезжал чей-то писк и таящийся смешок: это, должно быть, кудряш неловко облапил девушку с вишневыми глазами.

Ветер стихал, в небо плыли остатки туч, мелькали звезды, и временами прорывался недолгий свет луны. Маленький пастушонок, аршин с шапкой, шагал враскорячку, дымил трубкой и говорил кудряшу:

— Мой батька тоже мамку полощет. Третьеводнись я ему затрещину в загривок дал. Он мамку бросил, да на меня, я убег, и мамка убегла. Ох, и зверь! Ему пропагандуй, не пропагандуй — хоть бы что.

В селе, куда они вошли, стояла тишина.

— А у попа огонь, — сказал пастушонок.

— Лампадка, — просипел кудряш. — Масло казенное горит, чего ему.

— Давай пустим палкой.

VII

На третий день к обеду вернулся управляющий и приехал доктор.

Петра освободили на поруки. Он зашел к матери, к Любови Даниловне, и втроем отправились они за версту в больницу.

Туда же собирался и священник приобщать умирающего Терентия.

В палате помещалось четверо: два старика, роженица с ребенком и Терентий. Пахло карболкой, стариками, плесенью и женским молоком.

Койка Терентия стояла возле окна. Он лежал головой в угол, и лицо его было в тени; щеки, виски, глаза глубоко запали, большая рыжая борода загнулась к плечу.

Все трое подошли к нему молча и молча остановились. Петр взглянул на огромную, как обгорелое бревно, голую, обезображенную руку отца, и в глазах его заметался ужас. Петр весь побелел, качнулся, его подхватила Любовь Даниловна, он опустился на колени и через силу сказал дрожащим голосом:

— Отец... прости меня.

У Терентия забулькало в груди, воспаленные, измученные глаза его с ненавистью остановились на сыне, брови сдвинулись к переносице, и здоровая рука стала шарить возле бока, ища топор.

— Мне тяжко... Прости, отец.

Усы и брови Терентия зашевелились:

— Будь проклят... Не прощу.

Мать с воем повалилась на вытянутые ноги Терентия:

— Терентьюшка, батюшка... Кормилец... Прости ты его, прости...

— Проклинаю.

В палату вошли маленький седой священник и тучный, краснолицый фельдшер, весь проспиртованный, в белом, залитом иодом или кровью балахоне.

— Ну, уходи, баба, уходи, — подхватил фельдшер Афросинью под пазухи. — Что ты вопишь, как на погосте! Сейчас господин доктор в палату идут. Посторонних прошу уйти. Ах, Любовь Даниловна! Представьте, не узнал. Хи-хи-хи! Богато жить... А-а, Петр Терентьич!.. Какими судьбами? Ах, на поруки. Вот как... Печальный случай, печальный случай. Гангреус, по-ученому. Да-да... Батюшка, сде-

лайте милость, приступите к отправлению религиозного культа. Ну-с, пожалуйте, граждане, в приемную.

Пришел доктор. Спустя полчаса через приемную протащили в большой металлической лохани мертвую, чугунного цвета, руку со скрюченными пальцами. Афросинья вскрикнула и упала в обморок. Петр сидел спокойно, с замкнутой на ключ душой; какое-то равнодушное отношение ко всему отуманило уставший его мозг.

Вскоре появился доктор в золотых очках и с рыжей бородкой. Сиделка на ходу снимала с него операционный халат. Любовь Даниловна обратилась к доктору с вопросом.

— Сказать трудно, — ответил он, пожимая плечами. — Кто же его знает. Скверно, что во время ранения пациент был пьян... Ну, и... — он оглянулся назад. — Конечно, на роковом исходе может отразиться и отсутствие фельдшера в нужный момент. Больному все-таки пятьдесят шесть лет. Не знаю, не знаю... Может быть, и выживет... Но скорей всего — умрет.

VIII

Ванька с Михаилом мастерили сосновый гроб и переругивались: ни тому, ни другому не хотелось навестить умирающего отца, хотя бы для того, чтоб снять мерку.

— Я знаю, — сказал Михаил, — когда отец в шапке — в аккурат под матицу.

Ванька поставил на пол доску и сказал:

— Окоротали... Не хватит вершков двух.

— Ни хрена, — ответил Михаил, — в случае чего, ноги можно покойнику маленько расшарашить.

— А как же, Мишка, без руки-то отец в могилу ляжет? Говорят, руку-то его в печке сожгли, — спросил Ванька, долбя долотом проушину. — Как же на Страшном-то суде без руки из гроба-то батька вылезет?

— А я почем знаю, — окрысился Михаил. — Ты комсомолец. Ты должен знать. А нет, у попа спроси.

— Поп задаром не скажет, — болтал языком Ванька, — пожалуй, заставит снег чистить у ворот. Ну, а как же Груняха-то твоя. Тю-тю, — и Ванька подмигнул.

— Груняху теперича, бог даст, тятя умрет, я закорововожу, Петр наш ей отпор дал. Петра Любовь Даниловна короводит. Ежели в острог не упекарчат его — женятся.

Цепкая мужикова жизнь восемь дней боролась в Терентии со смертью. И вот он стал поправляться.

Из домашних ежедневно навещала его лишь одна жена. Когда она появлялась в палате, он сердито отворачивал лицо к стене и не говорил с ней ни слова. Афросинья повздыхает, поклонится в пояс и ни с чем уйдет.

Ни сыновьями, ни хозяйством, видимо, Терентий не интересовался; было похоже на то, что он не прочь и умереть.

Однако недели через две он ожег хныкавшую Афросинью взглядом и впервые сказал:

— Пусть придет Петька.

Афросинья сразу залилась радостными слезами и чуть не рысью побежала домой, а оттуда в совхоз, где опять служил Петр.

— Сынушка, иди, свет, скорей. Отец видеть пожелал. Господи, хоть бы проклятье-то он снял с тебя...

Петр бросил все дела, накинул шинель и быстро зашагал в больницу. Что говорить с отцом, как вести себя и что выйдет из этого свиданья, Петр не знал и не мог сосредоточить мысли на нужном, главном. В голове и врасплох застигнутом сердце — неразбериха, туман. В большом смущении он вошел в палату:

— Здравствуй, отец...

Терентий опять насупил брови, опять зашарил возле бока, как бы ища топор, потом заскрипел зубами и, подняв руку, густо сказал:

— У меня осталась правая рука. И вот говорю тебе: и тебя убью, и матку твою убью... Убирайся к...

— Больше ничего?

— Уходи, сволочь!

Обратно Петр плелся нога за ногу, и дорога показалась ему в сто верст.

IX

Терентию нужно было лежать еще с месяц. Петр долго ломал голову, как быть. Видимо, урок прошел для отца даром, и разруха в семье не изжита.

Но вот помаленьку — одно к одному — все пришло в порядок.

Началось с того, что в сердце вдовухи Василисы, а затем и в ее дом вселился вдовый церковный сторож Захар

Кузьмич. Он крепок на вид, — борода с проседью, — в свободное время лудит самовары, чинит сковороды, шьет сапоги, вообще прирабатывает. Он большой знаток Библии и Священного писания, очень благочестив и при всем том — пьяница, отчего правый глаз его полузакрыт, а нос сизый.

Груня, конечно, ругалась с матерью, мать кормила ее оплеухами и пинками. Захар Кузьмич — поучениями от писания. Груня плакала: и дома горе и Петр Терентьич оттолкнул ее. Любовь Даниловна напрямки сказала, что у них с Петром решено вступить в гражданский брак, а ей, Груне, вся стать выйти замуж за Михаила — парень хоть куда, хозяйственный, красивый, крепкий.

Подумала Груня и сказала как-то Михаилу, махнув рукой:

— Ну, коли на то пошло — бери.

Ходили к Терентию благословляться.

— Что же ты, Мишка, отца подождать не мог? Али нынче не в почете калеки-то? — щуря большие глаза, сказал отец.

К тому времени Захар Кузьмич очень хорошо напрактиковался самогонку гнать — и Груняшина свадьба была в большом хмелю. Даже Терентию отнесли, но фельдшер конфисковал:

— Рецидиву хотите получить в болезни?! — глотая слюни, заорал он.

Груня стала хозяйкой в доме Терентия, Афросинья не нахвалится, и Михаил в шутку щиплет себя за нос:

— Сон ли, нет ли?.. Груняха, а?..

А за неделю до выхода Терентия из больницы Петр, по хлопотам управляющего, получил новое назначение — заведовать совхозом «Смычка», за двенадцать верст от родного села. Конечно, перебрались туда все трое: он с матерью и Любовь Даниловна. Их отвез на паре сытых коней с бубенцами крестный Петра. Он тоже успел оженить своего сына и с весны перебирается на хутор.

Он сыт, румян, большебород. Потряхивая вожжами и почмокивая, он приглядывается к крестнику и говорит:

— А ты чего-то, Петрунька, скис и телом повытек? Это, парень, ни к чему. Ты про то не думай. Твой заряд на всю волость прогремел. Которые из мужиков попризадумались. И выходит, твой грех — как перед богом свечка. Во!

Терентий совершенно выздоровел. Он давно отвалился от сердца Афросиньи, как болячка; Афросинья больше не навещает его, и в больницу за отцом отправился Михаил.

Когда он заткнул отцу пустой рукав за опояску и сказал:

— Ну, тятя, пойдем домой... — Терентий засопел, вздохнул, рот и все лицо его вдруг скривились, но тотчас же выпрямились и застыли вновь.

Дома ничто его не интересовало, он лег на сундук и молча пролежал три дня. На четвертый — пошел к Василисе. Захар Кузьмич хотел чествовать гостя самогонкой, но Терентий мрачно сказал:

— Нет... Будет... Попито.

— Что ж ты станешь делать, сердешный, об одной-то руке? — сочувственно, покачав головой и почмокав, спросила его Василиса.

Терентий лениво поднял свой взгляд и заметил в красивых глазах Василисы тоску и какие-то поблекшие огоньки счастливых прошлых дней.

— Не знаю... Не знаю... — растерянно сказал он и, скосив глаза на пустой рукав, вздохнул: — Урод кому нужен... А было времечко, целовали в темечко.

В его глухом, унылом голосе звучало отчаяние. И весь вид крепкого мужика был уныл и скорбен.

У бабы защемило сердце, она отвернулась к стене и часто замигала. Захар Кузьмич, согнувшись возле печки, постукивал молотком по чайнику, и его бородатые щеки подергивались от торжествующей улыбки.

Василисе не о чем было говорить. Терентию же ни о чем говорить не хотелось. Сидели молча, только ревниво молоток стучал.

Гость шумно вздохнул, поднялся, сказал: «Прощайте», — и, медленно переступая — будто гири за собой вез, — пошел к двери. Но дверь, как крышка гроба: за дверью мрак, погост. В глазах у Терентия зарябило, из пустого рукава вдруг высунулась рука с хмельным стакашком и исчезла. Он вздрогнул, обернулся, последний раз окинул избу долгим взглядом и трогательно, последний раз проговорил:

— Ну, прощай, Василисушка. Прости, ради христа.

— Проща-ай! — всхлипнула Василиса.

И дверь захлопнулась за ним, как гроб.

А Захар Кузьмич сердито бросил чайник и рванул изза ушей очки.

Михайло с женой и Ванька понимали, что у отца неладно на душе. Были с ним обходительны, ласковы.

— Тятенька, ешь, чего ж ты... Груня, положи отцу еще.

Но Терентий отодвигал от себя миску и, уставившись в морозное окно, долго смотрел в немую даль.

По ночам он видел странные путаные сны, и чей-то голос звал его: «Пойдем». Проснется — тихо, лишь похрапывает молодежь да вьюга чешет крышу.

Однажды приехала Афросинья. Терентий как в рот воды: молча лежал на сундуке или задумчиво, с опущенной головой, шагал от стены к стене.

— Ты не представляйся, Терентий!.. Глухой, что ли, ты... Али онемел, — приставала Афросинья. — Говорят, скоро судить вас будут с Петром. Неужели не простишь? Ты старик, а ему жить надо. Побойся бога-то.

Терентий вдруг осатанел. Он со всей силы задубасил кулаком в простенок между окнами, злобно рыча и ворочая глазами.

— Не прощу!.. Убивец! Анафема!.. Будь он проклят.

Приходил и комсомолец Галкин.

— Вот, дядя Терентий, вам повестка. Я в волости был. Через неделю будет суд. Мой совет — помириться с Петром Терентьичем. Ежели помиритесь, дело будет ликвидировано. Я говорил кое с кем.

— Иди, откуда пришел, — мотнул головой Терентий. — Всяк сопляк учить лезет. Тьфу!

Суд был в волости. Со всех деревень, побросав дела, спешил народ.

Приехавшие из города председатель и члены суда обратились к священнику:

— Батюшка, может быть, вы уступите церковь? Видите, сколько желающих послушать собралось. Разбор дела, надо ожидать, будет поучителен.

Седовласый поп снял очки, опять надел, растерянно улыбнулся и сказал:

— Приемлемо. Благодарствую за вежливость. Религии это не противоречит, ежели сидеть будете без шапок, чинно-благородно. И, разумеется, не курить... Уж очень буду настаивать на этом...

Из совхоза шумливой кучей пришли комсомольцы. Кудрявый парень нес плакат: «*Долой пьянство и тиранство отцов*». Приехали фельдшер, торговец из села Фомина, два мельника, заведующий совхозом, дьякон, доктор и начальник станции.

Баба Степанида, натягивая рыжий полушубок, кричала на Макара, своего хозяина:

— Иди, пьяница!.. Чего на полати-то забился... Иди послушай.

Комсомольцы дружно перетаскивали в церковь из школы скамьи, стулья, парты.

Был воскресный день, церковь небольшая, за обедней надышали «православные», да и печи вытоплены жарко. Староста посоветовался с попом и полез зажигать паникадило. Стол для суда был у северной стены, народ — у южной, к алтарю плечом. Однако старики шипели:

— Оно будто... и неудобственно... в храме-то...

Макар был выпивши. Он икал, припав виском к холодному камню арки.

— Суд идет!

И все встали.

Батюшка размотал с шеи гарусный шарф, оправил наперсный крест и, шаркая валенками, проследовал в алтарь за мягким креслом. Народ сидел тихо, по-хорошему. Председатель же комсомольцев Галкин тревожно ходил мимо казенки возле паперти, то щурил, то таращил умные серые глаза, ерошил волосы, что-то шептал и вдохновенно взмахивал рукой.

— Речь зубрит, — пропищал пастушок кудряшу.

Галкин лишь время от времени бросал взгляд в сторону суда и краем уха прислушивался к отчетливо звучащему голосу председателя. У председателя высокий лоб, светлая остренькая бородка, пенсне, длинные волосы. Справа от него — два приезжих члена, простые рабочие с фабрики, лица их вдумчивы, сосредоточены; слева — два местных: лысый крестьянин Ерофеев и рыжеусый кузнец из совхоза. Сбоку секретарь.

Пострадавший Терентий не явился по болезни. Решили его не тревожить.

Начался допрос свидетелей. Первой допрашивали мать Петра, Афросинью. Галкин присел на кончик скамьи, стал слушать. Но слушать было нечего: Афросинья хлюпала в слезах, сморкалась, бессвязно выкрикивала наболевшие слова и фразы.

Председатель мягким и внятным голосом сказал:

— Успокойтесь, гражданка, говорите... Расскажите всю свою жизнь.

— Ох, батюшка-кормилец, судья хороший!.. Какая же

наша жисть... Вот оглохла, вот головушка трясется... Жисти не было.

Галкин стал шарить взглядом. Петр Терентьич сидел согнувшись, руки засунул в рукава, низко опустил голову.

Любовь Даниловна бодрилась. Она кивнула Галкину и попробовала робко улыбнуться. Румяная Груня крепко уселась возле серого, неуклюжего Михайлы-мужа, успевшего отпустить кое-какую бороденку. Черная коса ее по-девичьи отброшена назад — пусть посудачат люди, — и желтые бусы медлительно колышутся на груди. Она не спускает глаз с Петра, и глаза ее тоскуют. А впереди — сельская знать и седовласый поп; он сокрушенно, как мытарь, воззрился на алтарь, крадучись стукнул по тавлинке пальцем и под шумок запустил в нос аппетитную понюшку табаку.

— Верно-верно-верно! Правильно, — скороговоркой, с места подтверждает он показания свидетелей.

Вот вышел свидетель — крестный Петра Терентьича; он не торопясь, с достоинством поклонился председателю и судьям. Председатель протер пенсне и как-то по-особому ласково осмотрел его фигуру. От старика веяло силой мужицких полей и запахом ржаного хлеба. Он весь круто замешан и крепко пропечен — как сбит. Седеющая борода его в крупных кольцах, лоб высок, морщинист, нос широк, над ясными умными глазами темные козырьки бровей, как крылья.

— Какая, братцы, бабья жизнь, к свиньям, — заговорил он густым, словно ржаное сусло, голосом. — Самая собачья жизнь.

— Верно-верно-верно! — поддакнул поп и визгливо чихнул, клюнув в колени носом.

По толпе прокатился дружный бабий вздох, и сотни глаз уставились в широкую спину старика крестьянина.

— В девках с зари до зари работушка, — гудел старик, — выйдет замуж за пьянчугу — смертный бой. А ребят носить — шутка? Сегодня родила, а завтра иди коров обихаживать. От этого самого баба в сорок лет — труха. У мужика харя красная, а бабью личность в кулачок свело. Это надо понимать. Старух мы вырабатываем по глупости своей, вот кого. Взять Афросинью и взять Терентия. Нешто это факт? Вот и неприятности. А тут винцо. А в башке-то нет ни хрена, а сердце-то кошачье, с перцем. Обожрется винищем, страху над собой никакого нет, кругом погано, — кого бить? Бабу. «Держи рыло огурцом, а то ударю!»

Хрясь по уху, хрясь по другому, да за косы, да об пол, и пошло...

— Верно-верно-верно...

Бабы завздыхали пуще, людской пласт шевельнулся, скамейки скрипнули. Председатель резко постучал в стол, народ смолк, словно умер, и паникадило прищурило огни.

— Вы спрашиваете личность Петра Терентьича, что, мол, за человек такой? Человек он, можно сказать, новой жизни. Дай бог нам побольше таких людей, тогда и мы человеками себя восчувствуем. Кто с умом ежели, тот видит — пришли новые права, а новых людей мало вовся. Другой и молодой, да старый. А крестник не таков. И напрасно вы, братцы, посадили его на подсудимую скамью. Сначала Терентия надо на скамью, да и других мужиков разбойных, пьяниц, с волости десятка два. Вздрючить их, сукиных детей, прости ты меня, господи, чтоб помнили до морковкина заговенья, чтоб не измывались над бабами, как над собаками.

Народ опять шевельнулся. Кто-то, крепясь, всхлипнул, чья-то рука перекрестилась. А в задних рядах закричала баба Степанида:

— Вот что, ребята! Вы моего мужика, Макарку поганого, взбутетеньте по суду всем миром, намните ему, живодеру, бока. Вот он сидит. Чего в уголке-то притулился, кобель борзой?!

— Гражданка, вы нарушаете...

— А ежели не дадите ему окорот, — пуще завизжала баба Степанида, — вот те Христос, топором зарублю!.. При всех объявляю. Тьфу, чтоб те холера задавила, — плюнула она Макару в бороду.

— Верно-верно-верно...

Перед ней вырос милицейский... А крестный Петра говорил, как молотом бухал:

— В одном, братцы, виню крестника, что промазал по зверю. В брюхо бы его надо стрелять, подлеца, мучителя.

Народ глухо охнул, мужики стиснули зубы и отхаркнулись. Петр быстро поднял голову, взглянул на крестного и поник опять.

Галкин не расслышал, что сказал председатель: председатель, кажется, пригласил старика сесть на место. Старик пошел, тяжко сопя и дергая кудлатой головой. На ходу, высоко вскинув руку, он на всю церковь резко прогудел:

— Мое слово верное. Не бей жену! Жена благословляется богом не на бой, а на любовь. Погибнете, пьяницы,

без любви. Собачьей ярью не прожить. Весь мир без любви погибнет! Знай!

Эти мужицкие слова в народ, как в рощу вихрь: все сорвалось, вышло из повиновенья, зашумело, и огоньки паникадила колыхнулись. Мужики крякали и кашляли, бормоча ругательства; бабы голосили, истерически выкрикивая: «Ой, тошно! Ой, миленькие судьи, православные, заступнички...» Две молодухи бились головами об стены, плакали навзрыд, визжа и громко отсмаркиваясь на пол; баба Степанида вскочила на скамейку и, перекосив рот, со всего маху бросила в голову Макара одну за другой свои собачьи рукавицы. Порченая Митрофаниха, с искаженным страшным лицом, корчилась в судорогах, рвала на себе волосы, лаяла по-собачьи, крича: «Уйди, уйди, уйди!» Она жевала язык, губы кровянились и кипели.

И в народ, в крики, разрывая гвалт, кричал председатель, кричали судьи, кричал поп, осеняя всех крестом. Но вихрь крутил, роща гнулась и гудела. Тогда на лавку вздыбил богатырем крестный Петра и сразу покрыл весь гам:

— Стой! Замолчь! Здесь церковь божия! Здесь человека судят...

Говорили еще свидетели, говорила баба Степанида, заведующий совхозом, фельдшер, вышел было жаловаться на жену непротрезвившийся Макар, но распоряжением председателя — пьяным в суде не место — Макара быстро удалили.

Показания фельдшера были не в пользу подсудимого: поступок уважаемого Петра Терентьича — поступок изуверский, прямо-таки разбойничий, ведь тогда перед подсудимым стоял родной отец. Неужели нельзя было принять предупредительных мер, называемых в медицине профилактика? Например, вместо того чтобы производить преступную вивисекцию из дробовика, не лучше ль было б отца закатить в тюрьму заранее, не доводя его до буйного припадка, то есть аффектум спиритус.

Во время его речи доктор с председателем, конечно, улыбались. Комсомолец же Галкин — и другие комсомольцы — краснел, бледнел, кусал губы. Как! Не может быть, чтоб Петр Терентьич был виновен! Нет!

А показания замужней вдовухи Василисы и ее сожителя Захара Кузьмича были для подсудимого убийственны.

Подсудимый выпрямил спину, несколько раз приподымался, чтоб крикнуть «ложь», но под предупреждающим

жестом председателя садился вновь. Любовь Даниловна нервно крутила концы башлыка, вздыхала. У Груни прыгал подбородок, она скорбно глядела на Петра Терентьича, но перед ее глазами плыл туман.

Захар Кузьмич, поблескивая выпуклыми круглыми очками, правое стеклышко которых было склеено бумагой, и все время оглядываясь на свою грозную бабу Василису, монотонно, как над гробом, дудел, конечно, от Священного писания, стараясь рыть подсудимому могилу. Поп и ему поддакивал: «Верно-верно-верно».

И грубо, нагло заверезжал голос Василисы:

— Убивец он, убивец! Вяжите его, окаянного, судьи-батюшки...

— Гражданка!

— Он, убивец, за Грунькой моей таскался, ладил в жены взять, вот те Христос. Сам, пьяный, похвалялся мне: «Не бывать тебе, Василиса, за отцом, убью отца». Вот те Христос...

Галкин схватился за голову. Председатель строго:

— За ложные показания, гражданка...

— Пошто ложные!.. Да чтоб распалась моя утроба... Да что мне... Он Груньку обманул, другую взял. Эй, молодчик, чего молчишь!

«Ага, ага!» — злорадно и язвительно заскакало по толпе. Кто-то слегка присвистнул.

Груня вся передернулась, затопала дробно в пол, всплеснула руками, повалилась на плечо Михайлы-мужа и заголосила. Но сразу же откачнулась от него с гадливостью и упала пластом к коленям беременной Катерины.

Галкин дрожал и холодел. Он сорвался с места и вновь крупно стал шагать вдоль ограды, судорожно запустив руки в карманы галифе. Что дальше говорилось, он не слышал. Все в его душе полетело кувырком. Вся речь, все, что он хотел сказать в защиту Петра Терентьича, сразу разлетелось в дым. Конечно, после показаний Василисы подсудимый густо влип, и пощады от суда ему не будет. Но это же не так, не так, неверно! Галкин знает, Галкин уверен в Петре Терентьиче, как в самом себе, Галкин докажет это. Но как, какими словами?

Галкин шагает взад-вперед, с отчаянием озирается по сторонам: иконы, народ, мужичьи встрепанные головы, как мшистые кочки на болоте, пар от дыханья, золотые хвостики мерцающих огней и чей-то тягучий, скучный, будто лысое поле, голос.

Это доктор давал свои показания как специалист. Он говорил и полчаса, и час, говорил тихо, непонятно, пересыпал речь мудреными словами, то и дело поправляя на носу очки.

Народ устало зевал, подремывал, пятеро крестьян пошли в ограду покурить. Дремали огоньки, чадя, и в рядах шептались. А голос скрипел, скрипел...

Деду капнуло с паникадила на плешь. Он не спеша задрал бородищу вверх, не спеша вытер рукавом лысину и отодвинулся. А храпевшей с запрокинутой головой старухе восковая капля шлепнулась на самый кончик носа. Старуха схватилась за нос и, открыв сонные глаза, слюняво зашипела на прыснувшего в шапку пастушонка:

— Это ты, Колько, созоровал. Я те...

— Колько! Колько! — звали паренька. — Он поднялся на цыпочки и видит: у судейского стола ораторствует Галкин.

— Товарищ председатель и товарищи судьи, — говорит он, и голос его рвется. — Мы, комсомольцы, конечно, по возрасту не имеем права вести во время суда дебаты иль дискуссии. Но мы ходатайствуем всем корпорем, чтоб выслушали нас в защиту обвиняемого.

Председатель шепнул судьям справа, шепнул слева и, добродушно взглянув сквозь пенсне на побледневшее лицо Галкина, сказал:

— Пожалуйста.

За спиной Галкина, по два в ряд, топтались комсомольцы. Он стоял лицом к алтарю, на восток, и левым плечом к суду. Перед ним, перекинув нога за ногу и схлестнувши кисти рук в замок, сидел в солдатской вытертой шинели Петр Терентьич. Он спокойно глядел в растерянные, загоравшиеся глаза Галкина, и между ними, от сердца к сердцу, от души к душе, прошел невидимый ток высокой человеческой любви. Петр Терентьич шире открыл глаза, едва заметно улыбнулся, и юноша радостно боднул головой, кашлянул и, одернув меховую куртку, начал:

— Мы, комсомольцы... Мы, коммунистическая молодежь... Мы пришли сюда всем корпорем для того, чтобы, так сказать, по всей правде... По всей чистой совести, так сказать, заявить о том...

Он волновался, переступал с ноги на ногу, проглатывал слова, вытягивал шею, как будто ему не хватало воздуха, и поворачивал болезненно-нервное лицо то к председателю, то в сторону народа.

По рядам прошуршало сбивчиво:

— Тише, братцы, Галкин говорит... Хи-хи-хи... Слухай.

— Дуть их надо, сволочей!

— Что? — и Галкин сразу поперхнулся. Ударив ладонью по столешнице, он уставился в пол, как бы ища слов и мыслей. Кудряш-комсомолец рассеянно ковырял в носу, а девушка с вишневыми глазами, красуясь свежим личиком и яркой кашемировой повязкой, улыбалась. Маленький Колько во все глаза разглядывал председателя и, подражая ему, движением руки откидывал назад гладко стриженные свои волосы, поправлял на носу несуществующее пенсне, гримасничал.

— Я очень извиняюсь, товарищи. Я не могу сейчас гладко, как по-писаному, я устал и робею, все спуталось както, но это ничего, главную суть скажу по-своему, — овладел собой Галкин, и голос его становился увереннейи крепче. — Мы просим товарища председателя и судей, мы умоляем не верить некоторым ораторам, я не буду намекать на личности, а только скажу, товарищи, что толстая ораторша, она всем известна как самая скверная гражданка, которая торгует самогоном, поэтому веры ее словам нет! Это она все врет, взводя такое, прямо скажу, подлое обвинение на Петра Терентьича. А почему она может защищать пострадавшего Терентия Гусакова? Ответ, товарищи, ясен — он ее бывший сожитель от живой жены, которую он преступно истязал, как последнюю клячу, или хуже в десять раз, пороча новый деревенский быт в глазах культуры. Вот разгадка истины и опровержение подлых слов. И обратите, товарищи, внимание, как деревня разлагается по всем слоям. Пьянство, разбой, поножовщина, непростительный разврат и сифилис... Мужья калечат жен, отцы — детей. И это наша Россия, новая Россия, за которую, за благо которой пролито столько человеческой крови и всяких легло жертв!.. Может быть, старики принюхались, им ничего, по праву, а нас от такой России, откровенно скажу, тошнит. Наше молодое... наша молодая душа, товарищи, такую Россию не желает. К черту ее! Даешь новую Россию!! Даешь новую жизнь! К черту пьянство, к черту самогон, к черту увечье женского...

— Стоп-стоп-стоп! — и священник, деревянно волоча отсиженную ногу, двинулся к оратору.

— Извиняюсь, батюшка... — пал на землю голос Галкина и опять взвился. — А Петр Терентьич всем известен. Он, товарищи, не покладая рук работал с нами, другой раз

больной и расстроенный неприятностями с отцом. И много хорошего мы от него узнали, просветились, так сказать, и желаем просвещаться впредь. Да не одних нас! Расспросите настоящих крестьян — всякие разъяснения от него шли, всякая помощь. Да, таких людей, товарищи, не судить надо, а дорожить ими. Отстранять таких людей — это все равно что вешки в чистом поле зимою выдергивать. От таких людей жизнь крепнет. И ежели вы, товарищ председатель и товарищи судьи, — Галкин повернулся к суду возбужденным лицом, и все комсомольцы повернулись, — если вы, товарищи, не найдете полную возможность окончательно оправдать его, — судите лучше нас, судите меня! — Галкин сильно ударил себя в грудь, лицо его скривилось, заморгало, голос сорвался. — Судите нас, судите меня, ссылайте, сажайте в острог!! — вне себя кричал Галкин, тряся головой и вскидывая руки.

Весь народ до одного замер, открыл рот и выпучил глаза. Паникадило вспыхнуло костром.

Юношу подхватили заведующий совхозом и девушка с вишневыми глазами. Он шел над землей, по воздуху, и всхлипывал, его грудь распирало чувство острого блаженства и умиротворения.

Колько слезно заревел, по-детски пуская пузыри. Его тоже душило какое-то непонятно большое и радостное чувство.

Галкин жадно глотал на улице рыхлый пахучий снег, прерывисто дышал и улыбался:

— По-моему, должны оправдать...

— Оправдают, оправдают, — сказал, дрожа, завсовхозом.

А там, за красным столом, предоставили слово подсудимому. Он начал тихо, без жестов, попросту:

— Да, я выстрелил в отца, но я спас жизнь матери. Товарищ доктор, защищая меня на суде, объяснил, что я был в то время невменяем, — напрасно — я выстрелил в отца сознательно. Мне больше сказать нечего. Снисхожденья не прошу.

Суд совещался в сторожке. Пользуясь перерывом, батюшка пилил церковного старосту, рыжебородого косого мужика:

— Гляди, все свечи сжег!.. Вот и отвечай...

— Вы же, батюшка, сами приказали...

Поп понюхал табаку и крикнул, взмахнув клетчатым платком:

— А кто же их знал, этих товарищей!.. Вместо суда митинг завели. В воскресенье придется храм святить...

Суд совещался недолго.

Петр Терентьич Гусаков был оправдан. Он выслушал приговор спокойно, потом уткнулся в горячую ладонь и несколько мгновений был как в столбняке.

Первым бросился поздравлять его фельдшер:

— Честь имею... от всей души! Какое же могло быть сомненье...

И гнилозубое, одутловатое лицо его кисло-сладко улыбалось.

Любовь Даниловна взяла Петра под руку, что-то быстро говоря ему своим бодрым голосом. Афросиньи не было: она почувствовала себя плохо и ушла. Груня стояла далеко от всех, в темном углу, упершись затылком в стену, и тихо плакала, сама не понимая — от горя иль от радости.

— Пойдем, пойдем... Распустила рюмы-то!.. Оправдали... — звал ее Михайло-муж.

Гасили огни, батюшка обматывал шею шарфом, крестный Петр, встряхивая скобкой полуседых волос, гулко говорил:

— Спасибо, товарищ председатель. И вам, судьи-мужики, спасибо. Вышло правильно. Спасибо от всех крестьян.

В куполе сгущалась тьма, сквозь голубоватый сумрак едва поблескивала позолота царских врат, на улице тоже темнело.

Поздним вечером поднялся свежий ветер. По полям и дорогам полз белый туман, и коньки крыш курились. В ночь разыгралась метель. Терентий не спит. В избе темно и тихо, а там, за стеной, по мужичьей широкой земле метельная тьма вся в визге, вся в хохоте, плаче.

Терентий слушает — глаза открыты, — и кто-то из тьмы темным тягостным шепотом зовет его:

«Пойдем».

А метель пуще, метель воет в трубе, плещет в окна, кому-то стелет в поле последнюю постель.

Зайцы притулились под елками и зарываются в снег, лисицы глубже лезут в норы, стая волков, потявкивая и скуля, правит свой путь к жилью. На знакомом пригорке стая садится, поворачивает морды на метель, обнюхивает крылья седого ветра — наносит жилым дымком и вкусным запахом хлевов... Волки отфыркиваются, ляскают зубами,

как цирюльник ножницами, и поджаро бегут вперед, пуская слюни.

«Пойдем...»

Терентий встает. Он долго надевает тулуп, и дрожащая рука его неуклюже шарит по углам, разыскивая посох.

Свежий ветер с размаху бросается из избы, метет поля, взвиваясь до самых туч, и, ворвавшись в лес, набитый нежитью и лешими, валит с ног подгнившие дубы.

Терентий ушел.

1924

Смычка

Обозленный Пахом мотался из угла в угол, срыву совал в мешок нужное и ненужное, сердито выкрикивая:

— Я его, молокососа, вздрючу!.. Такую лупку дам, век будет помнить... Комсомолец... Я ему покажу комсомольством заниматься!

Тетка Арина, его жена, сидела в переднем углу и плакала, обтирая слезы сухим кулаком.

— Ой ты, мой Кузинька, зернышко мое, — скулила она.— Это его в Питере с пути сбили... Он смирёный у меня.

— Они все смирёные! — крикнул Пахом и поддел ногой кота. — Ежели они, черти, в деревне, при родителях, эвот какие штуки выкомаривают, пасху служат, рождество господне, — а там и подавно вверх ногами ходят... Ну-ка, Мишка, прочитай снова писульку-то его.

Белоголовый паренек, младший сын Пахома, достал с божницы письмо и старательно прочел, водя пальцем и бровями.

— Как? Кто руку приложил? — подошел Пахом и наставил ухо.

— «Руку приложил небезызвестный вам комсомолец молодежи, ваш сын, Кузька Пряников», — ликующим голосом закончил Мишка.

— Ах, туды его... — тряхнул бородой Пахом и тренул Мишку по загривку.

Мишка заплакал, а мать крикнула:

— За что ты Мишку-то?!

— В задаток, — скосил на парнишку глаза Пахом. —

Физиномордия его мне ие поглянулась сегодия... Паскудная физиомордия... Я те пофырчу!

На другой день утром Пахом отправился пешком иа полустанок. Арина вышла за околицу.

— Не шибко ты его полощи-то, — сказала оиа хозяину. — Дите ведь... Костей не повреди. Вожжой норови, вожжой, да за волосья. Слышь-ка, Пахом! Привези ты мне, ради христа, какого ни на есть угодичка... Богов образок. А то святители-то иаши позелеиели: то ли от мух, то ли от тараканов... Лика нет, чериота одиа. Поди, и молитва-то к ногам обратио валится...

— Угодиичка прихвачу, ежели недорогой... Очеиь просто, — сказал Пахом и ходко зашагал вперед.

В Питер Пахом приехал к вечеру и едва добрался до писчебумажной фабрики, где работал по тряпичной части его Кузька, сын. Зашел в контору, оттуда в общежитие.

— Вот ои здесь умещается, их трое тут, — сказала беремеииая жеищина, работиица.

Пахом оглядел чистую, светлую комнату: на стенах портреты, на столе киш и и какие-то диковиики. «Не по-нашему живет, дьяволенок», — подумал он и спросил:

— А где ж ои, паршивец?

— Где, в клубе.

— Это какая такая клуба? Чем же он там займуется? Тряпки моет?

— Нет,— сказала работница.— Сегодня Октябрь, деиь нерабочий, а у них там вроде вечериики, что ли. Спектакль, что ли.

— Ага, против бога? Понимаю... — Пахом вынул из мешка ременные вожжи, суиул за пазуху, сказал:

— Барахлишко я тут оставлю, а пойду поучу его принародно, подлеца. Я его окоифужу: спущу штаны, все комсомольство с обоих коицов выбью. Пыль полетит.

Пахом пересек площадь и поднялся во второй этаж освещенного корпуса.

«Надо сразу же парню острастку дать», — подумал Пахом и ощупал вожжи. Сердце его закипало, он рванул дверь и вошел, нарочио громыхая сапогами и не сняв шапки. Навстречу хлынул резкий свет многочисленных огией и чей-то знакомый голос. Пахом прищурился и, сделав руку козырьком, посмотрел вперед, на возвышеиие.

— Товарищи! Я обрываю... — вдруг прокричал говорив-

ший. — Товарищи!.. вот мой отец из деревни неожиданно... Пахом Назарыч... Тятя! — и белоголовый румяный Кузька бросился к отцу.

И еще поймал Пахом ухом другой, басистый голос:

— Товарищи! У нас смычка с деревней... Вот случай почтить крестьянина. Ребята, качай!.. Урра!!

Мигом Пахом отделился от земли и взлетел на воздух.

— Будя! — испуганно орал он под потолком. — Стой, туды вашу!.. Не озоруй!! — и мягко падал на любовно-упругие руки столпившейся молодежи.

— Ура! Ура!.. Да здравствует Пахом Назарыч!.. Товарищи!! Ведите его на возвышенье. На почетное место. Товарищи!!

И вот Пахом за столом, ошеломленный. И Кузька кричит:

— Товарищи! Интернационал!

Все поднимаются, и складный напев гудит у Пахома в заросших тысячелетним мхом ушах, громче, торжественней, и Пахом снова как бы закачался в воздухе, как в колыбели, в этих звуках. Он сидел в шапке, а все стояли.

«Прилично, — подумал он, и морщины на его вспотевшем лбу стали распрямляться. — Придется Кузьку опосля выдрать, на фатере... Пока прилично».

Конец вожжи высунулся. Он поспешно запрятал его и снял шапку.

— Чаю! — кто-то крикнул. — Пахом Назарыч, кушайте, вот сухарики. У нас попросту... Митинг!

— Ничего, прилично, — сказал Пахом и стал придирчивым глазом водить по сторонам.

Но все чинно, благородно: разодетые девушки, чистяки парни. Сидят и слушают. А Кузька в пиджаке, в брюках, чего-то, сукин сын, очень складно говорит про мужика да про рабочего. Ежели, говорит, смычку устроить, так Русь первой страной во всем мире образуется... Только, говорит, сукин сын, надо крепче веровать да работать, как следовает быть...

Пахом слушает в оба уха, пегую бородищу гладит, думает: «Веровать... Насчет веры хорошо закручено. А все-таки вожжой придется для острастки разок-другой вдарить, стервеца», — но уже на губах Пахома играет улыбка, и глаза копят радость.

И еще выходили парни, много говорили приятного, указывали руками на Пахома, и всем залом кричали Пахому «ура», били что есть сил в ладоши.

— Кланяйся, тятя, встаиь.

Пахом встал, закланялся, как в церкви, чиинио, иа три стороны, и борода его вдруг затряслась.

— Братцы! Ребятушки!.. — скосоротился ои и засморкался.— Вот до чего на старости лет достукался я, бородатый гриб, до каких почетов... Могим поверить... Братцы!.. То есть вот как.. То есть вымолвить не могу... Спасибо, сто разов спасибо в оборот вам!.. А в бога, ребята, верьте, в господа... Это правильно. Ура!!

Все засмеялись, зааплодировали, а Пахом заплакал.

Гряиула музыка, начались танцы. Пахом долго крепился, но вот, подобрав полы и с гиком:

— Эх, ты!.. Качай, деревия!.. — бросился вприсядку.

А когда коичил, ему какая-то барышия подала вожжи:

— Папаша, вот... это что же? Зачем?

— Это? — и Пахом зачесал под бородой. — Это иазывается вожжи... — растерянно сказал ои, посматривая похитрому на сына.

— Товарищи! — захохотал Кузька, и все захохотали. — Сдается, тятя приехал меия драть.

— Врешь! Чего врешь понапрасиу... — бубнил Пахом. — А так... коротко сказать... вожжи... называется.

Пахом прожил у сыиа три дия, три иочи. Не жизнь, а рай: тепло, светло, пища крепкая. На представленье ходил, — называется спектакль «Смычка». Ох, и добрецкая комедь! На прощанье молодяжиик иасовал в мешок Пахому всяких даров: и папирос, и бумаги, и платочков. Кузька сапоги пожертвовал.

Дома радостным рассказам ие было коица. Собралась полна изба иароду. Мишка жевал пряиики. Кот обнюхивал иовые сапоги и тряс хвостом.

1923

Иван Соколов-Микитов

•

Пыль

I

Попутчики нагнали Алмазова во ржах на выгоне, уходящем вниз к реке. Над обожженной солнцем дорогою, над широким полем, над деревенскими крышами, горевшими под солнцем, сизая проносилась пыль. Теплый ветер проходил по нивам, как по морю, и гнал по хлебам зеленые волны. Во ржах по межам вперебивку, захлебываясь, били перепела. Синими звездами качались васильки.

Попутчиков было двое, шли они обочиной накатанной дороги, ступая по теплой пыли и бодро потряхивая портками на босых, залубенелых от навоза и солнца ногах. За их спинами висели стянутые лыком плетеные кошели и пыльные онучи. Поравнявшись с Алмазовым, они убавили шагу, поздоровались, и чернобородый, похожий на цыгана мужик, внимательно всмотревшись черными веселыми глазками, сказал:

— Далеко, товарищ, идешь?

Алмазов назвал село.

— И мы туда, — весело ответил мужик. — А ты не барин ли будешь какушинский? Гляжу я на тебе, будто видались, а где — не упомню.

— Я сын Антон Петровича, может, знали? — сказал Алмазов.

— Как не знать, как не знать, — подхватил другой, невеликий ростом, седоватый, в старом выгоревшем картузе, напяленном на сухие старческие уши. — Очень даже помним Антон Петровича. А я у вашего папеньки частенько бывал, на работу хаживал. Как не знать... Что ж, теперь родные места проведать идешь?

— Хочу поглядеть, — ответил Алмазов.

— Поглядн, поглядн, — сказал мужнк, — только смотреть-то, брат, не на что, всеё гнездышко по сучкам разволоклн, пожалуй, и не прнзнаешь.

Пошлн рядом: бывшнй барнн и мужикн. Черный шел споро, босыми ногамн поднимая пыль, подхватываемую ветром. Старнк все забегал вперед н перекатывал плечи, оттянутые кошелем.

— А я гляжу, гляжу, — с удовольствнем говорил он, заглядывая в лнцо Алмазова, — по походке алмазовскнй, а личность вроде не тая. Я тебе еще во-от какнм знавал, на своей ладоне тебе носнл, н был ты чуть поболе воробья. О ту пору мы к твоему папеньке прнходнлн канавы рыть на лугах, а ты, бывалча, все в речке сндншь под мельнннцей, порточкн засучнмшн. Бывало, ндем ммо, а ты из речкн решетом трясешь: гляди, мол, вот она, рыба!

Мужнки засмеялнсь.

— А теперь ты, братец, совсем скис, ннпочем тебе не признать... Как жнвешь-то? — продолжал мужнк.

— Жнву, — ответил Алмазов.

Мужнки переглянулнсь: так не соответствовала вся вндимость барина этому слову — был он худ, длинен, измят. Городская обтрепанная одежонка внсела на нем, как на голом колу, соломенная шляпа съехала на затылок, обнажнв немужнцкое, нездорово загоревшее лнцо с детскнм ртом и нспуганнымн глазамн. На шляпе, на длинных ресницах, на небрнтой русой бороде густым налетом лежала серая пыль.

— Так, так, — сказал черный, — вот оно какая дело. Не чаял небось пешечком пыль-то клубить?

Шлн полямн по скату. Внизу лентой свнвалась река. За рекой полого подннмался протнвоположный скат, и было видно, как по нему, по хлебам, ходилн такие же волны, точно невиднмая рука гладнла зеленый бархат. Над полямн, над рекой, над зеленымн волнами высоко в небе внселн пуховые белые облака, казалось, неподвнжно. В том, как зеленелн вокруг хлеба и высоко в небе стоял над полямн ястреб-канюк, была такая полная, вечная тишина, что Алмазову стало казаться, что ннчего не изменялось. По-прежнему по канаве душно цвела медуннца, а вннзу над ручьем горела куриная слепота. А на том берегу, за деревней, где раньше лежала алмазовская усадьба, сквознли мужичьи поля и бесконечно ходили зеленые волны.

— Запахалн землнцу, — догадываясь о мыслях Алмазова, сказал черный мужик.

— Тебе-то небось жалко, — с сочувствием спросил старик, — от сладкого к горькому привыкать? Эх, — вздохнул ои, не то жалея, ие то радуясь, — так-то всякому человеку своя черта. Твой папеиька, бывало, катит со станции — пыль столбом, а ты вот ие хуже иашеиского пятки бьешь.

Деревня, в которую входили мужики, по видимости иичем ие разиилась от той, что с детства запомиил Алмазов. По-прежиему солице освещало неширокую улицу, покрытую подсохшей, крепко убитой грязью. Два ряда изб уныло глядели малеиькими окнами друг иа дружку. По-прежнему, осевши иа все четыре угла, доживала свой век хатеика беспутного деревеиского пастуха и бобыля Ореха, горького пьяиицы. Нового было в деревие — белевшие свежим деревом дома-пятистенки, ладио крытые под щепу, с пустыми окнами и ненавешениыми дверями.

— Заходи, заходи, — весело сказал Алмазову чериый мужик, остаиавливаясь у иовой избы, — заходи, гостем будешь.

Алмазов вошел в сени, пахнувшие струганым деревом н дегтем, и прошел за хозяином через иежилую половину, где иа дубовых спицах висела смазаииая дегтем сбруя. В нзбе было жарко и светло, гудели иад столом мухн. На печи, спустив тощие иоги, сидела старуха — одна в нзбе — н большим клеиовым гребием вычесывала голову. Войдя в избу, мужик скииул кошелку и бросил в угол.

— Чей такой? — спросила старуха, вглядываясь в Алмазова.

Не спеша мужик сиял шапку и повесил иад дверью, ие спеша ответил:

— Гостя привел, — Антои Петровича сыиок.

— Ух, н худущ, — сказала старуха, старческими зоркими глазами разглядывая гостя: — Аль голодом сидел?

— А ты не чеши язык! — строго сказал черный.

Он сиял с полки большой позелеиелый самовар, перевернул иад лоханкою, вытряс золу и, стоя с пучком полыхающей лучииы в руках, сбочив голову, говорнл:

— Теперь время рабочая — межеиь, всеё семейство в лугах, одиа старуха дома. А мы вот который день поиапрасну лапти бьем — все иасчет землнцы. Вашей землицы, — добавил он. — Ты уж ие гиевайся. Землица-то тебе все едино теперь ие иужна.

Алмазов кнвиул утвердительно.

Все в чериом мужике было ладио, пригнаио, крепко, как в хорошо срублениой избе. И делал ои свое дело споро,

ладио и весело, точио играя. Лад и хозяйская крепость примечались во всем: лес иа избе был ровиый, прямой, щитио пригиаииый, подокониики дубовые, толстые, стол иовый, прочиый, печь, заиимавшая пол-избы, — велика и плечиста. Даже закипавший перед печью самовар был кореиаст, устойчив и так же череи.

Алмазов сидел у окиа иа скамейке. Мягкие его белокурые волосы были мокры и примяты, лицо бледио. Ои с любопытством поглядывал иа чериого мужика, возившегося около самовара, и барабаиил по столу тоикими пальцами. За его спииой иа иовой, еще ие давшей трещии стеие, с выступившими слезииками смолы, висели стариииые фотографии без рамок: господа в широких светлых брюках, со взбитыми густыми прическами, может статься, предки Алмазова, извлечениые из господского альбома и вывешеиные иа мужицкую стеиу для утехи.

— Ты меие-то иебось ие помиишь? — продолжал хозяии, сдувая с поспевшего самовара пыль. — А я тебе хорошо помню. Киидея Гаврилова, может, слыхал?

— Кажется, помию, — ответил Алмазов. — Печиик?

— Во-во-во, — радостно заговорил мужик. — Отец мой. У вас в хлигелю клал печи. А я его сыи — Лексей. Тогда и я хаживал к вам. Ты-то был во-от такой.

— Миого воды утекло, — сказал Алмазов.

— Воды, брат, утекло миого, — подхватил хозяии, садясь за стол и подставляя под краи чашку. — Время было — упаси бог, — всего перепробовали, теперя вспомянуть тошно. Ныиче мало-мальски опять иа своем, подошли к обзаведеиию. И хлебушка есть.

— Семья-то у вас велика? — спросил Алмазов.

— Семья? Семья, брат, сам-пят. Да вот дочку отдаю, тебе будет на свадьбе гулять.

Вместо чая пили пряиый малииовый лист. На лбу у мужика крупио выступил пот, глаза подобрели. Ои утирался коицом полотенца и иаливал в малеиькую чашку, терявшуюся в его большой смуглой руке. На стол косяком падало из окиа солице, и по белому потолку от чашки бегал и трепетал зайчик.

Алмазов выгляиул в окио. По улице, освещеииой солицем, ходили куры, ветер трепал длиииое чериое перо в петушьем хвосте. С лугов возвращались люди с граблями иа плечах, с блестевшими иа солице полосами кос. От пестрой кучки баб, проходивших по улице, отделилась девка в малииовом сарафаие, побежала к избе.

— Наши идут, — сказал Лексей, заглядывая в окно.

Из сенец вошла девка в белом платке, спустившемся на голую загорелую шею. Увидав гостя, она остановилась, вытерла широким рукавом лицо и улыбнулась. И по улыбке Алмазов признал в ней бойкую девочку, когда-то приносившую к ним в дом в лубяном лукошке, повязанном красным головным платком, пахучую лесную малину. И девка узнала Алмазова, покраснела, поправила платок и подала горячую и жесткую руку.

— Узнали? — спросила смело.

— Узнал, узнал, — поспешно ответил Алмазов. — Все такая же.

— Ну, где такая, — бойко ответила девка. — Теперь в старухах хожу.

По тому, как смело и прямо глядела девка, как уверенно и весело блестели ее карие глаза, Алмазов понял, что она была молода и счастлива.

Под вечер он пошел за деревню, вниз к реке. Вся деревня уже знала о приезде барина, на него глядели, как на чудо, и загорелые лица следили за ним в открытые окна.

Выйдя за деревню, он свернул с дороги и пошел межою к реке. Солнце опускалось над лесом. Подойдя к речке, он разулся и перешел вброд по голым и холодным камням, и вода журчала вокруг его ног. И Алмазов припомнил, как в детстве лазил по этим же камням и вместе с деревенскими ребятами ловил под берегом раков.

Перейдя реку, Алмазов обулся и по обрыву поднялся к усадьбе. Парк наполовину был вырублен. Грачи гомозились на немногих оставшихся деревьях. Над спущенным прудом, заросшим травою, лежали дубовые разбитые вершины, еще не сбросившие сухих, звеневших по ветру листьев. Вокруг пруда и по парку дико разрослась сирень. Там, где стоял алмазовский высокий с колоннами дом, окнами на церковь, чернела куча обгорелых обломков, затянутая бурьяном, и вокруг колосился ячмень, буйный, зеленый, местами полегший от тучности. В парке по траве рассыпались одуванчики, и под уцелевшими липами ковром цвела иван-да-марья. Пахло нагретой землей и медом. Старая яблоня наклонилась ветвями до самой земли.

Алмазов пошел к церкви, мертво сквозившей за деревьями. В ограде было пустынно, зеленела густая трава, и со свистом падали над белой колокольней стрижи. Одно окно за витой решеткой заблестело нестерпимо ярко. Ал-

мазов прошел мимо знакомой паперти с большими выкрашенными в зеленую краску дверями и, шурша высокою травою, завернул за алтарь, к фамильному склепу дворян Алмазовых. На него по-прежнему взглянул мраморный неподвижный ангел с раскрытой книгой у сердца. На месте мраморной доски с алмазовскими именами — в сером камне темнели четыре дыры от болтов. Алмазов присел на памятник, снял шляпу, задумался. Под ногами его пробежала по камню полевая мышь и скрылась в траве. Холодно краснела на последнем солнце колокольня и погасала быстро. И тотчас же внизу, на пенькомочище, громко закричали лягушки. Опять на минуту Алмазову показалось, что он босоногий восьмилетний мальчик, забежавший после игры в ограду.

Когда зашло солнце и улеглась на дорогах пыль, а над лесом, над полями опустилась широкая, теплая, как дыхание человека, вечерняя тишина, Алмазов вернулся в деревню. У околицы его повстречали ребята, принодевшиеся в городские короткие пиджаки, и поздоровались дружелюбно.

Он пошел улицей на голоса.

Посредине деревни, на взгорке, где скатывалась к реке дорога, толкалась принодевшаяся молодежь. Алмазов подошел поближе. Увидев сидевших на бревнах под амбарушкой мужиков, он завернул к ним и поздоровался. Ближние ответили ему, коснувшись фуражек, другие, внимательно разглядывая, промолчали. Чувствуя неловкость, Алмазов присел рядом с невысоким плотным мужиком, державшим в коленях маленькую девочку с добела выгоревшими, заплетенными в косичку волосами. Девочка, не моргая, уставилась на незнакомого человека своими большими и ясными глазами.

По улице в сумерках стенкой прохаживались ребята. Средний — в закинутом на затылок приплюснутом картузе и ситцевой косоворотке — нес на ремне гармонь и бойко перебирал по ладам. На губе его белел потухший окурок. В ногу с гармонистом шагал длинноносый парень в косматой овчинной шапке и, скаля белые зубы, надсадно запевал под гармонь «страданье»:

Черным-черно мое сердце,
Черней черного чела...

И стенка подхватила враз:

Не видал свою зазнобу
Ни сегодня, ни вчера.

Ребята прошлись раз н два по деревие, из коица в конец, никакого виимания ие обращая на сндевших под амбарушкой мужиков и на сбившихся у колодца по-праздничиому разодетых девок и баб. За ребятами, ходившими по деревие с гармонистом, клубкамн катились босые ребятншки н звоико подсвистывалн в два пальца. Пронзительиая песия то притихала, когда парни удалялнсь в конец деревии, то опять звучала так, что у Алмазова иачннало звенеть в ушах. Пройдя в третий раз, стенка остановилась протнв колодца, и гармонист, вытирая со лба пот, присел на комяжку. Скинув с плеча широкий ремеиь, он заиграл частеиькую, и девки окружилн его плотиым, пахнущим кумачом и зиоем кольцом.

Носастый парень в овчииной шапке лихо стукиул сапогом о дорогу и, перебирая плечами, подкатился к девкам и выбрал одну — широкоплечую, ладную, в домоткаиой тяжелой безрукавке, с выпущенными вышнтыми рукавами. Девка пошла с иим, коротко повертываясь, пристукнвая каблуками и раздувая подол голубого сарафаиа. Загорелое лицо ее под белым платочком было камеино сурово, губы тверды н сухи. Польку танцевали до поту, топчась на одиом месте, плотно стиснутые жарким человеческим кругом.

Алмазов подошел к пестрому кружку девок и баб. Он через головы вндел подпрыгивающие в лад с гармоиикой цветные бабьи платкн н мотающуюся косматую шапку носастого парня. Гармонь заиграла теперь совсем тихо, чуть пиликая, задушеиная кольцом зрнтелей. Под иогами Алмазова лазали н толкались ребятишки, заглядывали ему в лицо чужими и зоркими, как у зверьков, глазами.

Кто-то легоиько толкиул его под локоть. Обернувшись, он увидел малеиькое, заросшее рыжей бородою лицо и темный, хмельной, подмигнвающий ему глаз.

— Ну как, барин, весело? Гуляет иарод.

Алмазов внимательио посмотрел на иевысокого мужика и узиал в нем Халамея, в прежнне времена частеиько приходившего на алмазовскнй двор просить у Аитон Петровича иа водку. Памятен Алмазову был Халамей тем, что когда-то посаднл его Антон Петровнч за поджог сеиного сарая, и после тюрьмы Халамей пьяный приходил иа усадьбу, — его почему-то не трогали собакн, — бросал иа дорогу шапчонку и, затоптав ее в пыль, плакал и жаловался так громко, что в парке ему откликалось эхо. Дети ие боялись

его и, сбившись вместе, смотрели на него своими широко раскрытыми, полными внимания глазами.

Теперь Халамей почти не изменился, только посерела у висков бородка, и глубже ушли темные глазки, да виднее просвечивала в них прикрытая боль.

II

Ночевал Алмазов в сене, под сквозной крышей, в которую всю ночь светил месяц. Сено еще не остыло от полевого зноя, и где-то около головы Алмазова всю ночь пел и ползал кузнечик. Спал он чутко, чувствуя на лице дыхание сквозняка и холодный свет месяца.

С ним спал младший сын Лексея, мертво, не шевелясь и неслышно дыша.

Поутру Алмазов ушел за деревню. Он прошел огородами через пахучую высокую коноплю, с которой падала каплями ночная роса, обошел деревню, звучавшую петухами, и спустился в луга. Он шел берегом, сбивая с ольховых кустов холодные капли, и за ним, на седой от росы высокой траве, оставался видный след. Над тихой водою, над зелеными лопухами кувшинок курился парок. Дикая утка, подняв сноп брызг, вырвалась из-под его ног. Из всех сил кричали в зеленой осоке коростели. Он шел в луга, на солнце, поднимавшееся над туманом. Покудова хватал глаз, на зеленом просторе белыми точками двигались люди. Изредка ослепительно вспыхивала на солнце коса и погасала.

Алмазов пошел к двум ближайшим косцам, бойко махавшим новыми белыми косовищами. Было слышно, как бодро жигают по густой, тяжелой траве косы и стучит брус в подвязанной к коленке бруснице. Пожилой широкий мужик, с плотной курчавой бородой, в холщовой рубахе, уже пропотевшей на лопатках, босой, в полинялых вымоченных росою по колено портках, ходко гнал широкий прокос. За ним шел молодой парень без шапки, в рубахе распояской, с жестяной брусницей, привязанной лыком к ноге. Вокруг обкошенных кустов лежали густые, пахучие и мокрые валы. На голой кочке у вросшего в землю черного камня валялся плетеный кошель и стоял глиняный кувшин, заткнутый зеленым лопухом.

Завидев Алмазова, мужик остановился и отставил косу.

— Бог помочь, — сказал, подходя, Алмазов.

Мужик взглянул на него серыми прищуренными глазами и весело ответил:

— Спасибо. Подходи к нам закуривать.

Он присел на корточки, достал из лежавшего под кустом пиджака кисет, вынул бумажку.

— Утро сегодня, — сказал он, сидя на корточках, с прилипшей к губе бумажкой, и кроша на ладонь табак, — благодать. Не слыхать, как коса режет.

Алмазов присел на сырую кочку и взял у мужика бумажку.

— Надолго к нам? — спросил мужик.

— Нет, — ответил Алмазов, — не пробуду долго.

— Поглядеть пришел?

— Хочу поглядеть, — сказал Алмазов.

— Так, — ответил мужик, свертывая цигарку и садясь, — глядеть-то не на что стало. Вот — ваши лужки косим.

Парень в рубахе распояской, звонко и быстро шаркая, наточил косу, засунул в брусницу брусок и продолжал обкашивать густой, сивый от росы куст. Добив прокос, он положил на плечо мокрую косу и, шагая через валы, подошел к старику. На молодом безусом лице его по кирпичному загару золотился сухой пушок. В его глазах, как и у старика, светился веселый задор работы, а на лбу, под спустившимися густыми темными волосами, мелкими капельками блестел пот.

Он положил косу на землю и присел на скошенную траву. Старик перебросил ему кисет.

— Жених, — подмигнул он Алмазову. — Завтрева свадьба, а он у меня лямку трет.

Парень застенчиво улыбнулся.

— Теперь время рабочая, — говорил старик, — раз-два, и готово. Пироги не простынут — валяй сено возить.

Не спеша докурив, он напился из кувшина, дергаясь кадыком на серой морщинистой шее, крякнул, заткнул горлышко смятым лопухом, смахнул большой рукой капельки с бороды и усмехнулся.

— Не хошь ли с нами помяться? — шутя сказал Алмазову. — Запасная коса есть.

— А что ж, — ответил Алмазов, — я бы не прочь.

— Бери, попробуй.

Парень, улыбаясь, достал из куста косу и подал Алмазову.

— Постой, я тебе наточу, — сказал старик и, взяв

горсть зеленой мокрой травы, вытер косу, упер косовнще в землю и звоико зашаркал по тоикому лезвию коротким отбитым бруском.

— На, получай, — как бритва.

Алмазов неловко взял косу, попробовал замахиуться, и коса воткнулась в землю.

Мужнки засмеялись.

— Это, брат, тебе ие книжки читать, — сказал старик.

Поиемиогу Алмазов размахался. Прокос выходнл неровиый, коса срывалась, но ему ие хотелось отступаться. Старик отвел его вниз к реке, в осоку, и сказал:

— Пяткой, пяткой иажнмай. Тут тебе самая косьба.

Осока резалась легко. Оставшись один, Алмазов прошел ряд до реки и посмотрел вверх, где догоияли его старик и молодой. Подиявшееся солнце уже подсушнло росу. Под иогамн Алмазова выступала н хлюпала вода, зыбился луг. Солнце освещало дио рекн, заросшее длиныымн, склоненыымн течеиием водорослями, н Алмазов видел, как между водорослямн по песчаному дну перебегают юркие пескари. Появнлнсь малеиькне мушки и иадоедливо лезлн в глаза. Стало припекать.

— Подрядье-то, — весело сказал старик, прогнав длнный прокос и подходя к Алмазову, — за это нашего брата, бывало, по шапке.

Алмазов вытер со лба пот н улыбнулся.

Ему было легко. Поднявшийся полудеиный ветер обвевал его голову, руки поиемиогу прнвыкли к косе. Было прнятно, что высокая, жестко шелестящая осока ровно и легко ложится под косой.

Пройдя шестой ряд, старик обмыл в реке косу и сказал:

— Ну, барин, довольно. Теперь бабы прндут ворошнть. Пойдем свадьбу гулять.

Алмазов отдал косу н остался тут же. Он лег на спнну, иа свежескошеиную траву, в тень, и стал глядеть в небо, по которому, словио бараны по полю, рассыпались мелкие облачка.

Весь деиь он проходил по лугам, заходил в лес, где на лицо липко саднлась паутина и на березах пересвистывались невиднмые иволгн, заходил в поля н подолгу смотрел иа зеленые волны хлебов.

Вечером ему повстречалнсь спешившие с хуторов на свадьбу ребята, н ои пошел с ннмн.

В деревне около Лексеевой новой избы толклись и визжали ребятишки, заглядывали в окна.

Алмазов вошел в избу, тесно набитую народом. В передней половине, покрытые суровыми скатертями, во всю стену стояли сдвинутые столы, и в красном углу, воткнутая в ковригу, убранная цветными бумажками, стояла сосна. За столом тесно сидели девки, раскрасневшиеся, с блестящими глазами. В самом углу, за сосной, через головы баб и ребят, стоявших округ стола, Алмазов разглядел невесту. Лицо ее было заплакано, платок низко спущен на лоб, но под платком глаза глядели весело и бойко.

Когда входил Алмазов, девки молчали, перешептывались и кусали подсолнушки. У стола посредине хаты стоял сам Лексей в черной жилетке поверх вышитой рубахи. Черная борода его блестела, как вороново крыло, щеки пылали. Он казался шире и выше всех. Завидев Алмазова, он улыбнулся, сожмурил хмельные глаза и поманил пальцем.

— Пожалуй с нами свадьбу гулять, Сергей Антоныч! — крикнул он через головы.

Выждав время, девки запели свадебную. Одна — белозубая — начинала, и другие подхватывали звонкими голосами. Песня была грустная, прощальная, свековавшая века, и Алмазов приметил, как невеста, наклонив голову, тихонько вытерла концом платка слезы.

Девки пели не спеша, берегли себя: впереди, до приезда сватов, была целая ночь. В перерывах они шептались и исподлобья поглядывали на гостей, толпившихся округ стола. В холодной половине баловались ребятишки, и Лексей подходил к дверям, кричал на них:

— Кыш, жигуны, вот я вам!

В избе было жарко, девки утирали губы платками и потели. Алмазов долго стоял у двери, стиснутый людьми, чувствовал, как в дверь просачивается с улицы свежий воздух.

— К жениху пройдите, — сказал ему стоявший возле него черный парень.

— А где жених? — спросил Алмазов.

— Я доведу, — с готовностью ответил парень, — ступайте за мной.

Алмазов вышел за парнем, и они пошли улицей, ступая по крепко убитой дороге. С речки тянуло холодком, зажигались на небе первые звезды.

— Теперя на целую ночь заведут, — говорил парень, — вам-то наше дело, конечно, неизвестно.

— Как на целую ночь? — спросил Алмазов.

— А так: теперя у жениха и невесты гуляют, а к рассвету приедут к невесте сваты — опять гулять.

Подошли к другой освещенной избе. Алмазов увидел в окно косматые затылки мужиков, сидевших за столом, и красные платки баб. Звонкие бабьи голоса пели бойкую плясовую.

У жениха было так же тесно. За столом сидели мужики и бабы и не спеша ели. Отец жениха — веселый старик, с которым Алмазов утром косил на речке, — по очереди наливал гостям из четверти и каждого уговаривал выпить. Мужики пили молча и, закусив холодцом, клали ложки спинками кверху, бабы морщились и утирались платочками. Жених сидел за столом в черной сатиновой рубашке с вышитым на груди кармашком и неподвижно, как на фотографии, смотрел перед собою.

У стола перед сватами, сидевшими в головах, толклись бойкие бабы с хмельными и потными лицами и почти без перерыва, с вывизгом и притопыванием, веселыми песнями обыгрывали жениха. Две молодые бабы, без платков, в малиновых повойниках на гладко зачесанных волосах, хмельно блестя глазами и показывая белые, как чеснок, зубы, вертели над головами белыми платочками и бойко отплясывали. Песня была задорная, ахова́я:

Без тебя, мой друг, постелька холодна,
Одеяльце заиндевело...

Алмазов чувствовал жаркое дыхание баб, певших песню, глаза их, горевшие задором и весельем, обжигали его, под его ногами ходуном ходили шаткие половицы.

Его посадили за стол рядом с мужиками, молчаливо глядевшими на веселых баб. Хозяин налил в стакан и поднес ему.

— Ты выпей небось, — сказал ему сидевший обочь мужик, — от этого не сохнут.

Алмазов выпил полный стакан мутной, пахнущей хлебом самогонки и поморщился.

— Наша горькая, — подмигнул хозяин, глядя ему в рот.

— Да ты ешь, ешь, — уговаривал его мужик, — закусывай.

Алмазов закусил густым холодцом и почувствовал, как самогонка ударила в голову, захотелось смеяться. Он улыбнулся, вздохнул и поглядел на сидевших с ним мужиков. Ему было приятно от того, что по телу разливается тепло и легкой стала голова.

— Весело у вас, — сказал он мужику.

— У нас, брат, весело, — ответил мужик, подмаргивая веселым глазом.

III

Вышел Алмазов из избы на крыльцо, когда над деревней, над полями лежала теплая ночь и месяц светил на порожнюю улицу. Над рекою, за старой алмазовской усадьбой, расплывалось по небу дальнее зарево. Над головой Алмазова пискнула и неслышно пала в ночь летучая мышь.

К нему подошел мужик в белой рубахе и, пошатываясь, сказал:

— Гуляешь, Сергей Антоныч?

— Гуляю, — ответил Алмазов.

Мужик стоял перед ним и улыбался в темноте.

— Аль не узнаешь?

— Ванька? — спросил Алмазов, признав в мужике своего приятеля по детству, сына алмазовского лесника Семена.

— Признал, признал, — ответил мужик.

— Был Ванька, а стал Иван Семеныч, — насмешливо вставил из сеней чей-то голос.

— Сергей Антоныч, — сказал Ванька, трогая Алмазова за локоть, — пожалуйста, на пару слов.

Алмазов сошел с крыльца. Ванька показал на отдувавшийся карман и сказал тихо, наклоняясь к уху:

— Прошу тебе, сделай милость, зайди.

Они пошли на край деревни, к Ванькиной хате. Дорогой Ванька покряхтывал, шел впереди и молчал. У своей избы он остановился и пропустил Алмазова в темные сени.

В избе тускло горела лампочка под засиженным мухами пузырем. У окна на скамейке сидел, положа руки на колени, лысый тощий старик и пьяно моргал маленькими глазками. Алмазов узнал в нем старого Ореха, ходившего в пастухах за алмазовским стадом.

Изба была просторная, разделенная стеной на две части, с двумя нескладными печами. Строил ее Ванькин батька, лесник Семен, из вольного лесу, но, видно, у Семена, занимавшегося больше охотою, не хватило терпенья, и вышла изба неладная, с непомерно низкими потолками, с маленькими оконцами, которые можно было прикрыть шап-

кою. В избе было тесио и сорио, где попало валялась посуда, а из лохаики у порога текло. Потолок и стеиы были иссиза-черны, и по ним, шустро поблескивая, перебегали прусаки. В углу иа божиице, украшеииой резаиой газетиой бумагой, темиели нкоиы, дочериа засиженые мухами.

— Привел, — сказал Ваиька, впуская Алмазова в избу.

Алмазов увидел около печки бабу, наклоиившуюся иад зыбкой н кормившую ребеика, задиравшего из тряпья кривые ножки. Она кивнула ему и, спрятав грудь, стала качать прнвязаииую к длиииому шесту полиую тряпья лубяную зыбку.

Орех, шатиувшись, подиялся иавстречу Алмазову и схватнл его за руку.

— Барии, милый мой, — хмельио заговорил ои, ладя поцеловать.

Алмазов, коифузясь, отвел его и присел у стола.

— Разорили соколика, а? — говорил Орех, старчески шепелявя и глядя иа Алмазова маленькими слезящимися глазками. — До чего довелн. Папенька-то твой, бывало, — ух!.. — н, ие договорив, Орех завалился на скамейку.

Ваиька, поглядывая на стол, шептался с хозяйкой. Был он короток, легок и безбород, иа малеиьком иосу его н на щеках ронлись весиушки. Что-то оставалось в ием детское — от тех времеи, когда лазали оии с Алмазовым шарить по липам галочьн гиезда.

— Давио жеиился? — спроснл у иего Алмазов.

За иего ответила баба, прндержнвая на груди холстяиую рубаху и передавая Ваньке зыбку.

— Сёмый год с мясоеда, — сказала оиа, убирая со стола, — сёмый год живем.

— Много детей? — спросил Алмазов, глядя иа зыбку.

— Трое, — ответила баба, — да один помер.

Не зиая, о чем говорить, Алмазов покачал головой.

Баба иичуть ие походила иа Ваньку. Была оиа крупиа, широка в кости, плечиста и — что редко иа деревие — для своих лет свежа и сильиа. Оиа быстро убрала со стола, иаколола косарем от сухого полеиа лучииы н развела на загиетке огоиь. Алмазов не хотел есть, но хозяйка так настойчиво стала его угощать, что пришлось согласиться.

Укачав кашлявшего ребенка, Ваиька подошел к столу н прнсел. С его безбрового н безусого лнца не сходила детская улыбка.

— Где же теперь Семен? — спроснл Алмазов, вспоминая Ваиькиного батьку, чудака и пьяницу, предпочитавше-

го всему на свете охоту и некогда на смех деревне обменявшего последнюю кобыленку на пегого гончего кобеля.

— Жив, жив, — радостно ответил Ванька, — на свадьбе гуляет, сейчас будет тут. Тебе все хотел поглядеть: его, говорит, я на руках носил...

Баба подала на стол крутую яишню в высокой сковородке с отбитым краем. Ванька налил в стакан самогонки и по обычаю выпил первый, потом налил Алмазову. Задремавший у окна старик зашевелился, подсел к столу и осоловело стал глядеть на бутылку.

На улице, а потом в сенях послышались громкие голоса. В избу ввалилось разом душ пять мужиков. Впереди, широко размахивая руками и громко говоря, брел Семен. Он почти не изменился, так же щетинкой торчала его рыжеватая бороденка и так же неистово гремел его хохот.

Завидев Алмазова, он растопырил руки и завопил:

— Барин! Сереженька!.. Друг любезный! Пожаловал. Дай тебе расцелую. А? На руках носил! — кричал он, обращаясь к молчаливо стоявшим за ним мужикам. — На руках носил, ей-богу. Бывало, мамаша прикажут, а я ношу, по двору ношу. А они на ласточек смотрят. А теперь-то, — продолжал он, переводя голос и отстраняясь, — тебе не признать, убей мене гром, не признать, — встретились бы и разошлись, ей-богу.

— Как живешь? — спросил Алмазов у Семена растерянно, не зная, о чем сказать.

— Как живем? — опять завопил Семен. — Живем — хлеб жуем. Наша житье известная.

За Семеном молчаливо стоял огромный мужик с широкими, как ворота, плечами. Бритое лицо его было каменно, серые небольшие глаза светились задорным огнем, из-под закинутой на затылок шапки на низкий лоб высыпались прямые соломенного цвета волосы. Узкий вышитый воротник холщовой рубахи, застегнутый на одну стеклянную пуговку, обнимал могучую, загорелую докрасна шею. Алмазов невольно на него загляделся.

Он подал Алмазову свою тяжелую, широкую, как совок, руку и сказал Ваньке глухим, с хрипотцой голосом:

— Наливай, чего смотришь, — с барином выпьем.

— Выпьем, выпьем, — подхватил Семен, — душа горит.

— Подожди, — сказал мужик, рукой отстраняя Семена, — дай на барина посмотреть, сколько лет господ не видали.

Лицо его показалось Алмазову необыкновенно большим

н широким. Прищуренные глаза мужика светились буйством и насмешкой. Он стал перед Алмазовым, скрестив руки. Все остальные примолкли, слушали с любопытством.

— Сергей Антоныч, — деланно вежливо произнес он, наклоняясь к лицу Алмазова и обдавая его перегаром, — Сереженька. Поглядеть пришли?.. Погляди, погляди, как землицу твою освежевали... Ты нашего брата не осудь.

— Саш, брось, — растерянно улыбаясь, сказал Ванька.

— А ручки-то у тебя белые, — продолжал мужик, разглядывая руки Алмазова и подмигивая кому-то через стол, — перчаточек просят. А! — воскликнул он вдруг глухим, страшным голосом. — Тут, брат, твое дело шабаш. Вот захочу — раздавлю! — Шально блестя глазами, он протянул над столом огромную руку, покрытую курчавыми, густыми, как у зверя, волосами, раскрыл огромную крепкую ладонь и сжал пальцы в кулак, точно выдавливая из чего-то сок. — Испужался?

— Не шуми, Саш, — умоляюще произнес Ванька.

— Да я шучу, — подмигивая и опускаясь рядом с Алмазовым, сказал мужик. — Эй, барин, Сергей Антоныч, пей, друг, мужицкую, на слезах настоянную. Пей! — Он своей тяжкой ладонью похлопал Алмазова по тощей спине. — Пей — не робей! Теперь ты есть пыль. Пальцем тебе никто не зацепит. Не пужайся.

Он налил в стакан Алмазову, чокнулся громко, разбрызгав по скатерти, но сам выпил немного, только пригубил, и стал ходить по избе из угла в угол, широко размахивая большими руками.

Против Алмазова за столом сидел, выпучив глаза, ввалившийся с Семеном грузный мужик и молчал. На его бороде висли крошки, в пьяных глазах стояли прозрачные слезы. Слушая Сашку, он волновался, дергался, слезинки на глазах его наливались тяжелее.

— Мне Сашка тьфу! — проговорил он тяжело и бессмысленно, глядя в одну точку и точно не видя.

— Не лезь, Якуш, — сказал Семен.

— Мне Сашка тьфу! — упрямо повторил мужик. — У мене сыны альвы. Из порток Сашку выбросят.

Сашка ходил по избе из угла в угол. Ворот белой рубахи его расстегнулся, и виднелось тело, крепкое, покрытое такими же, как и руки, курчавыми волосами. Изба тесна была ему.

И Алмазов потом не мог всего припомнить: лицо старого мужика с выпученными глазами мелькнуло над сто-

лом. Огромная Сашкииа ручища накрыла его, скомкала и отправнла куда-то под стол. Алмазов увидел широкую Сашкину спину, иаклоившуюся иад скамейкой.

И тотчас же под окном завопнл произительиый бабий голос:

— Яку-ша убива-аюгь...

Изба опустела. Упало и покатилось ведро. На полу у дверей валялась сбнтая с кого-то шапка. Алмазов остался с Ванькой, побледневшим, дрожавшими руками налнвавшим в стакан самогонку.

Под окном бабий голос завопил еще отчаяииее:

— С кольями, с кольями иду-уть...

— Господн Сусе, — сказала Ванькина баба, отчаяино укачивая проснувшегося ребенка, — это якушата идуть иа Сашку. У нх зло давнншнее. Будет беда.

В избу вошел Сашка. По виду он был по-прежиему спокоен, так же лихо держалась на затылке ушастая шапка, только сузнвшиеся глаза блестели да ходили маслаки под бритыми щеками.

— Уходн, барии, — сказал он Алмазову, — ие стой у дороги, нечай колесом задеиут!

Надев дрожащими руками шляпу, Алмазов выбежал иа волю. Слышно было, как горланилн по улице удалявшиеся мужикн. Что в избе казалось страшным и громоздким — иа воле стало просто, и не верилось, что близко ссорятся и дерутся люди. С бьющнмся сердцем он перелез изгородь и огородами пошел к Лексеевой пуньке.

На сене ои лежал долго, не засыпая, слушая голоса иа деревне.

Семенов голос звеиел всех громче. Помалу мужики затихли, стало слышно, как кричат коростели иа лугах, и опять порыв ночного теплого ветра донес с деревни бойкую плясовую:

Без тебя, мой друг, постелька холодна,
Одеяльце заиндевело...

«Милый друг, — писал Алмазов карандашом иа клочке бумаги, — четвертый день, как я в деревне, слушаю деревеискую тишниу. Здесь мне родной каждый камень; я ходил на реку, бродил по лесу, где когда-то мы с тобой собнрали грибы (впрочем, тебе не узнать теперь нашей рощи), пробовал косить с мужиками на «нашнх» лугах, гулял иа мужичьей свадьбе и слушал деревеискне песии, те са-

мые, что слушали мы, когда ты приезжала в Алмазовку, пнл — это уж от нынешнего — с мужнками самогонку, пахнущую горелым хвостом болотного черта. Был пьян и чуть не попал в драку... Пожалуйста, не пугайся, я невреднм, сейчас гляжу на небо, в котором совсем нетрожно — как н *тогда* — висит ястреб. Я вижу, как над деревней столбами стоят дымы. Сейчас утро, бабы растапливают печи, и опять, как н *тогда*, здесь пахнет коноплей, сеном и дымом. Все этн дни воздух так чнст, что я вижу отсюда, как за рекой зеленятся хлеба н на Марншином лугу ковром цветет куриная слепота...

На месте нашего старого дома растут прекрасные лопухи, величиною в твой дождевой зонтнк. В крапиве ты смело спрячешься с головой. А вокруг колоснтся мужнчнй ячмень, от тучностн почти черный. В парке, от которого осталось немного деревьев, жнвут грачи, потомкн тех, «нашнх» грачей, с которыми мы так старательно воевали. Так же, пожалуй, немного грустнее, свистят вокруг колокольнн стрнжн, а на алмазовском памятнике давно ободраиа мраморная доска, и памятник стоит безыменным. Это все, что осталось от Алмазовых...

Здесь я чувствую себя так, точно мне трнста лет н я помню царя Гороха. Я нахожу странное отношение ко мне людей: меня встречают как ннщего. В сущности, меня так н приняли. Третьего дня один мужик меня назвал так: ты — *пыль*.

Как это верно!»

Когда Алмазов выходил нз деревии, над полямн поднималось солнце, теплый ветер опять гнал по дороге легкую пыль. Над головой Алмазова, купаясь в воздухе, пел жаворонок. На выгоне, над рекою, нграл на трубе пастух, залнвисто, с переборами, и за деревней пастуху отвечало эхо. Пелн на деревне петухн.

Алмазов шел легко по краю дороги, и колосья шелестелн по его рукаву. Выйдя на взгорок, он остановнлся, посмотрел на солнце, иа деревню, на тот берег, тонувшнй в зыбившемся солнечном свете; улыбнулся и пошел дальше. Взгорок за его спиной закрывал деревню, н помалу скрывался зеленый берег реки. Перед ним открывалось поле, н дальше, в лощине, луг, на котором разноцветными пятнамн копошились людн. Запахло свежнм сеном. В гени по канаве лежала у дорогн роса.

Он шел быстро, поглядывая на людей, перешел мостик, под которым, журча, пробегал по каменистому дну ручей, голубели незабудки, и стал подниматься в гору.

Кто-то сзади окликнул его, и он остановился.

По лугам, через скошенные валы, к нему бежал парень без шапки, в белой рубашке. Подбежав к ручью, он легко перепрыгнул и побежал дальше. Алмазов узнал в нем знакомого жениха.

Парень подбежал к нему и, переводя дух, улыбаясь, сказал:

— Таня наказала вам передать на дорогу.

Он подал Алмазову кусок сала и край хлеба.

— Вы уж извините, не гневайтесь, — сказал он и поглядел Алмазову прямо в глаза своими молодыми серыми, полными жизни глазами.

Алмазов взял сало и хлеб, пожал парню руку и молча пошел дальше. Парень посмотрел ему вслед, перескочил через канаву и с молодой легкостью побежал назад через луга. Когда он подбежал к своим, разбивавшим густые, тяжелые валы, и оглянулся, Алмазова не было видно. Вслед ему ветер гнал по дороге пыль.

1924

Борис Шергин

•

Лебяжья река

Есть у Студеного моря Лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебяжья Гора, на другом — деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги — злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:

— Не в ту сторону воюете, друзья!

— Против кого же воевать?

— Против тех, кому рознь ваша на руку.

— Золотое твое слово,— отвечали Губа и Щека.— Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.

Но разумного человека угонили дальше, к Мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора, самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество.

Но пришла пора, ударил и час: царский амбар разва-

лился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-братчину.

Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались:

— Настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом поддерживает.

Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы. Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.

Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.

В красные дни на песках у Лебяжьей реки сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:

— Всякий художный запас, краски, и масло, и клей мы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы поослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая статья: как художество строить? Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб-манеру запутаем. Живем соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмолимонный» да «светло-осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На Гусиной красили пестро. Цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять ненадобно. У всякой ягоды свой скус.

Старуха Губина докладывала:

— Письма от мужа были, адрес не пишет, для того что на месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознать местоположенье хоть бы нашего Губы? Узнать бы да стребовать письмом.

Гуля рассмеялся:

— К сожаленью, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.

Порешили иа том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать. А работу начииать не мешкая.

На Лебяжьей сыскались и иехудые живописцы. Гусииая Гора в живописи поскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резиое дело: стамеской орудовал по дереву краше, иежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучить молодежь столярству и резьбе.

И полезли ребята к Федоту, как мухи иа брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столец чисто и чиино. Которые ребята были схватчивы и ученье прииимали бойко, тех Федот — за тоикую работу.

— Вот, Михайлушко,— толковал Федот талаитливому пареиьку,— вот тебе художествениые сиасти, пилка да топорок, долото да стамеска. Построишь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домок-теремок. К ней постойщики приедут. Пойдет житье-бытье.

Муха — горюха,
Блоха — поскакуха,
Комар — пискун,
Таракан — шаркун.

Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова оиа будет в дереве, сиачала чертили иа чертеж, иа бумагу. Федотовым учеиикам подражали малыши-недоросточки. Мать иному репииу даст, он из репы человечью образиину или птичку вырежет.

Миогие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами иа себя — почему это человеку художиичать охота? Федот размышлял:

— Такой уж иной человек родится: чертить, да красить, да что-иибудь мастерить вроде как пить-есть ему надобио. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет. А художиику охота, чтобы этим суидуком любовались. Ну, и в карман лишияя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, столько себя веселю.

Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На деревие все дома были великие, потому что стороиа лесная, ио у Щеки было особеиио светло: окиа рублеиы широко. Иваи Щека, сряжаясь в море, сказал Федоту:

— У тебя глазишки малеиькие, и окоица в твоей избе коротеиькие. Там тебе работать темио. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль...

Когда к Федоту стали собираться артельные, он не-

множко обеспоконлся: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох провалился[1].

На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:

— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют?

— Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-то делят. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженек Ивана Щекина работу в сундуке хранит. Две коробки писаных в полотенце увернуты, в бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню...» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждет, сидит на ларце — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостоин ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нем...» Колотятся теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.

На оленях стариков не дождались. Иван Губин приехал по весне, Иван Щека — летом.

С вешней водой Лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества.

Гуля Большой по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.

Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.

— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.

Жена уговаривала:

— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись до катись.

---

[1] В канский мох провалиться — затеряться, пропасть. Канская земля — полуостров Канин — в прежнее время место безлюдное.

— Вот уж, Ананья да Маланья, Фома да кума, да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх комплекта проситься.

— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: «Ждем, говорит, Ивана Егоровича, как майского дня».

— Ежели в майский день, дак меня встретить да почтить должно.

— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.

— Тебе, дура, смех, а мне смерть... Они и Ваньку Щекина нароком держат без вестей.

— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшенин? — негодовала старуха.

— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай мое письмишко самое немудреное, но Щека — первостатейный мастер. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться. А пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой.

Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру.

— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести... Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моленья не услышит. А бывало, что он, что Щека — за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.

Молодежь дивилась:

— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?

— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.

Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова:

— В городе красуется, павлиёны к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.

Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:

— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.

Вышла Гулю проводить и зашептала:

— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старик сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни сам меня послал в артель: «Узнай обиняком, что такое *нова тематика.* Из артели парни шли и про каку-то «нову тематику» песню квакали».

Гуля это иамотал иа ус. Укараулнл Губу на улнце, учтнво здоровается н подает коробочку:

— Иван Егорович, это первый мой жнвопнсный опыт. Я пытался применнть новую тематику. Позвольте узнать ваше миенне.

Старнк впнлся глазами в рнсунок: звезда, краснофлотец, корабли с гербамн.

— Ты это сделал?

— Я,— отвечал Гуля.

— Коробка-то лучше тебя!

Гуля рассказал артельиым. Те смеялнсь:

— Иван Егоровнч уж век такой. Скупщнка, бывало, штукатурнт так, что — ах! Народ гогочет, Губа н на народ с веслом, с какой ин есть со снастью иалетнт... Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить — нн который не перетянет.

Губа после встречн с Гулей Большаковым прииялся за дело. Труднлся днем н ночью, благо летнне иочи на Севере светлы, как день. Выточнл большне деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом — мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звернным зубом.

Стал левкас, как янчиая скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертнл тоиким угольком н обводнл рнсунок черинльцем. В перо от журавлнных крыльев вдевал щепотку волоса от белнчьнх хвостов — готовил кнсти. Потом стнрал краски с яичиым желтком. Краску соберет в деревяниую ложку. Много ложек под левой рукой иа лавке лежнт. По надобью то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пншет по блюду. Рядкн серебряного кружева на бирюзе нзображали море. По морю золочеиые кораблики. Сверху как бы розовый венчнк из цветов — утреннне зорн. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льияным вареным маслом. Мастер хвалнлся:

— Гляди, жеиа, олнфа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешнне немудры. Багряиец нз-под иашей же горы. А через олнфу сколь онн румяны и светлы!

Жена, любуясь, говорнла:

— Гуля хоть по мелочам, а художный-то прнпас нз города прнвознт. Перед распутой синего кобеля прнвез и нутро марнинно.

Мастер усмехиулся:

— Кобальт н ультрамарин... Краски добрые, а стратит без толку. Которую краску мизинной кнсточкой задевать должио, они наплавом будут пущать, ворота красить. Не-

давно слышал, как онн об окраске полов лжесвндетельствуют: олифу с керосииом, дескать, превосходио... Я в обморок упал.

Старуха переводила разговор иа прнятиое:

— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады цветут на блюде.

— То-то! — соглашался Губа.— А разумеешь ли ты снлу н смысл письма?

— Очеиь даже явственио. Здесь красиое войско гоиит из нашего моря иноземиых хватов. Здесь морской парад пнсан: пушкн с иаших кораблей палят, зиамеиа трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто иа иебо залезла?

— Это Слава с трубой,— улыбался старнк.— Изображено «Пришествие Красиого флота на Север...». Надокучили мне птнчки да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.

Губа решил похвастаться перед артельными, особливо перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля сиова вызван в город. Сиова потемиел Иваи Егорович:

— Медали поехали лудить для своей канпании. Коиечно, все оии Птнциаиы и Ребрамты. Их посадят в Ермитаж на божиицу при освещеиии электрнчества. А позабытый художник Ваиька Губин пущай поет на мокрой мостовой: «Подайте мальчику иа хлеб, ои Велнзарня питает».

— Уж и мастер ты, Егорович, слезы выжимать,— всхлнпывает старуха.— Вылизарий-то кто?

— Оскорблениая иевиииость,— хмуро отвечал Губа.

Вскоре ему надоело жалобить самого себя:

— Председателя иет, щегольиу перед артельными.

Разбирало любопытство: что-то наготовнли для выставки.

Как-то утром усмотрел, что на улице иароду нет, увязал свои блюда, отправился.

— Куда, Иваи? — удивилась жеиа.— Артель-то вся небось на пристаии. Пароход пришел.

— Мели, Емеля... Будут они бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу... А ты, старуха, не звонн. Я тихомолком.

Чтобы люди не подумалн чего, Иваи прошел по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно иевзначай, юркиул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но виутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком и палкой.

— Ишь какое министерство! Запершись работают. «Без докладу не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незваный посетитель, а принимать извольте!

Из соседнего дома выглянула бабка:

— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежал, дрова грузить... Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмешь, антиресность какую-нибудь сработал?

Из дома напротив вылезла другая бабка:

— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки делает. Дай я пособлю, колом в простенок приударю...

Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку:

— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружье, старуха. На озеро уйду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь.

Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брел домой безрадостно.

— Ничего, товарищи артельные... Я вам улью щей на ложку. Сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать...

Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:

— Губа идет! Егорович идет!..

Кто-то крикнул:

— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!

— Какое такое собрание?

— Гуля Большаков из города доклад привез насчет артели. И наши и гусиновские тут.

«Ладно,— подумал Губа.— Осчастливлю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и вперед на три года...»

В обширном зале народу было — хоть по головам ступай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам, о том, какое видное место предоставлено Лебяжьей реке. Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел как колокольчик:

— Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личое приглашеие участвовать на выставке.

Иваи буркиул:

— Некому меня там зиать.

Гуля продолжал:

— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочиому комитету иесколько ваших работ. Из тех, что храиились в артели. Ваши изделия, Иваи Егорович, чрезвычайио поиравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, особую витриину или, если вы пожелаете оказать честь артели, то в качестве ее члеиа, среди ее экспонатов. Вы, коиечно, будете нашим украшением, Иваи Егорович.

Гуля спрыгиул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протяиул ему коиверт:

— Вот вам личное письмо от комитета, Иваи Егорович.

Тишииа стояла в зале. Сотии глаз гляделн иа Ивана. Иваи вдруг побагровел, сморщился, и... слезы обильным потоком хлыиули из его глаз. Из-за слез ие видя Гулю Большакова, старик иашарил его руками и обиял:

— Заботник ты мой, печальиик ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшеиие, это вы, молодые, великодушные, всемириое иаше украшеиие!

Повериул в сторону артельных мокрое от слез лицо.

— Артель, пиши меия в члеиы или хотя в ученики! Челом бью!

Не гуси-лебеди крыльями захлопали — артельные в ладоши загремели, закричали:

— Ииструктором будешь у иас, Иваи Егорович,— решеио и подписаио!

На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусииую Гору можио сказать, что если строил здесь артельиое дело столяр Федот Деревяииый, то увеичал Федотово строеиие кровлей комсомолец Вася Меиьшеиии.

На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последиее время одии Иван Щека умел разрисовать-расписать шкатулку-суидучок в здешием, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе ие темиела, не лиияла, ие смывалась.

— Тридцать лет столешиицу мочалками сдираю,— скажет деревеиская хозяйка,— а цветочки как сегодия расцвели. Щекиил Иваиа рукоделье!

Еще зимой Щека оповестил Федота:

— В навигацию, в корабельный приход буду дома!

Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков: края-каемочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:

— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.

Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:

— Пригодится нашему художнику.

Федот задумчиво покачивал головой:

— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?.. Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.

Иван Щека приехал к лету. Тут же, у морской пристани, узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Ивана Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — ни который не перевесит.

Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака.

О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое суток, обеспокоились: «Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.

Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился:

— Здрасьте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?

— Федот посек ногу топором.

— Умысел и хитрость... Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?.. Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы приклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.

Вася старался умягчить старика:

— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам наприпасали — на барже не утянуть.

Щека уставился на Васю ярым оком:

— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопьях? Вы и с Губиным нахально поступаете. Он дурачится по старости.

А в нашем мастерстве Ивашко Губин — личность неизбежная.

— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.

— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пущай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.

Унылой показалась Васе обратная дорога.

«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать: «Знать, мошну толсту набил, то и куражится». Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».

На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просил известить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.

Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.

Вася приехал, начал добрым порядком:

— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?

— В чулан меня положете или на чердак закинете? — горячился Щека.— Власти из города наедут: «Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» — «Под крыльцом,— отзовусь я,— заместо Шарика и Жучки лаю».

Вася не утерпел, рассмеялся.

— Ты смеяться? — загремел старик.— Ты посольство править послан или зубы скалить?

Рассердился и Вася:

— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.

— Я хозяина-мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ: еще недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет — палкой выгоню!

Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок: вдруг да обойдется стариковское сердце».

В деревне Вася сказал:

— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.

Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.

Дом и так содержался в порядке, но к приезду худож-

ннка прибрались, будто к праздиику. Ребята-ученики готовили встречу.

В воскресенье с раниего утра Вася караулил пароход, стоя иа высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок? Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дядюшка Иваи!» — побежали к пристаии. За иими поспевал Федот.

Иваи Щека стоял у самого берега. В руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачиой.

«Наделал я делов!» — подумал Вася, медлеиио спускаясь вииз к реке.

Сидя у моря, Щека ждал, что к иему приедут иа неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресеиье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый батог, старик сел иа пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу: «Ладно, приятели... Я вам ие иужен, так и вы мне ие иужиы. Вот я вас всех ужо...»

Показалась Гусиная Гора и пристаиь. Щека дивится: «Кого же это иарод встречает?.. Федот в красной шелковой рубахе... Девица с букетом, париишка с разрисоваиным листом. Ребята в два ряда.... Не иачальиик ли какой в каюте едет?.. Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меия глядят!»

Пароход бросил причалы. Артельиые ребята ие стерпели, иарушили ряды. Бегут к Иваиу да кричат:

— Дядюшка Иваи Акимович, с приездом!

— Дядюшка Иваи Акимович, с приездом!

Палка выпала из рук Иваиа, гремя, покатилась по палубе... Девочка сует Ивану букет. Мальчик звоиким голосом читает по листу:

— «Мы, ученики гусииовской артелн, приветствуем иашего художника...»

Иваи сгреб в охапку зараз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головеиках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.

Было иад чем радоваться Васе. Прнметив его, Щека сказал:

— Васеиька, пройдем-ка в каюту. Суидучок пособишь снять.

В пустой каюте Иваи спросил:

— Вася, ты им ничего ие говорил? Они ничего не зиают?

— Ннчего не говорнл, Иван Акимович. Они ничего не знают.

Старик поклонился Васе в ноги:

— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!

Щека ходил по своему дому:

— Занавесочки, цветы, чистота... Пол-то платком носовым продерн — платка не замараешь. А эта горница почто на замке?

— Тут твое именье,— объяснил Федот.— Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежнт нетронуто.

Иван зашумел:

— Эх вы, распоряднтели! Теснятся тут, а комиату замкиули. Выиести мое барахлишко наверх: я в светелке буду помещаться. Федот останется вннзу, а этот весь этаж под мастерскую.

Вася, лукаво прищурив глаз, шепнул Ивану:

— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.

Иван засмеялся:

— У тебя улнца грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метеи.

До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали — «с огня хватали»: выставка была не за горами.

Щека не попал и иа собранье, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, ие то что рассказывали, а в лицах представлялн и Губу и Гулю. Щека слушал, и у него сиялн глаза:

— Теперь Иван Егорович и меия не оттолкиет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем-ка завтра на Лебяжью.

В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдамн. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахиул:

— Небывалый гость идет! Раскатись моя поленница без дров!

Ои бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.

— Ванька,— сказал Губа,— сколько годов мы друг по друге тужили?!

— Ванька,— отвечал Щека,— пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.

Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медалн на сундучных мастеров. В октябре на выстав-

ке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил:

— Кто нас прежде знал да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.

Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули... Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.

Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устроении земли, о войне и тишине рассказать.

Иван Губа говорил:

— Краше теплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать, и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гурию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася... стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.

Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение... Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город... Хожу, смотрю, размышляю. И... почувствовал себя учеником.

Алексей Чапыгин

•

Насельница

Два дия, как моросил мелкий дождь — дороги ослизли. В полях стоял туман. Кричали вороиы. Лето кончалось, с полей ие возили сжатой ржи, ждали, когда обсохнут мокрые суслоиы, а кто из старательиых мужиков успел убрать сухую рожь, те уже пахали подзимки. У избы Василия Аксеиова, прозвищем Лапа, валялась перевернутая вверх ральииками соха, мокла и ржавела; у изгороди привалеиная, облепленная землей, серела бороиа с редкими поломаииыми зубьями. Поперек крыльца лежали брошенные грабли, а в сенях валялся хомут с веревочной супоиью, со сбитой иабок хомутииой.

Василий Лапа, веселый, прииаряжеииый, ходил по избе, гремел самовариой трубой, дул в самовар, тусклый, давно не чищеиный. Выиув из стениого шкапчика чайные чашки, расставил их иа столе. Две нарядиых бабы сидели у стола в ожидaиии чая и любопытио оглядывали неприбраииое жилище Лапы. Одиа, пожилая, в темном платье, говорила другой — круглолицей, часто хихикающей:

— Уж правда, Матреиушка! Лучше тебе этого жеииха не сыскать...

Василий, в красиой рубахе, в сииих штаиах иавыпуск поверх рыжих сапог, подошел и прибавил к словам бабы:

— Коиешио, правда! Весь тут, ни свекрови, ии свекра.— Он тряхиул длиииыми волосами с пробором и, пряча за спииой большие руки, пригнулся к молодой.

— Мие оио и ништо... хи-хи... Мама моя супротив Василья Аксеиыча, да соседки худо про иего бают...

— Эх, Матрена, Матреиа, как оно?

— Михайловиа изотчеством.

— Матрена Михайловна! Да нешто сосед соседа когда хвалит? Что говорят, знаю: «Жену в гроб забил, другая от худого житья сбежала... Ищет третью, чтоб хозяйство наладила». Это ли?

— То самое... хи...

— Ывороти душу! Правду скажу — первая баба попала дохлая, другая героем прельстилась: был Архангельский фронт, сама знаешь, красных понаехало, бабы, девки с ума будто сошли, потому идут за революцию люди... красноармейцы! спасители!

— Да чего тут! Матрене лучше тебя, Василий, искать нечего.

— Я што? я иду... мама вот как ужо?

— Ой, Михайловна! Тебе замуж, не маме идти... И кто иной возьмет? С красным военкомом ребенка прижила — бросил... Все знаю, не гнушусь, беру — потому сам не свят. А, вот он, самовар!

Василий поставил на стол самовар, заварил чай, принес на тарелке масленые колобки:

— Ешьте, пейте! чай настоящий, из города земляк достал. А тебе особо скажу, Матрена Михайловна: заприметил я тебя давно и письмо тебе составил... Не пойдешь ежели, то махну в чужую сторону, на озера сватать... Те девки пойдут — манит их наша сторона!

Пожилая, неискренно улыбнувшись, всплеснула руками:

— Ну, что ты, Василий свет, бери-ка наших! Чего озеруха смыслит? Да ей корову по-нашему не подоить. Не хозяйки они...

— Хи-хи! озеруха — старуха... Говорят: тамо, как девка родилась да чутку подросла, ее загоняют в воду рыбу ловить!..

— Тутошних бери, Василий!

— Вывороти их душу — тутошние, видишь, ломливы, а ежели на озерах девки кажутся старее наших, зато ядреные.

— Хи... дай-кось письмо-то!

Василий Лапа достал из кармана брюк потрепанную бумажку. Топыря рыжие усы и выставив правую ногу вперед, стал читать.

— Ты сядь, Аксеныч!

Василий не сел, а только спрятал свободную руку за спину и выпятил грудь:

— «Ты, Матренушка, цветок, посажу тя на шесток, буду часто поливать, красавицей называть! Тебя вижу я во сне —

зазиобила душу мне; ежли вижу наяву — то не зиаю, где живу: на земле или в раю, только песенки пою... Я куплю тебе наряд, приживу с тобой ребят! Будешь матерью-женой, не работай — песни пой...»

— Такие песенки я часто составляю, да еще на клиросе пою... Родитель мой был дьякои, а ие благословил на церковиые дела — грубый был человек; помирал, сказал: «Держись, сын, за землю — земля прокормит! Наше, поповское, ремесло худое». Мне же наплевать... Я прямой человек и правду скажу: не обожаю пахоты, не люблю хозяйства... Вот ежели с бабой, то это дело иное — бабы к земле плотны! Плотны бабы, выворотн их душу...

— Мне писано — давай письмо-то! хи-хи...

— Погодь, Матрена Михайловна, ранее ответствуй: идешь за меня или балуешь?

— Мама вот как?..

— Письмо сделаю на твое имя, и все прочее, я думаю, ежели когда в гости к тебе приду...

— Не ходи! Мама тебя не пустит в избу... ие любит она...

— Жаль, а с мамашей твоей можно бы поговорить, не понимает, что я за человек есть! Я вот тут в школе актером играл, даже учитель, он у нас коммунист — хвалит: «Ролю хорошо учишь!» Старики учителя того не обожают, молодежь — та с почтеньем, потому многих на путь жизни просветил... грамоте обучил. «Играй, говорит, толк выйдет!» А мие когда? Сам корову дою, хлеб пеку; вот колобки кушаете, а я сам их пек.

— Я слыхала, сказки ты, Василий, мастер сказывать. Ну-ка, потешь нас с Матреной-то... Письмо уж куда ласково, только читаешь громко и иескладно слушать.

— Хи-хи... баско писано, да ие мне — вишь, дать ие хочет.

— Писано тебе, Матреиа Михайловна! Не даю, зиачит — когда перепишу.

С улицы раздался стук палки в раму окна:

— На собраиие к десяцкому, эй!

Бабы встали.

— Двор не глядели да корову, а тебе вот идти надоть?

— Ништо, любезные, поспею! А то, может, вы ночуете?

— Ой, худое скажут про нас: с иочевкой — это, зиачит, шляются...

— Ну, так подьте, а я подожду!

Бабы прошли во двор. Посмотрели хлев, сарай. Потро-

гали вымя у коровы, пересчитали рубцы на рогах. Старшая сказала:

— Тринадцать рубежей — тринадцати телят, старая!

— А не пойду я за него, Мавра!

— Так, бабонька! Это не жених: ни пахать, ни косить — сказками сыт не будешь. Гляди, дождик, а ему лень соху в сарай занести — ржавит. Нешто это хозяин? Поповское дите!

— Хи-хи! а подговаривала: «Лучше жениха не найти!»

— Ты понимай — лишний раз чаю попить, да подарки, может, даст — он ведь шалой... чужое сорит: бабу с приданым в гроб забил, а другая избу поставила, корову завела... Не от сладостей от своего гнезда с солдатом сбегла...

— Вишь, он какой! хи...

— Пойдем-ко, ждет!

Василий Лапа шел с бабами по деревне, расспрашивал:

— Как, бабоньки, хозяйство?

— Ничего...

— Выворотн душу — корова у меня первая в деревне!

— Стара...

— Сам дою — доит хорошо!

— Прощай, Василий Аксеныч!

— Заходите!

— Хи-хи! Чего так-то?

— Зайдем. Ежели ночуем, то по плату подаришь?

— Чего угодно подарю! заходите.

— Эй, Аксенов! не стой на пороге — иди в избу, соседи ждут,— отворяя дверь в сени и слегка толкая Аксенова, сказал десятский.

В избе десятского подросток дочь выкладывала из лежаночного котла парёную солому скоту в ведра. Дым махорки в избе смешивался с запахом прелой соломы.

Грамотный мужик десятский, держа огрызок карандаша за ухом, цигарку в зубах, перебирал беспорядочный ворох распоряжений исполкома.

Василия Лапу встретили криками:

— Аксенова деревня ждет, а он все сватается!

— Пошто Аксенову бабу? Пускай землю отдаст деревне!

— Слушайте, суседи-и! — крикнул десятский.

Его спросили:
— Нешто ты всю эту бумагу честь нам будешь?
— Нет, пошто? Вот она, нонешняя! — Десятский прочел: — «Навозить дров в школу, разложить вывозку по-лошадно».
— Все, что ли?
— Все!
— В школу? Што ж, можно!
— Школа гожа, а вот, суседи, в церкву дров возить не станем!
— Прави-льно-о!
— У попов лошади есть — пущай сами-и!
— Да вот, Лапа навозит! Недавно в псаломщики просился-а...
— Я, граждане, вывороти душу, рубить не мастер!
— А баб сватать мастер?
— Бабу мне даже необходимо, потому корова, лошадь.
— Продай! Зря моришь скот.
— Землю запустошил!
— Без бабы, граждане, не обойтись, а ежели баба, то земли еще прибавить надо.
— Зря сватаешь — бабы тебя знают, не пойдут!..
— Я, граждане, удумал с озер привести невесту!
— Ту, ежели приведешь, — не забьешь: там девки — смотри — ядреные!
— Хо-хо-хо! изо всего лесу!
— Землю у Аксенова надо отобрать — от крестьянства в отцы духовные лезет!
— Мне чего лезть? вывороти душу! Батька у меня дьякон был — земля подо мной церковная!
— Пошто ему пахать? Ему сказки сказывать ладно!
— Бездельничает грамотой!
— Кому грамота в науку, Аксенову — на балагурство!
— Ежели в этот месяц не женится — землю отколотим, потому пришло поповские земли равнять под мужичий шест!
— Правильно-о!
— Я, граждане, завтра же иду на озера.
— Спеши, Аксенов! потому месяц — недолог срок.
Собрание разошлось, а Василий Лапа, подговорив дочь десятского смотреть за скотом, придя домой, стал налаживать пестерь и ружье для дороги на озера.

Василий, идя лесными тропами в сторону озер, стрелял рябчиков. В день дошел до первой избы на лесных наволоках, заночевал. Было холодно, и не хотелось рубить дрова.

На холодном полке дрожал под рядовкой пестрядинной, проношенной до заплат; ватный пиджак на нем тоже нахолонул и не грел тела.

Снились всю ночь бабы. Утром рано проснулся, закурил и, лениво разведя огонь, пил чай да рябчика варил в котелке. Поел, нагрелся и снова целый день шел: наволоки становились все у́же, а лес все выше и матерее. Далеко от тропы за рябчиками боялся уходить. День пался серый, моросило,— рябчики на манок не отзывались. Мокрые ветки елей мазали по лицу сыростью.

«А ну, как еще, выворoти душу, завтра паморока будет? Наработаешься над огнем...» — думал он и щупал за пазухой кусок кумачу и платки.

«На озерах ходят в тряпье. Кумачом, платками любую девку сманю: не пондравится — прогоню, да за другой, благо дорогу узнать!»

Наволоки кончились. Отсюда пойдет сплошной лес без дорог верст на тридцать. На последние наволоки редко ступает нога человеческая, а потому на них и избушка стоит столетняя, в землю вросла. Пока шел до этой избы Василий Лапа, по небу ветром раскидало облака, вызвездило, стало морозить.

«Еще беда! не нарубишь дров — промерзнешь до дна... черт!»

Развел огонь и долго, медленно рубил сушник. Спал топор, отлетел в сторону; с ругательствами нашел его за кустом, насадил снова и заклинил кое-как:

«Хватит на раз! выворoти душу...»

Прогрел избу, сварил суп из рябчиков, поел, лег на полок, запел божественное, подумал:

«Оно лучше на дорогу, а идтить, пожалуй, еще дня два?»

Наработавшись, уснул без снов.

С утра пошел сплошным лесом, и чем глубже уходил в лес, тем сумрачнее становилось на душе... Дали лесные мутнели, пугали далекой мглой — туманами в болотинах и выломками на косогорах. Звенели комары, приставала мошка, но Василию Лапе было не до того, чтоб обращать внимание на гнус...[1] В стороне, где шел он, пищали рябчики; он боялся выслеживать юркую птицу.

[1] Гнус — комар, муха, овод, мышь.

«Закружишься...»

Начал тихо напевать божественное.

«Так-то вернее...»

Тряс на широкой ладони компас, стрелка отчаянно крутилась, а ему казалось, когда останавливалась стрелка, что она неправильно показывает юг и север,— плюнул.

«Машина — дело мертвое, на божественное приналечь!»

Откуда-то появилось силы больше, чем он ее чувствовал,— пропала обычная лень, и Василий Лапа почти побежал вперед, спотыкаясь, падая и бормоча псалмы. Растерянно вскидывал глаза поверх сосен и елей на мелькающие клочки неба, жадно искал взглядом солнце, а солнца не было...

Вековой, не тронутый рукой человека лес стоял перед ним, он чувствовал себя в нем, как тот комар, который сидит у него на щеке...

Под ногами на много верст лежит мягкий, глубокий, рыже-зеленый мох, пахнущий багульником; от запаха приторно-едкого кружится голова. Когда мох пошел по колено, то Василию Лапе стало казаться, будто он погружается в глубокую воду, рыже-зеленую, заломленную сиреневыми столбами стволов сосен. Тишина. Только в голове у него звенит:

«Блудишь... блу-динь-динь...»

«Хоть бы желна! Хоть бы птичка какая чиликнула... Боязно...»

Когда он падал в мягкое, то без звука, и, вставая, шел в ту же тишину. Выбился из сил, остановился, перелезая валежину, и сел на нее. Сдернул с мокрых волос шапку, стащил ружье, дрожащими руками едва закурил и громко, чтоб нарушить тишину, сказал:

— Нечего тому богу молиться, который ежели не милует: пел псалмы, а заблудился!

Испугался своих слов и, вытянув шею, стал глядеть в синеющую даль:

— «Вот те ижица — заблудился! Куда теперь?»

Неожиданно соскочил в мягкое, в мох, и закричал:

— Эй! э-э-эй!

Схватил с валежины шапку, набросил ружье, ударив себя стволом по голове,— кинулся вперед.

Впереди, саженях в тридцати в стороне, увидал рослую девку в синем клетовнике-сарафане, в красном платке. Девка шла нагибаясь, брала не то ягоды, не то грибы.

— Эй, сватья!

Девка шла не оглядываясь, словно глухая, а Василий Лапа спешил за ней, но во мху утопали ноги, скоро идти не мог, а девка уходила.

— Што тя несет? выворотн душу! я добрый, эй!

Девка шла и шла, временами нагибалась, клала что-то в корзину, надетую на левой руке. Василий Лапа видел, что она как бы уменьшалась.

— Не догнать! стой! душу твою на левую сторону,— стой!

Стемнело. Нельзя стало идти дальше. Василий крепко выругался с отчаянья, подошел несколько — стал и недалеко увидел: блестит вода.

«Озеро?!»

Вода на озере была сине-черная, по воде плавали светло-серые комья снега. Лапа, вглядевшись в комья, понял:

«Лебеди! Дай пойду — убью».

Подошел к воде и не стал стрелять. Лебеди держались близко к середине озера, озеро было большое, усталость нашла на Василия Лапу. Рубить дерево у него не подымались руки. Развороти мох, залез в него, накрылся рядовкой и тут же уснул. Утром, отыскивая дрова, увидал за озером ряд лесных избушек, у избушек двигались люди.

«Ну, Вася! молись Егорью — дело твое высокое, не последний раз по лесу идешь...»

Развел огонь, вскипятил чаю. К его огню из-за озера пришли девки. Девки одеты в рваные пальтушки, сарафаны, в лаптях на босу ногу.

— Эй, сватьи! вывороти душу — вы тут пошто?

— Рыбу ловим да сушим!

— Откеда вы?

— А мы озерные!

— Пейте чай — хотите?

— Мы непривышны. Пойдем, коли хошь, к нам!

Этот день Василий Лапа кружил у озера. Хотелось ему убить лебедя, но лебеди по-прежнему держались, сбившись в кучу, и казались белым островом. Перед закатом выглянуло красное солнце,— молодые елки с тонкими верхушками загорались то тут, то там.

«Пора к сватьям!» — решил Василий Лапа.

Придя к девкам, он удивился: у одной из изб разбрасывала по рогоже мелкую рыбу высокая девка с темным, почти черным лицом от копоти. На ней был синий клетов-

ник-сарафаи, только иа голове вместо красиого платка трепыхался выцветший, бледио-голубой.

— Эй, сватья! выворoти твою душу,— пошто не подождала меия в лесу?

— Чого?

— Я по лесу шел сюда, а ты от меня уходила... Кричал — идет знай!

— Перестаиь, шальиой мужик, я иеделю рыбу ловлю и никуда ие ходила, врешь.

— Да как же я тебя видал?

— Лешевицу ты видал!

— Дай-кось топор-то, топить избу пора...

— Марeмьяна! Мужик есть, дров иарубит...— закричали девки.

— На топор! рубите без меня.

Василий Лапа роспоясался, сиял рядовку, стащил сапоги: за избой стучал топор, потрескивали щепки. Сидя иа пороге избы, Василий босиком, полураздетый, курил, спросил:

— Девки! иикак оиа сушииу валит?

— Сушииу, а што?

Лапа в испуге вскочил и крикиул:

— Сватья-а! Не свали сушииу иа избу — задавит.

— Сиди, зиай — леневой!

Защелкали сучья, затрещала столетняя сушина,— пала, вздрогнула земля. Пала рядом с избой, далеко протяиувшись мимо верхушкой. Девка нарубила чураков, иакolола смольливых дров, охапками перетаскала к избе:

— Разводи огонь! Давай чайник, воды зачерпиу.

Василий Лапа, посмеиваясь, готовыми дровами затопил камеику, сказал довольный:

— Значит, выворoти душу, чай пьем!

Разводя огоиь, пытал девок:

— Парии-то придут? Мужики или...

— Қаки еще парни?

— Да иешто вы одии здесь?

— Қого еще иадоть?

— Экое мне тут добро — едино что салтаиу турецкому!

Девки у огия сварили овсяиой похлебки, поели.

Высокая, с темным лицом, сказала:

— Ты, мужичок, взял бы головией да рядом избу прокурил!

— Вам места, што ли, мало,— мне хватит!

— Спи, коли ежели смириой!

— Я-то? я смирной!
— Мы и озорных не боимся, тебе как лучше!
— Со мной, сватьи, вам весело будет — я сказку скажу!
— Скажи!
— Ну, скорее, а то зауснем!
— Спите, ежели неохота слушать! Я иду к вам свататься... Наряд несу — во, глядите-ко! Во, вишь, какая пойдет со мной, той подарю...
— Поди-к ты,— он богатой!
— Выбирай кого? — идем!
— Леневой мужик! Дров и тех не хотел рубить...
— Нечего с ним вязать голову!
— Может, на кумач-от корову променял?
— Мое дело! придете места глядеть — увидите всё...
— Ха-ха-ха! Что с ним,— выбирай, коли сватаешь.
— Вон эту думаю, вашу коноводку,— не зря она мне в лесу примстилась!
Высокая промолчала.
Все поскидали лапти, сняли сарафаны — в одних рваных рубахах залезли на полок. Василий Лапа зажег длинную лучину.
Он видел, как высокая девка, не стыдясь, сняла верхнюю одежду до рубахи, короткой и грубой, легла среди других, а ему сказала:
— Отвори-ка, мужик, дверь, жарко!
Василий откинул дверь.
Тускло сияло за дверями озеро. У берега лежала полукруглая блестящая полоса, верхушки прибрежных елей мутно светились. За озером над лесом стояла темно-синяя туча, из-за нее чуть-чуть выглядывал крупный месяц.
Светом месяца, желтовато-бледным, была озарена кромка тучи,— вверх до самых звезд текли сетчатые лучи по опаловому небу.
— Эх, и хорошо же у вас тут! Хоть книгу чти, сиди...— проговорил Лапа покуривая.
— Кто не работает, шатается, как ты,— тому хорошо, а мы вот чуть утро в воду забредем да до ночи не вылезем, мошка лицо исколет до опухоли, так и думать некогда, хорошо в лесу или худо...
— Я за делом иду, говорю вам,— свататься пришел! — ответил Василий высокой девке.
Она промолчала, а остальные запели:

Старик по двору ходил!
Не с ума заговорил,—

Не дает отстряпаться,
Посылает свататься!

— Зубоскальте!

Высокая сказала вдруг:

— Счастливой! Он вот грамотной...

— Еще бы, я грамотной!

— А я вот слепая, безграмотная!

— Выходи за меня — выучу!

— Ужо посмекаю...

— Смекай поскорее!

— Сказку, сказку!

— Эх, диво дивное! Месяц из тучи вышел...

— Ты двери запри, мужик,— теперь выстудило...

Василий Лапа послушался строгого голоса высокой девки, запер дверь избы.

— Так сказку? Ну, чуйте! Был парень, посватался он — вывороти его душу,— как и я, на богатой девке, дочери кулака-мироеда... Посватался, а потом одумался: дошли слухи, что девка миляша имеет...

— Слухаем...

— Ну, сватьи, надо ему узнать правду, а как? Обрядился он нищим, пришел к кулаку, прикинулся богомольным,— а кулак богомольных любил,— выпросился ночевать; пустили. Пробрался он в горенку, где спала девка, невеста, спрятался за печь. Перед тем как идти спать, вот тоже, как и я, сказку рассказал: «Ежели, говорит, девка разденется нагишом да голову сунет в хомут, а ноги в гужи и заснет, вывороти душу, то во сне увидит все, что захочет!»

— Ври-ко больше?!

— И вот! Девка слыхала, как он энто сказывал. Стоит женин за печью, а ночь была светлая,— месяц пек, ну, как теперь...

— Чуем!

— Видит, девоньки, кто-то лезет к окну, а девка подскочила, открыла окошко. Залез в горенку молодец кудрявой, и ну они любоваться-целоваться! Потом девка ему и говорит: «У нас, говорит, прохожой ночует, сказывает — ежели голой раздеться да голову в хомут сунуть, а ноги в гужи, то во сне все, что захочешь, увидишь,— я без тебя жить не могу, так хочу во сне увидать тебя, когда уйдешь».

— Ладно дело...

— А вы слушайте! Разделась она, залезла в хомут, а хомут-то под лавкой был. «Помоги-ка, мне одной не залезть, вылезти я и одна вылезу!» Положил он ее на лавку

в хомуте и ну опять чудесить, а тот, выворотн душу, из-за печн возьмн да крнкнн: «Эй, хозяева! Дочку вашу волки съелн». Молодец кучерявой в окно, девка в хомуте мается, и, как на грех, луну в небе будто кто шапкой хлопнул — стало темно. Прибежал отец с матерью, отец грабонул рукой по лавке, нащупал дочь и крнчит с перепугу: «Матка! Тащи огонь, дочке волкн голову оторвали, одио, кажись, горло осталось!» Огонь прниесли, и прохожой из-за печки вылез. Осмотрели вместях девку, из хомута вынулн. «Ннчего, говорнт. Все у девки цело...» И пошел из избы, а отец с матерью ему денег суют: «Не разводи худой славы,— за девку, вншь ты, нынь сватаются!» Ушел жених-прохожой, а за деревней иа рассвете встретились ему иищие слепцы, спрашивают: «Скажн, богомолец, в каком тут доме нищих хорошо чествуют?» — «А тут, говорит, в крайнем, с крашеными угламн, у богатея... Только любит, когда придешь, дочку, которую волкн съели, поминать чтобы». Слепцы сделали, как им сказал жеиих, а богатей их в шею выгнал...

— Нескладиая!

— Зачнн другую!

— Ну, так слушайте, сватьи! Так было со мной: ходнл я к одиой бабе — молод, глуп был...

— Ты и теперь не оченно умеи!

— Не перебнвайте, душу вашу! Был у той бабы муж богомольиой, а баба была хитрущая... Пришел раз я к ней в гости, оиа водочки иа стол, грибков, а муж — что ему вздумалось — с дороги домой вериулся: вижу я, въехал во двор, потом слышу, в сенях дугу на гвоздь вешает, скоро в избу гряиет... Струхиул я — бедовой муж-то был у бабы. А баба иичего! Подскочила ко мне и иу с меия платье рвать. Раздела донага, посередке меия полотенцем опутала, чтобы, зиачит, стыд убрать, велела встать иа лавку, я даже головой да плечами образа закрыл. «Сложи, говорит, рукн крестом, глаза возведи к потолку!» Сделал, как учила, а муж в нзбу: «Это, жеиа, у тебя кто?» — «Да Нил Столбеиский, благодать, внишь, бог послал иам, ежели куда не уйдет в другое место...» Муж, смекаю, хоть и гляжу в потолок, распоясался, кииул топор под лавку, рукавицы на лавку, стал рукн мыть. «Дай-ко, говорит, жена, щец! Собери иа стол». Стол-то близко от меня стоял. Подала она ему щей. «Да что, говорнт, вывороти его душу, как нищему иалила? Налей большую чашку!» Налила. А щи жириые, калеиые. Сел, поглядел иа меия и говорит: «А что, жена,

первую чашку не дать ли святому? Уж больно горячи».— «Ой, что ты! Он постник, не ест скорому». Меня от его слов даже в жар кинуло. «Ест, не ест, говорит, его душу, но ежели объявился, то и кормить надо!» Да-а как хватит чашку со щами да как плеснет на меня, словно огнем. Я через стол махнул, и полотенце уронил, и в двери, а он, вывороти его душу, кричит: «Эй, святой, постой — в печи каша есть!»

Девки засмеялись:

— Ладно тебя почествовал!

— Святым оно и полагается!

— Вот ужо,— свертывая цигарку, сказал Василий Лапа,— раздеваться буду, покажу, как он мне брюхо накрасил...

— Нам чего глядеть!

Одна девка вынула из паза избушки мох, затыкавший длинную щель.

— Ты пошто? — спросил Василий.

— Двери Маремьянка не велит настежь держать — жарко.

Лучина погасла. Василий Лапа сидел в темноте, курил. В щель, открытую в стене, яркий месяц по нарам раскинул серебристую пелену.

Вглядываясь, видел Василий то голое колено, то руку обнаженную, то грудь выпуклая девичья круглилась. Он, докурив цигарку, поспешно разделся и полез на полок. Одна из девок толкнула его, он упал на горячую каменку, обжег бок. Залез с другой стороны и, осторожно привалившись, потрогал одну из девок за обнаженную грудь. Тяжелая ладонь, пахнущая рыбой, шлепнула его по лицу, голые ноги, руки толкали и били, он упал на пол, ударился головой о лавку. Поднялся в теплой темноте, пощупал нос, почувствовал — течет кровь, сказал:

— А что, сватьи, ежели я зачну вас за волосья имать? — Засопел злобно и громко.

На нарах приподнялась высокая девка, сказала:

— Говорила тебе — иди спать в избу рядом!

— Еще не хватало рубить да топить!

— Спи на полу — сюды не пустим!

— Черт!

— Вот шальной! сам себя мает...

Василий Лапа обтер кровь, сел на лавку, закурил.

Глаза его против воли блуждали по спящим — он видел: две девки с растрепаными волосами лежали поперек

нар, положив головы на грудь высокой девки, спавшей посредине нар. В сумраке ему чудился девичий бред, нежно зовущий кого-то... Умолкали губы, а Василию Лапе слышались поцелуи. Он плюнул и вышел из избы. Стоял на холодной земле босыми ногами, вернулся озябший, кинул на пол ватный пиджак, накрылся рядовкой. Уснул под утро.

Лапа долго проспал. Утром вышел из избы, глядел на озеро.

Девки, сбросив рубахи, обмотав плечи и груди обрывками неводов, забредя в воду, ловили рыбу броднем.

Растянув сеть полукругом, они держали ее, чуть видную из воды одной кромкой.

Самая молоденькая из них, совсем голая, загоняла рыбу в сеть батогом, а на дальнем конце бродня на озере стояла по голую грудь в воде высокая и кричала:

— Дашка, шихай ладом!

Василий Лапа курил, по привычке руки за спиной.

Когда полуголые девки пошли с броднем на берег, отвернулся и, разведя огонь, стал кипятить чайник.

Девки вытрясли из невода рыбу, отобрали крупную от мелкой. Он, не оглядываясь, слышал, как они за его спиной одевались.

Высокая подошла к огню, тронула Василия за плечи, сказала весело:

— Ну, сват! готов чай-то?

— Готов, сватья!

Все расселись, стали пить: кто чай, кто кипяток.

Василий роздал девкам по кусочку сахару. Иные не брали:

— Мы от соли отвыкли — не то что от сахарю!

Девки снова принялись ловить рыбу. Василий Лапа ушел в лес, но больше ходил около озера, поджидал лебедей, а лебеди, чувствуя врага, держались на широте, и если молодые отплывали от общей кучи, то старые их звали обратно гортанным шепотом и свистом.

Когда почернел лес, вода на озере стала ярко-синей, а по верхушкам деревьев от заката развесились кумачи, Лапа подумал:

«Надо подговорить какую...» — и побрел к избушкам.

Девки варили похлебку, иные в избе укладывались спать.

Он стал готовить чай. Высокая девка сидела на полке, поглядела на него, сказала:

— Ежели не шавишь, а женишься взаправду — пойду за тебя! Только, мужик, уговор ранее: твою поселицу огляжу; по душе — пойду, не по душе — верну домой, и меня больше не ищи!

Василий Лапа придвинулся ближе.

— Сватья! вот, скажу: я один, ни свекра тебе, ни свекрови. Грамоте обучу, обряжу!

Девка покачала головой:

— Дивлюсь я одному: экую даль шел, неужели своих девок мало?

— Наши девки жидки! Мне бабу надоть, чтоб ни согнуть, ни сломать...

Девки начали смеяться:

— Тебе, Маремьяна, в саму пору.

— Перетужна! тебя не согнешь!

Маремьяна снова покачала головой.

— Надоскучило, девоньки, в казачихах[1] маяться, бобылкой слыть, охота на свою землю плотно сесть.

— Да не видишь, что ли? Мужик-от худой!

— Врете, стервы! — крикнул Василий.

— Охота на земле хозяйкой быть...

— Так, так, сватья! Бери подарки, пойдем.

Василий полез в пестерь за кумачом.

— Нет... погоди, мужик! Покеда со стариком не сговорюсь — не приму подарков...

— С батькой, что ли?

— Батьки, матки нет... сирота я! С тем, у кого служу,— деньги забрала на наряды... Не спустит — отработать надо!

— Плюнь! выворoти душу — дай согласье, деньги ему отдадим после...

— Так, мужик, не делают. Отпустит — пойду, не отпустит — прощай! Потом ежели...

Еще ночь проспал Василий Лапа. Утром девки, забрав сушеную рыбу в кошели, унесли ее в деревню, а Василий ходил по лесу и не стрелял — все на тропу поглядывал и рано лег спать. Утром разбудил его голос Маремьяны:

— Эк, спишь, мужик, а я уже наработалась вволю!

— Пришла? Значит, сватья, почеломкаемся-а! — Василий полез к девке целоваться.

---

[1] **Казак, казачиха** — наемный (ая) работник (ца) (*северн., старинное*).

— Потом ужо! постой ты...
— Бери-ко подарки!
— А иу, как твоя посёлица мие ие подойдет? Уйду в обрат, а ты кумач-то пожалеешь...
— Да сладнмся-а!
— Тебе идти в Чериево?
— Выворотн душу! Туда, коиечно, иа Чернево...
— Бери свое — идем!
Приняв кумач, девка свернула его и бережно положнла в плетенный из береста короб, повертела в руках красный платок, сбросила свой рваный, повязала подарком голову...

Шли лесистыми холмами, с холмов опускалнсь в инзииы, брелн по мокрым мхам — вязлн по колено. Девка, подобрав высоко подолы, с коробом на плече шла бодро,— Васнлий Лапа устал.
Над низинамн в сумраке поднялся снзый дым, не то от росы, не то от лесного пожарища — пахло гарью. В дыму зажегся месяц, тусклый, пепельно-блеклый, будто бы вндный во сне.
— Выворотн их душу! Кто-то лес зажег,— сказал Васнлий.
— Поляны чнстят — чищенину жгут! — деловнто ответила девка.
В сумраке подошли к озеру. Васнлнй Лапа, морща лоб, сказал:
— Мнмо озера ие шел, не должно оно тут быть! — и заботлнво тряс на ладонн компас.
— Тебе на Чернево? Я и без твоей кругляшкн знаю — ндем туда ладно.
— Ой, сватья, не туда!
— Рубн-ко шалаш — спать надо!
— Устала?
— Ништо, прнвышна...
Она сняла с плеча короб, села иа пень, а Василий Лапа рубил развнлкн для шалаша.
— Завостри!
— Ннчего н так!
Он воткнул с трудом н неглубоко упорки внлачами вверх, положнл неуклюжую поперечину.
— Ай, мужик, не руками все делаешь!
— Делай сама!

Нарубив ельника для настила, он корзать не стал, бросил топор.

— Так проспим!

— Куда топор-от кинул?

— Там!

Девка нашла топор, вырубила новую поперечину, ровную и крепкую, положила на вилачи, окорзала жерди, расклала; перерубив их, закрыла шалаш хвоей и накидала в нутро сухой травы.

Работая, разгорелась, скинула кафтан, кофту, плат; повесила на пень. Сняла рубаху и, мутно желтеющая при луне, пошла к озеру мыться.

— На, сватья, мыло!

— Вот ладно, давай!

Сидел на пне у шалаша, курил, глядел на нее. Девка полоскалась в ночной воде, по ее телу, сверкая жемчугом, прыгали брызги. От воды шел пар, от ее тела тоже.

— Неужли, сватья, не озорко?

— Чого?

— Не студено тебе?

— Не... я привышна!

Она намылила руки, волосы, нырнула в озеро,— на дымчатой воде сверкнули вскинутые вверх бронзовые крепкие ноги.

— Ишь тя бес! вывороти душу.

У него защипало в волосах. Девка вынырнула, проплыла по озеру, вылезла на берег и, обмывшись, стоя на плотном месте, подошла, обтираясь рубахой. А когда полезла в рубаху, он, выплюнув цигарку, схватил ее в охапку.

— Сва-ть-юш-ка-а!

Прижал к себе скользкое тело, хотел поднять и не мог. Она, повернувшись, толкнула его. Василий отлетел в сторону, запнулся за валежину, упал и до крови прикусил губу. Вскочил злой, придушенно крикнул:

— Убью, дьявол!

Схватил топор. Злоба от стыда сделала его горячим и потным. Она раскинула руками, спокойно сказала:

— Есть надо! Разводи огонь.

Василий бросил топор, залез в шалаш и, свертывая цигарку, дрожащими губами прошептал себе:

— Едреная, черт... обстряпаю...

Девка надела кофту и кафтан, нарубила сушнинка, склала в клетку, надрала береста.

— Дай-кось огонь!

Лапа кинул ей спички.

Развела огонь, вынула из короба жестяной чайник, чашку, почерпнула воды, приладила к огню чайник.

Покурив, он перестал дрожать, спокойно и ласково сказал:

— На чаю!

Мысли толклись в голове у него назойливо.

«Ночью... ночью...»

Вылез из шалаша, сидел у огня на кокорине, опираясь рукой на острые пни срубленных им елей, курил.

Она пила чай, хрустя ела сухари, сказала:

— Ты што не ешь?

— Спать хочу!

— Вались, спи.

Василий кинул в шалаш ватный пиджак; лег не разуваясь, накрылся рядовкой, как всегда.

Девка убрала чайник, посушила у огня шерстяные чулки, башмаки вымыла, нарубила дров и, накидав их в огонь, легла в шалаш на юбку, накрылась кафтаном; придвинувшись к ней, он сказал глухо:

— Жмись ближе — теплее...

Она молча придвинулась, подоткнув под себя полы кафтана.

Он, сопя, как сонный, накинул на нее руку.

— Мужичок, сними руку!

— Эх, ты, ладная, нескладная!

— Не вяжись, баю, не твоя!

— Идешь — значит, моя!

— Не подойдет место — уйду!

— Не уйдешь! Обатаю! Прытка больно-о...

Огонь размашисто кидал пятна света. Из шалаша торчали ноги: одни в чулках, другие в сапогах, переплетаясь, цеплялись за горящие головешки и кочки. Потом мужские, в сапогах, размашисто распластались по земле. Василий Лапа лежал внизу — хрипел:

— Не дашься? — убью!

— Так ежли — иди один, не пойду я!

Девка крепко держала Василия Лапу за распяленные по земле руки, стояла на его груди коленом. Он минуту тяжело дышал, потом, изловчившись, подкинул ее на себе.

— Ага, душу твою!

Она ударилась головой в настил — шалаш упал.

— Пусти, сатана!

Василий Лапа вылез из-под шалаша и, лежа, потянулся

к топору, блестевшему в стороне лезвнем. Оиа схватила его за ногу, оттащила на прежиее место, но он вскочил, поймал топор:

— Похороню! Душу твою...

Девка поймала Василия за руку, спокойио уговаривала:

— Пошто ты лезешь? Неладиой, одумайся!

— Мое дело — пошто!

— Да што, я только за робеиком пошла с тобой? Годи ужо — подойдет место, и робят иаживем, ие подойдет — я вольиая...

— Не томи душу, сатана! Губу рассек — едреи я, а ты ие даешься...

Вывериулся. Сверкнул топор. Она поймала его руку с топором и тяжело, быстро суиулась иа него — от ее тяжести Василий упал навзничь, почувствовал: что-то острое воизилось ему в спину. Падая, подплел ей иогн, оиа всем телом грузио рухнула. В спине у Василия хрустиуло — как огием прожгло все тело, онемела спина н ноги, заиыли все кости, и весь ои иеожидаиио и быстро ослабел. Василий молча лежал, щелкали зубы — ои дрожал как в лихорадке. Соскользиув с острого пня, упал иа головешки и лишился сознаиия. Трещали усы н волосы иа голове.

Она грузно поднялась на ноги, оттащила его от горячих головией, выиула из огня оброненный им топор. Разрыла шалаш, достала свое платье и его тоже. Пиджак с рядовкой кииула ему, а сама легла у огия иа юбку. На лице ее не было злобы, но казалось, что оиа удивлеиа всем случившимся...

Утром с восходом солица пошли. У иего ныла онемевшая спнна, и иоги худо двигались. Василий не видел леса; в глазах мелькали белые, блестящие, светло- и темиозеленые стволы берез, вязов, елей. Ои чувствовал только, что его окружает какая-то зелеиая иеразбериха, пахиущая малииой, иногда багульииком. Слышал: воздух поверху звеиит птичьими голосами, по иизу трещит кузнечиками, а в лицо иесет пением комаров, только их укусов Лапа ие чувствовал — ему было душио, сжимало горло, болело виизу живота. Тошнота подымалась, и ему с каждым трудным шагом все больше казалось, что слышит и видит лес последиий раз,— ои боялся леса и ие любил его... Чувствовал, что по спине время от времеии сочится кровь. Потный, с

багровым лицом, часто останавливался. Девка, опередив его, поджидала и заботливо спрашивала:

— Устал? Дай пестерь-от, я понесу!

Бросил ей пестерь, глухо сказал:

— Выворотил душу! Становую жилу сорвала...

— Ну, што ты?

— Вишь, идти не могу — ног нет!

Ребятишки со всей деревни сбежались, пока Василий Лапа возился с ключом, отпирал избу. Те, что побольше, пели:

Лапе дело — наплевать!
В лес не хочет выезжать,
Только ездит до шестка,
Похлебает из горшка!

Василий крепко выругал малышей. Пока он возился с ключом, искал его в пазу избы, девка успела оглядеть избу. Входя, спросила:

— Лошадь-то есть?

— Есть!

— Ну, мужик! Лошадь своя, а дров ладных ни полена.

— Хламу много!

— Хлам не дрова!

В избе пахло кислым, кровать была неряшливо разворочена, закидана тряпьем. Во дворе мычала плохо кормленная корова. Василий лег на кровать не раздеваясь. Она затопила печь, подоила корову, принесла воды — поставила в чугунах к огню, нагретой водой напоила корову, взяла косу, сходила на задворки, накосила травы, дала корове.

Вымела избу, перемыла горшки, чашки, вычистила позеленевший самовар и горячими углями поставила его. Закипел, спросила:

— Где чай-от? Садись-ко чай пить!

Василий Лапа с трудом поднялся, заварил чай — почти не пил. И снова лег, закрылся одеялом, скрипел во сне зубами и бредил.

Когда пришли с заполька лошади — узнала его лошадь, завела во двор, но во дворе было навозно. Стемнело, а на сарае стучал топор, шумела солома — она стлала во двор подстилку, оглядывала хлевы. Нашла разбросанную в сенях куделю, принесла в избу, завернула в половик.

На другой день встала до света, подоила корову, выпустила на заполек вместе с лошадью. Василий Лапа не вста-

вал. Она с вечера отыскала муку, замесила квашню, вынула из своего короба сушеную рыбу, сварила уху, на грядах нарвала луку. Разбудила его пить чай, а пока он сидел за столом, вынула из печи хлебы — снесла в сени прохладить.

— Ладно все делаешь, выворотн душу, только хребтину вот мне сломала...

— Сам — не я...

— Вишь, осталась — лез за делом.

Не ответила, налила уху в чашку, очистила лук, хлеб принесла.

— Поешь-ко... отойдет.

— Конец мне! душу твою...

— Пойдем в поле — землю покажи.

— От земли я ладил отступаться.

— Отступись — тогда скотину и ту не дадут выпустить, землю держать надо.

— Я грамотной — в город ладил.

— Меня выучишь — хочу грамотной быть!

— Тут у нас учитель коммунист, он не то баб, старух учит, ежели кто хочет...

— Ой, а где он?

— Тут, в училище.

— Ин ладно, теперь в поле.

Василий не чувствовал ног, но упрямо взял палку. Маремьяна поддерживала его — с трудом волокся, показывая ей полосы и межи.

Она говорила:

— Коню маета! В такую землю соха не пойдет — запустошил.

— К черту! Тошно мне.

— Здеся отпахано сохи на три — надоть померщика взять, отколотить твое.

— С миром грешить — ну их!

— А, нет! Я своего не спущу.

Василий не мог больше ходить, висел на ней, сказал:

— У меня вся спина в крови...

— В больницу надоть...

— Не хочу в больницу!

Дома лежал, стонал. Она сидела, пряла куделю — там же, в сенях, нашла прялку и веретено.

— Ты што, мужичок?

— Избы не вижу... память теряю — сломала всего...

— Завтра пойдем в исполком, запишемся... Нехорошо

бять, помрешь; приемка взять надо — без мужика хозяйство худое: дровни наладить, косу выточить — и то некому...

— Навороти душу! Кабы знал, что найду на озерах, не пошел бы...

— Ужо отлежишься.

— Не могу в исполком! Живи так...

— Не можешь идти — снесу!

Одела его и повела.

— К попу надо бы, да вишь, ног у меня нет!

— Не надо попа! по-новому ладнее — крепче.

Он не мог подняться на крыльцо, взяла его на руки, внесла в избу. Василий сказал:

— Крепок я был — носил других, теперь сделала тряпичным, носи!

Она ушла из избы, долго не была, вернулась радостная:

— Ладный у вас учитель! — подошла к кровати.— Учить меня будет... Завтра зачну. Ой, вот-то радость! Неужели буду грамотной? Свет увижу! Твою поселицу наладить надо. Корова старая! — подработать денег — с придачей промен ей сделать, на молодую... Овец, вишь, нет! — ну, овцы будут. А за курицу зовут избу мыть, и курица будет...

— Ну тебя! Задорно слушать — помру я...

Она замолчала. Василий Лапа глядел на ее темное крупное лицо, на сильную фигуру в темном сарафане, с красным платком на голове; от злости и жалости к себе — плакал. Видел, как она сбросила с головы плат на лавку, по плечам хлынули густые светлые волосы. Расчесывая волосы, Маремьяна сказала:

— Сойди-ко, муж, надо кровать наладить.

Он, стоная, начал подыматься, она взяла его за голову и за ноги, перенесла на лавку. Его тошнило, рябило в глазах, и потолок кружился.

— Эк я, шальная, давнула тебя!

Он как бы задумался, потом сказал:

— Навороти мою душу — сам! Сам лез, правда твоя...

Она вытрясла одеяло на крыльце, перебрала постель, поправила подушки, перенесла его и стала раздевать.

— Поверни на спину!

Повернула, стараясь бережно касаться его тела. Тяжелая и широкая, легла рядом.

— Вот, вишь, дождался меня!

В ответ он застонал, потом неожиданно начал ругаться

и все проклниать, начниая с бога. Маремьяна молча слушала. Он, кончнв ругаться, как бы впал в забытье, потом прохрнпел:

— Рожу сожгла... Спииу сломала — неужлн ты смерть моя?

Она поцеловала его, стала гладить тяжелой шершавой рукой по волосам, по лнцу.

— Сорвет меня, глядн!

— Ты много зря на баб зарнлся, мнлой... Боялся, што лн, што куда от бабы денешься? От бабы, мужнчок, никуда не уйдешь!

— На тот свет уйду!

— А я так мекаю — нет его, того-то света?.. О нем только попы врут...

— Чую — помру!

— Помрешь? Знать, так надоть: вешнний снежок идет потому, чтобы зимний, матерой, с землн слизать. Уйдешь, я тут сяду, как по-досельному говорят: «насельиицей», хозяйкой села вековешной.

— Ты рада, сволочь!

— Ни рада, ни печалуюсь...

Василнй Лапа со стоном повериулся, схватнл жеиу в охапку, впился ей в тугую грудь зубамн, она ие отталкивала его, обняла плотно н подумала:

«Вндно, худо ему? Не хочет, а в больницу, што ль, надо? Ишь, холодной какой мужичок, н ноги синне сталн!»

1924

Александр Перегудов

•

Половодье

1

Весна в этом году запоздала. Только в конце апреля стихли метели и густо засинело небо. Неделю назад луга были полны снега. Алда Шумбасова со станции до отцовской пасеки ехала на санях, теперь же вода залила ольховый лес, расплеснулась озером до пологих бурых холмов, которые днем похожи на рыхлые и теплые груди кормилицы-земли, а ночью — на холодные и жуткие курганы. В том месте, где летом зеленеют сытые луга, и на полянах в ольховнике отец ставил жохи и сети, ловил рыбу.

В половодье все необычно: рыба ходит по лесу, зайцы собираются на островках и их можно ловить руками, люди плавают по лугам на челнах, и по воде малейший звук бежит далеко и гулко.

Вечером девушка уплывала на челне к холмам и в кустах ивняка мечтала о будущей жизни. Будущая жизнь казалась широкой, вольной и необыкновенной, как половодье. Этой весной Алда окончила семилетку, и после экзаменов учительница Мария Сергеевна сказала:

— Не бросай незаконченного дела. Ты способная... Иди в техникум, мы достанем тебе командировку.

Она, мордовская девушка, дочь мужика, получит командировку, будет в техникуме, потом — в высшем учебном заведении и, может быть, через несколько лет вернется в родные места врачом или агрономом.

Еще Мария Сергеевна сказала:

— Весной приезжай ко мне, будешь жить в городе, работать на детской площадке, готовиться к экзаменам.

Дома, узнав, что дочь хочет уехать в город, отец нахмурился, а мать сердито заговорила:

— Полоумная... что выдумала?! Замуж выходить надо, отцу помощника иадо... Вон Югор с осени ходит — нди за него.

И чужими, суровыми кажутся теперь родители. Какими словами рассказать им, что накопилось в сердце, как убедить их, что всю свою жнзиь она должна отдать мордовскому народу, прннести получеииые зиания в глухие деревии и упорно, терпеливым каменщиком, перестраивать старый, векамн сложнвшийся быт?

Сегодия вечером отец долго шептался с матерью, потом сказал, отвернувшнсь и сурово глядя иа косяк двери:

— Пойду иа село, там иочую, а завтра привезу Югора.

И когда Алда спросила: «Зачем?» — мать сердито и громко заговорила, упрекая дочь в непослушанин, в том, что она ие носит поигст[1], и в том, что полоумная девчонка хочет ехать в город. Потом проговорила важио:

— Югор работает секретарем в сельсовете... Это поинимать надо... Налоги, ссуды — он все может, своих в обиду ие даст!

В этот вечер девушка долго сндела иа челне в кустах ивияка. Померк закат, вспыхиули звезды, и отражеиия звезд зелеиыми светлячками шевелились иа воде. Широкой леитой протяиулся в иебе тумаииый Млечиый Путь. «Мации ки» — Гусиіая дорога — зовет его отец. Великий Шкай, бог неба, так густо посеял звезды, чтобы гуси, пролетая весиами с юга иа север и осеиями с севера иа юг, ие сбнвалнсь с дороги. Вот почему гуси и всякая перелетиая птица летят ночами.

С иеба, от земли и воды плывут звуки и запахи: шелестят ветви кустов, иад головой, свистя крыльями, пролетают утки, по воде от села бегут голоса людей; пахнет иабухающими почками, свежестью половодья, землей. Справа изза холма, распоров землю тонкнм кривым ножом, вылезал багряный месяц.

Завтра отец привезет Югора. Как встретиться с ним, что сказать ему? Югор — эрзяиин, прншел в село из чужих мест. Ои не похож иа местных мокшаиских парией: светловолос, скромеи, молчалив. С иим хорошо было ходить в перелесках и слушать, как тихоиько поет он смешиую песеику:

Эрзянь полюнесь бояраванесь
Апак штак естеньца акша шаманес[2].

[1] Длинные шаровары.
[2] Эрзяньская девушка мылом не умывается, но всегда белая.

Прошлым летом, когда девушка уезжала в город, он проводил ее до станцни, прощаясь, сказал:

— Я буду ждать тебя. Ты приедешь, и тогда...

Он не договорил, но Алда поняла, что он хотел сказать. В прошлом лете были золотые дни, веселая беспечиость, родная семья, и все тогда казалось спокойным и радостиым: вот окончит семилетку, выйдет замуж за Югора, и жизнь пойдет тихими годами одиообразно и неторопко, как странник по огромиому мягкому полю. Разве только веснами половодье растревожит сердце, будет манить иезиакомым и далеким. А теперь?..

Алда встает, гонит челн по усиувшей воде. Шест на маленькие кусочки раскалывает месячную дорожку. Впереди выплывает темный берег, неуклюжие силуэты ольховника н под нимн изба.

2

Утром мать пекла блины, жарила рыбу; двигаясь по избе, говорила, как она и отец тосковали в одиночестве, как нетерпеливо они ждали весны и дочери и как им будет хорошо жить вчетвером. У Алды родится ребенок, мать будет ходить за ним, отец и Югор займутся охотой и пчелами. Зачем уезжать в город? В городе много затерялось мордовских девушек, город чужой и неласковый, и чужие, неласковые живут в нем людн.

В черных глазах матери, в тихом ее говоре были беспокойство и нежность.

Девушка сидела на лавке у окна. За окном, за бугром, опушенным молодой зеленью, разливалось половодье. За разливом, в туманно-синем мареве, лежалн тихие поля, и белесыми столбами поднимались иад селом утренние дымы. Алда первая заметила, как из-за островка выплыл челн. На челне стояли двое, упираясь шестами, наклонялись и выпрямлялись, будто кланялись кому-то легко и радостно.

Девушка вышла из избы и торопливо, боясь, что ее заметят, убежала на пасеку. Была пора цветения вербы, пчелы спешили наполнить душистым медом свежие соты. У плетня плакала раненая березка — крупиыми каплями стекал из раны светлый березовый сок. За плетнем, на скворечнике и на крыше сарая, пересвистывались скворцы.

Гулко закричал отец «го-оп», стукнули о челн шесты, и, что-то говоря, двое прошли в избу. У Алды тревожио за-

билось сердце: вот сейчас мать придет иа пасеку, уведет ее к гостю. Отец начнет поить Югора водкой и брагой, заговорнт, лукаво подмигивая, о дочери, а захмелев, они начнут хлопать друг друга по плечу, и пареиь будет смотреть на девушку, как иа будущую свою жеиу, как хозяин на новую лошадь, внимательно и бесстыдно. Оиа ие заметила, как подошел Югор.

— Что одна сндишь?

Девушка вздрогиула, настороженный ее взгляд быстро охватил голубую рубаху парня, подпоясанную тонкнм ремешком, иовые его лапти и белые оиучи, оплетениые лычками. Желтые, словно расчесаниая мочала, волосы пушились иа голове Югора. Приглаживая их рукой и смущенио улыбаясь, ои говорил:

— Ну, здравствуй... Ишь ты какая стала.

Алда молча продолжала смотреть на него. Робкая его улыбка ободрила ее — вот сейчас сказать ему, что напрасио ои пришел, что оиа ие выйдет за него, уедет учиться.

Из сеней закричали:

— Алда, иди сюда! Югор приехал...

У калитки девушка остаиовилась, шепнула:

— Югор, ты ие верь отцу... Зря все это... Ничего ие выйдет. Я потом расскажу тебе все...

Ои посмотрел на нее растеряино, что-то хотел спросить, ио она, ие слушая, убежала в нзбу.

На столе стояли бутылка водки и большой, оплетенный берестой кувшнн медовой браги. Отец и Югор сели за стол. Мать подала стопку блинов, рыбу и отошла в сторону, к дочери. Старик налил в чашку водки, кивнул головой Югору: «Здравствуй» — и залпом выпил. Потом поднес гостю. Парень тоже кивнул головой: «Здравствуй». Так онн пили по очереди и говорили «здравствуй», пока не опустела бутылка. Блины и рыбу брали руками и клали возле себя на стол. В лохматой бороде отца запутались кости. Лнцо Югора покрасиело, губы размякли, он пьяно улыбался девушке, кивал ей. Отец, перехватывая взгляды париа, подмигивал дочери:

— Гляди, парень-то какой! С ним не пропадешь. Проживете во как! Чего вам иадо? Пчелы — есть, корова — есть, овцы — есть... Все ваше. Чего вам надо?

Чаще наклонялся иад чашкой кувшин, ииже склонялись над столом пьяные головы. Не слушая друг друга, говорили тороплнво и мутио.

Алде вспомиились школа, подруги, ииая жизнь, где

каждый день приносит новое, где с каждым днем светлее и шире дороги в будущее. И сейчас ей противно и больно было видеть грязную избу, разлитую на столе брагу, куски блинов. Нет, она не останется здесь, она вырвется из этой жизни.

Отец грохнул кулаком об стол:

— Так и будет!.. Как я сказал, так и будет! А уж я устрою свадьбу — долго мордва не забудет... Алда, ну-ка иди сюда, говори: согласна за Югора замуж?

У Алды дрогнули губы. Вот сейчас произойдет что-то дикое, страшное. Нужно сказать отцу, что он не смеет так поступать, что она сама лучше его знает, как надо жить.

Девушка быстро подошла к окну, но, испугавшись сурово-пьяного взгляда старика, сказала тихо:

— Не надо, алей[1], не делай этого.

И беспомощно оглянулась на мать. Старуха сидела, опустив голову, и что-то про себя шептала. Лицо старика побагровело. Тяжело опираясь на стол, он начал медленно подниматься с лавки. И тогда мать подбежала к нему:

— Что ты... Что ты... Не надо. Ложись лучше, отдохни. Югор, иди с ней. Ты ей сам скажешь. Вы уж там сами, как знаете...

Она цеплялась слабыми руками за плечи старика, уговаривала:

— Ложись спать, после... после покончите...

— Что? Я вам!.. Вы у меня!

Пошатнувшись, отец ухватился за стол, бутылка упала на пол, разбилась.

За порогом сеней день был налит золотым и синим. В золотом и синем над водой тихо летали чибисы. Где-то за ольховником бродили коровы, было слышно, как звякали их колокольцы.

Югор шел за девушкой, бормоча:

— Я знаю: ты в городе другого нашла... А помнишь, что говорила...

Он обнял ее за плечи и, обдавая запахом водки, хотел поцеловать.

— Оставь... Нехорошо... Мать увидит... Оставь же!

И отшатнулась от пьяного.

— Алда! — погрозил тот рукой.— Я все знаю...

— Как тебе не стыдно! И ты такой же... А еще говорил — не пьешь.

---

[1] Отец.

— Подожди...— Югор сел на берегу.— Давай поговорим...

Девушка, не оглядываясь, пошла к пасеке, ей хотелось убежать от Югора, от отца, от всей этой жизни, и в то же время она чувствовала — убежать нельзя: отец, как пойманную рыбу, держит ее в крепких сетях, и нет сил разорвать эти сети.

3

Весь день Алда просидела на бугре, над половодьем. От села по воде плыли далекие песни, и вместе с ними плыли думы о родном мордовском народе, вспоминались рассказы деда, наивные и простые, как сказки: о богах ветра, грома, воды, солнца; о том, как молились им в священных рощах, приносили жертвы. Боги, как люди, рождались, умирали, ссорились друг с другом. Жизнь богов можно было наблюдать по ненастным и солнечным дням, по грозам и вихрям. Как темно и дико в то время жила мордва! Христианство, занесенное русскими, перепутав богов, не улучшило жизни. По-старому грохотал в небе бог грома, но назывался он уже не Пуринге-пасом, а Ильей-пророком... Иван Креститель слился с богом тепла и света — Нишки-пасом... Георгий Победоносец — со Свет-Верешки-Велен-пасом, богом земли и трав. Дед боялся русских, жил бедно, и единственным его желанием было обогатить свою жизнь не здесь, а на небе. Он подробно рассказывал о загробной жизни, будто сам побывал на том свете. Девушка помнит: когда умерла бабка, дед сунул в гроб покойной денег — купить земли на небе, и дубинку — отгонять собак при переходе на тот свет. Над могилой старик сказал бабке: «Я положил тебе денег, сделай на них все, что захочешь; хорошо бы купить земли, а может быть, пойдешь на беседы, на крестины, на свадьбу — поворожи за нас». Дед боялся новшеств, жил по-зверному, осторожно и замкнуто, в старой избе, глухой стеной выходившей на улицу, а окнами во двор. Когда отец, перестраивая избу, прорубил на улицу окно, старик долго сердился и никогда не подходил к этому окну. Год за годом текло время, отец далеко ушел от старого: в мордовское окно вылетели боги, с улицы в мордовское окно пришла первая газета. Должно быть, отец понял: чем больше в избе окон, тем лучше жизнь. Перебравшись на пасеку, он построил

избу с тремя окнами на лицевой стороне и одним сбоку. Он понял также: для того чтобы жить богаче, недостаточно одного упорного труда, что газеты и книги, изба-читальня и агропункт учат работать по-иному и обогащают жизнь. Над ним смеялись, когда он отдал в школу дочь, но он делал свое дело. Он строил новую жизнь расчетливо, и сейчас диким и бессмысленным кажется ему желание дочери уйти в город и чему-то еще учиться и помогать не ему, а всему народу. Что может сделать для народа полоумная девчонка?

От напряженных дум жарко горело лицо Алды. Она наклонилась над водой, черные ее косы падали в воду, и со дна, поросшего жухлой травой, строго смотрело на нее смуглое, чуть-чуть скуластое девичье лицо, с упрямо сомкнутыми губами; к ее косам тянулись со дна другие косы, и чудились здесь две девушки — одна на берегу, другая под водой. Когда Алда шевелила косами — девушка под водой пугалась таких всплесков, исчезала, а потом снова подплывала и снова смотрела своими черными, широко раскрытыми глазами.

Отец проснулся под вечер; было слышно, как он умывался в сенях, стучал деревянным ковшом о кадушку. Алда знала, что у отца с похмелья всегда болит голова и в похмельные часы бывает он раздражителен и зол. Ей не хотелось сейчас говорить с ним, но мать высунулась в окно, позвала:

— Иди сюда!

Старик сидел у стола, пил брагу. Дрожащей рукой он подносил ковш к губам, потом обсасывал усы и шумно икал. Когда вошла дочь, старик отставил ковш.

— Ты что это делаешь?

Не дождавшись ответа, тяжело поднялся с лавки и, подойдя к девушке, корявыми пальцами больно стиснул ей плечо.

— Я из тебя выбью дурь!

Лицо старика потемнело, пальцы вцепились в косы. Алда вскрикнула от неожиданности и боли:

— Ты не смеешь меня бить! Не смеешь!

— Не смею?— ближе пододвинулись мутные, налившиеся злобой глаза, и звонкая пощечина обожгла ее щеку. Качнулись стены, дрогнул за окном ольховый перелесок.

Мать закричала:

— Не бей! Югор идет!.. Вон Югор идет!

И снова тяжелым камнем упал в лицо удар кулака.

Вырываясь, Алда хотела укусить вцепившуюся в косу руку, ио кто-то схватил ее за плечи, кто-то крикиул: «Так иельзя!» — и, поддерживая, вывел из нзбы. Закрыв лицо руками, девушка старалась удержать рыдаиия и теплые слезы, просачивающиеся между пальцами. Оиа не помиила, как дошла до берега, как села в челн н выплыла на серединy разлива. И только у кустов ивияка заметила, что ее ладоии н белая кофточка покрыты пятнамн крови. Оглянувшнсь, увндела, как за ней, быстро толкая челн, плыл Югор, на берегу иедвнжимо стояли вербы, и ольховый перелесок был прозрачеи н тнх.

Ловко работая шестом, Югор поставнл свой чели рядом н перешагнул к ней. Ои обиял девушку и, черпая пригоршией воду, иачал смывать кровь с ее лнца. Ему казалось, что теперь Алда инкуда ие уйдет от него: она поияла, что он, Югор, едннетвеииый ее защитиик; ои уже ие сомневался в том, что в этот вечер оиа будет покорной н ласковой и здесь, в челне, сделается его женой. Крепко прижимая к себе девушку, парень смотрел за ворот ее кофточки и жадно вдыхал теплый запах ее тела. Волиуясь, он тихо заговорил:

— Трудно тебе жнть... Уйти надо. Пойдем ко мне. Я тебя в обнду ие дам. Хочешь — сейчас уплывем в село, хочешь?

Она посмотрела иа него иепоиимающим взглядом, будто проснулась, потом зябко передериула плечами и прикрыла ладоиью грудь.

— Нет, нет, Югор, не надо... Ничего не будет. Я не хочу! Я уеду...

Тяжело дыша, ои спросил:

— Зачем тебе в город?

— Я буду учиться, меня посылают в техиикум. Я хочу жить не так, как живут здесь.

— Никуда ты ие уедешь. Тебе н здесь хорошо будет. Помнишь, как мы гуляли в прошлом году?.. Ты не бойся, иичего не бойся... Пусти руку...

— Югор, не смей!

Оиа ие успела договорить — сильиым толчком парень бросил ее иа дио челиа и, тяжело навалившись, дышал ей в лицо:

— Не бойся... Никто не увидит...

Она боролась молча, иапрягая все силы. Челн заколебался, тихими всплескамн зашумела вода в кустах. Далеко за камышами бухнул выстрел, пролетела стайка уток, чер-

ными четками рассыпалась на красном небе и пропала. Югор не слышал ни выстрела, ни всплесков воды, и ничего не видел он, кроме желанного лица девушки, на котором черными звездами вспыхивали и меркли большие испуганные глаза. Он почувствовал, что она ослабевает, ее губы полуоткрылись, брови скорбно сошлись на переносице.

— Не бойся, я тебя не брошу... Зачем тебе ехать в техникум?

— Нет! — вскрикнула девушка и снова забилась, отталкивая его руки.

От резкого толчка челн зачерпнул бортом воду и вдруг опрокинулся. Цепляясь за ветки кустов, Югор увидел, как Алда сильными взмахами рук подплыла к другому челну и влезла в него. Мокрая кофточка плотно прилипла к ее телу. С кос падали темные капли. Она молча взмахнула шестом — и челн юркнул за кусты.

Югор перевернул опрокинутый челн, долго сидел на нем, не чувствуя холода, потом медленно поплыл к пасеке.

4

Ночью была гроза. В оконце сеней было видно, как молнии раскалывали небо, и тогда на мгновение из туманной мглы вымахивали в голубом нестерпимом свете крыша сеновала, край ольхового перелеска, черная вода половодья. Казалось, не только в небе, но и в широком разливе воды чугунной пеной вскипают громы и вода перестреливается с небом сверкающими стрелами. В порывах ветра налетал дождь, будто кто-то, озоруя, поливал из огромной лейки крышу.

В эту ночь Югору не спалось. Он лежал с открытыми глазами, прислушивался к раскатам грома и напряженно думал. В воспаленном мозгу мелькали картины пережитых последних дней: встречи с Алдой, гулянка с ее отцом, сцена на лодке, протрезвление. И чем больше думал Югор, тем безобразнее казалось собственное его поведение. Внутри что-то вспыхивало и пламенем жгучего стыда охватывало сначала лицо и голову, а потом все тело. Он чувствовал, как горели щеки, уши и даже пальцы рук и ног, а в мозгу с болью чеканилось безответное:

«За что оскорбил Алду? Зачем оттолкнул от себя... навсегда, навеки?!»

Несколько раз он порывался встать, пойти к Алде и про-

сить у нее прощения. Но он знал, что Алда гордая девушка: она не простит, уедет в город, будет там учиться и всегда будет со злом вспоминать о нем.

Порой Югору казалось, что он побывал у Алды, сумел вымолить у нее прощение, и она по-прежнему проста и ласкова с ним. В ночной темноте мутно-серое оконце казалось лицом девушки, и Югору чудился ее печально-ласковый шепот. Его мускулы напрягались, он стремительно приподнимался на локте и, тяжело дыша, тянулся к оконцу. Но вспыхивала молния, и лицо Алды пропадало. Гремел гром. Югор обессиленно валился на подстилку. Мысли о девушке обрывались, и Югор думал уже о другом. Он думал о глухой мордовской деревне, о дремучих лесах, болотах и топях, сквозь которые только теперь стали пробиваться лучи света. Смутно чувствовал Югор, что деревня потянулась к иной жизни. Но он еще не знал путей к этой жизни. Понимал, что много сил заложено в народе. Надо быть решительным и смелым, чтобы пробудить эти силы и повести деревню по новому пути. Алда, должно быть, знает эти пути. А он еще не знает...

Югор вспомнил, как несколько лет назад он пас коров, а потом крестьяне наняли другого пастуха, молодого и скромного парня. Утрами, вызывая скотину, этот пастух играл не на рожке, а на скрипке, а в жаркие дни, когда коровы лениво дремали, он что-то писал в тетрадях и читал книги. Он научил Югора читать и писать, а спустя три года к ним в деревню приехал новый агроном, и Югор узнал в нем пастуха, что скрипкой созывал коров. Только теперь рассказал он, что вышел из бедной крестьянской семьи, зимой учился, а летом — чернорабочим, пастухом, лесорубом — зарабатывал деньги, чтобы учиться дальше. Вот таким решительным и смелым нужно быть, чтобы по-новому строить жизнь.

Югор чувствовал, что у Алды и у того студента есть что-то общее: у обоих есть это упорное стремление идти вперед. Но ей труднее выбраться на дорогу, порвать с семьей; ей нужна посторонняя помощь. И другие мысли приходили в голову, затемняя сознание: Алда не похожа на деревенских девушек, она умнее, красивее их, и какой хорошей женой она могла бы быть! Разве нельзя по-иному помогать деревне? Вот он, Югор, не учился в школе, а работает секретарем в сельсовете, его уважают крестьяне, он устроил избу-читальню, уговорил шесть бедняцких семейств организовать коллективное хозяйство, и сейчас они живут луч-

ше других. Разве нельзя вот так, работая в деревие, помогать иароду?

Гроза проходила, реже рассыпались по земле удары грома, спокойнее сверкали молиии.

Югор подиялся с постели и вышел из сеией.

На западе, иад половодьем, омытое грозой, лежало чистое с мерцающими звездами иебо. На востоке громоздились тучи. Они медлеиио проваливались за край земли и глухо гудели, высекая голубые искры. Дремали изба, пасека, и только иеугомоиные журчали ручейки. Югор знал, что Алда спит в сарае, и уже хотел пойти к ией, как вдруг дверь сарая тихо скрипиула, и, осторожно ступая босыми иогами, вышла Алда. Настороженио оглядываясь, она подошла к крыльцу, хотела войти в избу, ио, раздумав, зашагала к челиам. Челны в темиоте были похожи иа больших тупоиосых рыб, вылезших из воды послушать, как дышит земля. Дождь миого иалил в иих воды. Стараясь ие шуметь, девушка иачала вычерпывать ковшом воду из челна и выливать ее в темиую бездиу, где шевелились зелеиые звезды. Оиа ие заметила, как Югор подошел к ией и троиул за плечо. Должио быть, оиа подумала, что подошел отец. Оиа вздрогиула, быстро обернулась, и пареиь увидал побледневшее ее лицо. Несколько мгиовеиий оиа смотрела остаиовившимся взглядом в его лицо, потом улыбка покривила ее губы:

— Югор, я ухожу...

Югор засмеялся:

— А если я... позову отца?

Девушка выпрямилась, бросила ковш, часто запорхали ее ресиицы, и из-под иих по щекам побежали крупиые капли слез.

— Ну, зови... Все равио теперь...

— Тише! — иахмурился Югор и, подияв ковш, иачал торопливо вычерпывать воду. Потом спихиул с берега чели.— Садись.

Оиа ие поиимала, что хочет ои делать, широко открытые глаза ее смотрели по-прежиему испугаиио и иастороженио.

— Садись,— повторил Югор.

— Нет, я не сяду.

Югор поиял, чего боится девушка. Краска стыда бросилась ему в лицо. Несколько секуид ои стоял растеряиио, с ковшом в протяиутой руке. Потом подавил свое волиение и еще раз повторил:

— Садись, Алда... Я все понял теперь... Я помогу тебе. Не бойся меня, Алда. Садись.

Несколько секунд девушка колебалась, потом осторожно влезла в челн.

Югор взял шест, и берег поплыл влево. Изба поворачивалась тихой каруселью: сначала тремя окнами лицевой стороны, потом одним окном сбоку, потом ее заслонила пасека, и она пропала за ольховым перелеском.

В весенней влажной тишине спали земля и небо. Вверху горело очень много ярких звезд, и светящейся туманной полосой с юга на север протянулась Мацин ки — Гусиная дорога. Она слабо отражалась в воде, и по ней на север плыл челн. Югор медленно поднимал и опускал шест, наклонялся и выпрямлялся, будто, кланяясь, прощался с кем-то молчаливо и печально. Когда холмы уплыли далеко назад и стали похожи на два темных облака, Югор оглянулся, спросил:

— На станцию пойдешь?

— На станцию.

— Я довезу тебя до Михайловской мельницы, оттуда до станции восемь верст.— Подумав, спросил: — Деньги на дорогу есть?

— Нет.

И опять плыли молча. Уже не видно берегов, до горизонта — направо и налево, спереди и сзади — разлилось половодье. Будто небо легло на землю, и по нему, пугая звезды, скользил челн. Потом впереди, в туманной сини, замаячило черное — медленно подплывала мельница, недвижимо распластав усталые крылья.

Челн мягко стукнулся о берег. Югор выпрыгнул на землю, протянул слегка дрожащую руку:

— Знаешь дорогу?

Алда прыгнула вслед за ним на берег, но ничего не ответила. Она молча стояла на берегу, смотрела, как над полями желтело небо, и думала о своем.

Югору показалось, что она не решается уйти, что сейчас снова сядет в челн и попросит отвезти ее домой. Он тихо окликнул:

— Алда!

Девушка вздрогнула, и он увидал, как оживилось ее лицо, в радостной улыбке сверкнули зубы. Неожиданно она обняла его за шею и крепко поцеловала в губы.

— Югор, милый, прощай... Я буду писать тебе, часто буду писать... И ты пиши... Ну, прощай!

— Подожди.— Парень пошарил в кармане штанов и опять протянул дрожащую руку.— Держи.

— Что это?

— Бери, бери... После сочтемся...

Она взяла измятую трехрублевую бумажку, две серебряные монетки и несколько медных. Ее лицо сделалось печальным, и он заметил, как дрогнули углы ее губ:

— Спасибо, Югор, я отдам тебе...

Он сурово перебил:

— Иди, иди... Ну что стоишь?.. Иди!

И, когда она ушла, долго смотрел, как на светлом фоне зари медленно плыла ее фигура.

На бугре девушка оглянулась, махнула рукой.

Югор ответил громким криком:

— Прощай, Алда!

Его сердце билось тугими ударами, грудь наполнялась незнакомой доселе радостью, огромной и прекрасной.

1928

Иван Меньшиков

•

Бегство

Этот год сделал несчастным и трусливым гордого Яли.

С Руси пришли неспокойные люди. Они собирали бедняков ненцев и говорили:

— В царское время богачам, кулакам и шаманам хорошо в тундре жилось, а батракам, беднякам и середнякам худо жилось. Советская власть по-другому сделала. Она батракам, беднякам и середнякам хорошую жизнь делать помогает. Она их хозяевами в тундре сделала. У кулаков и шаманов батрачить не надо. В парму с ними не надо становиться.

Яли посмеялся над этими словами. Но на третий день от него ушел самый крепкий батрак. На пятый день ушли еще двое. Осталось три батрака на пять тысяч оленей...

Сердито падал хорей на рога передового.

Тяжело ружье лежало под шкурой на нартах. Зарядив его, Яли объехал тысячное стадо, всматриваясь в кусты карликового ивняка.

Ночью к Яли неожиданно приехал человек. Он был так напуган, что вожжи выпадали из его трясущихся рук и он заикался.

Это был старый друг Делюк Вань.

— Смерть нам, Яли! У меня тоже сбежали пастухи.

— Уходить надо...

— Уходить надо,— подтвердил Делюк Вань,— пастухов я обратно сманю, в два раза олешков больше буду давать. Только куда уходить?

— За Пай-Хой. В Обдорск. А там в Сибирь.

— Будет так,— махнул рукой Делюк Вань, заворотил упряжку и, выругавшись крепким русским словом, скрылся в белесой бесконечности снегов.

На следующий вечер оленьи стада двинулись на Урал. Издали казалось, что громадные площади кустарников медленно ползут по болотистым низинам. Кончилась полярная ночь. Солнце ослепительно голубым пламенем зажгло снега. От него болели глаза. Яли позвал пастухов, выдал им дымчатые очки и сказал:

— Теперь в год будете получать не десять, а двадцать олешков. Только хорошо проведите стада за Камень.

— Зачем, хозяин, к Обдорску идем? — спросил горбатый старик Ванюта.

— Здесь плохой ягель,— сердито ответил Яли.

Батраки переглянулись.

Шли стада.

Чем ближе к Камню, тем холоднее дул ветер. Через две недели на горизонте показались сопки и крутые горы.

Делюк Вань с Яли решили отблагодарить тадебциев — добрых ветров, сопутствующих их бегству. Они приказали заколоть пять жирных оленей, поставили несколько бутылок мутной водки, и началось пиршество. Крепко выпив, они обнимали своих пастухов и мычали о будущем счастье. Они представляли его таким: по огромной тундре из края в край качаются рога оленьих стад, всего сто тысяч оленей,— это олени Яли; сто тысяч и у Делюк Ваня. И выпасают эти стада сто батраков.

Не побоялись бы тогда и Советской власти. Подарили бы русским начальникам по десять голубых песцов и стали бы почетными князьями, самыми богатыми князьями во всех тундрах.

Долго пировали хозяева и батраки. Недели две. Когда же протрезвились, увидели: быстро тают снега.

— Камень переходить надо,— сказал Яли.

— Теперь никакая власть нас не догонит,— засмеялся в ответ Делюк Вань.

Пастухи быстро и осторожно погнали стада по берегу горной речки. Вслед за ушедшими стадами вел аргиш с женщинами, детьми, чумами и продовольствием старик Ванюта. Он улыбался своим мыслям, часто нюхал табак и громко, так, что отвечало эхо, чихал. Яли не понравилось веселое настроение пастуха.

— Чему радуешься, глупая голова?

— Радуюсь, хозяин, что хорошо Камень проходим, а ты мне десять олешков за работу прибавил.

— Так, так,— успокоился хозяин и даже попросил табаку...

На обдорскую тундру перешли к ночи. Когда же рассвело, Делюк Ваня ворвался в чум друга:

— Беда, Яли! От Сибири люди идут.

Дрожащими руками Яли натянул на себя малицу, вышел из чума и, упав на запряженные нарты, вместе с Делюк Ваней поехал к югу. Там, охватив весь горизонт, точно кусты, качались оленьи рога.

Впереди мчался толстый седой старик с багровым лицом. Он подъехал к запыхавшимся друзьям и испуганно выдохнул:

— Много лет жизни!

— И тебе богато жить. Куда едешь?

— От худой власти ухожу. За Урал. Здесь везде колхозы. Вся Сибирь в колхозах. За Камнем лучше, говорят.

Яли посмотрел на Делюк Ваня и вдруг заорал:

— Дохлый ушкан! Кто мне советовал ехать за Урал? К Обдорску? Кто сказал, что здесь нет Советской власти?

— Я не говорил. Это у тебя поганые мысли ходили.

Толстяк понял все. Он безнадежно махнул рукой и повернул обратно.

Понял и Яли, что не вырваться из тугого кольца приближающейся беды. Ночью он собрал аргиш, с тоскою посмотрел на широкие просторы обдорской тундры, сжал плечи...

И двинул аргиш со стадом за горы, на старые тропы.

Илько Лаптандер

Илько Лаптандер угрюмо всматривается в горизонт, и голова его кружится от усталости. Лесная поземка снежным туманом окутала кусты тундрового тальника. Звезды стали бледнеть. Собаки, боязливо поджав хвосты, обегают стадо и катаются в снегу, тревожно повизгивая.

«Погода будет»,— устало думает Илько Лаптандер и проводит рукавом малицы по редкой заиндевевшей бородке.

Вчера уехал из стада второй пастух, заболевший ангиной, и ему — старшему бригадиру — приходится несколько суток без сна оберегать большое стадо от волков, бурана, гололедицы. Силы его уже иссякли.

А ведь на слете стахановцев оленеводства он от имени

своей бригады дал обещание всем пастухам Большой и Малой земли не иметь ни одной потери в своем стаде. Если он не сдержит своего слова, над ним будут смеяться самые последние лодыри. Но всего больше худой молвы пустит Выль Паш — его бывший хозяин. «Ха! — скажет он.— Хорошо олешек пасти начали. Быстро-быстро начал колхоз богатеть, а все потому, что в нем состоят хорошие пастухи — такие, как Илько Лаптандер. Осталось ли хоть что-нибудь от колхозных богатств Илько Лаптандеру?»

Думая об этом, Илько обливается холодным потом. С усилием он поднимает скованные дремотой веки и шарит винтовку, вглядываясь в кусты.

— Нябик! — хрипит он, но собака лежит у его нарт, и Илько успокаивается.

Веки старого пастуха снова тяжелеют. От горизонта поднимается тундровый буран. Ветер отворачивает полы Ильковой малицы, порошит снегом в лицо, ерошит шерсть на загривках собак. Олени сбиваются кучей, пропуская в середину телят.

«Засну»,— тревожно думает Илько. Его охватывает страх. Он трет лицо снегом и достает табакерку, чтобы понюхать табаку, но собаки начинают скулить. Они скулят все сильнее и сильнее, и Илько вглядывается в кусты. Луна, выглянувшая на мгновение, освещает три тени, стелющиеся на снежной прогалине.

Илько прикладывает ложе винтовки к плечу и, целясь наугад, стреляет. Собаки со злобным воем мчатся к кустам, олени опускают головы, разрывают ягель.

«Хорошо бы лечь в сугроб и заснуть»,— думает Илько. Снег пахнет оленьими следами и мхом.

Но снова лают собаки, Илько хватается за винтовку и подъезжает к стаду.

Олени спокойны, собаки с четырех сторон сторожат их.

Голова Илько кружится, точно ее подхватило ледяным водоворотом, туго сжимающим со всех сторон. Илько закрывает глаза, и соблазнительная мысль прокрадывается в его сознание: никто ведь не будет ругаться за то, что он сильно заболел. Охранять стадо ему помогают четыре хороших собаки. Если он крепко заснет, то они разбудят его своим лаем.

— Нет, нельзя! — говорит убежденно Илько.— Ни одного олешка зверю!

Чтобы отогнать сон, Илько нюхает табак и сердито ругается.

«Скоро утро,— думает он уже спокойнее,— тогда можно будет немного поспать».

Он ложится навзничь на нарты и долго размышляет, как будут хвалить его бригаду за то, что ни одного олешка не прокараулила за целый год.

Сам того не замечая, старый пастух засыпает, и хорей вываливается из его рук.

Но и во сне Илько продолжает бороться с непреодолимой усталостью. Много раз, как ему кажется, он стряхивает с себя дремоту. И внезапно стая громадных волков бесшумно появляется возле оленьего стада; Илько холодеет от ужаса, заметив вожака волчьей стаи. У вожака туловище волка, а голова Выль Паша.

«Съедим Илькино стадо»,— говорит Выль Паш волкам.

«Съедим»,— хором отвечают волки.

«Подождите,— говорит Выль Паш и подходит к Илько.— Пойдешь ко мне в батраки, Лаптандер, тогда я стадо не буду есть и ты будешь каждый год получать у меня за работу по три важенки».

«Нет,— отвечает Илько,— в прошлом году мне колхоз дал премию — двадцать олешков. В колхозе я заработал пять раз по тысяче рублей да бинокль в придачу. Не пойду к тебе, Выль Паш, потому что ты кулак, а я — большой начальник, старший бригадир».

«Вы слышали?» — говорит Выль Паш волкам.

«Слышали,— отвечают волки человеческими голосами.— Мы сейчас убьем его».

Илько хватает винтовку, стреляет в Выль Паша и волков, но пули не приносят им вреда. Волки смеются над Илько и перегрызают горла оленям — одному за другим.

«Тебя будут судить страшным судом!» — кричит пастух Выль Пашу.

Но тот, подбежав к нартам, сбивает Илько на снег. Он кладет передние лапы на грудь Илько и скалит свои желтые волчьи зубы:

«Ха, колхозный ударник! Где ж твоя сила, олений начальник? Покажи мне свое горло...»

Выль Паш стискивает до удушья горло Илько. Илько хрипит, поднимается и открывает глаза: он один в пустоте большой снежной низины. Пес Нябик, скуля, дергает его за полу малицы. Ни нарт, ни винтовки нет.

Поземка замела следы стада...

Задыхаясь, старый пастух спешит за собакой. Он хватается за грудь, падает, вновь поднимается и бежит.

Стада нет...

Но Нябик визжит и рвется вперед, на крутую сопку. Собрав последние остатки сил, Илько взбирается наверх и видит в долине стадо и свою упряжку. Он сходит вниз и останавливается, вновь охваченный ужасом: у кустов тальника лежат две важенки, растерзанные волками.

Илько долго сидит на нартах, руки его дрожат, и медленные слезы обиды застилают его глаза.

Через полчаса он подгоняет колхозное стадо к своему чуму. Вот его собственные олени. С каким трудом он растил их! И как он радовался в тот день, когда колхоз премировал его!

Сейчас Илько молча и сосредоточенно выбирает в своем маленьком стаде двух лучших важенок. Прислонив одну из них к нартам, он вырезает на ее ухе колхозное клеймо.

— Сам виноват,— шепчет он и нежно гладит по лбу важенку, которая по его воле стала теперь колхозной.

Едва успев заклеймить вторую, он слышит скрип саней и знакомый голос председателя колхоза:

— Как дела, Илья Семенович?

— Хорошо,— говорит Илько.— Очень хорошо, только я сильно заболел.— И добавляет: — Устал я. Переведи меня просто в пастухи. У меня голова худая. Кружится.

— Ничего,— говорит председатель и тепло улыбается, заметив, как клонится к нартам охваченная непреодолимым сном седая голова Илько Лаптандера.

Тэнэко

Оленья упряжка уносила Тэнэко по синим и звонким снегам на север, к родным стойбищам.

Покачивая тонким шестом над рогами передового, Тэнэко счастливыми глазами обводил горизонт и вспоминал все, что он пережил за эти три года...

Он многое теперь узнал.

Он научился в совпартшколе грамоте, был принят в комсомол и судился с Выль Пашем — своим бывшим хозяином.

Теперь Тэнэко едет в родное стойбище агитатором.

В окружном комитете комсомола сказали, что ему поручена трудная работа. Многооленщики ненавидят Советскую власть, и следует быть осторожным.

Но Тэнэко сказал:

— Я возьму оружне, и онн побоятся одного моего взгляда. А если я буду убнт, вы похороните меня на берегу моря, поставьте над могнлой большой красный флаг н в руки положнте кннгу, которой я был премирован в школе...

Окружкомовцы сердечно простнлнсь с Тэнэко и пожелалн ему удачн. В мнлнцин он получнл для лнчной охраны старый «смнт-вессон» с тремя патронами в барабане.

Тэнэко сразу же надел оружне через плечо н так прошелся по городу. Странно, что никого не уднвнло это. Тогда он простнлся с друзьями.

— До свндання, ребята,— говорил он,— может, никогда больше не увндимся, ведь я еду организовывать колхозы.

Товарнщн сердечно жалн ему руку, дарилн на память красочные плакаты, лубочные картннки, а днректор окружного музея достал из груды папок портрет Грнгория Хатанзейского н сказал:

— Будь таким же смелым агитатором, какнм был этот человек!

И теперь вот едет Тэнэко, покачнвая хореем, покрнкнвает на оленей и мечтает о том, сколько богатых колхозов он органнзует в эту знму. Сначала он поедет в стойбнще Выль Паша н скажет всем его батракам: «Идите в колхозы! Там вы будете носить хорошую одежду н обувь. Вы будете есть белый хлеб каждый день». Батракн подумают дня три, а потом сразу запишутся в колхоз. Тэнэко поедет по другим стойбнщам, покажет всем плакаты о том, как живут в хороших колхозах русские, н за зиму на всей Большой земле ненцы станут колхозниками, а кулакн, вроде Выль Паша, помрут с голоду.

Между тем молва неслась от чума к чуму, как на бешеных собаках. Ее перехватывали друг у друга степенные пастухи, веселые, хвастлнвые охотники, напуганные коллективнзацией кулакн.

Молва говорнла о том, что Тэнэко, батрак Выль Паша, после того как нашел в тундре много денег, отвез нх в Красный город н выучился на очень большого начальника, теперь едет сделать всю тундру колхозной н что в каждом колхозе будет баня и всех ненцев заставят мыться в ней, точно они маленькие детн.

Солнце, как ожиревший белый медведь, выползает из-за гор. По вершннам сопок бегут лнловые тенн, а в оврагах уже отстаивается мрак, неувереиный н рваный. За далекими холмамн, как раз против того места, откуда поднялось

сонное ноябрьское солнце, раздвинув кусты, поднимается к небу тонкий дымок. Парма Выль Паша близка.

Тэнэко остановил упряжку, прикрутил вожжу к нартам и отвязал чемодан. Он вытащил из него кожаные брюки и хромовые сапоги с галошами, а потом снял малицу и на обжигающем морозе вместо теплых тобоков натянул на ноги городскую обувь и, как у настоящего начальника, кожаные брюки. Мороз точно жестью стянул его ноги. В кожаных брюках было чертовски холодно, но Тэнэко улыбался, думая о том, с каким удивлением и завистью посмотрят на него сверстники.

Северный ветер прогнал с его лица улыбку. Он пробовал бежать рядом с нартами, потел в жаркой малице, но ноги, точно чужие, перестали его слушаться. Тэнэко пожалел, что надел городское, но в долине показалось несколько чумов, и он подъехал к среднему.

Стиснув зубы, он вошел в чум.

Весело поздоровался с хозяином чума. Тот быстро говорил:

— Проходите, проходите, гостем будете,— и посмотрел на белобрысую дочь.

Девушка тотчас же притащила охапку хвороста, повесила чайник на крюк, и когда палевое пламя стало облизывать потные бока чайника, хозяин успокоился. Он долго восклицал: «Вот беда, вот беда!» — когда узнал, что это Тэнэко, а потом побежал в соседние чумы. Он вернулся в сопровождении семи пастухов и Выль Паша.

— Здравствуй, Тэнэко,— сказал тот почтительно и первый протянул руку.

Тэнэко подумал немного и сказал с достоинством:

— Здравствуй.

И пока пастухи разглядывали его кожаные брюки, хромовые сапоги и галоши — все, что пришлось снять, дрожа от озноба,— он достал со дна чемодана портрет Григория Хатанзейского.

Хозяин чума поднес ему кружку обжигающего чая и толстый хвост очищенной от чешуи пеляди.

— Поешь маленько,— сказал он,— мы давно ждем тебя, ты теперь большой начальник стал, Тэнэко. Так мой ум ходит.

— Какой я большой начальник?! — смеется Тэнэко, а рябое лицо его расплывается в довольной улыбке. Потом он снимает с малицы «смит-вессон» и небрежно бросает его в чемодан, затем перекладывает на доски у костра.

— Коммунистом стал! — поднимает миогозначнтельио палец Выль Паш.— Во!

— Какой я коммуиист! Мие еще рано,— отвечает Тэнэко и долго роется за пазухой.

Из иагрудного кармаиа пиджака ои выннмает комсомольский билет, с нежностью смотрит на маленький силуэт Ильича н сдержаино говорит:

— Я только комсомолец.

— Ои комсомолец! — с еще бóльшнм восторгом восклицает Выль Паш, и глаза его иаполняются тревогой.— Все мон батраки хорошими людьми стали, ио Тэиэко выше их всех!

В чум входнт, прнхрамывая на одну ногу, старый Вылко. Широкоскулое морщнинстое лицо его подергивается нервическим тнком. Глаза слезятся, точио ои хочет заплакать, но боится показать это. Он долго смотрнт на Тэиэко, а потом молча садится у самого костра. Все отводят взгляд от его наполиеиных горем и слезами глаз.

— Зачем ты приехал, Тэиэко? — спрашивает дрожащнми губами старнк.

Тэиэко выпнвает кружку чая, закусывает рыбой и показывает всем портрет Григория Хатанзейского. На пастухов смотрит русскнй рабочий в косоворотке и шляпе, и только узкие раскосые глаза да шнрокие скулы говорят о том, что этот человек не чужой иеицам.

— Знаете ли вы, кто это? — спрашнвает Тэиэко, н в голосе его звучит уважение к человеку иа фотографии.— Это Грнгорий Хатаизейский, первый иеиец-коммуиист. Его зарубили белогвардейцы за то, что он хотел, чтобы все пастухи былн сыты, богаты н счастлнвы со дня рождеиия до начала смертн.

— Я знаю его,— говорнт старый Вылко н утирает рукавом глаза,— я хорошо знаю его. Русский урядиик искал его по всей тундре, ио он спрятался у меия и рассказывал мие про то, как хорошо будет жить без царя и урядиика. Он иосил шляпу, но нмел сердце пастуха.

— Говорил ли ои о колхозе? — забеспокоился Выль Паш.— Хатанзей Гриша был хороший человек, ио говорил ли ои о колхозе?

Вылко ие ответнл. Он не слышал от Грнши иичего о колхозе.

— Ои говорнл о колхозе, раз ои говорил о счастье,— сказал в тишине Тэиэко и посмотрел внимательно в беспокойно поблескивающне глаза Выль Паша.

Тот опустил взгляд и отодвииулся от костра.

— В первом неиецком колхозе «Пнок», где председатель Степаиида Апициия, колхозиики заработали за год по пять тысяч рублей, по миогу пудов рыбы и мяса. В колхозе «Пиок» есть свой моториый бот, больница, школа и баия.

— Я вам говорил! — зловеще крикиул Выль Паш, и глаза его радостно блеснули.— Баия...

Тэиэко быстро повериул лицо к бывшему хозяину. Он закрыл чемодан и внимательио посмотрел иа Выль Паша:

— Что ты говорил?

Выль Паш улыбиулся примиряюще и торопливо ответил:

— Баия — это очеиь хорошо.

Вылко протянул к костру подрагивающие руки, точно грел их у огня, посмотрел на ярко вспыхиувшую веточку, иа пастухов и понюхал табаку.

— Я пойду в такой колхоз, где нет бани и есть хороший шамаи.

— Зачем тебе шамаи? — удивился Тэиэко.

— Скоро моя Няркоиэ умрет. У нее болит живот из-за худых ветров. Кто мне поможет?

— Да, кто ему поможет? — спросил Выль Паш.— Шамаиы теперь боятся лечить. Кто злых тадебциев отгоиит? Русских тадебции не боятся, правду я говорю?

Хмурые пастухи утвердительио закивали головами.

— Колхозный врач вылечит твою семью, Вылко. Я прикажу ему вылечить твою жену.

И Тэиэко виовь открывает чемодан, достает блокиот и, подержав острие химического караидаша иа языке, долго думает о том, какую записку следует писать в подобиых случаях. Пастухи пододвигаются к Тэиэко и, зиачительно хмурясь, смотрят иа иего.

Тэнэко шевелит губами, он вспоминает совпартшколу, окружной комитет комсомола, народиого судью и не может придумать, как следует писать записку в правлеиие колхоза, если ему, Тэнэко, нужеи врач.

Ои опускает ресиицы; пальцы, которыми ои стискивает карандаш, белеют, он нажимает иа блокиот, и острие карандаша ломается. Посмотрев иа Выль Паша, Тэпэко просит чаю, ие торопясь нюхает табак и старательио пишет записку печатиыми буквами: «Степаиида, здесь кулаки, врача иадо, потому что у Нярконэ живот иехороший. *Тэнэко*».

Смахнув со лба капельки пота, Тэнэко с гордостью смотрит на написанное им и добавляет: «А у меня пальцы, и мне очень тяжело из-за Выль Паша. *Тэнэко*».

— Вот и все,— говорит он, обращаясь к Вылко.— По этой бумаге врач бросит все свои дела и приедет сюда, потому что он мой большой друг.

Старый Вылко долго смотрит на записку. Он берет ее дрожащими пальцами, складывает вдвое так осторожно, точно это не бумага, а тонкое стекло, готовое вот-вот хрустнуть. Потом выходит из чума, и через полчаса слышно, как он уезжает на восток.

Пастухи тоже выходят из чума, приглашают Тэнэко в гости, просят не обижаться на них, если они не вступят в колхоз. Тэнэко говорит «ладно», при свете костра хмуро вынимает из чемодана плакат, долго рассматривает его. Обмороженные пальцы ноют, а голова начинает кружиться.

— Надо спать, надо спать,— шепчет Тэнэко и стискивает зубы.

Он точно заклинание повторяет эти слова, но чем больше темнеет небо в мокодане, куда сизой спиралью уходит дым костра, тем тяжелее становятся веки и сильнее кружится голова.

Чтобы заглушить боль, Тэнэко прислушивается к треску догорающего хвороста. Сквозь шкуры, покрывающие чум, слышен заглушенный крик больной женщины, и Тэнэко на время забывает о своей болезни.

«Ей, верно, очень тяжело»,— с участием думает Тэнэко и, откинув с колен одеяло, в одной рубашке выходит на мороз. В синеве наступающей ночи он видит, как у соседнего чума испуганно-торопливо разговаривают пастухи. Они смотрят на сопку и на крайний высокий чум. Они почтительно уступают дорогу Выль Пашу, когда тот выходит из этого чума, размахивая длинным, сверкающим при луне ножом.

Тэнэко с удивлением наблюдает, как многооленщик прикладывается правой щекой к чуму Вылко, обходит его дважды, а потом резким взмахом руки протыкает ножом нюк. Снежная пыль серебром осыпает рукава его малицы. Выль Паш вырезает ножом треугольное отверстие и отшатывается от истерического вскрика больной женщины.

— Она сейчас умрет,— ворчит старик,— помогите мне.

И, не дожидаясь помощи, схватив за цепенеющие в страхе черные худые руки Нярконэ, выдергивает ее из чума. Пастухи испуганно подходят к нему и неуклюже берут

женщину за ногн. Оиа бьет нмн по снегу и кричит, объятая страхом смерти.

Тэиэко вздрагивает от ужаса. Он подбегает к Выль Пашу, и тот сразу отпускает руки больиой.

— Она опоганит стойбище смертью,— говорит Выль Паш н пятится, ие отводя взгляда от правой руки Тэнэко.

— Отиесите ее ко мие. Скоро приедет врач,— сердито приказывает Тэиэко н с удивлеиием замечает «смит-вессон» в своей руке.— В колхозе никогда так с жеицииамн ие обращаются.

Больиую уиосят обратио в чум, заткиув шкурой вырезаиное отверстне. Она бреднт и корчится, освещаемая слабым огием костра.

— Потерпи малеиько,— говорит Тэнэко н проводит ладоиью по ее жаркому морщинистому лбу.

Через полчаса жеицииа успокаивается, н его вновь начинает лихорадить. Тэиэко идет обратио, достает нз чемодаиа плакаты и входит в чум, полиый пастухов и охотииков, сердито спорящих о чем-то.

Увидев Тэиэко, оии замолкают. Они со страхом глядят иа Тэнэко, а тот болезиеиио улыбается и выиимает из-под мышки плакат, иа котором иарисоваи тощий мужик в лаптях, стоящий иа одиой иоге.

— Смотрите,— говорит Тэнэко.

Белобрысый сгорбившийся пастух с черными глазами и кривым иосом смотрит иа картину н сочувствует старику:

— Вот беда! Зачем ои на одиой ноге-то стоит? Устаиет ведь.

Другие пастухи тоже жалеют мужика, лаптн которого окружеиы изгородью.

— Пошто это, пареиь?

— Это русский мужик,— говорит Тэиэко.— Ои стонт иа одной иоге, потому что вторую иогу ему иегде поставить: вся земля у кулаков, помещнков и русских шаманов — попов. Вот как жили при царе русские мужики, которые делают хлеб.

— Им тяжело было,— вздохиул белобрысый пастух.— Олешек там иет, а земли мало — вот н стой иа одиой ноге. Худо так!

— Беда худо,— покачалн головами пастухи,— без олешек как проживешь?

Тэиэко выиимает иовый плакат, и лица пастухов разглаживаются от морщин. По широкой зелеиой улице идут малыши в красных галстуках. Налево стоят большие красивые

здания школы, яслей, клуба, кооператива, электростанции.

— А вот как живут теперь эти мужики.

И пастухи восхищаются тем, что колхозники одеты, как Тэиэко, в городские пиджаки, обуты, как Тэиэко, в сапоги, и лица их веселы и приветливы.

— Хорошо живут,— говорит белобрысый пастух.— Ты колхозник, Тэиэко?

— Нет,— говорит Тэиэко,— но я буду колхозником, если вы пойдете вместе со мной в колхоз.

— Я бы пошел в колхоз, если бы там давали всем кожаные штаны, такие, как у тебя. Потом я люблю ездить в гости, а колхозу, поди, не понравится это.

— Колхозники такие же люди, как все,— говорит Тэиэко,— они тоже могут носить кожаные штаны и ездить в гости, когда им захочется.

— Что такое колхоз? — хмуро спрашивает пастух с черным обмороженным лицом, пододвигаясь к костру.— Что такое колхоз? Молва говорит: колхоз — это большие стада, богатые пастбища и вместо оленей и пушнины у пастухов и охотников пустые, никому не нужные бумажки, что они колхозники. На что же я куплю себе нюхательного табаку, Тэиэко? В колхозе всем олешкам олений врач впустит под кожу белую воду, которая называется «прививка», мясо их нельзя будет есть по пять лет. Кто же нас прокормит столь долго?

— Кто это вам сказал? — спрашивает Тэиэко и трет жесткими ладонями виски, где глухо толчется кровь, молоточками отдаваясь в ушах.— Почему ты, Егор Иванович, только худую молву слышишь? Правда, ты живешь в чуме Выль Паша, но почему ты веришь только молве из его уст? Он твой хозяин. Он не хочет отпустить тебя в колхоз, и он лает на нашу будущую жизнь, как хитрая лисица.

— Выль Паш сегодня сказал мне, что в колхозе хорошо русским, у них нет олешек, а нам лучше жить без колхозов,— говорит белобрысый пастух.

— Это неправда. Какое богатство у тебя, Семен Ного? — спрашивает Тэиэко.— Пятнадцать олешек да патроны без пороха! Как ты проживешь зиму? А?

Пастух смущенно смотрит на товарищей. Те улыбаются. В самом деле, каким богатством хвастается Семка Ного...

И Тэнэко впервые замечает в глазах слушателей огонек доверчивости. Пастухи и охотники все больше и больше соглашаются с Тэиэко, потому что молва говорила и хорошее о новой жизни.

— В колхозе вы будете носить по праздникам городскую одежду, слушать музыку и глядеть кинокартины. Когда же заболеете, вас будет лечить не грязный и хитрый шаман Яли, а врач из Москвы. Горе покинет ваши чумы, потому что вы будете богаче и счастливее Выль Паша. Давайте организуем колхоз и будем жить богато.

Тэнэко смотрит на пастухов, и те уже доверчиво кивают головами и говорят, что подумают об этом, но входит пьяный Выль Паш. Маленькие, как у нерпы, глаза его красны, и рот искривлен. Не торопясь он проходит к костру и говорит:

— Нет врача, Тэнэко... Няркоиэ умирает. Шаман давно бы помог.

И пастухи мрачнеют под тяжелым взглядом Выль Паша. Они не смотрят на Тэнэко и поодиночке торопливо выходят из чума.

— Прими меня в колхоз,— говорит сочувственно Выль Паш,— они не понимают своего счастья.

Тэнэко подкидывает дров в потухающий костер, сжимает подрагивающие губы и, не ответив, выходит из чума.

Он идет в следующий чум, там его охотно слушают, спрашивают о жизни в городе, хвалят хромовые сапоги, просят показать картинку про мужика, стоящего на одной ноге, но в колхоз идти не хотят. Они говорят, что и раньше можно было стать богатым, как Выль Паш, и теперь можно быть бедным, как Вылко, если много болеть. Они смотрят иа «смит-вессон», лежащий на коленях Тэнэко, и спрашивают Выль Паша:

— Кто лучше, хозяин: врач или шаман?

И Выль Паш отвечает:

— Тэнэко, думаю, правду говорит — врач лучше, но пока он приедет, Няркоиэ уже умрет, опоганит нашу парму, и нам придется бросить свои чумы, чтоб смерть не заглянула нам в глаза, не сделала нас навсегда несчастными.

— Врач приедет скоро,— говорит Тэнэко, и губы его дрожат, как у ребенка.

И, простясь с пастухами, он уходит в свой чум и падает на шкуры, скрученный болезнью.

Ночью он начинает бредить. Тогда жаркими руками он разбрасывает шкуры и садится, ища огонек костра. Но костер потух, и Тэнэко с теплой грустью вспоминает совпартшколу, товарищей из окружного комитета комсомола, директора музея, ночные улицы города, и обида заполняет его сердце. Ему хочется заплакать, но, подумав о том, что

он агитатор, Тэнэко вытирает глаза рукавом и с горечью думает о том, что ему не организовать колхоза, потому что он плохой комсомолец и Выль Паш сильнее его.

И только когда в мокодан начинает пробиваться рассвет, Тэнэко забывается тяжелым сном.

Но тут приходит старый Вылко. Он жестикулирует и смеется. Он долго благодарит Тэнэко, потому что приехал врач и у Няркопэ живот стал хорошим. Вылко согласен идти в колхоз, если Тэнэко даст расписку, что в колхозе его не заставят мыться каждый день. Тэнэко долго обдумывает это предложенне и считает возможным разрешить старому Вылко мыться только по одному разу в месяц, но обязательно париться веником, а его сыну Тыко — три раза в месяц, о чем н пишет расписку печатными вершковыми буквами.

Он дает такне же расписки еще двум пастухам н вновь ложнтся спать, но приходит белобрысый сгорбившийся пастух и говорит Тэнэко:

— Я не пойду в колхоз, потому что ты боишься нас. Ты носишь оружие, чтобы пастухи сразу вошли в колхоз. Я бы взял бумажку насчет бани, но я не боюсь тебя. Я только боюсь Выль Паша, потому что он злой человек.

— А ты не бойся,— говорит Тэнэко.— Выль Паш — хромой заяц, а я — старый волк. Я сто кулаков могу убить одним взглядом, если рассержусь. Собери пастухов, н ты увидишь это.

Через полчаса Тэнэко выходит в кожаных брюках н начищенных ваксой хромовых сапогах. Он осматривает собравшихся оленеводов, вскакивает на нарты н начннает речь.

Он говорит:

— Подойдн сюда, Выль Паш.

Испуганный многооленщик подходнт. Тэнэко, заметив врача, улыбается ему н машет прнветливо рукой, а потом сердито смотрит на Выль Паша:

— Выль Паш, ты не хочешь колхоза?

Многооленщик хмуро глядит на «смит-вессон» в руках Тэнэко и, пятясь, падает, запнувшись за чью-то ногу, но пастухи не смеются над этим.

— Когда я буду в Москве, я расскажу всем, какие злые дела ты делаешь, Выль Паш. Я все расскажу. А что я тебя не боюсь, пусть видят все.

И Тэнэко с размаху кидает «смит-вессон» в сугроб за чум.

И враз пропадает недоверчивость в глазах пастухов. Они подходят к Тэнэко и просят бумагу. На серой тетрадочной бумаге они ставят свои родовые клейма — рисунок оленьих рогов, чума, рыбы, тундровой кочки — и говорят, сколько оленей они имеют.

Потом они долго думают, кого выбрать председателем колхоза, и белобрысый пастух предлагает Тэнэко, но Выль Паш с искаженным ненавистью лицом выбегает из-за чума и кричит:

— Всех олешек отдали колхозу? Всех? А Тэнэко ни одного не отдал. Он только у других выманивает.

Но Тэнэко смеется над ним. Он вынимает из кармана линовую бумагу и просит хмурого врача прочесть ее всем вслух. Врач надевает очки, осматривает бумагу и читает приговор суда, по которому Тэнэко становится хозяином двухсот оленей, нарт и хорея — длинного шеста для управления упряжкой,— всего, что он заработал, будучи батраком Выль Паша.

Пастухи подходят к нартам, и Выль Паш растерянно садится у чума на желтый снег и закрывает глаза. Голова его кружится. Точно копыта по насту, звонко и тяжело отдаются слова Тэнэко в его ушах: «Я тоже хочу быть колхозником вместе с вами».

Пастухи доверчивыми глазами смотрят на Тэнэко и так долго кричат его имя, что он говорит:

— Ладно. Пусть я буду первый председатель первого колхоза на Большой земле.

А из-за чума появляется Вылко, и в руках его «смит-вессон». Он передает его Тэнэко и говорит:

— Возьми. А мы тебя не боимся. Возьми, мало ли худых людей на свете, пригодится.

И пастухи утвердительно кивают Тэнэко.

Ночью пастухи выполнили приговор суда. Длинными тынзеями они выловили из стада Выль Паша двести лучших оленей и согнали их в большое колхозное стадо. Выль Паш не мешал им. Чтоб легче перенести горе, он вернулся в свой чум и выпил три кружки спирта, достав его из своего заветного сундучка. Когда на душе стало хорошо, он занялся поисками ножа. Найдя его, он долго обдумывал план мести, но, вспомнив, что Тэнэко больной и с ним справиться легко, тихо вышел из чума, посмотрел на стоящих у озера пастухов и вполз в чум Тэнэко.

Тэнэко приподнялся со шкур, подбросил хворосту в костер и, посмотрев на Выль Паша, сказал тихо:

— Брось нож!

Выль Паш невинно улыбнулся, обнажив прокуренные зубы.

Тэнэко сел и уже сердито сказал:

— Брось нож! Нечего прятать за спиной.— Потом мечтательно проговорил, точно не замечая многооленщика: — Мы назовем наш колхоз «Нгер Нумгы». Это она указывает дорогу пастухам и охотникам в тундре. Это счастливая звезда. Пусть наш колхоз будет новой звездой, которая указывает всем дорогу к хорошей жизни.

Выль Паш, равнодушно разглядывая костер, пододвинулся к Тэнэко на полшага.

— Когда у меня перестанет кружиться голова, я поеду дальше по всей тундре и организую много таких колхозов, и тогда ты задохнешься от злобы, Выль Паш. Брось сейчас же нож! — говорит Тэнэко, и щеки его багровеют.

Выль Паш стремительно вскакивает, пламя костра вспыхивает на лезвии длинного узкого ножа и гаснет. В лицо многооленщика смотрит холодным глазом дуло «смит-вессона».

Выль Паш роняет нож и торопливо выползает из чума.

— Ну и вот,— говорит Тэнэко и довольно смеется мальчишеским смехом.

Яптэко подает заявление в колхоз

Всю жизнь Яптэко Манзадей ходил кривой дорожкой своего разума. Такой уж он был человек. Прежде чем сказать «да», Яптэко выпьет семь стаканов чаю, поспит двое суток, а скажет, однако, «нет». Потом он будет много раз каяться, но подумает: «А все-таки у меня свой ум: никто так не делает, а я делаю» — и на этом успокоится.

Вот каким был Яптэко Манзадей!

И он всегда был таким. И в колхоз он не хотел идти.

Много раз прилетали лебеди из теплых стран, принося на своих крыльях счастье, как поется в сказках, и вновь улетали к солнцу, стоящему в полдень. Лебеди летели над стойбищами и не узнавали их. Рядом с чумами, у медленных тундровых висок — речек, вырастали деревянные дома. Это оленеводы переходили на оседлость.

И только вокруг чума Яптэко не стояло никаких строений. Чум был вдвое старше хозяина. Дряхлый, покосившей-

ся, он обнажал всем ветрам тощие бока, и лысые шкуры, покрывавшие его, уже превратились в рубища.

— Как живешь, Яптэко? — спрашивали его колхозники.

— Хорошо живу,— отвечал Яптэко.— Над вами много начальников, а надо мной только живот. Он захочет поесть, я на охоту иду. Не хочет — я сплю. Что мне?! Вот женюсь, и тогда лучше моей жизни на свете не сыщешь.

— Да кто к тебе в жены-то пойдет? — смеялись колхозники.

— Пойдут, — говорил Яптэко. — Любая пойдет.

И впрямь вскоре по всей тундре прокатилась неожиданная весть: «Яптэко поехал по стойбищам искать себе жену».

Это была правда.

Надев праздничную малицу, Яптэко трое суток чинил свои нарты, поправлял упряжь и тихим весенним утром поехал в колхоз «Тэт-яга-мал», что по-русски означает — «Вершина четырех рек». Он ехал по росистому мху и пел ярепс — веселую песню, сочиненную на ходу:

Я-яй-яй,
Я-аяй-я!
Девушка с длинной косою идет к реке.
Ай, нох! Нарядная в новой паннце!
В ее руках крылья лебедей, и руки ее —
        крылья лебедей,
А сама она чайка.
Унайя-унайя!
Ой, какая хорошая баба женой моей хочет
                стать!
Ой, я-я! Ай, я-я!

Весело мчатся олени, выбрасывая копытами гроздья оранжевых брызг. Запрокинув на спину бархатистые рога, передовой смотрит на гусей, плывущих в низком голубоватом небе. Гуси отражаются в тихих озерах. Спускаясь к заводям, они гортанно перекликаются, радуясь концу длинного пути.

А Яптэко поет:

Спеть песню хочу я,— пусть мала, но сильна,
Унайя-унайя!
Я с осени самой лежу не вставая,
Беспомощный, будто младенцем я собственным
                стал!
Ой беда-беда...
Мне бабу надо, толстую, как нерпа, легкую,
            как чайка,
Быструю, как заяц.
Унайя-унайя!

Неужели у меня бабы такой не будет?
Я-аяй-я!

С песней влетает Яптэко в стойбище. Женщины окружают его. Детишки засматриваются на его праздничную малицу.

Яптэко спрашивает, где председатель, и проходит в его чум. Он приветствует хозяина и садится пить чай.

— Правду говорит молва, что ты жениться поехал? — спросил председатель.

Яптэко ответил не сразу. Как человек, уважающий себя, он помедлил немного и сказал:

— В колхозах теперь, говорят, хорошая жизнь наступила. Правда это?

— Правда, — сказал председатель колхоза.

— И сколько может такой человек, как я, заработать в колхозе?

— Не знаю, — сказал председатель, — как работать будешь.

Яптэко смутился. Яптэко не любил много работать и, наверное, мало бы в колхозе заработал.

— Я умею и хорошо работать, — сказал он.

— Тогда тысяч пять можешь получить, — сказал председатель. — Что, в колхоз решил вступить?

— Нет-нет, — торопливо ответил Яптэко, — я просто так. Меня часто спрашивают, хорошо ли живут в колхозах, а я не знаю.

И чтобы, чего доброго, председатель не уговорил подать заявление в колхоз, Яптэко вышел из чума. Посредине стойбища молодой бригадир чинил нарты. Через плечо у него был перекинут ремешок сумки от бинокля.

— Что это такое? — спросил Яптэко.

— Бинокль, — сказал бригадир, — олешки далеко иной раз уйдут, а я посмотрю в него и вижу их.

— Ишь ты какой богатый, — позавидовал Яптэко. — Продай мне его, зверя высматривать.

— Это премия, и ее нельзя продавать.

— Тогда подари.

— Нельзя. Я бригадир, и мне он нужен. Вступай к нам в колхоз, и тебе такой же дадут.

— У меня слабое здоровье, — сказал Яптэко и подошел к женщинам, выделывающим шкуры.

— Легкой работы! — сказал он. — Сколько вы, бабы, получаете?

— Больше, чем ты, в пять раз, — отшутилась курносая девушка, видать главная среди женщин.

Она ловко повертывала шкуры и скребком сдирала мездру. Руки ее проворно летали вниз-вверх, вниз-вверх. И Яптэко внимательно стал всматриваться в нее.

Она перевернула шкуры, подмигнула Яптэко, и тот смутился.

— Жену ищешь? — засмеялась она. — Не пойду я к тебе в жены, ты спишь много.

Женщины сдержанно улыбнулись, а Яптэко сердито ответил:

— Нужна мне такая жена! Плакать с ней. Живо к другому убежит.

И, простившись с председателем колхоза, Яптэко поехал в соседний колхоз.

— Жену приехал искать, — объяснил он колхозникам, но весь вечер просидел среди мужчин и беседовал о колхозной жизни. Выходило так, что в этом колхозе жизнь еще лучше, чем в «Тэт-яга-мале».

— Я подумаю об этом, — сказал Яптэко и погнал упряжку дальше.

— Что ж ты наших девушек не посмотрел? — крикнули ему вслед женщины.

— Мне только двадцать пять лет,— ответил Яптэко и скрылся за сопкой.

Так объехал Яптэко одиннадцать колхозов, и в каждом он расспрашивал о том, кто сколько зарабатывает, осматривал одежду колхозников, ругал лодырей за худую работу, а под конец сказал:

— Поеду в «Полярную звезду».

Колхоз «Нгер Нумгы», председателем которого был старый Явтысый, организовался недавно. Колхозники еще не носили биноклей и не играли в шахматы, но там жила русская учителка Тоня Ковылева, член правления колхоза и заведующая Красным чумом. Она обучила Яптэко грамоте, и он часто вспоминал о ней.

Он приехал в колхоз «Нгер Нумгы» и зашел к учителке.

— Пиши, — сказал он, — скорее пиши, а то раздумаю.

И она написала ему заявление. Яптэко подписался и спрятал бумажку на груди.

— Спасибо, — сказал он, — большое спасибо. — И, не попив чаю, уехал в свой чум.

Там он проспал трое суток, выпил тридцать стаканов чаю, полбутылки вина и сказал:

— Теперь можно и в колхоз идти.

...Вот каким был Яптэко Манзадей.

Когда же его принимали в члены колхоза, он дал всем слово, что будет работать хорошо, а к тому же обучит всех ребят игре в шахматы.

— А когда же женишься? — спросили колхозники.

— Женщины — коварный народ, — сказал Яптэко, — я их боюсь.

Он посмотрел на Тоню Ковылеву и смутился.

Андрей Платонов

●

О потухшей лампе Ильича

1

Моя фамилия Дерьменко. Идет она от барского самоуправства: будто бы предки мои в давнее время с голоду ели однажды барские тухлые харчи — дерьмо, оттуда и пошло Дерьменко.

Наше село Рогачевка от города шестьдесят верст; расположение имеет вкось по реке Тамлыку, что втекает в другую речку Усмань.

По преданию говорят, что Тамлык, иначе сказать Тимурлык, по-татарски значит маленький сын Тимура. А Тимур, как исторически известно, был предводитель татар, кои в старые времена здесь скакали по степям и пользовались их сладкими травами для своих коней. А Усмань у татар значит красавица. И вот будто бы Тимур влюбился раз в степную красавицу греческого роду, родил от нее сына Тимурлыка и ускакал бить балканцев. Гречанка от горя иссохла и умерла вместе с сыном-ребенком; вернувшийся Тимур так затосковал по своей скончавшейся любимой семье, что велел войску своему и пленным горстями насыпать два памятных кургана, а сам Тимур носил и сыпал землю мечом.

И до сей поры у нас есть два жутких холма — один побольше, другой поменьше. Уже давно стерлась тоска в сердце Тимура, а курганы все стоят, и их не стерли ни ветер, ни вода.

Вот что значит сердце человека!

Когда я гляжу на эти курганы, у меня начинается тоска, — и я чувствую в себе добросовестность.

Вот на этом знаменитом месте стоит наша Рогачевка — небогатое село.

14 Зак. 313

От помещика Снегирева остался у нас сад в пятнадцать десятин — хороший сад, и дерева не старые. А как стало им пользоваться общество, вижу — гибнет сад: ни окопки, ни обмазки, никакого хозяйственного ухажерства, — плод еще зеленый, а уж ребятишки все вдрызг обломали, оборвали и поносом изошли.

А зимой зайцы кору лущат, — еще год, другой — и усохнет сад и пропадут чудеса его плодородия.

Думал я сильно, за всех, и враз схватила меня догадка:

— Надобно крепкую, мудрую артель — и взять у общества сад. А мужики подходящие есть.

И еще было у меня мечтание — построить у нас на Рогачевке электростанцию, и чтобы при ней была мельница с просорушкой и обойкой. Это было бы очень способно для крестьян. У нас стоят семь ветрянок — все у кулаков; берут по четыре фунта с пуда, да еще когда ветер, а в летнее время ветры жидкие, — иной раз с голоду насидишься, хоть и есть зерно. Да и электрический свет даст селу интересное увлечение.

Сам я проходил в красноармейцах курсы электротехники сильных токов, а брат мой тоже любитель этих делов и знаток своему разуму. А до службы в войске я пять лет трубил линейным монтером на городской электрической станции, оттуда у меня и пошел интерес ко всяким механизмам и таинственности, с той же поры скучно мне на деревне и напрасной кажется бедность ее.

Собрал я артель, вышел на сходе и говорю мужикам:

— От барского сада нету нам прибытка, кроме как ребятишки по картузу зелени нарвут. А сад ведь, граждане, гибнет — то ведомо всем. Отдайте нам сад, — говорю. — Только пять лет мы вам ничего платить не будем, а зато сад приведем в показательный порядок и электрическую станцию вам построим с линией и вводами на сто дворов, а дальше сами тяните (я уже подсчитал про себя, сколько даст сад и сколько стоит станция). При станции же оборудуем мельницу с камнем на девять четвертей, просорушку и обойку для пеклеванной муки. И все это добро передадим, кому общество укажет, а лучше кредитному товариществу — на правильное пользование. А по изжитии пяти годов и сад вам в целости представим, либо аренду будем должее держать, — это, — говорю, — как вам угодно будет.

А меня влекла не только полезность дела и свое пропитание, но и интерес к жизни — советское строительство.

Тут пошел гам и обсуждение предложения.

— Брось, — говорят, — Ефимыч, не твоего ума это дело. Погорим от твоего электричества...

— Фролка, а каково твое обеспечение, где залоги возьмешь? Аль обчество дуриком отдаст тебе сад?

— Набрался газу в городе, умней всех стал!..

— Не трожь напрасно: Фрол — городской парень, он и ране был по разуму ходовитый...

— Жрал сто лет дерьмо, на яблошные харчи хочешь...

— Знаем мы этих изобретателев — землю липистричеством мазать хотят, дожжу пущать...

— Оно любопытно, только ни хрена не выйдет: тут иностранец нужон...

Вышел здесь председатель сельсовета, мужик здравый и в зрелых летах:

— Тиш-ша! Пулеметы, гуси-лебеди! Девки, брось зерна грызть! Кузьма, отставь от себя брехню и агитацию... Граждане, садом нам не владать все едино, не к рукам он нам, а Фролка на глазах будет, — ежели што, враз водворим на его усадебное место... Рыска я не вижу, а посулы Фролкины — не обида...

Обломались к вечеру мужики — сдали нашей артели сад на пять лет. Все буквально в протоколе отметили, и расписались мы всей артелью казенным почерком с фигурами. Один из артели нашей, Прошка Кузнецов, сумел лебедя вывести. Даже председатель сельсовета, который видел сзади, как Прошка старался, сказал ему:

— Да будет тебе, Прокофий, мудрить на официальной бумаге, ты не шуточное дело делаешь и собрание задерживаешь...

2

Осенью было дело. Грузно нам пришлось зимовать: харчей мало, артельщики — люди без избытку, одежи нет, тот же Прошка зимой и летом ходил в железных калошах, которые сам сделал, — в холодное время у него, говорят, пот на ногах мерз. Однако с весны до самых плодов не посидели — суетливое дело сад.

Прошла завязь, а потом плод, еще хуже стало — лезет вся деревня к нам. Сколько тут скандалов, сраму было, день и ночь не очнешься. Да ведь не ребятишки донимали: сурьезные мужики ломились за яблоками.

Захватишь и говоришь:

— Да ты бы попросил, Фома, я бы тебе дарма насыпал.

— Да я и не лез, — говорит, — я бадик сломить зашел. Нужон твой сад, хозяин нашелся! Выгоним скоро обратно: обчество говорит, урожай хорош, — Фролку долой с нашего имущества!

А раз захватили милиционера и секретаря Совета с двумя битыми мешками: что тут делать будешь? Хотел я усовестить — куда тебе!

— Мы, — говорят, — не себе, а детдому.

— Так чего же, — спрашиваю, нам сперва не заявили, предписания не дали — ведь мы организация.

— Молчи, — отвечает, — мы знаем, что делаем, не суйся в административные мероприятия!

Тогда Прошка (который и захватил их), слова не говоря, хрясь ладонью милиционера в ухо, ляп железной калошей секретарю в спину. И так и далее. Однако дело это прошло молчком: вреда эти власти нам впоследствии не сделали.

Подговорились мы с одним городским армянином сбывать ему фрукт, и стали водиться у нас деньги.

Вышел сезон — подсчитали, свели в срезек баланец, ан три тысячи с лишком чистого дохода.

И хлебом мы запаслись на целый год, и прикупились кое-чем для себя и для сада, а три тысячи остатку.

Сильный был фрукт, да еще червь попортил.

Надобно договор до дела доводить. Поехали мы с братом и Прошкой в город — двигатель покупать. Походили, поспросили, — дорого.

— Зато машины, — говорят, — на букву ять.

— Нет, — отвечаем, — дорого. И при чем тут твоя царская буква?

— Букву не лай, — говорит сиделец, — она довоенного качества!

Наконец довел нас до дела один гражданин из Дома крестьянина. Пришли мы с ним к одному частнику: видим, мельница на дворе стучит. Входим — идет шведская машина. Отсечка — мягкость и чистота, газ — без дыма, тянет восьмерики плавно, бесшумно, шутя, вся блестит и влечет, как кровная лошадь. Танец, а не работа, шут ее дери! Я понимаю это, я сам электромеханик.

Долго мы вращались около двигателя.

— Сколько машина стоит, — спрашиваем, — со всей гар-

ннтурой — чохом (как раз и постав мельннчный тут же, рушка, обойка, бочки для нефти и весь инструмент).

— Пять тысяч, — говорит нам хозяин.

Дней пять мы ходнли — испытывали постав, разбирали машину и торговалнсь.

Сошлись на трех с половиной тысячах. Ведь машина сорок сил, да причнндалу сколько.

А денег у нас три тысячи двести. Поговорилн с хозяином — согласился обождать триста рублей.

Тогда мы вошли во владение машиной и мельницей, пошли в сельскохозяйственный банк и заложили все благоприобретенное за две с половиной тысячи. На эти деньги мы окончательно расплатились за двигатель н купнлн в тресте: динамо, два маленьких электромотора для молотьбы, прнборы, щиты, провода, лампы н прочее.

И начали мы возить имущество в Рогачевку. Сопровождал Прошка — ездил и ужасал встречных мужиков.

— Прокоп Палыч, нюжли ж взаправду светить и молотнть оно будет?.. А я так думаю, не двинется оно — все же мертвый минерал...

— А ты пойдн — тронь, — отвечал Прошка, показывая на какой-нибудь изолятор на возу. — Тронь, Матвей, пальцем! Да не бойся — тебе приятно станет...

— Да ну тебя к шуту — изувечит еще...

— Ага, а говоришь, мертвый минерал: это энергетик, тайная живность...

Кредитное товарищество дало нам амбар под станцию — туда и свезли все. Начали мы орудовать с братом и Прошкой. Привезли цемент и начали класть фундаменты под двигатель и динамо.

Утром поедим в саду печеных яблок с молоком — н до вечера на электростроительство. От народу в амбаре работать было нельзя: каждый указывает и советует, но и помогали нногда.

Собрался раз в кредитном сход о налоге, исчерпалн повестку дня, я вышел н говорю:

— Трудно, граждане, втроем станцню — завет Ильнча и основу социализма — строить. Нужна ваша помощь. Свезите нам нз лесничества столбы, ошкурнте их и вкопайте вдоль по улице, как мы укажем. Затем я полагаю, что бесплатно следует провести электричество только безлошадным и неимущим, по списку комитета взаимопомощи, а остальным по десять рублей с хаты.

Мне говорят:

— Правильно, Фрол Ефимыч, — устроим! Видим твои старания, от забот борода облупилась!..

Тогда дело пошло спорее: мы с братом установку делаем, а мужики под руководительством Прошки столбы вкапывают, линию тянут и вводы в хаты втыкают по особому списку, а богатых проходят мимо: если хочешь свету-силы, вноси десять рублей.

Прошка стоит на столбу и верховодит:

— Кузька, глянь, как столб твой стоит, — переставь вкрутую, это тебе не бадик!

— Егорка, давай голую магистраль, сними валенки, чего ноги паришь!

— Петруха, неси харчей из дома, скажи: Прошка требует.

— Эх вы, жлоборатория, да разве так тянут провод — это вожжи, где же тут напряжение пойдет? Его ветер сдует. Тяни втугачку, сопля, жми до пупка — технически трудись!

Вечером мужики наблюдают:

— До чего ж ходовит Прошка — огнем горит: глянь, с версту уже протянули. Ты скажи, и не обидчив! И сам смеется — и все ребята грохочут...

Когда у Прошки затекали руки и ноги, он слезал со столба и выплясывал из себя тут же всю усталость. Тогда все бросали работу и сбегались к нему. Прошка, поплясав и поорав, сразу смолкал и уставлялся своими белыми глазами на толпу:

— По местам, электромеханики, аль инженера не видали?

Довольные электромеханики расходились на работу.

По вечерам мы задумчиво отдыхали. Машины уже собраны и блестят, по соломенному селу ходит влажный осенний ветер, а Прокофий греет ужин.

Наконец настал день 5 ноября. Мы сделали деревянную звезду с лампами, через улицу протянули гирляндой тридцать ламп, а самая улица освещалась десятью фонарями на версту.

Кроме того, на площади против станции поставили две молотилки с электромоторами и подвезли хлеба к ним.

Ночью втихомолку мы попробовали станцию: впрягли в двигатель все — и динамо, и постав, и рушку, и обойку. Двигатель пошел мерно и без натуги. Улица засияла огнями, звезда в разноцветных фонарях светила с крыши дома кре-

дитиого товарищества иа десять верст через село в степь, в ста хатах тоже загорелись лампы, — мужики в смятенье просиулись, заплакали дети, бабы их начали кутать и выиосить на улицу, ио в ту осеииюю ночь на улице тоже горел электрический свет.

По селу началась горячка. Народ бежал к станции, радуясь и тревожась, угрожая и удивляясь. Всех охватило смутное чувство, и сои в селе пропал.

А предприятие иаше было иа полном ходу и жутко гудело таинственной силой.

Прошка стоял у распределительного щита и следил за приборами, мы с братом мотались от двигателя к мельнице, от мельницы к молотилкам, устраняя неполадки, слушая ход и дыхание механизмов.

Над селом плыло великое зарево, за околицей гремели чьи-то убегающие телеги по заквоклой обмерзшей земле.

Был третий час ночи.

Тогда я крикиул человеку иа щит:

— Прокофий, запри иефть, включай реостат, вырубай село, кредитиое и улицу!

И Прошка ответил:

— Есть, механик, — вырубай ток!

Свет погас всюду, и сразу все ослепли от виовь иагрянувшей страшиой ночи.

Полуодетый иарод стоял в полиом молчании: ои ошалел и поник.

— Прокофий, переведи ремень на холостой шкив, пусти двигатель, затем прекрати иефть, открой все краиы и продуй машиију!

— Есть продуй машииу! — ответил Прошка. Он, должно быть, матросом был: очень уж ловок и тактичен. Машина пошла ходко, а затем засвистела дикими голосами во все открытые отверстия.

— Прокофий, заулючь устаиовку, конец работе.

— Есть заулючь механизмы, работу прекратить!

Стало торжествеино, и мы пошли к себе в сад отдыхать.

Но мы не усиули, а разволновались и просидели до света в разговорах по механике.

3

Наступил день открытия станции. Наладить праздник взялась сельская ячейка большевиков. К тому же открытие совпало с дием Октябрьской революции.

Наше дело малое: мы вновь проверили машины.

Ячейка вела дело лихо: разослала всем соседним селам и городу особое трогательное приглашение.

Было сухо — народу съехалось, как на обношение мощей в старое время. Приехала вся большая власть и простые крестьяне.

В зале кредитного товарищества назначено было торжественное заседание. Прошка ввернул туда пять ламп по шестьсот свечей, чтобы свет бил до слепоты.

Уже завечерело, мы стоим на станции наготове и греем двигатель паяльной лампой. Вдруг приходит за мной предуика товарищ Кирсанов.

— Пожалуйте, — говорит, — Фрол Ефимыч, в залу.

— Сейчас, — говорю, а сам задержался.

— Прокофий, — обращаюсь, — Семен (это мой брат), глядите, ежели што — стыд и срам: кувалдой запущу! Я скоро вернусь. Пускай машину — вруби одно кредитное, я выключатель там выключил, — как увидишь нагрузку на амперметре — глаз не своди! — так моментально включай все и пускай на полный ход предприятие целиком. Ты, Семен, следи за молотилками, мельницей и всем прочим, поставь надежных мужиков.

Прихожу в зал кредитного: чувствуется торжественность, тишина, а народу — как ржи в мешке. За красным столом — власть и два наших мужика, а сбоку оркестр.

Прохожу сквозь ущелье стульев и иду прямо в президиум: мне машет оттуда предуика. Сажусь. Начинается вечер его речью. На столе горит пока что керосиновая лампа — для пущего противоречия!

Умно говорил предуика:

— Лампа Ильича сейчас, — говорит, — вспыхнет и будет светить советскому селу века, как вечная память о великом вожде. Мотор, — говорит, — есть смычка города с деревней: чем больше металла в деревне, тем больше в ней социализма. Наконец, — указывает на меня, — строитель электрификации, Фрол Ефимыч, есть тоже смычка: глядите, он родился крестьянином, работал в городе и принес оттуда в вашу деревню новую волю и новое знание... Объявляю Рогачевскую сельскую электрическую станцию имени Ильича открытой!

Я еле успел подбежать к выключателю и дал свет. Свет упал в темную залу, как ливень: три тысячи свечей пожертвовал сюда Прошка. Все зажмурились и нагнулись — как будто лилась горячая вода.

Оркестр заиграл «Интернационал», все встали и закричали что попало.

Я подошел к окну.

Пятиконечная звезда, уличные фонари, лента через дорогу, хаты — все сияло.

Народ бросился глядеть наружу.

Дальше говорил предсельсовета, потом секретарь укома, а затем вышел председатель нашего кредитного товарищества:

— Товарищи! Что мы здесь обнаружили? Мы обнаружили лампу Ильича, т. е. обожаемого товарища Ленина. Он, как известно здесь всем, учил, что керосиновая лампа зажигает пожары, делает духоту в избе и вредит здоровью, а нам нужна физкультура... Что мы видим? Мы видим лампу Ильича, но не видим тут дорогого Ильича, не видим великого мудреца, который повел на вечную смычку двух апогеев революции — рабочего и крестьянина... И я говорю: смерть империализму и интервенции, смерть всякому псу, какой посмеет переступить наши великие рубежи... Пусть явится в эту залу Чемберлен либо Лой-Жорж, он увидит, что значит завет Ильича, и он зарыдает от своего хамства... И я говорю: помни завет вечного Ленина, носи его умное лицо в своем несчастном сердце...

Тут председатель кредитного заплакал, сел и вынул кисет.

Еще говорил, всем на удивление, наш мужик, Федор Фадеев:

— Граждане, сказано в писании: вначале бе слово. А кто его слыхал, и еще чуднее, кто его сказал? Нет, граждане, сначала был свет, потому что терлись друг о друга куски голой земли и высекалось пламя... Граждане, ведь мы слышали сейчас задушевные слова наших вождей и видим, что действительно электричество есть чистота и доброе дело...

Поговорив еще с час, Федор сбился и сел, и весь вечер не мог очнуться от своей речи.

Остальную ночь я пробыл на станции. На дворе в драку молотили хлеб и дивились маленькой напористой машине — электромотору.

Всю ночь зарево пропускало над собой тучи, и темная долина Талмыка была впервые освещена от сотворения мира.

4

Так прошел счастливый год. Станция везла уже не сто, а триста дворов. Мельница не управлялась молоть хлеб, и кооперация, которая владела всем предприятием, здорово наживалась. Ветряки заглохли — весь помол отобрала мельница на станции: она брала дешевле, от налогов была свободна и работала без задержки, а кооперативный приказчик был обходительный человек и приучил мужиков.

А мне не раз уже говорил председатель кредитного, что мельники с ветряков собираются сжечь станцию, но я думал, что они не посмеют.

В сельсовете подсчитали, что одна наша мельница, не считая пользы от освещения, молотьбы, рушки и обойки, сберегла мужикам за год шесть тысяч пудов хлеба — это то, что мужик переплатил бы мельникам-кулакам, если бы не было нашей мельницы. Да еще заработок весь пошел не кулаку, а кооперации, — это тоже прибыток.

Оказывается, действительно в правление кредитного приходили два сельских мужика и говорили, что один мельник, владелец самого большого ветряка, подвыпивши, обещал сжечь все паровое заведение в августе — перед обработкой нового урожая. Я посоветовал кредитному застраховать предприятие, повесить в нем огнетушители и нанять ночного сторожа, а на кулака донести власти. Не знаю, сделало ли это кредитное товарищество.

Только раз, когда я спал — дело было в августе, работы в саду много, за день уморишься здорово, — будит меня Прошка:

— Ефимыч, вставай, в Рогачевке полыхает что-то свечой, должно станция, хаты так не горят — это нефть...

От сада до села была верста. Добежали мы до станции, видим — уже нет постройки, все машины в огне и по двигателю зелеными струями текут расплавленные медные части.

Теперь стоит в Рогачевке линия, висят фонари на улицах, а лампочки в хатах засижены мухами до потускнения стекла.

Прошка ездит на тракторе, а я думаю опять уйти в город и поступить там на электростанцию линейным монтажистом.

Брат осел в деревне окончательно и разводит кур плимутроков.

Хотя на что нужны куры кровному электромеханику?

1926

Великий человек

Поля опустели, стало скучно и хорошо в деревне; земля уморилась за лето рожать, а люди уморились работать. Земля лежала худая, она засыпала на отдых до будущей весны; солнце смеркалось над деревней, и поля уходили в сумерки осени, в темноту зимы. Но люди отдыхают скоро; они выспались, наелись и ушли из деревни в дальние города: один взял топор и пилу и пошел плотничать на постройки, другой отправился с пустыми руками, но он там найдет себе занятие — может быть, землю будет копать, может быть, станет подручным слесаря: делов теперь много на свете, что-нибудь и ему достанется. Иные же, более молодые и норовистые, отправились учиться: кто хотел быть летчиком, кто моряком, кто писателем, кто артистом, кто думал о музыкальной части. И все они ушли, и каждый из них найдет, конечно, себе забаву и судьбу, которую пожелает.

И когда все эти люди ушли, то в деревне Минушкино, или в колхозе имени 8 Марта, что одно и то же, осталось в сиротстве двенадцать дворов, девятнадцать женщин, считая со старухами, и сорок человек малолетних детей, считая со стариками, которых было семь душ. Кроме них в Минушкине порешили зимовать еще два человека: бригадир конного двора, колхозный конюх Василий Ефремович Анцыполов и подросток Григорий Хромов, семнадцати лет, что жил с матерью-вдовой, сын давно умершего крестьянина, знавшего плотничье дело.

Как только все главные работящие крестьяне оставили деревню и колхоз осиротел без них до нового тепла, так Анцыполов, Василий Ефремович, обленился и вовсе перестал работать, потому что он почувствовал теперь себя самым главным, самым сознательным и единственным мужиком во всей деревне, почти что начальником, а все остальные люди в деревне были либо малолетние, либо малодушные, и он их не считал за настоящее сельское население.

Однако, хотя Василий Ефремович чувствовал себя гордо и важно, ему было скучно существовать одному, непрерывно

сознавая свое положение выше всех. Даже выпить вина ему не с кем стало теперь, и он пил его в конюшне, в компании лошадей. Для этого Василий Ефремович выводил всех четырех лошадей из стойл на середину сарая и ставил их всех лицами к себе, а сам садился на охапку сена и начинал угощаться в окружении лошадей. Лошади умно и зорко смотрели на человека, размышляя о нем, а может быть, недоумевая, почему они должны его слушаться и бояться. Василий же Ефремович наливал себе стакан вина и, обращаясь к кобыле Зорьке, строго наблюдавшей за ним, произносил:

— Зорька! За твое здоровье, против поноса, каким ты болела в бабье лето,— аминь, ура!

Затем Василий Ефремович выпивал по очереди с провозглашением заздравных речей, за мерина Сончика, за кобылу Голубку, за второго мерина Отсталого и под конец за самого себя.

— Да здравствую я! — кричал Василий Ефремович, и лошади вздрагивали от этого звука, отходили прочь от человека и ржали издали на него.

Но Василий Ефремович еще несколько раз приветствовал сам себя и наконец покрывал свои громкие речи могучим «ура» в честь самого себя и заодно всего человечества, которое он начинал немного признавать, подобрев от вина. На закуску Василий Ефремович денег не тратил и заедал вино какими-либо крошками или остатками пищи, застрявшими у него в бороде после вчерашнего ужина, или брал одно-два овсяных зерна из кормушек лошадей, и этого ему было достаточно. Сколько раз бывший председатель колхоза Самсонов приказывал ему: «Василий Ефремович, организуй ты свою бороду, что ты целую тайгу носишь на милом лице!» Но Василий Ефремович не подчинился председателю: «А что мне с пустошью на лице по миру ходить! — говорил он в ответ.— Какое такое добро заводится или родится на пустоши! Это пустой человек живет весь оскобленный — у него силы жизни нету, а я человек густой, из меня, как из чернозема, гуща наружу прет!»

Отведав вина в компании лошадей, Василий Ефремович начинал бродить из избы в избу, по всем знакомым, и говорил людям, что он пришел к ним прощаться, так как нынче же он уходит из деревни навеки во всю вселенную.

— А чего ж, ступай, твоя воля,— говорили ему крестьянские старики.— Нам ты в колхозе не нужен, может, там, во вселенной, будешь как раз!

Василий Ефремович выходил из очередной избы и шумел встречному человеку:

— Я во вселенную пошел!

— И где она? — спрашивал его встречный прохожий старик, поспешая, сколь возможно, в кооператив за постным маслом.

— Там! — говорил Василий Ефремович, указывая на весь серый свет вселенной.

Старик глядел на этот свет и думал или вспоминал что-нибудь про другие места, про всю землю, где он бывал когда-то: «Когда это было? — думал старик.— Забыл, видно; ну и пусть, что забыл, — помирать пора!»

А вкруг была тишина осени, тишина земли, отработавшейся за лето, покой мира, рождающего и кормящего всех людей. Листва на мелком лесе, растущем у околицы деревни, уже вся опала, и она теперь не застила чистого сумрачного пространства, безмолвного, но почти поющего и призывающего уйти и не вернуться.

— Вперед — во всю вселенную! — восклицал Василий Ефремович и шел домой, чтобы собраться в вечный путь.

Дома его ждала жена. Сначала она слушала Василия Ефремовича и собирала ему все пожитки во вселенную, а затем разувала, раздевала его и укладывала спать спозаранку. Василий Ефремович засыпал, давая себе небольшую отсрочку, чтобы затем, в скорости же, направиться во вселенную, но, проснувшись, он думал и говорил вслух:

— Я подлец, и это правильно и, главное, точно: я подлец! — и уходил снова к лошадям — пить вино и беседовать с ними.

Однако Василий Ефремович был, как видно, умен! И по уму своему он решил однажды не идти домой, а прямо направиться во вселенную с конного двора. Он попрощался с лошадьми, поцеловал их, сказал им печальные, окончательные речи и пошел в пространство, в тихое русское поле, где все цветы и растения уже отжили свой летний солнечный век.

— А мой век еще цел, он остался полностью: ого-го! — со счастьем освобождения размышлял Василий Ефремович, уходя в смутный, рано вечереющий свет поздней осени.

Пройдя немного времени вперед, Василий Ефремович утомился и лег для отдыха у плетня усадьбы колхозницы Паршиной; за этим плетнем уже начиналось пустое место всего мира, открытое до самого неба и увлекшее вдаль. Туда и решил направиться Василий Ефремович; теперь ему

уже до всего было близко, и он подумал, что можно не спешить. «Отдохну и тронусь!» — сделал Василий Ефремович свое мысленное заключение и уснул.

Проходя вечером мимо спящего пожилого человека, который мог остыть за ночь и скончаться в одиночестве, Григорий Хромов побудил Василия Ефремовича, но тот не пожелал идти ко двору, наоборот — велел Хромову идти и заниматься полезным делом, поскольку тут его дело бесполезное. Тогда Хромов натужился и поднял Василия Ефремовича к себе на руки, как мог. Василий Ефремович на вес был нетяжелый; он лишь казался тяжелым от большой бороды и шумного характера.

— Пойдем, — сказал Хромов, — а то ты, знаешь что, простудишься и умрешь, ночи ныне длинные, и будешь потом на том свете, как старухи обещают.

— На том свете! — обрадовался Василий Ефремович незнакомому месту. — А это еще лучше — неси меня туда!

Но Григорий приволок его домой, к жене, и та уже сама велела жить Василию Ефремовичу здесь, а не во вселенной и не на том свете.

На другое утро Василий Ефремович заинтересовался Григорием Хромовым — он всем интересовался, что не относилось к его обязанностям конюха, — и отыскал молодого колхозника, когда Хромов менял обветшалые венцы в срубе колхозного колодца.

— Ты это что же! — сказал конюх. — Ты что же никуда не ушел до весны, как прочие умные?

Григорий перестал тесать дерево и подумал. Осенний чистый день стоял над мирными избами колхоза, над умолкшим, остывшим перелеском и над родным полем, отдавшим всю свою силу людям и теперь дремлющим в покое. Снега еще не было и холода не пришли; с утра до вечера небо было сумеречным, но этого кроткого света было достаточно для жизни и работы.

В кузнечном сарае горел огонь в горне, там работал старик кузнец с подручной девушкой, справляя весь железный инвентарь, изношенный за лето, к будущему севу. Невестка кузнеца, не ожидая зимнего пути, без спеха повезла на телеге навоз на колхозный огород. Мерин Отсталый поглядел в сторону Василия Ефремовича и повез телегу с навозом дальше. Счетовод Груня шла с большой счетной книгой в общественный амбар, считая в уме, что кому положено получить, что кто переполучил, а что кто недополучил и какие

фоиды уже засыпаны, а какие иеготовы или иеправильио назначены.

— Я привык жить в колхозе и по матери боюсь соскучиться, — произнес Хромов в ответ Василию Ефремовичу и застеснялся чего-то.

Конюх осудил подростка:

— Соскучиться боишься! Так скука же либо тоска и прочее — это упадовничество! Ты против закона, значит: ага, твоя фигура нам понятна!

— Нет, дядя Вася, у меня мать хворая... Боюсь — я уйду, а она помрет одна без меня...

— Врешь! Кругом колхоз, свои люди, не дали б ей помереть!.. А так что же получается: нам великие люди нужны, а ты мелким хочешь прожить, чтоб и могилы твоей иикто не нашел! Как тебя назвать — в стороне от схватки, что ль?

Хромов опять начал тесать бревнышко для колодезного венца.

— Я, дядя Вася, великим человеком не буду, я не умею...

— Врешь! — отвергнул эти слова конюх. — Ты сколько классов кончил?

— Семилетку в Шаталовке, — сказал Хромов. — Все семь классов кончил прошедшей весной.

— Ну вот! Тебе самый раз теперь учиться выше, чтоб познать все темные тайны и совершить подвиг во вселенной!.. Сколько наших ребят вон уехали, — теперь, гляди, пройдет год, полтора, два, и они будут каждый на великом деле, на глазах всего человечества — кто летчик, кто артист, кто по науке, кто по прочей высшей части!.. А ты кто будешь? Замрешь здесь, как черенок в плетне! Кто про тебя сказку расскажет, либо песню над гробом споет?

— Никто, — сказал Хромов. — Мне не надо сказки...

— Не надо? А это опять твое упадовничество в тебе говорит... Ты вспомни наших ребят: возьми хоть Гараську, хоть Мишку, да того же и Пашку можно! Сколь они старше тебя? Да чуть-чуть, а, глянь, в каких высших училищах учатся: вот-вот в величайшие люди выйдут! Да оио им вполне прилично и к лицу очутиться у власти иа вышке: у них у каждого грудь раза в два поболе твоей развернулась — на таких грудях сколько медалей с заслугами можно увесить. Красиво будет!

Григорий Хромов менял обветшалые венцы в срубе колхозного колодца. Ои молчал и работал топором.

Василий Ефремович соскучился быть с ним и отошел от него.

— Не хочешь, значит, использовать всех прав нашего государства и конституции, ну погибай, как мошкара в чужом ухе! — сказал на прощанье сердитый конюх.

Хромов поглядел ему вослед:

— А ты сам-то чего, дядя Вася, не подашься от нас никуда?

Василий Ефремович остановился.

— Так у меня же фантазия есть, дурак человек! Где меня нету, там я легко представляю, что там я есть! Я все могу, только не хочу пока что... Пусть все выяснится и утрамбуется на свете, тогда я и нагряну лично. А ты-то что?

— Я в колхозе состою, — ответил Хромов. — Я за себя и за мать работаю.

— Только что! — усмехнулся конюх.

— И я для всех работаю, — робко добавил Хромов.

— Старайся! — насмеялся Василий Ефремович. — Какая твоя работа! Ты от этой работы только сам с матерью кормишься... А для народа ты никто, народ тебя сроду не почувствует, был ты или нет...

Хромову стало грустно; он оглядел свою деревню: в ней жил его народ, но неужели Хромов не нужен здесь никому — живет он или умер, а тот, кто играет на музыке где-то вдалеке или управляет машинами, тот народу нужнее и дороже его?

Григорий не знал, как правильно надо думать об этом, и он начал достраивать колодезный сруб.

К вечеру он закончил работу, собрал инструмент и поспешил к матери. Мать Григория хоть и была слабой от возраста и давней болезни, но днем никогда не прикладывалась к постели для отдыха и с утра до ночи работала — то по колхозному делу, то по домашней нужде. Когда сын жалел свою мать и просил ее прилечь отдохнуть, она нипочем не хотела и отказывалась:

— Что ты, Гриша! А ночь куда девать... Кто ж нас должен хлебом кормить, и в одежу одевать, и керосином светить! На каждую душу ишь сколь добра всякого нужно, чтоб она жила, а добро-то ведь сработать надобно... Если б днем ложиться, да ночью спать, да поутру чесаться, да не редкий кто, а каждый бы так — весь народ с недостатков ослабел бы и помер...

— А ведь ты больная, мама. Тебе можно отдыхать больше...

— Я больная, да терпеливая и к жизни привычная. И что ж, что больная! Все равно ведь и обедаю, и ужинаю, и

одежу на себе трачу, и мало ль чего... Чем мне в мыслях жить, когда я бы только от людей брала, а им ничего не давала?

И сын не мог ей ничего ответить.

В нынешнюю осень Хромова-мать ходила председателем колхоза, как знающая старая крестьянка. Она было хотела отказаться от такой чести и обязанности, но общество не уважило ее просьбу.

— Ты, мать Мавра Гавриловна, хоть и хворая женщина,— сказали ей старики,— и тебе бы пора облегчение позволить, да кто ж тебя удержит, когда ты сама по себе не хочешь дать! Ты, гляди, на всякую честную работу с охотой идешь, откуда и мужик норовит вбок уйти. Нужен навоз — ты к навозу любезна, нужно картошку перебрать — ты самой пылью дышишь и кашляешь потом по всей ночи с мокротой. Аль мы не знаем тебя! Была ты на черном деле хороша, ступай ныне на белое, на чистое. Душа в тебе есть, голова хоть и бабья, да не дурная, колхоз наш не слишком хлопотлив да велик, а можно сказать — мал, хоть лодыря в нем есть много — порядочно. Чего тебе! Живи полной властью...

И с недавней поры Мавра Гавриловна стала жить полной заботой о всем колхозе. Раньше, когда Мавра Гавриловна не ходила еще в председателях, она только вздыхала, когда видела непорядки в общем деревенском хозяйстве, но превозмочь их не могла. Теперь она вздыхать перестала, потому что не о чем было горевать, когда власть была в ее руках и можно стало превозмочь всякий ущерб или недостаток и всякое беспутное злодейство в хозяйстве. Если даже и нельзя сразу все сделать по-доброму, то легче знать, что вина за это находится в тебе, потому что сама, значит, не умеешь совладать с другим нерадивым человеком, сама, значит, негодная, чем видеть эту вину в неподвластных лодырях и праздных гуляках; страшно только то зло, до которого руками нельзя добраться, а когда можно, то чувствуешь себя заранее хорошо, если зло даже и существует пока. Поэтому Мавра Гавриловна почувствовала теперь облегчение, и болезнь ее от улучшения настроения ослабела или забылась.

Она по-прежнему вела домашнее хозяйство в избе и стряпала обед к приходу сына с работы. Дел у нее не стало больше от должности председателя, потому что она с малолетства привыкла к заботе, а что эта забота теперь большая стала, но иная маленькая единоличная нужда либо нехватка

сушила кости, бывало, злее всякой большой общественной заботы.

Нынче тоже, как вернулся Григорий с колодезной работы, так мать собрала ему сейчас же на стол, а сама не стала есть, она пообещала покушать после.

— Ефремыч-то опять гуляет? — спросила мать у сына.

— Опять, — сказал сын.

— До весны стерпим его, — решила мать. — На амбарное накат будем менять, некому тяжести поднять — Ефремыча тогда пошлю... А у тетки Аксюши-то третья дочка, Фроська, животом лежит мучается, слыхал иль нет?

— Нет,— ответил Григорий.— Я тетку Аксюшу не видел.

— Ведь это что ж творится! — удивилась мать. — Две девочки летось померли, теперь третья вслед им хворает... Уж не вода ли у нас дурная?

— Вода, — решил сын. — Не вода, а люди... Каждый своим ведром в колхозном колодце воду достает, а дальние проезжают — те конным ведром черпают, а в нашем колхозе дети оттого помирают... Зараза в воду попадает!

Мавра Гавриловна замерла вся от горя.

— Вот кручина-то! Как же нам быть-то, да разве отучишь, упросишь кого, чтоб со своим ведром не ходил по воду,— всякий теперь отрежет, что его ведро и луженое, и чиненое, и чище всех, а наше грязное.

— Не отучишь! — согласился Григорий.

Весь вечер он сидел, по своему обычаю, с книжкой возле лампы и читал, но сам думал о колодце. В учебнике по физике он рассмотрел рисунок деревянного ворота и сообразил, как его надо сделать.

На другой день с утра Григорий начал делать ворот для колодца и к вечеру установил его над срубом, а затем взял цепь и один конец ее укрепил в круглом теле ворота, а другой приклепал к дужке общественной бадьи. Верхнюю дневную поверхность сруба он накрыл деревянной крышкой на петлях.

Когда Григорий уже убирал стружки и мусор от сруба, к нему подошел Василий Ефремович и осмотрел новое деревянное устройство.

— Это ты что ж, товарищ Хромов, всурьез или нарочно тут строишь?

— Немного лучше будет, дядя Вася,— сказал Хромов.— Вода чище станет, а то у детей животы болеют и они помирают.

— Эк тебе забота: дети помирают! — выразился Василий Ефремович. — А то детей у нас дюже мало! Одни помрут, вторые на смену явятся — ишь ты, чем государство наше испугал... Нас ничем не напугаешь — девки у нас красные, парни геройские: они тебе сколько хочешь народа вперед, впрок нарожают! Да и зачем тому родиться, кто помирает скоро: пускай помирает, его чистой водой от смерти не сбережешь, а и выживет, так все одно он квелый, маломощный будет, — нам таких граждан не нужно! Нам такие нужны, чтоб навозную жижку пили — и серчали, как звери, от лишнего здоровья... А это что — вся твоя тут цивилизация — это безвозмездное дело!

Григорий нахмурился и поглядел на Василия Ефремовича.

— Тебе хорошо говорить, ты век свой прожил, а людям неохота помирать в детстве и матерям их неохота хоронить.

— Это-то хоть так,— поразмыслил конюх.— Я о пользе дела тебе говорил: кто нам нужен, а кто нет.

— А я не о пользе? — сумрачно произнес Григорий Хромов. — Я о жизни, чтоб люди не помирали зря...

— Ну хлопочи, хлопочи, — согласился Василий Ефремович, — мне какое дело, мое дело в дальней стороне... А твое дело тоже не здесь — твое дело славу заслужить и высший почет, чтоб вся вселенная картуз сняла перед тобой, — вот какое твое дело! А ты тут древесину тешешь, чтоб твоя мамаша, председательница, спасибо тебе сказала. Телок ты дурной: вырос давно, а мать все тебе начальство! Рванись вперед во всю прелесть жизни!..

Конюх зарычал от исступленного воображения всей прелести жизни и пошел куда-то за околицу, а Григорий озадачился от его речи.

Вечером Григорий долго читал книгу о дальних перелетах и об автомобилях, которые ехали по Москве, убранные живыми розами. Он склонил голову на стол и задремал. И ему представилось, что он видит автомобиль с плошками роз, поставленными на подножки, видит людей в этом автомобиле, но не может никак разглядеть и узнать их в лицо, а когда узнал, то закричал от радости и заплакал: в машине сидели как герои Гараська и Мишка из ихней деревни.

«Мама, — сказал он матери, — я видел теперь всю славу и силу, они в Кремль, в гости поехали, я тоже хочу», — но мать ответила ему тихо: «Не шуми, когда соскучатся по тебе, тогда и позовут, а сейчас — нечего».

Григорий очнулся. Лицо его было покрыто слезами, и

сердце дрожало от предчувствия счастья, но в избе было спокойно и иеизменио, как было всегда с самого детства: горела лампа иа деревяином, выскоблеином столе, поскрипывал старый железиый флюгер — петух на дымовой трубе иад крышей, обеспокоеииый полночным неиастным ветром, и мать спала на печи, она не обещала и не говорила сыну ничего. И Григорию стало вдруг стыдно своего желания счастья и славы, присиившегося ему во сне, и жалко самого себя, ие заслужившего ни славы, ни чести.

Наутро пал первый снег. Григорий запряг в роспуски Соичика и Зорьку и поехал в лесиичество, чтобы начать вывозку полагавшегося деревне Миiушкино леса, заготовленного еще до полой воды. Добрые лошади теряли в теле по иевнимательиому уходу за ними Василия Ефремовича, но бежали скоро и покорно, давио втяиувшись в крестьянский труд.

За околицей шли дети и подростки, играя меж собой в снежки. Они шли с кингами, тетрадями и пеналами, неся их в сумках через плечо или под мышкой, и поспешили в школу-семилетку, что была в деревне Шаталовке, в четырех километрах отсюда. Шаталовскую школу окончил весной и сам Григорий Хромов. Все учащиеся дети каждый деиь ходили из Минушкина в Шаталовку, а потом оттуда обратио домой. В теплое время это было терпимо, но зимой и в непогоду минушкинские дети студились и уставали, а родители беспокоились о них. Человек пять детей по слабости здоровья и вовсе ие ходили в школу. Но что было делать? Минушкино — деревня малая и учеников в ней иемного; район обещал начать строить школу, ио не в самые ближиие годы, а в прочее будущее время, когда население в Минушкине размиожится и подоспеет и со средствами в районе будет свободнее.

Григорий усадил всех детей иа роспуски и подвез их до Шаталовки, а потом повернул в лесничество.

На обратиом пути Григорий раздумался; лошади шли шагом в тишиие зимнего поля, роспуски смирно поскрипывали под тяжестью двух больших хлыстов; близ дороги рос кустарник: маленькие сосны и ели стояли запушеные поверху снегом, как милые дети в стариковских шапках, дети, которые смеются, нахмурившись, и смотрят на всех сквозь улыбку полуоткрытыми глазами, полными спокойного ума.

Григорий сидел на длинных хлыстах, пружинящих от движения роспусков, и шевелил иогами по сиегу, обрушенному передними полозами роспусков.

— На амбаре накат еще постоит, — решил Григорий вслух, потому что все равно никого не было в зимнем спящем поле. — Накат не рухнет. Я школу буду строить с библиотекой — сложу за зиму большую избу, пусть хотя бы четырехлетка у нас будет и библиотека — книг на тысячу. А то вырастет у нас из детей бессмысленный народ, а пожилые подуреют без чтения иль жить соскучатся: Василий Ефремович вон совсем одурел... В лесничестве нам полагается еще хлыстов шестьдесят получить, попросим — прибавят: управимся... Ишь ты, ишь ты, Зорька! Что ты делаешь, вредная какая! — и Григорий шлепнул вожжой по крупному туловищу Зорьки.

Мерин Сончик, как более работящая и тягущая лошадь, без понукания перешел на мелкую упористую рысь, но Зорьке это не понравилось, и она, идя в пристяжке, норовила укусить Сончика в морду, чтобы он опять пошел шагом и не заставлял Зорьку бежать: она уже утомилась.

Вскоре открылось Минушкино, оно лежало в отлогой впадине земли; небольшое семейство изб прильнуло к сохраняющей их земле; из нее, из ее веществ и растений они созданы и тут живут. Посредине деревни на улице белела свежая древесина колодезного сруба и ворота, и одна женщина вращала ворот за рукоятку, подымая бадью с водой, что обрадовало Григория. «Пусть пьют чистое»,— подумал он.

Дома он сказал матери о своем желании построить за зиму большую избу под школу и библиотеку и попросил у нее разрешения на работу.

Мавра Гавриловна подумала:

— Сложить избу ты сложишь, руки у тебя усердные — по рукам ты весь в отца,— сердце у тебя тоже чистое, и нужда у нас в той избе первая. Наш колхоз без школы как без души живет, да и пожилому народу надо занятие дать для ума, пусть будет библиотека для чтения... Ну избу ты сложишь, а дальше что, голова ты беззаботная?

— А чего дальше? — не понял Григорий. — Дальше наука начнется и чтение.

— Наука! — сказала мать-председательница с раздражением. — А учительница нужна, а инвентарь, а прочее что! Денег-то сколько от трудодней надо вычесть: хорошо ли будет-то?

— Нет, то плохо будет, — опечалился было Григорий. — А я тогда в город плотничать уйду и буду все деньги присылать на учительницу и на керосин в школу...

Мать удивилась на своего сына и обрадовалась ему, но сказала иное:

— Да что ты, Гриша! И там люди не даром живут — хватит ли тебе самому-то прокормиться! А я-то кто же тебе? Я захвораю и помру тут без тебя — иль уж учительница в школе дороже матери тебе стала? Приедет, гляди-ко, козявка беспородная, а сын на нее в городе работай!.. Нет уж, моя тут власть — не твоя!

Но дума о будущей тесовой школе-библиотеке, построенной его руками, уже согревала сердце Григория и делала жизнь его влекущей и милой; без этой думы ему стало бы теперь так грустно зимовать в деревне, что он бы ушел отсюда или заплакал.

— Мама, я пристройку там сделаю...

— Это к чему же еще деньги-то лишние тратить?

— Там столярная мастерская будет. Я начну делать табуретки, столы и скамейки и продавать их в район. И ребят, какие станут в училище учиться, научу работать. Нас много будет работать, и денег много будет — мы карты всего мира купим, книги самые главные купим и учительнице будем жалованье платить...

— Ишь ты, ишь ты, разошелся! — заговорила мать. — Жалованье он будет платить! Уймись-ка!

Григория обидело это равнодушие и насмешка матери, и он закричал на нее:

— Сама уймись!.. Люди летать учатся, люди все книги знают, а я ничего, и мне нельзя!

Он не знал, что нужно еще сказать — так горе стеснило его мысль, и он вышел вон из избы, не зная, куда идти. А мать умолкла и осталась одна.

Григорий направился за околицу. Кончался первый зимний день, серый вечер приблизился к деревне с лесной, полночной стороны, и в избах зажглись огни навстречу тьме. Григорий измерил шагами поляну у околицы и решил, что это место будет подходящим для постройки. Затем он пошел ко двору, чтобы взять лопату и расчистить снег на поляне.

В избе мать тоже уже зажгла свет, у соседей за столом сидели дети с бабкой и ужинали, а старик кузнец, наработавшись за день, лег, наверно, спать, не зажигая огня, — в его избе было темно. Все они жили здесь, добывали хлеб из земли и не мучились, что не умеют летать, — они зато умели пахать и радовались, что другие люди живут героями, возвышая их участь.

Григорий пожалел, что закричал на мать: она ведь тоже

всю жизнь не имела того, о чем он жалел, но жила без озлобления. Он поглядел в окно родной избы: мать постелила уже полотенце на край стола, где всегда обедал и ужинал Григорий, а сама сидела у другого конца стола задумавшись. О чем думают матери? Умирая, они оставляют своих детей на земле одних. Как же они должны желать того, чтобы весь свет переменился к лучшему, чтобы дети их продолжали жить, оставшись сиротами, без страха, без гонения, без изможлающего горя, а так же бы, как при матери...

Через несколько дней Григорий понял, как непосилен был труд, начатый им. Одному было несподручно — и хлысты возить из леса, и пилить их, и готовить, и класть в венцы. А затем нужно еще из кряжей поделать доски, связать рамы, съездить в район за гвоздями и стеклом и о прочем позаботиться. Но Григорий знал, что помочь ему некому, и с терпением выносил свой неподъемный труд. «Переживу, — думал он, — жалеть еще буду, что скоро построил; тогда запруду начну сыпать, пруд нам нужен: рыба — хорошая пища». Особенно неподъемно было укладывать в одни руки стенные бревна; однако, помучавшись, Григорий устроил приспособление из веревки и деревянного блока, и ему стало чуть-чуть легче.

Конюх Василий Ефремович исчез из колхоза, — думали, что невозвратно, но недели через две он возвратился, столь же неприкаянный, что и прежде. За это время Григорию пришлось в добавление к своей работе ухаживать также и за лошадьми, потому что их некому было поручить, — поэтому Григорий больше всех обрадовался возвращению Василия Ефремовича.

Конюх первым делом явился к Григорию на постройку.

— Новый мир, что ль, строишь опять? — заинтересовался Василий Ефремович.

— Нет, избу для школы, — сказал Григорий.

— Зря, — высказался Василий Ефремович. — В этой школе никакой карьере все равно не научишься...

Григорий промолчал; ему некогда было, он в это время хотел испытать, как он будет разделывать бревна на доски в одиночку; доски ему нужны были на подмости. Он влез на высокие козла, на которых лежало бревно, и заправил в бревно поперечную пилу: пилить надо было отвесно, вверх и вниз, но пилу заедало в древесном распиле, она играла и не шла в работу. Григорий спрыгнул на землю и пошел в овраг, а Василий Ефремович стоял в стороне и смотрел, что дальше будет. Григорий принес из оврага самородный ка-

мень пуда в два весом, затем обвязал его веревками и подвесил к нижней рукоятке пилы. Работа далее пошла правильно, но тяжело. Ведя пилу вверх, Григорий не только совершал распил, но и подымал камень, подвешенный снизу к пиле, вниз же пила шла под нажатием рук Григория и вывешивалась тяжестью камня, не позволявшего пиле играть и заедаться. Григорий работал в одной рубашке и без шапки, но ему было тепло в работе, и пар шел от его рта и лица.

— Это сурьезно, — произнес Василий Ефремович в размышлении.— Он и без наших масс управляется...

Он снял с себя полушубок, бросил его на бревна и подошел под козлы, где ходила пила. Уловив момент, Василий Ефремович приостановил пилу, снял тяжкий камень с нее и свергнул его на землю.

— Ты что там? — спросил его сверху Григорий.

— Обожди! — приказал Василий Ефремович. — Дай я возьмусь с тобой.

Григорий обождал работать и промолвил:

— К чему тебе браться, дядя Василий? Я один приноровлюсь и стерплю...

— Как так к чему! — осерчал Василий Ефремович.— А я кто такой — скотина, значит, по-твоему?

— Нет, — ответил Григорий, — какая ты скотина — скотина такая не бывает... Я про школу тебе говорю — зачем тебе браться за пилу: школа тебе не нужна, и весь новый мир тоже ни к чему.

— Верно, — согласился дядя Василий. — Ни к чему. А я не из-за того, я не ради школы и не из прочего: я ради тебя — ты для меня теперь вроде осьмушки всей вселенной представился, потому что от тебя мне внутри хорошо стало! Но только непонятно, пользы я не вижу...

— Держи пилу крепче! — крикнул Григорий сверху.

И они вдвоем начали пилить бревно вдоль, во всю длину, дыша в два сердца в лад работе.

Луговые мастера

Небольшая у нас река, а для лугов ядовитая. И название у нее малое — Лесная Скважинка. Скважинкой она прозвана за то, что омута в ней большие: старики сказывали, что мерили рыбаки глубину деревом — так дерево

ушло под воду, а дна не коснулось, а в дереве том высота большая была — саженей пять.

Народ у нас до сей поры рослый. Лугов — обилие, скота бывало много, и харчи мясные — каждое воскресенье.

Только теперь пошло иное. На лугах сладкие травы пропадать начали, а полезла разная непитательная кислота, которая впору одним волам.

Лесная Скважинка каждую весну долго воду на пойме держит — в иной год только к июню обсыхают луга. Да и в себя речка наша воду начала плохо принимать: хода у ней засорены. Пройдет ливень — и долго мокреют луга, а бывало, враз обсохнут. А где впадины на лугах — там теперь вечные болота стоят. От них зараза и растет по всей долине, и вся трава перерождается.

Село наше по-казенному называется Красногвардейское, а по-старинному — Гожево.

* * *

Жил у нас один мужик в прозвище Жмых, а по документу Отжошкин.

В старые годы он сильно запивал.

Бывало, купит четверть казенной, наденет полушубок, тулуп, шапку, валенки и идет в сарай. А время стоит летнее.

— Куда ты, Жмых? — спросит сосед.

— На Москву подаюсь,— скажет Жмых в полном разуме.

В сарае он залезал в телегу, выпивал стакан водки и тогда думал, что поехал на Москву. Что он едет, а не сидит в сарае на телеге — Жмых думал твердо. И даже разговаривал с встречными мужиками:

— Ну, што, Степан? Живешь еще? Жена, сваха моя, цела?

А тот, встречный Степан, будто бы отвечает Жмыху:

— Цела, Жмых! Двойню родила! Отбою нету от ребят!

— Ну ничего, Степан, рожай, старайся, воздуху на всех хватит,— отвечал Жмых и как бы ехал дальше.

Повстречав еще кой-кого, Жмых выпивал снова стакан, а потом засыпал. Просыпался он недалеко от Москвы.

Тут он встречал будто бы старинного знакомого, к тому же еврея:

— Ну как, Яков Яковнч! Все тряпки скупаешь, дерьмом кормишься?

— По малости, господин Жмых[1], по малости! Что-то давно не видно вас, соскучились!

— Ага, ты соскучился! Ну, давай выпьем!

И так Жмых,— встречая, беседуя и выпивая,— доезжал до Москвы, не выходя из сарая. Из Москвы он сейчас же возвращался обратно — дела ему там не было,— и снова дорогу ему переступали всякие знакомые, которых он угощал.

Когда в четверти оставалось на донышке, Жмых допивал молча один и говорил:

— Приехали! Слава тебе господи, уцелел! Мавра,— кричал он жене,— встречай гостя! — И вылезал из телеги, в которой сидел уже четвертый день. После этого Жмых не пил с полгода, потом снова ехал в Москву.

Вот какой у нас Жмых: мужик что надо, но мощного разума человек!

* * *

Позже, в революцию, он совсем остепенился.

— Сурьезное,— говорит,— время настало!

Ходил на фронте красноармейцем, Ленина видал и всякие другие чудеса, только не все подробно рассказывал.

— Не твое дело,— говорит.

Воротился Жмых чинным мужнком.

— Будя,— говорит.— Пора деревню истребить!

— Как так, за что такое? — спрашивают его мужики.— Аль новое распоряжение такое вышло?

— Оно самотеком понятно,— говорнл Жмых.— Нагота чертова! Беднота ползучая! Што у нас есть? Солома, плетень да навоз! А сказано, что бедность — болезнь и непорядок, а не норма!..

— Ну и шшо ж? — спрашивали мужики.— А как же иначе? Дюже ты умен стал!

Но Жмых имел голову и стал делать в своей избе особую машину, мешая бабьему хозяйству. Машина та должна работать песком — кружиться без останову и без добавки песка, которого требовалось одно ведро.

[1] Тогда еще господа были: дело довоенное.

Делал он ее с полгода, а может, и больше.

— Ну, как, Жмых? — спрашивали мужики в окно.— Закрутилась машина? Покажь тогда!

— Уйди, бродяга! — отвечал истомленный Жмых.— Это тебе не пахота — тут техническое дело!

Наконец Жмых сдался.

— Што ж, аль песок слаб? — спрашивали соседи.

— Нет, в песке большая сила,— говорил Жмых,— только ума во мне не хватает: учен дешево и рожден не по медицине!

— Вот оно што! — говорили соседи и уважительно глядели на Жмыха.

— А вы думали што? — уставлялся на них Жмых.— Эх вы, мелкие собственники!

* * *

Тогда Жмых взялся за мочливые луга.

И действительно, пора. Избыток народа из нашего села каждый год уходил на шахты, а скот уменьшался, потому что кормов не хватало. Где было сладкое разнотравие — одна жесткая осока пошла. Болото загоняло наше Гожево в гроб.

То и взяло Жмыха за сердце.

Поехал он в город, привез оттуда устав мелиоративного товарищества и сказал обществу, что нужно канавы по лугу копать, а саму Лесную Скважинку чистить сквозь.

Мужики поломались, но потом учредили из самих себя мелиоративное товарищество. Назвали товарищество «Альфа и Омега», как указано было в примере при уставе.

Но никто не знал, что такое Альфа и Омега!

— И так тяжко придется — дернину рыть и по пузо копаться,— говорили мужики,— а тут Альфия. А может, она слово какое законное, а мы вникнуть не можем, и зря отвечать придется!

Поехал опять Жмых — слова те узнавать. Узнал: «Начало и Конец» — оказались.

— А чему начало и чему конец — неизвестно! — сказали гожевцы, но устав подписали и начали рыть землю: как раз работа в поле перемежилась.

Тяжела оказалась земля на лугах: как земля та сделалась, так и стояла непаханая.

Жмых командовал, но н сам копался в реке, таская карчу и разное ветхое дерево.

Приезжал раз техинк, мернл болота и дал Жмыху плаи.

Два лета бились гожевцы над болотами н над Лесной Скважикой. Пятьсот десятин покрыли каиавками да речку прочистнлн на десять верст.

И правда, что н техник говорнл, луга осохлн.

Там, где вплавь на лодке едва перебирались, на телегах поехалн — н грунт, ннчего себе, держал.

На третнй год все луга вспахали. Лошадей измаяли вконец: дерннна тугая, вся корневищами трав оплелась, в четыре лошади одиолемешный плужок едва волокли.

На четвертый год весь укос с болот собралн, н кнслых трав стало меиьше.

Жмых торопил всю деревню — и ии капли ие старел ни от труда, ии от времени. Что значит польза и иитерес для человека!

* * *

На пятый год травой тимофеевкой засеяли всю долииу, чтобы кислоту всю в почве истребить.

— Мудер мужик! — говорнлн гожевцы на Жмыха.— Всю Гожевку на корм теперь поставил.

— Зиамо, не холуй! — благородио отзывался Жмых.

Продали гожевцы тимофеевку — двестн рублей десятииа дала.

— Вот это да! — говорнлн мужики.— Вот это ие кроха, а пища!

— Скоты вы! — говорнл Жмых.— То ли нам иадо? То ли Советская власть желает? Надобно, чтоб роскошная пища в каждой кишке прела!..

— А как же то стаиется, Жмых? И так добро из земли прет! — отвечали посытевшие от болотиого добра гожевцы.

— В недра надобно углубиться! — отвечал Жмых.— Там добро погуще! Может, под иами железо есть аль еще какой миерал! Будя землю корябать — века зря проходят!.. Пора промысел попрочией затевать!

— В иутро, это действительио,— ответил Ермил, одии такой мужик.— Снаружи завсегда одна шелуха!

— Ну ясио: пух н прыщи! — подтвердил Жмых.— А прочиое довольствие в иутре иаходится!

— Да будя, едреиа мать, языки чесать! — с резоиом

выразился Шугаев, ходивший в председателях.— Нам теперча сепараторы надо завести, а то продукт сбывать нельзя, а тут сухостойным делом займаются: как бы поскорей в нутрё забраться! Вот ляжешь в могилу — тогда там и очутишься!..

Лесная Скважинка сипела в русле, и пахучие пространства говорили о прелести сущей жизни.

1928

Михаил Лоскутов

•

Немного в сторону

Мы ехали по геологоразведочным делам и совсем не собирались заниматься каракулем совхоза № 7. Утром по дороге мы свернули на железнодорожную станцию. Станция называлась Уч-Кудук. Уч-Кудук означает «Три колодца». Это был грязный дом с плоской крышей, с земляным перроном, с видом на рыжие горы у горизонта. Висел колокол, под ним валялась поломанная дрезина, начальник смотрел в окошко. Начальник попросил нас обождать немного; он даст нам кое-какую почту для совхоза № 7. На таких разъездах каждый раз обязательно находится какое-нибудь попутное поручение. Мы привязали коней к столбу с надписью: «Ключ от воды у начальника», сели на перрон и свернули папироски.

Ветер в степи швырялся в станционный домик верблюжьей колючкой. Ржавый почтовый ящик болтался на одном гвозде. Он выглядел символическим, этот странный предмет, здесь, где кончаются последние дороги; словно он хотел сказать: «Какая тут регулярная почта: ветер, степь, зыбкие тропы, черт знает что...»

Вот извольте теперь,— совхоз № 7 неожиданно вплелся в наши дела. Мы отправлялись в совхоз, о котором знали только, что дал он за последнее время очень много двоен. Он был расположен в песчаной степи, километров за пятьдесят от железной дороги, этот № 7.

Меньше всего, очевидно, этим двойням радовался начальник станции. Его мучила почта. Он сложил все накопившиеся здесь пакеты, поджидая оказию.

— Ребята молодые... Небольшой крюк... Подумаешь... Подумаешь, лишних пятнадцать километров... — бодаясь,

говорил он иам, выглядывая помииутно в окно. Ои боялся, чтобы мы ие уехали.

Три скучающих пассажира, сидя иа корточках, играли в кости. Они кутались в халаты. Лето в этих краях еще не коичилось, но было уже холодно. С Каспия летели зябкие птицы. За рельсами иа пригорке стояла собака. Ветер топорщил шерсть иа ее спиие, хвост был зажат между задиими лапами. Собака посмотрела иа станцию и убежала. Пассажиры ушли с перрона. Накоиец иачальник выиес свои пакеты. Что за корреспоидеиция может быть иа этой стаиции? Инструкция Каракулетреста, тощая бумажка о нерозыске трех, каких-то «трех овец за тавровыми № 716, 893, 2015, подлежащих списанию по ведомости формы 6/10», газета «Туркмеиская искра» за истекшие две недели и иесколько частных писем.

Среди этих писем выделялось одио, с иадписью: «Елене Павловие Неджвецкой». Мы обратили виимаиие иа его изящный, но очеиь потертый и местами прорваииый коиверт. На ием стоял штемпель: «Париж, 5-е отделение Сены». С любопытством повертев в руках этот сиреиевый парижский конверт, адресованый почему-то сюда, иа край Уч-Кудукской степи, мы бросили его в сумку, отвязали коией и вскочили в седла.

Дорога в совхоз была утомительиой. Дождь, прошедший иочью, размочил всю землю в глиняиую жижу. Лошадеики иаши ие раз скользили, спотыкались и, иавериое, вместе с нами проклинали эту дорогу, глииу, дождь и однообразие пути. Больше всего устали иаши глаза; впереди были только степь и лужи.

Это очеиь плохо и утомительио, когда не иа что смотреть. Тогда мы вспомиили о письме. Вынутый из переметной сумы, коиверт оказался тоже пострадавшим от этой дороги; теперь на ием сохраиилось только имя адресата, а вокруг иего из дыр коиверта выглядывали строчки письма. Как бы став случайиыми свидетелями чьей-то иаготы, мы опустили его обратио в сумку, ио, одолеваемые скукой дороги, пренебрегли скромностью. Правда, нам удалось прочесть лишь первую строчку письма.

«Моя маленькая девочка»,— говорилось там. Созиаемся, это иам скрасило дорогу. «Моя малеиькая девочка,— кричали мы друг другу со своих седел, имитируя воображаемого автора письма,— мой аигел, моя курочка». Мы хохотали, подхлестывали своих лошаденок, подмигивали друг другу и отпускали насчет молодеиьких девушек обыч-

ные мужские шутки, в которых участники умышленно переусердствуют, стараясь перещеголять друг друга.

Но этого хватило нам ненадолго. Вскоре мы опять молчаливо покачивались в седлах, и в памяти лишь осталось чувство некоторого любопытства к неизвестной Елене Павловне — адресату нашей почты.

К ночи мы увидели первые признаки жилья. Это была груда старых консервных банок, два шакала рылись в них; вскоре показался совхоз.

Ночевать нам пришлось здесь, у директора совхоза.

Эта ночь нам помнится, как смесь рассказов директора, шагающего сквозь свет керосинового фонаря, и обрывков сна, в котором мы еще ехали по степи, сквозь дождь. К утру мы знали все новости совхоза: три отары переведены на осенние пастбища, в поселке построена баня на триста человек, умерла какая-то учительница музыки, приехал ученый скотовод, получены волейбольные мячи. На волейболе мы и заснули. Проснулись мы в маленькой глинобитной комнате с итальянским окном. У окна сидел директор. Засунув руку в голенище сапога, он палочкой счищал с него глину. Потом он вынул из глубины письменного стола аккуратно свернутый пиджак с орденом. Тряпочкой он вытер орден.

— Вот и все,— сказали мы.— Как говорят, наша миссия окончена. Статистика двоен ясна. Да, еще от начальника станции тут вам кое-что...

Мы вытащили нз сумки почту и передали директору.

— Кто эта гражданочка? — спросили мы, указав на сиреневый конверт.

— Я же вам говорил,— ответил он.— Ночью я вам все рассказывал про нее. Идемте туда, пора...

Мы подошли к длинному зданию барачного тнпа с надписью «Клуб».

Войдя в него и протискавшись между рядами людей на скамьях, мы вдруг увидели гроб, стоящий на сцене перед столом президиума. В гробу, оклеенном фестонами из крашеной газетной бумаги, лежал труп старухи. Покойница была в старинном молескиновом платье, с высоким воротником, подпиравшим подбородок. На пальце ее левой руки поблескивал серебряный перстень с голубым цветочком. Сухое и строгое лицо старухи как бы смотрело на свисающую сверху декорацию облака, сшитую из мешковины.

Это была учительница музыки Елена Павловна Нед-

жвецкая... Так вот кто получатель иашего снреневого конверта!

Это было неожидаино. Пнсьмо вручать было некому. Но как раз теперь иас взволиовала иензвестиая иам Елена Павловиа. Геологнческие дела мы решнлн отодвинуть на следующий день.

Нам рассказали, что учительннца приехала в совхоз недавно — пять месяцев назад — с иовым днректором. С инм в поселке появнлнсь неожнданио вещи: сорок детскнх кроватей, десяток патефонов, электрнческне дойкн, чертежн ветродвигателя для подъема воды нз колодца. Совхоз наполннли зоотехннкн, ветерннары, специалисты по сыроварению, рытью колодцев и стройке дорог.

Средн них вдруг появнлась малеиькая старушка. Сиачала ннкто даже не понял, к чему здесь такая старушка. Потом все понемногу прнвыклн к ее строгой н иемного чопорной фнгуре н к тому, что она учнтельница музыки.

Она была не совсем к месту. Сквозь сутолоку шерстезаготовительной, случной н кормовой горячки оиа приходнла в канцелярню совхоза со своими страиными музыкальными разговорами, с напомннаннями о иотах и ннструменте. Больше оиа ничего не призиавала н, иаверное, не поинмала. Вообще вндели ее редко. Мнмо силосиых ям она проходнла в клуб, прнподымала двумя пальцами подол молескннового платья. Рабочне звали ее «мадам». Жила она в фанерной комнате с розовой занавеской вместо дверн. Трн дня назад, собирая в степн цветы, оиа простудилась н умерла.

Тогда все вдруг почувствовалн отсутствне этой однокой старухи. Ее пребыванне в поселке стало уже прнвычным и даже необходимым, как десяткн знакомых лнц, с которымн незаметно роднншься среди общей занятостн и работы.

От нее осталнсь платья, несколько альбомов, четыре портрета, броизовый подсвечинк н кровать с шарами, повязаннымн, точно котята, голубыми ленточкамн. На столе в фаиерной комнатке днректор нашел незапечатаниое письмо без адреса, вндно учнтельннца не успела его отправнть. В понсках адресата директор прочел пнсьмо. Адрес он нашел в старых пнсьмах учнтельннцы. «Париж. Станнславу Керн. Улица Тнволн, 174».

Гроб поставнлн в клубе и созвали траурное собраине. За роялем в ряд сиделн со строгнми лнцамн ученики Елены Павловны. В клуб иепрерывно входнли жнтели по-

селка; умолкая у дверей, помявшись немиого, они на носках проходили к скамейкам.

Когда все собрались, иа сцеиу подиялись секретарь парткома и директор.

— Товарищи,— начал директор, с трудом подбирая слова,— мы хороиим товарища с иашего трудового фроита... которая не заиималась каракулеводством или полеводством... Но она тоже честио делала свое... Оиа учила наших детей музыке. Я, товарищи, в музыке мало поиимаю... Я не буду говорить, какой человек была Елеиа Павловна. Вот я иашел ее письмо. Я его прочту.

Здесь секретарь парткома взял со стола лампу и поднес к директору. Свет лампы упал на желтое лицо покойиицы и бумажиые листки в руках директора. С трудом разбирая письмо, директор прочел следующее:

«Дорогой Стаиислав!

Я твердо верю, что скоро накоиец мы сиова увидимся с тобой — тебе ие кажется, что это миого? Я бы все отдала за то, чтобы посмотреть, каким ты стал, мой хороший. Помнишь ли ты, как мы с тобой играли в четыре руки... Это поразительиая вещь! Сколько связано у иас с ней иадежд, мечтаиий...

Ты зиаешь, я и сейчас часто исполияю ее. Тогда иа душе становится теплее, я вспомииаю миогое, смотрю, как за окиом плывут куда-то облака, в степи, у гор колышутся кусты тамариска, идут верблюды, вьючеиные сеиом. «Сеноуборочная» у иас сейчас в самом разгаре. Все бегают как угорелые. Нигде толку ие добьешься. А моим детишкам пора уже переходить иа что-иибудь более взрослое — они все еще сидят на экзерцициях,— у меня же только первые иомера. Правда, директор,— это довольно удивительиый персоиаж,— всегда прииимает меия очень вежливо и находит время поговорить. Вообще, страниые вокруг меия люди. Часто я думала: зачем им понадобились тут мои экзерциции и Шопеиы?.. Кругом степь и овцы... Привезли меия иа голое место, инструмеита нет, ничего нет,— как же учить детей музыке?! Проходит месяц. Когда же иаконец привезут рояль? — спрашиваю у директора. «Я,— говорит ои,— сам мучаюсь этим. И вы не смейтесь, только я вот что придумал: пока там рояль придет, нельзя ли разрисовать клавиши на длинных таких бумажках и по иим учить ребят нотам». Ты поимаешь — на бумажках! «Давайте, говорит, использовать внутренние

ресурсы»,— и хлопнул меня по плечу. Я остолбенела, конечно.

Ну, что же ты думаешь — действительно сделали бумажки, и ребята по ним прекрасно усвоили ноты. Я «использовала внутренние ресурсы».

В последнем письме ты пишешь, что я должна всматриваться в окружающее. Я глубоко понимаю тебя, я надеюсь, что и ты поймешь мои чувства, странные и противоречивые чувства человека, живущего здесь. Что факты! Сухие обозначения нот, не приведенные в гармонию. Лишенные взаимной связи, они только звуки, не дающие колебаний души. Изволь, я перечислю тебе наши «факты».

Семейные рабочие уже переселены из общего барака. Ликвидирован наконец бруцеллез — наш особый овцеводческий бич. В мальтийской лихорадке лежат, правда, два наших специалиста, но лекарств теперь вполне достаточно. Рабочие по вечерам не так уж пьют, меньше играют в карты: плохо то, что они иногда ужасно сквернословят. Но в общем все они простые, хорошие и славные люди. Я их начинаю понимать. Однажды, когда все их ребята стали уже прилично играть, ко мне пришли с петицией — составить нам кружок пения. И я не могла отказать в этом. Сейчас они даже выступают перед публикой.

Недавно праздновали Октябрьскую годовщину. У нас это выразилось в том, что все мы демонстрировали по главной дороге и дошли до конца поселка в степи. Дул страшный ветер. К тому же я очень волновалась: вечером в клубе должен был выступать хор моих ребят, я все время уговаривала детишек не петь на ветру. Но, представь себе,— вечер прошел с триумфом: разученные нами песни были исполнены с таким подъемом и вызвали такое бурное сочувствие в зале, что я, признаться, даже прослезилась.

Теперь у меня отношения такие: соседи по бараку меня научили надевать портянки, чтобы в мокрую погоду выходить в сапогах. На собрании мне преподнесли шкуру каракуля на воротник. Председатель рабочкома сказал: «Вы перевыполнили свой план, а мы — свой, носите на здоровье».

А когда рояль перевозили в клуб, его несли торжественно, как на демонстрации, и все поздравляли меня.

Я смотрю за окно, там уже вечер. Одинокая звездочка зажглась над горами, любимая звездочка — как когда-то, в окне моей детской спальни. А я уже старуха... В даль-

нем ауле трубит карнай, призывая мусульмаи на молнтву. Мон соседи играют иа гармошке. Я думаю о своей страниой жнзии н не знаю, кто мпе ответит иа мои вопросы?.. Тучи мыслей теснятся в моей бедной постаревшей голове, н хочется все это тебе высказать, но не иахожу слов. Уж как-иибудь в другой раз.

Как твои офорты и натюрморты? Целую тебя. Целую так, как, помнишь, в тот далекий вечер. Твоя Л и л я».

Секретарь парткома переиес лампу обратно иа стол, теиь профнля старухи качиулась вправо. Директор постучал караидашом по столу.

— Товарнщи,— сказал он,— я предлагаю послать письмо по адресу и припнсать еще иеизвестиому нам граждаииу, что Елеиа Павловна позавчера скоичалась на своем посту. Начатое ею дело мы будем продолжать.

Добавленне это было тут же приписаио, и письмо было вручено нам для доставкн иа станцию.

Мы вышлн на двор одиовремеино с похорониой процессней. Когда шестеро мужчии выносили гроб из клуба, раздалнсь звукн рояля: учеиики Елены Павловиы играли выучеиные имн упражнеиия.

Мы вскочнли в седла и, промчавшись без отдыха остаток дня и весь вечер, иепрерывио подхлестывая коией, в ту же ночь доставили на стаицию Уч-Кудук это письмо, адресованное неизвестному в Париж.

1938

Николай Зарудин

•

Спящая красавица

1

За двести верст от Москвы воцаряется бескрайняя глухая зима. После жаркого плацкартного вагона Кривицкий, двадцатипятилетний урбанист и почитатель Дос-Пассоса, остается один на один с незнакомым и страшноватым, как ему кажется, миром.

Станция не из примечательных, затонувшая в снежном ночном тумане. Два часа журналист Кривицкий ожидает лошадей в предрассветном сумраке нетопленой людской залы. Бесконечно перечитывает он плакат Союзплодоовощи, приказ Наркомпути, слышит за стеной телефонные звонки, выкрики о вышедшем 51-м и считает, сколько раз приоткрывается дверь, впуская морозную ночь, людей с фонарями и мерные громы проходящих составов. В телеграфной чей-то надорванный голос до самого света негодует о кознях какого-то ревизора Сытина. Там, очевидно, тепло, нет этой круглой, обитой черным железом печки, не топленной по крайней мере сто лет. Кривицкий слышит о каком-то суде — что-то глубоко российское, где и жена начальника станции, и опять ревизор Сытин, и служба пути, и стодвадцатипятирублевый оклад, ревизия, черт его знает что! Он саркастически морщится, мерзнет, оскорбляется, видя полное равнодушие станционных служащих к его судьбе, но не двигается с места. Лампа-«молния» еле освещает пустую комнату. По асфальтовому полу, словно за невидимой ниткой, бесшумно перелетает мышь. К рассвету Кривицкий приходит к окончательному убеждению, что он брошен на произвол судьбы, и с острой тоской и любовью вспоминает шумную свою, вчерашнюю, как патефонный диск, неуклонную московскую жизнь... И деревня,

куда он едет, представляется ему уже с тем чувством заброшенности и одинокости, что испытал он давным-давно в южном еврейском городке, при оккупации его неким атаманом Ангелом.

Светает очень медленно и уныло. Уже совсем засветло журналист выходит на пути. Бездна мира в холодном сиянии. Поле, пересыпанное миллионами стеклянных игл и блесток, освещенное морозным солнцем, ослепляет глаза. В глубине воздуха, студеного и колючего, как нарзанная вода, на путях впереди, клубится дерзкое розовое облако. Палец семафора опущен вниз. Начальник станции, в фуражке тревожно-пожарного цвета, стоит, подияв воротник.

Выбрасывая глухой, настигающий рев, неподвижно вися черной громадой паровозного котла над спешкой поршней, вырастает скорый и, перемахав поле вагонами, обдув мазутным ветром, утаскивает в качке и вьюге три фонаря вдали...

«Товарищ, товарищ, скажите нашей маме...» — думает Кривицкий и долго смотрит туда, на Москву.

А когда за ним в десять часов утра приезжает лошадь, когда его тихонько и вежливо расталкивает на лавке человек в огненно-диком тулупе, он смотрит недоумевающе, решительно встает и сразу начинает расспросы. Первым долгом спрашивает он, имеется ли и какая в колхозе села Сатина партийная ячейка.

— Александр Михайлович-то? — переспрашивает его добродушно приехавший, сморкаясь в рукавицу.— Есть такой. Только его, товарищ, не придется вам встретить. Его на конференцию вызвали, в район.

— Как — вызвали? — сразу холодеет внутри у Кривицкого.— Да мне же от него весь материал надо получить!

— А народу рази нет? — добродушно усмехаясь, отвечает возчик.— Вы об этом не сомневайтесь. Чемоданчик ваш? У нас народ, нечего говорить, дружный. Государственно, как один, работали. Вы не беспокойтесь,— опережает он журналиста,— я донесу.

Он берет чемодан, и через минуту Кривицкий конфузливо уже снимает калоши и ботинки, надевает огромные, подшитые кожей валенки и, дрожа от озноба, погружается в морозно-пахучий тулуп. Лошадь трогает. С удивлением замечает он, что лицо его возчика совсем не походит на те крестьянские лица, что представлялись еще в поезде. Но все это приходит к нему смутно и неуверенно. Бессонница укачивает его сознание. Завалившись в дровни, он

различает яркое поле в искрах стекольных игл, необычайную силу и крепость воздуха, входящую, как водочный запах, терпкий вкус овчины и то, с чем он оставлен один на один,— простое и тугое, как яблоко, исходящее от возницы, от лошади, от всего этого мира, живущего здесь под морозом и солнцем. Неожиданно журналист чувствует себя слабосильным, насмерть переконфуженным перед какой-то наготой жизни, от которой его московская судьба была запрятана столько лет.

Он дремлет.

А когда сразу обрывается шуршание снега внизу и перестает колыхать и сваливать его набок, он просыпается от неожиданного покоя, приподнимает голову... Лес, обвешанный люстрами гололедицы, обступает со всех сторон.

— Ну, что же вы... — бормочет спросонья про себя журналист.

— Никак невозможно! — отвечает ему спокойно возница и, наклонясь к собранным ладоням, чиркает спичкой.

Кривицкий облокачивается и поворачивает голову. Он видит, как, оседая задом, подымает хвост лоснящаяся пóтом кобыла и долго из-под нее клубится паром разъедаемый и буро-желтый снег. Возница уважительно и серьезно молчит.

Наконец животное женственно отряхивается, выпрямляется и поднимает голову.

— Н-ну! Удо-вольствия! — притворно грозно кричит возница, причмокивает, и Кривицкого, упавшего от толчка в сено, из этого натурализма снова тащит в неведомый, сияющий ледяным стеклом, обмороженный лес.

2

...И точно, партийной ячейки в селе Сатине Кривицкий не нашел. Но так уж водится в жизни — никак не оказываются верными наши представления об ожидаемом, и всегда открывается жизнь с иной, нежданной и негаданной стороны.

Три дня солнечно освещена деревня с чистой голубой высоты. Гололедица. Отовсюду — с кустарников и с деревьев садов, с надпрудных берез и осокорей — свисает и кипит под солнцем несметный ледяной виноград. И три дня, с часа, когда привезли его, сонного и отогревшегося в тулупном тепле, к домнику сельсовета, переживает Кри-

вицкий среди этого блеска и света совсем не похожее на виденное им за всю жизнь.

Деревня оказывается на редкость слаженной, сытой и занятой по горло сонмом своих житейских забот. И когда входит он, московский журналист, в небольшую комнатку, оклеенную светлыми обоями, с телефонным аппаратом, радиорепродуктором, с чистотой, сразу поражающей его, видит Кривицкий, что многие заготовленные им вопросы здесь уже неуместны и давно оставлены позади. Но надвигается на него другое, главное, что составляет здесь основной смысл. И журналист два дня чувствует себя переконфуженным.

В колхозной конюшне, куда его ведут сразу же, он сталкивается с этим смыслом лицом к лицу. Председатель колхоза, суровый и военной выправки человек, в распахнутом полушубке, вводит его в обширный сарай, наполненный паром, мягким животным хрустом, острым конюшенным запахом. Журналист видит, как маслено поблескивают крупы из полутемных стойл, как помахивают метелки жестких хвостов, слышит глухие удары, огненно косятся на него конские глаза, настораживаются уши и гневные гривы... Ему немного жутко, неуверенно вздрагивает тело при очередном ударе и топанье. Председатель быстро шагает от лошади к лошади, оглаживает лошадиные спины, задумчиво разбирает рукой рассыпчатый волос хвоста, щупает ноги и копыта; потом он лезет неожиданно под тугое и круглое конское брюхо.

— Тетка Фиона! — кричит он, поднимая синие, мутноватые глаза, и берет на колено копыто с блестящей, как плуговая сталь, подковой.— Неладно у тебя. Перековать отведешь сегодня же.

Женщина в платке, с лицом сизой луковицей, вырастает, словно из-под земли.

— Ай, Иван Васильевич!

— Плохо смотришь, бригадирша,— говорит строго председатель.— Отведешь в конюшню сама, присмотришь. Зорьке промывание сделала?

— Промыла вот уж как... Все глаза проглядела!

— Смотри, бригадирша! Бык-то как?

— Задумываться стал, Иван Васильевич!

— Задумывается? — резко переспрашивает председатель и бережно ставит конское копыто на землю. Лошадь буйно переступает ногами, вскидывает зад так, что Кривицкий испуганно шарахается в сторону. По всей конюшне, как

беспорядочный залп, перебирают хрустящий полумрак тяжкие, кованые удары — и стихают.— Так,— удовлетворенно говорит председатель, добрея лицом и похлопывая лошадь по крупу.— Не кони — мысли! Мой был — до Рязани два часа ездил, а теперь еще лучше... Прямо скажу — народная лошадь! Куда тут! Колхозники-то довольны коиями, бригадирша?

— Довольны, Иван Васильевич. Теперь меньше ходить стали, а то спервоначалу все ходют да ходют... Ларивоныч все приходил. Ну, известно, смотрить, тоскуеть... Оии, коты, бабу раньше не берегли, как скотину. А теперь иет, обыкновеиные стали, сытые, чуть вечер, бегут радиу слушать. Право. Михал Михалыча будете смотреть?

— Посмотрим. Наш бык,— поясняюще обращается к журналисту председатель.— Вы идите, не бойтесь, у иас лошади смирные, это они с морозу постреливают. А бычок знаменитый — изо всех колхозов. Только вот задумывается...

— Как это... задумывается? — спрашивает журналист, косясь иа хвосты и копыта, играющие своими откормлеиыми силами, и стараясь держаться поближе к председателю.

— Эх, Михал Михалыч... — вторит своим мыслям тот, не отвечая.— Тяжел, тяжел, чего говорить! Разве ему наша корова — радость? Ты, Фиона, полегче, полегче...

— Меия одиу изо всех принимает, Иваи Васильевич! — бойко, иараспев говорит бригадирша, отмыкая закут.— Вон ядра-то какие развесил... Ну, ну, ну,— бормочет оиа,— ишь, родитель какой...

И входит к быку, в натянутых струною канатах опустившему курчаво-глыбастую голову с иеподвижно-блестящими и падучими глазами. Журналисту стаиовится по-настоящему страшно. Он видит, как тяжело вкопалось в сырую солому всей стопудовой, литой яростью черно-белое мраморное туловище, как убийствеиио-выразительны роговые его крюки, как пружинит канаты и вздыбливает махину груди то, чем освещается вдруг закипающий смолой неподвижный звериный взгляд. Глаза зверя вспыхивают, стекленеют и потухают.

Председатель смотрит восхищенно, как-то весь молодеет.

— Вот черт! — говорит он радостно, ио ие решается войти.

Бригадирша, навалившись всем телом на быка, чешет

его меж рогов, льнет к нему головой, будто вся распадается.

— Ну, иу! — бормочет председатель и сиимает почему-то шапку.— Знаменитый, знаменитый... Ну и мужик! — И он выругивается, вспомииая какой-то «кореиь».

Ои смотрит иа зверя не отрываясь, как завороженный.

Бригадирша ластится к быку, гладит его завитую мерлушкой аршинную шею, и, переступая на стальиых, гибких ногах, валится чудовищиая звериная туша в стороиу, не сводя с журиалиста подериутых влажным фиолетовым блеском неподвижиых глаз.

— Продавать придется! — вздыхает председатель.— Мелка наша корова, Фиоиушка,— ие выдержит...

— Уж я, Иваи Васильевич, так к ему приобыкла, прилюбилась, ей-пра, как к родиому ровно... Только задумывается, Иваи Васильевич, слов иет, задумывается. Никого, кроме меня, не подпускает. Жалко мие его, жалко, а про коров иаших ты правильно... Не родильницы они под иим, Михал Михалычем-то... Разви можио! Наша корова, как барышия...

— Вот то-то и оно...

— А ои чисто трахтор какой... А ласковый ко мие, обходительиый!

— Смотри, Фиона... Полегче! — И председатель обращает к Кривицкому бритое лицо с подстриженными щеточкой усами.— Пойдемте! — говорит он, из вежливости к быку, вполголоса.

Оии выходят на чистую, обласкаииую раио увядающим солнцем улицу далеко за полдеиь. Вдали, за тремя сиежными прудами, журиалист видит рисованный угольиыми штрихами обшириый сад, редкие заиндевевшие елки совхозиой усадьбы, желтую предзакатиую громаду бывшего помещичьего дома. Ясиая и золотистая пауза предвечернего воздуха. Кирпичные избы подиимают иад теплыми соломеииыми гиездами крыш вечереющий дым. С колхозной риги доиосятся крики и песни, жужжаиье молотилки,— и кажется Кривицкому, после конюшеиных запахов и всего видеииого, что отовсюду — из кружевиых хором гололедицы, из серых лесков иа сиегу, из воздуха со стаями сытых падающих голубей, из обвалеииых по самые крыши соломою и клевером изб — смотрят на иего горячей мукой одии и те же огненио-влажиые иеотступиые глаза.

В риге, у самого поля, его закидывает душистой пылью, горячим и заунывным распевом песен, женским хохотом,—

он ннкак не может прийтн в себя. От иамолочеииых н провеяниых гор внкн полыхает теплым, сытиым запахом. Из барабаиа молотилки выдувает, бросает на воздух клочья соломы, вертится пыльный смерч. Парии и девушкн огребают в этом вихре мусорный еще, вихрастый и колючий обмолот. Гудят веялкн, и, звоико выщебетывая, валя друг друга иа крутые кургаиы чистого зериа, из миогих молодых, розовых сшибается, крутится в обиимку, пропадает в пыльиых вихрях миоголикая белозубая и поющая снла.

Из этого мелоднчного, веселого н шумного отчетлнво долетают до иего голоса песнн:

Долго глядела ему девица в лицо
И молча иадела на ручку кольцо.

Мелькает, кружится, дует какими-то сушеными полевыми цветами, налетает иа Крнвицкого все то же, то же, что его так поразило раньше, н выходнт он нз риги совсем обеспамятевшнй, с неопределениой завнстью к чему-то,— но к чему? Не к тому же, что видел и слышал, не к тому же, о чем так складно и бойко пели, обнимаясь и валясь в зерно, парни н девушки? Но, возвращаясь по деревенской улнце, отыскивая иазиачеиный ему дом, иачннает твердить ои две строчки услышанной нм первый раз песнн. И это так далеко от Дос-Пассоса.

3

Свой дом ои находит быстро, усталый, наглотавшись вдоволь вкусиого полевого воздуха, еще более иеуверенный в себе. И взаправду он начииает стыдиться своих тонких ног в клетчатых спортнвиых чулках, своих роговых очков и модиого, с длиииыми, острыми коицами, голубого воротиичка. Ои еле находит холодиую скобку двери и входнт, здоровается. Хозяйка с чудовищно прнподиятым животом приводит его в полиое смущение. В полутьме черной половнны нзбы, заставлеиной огромиой печью, ои смутио различает ее малеиькое личико с бойкими темиымн глазами, но в первую миинуту ее мощиый н невероятиый живот заслоняет все. Хозяина, как он уже слышал в правлеинн, дома иет — он иа курорте, где-то в Крыму. Журналнст здоровается. Его, оказывается, ждут давио. Он входнт на чистую половииу н раздевается. От света подвешенной к потолку лампы, от сухого комнатиого жара, от прожитого

на воздухе дня его сразу бросает в сои, и голоса детей; собствеииые слова, звон чайной посуды начинают казаться какими-то далекими, давио посторонними звуками.

Он сидит и борется с дремотой. Трое ребят разглядывают его с любопытством,— ои пробует с ними говорить, придумывает, как все далекие от детей люди, иарочитые для них фразы и вопросы, ио дети бесцеремоиио глядят иа его очки, отмалчиваются или отвечают холодио и конфузио. Журналист пытается погладить твердую и курчавую голову старшего, лет десяти, тот откидывается в стороиу, совсем как барашек, и закрывает ладоиями книжку.

— Они у нас смириые, в отца,— звонкоголосо откликается из-за двери хозяйка.— Пообвыкиут, так надоедят. А ты что, жеиатый будешь? — любопытио высовывается оиа.— Не-же-иа-тый? Ой ли!! Да как же это так? Врешь, иаверное.

Оиа ловко и быстро вносит самовар, потупив глаза, ставит его на стол, вытирает губы и, сложив руки иа высоком животе, смотрит Кривицкому прямо в глаза. И вдруг замечает журналист, что похожа лицом она совсем на девочку. На миг проступает в ией ощущение нежного лукавства, затаенного под какой-то сониой важиостью и сытой, утолениой животностью, чем озарено все ее иелепое и иенормальиое, как ему кажется, существо.

— Ой, врешь, притворяешься! — говорит сиова хозяйка, покачивая бойкой головкой в платке.— Да разви без женчины мужик проживет? У меия муж слабогрудый, табуркулезиый, я с иим иикогда ие поцелуюсь, а и то вместе спим. Ей-богу! А ты иеженатый... Да что уж это! Неужто ученые люди так и живут? Батюшки... Нет, у нас мужчины самостоятельиые,— убежденно продолжает она.— Да чего мужчииы, нонче девка за барыню пошла, попробуй ей скажи! Чего уж тут, вои иаш Ванюшка летось наозоровал — ему одиииадцать в покров исполиилось, а мой-то ведь хоть и слабый, ио справедливый, лучший ударик, ие то что иа меня, на муху руки не подымет; Ванька наозорничал, а он ему ремием и пригрози... Так Ванька прямо в сельсовет, к Лексаидре Михайловичу: «Тятька мой,— говорит,— с кулацким уклоиом, меия ремием пороть хочет. Его, мол, из колхоза исключить иадо». Ей-богу, так и сказал! Тот, коиешио, туды-сюды, по-партийиому, значит, разобрался. Отец-от и оказался прав по всему закоиу. А вот он вырастет, скажи ему, чтобы он с девками ие гулял! А ты... неженат... Чудио, ей-право, чудно!.. Бабы у вас по

городам балованные, вот что я скажу,— скороговоркой добавляет она.— Спать-то с мужиками умеют, а родить не хотят! Вот тебе и все.

Она посмеивается глазами.

Журналист смущенно молчит и смотрит на нее с удивлением. Сонная дремота его начинает проходить. «Дамочка,— думает он весело и удивленно,— вот это пять раз — да!»

Он искоса бросает взгляд на ее живот, на маленькие голые ступни и понимает то, что никак не приходило в мысль... Женщина начинает поражать его, несмотря на все, странной своей грациозностью.

— Ты чего смотришь? — спрашивает неожиданно она.— Ты что думаешь — нонче бабы у нас умные стали, тебя всему научат.

Она закидывает круглое под платочком лицо, хохочет и, закрасневшись, словно натанцевавшись, спохватывается.

— Вы чего уши развесили? — накидывается она на ребят.— У, волчата лохматые! Уж так я с ними намаялась... А все книжки читают, никак спать не прогонишь, ученые будут. Беды-то с ними! — говорит она все добрее и податливей, собирая детей под свой живот и уводя их за перегородку, к деревянной кровати с горой розовых и голубых подушек.

Кривицкий слышит ребячий шепот, ласковые шлепки и ее, теперь совсем иной, материнский и приглушенный голос.

— Чай-то кушайте, а то простынет,— слышит он опять ее, звонкую, может быть задорную (так показалось!), перешедшую почему-то на «вы».— Председатель наказывал вам к восьми на собрание. Цыц, проклятущие! Народ у нас умный, дружный — послушаете! План, слышь, высказывать будут. А уж я вам, не обижайтесь, постелю на полу... Время-то мне еще не пришло, а вот численник не купили, дни-то я и перемешала. Цыц, вот я вас огрею! Численников в лавке не стало, и куда подевались, право...

Кривицкий смотрит на часы с гирей зеленого стекла и двумя привешенными гайками, спохватывается.

Он надевает пальто, шапку поддельного котика, берет новый блокнот и сует ноги в калоши.

— Ужинать я вам соберу,— слышит он уже сонный и теплый голос, с чувством неясного сожаления покидает этот приют материнства и, толкнув дверь, выходит в кромешную тьму.

Ему нужно в какой-то не то овин, не то сарай,— он не знает, как это здесь называется... В потемках впереди угадывается морозно-синяя и звездная полоска наверху. Он чиркает спичкой. На него кидаются горы соломы, бревна, нагороженные жерди, низкая дверца в провал мягкого и густого, как сажа, мрака. Спичка погасает, едва он нащупывает деревянный засов и ступает в солому, шуршащую и податливо тонущую под ногой. Сверху чуть просеивается ночной свет. Журналист слышит мирный конюшенный хруст, ступает дальше и, очутившись один на один с пустотой вокруг протянутых рук, вдруг спотыкается и падает грудью вперед. И сразу руки его хватают мягкое, теплое и колючее, что мгновенно обдает его раскаленным визгом, подбрасывает и, скользко вырываясь из-под его тяжести, неистово бросается в сторону. Он вскрикивает. Отовсюду налетают на него, шарахаются мохнатой теплой стеной, блеют живые тулупы и вспыхивают фосфористые круглые огни, с оглушительным шумом взрываются над головой крылья; рукой журналист влезает в какую-то вязкую и неподобную дрянь...

Едва вырвавшись из этого гвалта, жеванья и хрюканья, сдерживая одуревшее сердце, журналист нащупывает дверь. За перегородкой он останавливается и переводит дух. И снова там, в оставленном им, чуждом ясельном и темном мире, хрустит чья-то вечная, неустанная пасть, погруженная в теплый и нежный смрад, и отсчитывает, отсчитывает этот маятник, и мерцает над ним циферблат с бледной цифирью звезд.

Совсем тихо.

— О, донна Клара! — бормочет, улыбаясь себе, Кривицкий. К нему возвращается врожденное чувство юмора.— Но что вы скажете на это, дорогой Марк Соломонович?

И, выбросив испорченный носовой платок, пробирается он сквозь уют зимней улицы с желтыми пятнами деревенских огней.

Ему опять вспоминается огненный бычий глаз. Отовсюду — с далеких звездных пустынь, которых он никогда не замечал в городе, из снежного мрака открытых отовсюду полей, из соломенных и навозных дворов, из дремучих и ледяных дебрей зимы — отовсюду смотрят на него, крадутся, подступают все те же, те же горячие, неутомимые глаза. И когда входит он, споткнувшись о порог, в неистовую людскую тесноту со странной тишиной,

пробирается к зовущему шепоту председателя и усаживается у самой лампы, одолевает его окончательное слабоволие.

Как в тумане, он видит сосредоточенные, больше пожилые и спокойные лица, множество овчинных шубеек и женских платков.

— Конечно, товарищи, мы обсудим наш будущий строительный план, как у нас есть полная возможность культурной зажиточности...— начинает председатель, сурово хмурясь и строго оглядывая собрание.— Есть предложения повестки дня?

Пауза с редким кашлем у двери.

— Докладай, Иван Васильевич,— просто говорит старик с лавки, выколачивая трубку.— Баню нам нужно, вот что.

— О бане скажу. Кто еще?

Молчание.

— Михаил Михалыча не продавать бы... ей-пра!..— выкрикивает кто-то в платке, и видит Кривицкий знакомую луковицу.

— Чего не продавать? — отвечает ей тот же старик, наклоняя голову и легонько приподнимаясь на ладонях от лавки.— Бык-то хорош, а нам ни к чему!

— Приобыкла я к нему...

— Ну вот: привыкла да привыкла... Бабья память коротка.

— Добавлений не будет? — спрашивает председатель.

— Будя! — кричат сзади.— Обговорились.

Собрание начинается.

От жары, бессонницы и усталости Кривицкий едва поспевает за речью председателя и лихорадочно подбирает все слышанное и прочитанное, весь запас своих представлений о новой, *социалистической* деревне. Но фантазия его оказывается мертвой и отставшей. И совсем убивает его дотошная скрупулезная, совсем семейная осведомленность председателя о мероприятиях десятков правительственных учреждений, о всех постановлениях и декретах,— соим распоряжений, поправок, пунктов, параграфов!

Председатель говорит о будущих хозяйственных планах долго, дотошно, семь раз примеряя и один раз отрезая.

Гектары, центнеры, литры, рубли, трудодни! — уже с трудом понимает Кривицкий эти сложные расчеты и вы-

кладки председателя. И снова он оказывается совсем несведущим в пчеловодстве и садоводстве, и снова приходят к нему новые слова, досель совсем далекие и казавшиеся пустяками. Председатель останавливается на культуре цикория. Кривицкий тщетно пытается припомнить это растение, но ничего не получается. Цикорий... Нечто кофейное или лекарственное?.. Или еще что-то? Но в голову лезет вульгарная поговорка, и в ней цикорий окончательно запутывается и исчезает... А собрание слушает чрезвычайно внимательно и одобрительно. «Правильно, Иван Васильевич!» — слышит неоднократно Кривицкий и, к своему ужасу, не может разобраться, что тут правильного и неправильного... Внимательно вглядывается он в незнакомые лица окружающих. Женщина, сидящая напротив, кормит ребенка. Она распустила платок и не отрываясь смотрит на председателя. Полная правая грудь ее вся наружу и податливо вдавлена к самым спящим ресницам детского личика. Дальше бритые мужские подбородки,— лица, лица, лица,— деревня, с ее прямыми, откровенными взглядами... В глубине людских потемок Кривицкий наталкивается на чьи-то влажные насмешливые глаза, виденные им в риге,— они ожигают его, заставляют потупиться. Он снова прислушивается. Колхозная баня? Как, неужели здесь никогда не знали бани?

— Это есть неотложная проблема,— продолжает председатель,— чтобы колхозник походил на порядочного человека...

И вдруг Кривицкий ловит себя на совсем мальчишеском занятии. Он всматривается в лицо председателя, мысленно подстригает его непокорные, жесткие волосы, одевает его в городской пиджак и воротничок, завязывает на нем галстук, и председатель вдруг превращается в управляющего трестом, нет, в профессора,— настолько интеллектуально-выразительно его лицо и уверенны осанка плеч и жестикуляция рук. А вон тот и вот этот... С удивлением замечает журналист, что сидящий сбоку человек более всего напоминает немца, и куда-то исчез, сгинул и провалился бородатый и рыжий мужик, что затвердился в памяти своим полушубком и своей бородатостью. Открытие это почти поражает Кривицкого. Он пробует переодевать женщин, но тут ничего не получается. Их лица кажутся настолько неопровержимыми, что с них слетают представляемые им шляпки и прически, а туда, к двери, в сторону молодых, он не решается смотреть. Ему все ка-

жется, что оттуда с нескрываемой усмешкой смотрят на его костюм, на его очки, на его сухую черную шевелюру. Он чувствует какую-то слабость, почти так же, как это было утром в конюшне, возле играющих избытком сил звериных копыт и хвостов, как это было в риге, и вечером, в закуте, где на него накинулись жующие, погруженные в навоз, холод и ночь деревенские химеры. И когда после слов председателя наступает полная тишина, когда слышит он свою фамилию и чувствует вдруг шорох внимания и любопытства, им владеет уже сознание провала, и все сливается в мутную пустоту...

4

Когда он садится, ищет носовой платок, закуривает, это ощущение провала еще больше чудится ему в полной тишине комнаты и в том, что никто не решается смотреть прямо ему в глаза. И Кривицкий начинает всячески ругать себя за ненужную откровенность. Зачем понадобилось ему признаваться, что он первый раз в деревне? И к чему было говорить о городской подвальной судьбе того народа, из которого он вышел? Журналисту кажется, что его никто не понял, и после всего им сказанного он чувствует себя еще более одиноким и потерянным. Совершенно естественным ощущает он полное молчание собравшихся и осторожное покашливание после неоднократных предложений председателя высказаться. И это молчание в конце концов становится мучительным.

— Товарищи колхозники! — обращается опять председатель к собранию, весь вспотевший и как будто сконфуженный.— Надо высказаться по нашей колхозной жизни. Ты бы, дядя Петя, сказал.

— Петруха! — слышит Кривицкий знакомый женский голос.— Перескажи о нашей жизни. Ты много всего прошел.

У стены поднимает голову хмурый человек в шапке.

— Что я — инструктор, што ли? — говорит он резко.

— Товарищи! — начинает опять председатель.— Очень неудобно даже получается... Достижения у нас в газетке отмечены, товарищ из Москвы вам докладал. Иной раз говорят, говорят, а сейчас получается — вроде колхозник забитый какой...

— Чего говорить-то,— спокойно отвечает ему старик

с трубкой.— Говорить-то, когда дело хорошо, много не приходится. Ну что же, могу я за молодых сказать.

Он медленно поднимается, аккуратно выколачивает лаково-вишневую трубку, и видит Кривицкий в его прямой осанке, в седой подстриженной бороде, в откинутом блеске высокого лба, под хмурью густых бровей уверенную в себе, простую, знающую силу. Говорит он не торопясь, ровно, положительно.

— Докладать много,— повторяет он,— нам, крестьянам, нынче не приходится. Чего тут обманываться: жить научили — про это вам не то что я, все молодые скажут... Мужик-то раньше жил да думал, больно хитер,— всегда своим умом проживет, коли земля есть. Она, земля, ему народит, она его накормит, согреет, она его обует и оденет,— нам так еще отцы говорили. И верно, нам всю жизнь от ее податься некуда, а она, землица, мужика не щадила... Она его держит, ломает, а ему один почет, что хозяин. У нас что до революции было? Овражки да ямы, как барин отсюда лет пятьдесят выехал. На одной картошке сидели, а пахать выедем — каждый друг перед другом похваляется... Как генералы выезжают, один другого лучше, по деревне катят. А чего генералы? Он латан да перелатан, одна слава землевладелец, а дома жрать нечего. И в городе,— кто, ну там штукатуры, маляры, кровельщики,— работает он, последнюю копейку копит, все мечтает, чтобы все, как у людей: вот, мол, какой я самостоятельный да справный.. Кажный норовит, как у другого,— и коровник, ну, там овин, и рига — полное обзаведение. Вот они у мужика, мол, несчитанные какие копейки!.. А на поверку вышло, одна была удовольствия — самолюбия да обман. И чего, какие там зажиточные! Последняя голь, самая беднота! Он только-только при коммунистах землю получил, коровенку нажил, лошадь какую последнюю, хомутишко, а уже загордился — перед женой великий князь, ходит, приказывает, самовар купил, только чай пить ему не приходится. Какой чай — все копейки его на самостоятельность пошли! У нас, товарищи, скрывать нечего: были из бедноты — дольше всех в колхоз не шли, дольше всех, как дитя какое, перед властью забавлялись. Есть еще такие: в обман играют, в охотку им самим похозяйничать. Мужик, как червь, в земле сидел, землю эту клял, а со страху в нее прятался. Его наружу — а он вглубь, его на свет — а он в яму: генерал, мол, я на своей собственной земле, сам приказываю, сам выполняю, сам себя надуваю, а коман-

дую. И получилось у нас в двадцать восьмом году: сами себя, дурни, били, пока уму-разуму не набрались. А теперь возьми: не деревенский генерал, верно, а ударник! — да зато у него двести пудов своих да две тыщи в кармане. Правильно я говорю, Иван Васильевич?

— У кого и побольше есть,— спокойно говорит председатель, и слышит Кривицкий в его голосе явное самодовольство.

— Согласны мы,— продолжает старик,— може, у кого и побольше. Теперь каждая копейка у нас считанная по трудодню, мужик-то будто сам не барин, а положение свое подсчитал. Впервые подсчитался мужичок-то, и чего получилось? А вот что: раньше он собой никак не дорожил. Лошадь он имел? Имел. Стоит она у него, сердце его любуется, а что за ней ходить, по ночам вставать, упряжь, сани и телегу ладить — это он не считал. Видно, голый и богатый был, коли деньги да дни у него были несчитанные! — прямо хоть в банк, как барин наш, закладывайся. А сейчас не-ет. Сосчитался. Ан и вышло, что и трудодень ему, и лошадь готовая, прибранная, уваженная. Сани там или телегу ему подай. Нонче он деньги получил и раскидывает мозгами... Корова у него стоит, радует, ну, овцы, поросенок, все, что полагается. А вот коровник подправить, сарай поднять — он теперь задумывается. «Давай все в общую ферму, разорение,— говорит,— лес покупать, я лучше мебель да радиу поставлю». Выходит, как подсчитался мужик, так из него енерал голодраный вылетел. Александр Михалыч — партейный, а сдерживает нас да смеется... «Рано,— говорит,— товарищи колхозники, рано еще...» А мужикам больно из подсчитанной тыщи деньги на сараи да заборы выкладывать неохота. Вот ты и пойди, выходит, наши мужики сами в комиссары лезут. Чего, на красную доску вышли, портреты помещают, товарищ начальник из политотдела каждого по отчеству и имени называет, и получился тут опять самостоятельный почет и уважение каждому мужику... Прямо скажу, этим довольны и нынче за колхозную копейку пострадаем, а назад не пойдем. Я вот то товарищу из центру скажу... Город раньше при царизме мужиком был, а деревня бабой. Город новый картуз наденет, папироску в зубы, в киятер пойдет, всякие книжки, науки, развлечения, а баба знай роди да роди, нянчиться ей да кормить сиськой, да вынашивать, да гадать и глядеть из окошка на дорогу... Город придет — подавай ему щи да кашу, ему и полбутылка, и почет, и

уважение, а деревня все в бабьем положенни. Она народит, вынянчит, ан смотришь — и осталась с бабьей судьбой: старуха, одна-однешенька, н нет у ней ни детей, ии кола, ни двора, погнило все, порассыпалось. И выходит тут печальная семейная положения. И пошел тут нехороший разлад да озорство. А нынче будет родить деревня — н земля, и пчела, и корова, н яблоня — расцветет, как пава какая, сорганизуй, приголубь ее, к дохтуру вовремя, всякую ей машнну приготовь да музыку, а уж она для тебя вся: бери, пей, ешь — не хочу... одним словом, как полагается, по прнроде. Все я сказал, Иван Васильевич.

— Так,— говорит, поднимаясь, председатель.— Будут еще какие мнения?

Кривицкий с любопытством оглядывает старика, усевшегося на свое место и набивающего трубку из огромного кисета с яркой вышивкой. В комнате тонко и пронзительно начинает плакать грудной ребенок, никто не обращает на это внимания. Нестерпимо душно и жарко.

— Чего говорить-то! — слышит Кривицкий опять знакомый женский голос.— Грузовик нам очень надобен. Мы, женщины, теперь в тиатор съездить хотнм!

— Ты, Фиона, о культуре н выскажись,— благожелательно отвечает ей председатель, но нз женского угла уже летнт смех, и кто-то шарахается к двери. Председатель хмурится.

— Лентяев пришибнть вовсе надо! — выкрикнвает вдруг тонким голосом сморщенная старушонка, с острым носнком нз-под платка.

И вдруг Кривицкнй понимает, что это надолго, и бессонная ночь опять наваливается на него удушающим, расплывчатым теплом.

Ему становится хорошо н уютно, нестерпимо сияет лампа у председателевой головы, начннает укачнвать сон. И уже откуда-то издалека доноснт к нему слова, обрывки фраз, палнт жаром тесная, наполненная дыханием людей глубина горницы, покачивается упрямая голова председателя. Иногда журналнст пытается очнуться. «Расцвела я в кольхозе, как цветок!» — вдруг слышнт он чью-то пронзительно-громкую и резкую речь и опять припоминает, что ни один человек не обмолвнлся о сказанном им, а ведь он говорнл как будто много, а что — он и сам бы не мог повторить! Затем опять начинает укачивать его невндимым маятнником слов. Ему кажется, что снова внзжнт снег, его

везут, везут, там, за тулупом — поле, снег и мороз, а его пригрела, придышала чья-то огромная материнская теплота. Потом очень быстро собрание заканчивается. Мельком Кривицкий видит старика, говорившего речь, потом журналиста оттирают от председательского стола, и от возросшего снова чувства неловкости пережидает он в сторонке толкотню и, так и не дождавшись председателя, торопится выйти в ночь.

В сенях он снова наталкивается на кромешную морозную темноту. Журналист жмется к стене, тщетно старается припомнить, где он входил, и вдруг прямо перед собою, откуда-то извне слышит приглушенно смеющиеся женские голоса и сразу наталкивается на податливую, уходящую в мерцающую пустоту дверь. Кто-то тесно прижавшийся сторонится от него на крыльце. Не оглядываясь, ступает Кривицкий в седую, полную тумана и сумерек снега, уже позднюю ночь.

— Товарищ! — слышит он вдруг окликающий голос, и, когда оборачивается, сразу его обдает женским горячим смехом и шепотом. Сердце его замирает и падает... — Я — Женя Рузина,— слышит он смеющийся голос и видит кого-то в тулупчике, заложившего рукав в рукав, с задорными прядями из-под пухового платка.— Мы вместе с подругой,— говорит этот некто.— Можно, товарищ, к вам завтра прийти? Только никому не скажите, а то я по секрету, посоветоваться, как активистка по нашим женским делам. И моей фамилии никому не называйте, а то муж у меня больно ревнючий. Можно? — переспрашивает она уже тихо и серьезно.

— Пожалуйста, пожалуйста! — поспешно отвечает Кривицкий, вглядываясь в миловидный, округленный платочком облик, с блестящими и в снежной полутемноте глазами.

— Вы у Пелагеи Васильевны стоите? — спрашивают его уже ласковым голосом.— Я знаю. Мы с Фионой вместе придем, а то она одна не смеет. Завтра после работы,— прибавляет она шепотом.— До свиданьица! — и протягивает руку.

Журналист ощущает холодную шершавую ладонь, хочет сказать что-то задушевное, но девушки быстро исчезают в темноте.

Глухая ночь затонула вокруг в снежном тумане. Совсем пуста улица. Вдали, из спящего ледяного царства едва белеет совхозный дом — огромный, с давно потушен-

ными огнями, среди мертвых вершин парка. От ярких морозных звезд, от снежных полей на земле стелется неясный жемчужный свет. Домик, где он живет, словно обмер среди обвисших заиндевевших кружев.

Журналист стучится.

— Это я, Пелагея Васильевна! — говорит он ласково, вдруг ощущая удовольствие, что останется один на один с этим лукавым и простодушным существом. В домике глубокая домашняя тишина.

— Ужинать будешь? — шепчет она ему, опахивая сонной теплотой, зажигая лампу и опять лукаво блестя глазами.— А то я собрала.

Но журналисту смертельно хочется спать. «А ведь она того... Ч-честное слово!» — мелькает у него мысль. Он вынимает простыню и подушку, устраивается на постланную ему солому, тушит лампу. «Да,— опять думает он,— бывают шутки...» И сразу, накрывшись тяжелой и неуклюжей овчиной, погружается в сладкое и зовущее забытье. Потом стремительно налетает темнота, и на невидимой, бестелесной грани, неощутимой, как рождение и смерть, вдруг пронзают его тело чьи-то живые, звериные прыжки; нечто мягкое и осторожное, что сразу выдергивает его ужасом из теплоты сна. Журналист вскакивает, хватает рукой какой-то бешено-живой и пушистый комок, ударяющий его, как развернувшаяся пружина, невольно вскрикивает.

Крик получается очень глупый и неловкий. Он сидит с колотящимся сердцем, ощущая один позорный и глупый страх. В тишине, ровно отсчитываемой часами, слышно дыхание спящих, чуть-чуть в окошке брезжит снежная ночь. Затем Кривицкий слышит осторожную возню в соломе, нерешительно тянется к столу за спичками и оглушительно чиркает по коробку.

— Фу-ты, черт! — бормочет он, видя кролика, прыжками заковылявшего вдоль стены. И вдруг отчетливо слышит, как где-то совсем рядом ровно дышит спокойная женская грудь.

5

Деревенское утро опахивает его холодным душистым дыханием, когда отворяют дверь на мороз, неясными шепотами, отдаленным звоном колхозного колокола; потом сыро и свежо начинает нести с пола, смутно чувствует он,

как жарко, потрескивая и разгораясь соломой, топится печь,— но ему спится крепко, и просыпает он до самого белого дня. Когда он вскакнвает и видит на часах десять, в деревенском домике давно стоит чистая и свежая тишина. В окна, с кистями рябин меж замазанных рам, светит солнце, то самое солнце глухой н глубокой зимы, от которого, как от шествня духового оркестра где-то за окнамн, хочется схватить шапку и бежать сломя голову на двор. И не хочется вспоминать предыдущий день и о чем-либо думать,— так ярко освещены снега за нзбами, небо с восходящими дымамн, стеклянные подвески берез. Но неясный осадок вчерашнего вдруг подкрадывается к журналисту тошнотным и мутным холодком. Как все люди, еще не знающие отношения окружающих, но думающие о себе лучше, чем они есть, Кривицкий постепенно настраивается на тревожные и неуверенные мысли о себе. А когда приходит хозяйка с двумя ведрами на коромысле, от которых так и поднимается студеный пар, ему кажется, что она глядит на него уже явно насмешливо.

Пока он умывается и убирает постель, разговор у них не клеится. Она обращается к журналисту на «вы» и больше разговаривает с младшим сыном, спотыкающимся у ней в юбках. Потом она ловко ставит тяжелый самовар, и Кривицкий узнает, что давным-давно, чем свет еще, убрались в доме, проводили ребят в школу, что приходил председатель, наказывал его кормить получше и приказал не будить. От всего этого у Кривицкого конфузною кровью наливается лнцо; проспать, как мальчишка, позор, позор! Опять словно обошла его жизнь, которую он приехал изучать,— ранняя, трезвая, куда страшновато сразу влезать, как в сводящую зубы, черную от снега вокруг полынью. Но женщина н не думает его укорять. Она говорнт уже оживленно, бойко кусает сахар и пьет с блюдечка, уставясь неподвижными глазами в одну точку. Тонкая, совсем девичья шея ее, обрисованная голубыми стекляннымн бусами, удивительно гармонирует с нелепой, словно вымученной, выпуклостью живота. Она говорит быстро, певуче,— журналист с удовольствием смотрит, как чисто и лукаво, светом многих нетронутых сил играют ее глаза...

— Все смотришь! — вдруг произносит она, усмехаясь, опрокидывая чашку вверх дном на блюдечко, и скромно опускает глаза. И звонко рассыпается высоким голосом: — Все над нами смеетесь, над деревенскнми... Право!

Она смотрит внимательно на журналиста и, помедля, говорит тихо:

— Мы, конечно, как городские, не умеем — что касается разговору и обращения. Откуда нам? Вон мне как вчера на собрании хотелось послушать, а разве я их вот оставлю? Они так за мамкин хвост и держатся. У нас жизнь не такая, как у тебя! — выговаривает она быстро и громко и улыбается, показывая влажные белые зубки.— И-и-и! — смешно передразнивает она кого-то, совсем девчонкой, и добавляет: — И тоже хоть деревня, а теперь совсем не та. У нас до германской войны проехал человек на велосипеде... Крику-то было! Черт на колесе едет. Ейпра! А сейчас что! Теперь каждое дитя в трахторе разбирается. Ты вот его спроси, он тебе и «форзон», он тебе и «катерпиллер» расскажет...

Она смотрит испытующе на журналиста, словно в сердцах, покачивает головкой и смеется.

— Не веришь! — говорит она.— Ей-богу, с места не встать, какие нынче пошли! Ты не думай, что я так одета. У нас не смотри, на девушках теперь шелковые чулки... Да что чулки — шляпки стали носить. Другая выйдет, словно на трохтуаре,— не крестьянская дочь, а ровно городская барыня... — И она начинает хохотать, добавляя шутливо: — Вот нонче бабы какие, набалованные!

— Пелагея Васильевна,— говорит серьезно Кривицкий, вглядываясь в нее, вставшую, и ощущая, как исходит от всего ее существа какая-то нежная, вкрадчивая грация, и после невольной паузы продолжает: — У вас вот трое детей, а вы совсем как девушка... Вам сколько лет? — спрашивает он и конфузится.

Она охает.

— Как девушка?! Да ты что! Старуха я, скольких детей сносила! — И, обхватив голову мальчугана, обнявшего ее колени, вдруг говорит живым шепотом соучастницы: — Больно хорошо, слышь, высказывался на собрании, бабы утром прибегали, рассказывали... Очень всем понравилось. Уж так мне хотелось сходить, а куда я их дену? Ой! Так уж нам, женщинам, тяжело, маемся, маемся, господи! Вы когда обедать будете?

Кривицкому очень нравится это «вы», неизменно появляющееся на ее устах вместе с деловыми, хозяйски-обиходными мыслями. Он расспрашивает хозяйку, что она слышала о собрании, и никак не может поверить... Как его неудачная, путаная речь произвела сильное впечатле-

вне?! Вот оно что! И стало быть, эти вчерашние девушки... Так, так! Втайне это ему очень приятно и льстит. Он рассказывает о своем уличном ночном разговоре. Пелагея Васильевна слушает с широко раскрытыми глазами и вдруг всплескивает руками, когда произносится имя Жени Рузиной.

— Женька! — вскрикивает она с разгоревшимися глазами, подперев подбородок ладонью, совсем по-бабьи, и утвердительно кивая своей головкой в такт речи Кривицкого.— Так, так... Ну, она тебе расскажет... Дык она с подружкой собралась? Дык с кем же это такое? Так и не говорила?

— Там были две. Две девушки... — нерешительно поясняет журналист.

— Бабы они! — нетерпеливо перебивает течение своих мыслей хозяйка, что-то напряженно обдумывая. И, вдруг просияв, говорит решительно: — С Фионой придет, вот не сойти мне с места, с теткой Фионой. У ней быка продавать Иван Васильевич хочет, больно она расстраивается. Ну что же,— грустно добавляет она и вздыхает, будто сожалея, что не ей назначать такие разговоры.— Ну что ж... Женщины они хорошие, поговорите. Только вот что я тебе скажу...

Она делает таинственную паузу, оглядывается на дверь и, наклонившись в сторону журналиста, говорит шепотом с блестящими от волнения глазами:

— У Женьки вовсе не хорошо... Вся деревня знает. Его-то ты в сельсовете видел? Председателем он служит. Ну, вот... — она машет рукой и говорит совсем тихо: — Восемь месяцев вместя не спят. Ей-богу! А красивые такие, молоденькие...

Она совсем страдальчески покачивает головой.

— Женька! Я так и думала! — неожиданно освещаясь озорной улыбкой, произносит она.— Ну что ж, поговорите, чего особенного... Мужу, чай, не велела говорить?

— Она сказала, чтобы никому...

— Ну, вот! Тут делов... — говорит она и опять задумчиво покачивает головой.

Весь день — в колхозных мастерских, у председателя, в соседнем совхозе — Кривицкий улыбается и покачивает головой, вспомная этот разговор. Ему чудятся какие-то намеки, поневоле он чувствует себя тайным заговорщиком. Москва уже перестает тянуть его воспоминаньями. Столь чуждый, поразивший его с первого же часа встречи мир

вдруг открывается совсем нежданной стороной — и так необычайно! Весь день ему мерещится грациозная головка Пелагеи Васильевны, ее шепот, бабья, ласковая,— понятая, понятая! — и все-таки втайне приятная ему речь. И, уже что-то предвосхищая, тайными намеками, почти ее жертвенными глазами обращен к нему весь трепетный вечереющий мир. Какая-то прямота жизни, неукротимая сила насыщения глядит на него отовсюду — из воздуха, нагого до предела, сгорающего ясным солнцем, над землей, заиндевевшей мохнатым бархатом, как бока и холки коров, из горячей тоски всех глаз, обращенных к нему, из тучного сна родившей и ожидающей вновь оплодотворения земли. До изнеможения сладким, пьянящим вливается в него воздух, какого он еще никогда не знал. Человеческие голоса, песни, мыки скота кажутся ему музыкальными, теплыми, вздрагивающими, как нежная и чуткая кровь,— в этом сне оцепенения, в этом лесу хрусталей, инея и туманного серебра, развешанных в полной недвижности дня. Два пруда матовым блеском, как закатившимся взглядом, светятся из застекленных ледяными тальниками, укутанных постеленными сугробами берегов. А там взмывают теплой стаей зобастые голуби, и лошадь, выведенная колхозным конюхом, опускает к студеной воде, недвижно стоящей в колоде, горячие, нервные ноздри, и тянет, присасывая, этот сладкий, железный мороз...

Глубокая, красная зима!

Домой журналист возвращается засветло, отобедав у председателя, словно поплотневший от прилива новых, с морозца согревшихся сил. Улица с редкими людьми, ледяные деревья и вдали трехэтажная громада помещичьего дворца озарены солнечной радужной тишиной. Пусто и глубоко в полях со стеной осинника, наполовину высунувшегося из-за подсиненного тенями, чуть проглядывающего жнивьями косогора снегов. Там, вдали, настаивается вечерняя дымка — пустынные, веющие сгнившей далью сумерки... Пахнет в воздухе печеным хлебом, дымком. Будто на море, свежо и радостно пощипывает легкие морозный туман.

Дома, чуть приоткрыв дверь, журналист наталкивается на оживленный говор и шум. Когда он входит, в горнице начинают так хохотать, что он окончательно теряется... С первого взгляда ему кажется, что весь дом полон женщинами,— так, захлебываясь, будто от щекотки, валится кто-то со смеху,— он ничего не может понять в этой ог-

лушительной женской возне, в этом визге и хохоте. Потом он сразу различает расшалившуюся свою вчерашнюю ночную знакомую. Без платочка она уже не так молода и миловидна, у нее каштановые густые волосы, сбившиеся к одному плечу едва заплетенной, небрежной косой.

— Мы вас ждали, ждали,— говорит она и снова давится от хохота.— Ладно вам, дайте с человеком хоть слово сказать!.. Вы нас извините, у нас бабы дружные, как соберутся, так обхохочутся. А мы думали, что вы не придете, сидели, сидели...

— Нас мужики, как соберемся вместе, боятся. Так мы думали, что и ты испужался! — бойко выговаривает навстречу Кривицкому хозяйка, раскрасневшаяся, помолодевшая, повязанная новеньким белым платком.

Она подымается с лавки, щелкая семечками, из-под ног ее разбегаются кролики. Ребята — все трое — сидят, обнявшись, на полу за книжками. Журналист видит на лавке еще женщину, как будто знакомую, старается вспомнить. Ах, это та самая, что показывала быка в конюшне!.. Да, да, тетка Фиона. Он неловко здоровается. Женщины церемонно подают ему неподвижные, шершавые руки, вытянутые лодочками, стихают.

Хозяйка из вежливости уходит к печке, в переднюю горницу, наступает неловкое молчание.

Пауза.

— Вы уж нас извините,— опять начинает Женя Рузина, сложив ладони на коленках, вся розовая, с горячими, темными глазами.

Она кажется журналисту очень громоздкой, теперь он уже явственно видит тень длинной женской жизни, явной на всем ее существе. Его поражают ее глаза — с горячим, как у молодой лошади, блеском, уже впавшая и вялая грудь, чуть сгорбленные плечи. Но говорит она мягко, певуче, с девичьими чистыми и очень страстными подъемами в голосе.

— У нас деревня хорошая, слов нет,— продолжает она, заметно волнуясь, заложив руки в карманы городского пальто и еще более розовея.— А к нам, женщинам, относятся все по-старому... Вы уж, пожалуйста, никому не говорите, что я пришла. А то подумают, что я наговорила на мужа по злобе, опозорила. А я разве по злобе! Вот они всю мою жизнь знают... Пожалуйста, уж никому не сказывайте!

— Женькину жизнь каждая баба знает! — отзывается

хозяйка, показываясь из-за перегородки, подперев щеку кулаком и жалостливо склонив головку.— Первая пара у нас, а карактером оба гордые.

— Как не знаем! Что она, что каждая женщина! — опытно вставляет та, что называют Фионой, и, шмыгнув носом, вздыхает.

— Хорошо, хорошо, я никому не скажу,— бормочет журналист уже с комическим чувством, думая: «Попал, черт возьми! Держитесь, Марк Соломонович!» Он с любопытством вглядывается в бригадиршу-скотницу, что-то царапает по сердцу. Вот уж, действительно, изжеванная какая-то, исплакавшаяся, протянувшаяся из потемок старых, старых дней, человеческая судьба! И что за дни оставлены там позади,— так изрезано морщинами пухло-сизое ее лицо под старым платком, луковица луковицей! — так искажены руки, с одеревеневшими бугристыми пальцами в больших мертвенно-синих ногтях с черными трещинами, что странен на ней, ровно апельсин, яркий пышно-сборчатый, новый овчинный полушубок!

Что-то совсем неведомое видит перед собой журналист.

— Конечно,— слышит он Женю Рузину и вдруг видит, как глаза ее наполняются слезами и она, совсем как девчонка, складывает ладошки: — Конечно, я могу с ним развестись,— голос ее спотыкается.— Ну что же, и разведемся... — И совсем хрупко сламывается ее голос.— Я, товарищ, вам откровенно скажу: мы восемь месяцев вместе не спим. Ей-богу!

Она закрывает глаза, встряхивает волосами и мучительно всхлипывает.

— Молоденькая, мучается! — поясняет Кривицкому Фиона, шмыгая опять носом.

— Он у ней с карактеру гуляет, разрывается,— возбужденно отзывается вновь хозяйка.— Они, верно, восемь месяцев вместе не спят, вся деревня знает. Она на постели спит, а он на печке. Да разве это жизнь!

— Какая жизнь! — восклицает Рузина с такой страстностью, что журналист с опасением отводит взгляд от ее животно горячих глаз.— Я ведь любила его одного, любила, а он со мной за всю жизнь вместе по деревне не прошел! Господи... И детей не любит, ей-богу, Фиона, не любит! Да чего говорить — ничего не купит им никогда, что на них есть, это я сама, сама, на свои трудодни. Вчера на собрании вы вот хорошо рассказывали о жизни... Мы все слушали, у нас женщины о жизни всегда слушают. А се-

годня все ждут, что вы по избам пойдете: смотреть, как живут колхозники... Мы ведь ничего живем, право, хорошо совсем!

— Правильно, Женька, правильно! — выговаривает Фиона, забирая в ладонь всю свою луковицу и по-прежнему шмыгая носом.

Хозяйка смотрит на Кривицкого покровительственно и лукаво; он видит, что она переживает рассказ подружки с участием. «Вот милая чудачка!» — думается ему.

— Нет, не любит он моих детей! Так мне уж горько это, а виду никогда не покажу. Свекровь сегодня девчонку мою спрашивает: «Ты что московскому, стало быть, скажешь, как проверять придет?» А она ей: «Я им скажу, что мой папка меня не любит, ничего мне не покупает». Право, вот смеялась я. А свекровь как рассердится. «Смотри,— говорит,— не скажи взаправду, не позорь моего сына!» Вот как мы живем. Я, конечно, трудодней больше его наработала, сама, если захочу, проживу и детей прокормлю. Но ведь жалко! Как дети без отцовского воспитания...

Фиона:

— Вот, товарищ... Вот и оно!

Хозяйка Пелагея Васильевна:

— Без отца дети, ровно как несамостоятельные какие... А отцы нонче всю жизнь пройти хотят, куда им с детьми! Правда, у нас народ хороший. Взять моего: хоть и больной, а ласковый, обходительный. Ей-пра, не похвалюсь, а хороший!

Женя Рузина:

— Я, товарищ, у вас вот что хотела спросить: почему мужчинам все можно, а нам, женщинам, мужья шагу ступить не дают? У женщины и в помыслах ничего нет, а он с кулаками, чуть что, лезет. Да как же это так? Неужто и у образованных людей, в городах, все равно мужчины себя так ведут? Вот Ваня мой — он красивый, а я что же, урода какая? За ним девушки всегда бегали, он с ними крутил, крутил и теперь крутит. Зачем же он женился на мне? Ну, разведемся по-хорошему, теперь я сама проживу, ну, обойдусь... Чего же он, товарищ, меня пугает, говорит, я ему жизнь загубила, а сам мне, как активистке, ступить не дает?! Я уж плакала, плакала. Да разви я такая раньше была!

Фиона:

— Семейное их дело, товарищ, она все сомневается...

Хозяйка Пелагея Васильевна:

— Ты посмотри на нее... Да разве эдакая Женька была! Что с нами, женщинами, проделывают... Была раньше Женька — ух! — самостоятельная, круглая, вся пухлая да полная, разве у нее такие груди были! Я, бывало, не утерплю — щекотать ее начну... Да, бывало, Женька пройдет — мужчину кипятком обдаст.

Фиона:

— Надо, товарищ, это понимать...

Кривицкому уже не хватает его жизненного опыта, чтобы разобраться в этом потоке живых трепетаний жизни.

— Скажите... а вы сами никогда ему не изменяли? — спрашивает он, набравшись решимости, сосредоточенным тоном врача.

— Я?! — вспыхивает та.— Никогда! Если женщину мужчина любит и уважает, разве она изменит!

— Мне хоть бы их не было! — будто разговор коснулся чего-то ненастоящего, говорит Фиона, хладнокровно собирая в руку расквашенный нос свой и сморщенные, пухло-сизые губы. Лицо ее выражает столь горький жизненный опыт, что Кривицкому становится не по себе, словно он в чем-то виноват.

— Так,— продолжает он и видит, как женщины напряженно вытягивают головы, ожидая его слов.— Хорошо. А может ли, скажите, по-вашему, мужчина жить весь век только с одной?

Рузина вспыхивает, отвечает страстно:

— Может, кто и может, а я по своему мужу скажу — не может. Ну и пусть, ну и пусть! Только чтобы не ставил меня в глупое положение. Пусть так, чтобы никто не знал. А если он мое имя позорит, то я ведь тоже могу себе найти.

— Вот, вот! — вставляет Фиона.— И найдешь! Их, котов, много.

«Это да! — думает журналист.— Чище «Анны Карениной».

Женя разжимает руки — порывисто, так, как это делают в отчаянье, глаза ее еще более блестят от наплывающих слез.

— Так вы разведитесь! — быстро и решенно говорит журналист.

Она всхлипывает.

— Могу развестись! — восклицает она с резкостью, заставляющей Кривицкого вздрогнуть.— Могу, могу, могу!

Подумаешь, какой мучитель иашелся, что я, другого себе, что лн, не найду? Уйду от него, уйду! — н вдруг обрывается.— Товарищ,— произноснт оиа с трудом и медлеиио,— а семья? А как же мы с Ваней столько лет прожилн... — Оиа опять всхлипывает, и вдруг, как подломленная, инкиет ее голова, н, закрыв лицо ладонями, оиа плачет, вздрагивая осыпавшнмися каштаиовыми прядямн волос.

Секуидная иедоумениая н тяжелая для Крнвнцкого пауза.

— Страсть-то! — произиоснт Фиоиа, вздыхая.

— Карахтериые оба, ей-пра, карахтериые! — вскрикивает хозяйка.— Да я бы и мниуту на красавца твоего не смотрела! Плюиула б и ушла. Они,— обращается оиа к журиалисту,— оии все равно ие сжнвутся. Он, Ваня, у ией, иечего говорить, хороший, умиый, а сроду этим заражен... И-и-и,— жалостлнво смотрнт оиа на Рузнну, подперев подбородок кулачком.— Слышь, Жеиька, что он, опять в совхоз бегал?

— Бегал,— сквозь слезы отрывнсто бросает Рузниа.

Фиона так же подпирает щеку, лицо ее еще более походит на сморщеиную, старую луковнцу. Обе женщины одииаково покачивают головами, вздыхают н смотрят столь незнакомым Кривнцкому и столь стариниым, туманным взглядом, словио смотрят через десяткн бабьих веков. И вдруг все трое заговарнвают разом и обращаются к журиалисту. Он с трудом поиимает, чего от него хотят. Иногда ему кажется, что оин совсем забыли о его присутствии, так горячо говорят они друг с другом. Но постепенно голос Фионы покрывает голоса других. Постепеино две другие обращаются в слушателей — иастолько убедительией и беспощадией ее правда, ее мучения, н вот видит журналист, как Жеия Рузина в свою очередь подпнрает по-бабьи щеку и начинает сочувствеиио покачнвать головой.

— Верио, Фиона, верно! — поддакивают уже обе женщииы.

И Кривицкий, еще более удивлеииый, смотрнт иа иее, широко открыв глаза, словио приоткрылн перед ним какой-то иеведомый и беспощадиый мир.

— Муж у меня был иастоящий кот,— слышит ои жеищиу, и глаза ее, затуманеиные постояииой, прижившейся там маетой н скорбью, глядят иа иего испнтым спокойствием.— Чистый кот старого режиму! — повторяет оиа.— Право, окаяиный котище, чистый хитроваиский котище,

тридцать лет меня истязал и бил... Бывало, работаю с утра до поздней зореньки — то ли жну, то ли кошу,— а приду домой: мой кот тут как тут — цап-царап меня, проклятый, да за волосы, да сапогами... «Ах вы, сени, мои сени! Давай на вино!» — кричит, да матушкой, да как зачнет окошки лупить, коли ему не подашь. Ох, господи! Сундук разобьет, все мои несчастные тряпушки повыбросит, всю излупцует, искровянит и уйдет из дому. Тридцать лет я жила в пропасти, бабоньки. Ох уж и бил, проклятый, ох уж и поиздевался надо мной... Только вот в кольхозе сейчас немного и расцвела. Его, проклятого кота, кажись, где-то в драке убили. Только я и вздохнула. У нас, товарищ, бабы умные, работящие, мы эту водку не любим, табаку нам не надо, да разве нас с мужиками сравнишь?! Взять вот ее, Женьку: она у нас бригадиром работала Одни женщины у нас были. Так уж вот как работали, а знали, что если она с нами — Женька-то! — так уж ни одна соточка от нашего трудодня не пропадет. Разве мужик когда так подсчитает! А Женька у нас бригадиршей — мы спокойны, потому справная, грамотная, сама из сил выбьется, а всегда веселая, ну и развлекательная... Мы бабы такие, нам нужно, чтобы кровь бежала, чтобы в глазах чиркало. Баба, если у ней крови невеселые,— не баба. Потому мы и песни всегда поем! А уж работать — все в жилку вытянемся, а что зададут, сделаем. А почему женчина так работает? Она, товарищ, со старины привыкла душой скорбеть. Она всю жизнь чувствует, она прилежнее: как звонок ударил, она спешит, все на свете забудет...

Обе другие женщины вместе:

— Верно, Фиона, верно!

— Я, товарищ, человек измученный. Уж так я рада, что наших котов пристращали. Теперь в кольхозе меня не тронут, не тронет меня никто... У меня трудодень свой, свои права! А мне этих котов проклятых не нужно. Господи! И до чего рада была, когда моего убили... Как я от радости плакала и так уж избушку свою прибрала... И все-то не верила, что моя радость пришла! Вот, товарищ, что я хочу вам сказать: нас, женчин, в Октябрьскую годовщину очень обидели. Мы все в стенгазету попали. Ей-пра! Они, коты-мужики, на нас написали. Вы рассудите, товарищ! Годовщина. Мы, женчины, хоть неученые, а, прямо скажу, этому празднику очень сочувствуем... И решили мы, женчины, сами, без мужиков, праздник отпраздновать. Конеч-

но, припасли четверть вина... Вы не подумайте чего — я это вино все на себе перенесла, я его очень даже хорошо помню, но нужно из сочувствия, как полагается, со всеми бабами. А то мужики думают — им одним вино пить! Мы их, котов, к себе и не пустили. Выпили по рюмочке, попели, так нам стало хорошо и весело, вышли на улицу и по деревне идем. А коты-то смотрят! Смотрят во все глаза! А мы с песнями да с плясом — вроде как демонстрация, што ли. Вот они, мужики, на нас в стенгазету, в стенгазету... написали... Пьянство, мол, несознательность, безобразие. Это за то, что мы песни играли! Очень обидно было. Хорошо, политотдела начальник приехал, ихнюю заметку отменил. А ее, Женьку, за это с бригадирш убрали, ейпра! Мужики — все коты проклятые! Одна на них управа — трудодень. Мы-то нонче сами самостоятельные... Вы скажите,— добавляет Фиона шепотом,— чтоб Женьку бригадиршей поставили. Ванька это все колхозному председателю нашептывает, с Александр Михалычем, секретарем, у него из-за Женьки недоразумение получилось... Вроде как... ну, стал думать про их, ну симпатия что у них... А чего — Женька с Александр Михалычем политграмоту по вечерам учит. Ну, а он, кот, известно, по-своему соображает...

— Верно, Фиона, верно! — с жаром поддакивает хозяйка.

— А я к вам, товарищ, с заявленьицем,— быстро и вдруг смущенно продолжает Фиона.— Уж, право, не знаю, как и начать...

Журналист видит жаркое, почти детское смущение на ее багровом лице.

— Я думала, думала, сказать али нет... Не решалась все, а сердце болит, вот уж болит... Вчера, Пелагеюшка, и не спала ровно...

— Да ты говори, чай, не съедят тебя,— покровительственно, тоном человека, близкого к такой важной особе, как журналист Кривицкий, лукаво выпевает хозяйка.

— Уж я не знаю, пра...

— Насчет быка она,— говорит хозяйка.— Быка у ней продавать хотят, она за ним ходит, ну, она и тоскует...

— Она скотину очень любит,— поясняет Рузина, присмиревшая было после слез.— Она его холила, берегла... Конечно, жалко, как дитенка, нянчила.

Фиона комкает концы платка, и журналист с удивлением видит, как грубый румянец явственно заливает ее сморщенное, дряблое лицо.

— Я, товарищ, человек заброшенный... — говорит она медленно.— У меня при Николае не то что скотины — дитя родного, как муж искалечил, не было. Прожила весь век, ровно во сне: всю меня страшный котище истыркал, искромсал, изувечил... Мне, товарищ, как колхозную скотину дали, я ночи не спала — ее оваживала. И теперь спать не буду, а все сделаю: напою, накормлю,— к нам из Рязани, от начальника политотдела, приезжали, хвалили. Дык вот, бык у нас, Михал Михалычем зовем... Уж так я приобыкла к нему, прилюбилась, уж я так прошу вас, чтобы сказали председателю: не продавал бы... У меня, Пелагея, все сердце изъело — мужа убили, сердце не дрогнуло, а теперь вот животная, а места не нахожу, ей-пра.

— Сумлеваешься! — в сердцах, понимающе-сочувственно восклицает хозяйка.— Баба всегда всю жизнь к сердцу принимает!

Журналист чувствует, как что-то высокое и светлое проходит мимо и касается сердца. И вдруг свободно, просто, сами собой появляются у него ответные слова...

6

К вечеру Кривицкому кажется, что он давным-давно поселился в этой снежной деревне. Совсем свободно уже бродит он по гумнам и улицам. И ловит он себя на мыслях, что не такая уж пропасть нынче между ним и этими полевыми людьми, закутанными в пахучьи бараньи овчины. Пожалуй, через одну пятилетку... А дети! Будь у него сын, с малым Пелагеи Васильевны сразу нашел бы он мальчишечий общий язык... Читают Некрасова, Пушкина, Гоголя. Этот малый спросил его о «Капитанской дочке» и вогнал в краску: что же, действительно он настоящий журналист, классиков знает больше по словарям... Гринев, какой это Гринев? Надо будет перечитать, перечитать все это!

Он усмехается, вспоминая свои разговоры с Пелагеей Васильевной. «Любопытная, как зверек, живая дамочка!» — думается ему, и он неожиданно заворачивает от совхозного парка к полю, чувствуя, что тут, в женском, прямом и непреклонном мире, он не многое может понять.

Мороз заметно крепчает. Журналист глубоко напяливает шапку и, прислушиваясь к резкому скрипенью снега, быстро идет к перелеску, с удивленной серьезностью подростка останавливается по пояс в снегу. Наезженная дорога бойко катит куда-то в мутнеющую синеву полей. Обдутые, твердые сугробы косыми белыми дюнами вливаются в лес.

Там в покое зимы застывшими испарениями развесилась обледеневшая, закутанная в белые пушистые меха тишина. Гололедицу уже опушил иней. Все к большому морозу — солоноватый студеный туман, выцветающее небо, острым серпом народившаяся неживая луна.

Какая живая тишина!

Журналист останавливается и внимает. Никаких звуков. Осинник насторожен, кажется, ловит малейший шорох,— это удивительное, трогающее сердце молчание, эта праведная тишина лесов! И кругом — необозримая равнина... Снег, соломенные гнезда деревень, белое поле, с редкой, точно в бой уходящей, цепью телеграфных столбов.

Его пьянит от воздуха, величия, оцепенения тишины, щеки его загораются от лукавых морозных щипков. Но он чужой скрипящему снегу, деревьям, совсем не таким, как в городе, небу, властвующему здесь всеми планетными силами... Ему бы схватиться с тишиной, дышать бы ему вольно, горячо, смеяться бы дерзко, всеми зубами, кровь его просится к действию, к работе, но как он слаб и застенчив пред этим простором, пред этим дыханием распылавшейся снегами и звездами зимы! И опять Пелагея Васильевна, смутная, как ему кажется, дразнящая своим лукавством, любопытством, принадлежностью к дерзостным и жестоким веяньям жизни, настигает, как в детстве постыдный и вместе обаятельно-любопытный сон.

Жизнь! Как сильна эта жизнь!

Он стучится домой затемно. Деревня уже теплит свои огни в тумане. Кажется, слышно, как с мягким шорохом садится иней на ветви берез. Хорошо, уютно пригреться у камелька в дремучих снегах и дебрях русской зимы!

Кривицкий входит в домик с приятным и родным чувством. С удовольствием здоровается он с хозяйкой, с ребятами, даже трусы — так называют здесь кроликов — не доставляют ему теперь тревоги. В горнице чисто и хорошо пахнет, жарко натоплено, часы отсчитывают свои

дорожные мгновенья. И вот далеко за вечер сидит журналист у стола, читает вслух детские книжки, разговаривает с хозяйкой, слушает маятник. Потом укладывают ребят, и он остается наедине с мирной, наполненной одной этой женщиной, лукавой тишиной.

...Совсем поздно, стрелка часов оставляет десять. В домике тихо, и еще тише кажется от дыхания спящих, от черной бездны, там, за окошками. Там — знает Кривицкий — давно спит укутанная в снег, в солому и звезды пустая деревня, ни одной живой души нет на полях и дорогах. От всего этого, оттого, что он с глазу на глаз, один с ней, оттого, что все спит вокруг, не пишется журналисту в его дорожную записную книжку. Щеки его пылают от жаркого воздуха, и все кажется ему...

Она сидит у стены, немного раздвинув ноги, и вяжет, огромный ее живот бережно развален на коленях. Иногда он чувствует ее взгляд, лукавый, быстрый,— когда он поднимает глаза, она насмешливо глядит через его плечо. Бойкая головка ее, небольшие запекшиеся губы, новый чистый платочек, эти взгляды — все наводит журналиста на диковатые, но, как ему кажется, непреложные догадки.

Он гонит уже прочь последние угрызения мужской совести, и в голову к нему лезет другое, заурядное: у нее больной муж, а она так молода, и так все понятно! А оттого, что у ней... Кривицкий видит ее чудовищный живот,— черт его знает, кто их поймет, этих женщин. Кроме того, он видит, видит: она сама затевает игру. «Марк Соломонович! — шепчет в Кривицком вечный насмешник.— Держитесь. Она дает вам авансы, честное слово! Это более чем оригинально...»

— Все думаешь! — неожиданно говорит хозяйка и вскидывает на него лукавые, простые глаза: — А мы живем так: прожили — и хорошо.

— Нет, отчего же... — бурчит совсем нелепо журналист, уже опасаясь взглянуть на ее розовое лицо и горячие, совсем как у Жени Рузиной, глаза.

Она вздыхает, откидывает к стене головку.

— Никак десять?! — быстро, притворно-испуганно восклицает она, взглянув на часы.— С тобой заговоришься, право! Я тебе сейчас соломы постелю... Чай, надоело со старой толковать? Ты бы с молодыми поговорил... У нас девки хорошие, ласковые, авось не обидели бы... Бедовые девки стали! — неожиданно быстро и шутливо перебивает

она себя.— И-и-и! Я-то за своего выходила, ничего ие поимала, а теперь пойди!

— А чего? — вдруг с тупым страхом, предчувствуя и желанное, и постыдное, произносит журиалист.

— А ничего! — озорным голосом бойко отвечает оиа.— Дай-ка я стол отодвину. Нынче пятнадцать лет ей, а она вдруг, пожалуйста, родителям объявляется... Им-то, правда, обижаться неча, вон девки у нас как стали зашибать: у кого полтораста, а у кого двести трудодией! Ну, и гуляют. Ты мие вот что скажи: бог есть али нет? — говорит она, упираясь кулаками в бока, прямо перед Кривицким, смотря ему в глаза суженным горячим взглядом.

У того мгновенно перехватывает дыхание от подтверждения догадки. «Вот, вот это и есть!» — с необычайной ясностью ощущает он этот жаркий угол, схороиенный в темной пучине полей, стук маятника, тишину, в которой заключены оба они, наедине с той позорно-страшиой возможностью, которая — он видит, видит — живет в ее пристальных глазах.

— Есть, есть! — говорит он, утверждая совсем ие то, что подразумевала она, и, поднявшись, собираясь бежать, вдруг неуклюже сталкивается с ее телом, и мир, пылающий керосииовой лампой, уносится от него в тартарары...

Женщина, однако, смотрит страиио-покойно. Оиа вовсе ие обнимает его, не отстраняется, лишь инстинктивио защищает свой живот, складывая руки на его крутизие. И говорит, повергая журиалиста в мучительиое и тревожное оцепенеиие:

— Дык, говоришь, он есть! Дык, выходит, бедиым жеищииам здесь мучайся, мучайся, а помер, и опять тебе там покою иет! Неужто правда, что батюшка-покойник говорил?

Кривицкий слышит ее ровное, иезамутнениое дыхаиие, ему неловко стоять, ему стыдно иевольного прикосиовеиия к ее телу и своего прерывистого и хриплого вдруг голоса.

— Бога иет! — говорит он, не в силах уйти от мучительного любопытства и страха и еще веря, что у нее в мыслях все то, в чем он уже окоичательно по-мужски себя убедил: — Бога иет! — говорит он еще раз, цепенея от неловкости и решая — сейчас вот! — оборвать резко и грубо эту женщину...

— Ой! — вскрикивает оиа в это время особенным, бла-

женным голосом. И вдруг схватывает правую руку журналиста и властно тащит ее вниз по упругой и бархатной покатости живота.

Журналист столбенеет от мучительного безволия. На мгновение чувство какого-то позора и ужаса пронизывает его, и вдруг под своей ладонью он чувствует озорные удары, словно там внутри кто-то брыкается, шалит — радостный, живой, как сама кровь... И слышит, как смеется женщина, торжествующая, живущая наедине с началом всей жизни, совсем забывшая о его существовании.

— Ой! — повторяет она, с любопытством, как ребенок, следящий за дерганьем поплавка, словно и не в ней происходят эти толчки.— Ой... ребеночек мой... шевелится...

И продолжает смеяться, пристально смотря в пустоту перед собой.

Так вот оно что! Огромный стыд за себя и одновременно спасительная радость обваливаются у него внутри.

Потом происходит нечто огромное. Сначала журналист ничего не понимает,— женщина с неожиданно перекошенным лицом медленно оседает на колени и вдруг, садясь на свои ступни, начинает глухо стонать: «У-уу-уу... батюшки... царица небесная...» И опять: «У-уу-уу...» Не понимает он и дальнейшего, когда она, еще более перекошенная, совсем белая, кидается в сенцы. Проходит минута, другая, третья. В голову ему не идут истинные причины всего этого, слышит он из-за стены неясные ее стоны и начинает понимать все только тогда, когда, распахнув дверь, видит ее прямо на полу — уже повергнутой, уже раздираемой муками рождения.

Еще более огромный стыд на мгновение бросается ему в лицо.

С трудом он помогает женщине перебраться в черную половину избы. Кролики разбегаются из соломы, приготовленной для его постели, когда женщина опытно, в стремительном изнеможении, спускается в ее колкую, пахучую полумглу и падает на спину. Все остальное приходит очень быстро. И, похолодевши окончательно сердцем, понимает журналист, что поздно бежать ему за какой-то бабкой Анисьей, и что главное уже началось, и что он должен быть здесь и что-то делать во имя сокровенной и непреклонной во веки веков работы.

Через день, через два, много дней спустя он при всем желании не может припомнить, как все это происходило.

Человеческая память служит только утверждеиию будущего: она не оставляет ни могил, ни страданий. И вот,— как впопыхах, чуть не уронив, вешал трясущимися руками лампу на потолочный крюк, как расстилал свое одеяло и простыии, как она, дергающаяся, с восковым перекошенным личиком, заглушив иевероятным напряжением стоиы, чтобы ие услыхали ребятишки, сама обхватила свой ослепительно белый живот, помогая содроганиям схваток,— всего этого не мог никогда вспомнить ясио Кривицкий. Словно в довременье хаоса, в бурных хватаниях водяных и огненных пучин, разверзаясь жидким огнем и страшно-малиновым заревом, будто в преисподних гулах и взрывах плаиетных рождений — полыханьем крови, корчами расступающегося тела, в ужасиой наготе разведенных колен, промерцали перед ним эти страдания жизни. И когда показалась зализаиная, облитая алым головка ребенка, понял он, что сейчас это кончится, что мука, напружинившая тело женщины, предельная и что ему нужно теперь сделать все, что подсказывает сама собой появившаяся сообразительность... В несколько мгновеиий он изодрал на куски простыню, отыскал в чемодане никелированные ножницы для ногтей. Тут жеищина вскрикнула, застонала, и вдруг сразу все терзавшее напряженный его слух стихло, и она, словно блаженно выдыхая набранный до предела расширенными легкими воздух, в изнеможении поиикла грудью. Когда он кинулся к роженице, ребеиок в длинной, испугавшей журналиста пуповине лежал меж ее полных раскинутых ног. Глаза женщины были закрыты, одиой кистью руки она прикрыла будто заиндевевшее лицо. Кривицкий, попадая во что-то теплое, вдыхая мокрый и тяжелый запах, наконец перерезал скользкую ленту пуповины. Он помнил: нужно сейчас же взять ребенка, чтобы он закричал. Это далось ие сразу: красный, сморщенный кусок чуть не упал из его ладоней. Кривицкий шлепнул раз и другой — безуспешно, еще раз, и, уже испугавшись, сильней... И вдруг руку толкнуло живое, горячее содрогаиие, и крик жизни, услышанный им в первый раз — так неожиданно и странно! — пронзил его радостью. Роженица, бездыханно и безвольно лежащая, открыла глаза. Кривицкий, бессмысленно улыбаясь, заворачивал кричащего ребенка, чтобы передать его иа руки матери, уже приходящей в себя. Он положил его к ней на руки. Роженица слабо улыбнулась. Кривицкий, чувствуя страшную усталость, словио проделал какую-то каторжную работу, опустился на ко-

лени. Что-то пушистое и нежное попало ему под руку и вывернулось... Кролик. Но Кривицкому было не до него. Его не поражали ни нагота женщины, ни страшные, забрызганные и залитые простыни. Какое-то странное облегчение, почти опьяненное состояние легкости и сиянья на душе... Он улыбается. Ребенок кричит опять, женщина приподнимается и, спохватившись, говорит слабым голосом:

— К соседке... к тетке Марье... разбуди... скажи...

Он кидается в горницу, хватает одеяло с хозяйкиной кровати, накрывает им роженицу и ребенка и так, как был, без шапки и пальто, выходит на ночную улицу и сразу попадает в сугроб. Потом он лезет прямо через непротоптанный снег, стучит в первый попавшийся дом, будит каких-то людей, его слушают, охают, и вот его окружают суета, радостные возгласы, свет. Женщины стремглав бросаются из дому, а он остается сидеть с хозяином и никак не может прийти в себя. Высокий усатый человек, тот самый, что вез его со станции, все повторяет:

— Так... Не иначе, ты в солдатах был. А что, наш брат всегда найдется! Так. А все-таки ты молодец. Сам, говоришь, принял? Так.

И вдруг, сконфузившись, говорит ему шепотом, переходя на «вы»:

— Пойдемте... руки вымойте... я вам полью. А то неудобно выходит...

Журналист смотрит на свои руки и ужасается: пальцы, ладони, манжеты рубашки и рукава пиджака — все покрыто рыжими зачерствевшими пятнами.

7

Через два дня чуть ли не вся деревня провожает его в Москву. Скорый проходит в одиннадцать утра. Кривицкого обряжают с самого свету, весь домик полон народу, и вот его прощальное утро изумленно запечатлевается человеческой приязнью, что так обогащает и наполняет наши мимолетные дни. В самом деле, столь мгновенно переворачивается, изменяется в его глазах и чувствах незнакомый и страшноватый прежде деревенский мир. Да и сам он, наверное, уезжает уже другим, и совсем другие поля, снеговые просторы, совсем иные перелески и небо провожают его до станции... И на месте деревни, в туманной

дали, чудится ему кивающий уже неясной женской головкой светлый и высокий смысл.

Было мягкое, неслышное, как раздумье, утро.

Скорый уже выходил, когда они подъехали к станции. В покое необозримого полевого дня, прикрытого серой пеленой неба, наносило предчувствие метели, снегопада, еще более глухой и глубокой зимы. Но загрязненная полоса полотна с черными нитями колеи уходила, как всегда, с неуклонностью и беспощадностью в глубь нескончаемых равнин. Товарный поезд, еще невидимый за бугром, поднимал клубящиеся облака дыма и пара. И все это было одно: труд, неспящие силы человеческой воли, тысячи судеб, заключенных в один образ неустанной, необъятной в своем будущем, рождающей новые светлые народы страны. Уже товарный, нахлынув неистовым воем и громыханьем вагонных колес, заслонил свободный простор пути, а Кривицкий все смотрел и смотрел вперед...

А в селе Сатине в этот день, в это утро вели племенного быка, по кличке Михал Михалыч, на пункт конторы «Заготскота», на убой, согласно постановлению правления. Вела его целая делегация, во главе с председателем, на всякий случай. Мягкой тишиной полнилась улица, чуть доносилось жужжание молотилки, ничто не отличало этот день от других. Но животное, опутанное веревками, с перехваченными мертвой петлей рогами, вкапывалось в снег, било хвостом, противилось всей яростью, изваянной из горячей многопудовой энергии глыбой чудовищного туловища. Иногда бык замирал на месте, мотал тяжкой, как скала, головой, шея его страшно ворочалась в курчавых складках словно свинцом оттянутой шкуры. И жалобным погибающим ревом, тяжелой руганью и громким дыханием людей отдавалась чистая утренняя тишина. Разбрасывая снег, ворочался бык, силясь повернуть обратно — к оставленной конюшне, к теплоте закута, к прелестным дням жизни.

Женщина в оранжевом овчинном полушубке, шедшая сзади поодаль, останавливалась тогда на месте — сморкалась и всхлипывала. Но, увидев ее, еще страшнее и непобедимее ревел бык, еще жалобней, с такой тоской и силой, что, матерясь и отводя глаза, едва удерживали веревки колхозники.

— Тетка Фиона! — кричал отчаянно председатель.— Возьми ты его сама... А, ты, ч-черт! Давай скорее, сюда! Покалечит он у меня мужиков!

И тогда подходила женщина, и за ней, мгновенно присмирев, к смрадному и убойному своему концу шел, не натягивая крепких канатов, стопудовый бык. Колхозники ступали с опаской, курили и молчали. Председатель мысленно прикидывал колхозные барыши, солидно кланялся встречным. Никто как будто не обращал внимания на женщину. Она вела быка, положив руку на страшный его закрученный рог, чуть сгорбившись, по щекам ее стекали мутные слезы. Женщина не вытирала их, они падали на снег незащищенными — не нужные никому, не рассказанные никогда слезы прекрасной любви.

1935

Иван Катаев

•

Под чистыми звездами

I

Горячий июль доцветал в Уймонской долине, но все той же первородной свежестью дышал Алтай; высокая трава предгорий казалась голубоватой от влажности, и речная вода хранила холодок поднебесных снегов.

Мы ехали верхами по правому берегу Катуни, пробираясь в мараловодческий совхоз. Миновали Нижний Уймон, заречную его сторону, что звалась не так давно кулацкой. Вывеска школы красуется над резным крыльцом тяжелодумного владения Ошлаковых. Максим Ошлаков, говорят, вернулся из ссылки, одиноко моет золото где-то под Катандой. Брат его Федор, командир отряда у Кайгородова, еще в те лихие года словил партизанскую пулю, и серая полынь дремуче разрослась над бесчестной бандитской могилой. А было время — полтысячи коней, две сотни маралов держал в горах отец их Пилей, глухонемой, да понятливый старец. Помнит, еще помнит их округа...

Млечно-голубая Катунь в отдалении просторно шла от того края неба, утихшая на мягком лоне долины. Вчера я видел ее воды близко, когда на закате насквозь пророзовела их льдистая толща, а гребни струй стали темно-синие. Здесь, выше Уймона, река делилась на множество рукавов и лишь узкими протоками подходила к дороге. Укромный, тенистый мир камышей и сырого мелколесья недвижно стоял на низких островках, утиные выводки возились в тростнике и кое-где выплывали, мелко чернея, на ясную стрежень, золотую от предвечернего солнца.

По ту сторону дороги травянистая поверхность земли мягко взмывала кверху. Горный вал, от самого подножья клубящийся густыми березовыми рощами, подымался в

синее небо. Ближе к вершинам, над свежей, счастливой зеленью берез, сухо темнели лиственничные леса.

За этой первой лесистой грядой,— мы видели вчера с того берега, на выезде из ущелья Терехты,— таилась уединенная горная страна, из тех, что всегда так властно манят в путешествие своей как бы вечно недостижимой синевой. Ее увенчивали резкие ледяные вершины Катунских Альп.

Оставив позади строенья и поскотины колхозной фермы, мы стали забирать в гору. Путь наш лежал к перевалу, а ночевка замышлялась где-нибудь в лесу, на подъеме. Сразу объяло нас легкой мигающей тенью, запахами спелой травы и черносмородинного листа. Промеж деревьев горели в косых лучах солнца наклонные луговины; березы, толпясь, смело наступали вверх по склону; тонкие стволы безошибочно сохраняли отвесную прямизну, хотя, казалось, земля ускользала у них из-под ног. Лошадь бодрым шажком привычно брала крутизну, успевая то и дело перехватить сбоку сочный стебель. Яркая белизна бересты, несмятая трава, синее небо, сверкавшее в просветах,— все тут было исполнено особой, молодой и целебной чистоты.

Подступало странное, составное чувство родины и чужбины,— его не раз уже испытал я на Алтае. Посмотришь,— березы, тихая суета теней и света, жесткий иван-чай розовеет в траве, темный старый гриб торчит,— что может быть ближе? — самое простое, северно-русское, известное с детства. И те же запахи, та же скромная прохлада. А оглянуться шире — все это на горе и куда-то летит с нее кувырком, и раскрывается бездна, и таинственно грозят дальние хребты... То, что привык понимать как Юг, как самое далекое и необычайное. Думаешь: куда ж это меня занесло!.. Азия, в двухстах километрах монгольская граница...

Меж тем мы и в самом деле уже забрались высоко. Когда в просветах открывалась Уймонская долина, взгляд падал, как с высоты полета, и скользил далеко, через всю ее затуманенную ширь, катившую последние волны закатного света. Неясно маячили над мглою горизонта Терехтинские белки́. Они дымчато порозовели. Только воздух отделял их от нас,— гигантские массивы чистого, сладкого воздуха, заполнившего эту впадину земли.

По мере подъема растительность на горе постепенно менялась. Лошади продирались сквозь цепкие заросли малинника, усыпанные спелыми темными ягодами. Прозрачно рдели повсюду кисти красной смородины. Мы уже давно вступили в эту зону великого ягодного сада, опоясавшую

все предгорья Алтая. Там и здесь, между березами зачернели лиственницы, худые и будто вечно обтрепанные ветром. И все чаще стали попадаться выкошенные поляны; важно стояли на них высокие стога, их долгие тени стлались до самой опушки. Волнующе смешанный запах опахивал нас: острый, домовитый от сена и вольный, сырой — от свежей, вечерней травы.

II

Из зеленой глубины леса донеслись человеческие голоса. Мы поворотили в ту сторону и скоро выехали на просторную поляну. Радостно открылась она зрению, озаренная густым розовым светом, в пестром мелькании женских платков и кофт, в веселой спешке предшабашной работы.

Здесь уймонские убирали сено, метали последние стога.

Кто-то из нас справился у проезжавшей верхом, с волоком сена, босоногой девчонки: что за бригада.

— Полинарьи Лесных! — ответила та не без гордости, ударила лошаденку пятками в широкие бока, качнулась и поехала дальше.

Про Лесных Аполлинарию мы уже кое-чего слыхали на Уймоне. Из кержачек, девица, ведет бригаду второй год и всех обгоняет, была на краевом съезде.

Надо поглядеть. К тому же пора и на ночевку.

На том краю поляны, из-под высоких лиственниц поднимался белый дымок костра. Мы тронули туда.

Три недовершенных стога возвышались в центре общего движения работы. Крайний сложен до половины, и там не заметно было особого оживления, рыжебородый коренастый дядя неспешно управлялся наверху, принимая пласты. Зато два других стога, выложенные на две трети, казалось, притянули к себе всю горячую жизнь, все голоса, всю молодую силу нагорного вечера. На рысях подносились к ним ребятишки-копновозы, огромные навилины взлетали со всех сторон без передышки, смех раздавался, взвизги и задорные возгласы,— так все и кипело там. На одном стогу, на среднем, принимала женщина, на другом — парень в городской клетчатой кепке козырьком назад.

Никто и не оглянулся на нас.

Мы спешились возле костра. Бригадный суп клокотал в широчайшем, как свод небесный, чугунном ойротском казане. Низенькая плотная девица, глядя на нас, застыла в

изумлении, с черпаком в руке. Лицо ее пряталось под головным платком, повязанным ниже бровей: только бойкий нос торчал.

Лошадей привязали на выстойку. Чувство степенного, мирного отдыха, как всегда, вступило в свои права с той самой минуты, как тяжелые седла были сложены на траве и горячие кошемные потники расправлены. Тишина летнего вечера, сразу приблизившись, коснулась души. Близко, в подонном сумраке чащи, среди корней и мхов, шумел несильный поток.

— Бригадирша-то где? — справились мы у стряпухи, хотя в этом вопросе и не было особой надобности. Просто губы у этой толстенькой девицы оказались что-то уж очень ярки и глянцевиты.

Четверо, хотя бы и с ружьями,— конечно, слишком много мужчин, чтобы разговаривать с ними всерьез. Блеснули зубы первейшей белизны, вечная игра началась.

— А вам на што?

— Значит, надо.

— Надо, так поищите.

— Ишь ты, какая быстрая.

— Побыстрей вашего!

— Вон что!.. А зовут тебя как?..

Большая грудь под голубой застиранной кофтенкой пошла ходуном.

— Зовуткой!..

Мы отошли. Девица крикнула вслед:

— Вон она, Полинарья, на среднем стогу.— И добавила другим тоном, посуше: — Они с Тимкой Вершневым на спор ставят. Значит, кто раньше смечет.

Мы обернулись:

— Чья же берет?

— Ну, разве ей против Тимки выстоять! — в голосе ее прозвучала жесткость раздражения.— Одна только слава, что бригадирша... Конечно, подавальщиков она себе каких поздоровше набрала. Ну, да не угнаться, все едино...

Терпкие краски заката погасли. Дохнуло холодком, примчавшимся с каких-то нелюдимых высот. Но ясное небо над горой было еще до самых глубин налито таким всемогущим сиянием, что, казалось, оно никогда не может истощиться. Веселый гомон не стихал у стогов, кипение работы дошло там до высшей точки.

— Давай, давай! — надрывался чей-то ликующий го-

лос.— Стой, отвязывай копну!.. Да куда ж ты, язви те, волокешь ..

Рассудительный бас громыхал на всю поляну:

— Вершину-то, Тимофей, пообжимистей выводи, пообжимистей! Чо ж ты разгоняешь ее не знаю как... Эдак мы никогда...

— То есть это как пообжимистей?! — негодующе визжали от другого стога.— Что значит?.. Он и так у вас тощой!..

— Тощой, тощой! — передразнивали отсюда. — Сами больно пухлые!..

— Дядя Симеон! Ты там доглядывай за ними... А то они небось...

— А я доглядаю,— важно ответил тот рыжебородый, что недавно управлялся на третьем стогу. Его, видно, призвали в арбитры. Он стоял теперь перед стогами, опершись обеими руками на грабельник, как на посох, и наблюдал за ходом соревнования.

— Все правильно у них,— прибавил он веско.— Тимке чуток и остался, еще пласточков десятка полтора, и вывершит. А мечет ладно, я доглядаю...

Тимка чертом вертелся на стогу, только грабли мелькали. Видно, не просто это было — поворачиваться там, на верхушке, сделавшейся не шире тележного колеса, и пружинило сухое легкое сено, но Тимка, резко выделяясь плечистой своей фигурой на глади светлого неба, будто приплясывал, не оскользаясь, не заплетаясь ногами; без промедления, точно хватал он навилины, поспевал приладить и примять пласт, не нарушая стройных, закругляющихся друг к другу навстречу очертаний вершины. Может быть, только излишняя щегольская подчеркнутость была во всех его ловких поворотах и изгибах, да и сама быстрота их казалась чрезмерной и судорожной. И свое — «давай, давай, не задерживай!» — выкрикивал он без нужды часто и залихватски. Похоже, что его самого всего пружинило и распирало там — от счастья работы, от уменья, от того, что всех выше он под небом, всех ловчей.

Аполлинария, соревновальщица его, действовала на своем стогу умело и споро, стог ее тоже рос правильно, круто. Но уже заметно поотстала она, и это видели в ее группе и уже поторапливали снизу, не выходя, впрочем, из пределов почтительности.

— Чего ж ты, Полинарья, ты бы, однако, повеселей укладала. Вон уж у них...

Кстати, стряпуха-то давеча возвела на Аполлинарию явный поклеп — будто она набрала себе каких покрепче. Ей подавали все больше девицы да совсем малорослые пареньки. Взрослые мужики, которых вообще было немного, как раз собрались вокруг Тимки. Может, оттого он и брал верх.

Бригадирша, наверное, видела, что отстает. Однако в движеньях ее не прибавлялось торопливости. Она двигалась по-прежнему спокойно, и с какой-то особенной плавной грацией творилась у нее эта работа, похожая на одинокий танец, высоко над головами людей, в светлом куполе неба.

А уже загалдели у Тимкиного стога: «Вывершил, вывершил!» — и кто-то жиденько затянул: «Ура-а!..»

И рыжебородый Симеон, гордясь своим значеньем, громко подтвердил:

— Вывершил. Будя!

И тотчас же Тимка, как-то по-особому выгнувшись и едва скользнув рукой по веревке, перекинутой подавальщиками через вершину стога, слетел на землю с высоко поднятыми граблями, притопнул, хотел, видно, крикнуть, да сдержался, сказал тихо, хрипловато, с едва приметной улыбкой, витающей вокруг запекшихся губ:

— А ничего сработали... Складно.

Но насквозь сияло и пело изнутри скуластое его лицо, с дорожками пота на грязных крепких щеках, с раскисшим и прилипшим ко лбу сивым вихром. Приставив грабли к стогу, он повернул свою явно франтовскую кепку козырьком вперед и, пока кругом голосили с преувеличенным восторгом, чтоб только погорше было тому стогу, Тимка стоял неподвижно, невысокий, ладный, сдерживая дыханье расходившейся просторной груди, и поглядывал на всех узкими смелыми глазами, из которых так и било хитрое его счастье.

Казалось, на вид ему побольше двадцати, и то ли гладко брился он, то ли бежала в нем какая-то залетная алтайская кровь, — но был мальчишески гол его острый подбородок. Ситцевая выгоревшая рубаха, выбившаяся из-под ремня, была у него сильно разорвана возле плеча.

Восторженные голоса стихали. Под конец самый дюжий мужик в древней поярковой, грибом, шляпенке, кажется тот, что недавно гудел: «Пообжимистей!» — заключил столь же густо:

— Сам-то он Вершнев,— выходит, завсегда и вершить ему!

Тут все звено обрадованно засмеялось, а Тимка, поняв минуту, нагнулся, стал отряхивать со штанов приставшее сено. Потом он подтянул голенища высоких конашин, подвязал их сыромятными ремешками и, прихватив грабли, пошел к стану, на ходу перепоясываясь и оправляя рубаху. Все двинулись за ним.

Проходя мимо Аполлинарьиного стога, Тимка остановился, посмотрел наверх, где бригадирша укладывала последние пласты, но почему-то ничего не сказал, пошел дальше. Только уж позади его крикнул кто-то:

— Эй вы, ползуны неповоротные, подсобить не надо?..

Аполлинария, выпрямившись, утерла лоб рукавом, ответила с усмешкой, без обиды:

— Спасибо на добром слове. Сейчас сами управимся.

Голос у нее был низкий и умный, из тех, что идут со дна груди и, свидетельствуя о полной душевной силе, так обогащают самый неказистый женский облик. Мы еще не сумели разглядеть, какова она собой.

Только под лиственницами, у костра, возле его живого пламени, заметили мы, как смерклось на поляне. Еще один солнечный огромный день ушел совсем. Но в этой пустынной высокой стране, откровенно кажущей небу свои провалы, трещины и обледенелые складки, всякая подвижка времени ощущалась телесней, чем где-либо, лишь как новый поворот этого бока планеты с его хребтами и впадинами. Она давала в остатке не грусть, но чувство свободы полета. День прошел,— летим дальше, дыша этими запахами теплого сена и близких снегов.

Я поднял голову. Первая звезда водянисто дрожала в померкшей, еще бесцветной вышине.

III

Стреножив лошадей, мы отпустили их к бригадному табуну.

Подошла Аполлинария, работавшие с ней мальцы и девчата, толкаясь и хохоча, побежали к ручью умываться. Мы поговорили с Аполлинарией о бригадных порядках, об урожае. К третьему августа, досрочно, они кончат сеноуборку, бригада переключится на жнитво. Весь-то колхоз

запаздывает с сеном, а пшеница желтая уже, к тем горам так и вовсе погорела, лето знойное. Бригадирша отвечала просто, смело; видно, привыкла говорить с приезжими, с городскими, с кем угодно. Но разговор наш не вязался, шел по верхам; устала она, и, похоже, чем-то другим были заняты мысли. Несколько раз она оборачивалась к костру, ярко распылавшемуся неподалеку, высоко озарившему стволы и мрачную хвою лиственниц. Что-то ее тревожило. Может быть, ужин запаздывает?

Там, возле костра, сидел Тимка, до пояса голый. Он уже успел умыться, и теперь толстенькая стряпка, стоя рядом с ним на коленях, чинила его порванную рубаху. Время от времени он подбрасывал в огонь сухого лапнику. Столбом взвивались искры, вдогонку вымахивало длинное пламя. Беспокойный, дышащий круг света мгновенно раздвигался, виднелись обутки и спины бригадников, прикорнувших между толстыми корнями; по другую сторону наши седла в траве посверкивали металлическими частями и отполированной кожей. Тимкина голая грудь и плечи сияли, как начищенная красная медь; переливались при движении резкие валики мышц. Совсем не скучный разговор шел там у них, стряпка то и дело, откинувшись, тряслась от смеха, розово блестели ее зубы. Потом она перекусила нитку, заколола иголку себе в кофту и встала, чтобы помешать в казане. Тимка тоже поднялся, стал надевать рубаху, но, видно, запутался головой в вороте. Стряпка, оглянувшись, ловко щелкнула его горячим черпаком по твердому втянутому животу и с визгом отбежала на ту сторону костра. Тимка справился с рубахой, схватил свой ремень, погнался за девицей. Сперва она увернулась, но он все же достал ее ремешком — легонько вытянул вдоль гладкой спины и, поймав в охапку, принялся не то щипать, не то щекотать ее.

— Ой, не буду! Ой, мамоньки, не буду! — верещала она, плача от смеха.

Аполлинария, с минуту молча и неподвижно смотревшая на эту возню, вдруг решительно двинулась к стану. Мы последовали за ней, посмеиваясь про себя,— сейчас проборка...

Увидев бригадиршу, Тимка отпустил девицу, та вперевалочку отбежала к казану, принялась деловито помешивать в нем; по выражению спины, по всей ее напряженно полусогнутой фигурке видно было, что она с неловкостью ожидает, что будет. Ждал и Тимка, глядя на подходившую

Аполлинарию, но он стоял прямо и, по-красноармейски стянув рубаху борами назад, неторопливо опоясывался.

Бригадирша молча постояла перед ним, как-то неуверенно, по-девичьи, сложив на животе руки, потом произнесла обычным своим, упругим и ясным голосом:

— Ну, что ж тебе сказать, Тимофей... Скажу: молодец. Работу аккуратно исполнил.— В голосе у нее дрогнула улыбка.— И меня обставил... Ну, я на то не в обиде. На жнитве сосчитаемся...

Тимка молчал, глядел на нее прямо, зорко.

— Всегда б, как ноне, работал,— продолжала она наставительно,— коли б не отлынивал, так ладно было бы. Ухватка, смелость у тебя есть во всем. А будешь стараться, по осени от правления тебе премия выйдет, это я твердо тебе говорю.

Тимкины губы чуть покривились.

— Не больно чтой-то я страдаю об премии этой,— сказал он отчетливо.

Стряпка, с интересом слушавшая этот разговор, тут радостно захохотала. Аполлинария медленно повела на нее глазами и снова обратилась к Тимке:

— Значит, совсем лишняя она тебе, премия?

— Это две десятки-то или там будильник со звоном? — усмехнулся Тимка.— Так я в Ойрот-Туре, на стройке, за один день две таких премии отшибу, чем тут за нее цельное лето париться. Ты уж кому другому ее выхлопатывай. Вон хоть Панька, братишка твой, почитай што без порток гуляет и старается во всю силу, ему сгодится. А уж я обойдусь как-нито...

— Во-он ты как смотришь! — спокойно удивилась Аполлинария.— Только на рубь меряешь. А как весь колхоз твою работу ценит, срам ли от него, почет ли, это тебе без интересу?..

— Проживем и без почету,— пробормотал Тимка, глядя куда-то вкось.— Уймонский почет недорого стоит, языком да по собраниям крутясь, еще и легше его найти, чем на поле.

Аполлинария подступила к нему почти вплотную.

— Ну и Тимка! — протянула она с изумлением, и впервые горячая, грозная даже нота зазвучала в ее голосе, еще более низком.— Красив же ты стал, Тимка!.. Будто кто подменил тебя, право. Эдакого не слыхала я от тебя раньше... Однако, видно, новые учителя у тебя завелися. И учат они тебя, учат, и впрок идет ученье!..

Она стояла перед ним в тревожных струящихся к небу отсветах костра, чуть отклонив голову в сторону, стараясь перехватить потупленный Тимкин взгляд. Была она одного роста с парнем, а то и повыше.

Я смотрел на нее во все глаза. Молода она — вот что больше всего удивляло. До чего же молода!.. Хоть мы и слыхали, что девушка она, но как-то не соединялось это совсем, совсем юное лицо ни с званием увесистым бригадирши, ни с краевой ее известностью,— и с голосом, со всей повадкой ее не вязалось. Конечно, не было ей и двадцати. Даже белый платок, низко, по-скитски скорбно, с прямым перегибом на висках повязанный, ее не старил. Продолговатое, может, слишком длинное между носом и ртом, с темными строгими бровями — северной славянки лицо. Иконописное — сказали бы раньше,— рублевского века. Но куда там! В нем столько движенья было, горячности, а сухости никакой. Свежи и нежны щеки, несмотря на загар или природную смуглоту; и вовсе не скаредные губы приоткрыты в напряженном внимании. И не шло в голову сужденье, красива ли,— так важно и ново, как всегда, было явленье из вечернего сумрака этого, полного своей жизни, лица, с тем особенным и страстным наклоном, ей, только ей одной свойственным, как вот вглядывалась она в ту минуту в потупленные глаза парня.

— А что еще, какие учителя? — вдруг будто очнулся он и резко поднял голову.— Ты про кого это?..— И, не дожидаясь ответа, сказал твердо, с силой, глядя прямо в глаза ей: — Знаешь чего, Полинарья, лучше в мой палисад не лазай, ты в нем не хозяйка. И не время нам тут с тобой счеты сводить. А это запомни: мне учителей не надо. Ни новых, ни старых. Не нуждаюся.— Он усмехнулся дерзко: — Слава богу, сам ноне грамотный.

И, повернувшись, пошел от нее, легко перескочил через суковатую сушину, положенную одним концом в костер, уселся невдалеке среди молодых парней и девчат. Лежа в траве звездой, головами друг к другу, они разговаривали между собой и пересмеивались.

Аполлинария постояла, глядя ему вслед, потом обернулась к стряпке.

— Таисья, ужин-от готов у тебя?.. Раздавай,— сказала она строго и пошла к ручью. Темная коса тяжко лежала на ее спине, прямой и по-женски зрелой.

Через несколько минут стряпка застучала черпаком по краю казана и звонко, на всю поляну, позвала ужинать.

Мгновенно все вокруг пришло в движение, со всех сторон из уплотнившейся дочерна темноты потянулись бригадники с мисками, котелками, столпились у костра. Сначала все шло там чинно и мирно, и уже усевшиеся поблизости истово, над ломтем хлеба, понесли ко рту дымящиеся ложки. Потом вдруг у казана зашумели, заговорили вперебой, донеслись голоса, и негодующие и жалостные.

— Это что ж такое!..

— Права не имеешь!..

— Всем давай!..

Шумели больше всего ребятишки, обступившие Таисью со своими чашками и мисками. А Таисья, не слушая их, весело и начальственно провозглашала:

— Маленьким без мяса!.. Без мяса маленьким!.. Отходи, давай, кто следующий!..

Но ребята не отходили, шум разрастался, две или три бабы решительно вступились за ребячьи права. В эту минуту подошла Аполлинария.

— Из-за чего спор? — спросила она.

Все сразу загалдели, обратившись к ней. Таисья на прямой вопрос бригадирши ответила не без вызова, что ей сам Федор Клементьич наказывал, как заезжал поутру, чтобы с этого дня мясо в ужин выдавать только взрослым. Как ей председателем велено, так она и делает.

— Глупости это,— быстро сказала Аполлинария.— Трудодень ребятишки по своей работе получают, а есть всем надо ровно. Выдавай с мясом, как и раньше.

— Верные твои слова, деушка,— поддержал дядя Симеон, до того, впрочем, молчавший.— Им ведь, однако, ро́сти надо, маненьким-то, ро́сти...

— Так председатель же! — закричала Таисья.— Оглохли вы, чо ли? Я говорю, председатель велел, Федор Климентьич... Вон и Тимка слышал, он тут был. Тимка! Да скажи ты им!..

Тимка сидел поблизости на какой-то колоде, хлебал из своей чашки. Не поднимая головы, сказал отрывисто:

— А не знаю я. Меня это не касаемо.

Таисья всплеснула руками:

— Да как же ты, Тимочка... Ведь при тебе же! Слышал ведь!

— Отвяжись ты от меня! — глухо, со злобой ответил Тимка.— Чего пристала? Говорю: не слыхал ничего.

— Ладно! — вмешалась Аполлинария.— Это я сама разберуся с председателем, говорил он, нет ли. А вот я те-

бе, Таисья, говорю: выдавай по-прежнему. И кончено дело.

— А не буду по-прежнему! — крикнула та.— Ты что, главней председателя стала нонче? Не могу я его приказ нарушать. Я тут, у котла, отвечаю!

— Да ты что? — тихо изумилась Аполлинария, подступая к ней.— Ты что это в голову забрала? В чьей ты бригаде состоишь?.. Думаешь, ежели...— Она осеклась и, переменив тон, закончила сухо и властно: — Делай, как я велю. А не хочешь,— сей момент от котла отставлю и другого назначу!

Неизвестно, чем бы разрешилась эта история,— похоже, Таисья не собиралась сдаваться. Но в это время из темноты раздались радостные возгласы:

— Передвижка!.. Передвижка приехала!..

Многие, и скорее всех — ребятишки, кинулись в ту сторону, откуда закричали. Следом за ними пошла и Аполлинария. Таисья, видимо, решила подчиниться распоряжению бригадирши, просто ей, наверное, не захотелось затягивать раздачу. На стану все снова пришло в чинный порядок, выстроилась очередь. И чей-то мальчишеский голос удовлетворенно произнес:

— Ты побольше, побольше накладай, Таська. А то, знаешь?..

IV

Механик кинопередвижки, длинноногий парень в кожаной куртке, неподалеку от костра уже устраивал все необходимое для зрелища. Ловко подрубил метра на полтора от земли высокую лиственницу и повалил ее так, что она, переломившись, осталась комлем на пне. Пообчистив середину ствола от сучьев, снял с вьючной лошади динамику и прикрепил к стволу, потом приладил проекционный аппарат. Видно, все это для него было дело привычное. Полотняный экран он натянул, с помощью бригадных мальчишек, опять-таки между двумя стволами лиственниц, точно по заказу, удобно и прямо стоявших поблизости. Ручей шумел теперь где-то за экраном, заменяя отсутствующий оркестр, небольшой пригорок полого снижался к воде,— он и должен был стать партером, в подлинном смысле этого слова. Оказывается, все тут, на горе, издавна было приготовлено для этого электрического колдовства.

Бригада, отужинав, тесно расселась на прнгорке. Кнно видали хоть и не часто, но не в первый раз, все понимали, в чем дело, все ждалн с горячнм любопытством и тем особым уютным волненнем, какое предшествует ночному, вполне безопасному и поразительному зрелищу.

Смутно белел экран в великолепной раме мохнатых веток и звездного неба. Звезды, совсем близкие и ясные, будто вымытые, роились над темными верхушками деревьев в немыслимой и стройной тесноте, во всем торжественном разнообразнн величин, крупные, важно переливающиеся, н те, едва намеченные в черных прогалах неба, и вся драгоценная пыль. Поток шумел неумолчно, ровно, все однмм широким и мирным звуком.

Потом экран вспыхнул, звезды отступнлн и померклн. И вовсе погасив шум воды, резко в лесной тншине застрекотал аппарат.

Мы, городскне, видали этот фильм лет десять тому назад, он уже почтн выветрнлся из памяти. Но, вспомннв его по первым кадрам, мы сразу обрадовались ему, как старому приятелю. То была простодушная н жнзненная картина, с молодыми, очень увлеченными и старательнымн актерамн, полная движения и летнего солнца. Многие, наверное, прнпомнят ее. Там, в центре всего, монастырь, расположенный в красивой горной местностн, а главный герой — монастырский звонарь Иона, здоровенный парень, хитрец и снлач, с крупным и веселым лнцом. В село, что возле монастыря, приходят белые, арестовывают большевиков нз ревкома, запирают нх в монастырском подвале. Героиня, деревенская девушка, пытается освободить своего брата, большевнка; звонарь Иона ей помогает. Тут же, рядом,— корысть, жадность и всякие блуднн монахов.

Экран дожднл и мерцал, лента была старенькая, однако еще вполне разборчнвая. Механнк громко прочитывал надпнсн, нещадно перевирая слова. Но его мало кто слушал, все и так понимали суть дела. Когда на экране в деревню ворвались белые, сверкнули погоны, — снизу, с земли, погруженной во мрак, сразу тревожно воскликнули:

— Кайгородов!..

Насторожилнсь, вытянули шен, кто-то прнвстал на коленки, но его, вндимо, сердито дернули снизу, и высунувшаяся голова пропала. На экране белогвардейцы творили расправу, металась скотина, бегали ополоумевшне бабы, плакали дети. И это все было очень знакомо и понятно здесь,

на Уймоне, где всего тринадцать лет тому назад кипела кровавая мешанина, жесточайшая за всю историю сибирской гражданской войны, где при Кайгородове рубили и пороли каждого десятого,— и память о тех годах была жива. Да и местность в картине очень походила на алтайские предгорья.

Кончались части, треск аппарата смолкал, обрывалась вторая жизнь, ловкая и стремительная. Снова победно выступали звезды, еще вольней шумел поток, прохлада живой, все углублявшейся ночи становилась ощутимой.

— Давай кого другого вертеть! — крикнул механик, доставая ленту из третьей коробки.— Тебе, брат, телячий хвост крутить, а не динаму,— мирно сказал он какому-то малому, выполнявшему эту почетную обязанность. Действительно, тот крутил неумело, рывками, то слишком усердствовал, а то вдруг замедлял, видно зазевавшись на картину, и свет слабел, почти угасая.

— Становись другой кто-нибудь, — повторил механик.

Тут многие повернули головы к Тимке Вершневу.

— Вот Тимка сумеет... Эй, Тимка!.. Вылезай, чо ли!..

Вершнев сидел с краю, впереди меня, рядом с Таисьей. Перед началом картины он устроился удобно, положив соседке голову на грудь, та крепко обняла его. Так и полулежал он примерно до середины первой части, потом приподнял голову, неотрывно уставившись на экран, а к началу второй и вовсе выпрямился и даже, когда Таисья стала опять клонить его к себе, нетерпеливо снял со своего плеча ее руку.

Теперь она зашептала ему:

— Не ходи, Тимочка, чего тебе там, сиди тута...

Но он вскочил и направился к аппарату.

Дело у него пошло отлично, свет сиял ровно, не мигая.

Разгорались бои, в лесистых горах сходились партизаны. Красивая девушка, верная, храбрая и предприимчивая, пробиралась в монастырь, заглядывала в подвальное оконце, видела своего брата, измученного, заросшего диким волосом. Пленники томились смертной мукой, назавтра их ожидал расстрел. Зрители, вполне захваченные ходом действия, то замирали в чуткой тишине, то ахали и бурно волновались.

Тимка, открутив три части, вдруг отошел от динамо.

— Ты куда? — удивился механик. — Устал, что ли?

— Уставать тут не с чего, — мрачно сказал Тимка. — А вертеть больше не буду. Смотреть хочу.

— А отсюда разве не видно?

— Мешает.

Не возвращаясь на старое место, он уселся впереди всех и, не взирая на уговоры и просьбы, наотрез отказался крутить. Тогда вызвался тот дюжий колхозник в поярковой шляпе, и динамо снова заработало исправно.

Красивая девушка скакала, скакала по лесам и долам, пригнувшись к шее коня, тяжелая коса ее билась за плечами. Не лицом, но смелостью движений, зрелым и легким станом, еще чем-то походила она на Аполлинарию... И вот они, партизанские костры в долине. А молодец Иона в переполненном народом храме разоблачил придуманное монахами чудо, и разгневанная толпа повалила выручать большевиков, которые — вот уже — стоят перед дулами. Тут так лихо принялся Иона крушить оглоблей белогвардейцев, — где ни махнет, там улица, — что никак уж невозможно стало усидеть смирно. Чуть не вся бригада повскакала на ноги; загалдели, восторженно хохоча:

— А давай, давай!..

— От, язви!

— А вон энтого еще, ишь спрятался!..

И чей-то совсем уж восхищенный голос крикнул:

— Эх, братцы!.. Вот бы к нам его, стога-то метать!..

Так, под громовый хохот, рукоплескания и крики, Иона отхватил офицерской шашкой полы своего подрясника, так он поцеловался с красавицей, так он ехал на зрителей во главе партизанского отряда с красным знаменем в руках, молодецки поглядывая на девушку, а она ехала рядом и смотрела на него с нежной насмешливостью.

И погас экран. Снова полным разгаром своим выступили звезды, снова свежо зашумел поток. Но что-то переменилось в ночи. Стала она будто откровенней и доступней. В неподвижной тьме ясно угадывались пространства, высоко взлетевшие под небо, но не страшные, а братски близкие телу. Все прежде разъятое, раздельное — черная, горящая высь, травянистая земля, нагретая за день, и горстка людей, закинутых работой на гору, высоко над долиной, и шумно несущаяся вода, и безмолвно сухая хвоя — все сошлось воедино, как бы проникло друг в друга, породнилось. И прохладный ветер, волной пробегавший по поляне, казался те-

перь приязненным, свойским,— он был дыханьем все той же простой и единой жизни.

Мне было давно знакомо и дорого это переживание. Его и сейчас породила властная работа искусства,— а оно присутствовало в этой незамысловатой, но верной и доброй картине. И хотелось мне знать, что же чувствуют другие зрители, что творится в глубине их душ. Расспросить?.. Пожалуй, никто не скажет. Бригадники расходились в темноте, возбужденные и веселые, похваливая картину, а больше всего одобряя богатыря Иону.

— Вот бы к нам-то эдакого! — все повторяли они.

— Да уж этот бы наработал!..

Скоро все стихло на поляне, люди разбрелись спать по стогам, улеглись вокруг угасавшего костра. Спутники мои тоже разошлись кто куда. В ровном, бестелесном сумраке поляны, среди нелепых, размытых теней стогов и деревьев только венец раскаленных углей вокруг черного котла виделся издали единственным цветовым пятном; этот цвет был горяч и груб в сравнении с тонким, игольчатым мерцанием звезд, но и он не дерзил, не нарушал глубокого спокойствия ночи,— он даже был, пожалуй, главным средоточием ее древней сдержанной силы.

V

Захватив свой кошемный потник, я отправился на тот край поляны, к самому дальнему стогу. В той стороне земля уж заметно убегала из-под ног, страшновато круглилась книзу. Там я с вечера приметил широкий просвет в стене леса, открывавший даль Уймонской долины. Мне и хотелось улечься здесь, чувствуя высоту, и чтобы утром встать и сразу увидеть Алтай. Сейчас ничего нельзя было разглядеть, кроме смутного лесного моря под ногами, да горящее звездное небо впереди в огромном размахе выгибалось к горизонту, падая в черную тучу земли. Было новолунье, и молодой месяц, наверное, прятался где-нибудь за нашей горой.

Я обошел стог, подсунул с краю свою кошму и улегся, кое-как вкопавшись в тугой, колючий бок стога; как сумел, завалил себя сверху. Едкие, мирные запахи сена и конского пота, пропитавшего кошму, мгновенно заволокли быструю череду дневных лиц, имен, солнечных искр; все слилось, исчезло.

Проснулся я, верно, от холода, очень неуютно зябла спина — видно, сползло с меня сено. Хотел было устроиться получше; повернулся захватить рукой сползавший ворох и — тут же замер. Совсем близко, рядом, за округлым боком стога, говорил мужской, молодой и хрипловатый голос. И столько было в нем встревоженной страстной силы, даже когда понижался он до глухого шепота,— столько страстности, неловкой, но побеждающей всякое стеснение... Я замер, не шевелясь, и сон слетел с меня, не мог я не слушать. Ведь это же Тимка Вершнев... Ну, конечно, он!

— Не понимаешь ты!.. Эх, не понимаешь! — громко, прерывисто шептал он.— А ты пойми, на вот, хоть влезь в меня, я тебе всю душу вывернул!.. Пойми же ты, однако, не город этот мне нужен, не одежа, не деньги легкие... Ну, что она, Ойрот-Тура, с виду деревня та же, только что дома повыше... В Новосибирском был, в Омском, знаю. И опять не про то я... Не в улицах сласть, что людей там много, трамваи... Это мальчонке лестно, поглядел — и надоело на третий день, ходишь, как по Уймону. А мне ведь из себя вырваться надо... Из себя, понимаешь?..

Он передохнул тяжело и зашептал еще горячей, быстрее:

— Тут я чисто в шкуре какой хожу, и скрозь меня она до нутра проросла, как зверь все равно. Грузно мне, тошно, глаза застилает, к земле гнет. И все уймонское меня облепило, и сам-то я дурак дураком. Не вижу ничего, не знаю, тыкаюсь, все равно что щенок слепой...

— Нет, постой, погоди, однако,— заторопился он.— Знаю, ты и раньше все напевала, дескать, и тут можно... Это знаю я, что и тут все к лучшему идет, и самому можно... Да ведь туго-то как!.. Еле-еле... Пластом переползаем. За годом год... А я быстрей могу жить! Я очень даже скоро все взять могу. Я все понимаю, все мне открыто...

— Не хвалюся я, нет! — воскликнул он и тут же, испугавшись, что громко, понизил голос.— Я тебе говорю, а смотрюсь в себя, как в воду, и все до донышка вижу. Слепой я дурак нетесаный, а ведь вглубь-то я все понимаю, всю землю чувствую, всех людей. Вот — как усмехнулся человек или там поежился, или говорит что, а сам про другое думает,— завсегда мне все открыто — к чему это он и чего ему надо. И не только свои мужики али ребята... Вот намедни который инструктор приезжал, из Усть-Коксы,— начал он тут речь говорить...

— Да это все зря я! — вдруг прервал он себя с досадой.— Не об том я хочу... Я про то, однако, что мне учиться надо. Только побыстрей бы, спешно, да погуще бы как... Про все, чему только ни учат. Я с места бы взял, разом... И уж не отцепился бы до конца, пока все не превзойду! Как клещ бы впился...

Он вздохнул, видно улыбнувшись.

— Ах ты, мать честна! Дотянуться бы только поскорей! Сила есть во мне, не занимать, знаю... Есть сила!.. И самостоятельность... Уж я не закружуся, запить там, загулять или еще какие пустяки... Все дальше пойду, весь мир как свой брат мне будет... Как старики наши поют,— вся тайная... Вся тайная отверзится... Я ведь как сделать-то хочу... Да ты слушаешь, Линка, аль спишь?..

— Нет, слушаю я,— невесело ответил низкий женский голос, и с изумлением узнал я в нем голос Аполлинарии.

— А все не веришь, не веришь? — зашептал Тимка.— Опять скажешь: накатило... Нет, Линушка, теперь уж крепко это, навечно. Что про картину я сказал, это так и есть. Но от нее мне... ну, только толчок будто сделался. Ведь все это и раньше во мне было, и цельное лето промаялся я, то есть прямо скрутился от тоски, хоть в петлю. И уж надумал было, совсем решился... ну — сказать тебе, чего надумал-то... Да все как-то не вязалось одно с другим. И в город уйти надо... Надо мне, понимаешь? Вот уж до коих подступило, не могу... И от тебя уйти духу нет... Нельзя ведь мне без тебя, Лина, я это каждый день, каждый час вижу. А опять же знаю, строгая ты, свой план у тебя во всем, и с Уймона не торопишься... Что ж теперь делать?.. Измытарился я вконец... А тут вдруг как свет! Ты говоришь, чудно́ тебе это, чудно́, сам знаю. Ведь не доказал мне никто, не скомандовал: дескать, вот так и так надо. Ну, что там? Монахи, борьба... И ведь не то чтобы пример какой... А только вдруг свет, свет в меня пошел, в горле сдавило... Кончилось представление,— тут и увидел я свою силу. Эх, да все я смогу, что ни лежит предо мной! Все одолею!.. Вот что со мной стало. И сошлось одно с другим, что раньше вразброд шло...

Он помолчал, потом заговорил умиротвореннёй, тише:

— Так и завсегда со мной, от картин от этих, от постановок... То есть, ясно, какая понравится. Другая, так тошно с нее, после три дня совестно на всех людей глядеть, и руки и ноги вянут. Ну, а уж понравится,— так ведь в го-

роде, бывало, как птица летишь оттуда и кругом будто праздник Первое мая. Так и обнял бы всех... аль бы подрался, не сходя с места. С гадом с каким, с фашистом бы, чо ли... Нет, не то что во хмелю, по-другому. Смелей, красивше... У всех так бывает?.. Не знаю я... Нет, ребята есть,— глядишь, только на улицу вышел — и уж он орешки себе лузгает, и разговор про то, про се, и не вспомнит. А я дак цельный год могу помнить... Вот, однако, и книжка тоже... Где про разное. Не те, что в школе учили, другие... И чтобы по-правдашнему было написано... Опять же смотришь, нет в ней никакого наставления. А что только и сделается с нее!.. Летось вот прочел я книжечку... Не помню, кто сочинял, Пушкин будто. Ну просто там живут старичок со старушкой. Ели они ужасно много, только и знали, что ели. И ничего не случилось у них, и будто ничего не написано такого... Вот ведь, не знаю, как и передать... Ну, двери у них шибко скрипели... А после, в конце, померла старушка. И старичок сильно заскучал по ней. Заскучал он, значит, затомился и помер тоже. И все тут... Так веришь ли, нет ли, а прочитавши, чуть-чуть не взревел я с этой книжки. Так меня взяло... С чего, и сам не пойму... Ну что там? Старички какие-то, помещики, это даже надо осудить, ежели посерьезному... А меня опять как на крыльях подняло, чтой-то мне тут опять приоткрылось. И ночь-то я мало спал, все думал... А на другой день в больнице по настилке потолочных балок две нормы сделал, вот как... И всю жизнь буду помнить ту книжечку...

Тимкин голос замолк. Самая тайная, самая черная тишина ночи в эти минуты доспевала на горе. И ветер стих. Не шелестела ни одна былинка. Только ручей вдалеке шипел нескончаемо, осторожно, одним ровным звуком, и от него было еще тише. Звезды в зените, прямо над моим лицом, горели светло, упоенно, их будто стало еще больше, и мелкие, слабые явственно отступали в свои пустые глубины, нарушая цельность и гладкость черного свода, а крупные вышли наперед, дрожа и пуская в глаза мне сияющие паутины. Я лежал, не шевелясь, не зная, что делать мне... Встать, уйти,— они услышат, спугну их и, может быть, все разрушу... Да ведь пока и говорит-то он такое, что не грех слушать... Нет уж, лежать, лежать, по-прежнему затаив дыхание!

Там у них зашуршало, Тимка неуверенно окликнул:

— Лин, а Лин!..

— Что тебе?

— Так как же мы с тобой, а?

— А все так же,— тихо сказала Аполлинария.— Вот ночь переспишь, а утром Таисья тебя поприветит, все и слетит с тебя, и всем бо́лестям твоим конец, посмеешься только, все равно как сну несуразному...

— Ну вот,— горько усмехнулся Тимка.— Опять сначала. Будто и не говорили... Да что же я душу тут всю перекопал перед тобой,— зря, выходит?.. Ты слушала меня аль нет? Разве для обману я говорил тебе? Ведь не так обманывают-то, эх, Линка!

— Слушала я все,— заговорила она медленно и печально.— Слушала, и вижу, что правду говорил, вот как она этот час у тебя на сердце лежит, да и нету тебе никакой корысти теперь обманывать меня... Ну, а толк-то какой в твоих словах? И по весне говорил ты мне много,— заслушаешься, бывало. И про картины поминал, и про книжки, и какой от них переворот в тебе... А потом что было?.. Помнишь, как у реки, у парома позвала я тебя?.. Как нож в меня тогда (и на низкой ноте дрогнул, оборвался ее голос)...Как нож!..

Она поборола себя, встрепенулась:

— Я про чувства свои, про слезы не мастерица рассказывать. Не люблю. Только все поняла давно уж. Все едино тебе, перед кем ни проповедовать и кому руку жать и в чьи глаза глядеть. Везде ты только себя, себя одного видишь и сам собой весь мир застишь. И всем-то ты чистую правду говоришь, и мне, и Таське, и третьей, и десятой... Таське-то небось...

За стогом сильно зашумело, и Тимкин голос, смелый и счастливый, громко произнес:

— Линушка, знаешь чего?

— А что? — быстро откликнулась она.

— А то, что я тебе последний раз говорю: брось про Таську. Смешно мне, как ты ее с собой равняешь. Смешно, и все тут. Да ты что, сама не понимаешь, чо ли? Как костыль она мне нужна была, подпереться да от тебя отхромать. Поближе было, только руку протянуть, вот и взял, не глядя. И напоказ перед тобой с ней крутил, и через силу старался во всем поперек тебе ставить, чтоб только на тебя осерчать, расколоться с тобой напрочь. Умная ты, однако, сама должна была видеть, да и понимаешь все, не поверю я... Таська!.. Да ежели бы по-серьезному, что ж я, лучше бы не мог сыскать! Совсем ведь бессмысленная девка, ну, нестоящая...

— Бессмысленная, а тебя вон как спутала.

— Как это спутала?

— А ты знаешь, у кого она ума набирается. Я сказала тебе, к кому она в заречье бегает да кто ей ро́дные.

Тимка засмеялся.

— Ну, эта твоя история из газетки вычитана. Это ты от святости своей, как, значит, активистка... Да мне-то что! Хоть бы и бегала. У нас с тобой об ней кончен разговор. У нас своих делов до утра не переговорить. И все сообразить надо. Ты подь сюда ближе... Да чего ж ты!

Что-то резко рванулось, зашуршало и смолкло. Потом зазвучал Тимкин тяжкий шепот:

— Так что ж тебе, Полинарья... богом-господом, чо ли, божиться?.. Да не молишься ты, и я поотвык. Ты мне так поверь. Сказал: без тебя — никуда. Так и будет. До зимы — скажешь, буду зимы ждать. Еще набавишь, опять потерплю. Говорю тебе: теперь на все хватит у меня силы. Веришь теперь, ну?.. Ну?..— повторил он властно.

Стихло. Потом зашептались едва слышно:

— Линушка, ты на каком ходишь-то?..

— А сам не сосчитаешь?

— Не сбиться бы...

Засмеялась тихонько.

— На четвертом,— шепнула она.— Скоро прознают уж.

— Теперь пускай все прознаю́т.

Зашумело сено. Не дыша, осторожно, я приподнялся, чтобы встать и уйти. И уж когда, крадучись, сделал я занемевшими ногами два-три шага по скользкой, росистой, скошенной траве, раздался Аполлинарьин голос, звучный, горестно-веселый:

— Ох, тяжко мне, Тимочка, с тобой будет, ох, чую, тяжко! Горя не оберешься... Да что уж!

Скользя по траве и спотыкаясь, я спускался по крутому склону в темноте, едва-едва потускневшей, шаги невольно ускорялись, ноги побежали сами, и, разлетевшись, выставив вперед руки, я ткнулся ладонями в толстый, шершавый ствол лиственницы. Обхватил его и замер на месте. Что там было, подо мной? Обрыв ли, пологий ли скат?.. Смутно чернела внизу щетина нагорных лесов, холодным духом сырости, древесной гнили, кислинкой березового листа тянуло оттуда. Уже долинная тьма была чуть разбавлена белесыми полосами катунских туманов. Начинал светлеть

безмерно далекий край неба, и там робкой, воздушно-серебряной чертой наметились зубцы и купола Терехтинских белков. Звезды в той стороне неба проредились, поблекли, но выше и над головой они еще горели торжественно, лучисто. Я подумал, что люди, которые вышли в эту минуту на воздух из аилов, крытых лиственничной корой, из войлочных юрт Кош-Агачского плато, из пошатнувшихся избенок Уймона — все они видят вместе со мной те же созвездия и шепчут что-нибудь и хвалят свой желто-заревой Алтай.

А в Москве, пожалуй, и спать еще не ложились.

1937

Иван Касаткин

•

Чудо

Село наше, прямо сказать, — глухое село. От чугунки чуть ли не сто верст. В слякотиую пору ты к нам лучше не суйся: ни пройти ни проехать. Есть у нас лесной волок верст на пятнадцать. Дорожка, скажу, мое почтенье! Прошлой осенью тронулся я по великой нужде в уезд на базар — ну, волком и взвыл... Чтоб не соврать, каждую версту бранью выложил, что твоим булыжником.

Окаянная сторонка!

Так вот и живем. Народ у нас ко всему привычный. Есть старики суровых лет, а окромя своего поля да леса и свету не видывали. Такого ты и оглоблей не прошибешь, ежели насчет чего иного прочего толковать с ним. Которые помоложе, те, конечно, уже на другой колодке плетены. К примеру сказать, в особливой избе открыли читальню, как раз насупротив церкви. Раньше-то, бывало, сказки да побасенки, а ныне и в книжку носом торкаются. Борода у иного — что твой веник, а он по книжке про свеклу гудит, а то про заморские страны, чего у нас и не слыхивано. Да чего, ныне уже про сыроварню толкуют. И надоумил-то хоть бы кто путный, а то Панфишка, пастушонок, безродный парень, неизвестно чей и откуда; наняли нынче из милости, а он, стервец, под кустами книжки читает.

А что касаемо чуда, то это верно: вышло у нас такое чудо, хитрее не придумаешь, хоть умри. И заметь, ежели рассуждать по нашей дурости, вышло оно вроде как бы от креста да от самовара — больше ни от чего.

А вышло это так.

На самое, значит, рождество приезжает к нам Василий Курочкин, столяра Дементия сын. Ладно. Глядим, волокет из саней узелки разные, то да се. Долетал слышок: парень

на лесопильном заводе орудует за машнииста. Оно и вндно: одежка на нем честь честью, глядит не пентюхом, со всеми за ручку поздоровался, спросы да расспросы, жительством иашим интересуется, папиросками угостил. Покалякали мы — и разошлись.

Дело было утром, как раз обедня шла. А у нас такая маиера завелась: сойдутся люди будто к обедне, а сами больше в читальие околачиваются. Сидим, зиачит, в читальие и видим из окошка: Курочкии Василий по улице ндет. Ладио. Идет-то идет, а сам голову все чтой-то иа колокольию задирает. Колокольия у иас, правду сказать, иа удивленье высокая, видиая на десятки верст. Мы из окошек тоже выпучились, тоже давай на колокольию глядеть: чего-то там ои высмотрел? Некоторые даже иа крыльцо вышли и кличут:

— Василь Демеитич, чего там? Аль галка?

— Нет,— говорит,— я иасчет креста любопытство имею.

— А что он, крест-то? Аль неправильный?

— Крест,— говорит,— правильиый. А не хотите ли,— говорит,— я вам чудо устрою? Дайте-ка мне сажень...

Представили ему сажеиь. И давай он этой сажеиью землю мерять от колокольии до читальии. Он меряет, а мы гурьбой за иим, как бараиы. Промерял, кииул глазом по верхам.

— Выйдет,— говорит.

— Чего выйдет-то? — пытаем его.

— А вот,— говорит,— от этого самого креста и выйдет чудо.

— Какое такое чудо? — опять мы к иему.

— Не скажу,— говорит,— до срока. Сами увидите... Желаете?

— Коли ие желать! — мы ему.— Давай, иавастривай!

Тогда ои встал около читальни, еще раз по верхам глянул, будто в сенокосиую пору тучу высматривал, стукиул коицом сажеин в землю и говорит:

— Ройте вот тут яму поглыбже, чтоб до самой воды.

Наши ребята живо явились с ломом, с лопатами. Разгребли снег, потюкали-потюкали: земля мерзлая, ие дается. Притащили на то место дров, кострище развели, того и гляди, село спалят... Отошла земля. Ребята почали рыть н рыть. А другие тем разом, глядим, ладят на конек избы предлинную жердииу. Василий же со жгутиком проволоки, глядим, лезет прямо иа колокольню. Ждать-пождать, а он, как скворец, высовывается из слухового оконца в самой главе н руч-

кой этак нам почтенье шлет... Каким-то манером подладился он там под самый что ни на есть крест. Мать евоная внизу чуть не со слезами руками плещет: сверзится-де парень, костей не соберешь! Тут и обедня как раз отошла, из церкви повысыпало старичье, народу собралось уйма. Задираем головы и ахаем.

— Готово! — кричит он с колокольни и шапкой нам машет.

Спустился оттуда козырем, с глаз веселый, в зубах папироска, с девками пошутил и давай облаживать ту жердину на коньке избы. Расчастил ее — и ну тянуть проволоку с колокольни на самую эту жердь. Натянул — струна струной. А кончик проволоки через окошко в избу владил.

Ладно. Теперь он идет прямо к яме, глянул в нее, землю этак на ладонях потер и кричит ребятам:

— Довольно рыть! Жижа пошла. Вылазьте!

И требует: нет ли, дескать, у кого бросовой медной посудины либо чего луженого. Туда-сюда, нашлось и это. Есть у нас житель, Гусак ему прозванье, при старом режиме постоялый двор держал. Видя такое происшествие, распалился и он. Глядим, тащит старинный ведерный самовар, бока мятые, весь в дырах, а трубы давно и званья нет.

— На! — говорит. — На такое дело не жаль. За общественное дело, — говорит, — я, может, душу выложу, а не токмо! — и даже шапкой об землю шваркнул.

Ладно. Василий разворачивает разные струменты и зажигает этакую лампочку с медным носом. Зашипела эта лампочка, как змея, как гусыня на яйцах, так бока самовару и лижет. Опаял Василий самовар проволокой, вынес его на улицу, поднял выше головы и кричит народу:

— Примечайте: в небесах крест, а здесь самовар, и ничего больше! А теперь мы его, самовар этот, похороним в землю... Закапывай, ребята!

— Позови хоть попа, — шутим мы, — да Ярилыча, дьячка, пусть панифидку пропоют, а то, мол, толку не будет.

Всадили самовар в яму и давай заваливать. Зарыли, землю начисто сровняли, даже снежком припорошили, будто ничего и не было. А проволоку, что поверх земли вышла, Васяга опять-таки через окошко в избу владил.

Народу в читальню набралось — кулаком не пропихнешь! Ладно. Василий разворачивает из газетины не ахти большой этакий ящичек, кажет его нам со всех сторон.

— Вот, — говорит, — из этой самой штуки и выйдет вам

чудо. Дело даже совсем не хитрое. Кончик вот этой проволоки, что от креста, зажмем вот сюда, а от самовара — сюда... Вот и готово!

Глядим, надевает парень себе на голову этакую вроде как уздечку, а на ней две светлые штучки, как раз к ушам пришлись. И давай он с ящичком возиться: туда верть, сюда верть, какой-то иголочкой потычет, уздечку на голове поправит... Выложил перед собою часы. На потолок глянет, на часики посмотрит... Ах, мать честная! Времечко идет, мы аж вспотели, а чуда — никакого! Василий даже переносье сморщил, по глазам видим: не лотошит у парня.

Я так и не дождался, ушел домой, похлебал щей со свининой, залез на полати. Только было завел, по праздничному способу, глаза в дрему, прибежали ребята: тятька, иди-де, там человечий голос высказывает про всячину!

Понесся я туда. Народу у читальни — ступа ступой. Еле в избу продрался. Василий в толпе — как идол, рожа сияет, только одно просит: не напирать и не шуметь.

Выждал и я черед, сунулся головой в ту уздечку — да так глаза и выворотил... Самый что ни есть человеческий голос явственно выкликает, Кострома, дескать, Кострома... и случилось-де там то-то и то-то. Саратов, например, Калуга... А то, нет-нет да и хватит вдруг про заграницу. Ах ты, батюшки мои! Зачнет вдруг имена перекликать: Василий, Ольга, Семен... Даже мое имя кликнул: Харитон, говорит, Харитон... Фу, чтоб ты издохла!

Дерут у меня с головы эту штуку-то, всякому лестно послушать, а я не даюсь, вцепился обеими руками, дальше слушаю. А голос-то и говорит: конец, конец, до свиданья, товарищи! И — как в воду канул... Молчок! Мужики, которые еще не слышали, допытываются у меня, а я чисто очумелый. Вышел на улицу. В чем тут сила? Подошел к тому месту, где самовар зарыли, и даже плюнул в то место...

Василий из избы вывернулся, я к нему: скажи на милость, в чем тут действие происходит? Можно ли, говорю, понять это, например, мозгами? Ведь это что такое? Ведь это, брат ты мой, к примеру ежели, почище, чем во сне!

А Василий глянул на часики, чокнул крышкой и убежал домой.

Поглядел я этак в небо, затылок почесал, вошел в читальню и давай с народом тот ящичек вертеть да разглядывать. Нет ничего примечательного — так себе, пустяковина, на вес фунта не потянет. Мы со сватом Федором на конец всего даже на колокольню полезли: не там ли главная за-

корюка? Полезли тоже к самому верху, в оконце высунулись, глядим: проволока и проволока, и больше ничего. А на проволоке, шут знает для чего, яичко беленькое...

К вечеру народу в читальню навалилось — дыхнуть некуда. Всякому, видишь, удостовериться охота. Василий в той самой сбруе прижухнул у ящичка, верть-поверть — ничего не выходит.

— Что, паря, не клюет? — интересуемся мы.

— Время, — говорит, — не вышло.

— Гляди, как бы не сорвалось, — советуем мы.

Вдруг видим: заворочал глазами и руку поднял — дескать, не дыши... Подкрутил еще маленько, сымает с себя сбрую и прямо ее на голову деда Клима, под бородой в удавку затянул. Тот сбычился, принасупился, да так и окостенел... Насилу потом у старого черта уздечку-то эту самую отняли! Так кулаками всех и распихивает, не дается.

— Чего слышал-то? — пытаем его.

— Про песню, — говорит, — сперва обсказывали про деревенскую. А потом как рявкнула гармонь, инда в ушах засвербело... Дослушать не дали, кобели паршивые!

А там уже бабку Домну обуздали. У этой и плат на затылок сбился, волосы седые растрепались. Пригорюнилась на кулачок, лицо сделалось вроде как горестное, и знай головой этак покачивает... В избе, конечно, тишь, никто дыхнуть не смеет. Глядим, а бабка-то плачет, ей-богу! Слезы, например, в морщинах так и засеклись... Вот ты и поди! Любопытствуем после:

— Чего это ты, бабка, а?

— Про лучину, — говорит, — какая-то все пела. Лучиналучинушка... До того хорошо пела, душа мрет. Неясно, слышь, горишь... Поет, а я и думаю: ведь моя песня-то, в девках, да и бабой певала... Вот и жалостно стало. Жисть-то наша, бабья, господи-и!..

Еще рвалась послушать, да где уж там! Народищу подвалило — дверь ломят. Даже с улицы в окошки липнут. Гусак-то, который самовар пожертвовал, поднял шум: требовал послушать второй раз, а то, дескать, самовар обратно выкапывай. Не дали! Пришел поп Игнатий — он у нас кривой на один глаз и маленько с дурникой, от старости. Того допустили послушать. Пусть-де удостоверится, какие кренделя его колокольня выделывает. Смеху куча!

Было в тот вечер потехи, страсть! В народе такой гул пошел — необоримая! Время уже за полночь, а мы не расходимся. И пустые-то эти штуки самые все к ушам при-

кладываем: молчит и молчит, окаянная сила! Значит, не время...

Вот тут-то Василий и давай нам сказывать начистоту — что, откуда и как. Мы рты-то и раскрыли... Ах, раздери тебя леший! Голоса-то, слышь, из самой Москвы, за этакие сотни верст! Старики говаривали, что в Москву за песнями ездят, а теперь песни сами к нам летят. Голова кругом, ежели понять... А мы спроста думали, что голос-то, например, в кресте либо в самоваре...

1927

Задушевный разговор

На рассвете я подходил к селу Игнатскому. Слева дремало скошенное овсяное поле. Справа за лесистыми скатами берегов поблескивала Ока. Таял бледный кружок луны. За рекой из гущи бора маячили далекие крыши музея-усадьбы замечательного художника Василия Дмитриевича Поленова.

Эти красивейшие русские местности, эти синеющие огромные просторы, эти поля и рощи, луну над стогом сена, придорожные березы и дорогу, по которой я иду, и как бы самый воздух этот и тишину неповторимо запечатлел на своих полотнах гениальный ученик Поленова — грустный и милый Левитан.

Рассвело настолько, что я различаю впереди большой, крытый соломой навес, окруженный скирдами. В близком, но пока невидимом селе орут петухи и трудолюбиво стучит чей-то молоток, отбивающий косу...

Внезапный отчаянный лай оборвал мои думы. Прямо на меня рысью летели два крупных пса. Я сжал в руке можжевеловую палку и сделал ею артикул наотмашь... но сразу понял, что бой не состоится. Один пес оказался слишком молод и глуп, что было видно по нелепо вихлявшемуся хвосту, другой просто был стар и давно сменил злобу на равнодушие, хрипуче лая лишь по привычке. Я вынул из сумки кусок хлеба — и между нами произошло трогательное братание.

Вслед за тем мы втроем направились к скирдам. Под навесом на току я присел на деревянный обрубок и стал закусывать.

Передо мною высилась большая куча ржаных снопов. Задумчиво жуя хлеб вприкуску с огурцом, я вдруг заметил, что вершина кучи медленно зашевелилась. Вот солома расступилась в стороны, и показалась кепка — обыкновенная мятая кепка кукушечьей расцветки. Вслед за кепкой вылезли плечи, руки... Наконец, целиком возник заспанный молодой паренек, застенчиво улыбающийся, и улыбка его была особенно мила тем, что спереди не хватало одного зуба.

— Доброе утро! — приветствовал я его, приподымая с головы своей картуз. — Каково поспалось?

— Да я, чай, не спал. Погреться я залез. Лунно было, всю ночь читал...

За пазухой у него книга, тетрадки. Я полюбопытствовал, взял книгу в руки: «Курс исторического материализма». В тетрадках — углы, квадраты, линии, вычисления.

— Понимаешь, беда у меня,— горячо заговорил он, вместе с улыбкой показывая дырку в зубах. — Кончил я рабфак, но не сдал еще чертежи. А мне нынче в Красную Армию. Вот и подгоняю...

Снопы подпирают под самую крышу навеса. Пахнет густой медовой ржаной сытью. Утренняя тишина в полутьме навеса особенно торжественна. Ночного сторожа обильного урожая, ученого колхозника, будущего военного командира зовут Колей. Что о нем сказать: тут надо складывать новую сказку о *полевом герое,* который для общего счастья при лунном сиянии упорно подкрадывается к драгоценной жар-птице — науке и ловит ее за радужный хвост.

Спускаюсь под гору, в село. Молодой пес, от избытка сил носящийся кругами, и старый пес, оказавшийся одноглазым, раболепно меня сопровождали. Утки с плотины, по которой мы проходили, торопливо побросались в воду, заколыхав отражения в ней береговых верб, и одна утка на весь пруд прокричала нам укоризну.

Над избами кое-где кудрявился дымок, топились печи. Вот первые, как бы вызолоченные, косые лучи солнца брызнули вдоль улицы, багряно загораясь в окнах. Белоголовая девчурка, несшая в подоле хворост, увидев меня, остановилась и замерла, розовая в солнечном свете.

— Девочка! Где тут живет Александра Михайловна Скотникова?

— Бригадирка? А она давно-о-о в поле убежала! — По тому, как она это «давно» протянула нараспев и помахала куда-то рукой, я понял, что и поле это не близко и дела там сейчас горячие. Приметив среди улицы что-то вроде часов-

ни с затейливой крышей, с лавочками для сиденья, я направился туда. Похожее на часовню сооружение оказалось стенной газетой. Прежде всего тут показали свое мастерство плотники, столяры, маляры, стекольщики. А затем уж выказали себя во весь рост художники, карикатуристы, критики, патриоты и герои колхоза «Пахарь».

Только было я, сев на скамейку, углубился в эту фундаментальную газету, как почуял, что в затылок мне дышит живое существо.

Я оглянулся. Высокий старик в суровых усах, опершись руками в коленки, как рыбак за поплавками, следил через мое плечо за чтением. Мы познакомились, потрясли друг другу руки. Лаврентий Иванович Пучков, инспектор по качеству, сел со мною рядом.

— Вот, читай не торопясь, гляди, вникай. Стараемся по силе возможности. Нам она помогает. Почетные мы. Слыхал, чай? Стояла в Москве на самой главной местности башня, древняя, высоты несусветной. Но пришла пора-времечко, башню ту повалили, и на ее место из чистого камня-мрамора превознесла Советская власть доску Почета. И мы на той доске выше всех золотыми буквами записаны. Понял? За пшеничку, за честный труд, за эти вот руки...

Вдоль улицы бежала копна снопов, семеня человечьими ногами. Оказалось, ноги принадлежат старухе, взвалившей на себя такую непомерную копну. Увидя старуху, Лаврентий Иванович взвеселился, двинул картуз на ухо, закричал:

— Здорово, девка! Я думал, что ты умерла!

— Жива, жива! Раньше тебя не помру!

И оба утешно смеются, довольные обоюдной ловкостью в словах и, быть может, мелькнувшими воспоминаниями о далекой-далекой молодости.

Солнце уже прогревает нам спины. Один по одному подходят еще старички. Лаврентий Иванович знакомит: Андрей Петрович Сигаев, Прасковья Васильевна Митькина и другие.

— Во, орлы! — продолжает веселиться Лаврентий Иванович. — И у каждого неисчислимое поколение. И все в колхозе. Ты лучше народа и не ищи. Хороший народ, веселый, ладный! Вот Прасковья Васильевна, не дай-ка ты ей работы, она те горло передерет. Ну, только сумненье имеет: с попом или без попа умирать? Мне, к примеру, попа даром не надо. У меня в городе брат музыкант. Целая оркестра у них, тридцать два человека, серебряные трубы. Такую панихиду отхватят, аж деревья закачаются, до Совнаркома бу-

дет слышно. Скажут там: Лаврентий Иванович помер, инспектор по качеству, успокоилась неугомонная душенька...

Цель моего похода — Александра Михайловна Скотникова и задушевный тайный разговор с нею о работе ее бригады — отодвигалась. Подошли еще люди, скамейки заняли сплошь. Лаврентий Иванович Пучков ударился в воспоминания.

— Ведь вот тоже, кабы записать, как мы забирали землю, как церковь ломали на материалы. Сильно интересная борьба была! Мы орудуем, а время смутное. Один и говорит мне: Лаврентий Иванович, гляди не ошибись... Два столба, говорит, поставим, да и удавим тебя. И сейчас этот человек жив, в Серпухове на хлебозаводе укрылся, супчик. Мы на барскую землю ту пору уже крепко сели. А к Орлу валом подваливали белые! А землю мы делили по едокам, смеху куча! Но, *невзирая,* шестьсот пудов продразверстки дали. И себя обеспечили. И меня удавить не успели. А теперь мы можем с песнями работать.

Пора было разойтись. Андрей Петрович Сигаев, степенный старик, идя со мною вдоль села, раздумчиво выкладывал:

— Вчера у меня радость случилась, сын явился с призыва, винца выставил, приятно угостил. Определили на Дальний Восток, в береговую охрану. А второй принят танкистом. Ну, этот ужасно какой проворный. Выгнется этак колесом и прокатится по всей деревне. Вчера вот тут всему народу фигуры показывал, чистый бес! На цыганскую пляску горазд. Бывало, щиблеты ему купишь, разом вдребезги... Активист, неизвестно и в кого.

В полях, на так называемых бедных калужских землях, вязался в снопы обильный урожай. Народ кучками действовал и тут и там, но бригадирша Скотникова была неуловима. Вот только что распоряжалась тут, и нет ее. Наконец сказали, будто помчалась в соседнее Кузьмищево, где рожь еще на корню и куда будто бы пригнали комбайн. Я вернулся в село, в надежде на свидание с нею в обеденный час, и присел у одной избы на завалину.

Солнце было уже высоко. После утомительной гонки по полям приятно сидеть в тени избы и смотреть на вспыхивающую блестками гладь пруда, на березу, дремно осенившую плакучими ветвями покосившийся сарайчик, на забившихся под крапиву кур.

Рядом со мною старушка, маленькая, сухонькая, точно выветренная, покашливая и ворча, коричневыми руками

хватала из вороха пучки соломы и с непостижимой быстротой крутила эту солому в жгуты для вязки снопов. Я не поспевал следить, как это она делала. Под ногами у ней росла и росла куча вязок. И скоро бы эта куча была выше ее головы, но то и дело, как воробьи на мякину, налетала крикливая стая ребятишек, охапками расхватывала готовые вязки и, отшлепывая босыми пятками, с гомоном неслась в поле.

— С чего это, бабка, так покашливаешь? — спросил я, присаживаясь поближе.

— А бык покатал. Был у нас такой бык непочтительный. Лошадь запорол. Мальчонку раз выше изгороди махнул. Только я и могла за ним ходить, меня слушался. За это и трудодни мне писали. Подошла это я раз, хворостиночкой стеганула, а он как обратился на меня, сшиб и давай биткатать. Четыре раза поддевал, швырнул через дорогу, вон до того погреба. Чую, кровь с меня идет, земли полон рот, душа вон выскакивает... А он знай ярится. И вдруг ровно кто меня надоумил, говорю: бычок-батюшко, за что ты меня, прости меня... И затих он сразу. Положил на правое мое плечо свою храпелку и сопит. Ну, прямо в лицо мне лезет, сопит, всхрапывает, вижу, жалеет. И что бы мне раньше догадаться этак-то попросить, когда впервые брухнул. Может бы и не тронул... Перешиб он мне три ребра, кровью плевалась.

С полей дружно стал появляться народ обедать, а собеседница моя, Старкова Татьяна Кузьминична, не отставая крутить соломенные вязки, развертывала передо мною повесть жизни своей.

— Я, милый, пятнадцать душ детей выходила. А как жили-то! Исполу земельку хватали за десятки верст. Ночью прибежишь домой, бывало, посчитаешь сонных по головам, малых-то, *загоришь* сердцем, не уснешь и бежишь опять в поле без памяти, схвативши корку сухую. Я их всех за пазухой выпестовала. В полотенце ребенка, бывало, за шею повесишь и бежишь, а в поле сунешь в снопы, и ладно. Поглотали слез, что и говорить! Мы, тульские, переехали вот сюда, огляделись да всей семьей, двадцать один человек, в колхоз и записались. И пошли в гору. У меня восемь сынов, и все тут. И я от них не отстаю. Дочка-девчонка вон рвется в лес за орехами, за вениками, не отпущу, пока уборка. Сын просит: купи, мать, гитару. Дала сорок рублей. На, не жаль. Вина не пьет. Другой велосипед купил. Все одеты-обуты. Мы со стариком прошлый год настукали шестьсот трудодней, теперь и не охнем. А молодые, гляди, уже аванцы берут... —

Решительным шагом подошла к иам худощавая женщина, хозяйски глянула на старуху, на вязки, вдоль улицы.

— Ты что, Кузьминишна, мало накрутила?

— Мало? Ребята из рук рвут. Вона охапку потащили. Ты, брнгадирка, не черни меня прн постороннем. Мало ей!

Это н была Александра Мнхайловна Скотникова.

Я круглый год следил за ее делами по районной газете. Я впервые ее вижу. Она смотрнт на меня, слушает, и вдруг брови и ресницы этой мужественной женщнны дрогнули, посуровела, глухо заговорнла:

— Что ж, трудно. Раздоры былн зимой, верно. Только нз района не помогли мне. И сейчас обе бригады не спеты. У ннх почти одни мужчины и семь членов правлення. У меня почти одни женщнны, и ни одного члена правлення. И в правлении — ни одной женщнны. Это дело? Одинокая я тут... Доработаю отчетный год, отпрошусь. Пусть мужчину ставят.

Тряхнула мне руку. Побежала через дорогу и зазвоннла в внсячий под березой обрубок рельсы: пора кончать обед.

— Не уйдет она из бригадирок, — сказала, покашливая, бабка Кузьминична. — Ох, горячая на работу! — Пообедавший народ двинулся в поле. Высокая, худая брнгадирша шла впередн всех устремленной, как бы летящей походкой.

Улица опустела. Я тоже двннулся восвояси. На ступеньке у крайней избы сндел карапузнк в большом отцовском картузе, оттопырнвшем ему уши. Я остановился, залюбовавшись ухарским его видом.

— Ты что, парень, на работу не идешь?

— Я дом калаулю...

Порывшнсь в сумке, я выдал ему конфетку. И зашагал, постукивая можжевеловой палкой о сухую землю и думая о добром, трудолюбнвом, мужественном, умном народе, о его великом подъеме.

1937

ПРИМЕЧАНИЯ

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

(1886—1923)

Александр Сергеевнч Неверов (наст. фам.— Скобелев) родился в селе Новиковка Самарской губернии, в бедиой крестьяиской семье. Рано начал трудовую жнзнь — в типографии, в сельских лавках подручиым. Был деревенскнм учителем.

Литературной работой занялся еще до революции. Тема рассказов тех лет — «Авдотьиииа жизнь» (1907), «Серые дни» (1910), «Баба-Иван» (1911) и др.— тяжкая судьба русского крестьяиина.

В 1917 году Неверов искренне поддержал революцию. В эти годы им написаны лучшие рассказы — «Красноармеец Терехин», «Я хочу жить» (1919), «Марья-большевичка», «Полька-мазурка» (1923). Шнрокую известиость получнли повестн Неверова «Андрон Непутевый» (1922), «Ташкеит — город хлебный» (1923), роман «Гуси-лебеди» (1923).

С именем Неверова связаио зарожденне советской литературы.

Рассказ «Красноармеец Терехин».— Впервые в журнале «Красная Армия», Самара, 1919, № 1.

Рассказ «По-новому».— Впервые в журнале «Красноармеец», 1920, № 2.

Рассказ «Марья-большевнчка».— Впервые в газете «Коммуна», Самара, 1921, 4 дек.

Тексты печатаются по изданню: Неверов А. С. Собр. соч.: В 4-х т. Куйбышев: Кн. нзд-во, 1958. Т. 2.

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ-ПРИБОЙ

(1877—1944)

Алексей Силыч Новнков-Прибой (наст. фам.— Новиков) родился

в селе Матвеевское Тамбовской губернии, в крестьяиской семье. Окончил церковноприходскую школу, раио начал работать. В течение семи лет служил матросом Балтийского флота. В 1903 г. был арестоваи за революциоиную деятельность. Участвовал в русско-японской войне. После Цусимского сражеиия попал в плен. В 1906 г. вериулся в родное село. Через год выпустил брошюру о Цусимском сражении, за что преследовался полицией, эмигрировал в Англню. Плавал матросом торгового флота.

Творчество Новикова-Прибоя, отмечениое влнянием М. Горького, развнвалось в русле русской реалнстической лнтературы, продолжая традиции русской классической литературы. Первая книга — «Морские рассказы» вышла в 1917 г. Важиое место в произведениях писателя занимает тема революции: партизанское движеиие крестьяиства — рассказы «Вековая тяжба» (1918), «Зуб за зуб», переход иа сторону революции старых морских специалистов — рассказы «В бухте Отрада» (1924), «Ухабы» (1927).

Вершиной творчества Новикова-Прибоя стала историческая эпопея «Цусима» (1932—1935), в которой раскрывается массовый героизм русскнх матросов и лучшей части офицерства. Произведение удостоено Государственной премии СССР (1941).

В годы Великой Отечественной войны писатель выступал со статьями и очерками о моряках, работал иад романом «Капитан 1-го ранга» (незак.).

Рассказ «Зуб за зуб».— Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1922, № 1—2. Печатается по изданию: Новиков-Прибой А. С. Собр. соч.: В 5-ти т. М.: Правда, 1963. Т. 1.

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

(1863—1924)

Александр Серафимович Серафимович (наст. фам.—Попов) родился в станице Нижнекурманской области Войска Донского, в семье казака. Закончил гимназию, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В студенческих кружках близко сошелся со старшим братом В. И. Ленина Александром Ульяновым, впоследствии казненным после неудавшегося покушения на Александра III. За революционную пропаганду Серафимович был сослан в Мезень на несколько лет, где, по его словам, «прошел второй марксистский университет».

Литературную деятельность начал в 1889 г. В рассказах и очерках того времени изображал каторжный труд и бесчеловечную эксплуатацию рабочих и крестьян. Горячо приветствовал Октябрь. В 1918 г.

вступил в ряды Коммунистической партии, в качестве корреспондента ездил на фронты гражданской войны. Наиболее известное произведение Серафимовича — роман «Железный поток» (1924), посвященный событиям гражданской войны на юге России. Это одно из первых значительных произведений социалистического реализма.

В 1943 г. Серафимович был удостоен Государственной премии СССР.

Рассказ «Тамбовский мужичок в Москве».— Впервые в газете «Рабочий край», Иваново, 1918, 8 марта.

Рассказ «Бабья деревня».— Впервые в кн.: Серафимович А. Бабья деревня: Рассказы. М.: Красная новь, 1923.

Рассказ «Помолебствовал».— Впервые (под заглавием «Кукиш») в журнале «Безбожник», 1923, № 4.

Рассказ «Тракторист поневоле».— Впервые в журнале «Дружные ребята», 1938, № 1.

Рассказ «Бригадир».— Впервые (под заглавием «Зубами от смерти») в Сочинениях А. С. Серафимовича. М., 1939.

Тексты печатаются по изданию: Серафимович А. С. Собр. соч.: В 7-ми т. М.: Худож. лит., 1959, т. 6; 1960, т. 7.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ
(1905—1984)

Михаил Александрович Шолохов родился на хуторе Кружилин станицы Вешенской области Войска Донского, в крестьянской семье. Учился в церковноприходской школе, окончил четыре класса гимназии. Участвовал в гражданской войне, служил в продотряде. В 1922 г. переехал в Москву, принимал участие в деятельности литературной группы «Молодая гвардия».

В 1924 г. в газете «Юношеская правда» был напечатан первый рассказ Шолохова «Родинка». Затем в газетах и журналах появляются его произведения, объединенные впоследствии в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926). С этого времени начался триумфальный путь в литературе выдающегося писателя-гуманиста XX века.

Перу Шолохова принадлежат романы «Тихий Дон» (1928—1940; Госпремия СССР, 1941), выдающееся произведение социалистического реализма, принесшее автору всемирную известность, и «Поднятая целина» (1932—1960; Ленинская премия, 1960). Широкую известность получили его рассказы «Наука ненависти» (1942), «Судьба человека» (1956), главы из романа «Они сражались за Родину» (1943—1969).

М. А. Шолохов — дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980), лауреат Нобелевской премии (1965), академик АН СССР (1979),

крупный общественный деятель, член ЦК КПСС (1961—1984), депутат Верховного Совета СССР (1937—1984).

Рассказ «Продкомиссар».— Впервые в газете «Молодой ленинец», 1925, 14 февр.

Рассказ «Смертный враг».— Впервые в журнале «Смена», 1926, февр.

Рассказ «Червоточина».— Впервые в журнале «Смена», 1926, май.

Тексты печатаются по изданию: Шолохов М. Собр. соч.: В 8-ми т. М.: Правда, 1962. Т. 1.

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

(1895—1963)

Всеволод Вячеславович Иванов родился в поселке Лебяжье Семипалатинской губернии, в семье сельского учителя. Окончил начальную школу, один курс сельскохозяйственного училища. Рано оставил дом и начал трудовую жизнь. Много странствовал по Сибири и Казахстану, сменил много профессий. Был подручным у лавочника, матросом, рабочим в типографии, наборщиком, цирковым артистом.

Печататься начал с 1915 г. Первая книга «Рогульки» в количестве 30 экз. набрана и отпечатана самим Ивановым в 1919 г. в типографии омской газеты. Деятельное участие в литературной судьбе Иванова принял Горький. Он способствовал опубликованию в журнале «Красная новь» повестей «Партизаны» (1921) и «Бронепоезд 14-69» (1922). В них нашла отражение борьба рабочего класса и крестьянства за свободу и землю под руководством большевиков. Иванов был одним из организаторов и членов литературной группы «Серапионовы братья», в которую входили также Н. Тихонов, К. Федин, М. Зощенко, В. Каверин и др.

Перу Иванова принадлежат многочисленные произведения, среди них романы «Похождения факира» (1935), «Пархоменко» (1939), повести, рассказы, пьесы.

Рассказ «Красный день».— Впервые в журнале «Красный командир», 1921, май.

Рассказ «Авдокея».— Впервые в газете «Пролетарская правда», 1922, 21 мая.

Рассказ «Плодородие».— Впервые в журнале «Красная новь», 1926, № 1.

Тексты печатаются по изданию. Иванов Вс. Собр. соч.: В 8-ми т. М.: Худож. лит., 1959. Т. 3.

СЕМЕН ПОДЪЯЧЕВ

(1866—1934)

Семен Павлович Подъячев родился в селе Обольяново-Никольское Московской губернии, в бедной крестьянской семье. Окончил сельскую школу, учился в техническом училище. Работал сезонным рабочим, угольщиком, наборщиком в типографии, дворником, долгое время крестьянствовал. Бедствовал вплоть до Октябрьской революции.

Первый рассказ Подъячева был напечатан в 1888 г. Повести «Мытарства» (1902) и «Среди рабочих» (1904) были замечены и одобрены В. Короленко и М. Горьким. Основные темы дореволюционных произведений Подъячева: трагизм судьбы миллионов крестьян, страдающих от безземелья и эксплуатации властей,— рассказы «У староверов» (1907), «Семейное торжество» (1910), «Жизнь и смерть» (1912); разоблачение хищничества сельских лавочников и кулаков — рассказ «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина» (1915); рост политического самосознания крестьян под воздействием революционной пропаганды — рассказ «За грибками, за ягодками» (1916).

Октябрьскую революцию Подъячев встретил с воодушевлением. Вел активную общественную работу, в 1918 г. вступил в члены Коммунистической партии, учительствовал на селе, выступал в печати. Темой его рассказов и очерков стало новое в советской деревне.

Наиболее значительная книга Подъячева — автобиографическая повесть «Моя жизнь» (1929—1932).

Рассказ «Понял».— Впервые в газете «Беднота», 1923, 6—7 ноября.

Рассказ «Папаша хресный».— Впервые в газете «Беднота», 1924, 3 марта.

Рассказ «Новые полсапожки».— Впервые в газете «Беднота», 1922, 7 апр.

Тексты печатаются по изданию: Подъячев С. Избранное. М.: Гослитиздат, 1955.

ЛИДИЯ СЕЙФУЛЛИНА

(1889—1954)

Лидия Николаевна Сейфуллина родилась в поселке Верхнеувельском Оренбургской губернии, в семье сельского священника, крещеного татарина. С 17 лет работала: сельским библиотекарем, учительницей, актрисой. В 1920 г. окончила Высшие педагогические курсы в Москве, после чего работала в Новосибирском издательстве, где и началась ее литературная деятельность.

Перу Сейфуллиной принадлежат широко известные повести «Перегной» (1922), «Правонарушители» (1922), «Виринея» (1924) и др.

В годы Великой Отечественной войны Сейфуллина работала в газетах и на радио. До конца жизни много сил отдавала воспитанию писательской молодежи.

Рассказ «Линюхина Степанида».— Впервые в сб. «Подарок делегатке». М.: ГИЗ, 1925. Печатается по изданию: Сейфуллина Л. Н. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Худож. лит., 1968. Т. 2.

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

(Род. 1899)

Леонид Максимович Леонов родился в Москве, в семье крестьянского поэта-самоучки. Окончил гимназию. Служил в Красной Армии.

Первые литературные опыты Леонова — стихи, театральные рецензии, очерки — появились в 1915—1918 гг. на страницах архангельской газеты «Северное утро», редактором которой был его отец. Дальнейшая литературная деятельность Леонова продолжалась на страницах красноармейской печати в годы гражданской войны. Демобилизовавшись, он начал сотрудничать в газете «Красный воин» в Москве. Большую роль в творчестве писателя сыграл Горький, горячо поддержавший романы «Барсуки» (1924), «Вор» (1927), «Соть» (1930). Одним из первых в советской литературе Леонов в своих произведениях отразил процессы социалистической действительности: индустриализации, коллективизации, становления советской интеллигенции, показал героизм советского народа в борьбе с фашизмом: романы «Барсуки», «Соть», «Скутаревский» (1932), «Дорога на океан» (1935), «Русский лес» (1953; Ленинская премия, 1957), драма «Нашествие» (1942; Госпремия СССР, 1943). Эти произведения сделали Леонова одним из крупнейших писателей своего времени.

Л. М. Леонов — Герой Социалистического Труда (1967), академик АН СССР (1972), крупный общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР (1946—1970).

Рассказ «Возвращение Копылева».— Впервые в журнале «Звезда», 1927, № 1. Печатается по изданию: Леонов Л. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 1.

Д. Н. Кардовский (1866—1943), которому посвящен рассказ,— советский художник, график и живописец.

АЛЕКСАНДР АРОСЕВ

(1890—1938)

Александр Яковлевич Аросев родился в Казаии, в дворянской семье. Окончил реальиое училнще. Затем учнлся в Льежском униаерситете на факультетах философии н литературы. Активный участннк революционных событий 1905 г., члеи Коммунистнческой партии с 1907 г.

В марте 1917 г. Аросев избнрается председателем Совета рабочих и крестьяиских депутатов в Твери. В период Октября он члеи Московского воеиио-революциоииого комитета, командующий войсками Московского военного округа. В 1920 г. Аросев иазиачается председателем Верховного революционного трибуиала иа Украиие. В 1926 г. полпредом СССР в Литве и Чехословакии. С 1934 г. он председатель Всесоюзиого общества культурных связей с аграиицей.

Литературную деятельиость Аросев иачал в 1916 г. В 1920 г. в Харькове вышел сборинк рассказов «Революциоииые иаброскн». Аросев автор ряда повестей о большевиках: «Страда», «Председатель», «Недавние дни» (все — 1921), «Никнта Шорнев» (1924). Перу Аросева приналлежит ромаи «Корни» (1933) — о работе революционеров-подпольщиков. Он автор многих очерков о В. И. Леиние и революцнонном движеннн в Россни.

Рассказ «Первая концессия».— Впервые в кн.: Аросев А. На земле под солнцем: Рассказы. М.— Л.: ГИЗ, 1928. Печатается по этому изданию.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(1868—1936)

Максим Горький (наст. нмя и фам.— Алексей Максимович Пешков) родился в Нижием Новгороде, в семье столяра-краснодеревщика. Рано начал трудовую жизнь. Служил «мальчиком» при магазине, конторщиком в железнодорожных мастерских, работал посудником на пароходе, пекарем, грузчиком, молотобойцем. Общался с передовыми рабочими, революционерами, стачечниками, участвовал в нелегальных кружках, неоднократно преследовался полицией, был заключен в Петропавловскую крепость. В 1905 г. вступил в члены Коммунистической партии. В дни декабрьского вооруженного восстания в Москве снабжал боевые дружины оружием и деньгами.

Один из крупнейших писателей XX столетия, родоначальник литературы социалистического реализма, Горький начал заниматься литературой с 1892 г. Публиковался в «Самарской газете», «Нижегород-

ском листке». С 1895 г. рассказы Горького печатаются в столичных журналах. Первое собрание очерков и рассказов (1898) вызвало небывалый отклик в России, а затем во всем мире. Перу Горького принадлежат многие, ставшие классическими произведения: роман «Мать» (1906), который высоко оценил В. И. Ленин, отметив особую важность темы — перерастание стихийного рабочего движения в организованную борьбу, романы «Дело Артамоновых» (1924—1925), «Жизнь Клима Самгина» (1925—1936); повести — «Фома Гордеев» (1899), «Детство» и «В людях» (1913—1916), «Мои университеты» (1922), рассказы, очерки, пьесы, статьи.

М. Горький был выдающимся организатором, руководителем и редактором,

«Рассказ».— Впервые в газете «Известия», 1929, 20 окт.

«Рассказы о героях» (рассказ третий).— Впервые в журнале «Наши достижения», 1931, № 10—11.

Тексты печатаются по изданию: Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Гослитиздат, 1952. Т. 16.

ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

(1904—1968)

Валентин Владимирович Овечкин родился в Таганроге, в семье служащего. Учился в техническом училище. Трудовую жизнь начал в деревне. Был избачом, секретарем комсомольской ячейки, организатором сельхозкоммуны, проводил коллективизацию, неутомимо боролся за перестройку села. В 1929 г. вступил в члены Коммунистической партии. Был партийным работником, журналистом. Участвовал в Великой Отечественной войне.

Первый рассказ Овечкин опубликовал в 1929 г. Наиболее значительные произведения Овечкина: «Колхозные рассказы» (1935), повесть «Гости в Стукачах» (1940), очерки «Районные будни» (1952—1956). Последние стали заметным событием в литературной и общественной жизни страны и оказали влияние на последующее развитие литературы о деревне. Важнейшие вопросы развития села раскрываются в пьесах Овечкина: «Навстречу ветру» (1958), «Летние дожди» (1959), «Время пожинать плоды» (1960), «Пусть это сбудется» (1961).

Рассказ «Глубокая борозда» печатается по изданию: Овечкин В. Гости в Стукачах: Рассказы и очерки. М.: Советская Россия, 1972.

ИВАН ВОЛЬНОВ

(1885—1931)

Иван Егорович Вольнов (наст. фам.— Владимиров) родился в селе Богородицком Орловской губернии в семье крестьянина-бедняка. Окончил учительскую семинарию. Преподавал в сельских школах. Был членом партии эсеров, с которыми впоследствии порвал, осудив их идеологию в повести «Встреча» (1927). За покушение на мценского исправника был сослан в Сибирь, откуда в 1910 г. бежал за границу. На о. Капри познакомился с Горьким и Буниным. По совету Горького написал свое лучшее произведение — «Повесть о днях моей жизни» (1912—1928). В 1917 г. Вольнов возвратился в Россию, участвовал в революции и гражданской войне, организовывал сельхозартели.

В своих произведениях отразил тяжелую судьбу дореволюционного крестьянства и преобразование деревни советских лет: повести «Юность» (1913), «На рубеже» (1913), «Возвращение» (1928), рассказы, очерки.

Рассказ «Батя на празднике».— Впервые в журнале «Прожектор», 1928, № 44. Печатается по изданию: Вольнов Иван. Избранное. М.: Гослитиздат, 1956.

ПЕТР ЗАМОЙСКИЙ

(1896—1958)

Петр Иванович Замойский (наст. фам.— Зевалкин) родился в селе Соболевка Пензенской губернии, в семье бедного крестьянина. Рано начал работать. Был пастухом, половым в трактире. Участвовал в коллективизации. В 1918 г. вступил в члены Коммунистической партии. Учился в Высшем литературно-художественном институте им. В. Я. Брюсова, затем в МГУ.

Печататься начал в 1921 г. Был одним из руководителей Всероссийского объединения крестьянских писателей. Замойский — автор многочисленных рассказов о деревне: «В деревне» (1925), «В уездных сугробах» (1927), «Канитель» (1929), «Две правды» (1932), «Соседи» (1934), «Утро» (1937) и др. Наиболее значительное произведение Замойского — роман «Лапти» (1929—1936), отображающий картину русской деревни в годы нэпа и коллективизации. Перу Замойского принадлежит автобиографическая трилогия «Подпасок» (1939), «Молодость» (1946), «Восход» (1957).

Рассказ «Плотина».— Впервые в кн.: Замойский П. Плотина: Рассказ. М.: Федерация объединенных советских писателей, 1927. Печатается по изданию: Замойский П. Рассказы. М.: Советская Россия, 1972.

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

(1873—1945)

Вячеслав Яковлевич Шишков родился в городе Бежецке Тверской губернии, в купеческой семье. Окончил техническое училище. С 1894 по 1915 г. жил и работал в Сибири, будучи служащим Управления путей сообщения в Томске. По службе совершал длительные экспедиции в самые отдаленные районы Сибири.

Печататься начал в 1908 г. Повесть «Тайга» (1916) была одобрена Горьким и опубликована в журнале «Летопись». Дореволюционное творчество Шишкова отмечено острой социальной направленностью, горячим сочувствием тяжелой судьбе народа.

Октябрьскую революцию Шишков принял с воодушевлением. Оставил службу инженера-путейца и целиком отдался литературной работе. В романе «Ватага» (1923), повестях «Пейпус-озеро» (1924), «Странники» (1931) Шишков показал жизнь и героическую борьбу молодой Советской республики. Темы гибели русского капитализма и борьбы рабочего класса стали ведущими в романе «Угрюм-река» (1933). Роман Шишкова «Емельян Пугачев» (1938—1945), удостоенный Государственной премии СССР (1946), принадлежит к числу лучших в советской литературе исторических романов.

В годы Великой Отечественной войны Шишков напряженно работал, прославляя в своих рассказах патриотизм советских людей.

Рассказ «Свежий ветер».— Впервые в журнале «Красный журнал для всех», 1924, № 1.

Рассказ «Смычка».— Впервые в Полн. собр. соч. В. Я. Шишкова: В 12-ти т. М.— Л.: Земля и фабрика, 1927. Т. 8.

Тексты печатаются по изданию: Шишков В. Алые сугробы: Рассказы. М.: Гослитиздат, 1954.

ИВАН СОКОЛОВ-МИКИТОВ

(1892—1975)

Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился в урочище Осеки Калужской губернии, в семье лесника. Учился на сельскохозяйственных

курсах в Петрограде. Литературную деятельность начал в 1916 г. Февральскую революцию встретил на фронте. «В качестве депутата от фронтовых солдат,— пишет он в «Автобиографических заметках»,— приехал в революционный, залитый красными флагами Петроград. Здесь, в Петрограде, встретил Октябрьскую революцию, в зале Таврического дворца слушал выступление Ленина. Здесь же в редакции «Новой жизни» познакомился с Горьким и другими писателями, мастерами слова. Впервые стал серьезно задумываться о том, что стало моим жизненным путем и судьбою: о труде и назначении писателя».

Наиболее известные книги Соколова-Микитова: «На речке Невестнице» (1928), «Голубые дни» (1928), «Ленкорань» (1934), «Пути кораблей» (1934), «Северные рассказы» (1939), автобиографическая повесть «Детство» (1931—1951). Для творчества Соколова-Микитова характерно внимание к родной стране, к природе и человеку, к живому и светлому миру, частицей которого он себя ощущал.

Рассказ «Пыль».— Впервые в журнале «Красная новь», 1925, № 7. Печатается по изданию: Соколов-Микитов И. Медовое сено: Рассказы. М.: Советская Россия, 1979.

БОРИС ШЕРГИН

(1896—1973)

Борис Викторович Шергин родился в Архангельске, в семье потомственного морехода и корабельного мастера. Учился в гимназии. Окончил Строгановское художественно-промышленное училище в Москве.

Еще в ранние годы Шергин увлекся народными сказками, былинами, песнями, ставшими впоследствии основой его литературного творчества.

Первые рассказы Шергина опубликованы в 1915 г. Его перу принадлежат книги: «У Архангельского города, у корабельного пристанища» (1924), «Архангельские новеллы» (1936), «У песенных рек» (1939), «Океан — море русское» (1959).

Рассказ «Лебяжья река» печатается по изданию: Шергин Б. Гандвик — студеное море. Архангельск: Сев.— Зап. кн. изд-во, 1971.

АЛЕКСЕЙ ЧАПЫГИН

(1870—1937)

Алексей Павлович Чапыгии родился в деревие Большой Угол Олоиецкой губерии, в семье крестьяиииа. Начальиое образоваиие получил в земской школе. В 1883 г. приехал в Петербург, обучался маляриому мастерству, работал подмастерьем, упорио заиимался самообразоваинем.

В литературу Чапыгии пришел в буриые годы первой русской революции. Его творчество было отмечено Горьким. В лучших произведеииях дооктябрьского периода: сборнике рассказов «Нелюдимые» (1912), повести «Белый скит» (1913) — Чапыгии рассказал суровую правду о каторжиом труде ремеслениой бедиоты, создал впечатляющую картииу жизни далекого Севера с его иеобъятиыми природиыми богатствами, традициямн, иародио-поэтнческой стихией и типичными для всей крестьяиской Руси социальиымн противоречиями.

Расцвет талаита Чапыгииа связаи с советской эпохой, когда писателем были созданы произведеиия большой художествеиной силы: исторические романы «Разии Степаи» (1926—1927) и «Гулящие люди» (1935—1937), отмечеииые революциоииым пафосом, правдиво воссоздающие яркие страиицы освободительиой борьбы русского иарода.

Рассказ «Насельиица».— Впервые в «Литературио-художествеииом альмаиахе для всех». Л.: Прибой, 1924, ки. 1. Печатается по изданию: Чапыгии А. Собр. соч.: В 5-ти т. Л.: Худож. лит., 1968. Т. 2.

АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДОВ

(Род. 1894)

Александр Владимирович Перегудов родился в местечке Дулево Владимирской губерии, в семье коиторщика Дулевского фарфорового завода. До революции был рабочим, учился в иародиом уииверситете им. Шаиявского. Горячо приветствовал Октябрь. Служнл в Красиой Армии. Работал техником на фарфоровом заводе.

Первая книга — «Лесные рассказы» вышла в 1923 г. Затем появились сборники рассказов, были иаписаиы ромаиы «Фарфоровый город» (1929) и «Солиечный клад» (1932). Писатель проявлял живой иитерес к индустриализации страны, строительству электростаиций, добыче угля и торфа, социальным перемеиам иа селе. Перегудов был близким другом А. С. Новикова-Прибоя и написал о нем кингу.

Рассказ «Половодье».— Впервые в кн.: Перегудов А. Человечья весна: Рассказы. М.: ГИЗ, 1926. Печатается по изданию: Перегудов А. Солнечный клад: Роман, повести и рассказы. Московский рабочий, 1972.

ИВАН МЕНЬШИКОВ

(1914—1943)

Иван Николаевич Меньшиков родился в селе Айлино Оренбургской губернии. Окончил семилетку, затем авиационный техникум. Работал в заводской многотиражке. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Несколько лет был корреспондентом ненецкой газеты «Нарьяна вындер».

Рассказы Меньшикова появились в газетах и журналах в середине 30-х гг. Наиболее значительные из них опубликованы в сборниках «Полуночное солнце» (1939), «Человек не хочет умирать» (1939), «Друзья из далекого стойбища» (1940), «Переправа» (1942).

В годы Великой Отечественной войны Меньшиков работал в «Комсомольской правде», писал рассказы и очерки о героизме советских людей в тылу и на передовой. В 1943 г. он погиб при полете в партизанский край. Похоронен вблизи города Мозыря Гомельской области БССР.

Рассказы «Бегство», «Илько Лаптандер», «Тэнэко», «Яптеко подает заявление в колхоз» печатаются по изданию: Меньшиков И. Полуночное солнце: Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1984.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

(1896—1951)

Андрей Платонович Платонов (наст. фам.— Климентов) родился в Воронеже, в рабочей семье. Учился в церковноприходской школе, затем в горном училище. Еще подростком начал работать. После окончания политехникума работал мелиоратором, руководил строительством воронежской электростанции.

В печати впервые выступил в 1918 г. В 1922 г. вышла в свет первая книга стихов Платонова. В последующие годы появились повести «Город Градов» (1926), «Епифанские шлюзы (1927), «Сокровенный человек» (1928), «Происхождение мастера» (1929), принесшие автору широкую известность, рассказы, литературно-критические статьи.

В годы Великой Отечественной войны Платонов находился на фронте в качестве военного корреспондента, много печатался.

После смерти Платонова осталось большое рукописное наследие.

Рассказ «О потухшей лампе Ильича».— Впервые в кн.: Платонов А. Сокровенный человек: Повести и рассказы. М.: Молодая гвардия, 1928. Печатается по изданию: Платонов Андрей. Избранное. Московский рабочий, 1966.

Рассказ «Великий человек» печатается по изданию: Платонов Андрей. Течение времени: Повести и рассказы. Московский рабочий, 1971.

Рассказ «Луговые мастера».— Впервые в кн.: Платонов А. Луговые мастера: Рассказы. М.: ГИЗ, 1928. Печатается по изданию: Платонов А. Рассказы. Лениздат, 1983.

МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

(1906—1940)

Михаил Петрович Лоскутов родился в Курске. Печататься начал в 1922 г. Его фельетоны и очерки, вошедшие в сборники «Конец мещанского переулка» (1928), «Золотая пустота» и «Отвоеванное у водки» (1929), запечатлели самые яркие черты эпохи строительства социализма, острую борьбу нового мировоззрения с мещанской рутиной.

Лоскутов, будучи журналистом, много путешествовал по районам, где разворачивалось освоение природных богатств. Летом 1933 г. он в качестве корреспондента журнала «Наши достижения» и газеты «Вечерняя Москва» принимал участие в Каракумском автопробеге и написал об этом книгу «Рассказы о дорогах» (1935).

Рассказ «Немного в сторону» печатается по изданию: Сб. «В прекрасном и яростном мире». М.: Советская Россия, 1983.

НИКОЛАЙ ЗАРУДИН

(1899—1937)

Николай Николаевич Зарудин родился в Пятигорске, в семье горного инженера. Окончил гимназию. Воевал в Красной Армии. После демобилизации работал в Смоленске в комсомольской газете, затем в московской «Красной Звезде». Активно сотрудничал в столичных

журналах. Автор сборника рассказов «Страна смысла» (1934), повести «В народном лесу» (1936), романа «Тридцать дней на виноградниках» (1933). В основу многих произведений Зарудина легли впечатления от журналистских поездок.

Рассказ «Спящая красавица» печатается по изданию: Сб. «В прекрасном и яростном мире». М.: Советская Россия, 1983.

ИВАН КАТАЕВ

(1902—1939)

Иван Иванович Катаев родился в Москве, в семье преподавателя истории. В 17 лет ушел добровольцем в Красную Армию, служил в политотделе Восьмой армии и прошел с ней всю гражданскую войну. Учился на экономическом факультете МГУ. В 1919 г. вступил в члены Коммунистической партии.

Катаев начал печататься в 1921 г. Первая книга — «Сердце» вышла в 1928 г. Темой ее, как и последующих произведений — повестей «Молоко» (1930), «Встреча» (1934), сборника очерков «Движение» (1932),— стали проводившиеся в стране преобразования.

Рассказ «Под чистыми звездами» печатается по изданию: К а т а е в И в а н. Избранное: Повести и рассказы. Очерки. М.: Худож. лит., 1957.

ИВАН КАСАТКИН

(1880—1938)

Иван Михайлович Касаткин родился в деревне Барановицы Костромской губернии, в семье бедного крестьянина. Детство и юность писателя связаны с крайней нуждой, с ранним трудом на пашне, а затем в городе, где юноша приобрел специальности слесаря, рабочего лесопилки, кочегара, машиниста, электротехника. В 1902 г. Касаткин переехал в Петроград, где познакомился с революционными кружками, вступил в партию и начал вести подпольную работу.

Первым рассказам Касаткина «На барках» и «Нянька» (1907) высокую оценку дал Горький. Первая книга «Лесная быль» (1916) была подарена автором В. И. Ленину. После Октябрьской революции Касаткин создал произведения, в которых отразил красоту и силу новой жизни крестьянства: рассказы «Галчата» (1919), «Райпросвет и

Гришка» (1924), «Записки Хоркина» (1928), «Детвора» (1937) и др.

В 20—30-х гг. Касаткин был редактором журналов «Красная нива», «Земля советская» и др.

Рассказ «Чудо».— Впервые в «Крестьянском журнале», 1927, № 9.

Рассказ «Задушевный разговор».— Впервые в газете «Правда», 1937, 4 сент.

Тексты печатаются по изданию: Касаткин Иван. Путь-дорога: Избранные рассказы. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1972.

СОДЕРЖАНИЕ

Составитель
Николай Дмитриевич Ткаченко

ГЛУБОКАЯ БОРОЗДА

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ В ПРОЗЕ 20—30-х ГОДОВ

Рассказы

Редактор
О. ГОЛЕВА

Художественный редактор
Е. АНДРЕЕВА

Технический редактор
В. ТУШЕВА

Корректоры
И. РУДАКОВА, О. ЧЕРВЯКОВА

ИБ № 4529

Подписано к печати с матриц 04.05.87. Формат 84х108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2, кн.-журн. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,98. Уч.-изд. л. 31,30. Тираж 200 000 (100001—200 000) экз. Заказ 313. Цена 2 р. 70 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

Г55 **Глубокая борозда.** Русская деревня в прозе 20—30-х годов: Рассказы/Сост., авт. вступ. статьи и примеч. Н. Ткаченко.— М.: Современник, 1987.— 542 с.

Сборник состаавили рассказы советских писателей — М. Горького, А. Серафимоаича, М. Шолохоаа, Вс. Иваноаа, А. Новикова-Прибоя, В. Шишкоаа, Л. Леонова и других,— отражающие социалистические преобразоаания а деревне 20—30-х годоа.

Г $\frac{4702010200-184}{М106(03)-87}$ 126—87

ББК84Р7
Р2